

■ Роджер Осборн ■

ЦИВИЛИЗАЦИЯ НОВАЯ ИСТОРИЯ ЗАПАДНОГО МИРА

*Свежий и неожиданный взгляд
на историю!*



■ Роджер Осборн ■

ЦИВИЛИЗАЦИЯ
НОВАЯ ИСТОРИЯ
ЗАПАДНОГО МИРА


ИЗДАТЕЛЬСТВО
Астрель
МОСКВА

УДК 930.85
ББК 63.3(0)
О-72

Roger Osborne
CIVILIZATION
A NEW HISTORY OF THE WESTERN WORLD

Перевод с английского М. Колопотина

Компьютерный дизайн Э. Кунтыш

Печатается с разрешения издательства
Jonathan Cape, one of the Publishers in The Random House Group Ltd.
и литературного агентства Andrew Nurnberg.

Книга подготовлена издательством «Мидгард» (Санкт-Петербург)

Подписано в печать 15.03.10. Формат 84x108 ¹/₃₂.
Усл. печ. л. 40,32. Тираж 3000 экз. Заказ № 1495

Осборн, Р.

072 Цивилизация. Новая история Западного мира / Роджер Осборн; пер. с англ. М. Колопотина. — М.: АСТ: Астрель, 2010. — 764, [4] с.: ил.

ISBN 978-5-17-067799-3 (ООО «Изд-во АСТ»)

ISBN 978-5-271-29475-4 (ООО «Изд-во Астрель»)

«Свежий и неожиданный взгляд на историю!» — восторженно пишут критики о книге Роджера Осборна «Цивилизация».

Человечество рассматривает современную западную цивилизацию как наследие античности и раннего христианства, эпох Возрождения и Просвещения. Но так ли это?

Существует ли вообще связь между историческими эпохами?

Можно ли считать западную цивилизацию единой исторической цепью, звенья которой связует идея прогрессивного развития?

Вот лишь немногие из вопросов, на которые отвечает в своем оригинальном исследовании Роджер Осборн.

УДК 930.85
ББК 63.3(0)

© Roger Osborne, 2006

© Перевод. М. Колопотин, 2007

© Издание на русском языке AST Publishers, 2010

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Пролог</i>	5
Глава 1. В самом начале	33
Глава 2. Лавина слов	73
Глава 3. Рождение абстракции	111
Глава 4. Всемирная цивилизация	144
Глава 5. Христианство по Августину	173
Глава 6. Религия как цивилизация	204
Глава 7. Другой образ жизни	247
Глава 8. Искусство как цивилизация	273
Глава 9. В поисках христианской жизни	325
Глава 10. Короли, армии и нации	360
Глава 11. Мы и они	391
Глава 12. Рациональный индивидуум	427
Глава 13. Просвещение и революция	462
Глава 14. Индустриализация и национализм	515
Глава 15. От аграрных колоний к индустриальному континенту	557
Глава 16. На пути к бездне	599
Глава 17. Конец цивилизации	645
Глава 18. Послевоенный мир	686
<i>Благодарности, библиографические источники и рекомендации к дополнительному чтению</i>	747

Пролог

Двадцать первого сентября 2001 года президент Джордж У. Буш, рассуждая о террористической атаке на Всемирный Торговый центр и реакции США на это событие, употребил слова «сражение за цивилизацию». 5 декабря того же года он повторил: «Я не собираюсь отступить, потому что мы сражаемся за саму цивилизацию». Почти два года спустя, комментируя продолжающиеся нападения на американские войска в Ираке, президент сказал: «Наш выбор — между цивилизацией и хаосом». В заявлениях других западных лидеров звучала та же тема: 12 сентября канцлер ФРГ Герхард Шредер назвал совершенные накануне теракты «объявлением войны всему цивилизованному миру», а 8 октября глава Консервативной партии Великобритании охарактеризовал «Аль-Кайеду» как организацию, «посвятившую себя истреблению цивилизации».

События 11 сентября 2001 года потрясли мир. Они же заставили нас сфокусировать внимание на том, что мишенью террористических атак были не только и не столько два современных высотных здания, и даже не жизни ни в чем не повинных офисных служащих, а нечто более неосязаемое и трудноопределимое. В столь серьезных обстоятельствах у нашего политического руководства появилась необходимость обратиться к чему-то высокому и величественному, чему-то, способному в своей неколебимости противостоять чудовищ-

ному преступлению. Искомый столп силы должен было воплощать собой главное: ценности нашего общества и его традиции, его текущее состояние и его историю. Коль скоро «цивилизация» — слово, в котором заключены все эти смыслы, именно цивилизация оказалась тем, что мы решили защищать, идеей, за которую почувствовали необходимость сражаться.

Последние полвека понятие цивилизации лежало большей частью в стороне от общественных дебатов, оно хранилось где-то на задворках нашего коллективного сознания. Трагедия 11 сентября и ее последствия неожиданно вывели эту привычную, хотя и не до конца ясную идею на первый план. Катастрофические события обычно настраивают умственный взор на резкость: апеллируя к идее цивилизации в столь драматическое и опасное время, наши лидеры затронули важный, пусть и редко дающий о себе знать элемент нашего мировоззрения, при этом продемонстрировав, сколь принципиальную роль он в нем играет. Хотя цивилизация представляет собой отражение того, что мы есть и что для нас ценно, мы не привыкли задаваться вопросом о том, что она действительно для нас значит. Теперь, когда идея цивилизации вновь оказалась в центре внимания, ей не миновать более вдумчивого изучения: если война против террора есть война за цивилизацию, мы нуждаемся в четком понимании того, что же это такое — цивилизация.

Исследование западной цивилизации, которому посвящена эта книга, потребовало свежего взгляда на события нашей общей истории и ее наследие. Однако прежде чем приступить к самой истории, в этом кратком прологе хотелось бы отразить прошлое и нынешнее понимание цивилизации, привести причины, по которым нам необходимо пересмотреть свое представление о ней, и изложить доводы в пользу исторического подхода. Если мы хотим выяснить подлинное значение цивилизации, нам с самого начала предстоит уяснить, что «цивилизация» и «западная цивилизация» — совсем не одно и то же. Сколь бы часто политики ни делали вид, что первое

подразумевает второе, совершенно очевидно, что ценности жителей Запада многим отличаются от ценностей других народов — не исключено, что и саму идею «ценностей» следует отнести к западным изобретениям. Цивилизация, о которой заговорили после 11 сентября 2001 года, была не ацтекской, не китайской и не полинезийской, а совершенно однозначно западной. Цивилизация, которую мы должны попытаться понять, — наша собственная и ничья другая.

Мы склонны видеть в западной цивилизации наследие античной и христианской эпох, дошедшее до нас через Возрождение, научную революцию и Просвещение. Ее дух воплощен в прекрасных зданиях — ионических храмах, готических соборах, небоскребах эпохи модерна; в замечательных полотнах, в пьесах Софокла и Шекспира, в романах Сервантеса и Толстого, в научных открытиях Галилея и Эйнштейна. Мы подсознательно понимаем, что цивилизация не есть «Гамлет», пейзаж с горой Сен-Виктуар или Крайслер-билдинг, что она не тождественна даже Шекспиру, Сезанну или Уильяму Ван Аллену — их творцам. Она, скорее, напрямую связана с духом, их направлявшим, и с обществом, которое позволило ему проявить себя таким образом. Этот дух трудно зафиксировать, и тем не менее мы верим, что между культурными иконами Запада и ценностями западного общества существует некая связь, объясняющая, почему и то и другое является воплощением западной цивилизации.

Одобрительно кивая словам западного политика, который говорит, что наша цивилизация всегда подразумевала «открытость, терпимость, свободу и справедливость», мы одновременно не можем не уловить наличие потенциальной проблемы. Всеобъемность понятия цивилизации, которая делает его удобным для политиков, разумеется, избирательна: им нужно, чтобы цивилизация ассоциировалась у нас с толерантностью, свободой выражения и демократией, а не с бедностью, распадом семьи, неравенством, преступностью и наркоманией. Если цивилизация просто означает все хорошее, мы можем без задней мысли вести войны от ее имени; но та-

кое положение вещей приемлемо, лишь если мы согласны отделить ценности, теоретически нами исповедуемые, от исторической практики западного общества, от результатов его деятельности.

Здесь приходится делать выбор. Если мы рассматриваем цивилизацию в чисто идейном аспекте, ничто не мешает приписать ей все возможные добродетели, оставив противникам все возможные пороки. Однако когда мы говорим о защите нашей цивилизации, мы подразумеваем не столько нынешний образ жизни, сколько те ценности, которые мы с благодарностью унаследовали от предшествующих поколений. Цивилизация — не просто копилка позитивных идей, это совокупность порожденных ими исторических эффектов. Но ведь мы прекрасно знаем историю западного мира — как невыносимо много было в ней горя и страдания, несправедливости и жестокости по отношению и к своим, и к чужим. Есть ли место в нашем понятии цивилизации для войн, пыток, рабства, геноцида? И если мы не колеблясь выносим их за рамки определения цивилизации, не рискуем ли мы утратить способность понимать подлинное значение собственного прошлого? Стремление по-настоящему понять цивилизацию вынуждает нас спросить себя, не обладают ли славные и позорные моменты истории, неизменно сопутствующие друг другу на ее страницах, некой необходимой взаимосвязью. Может быть, свобода всегда подразумевает эксплуатацию человека человеком, терпимость всегда имеет балласт в виде чувства собственной исключительности, а изобилие возможностей неотделимо от эгоизма и жажды наживы? Так или иначе, поиск смысла цивилизации должен начаться с распутывания клубка нашей собственной истории.

Хотя само слово «цивилизация» появилось на свет в XVIII веке во Франции, западная идея цивилизованного общества уходит своими корнями в античность. Именно греки классического периода начали считать себя не просто отличными от других народов, но и превосходящими их. Если в устах Ге-

родота, писавшего в середине V века до н. э., слово «варвары» — всего лишь удобное общее имя для негреческих народов, то ко времени Аристотеля, столетие спустя, варвары и варварские народы уже характеризуются с точки зрения их специфических социальных признаков: обращения с рабами, меновой, т. е. не знающей денег экономики, — черт, вызывающих негативную оценку у цивилизованных греков. Благодаря своим культурным характеристикам варвары обнаруживают человеческую неполноценность по сравнению с греками, которые и в собственных глазах, и в глазах последующих поколений европейцев, предстают образцом цивилизованности.

Этимологически слово «цивилизация» происходит от латинского «civis» — гражданин. Хотя римляне использовали слово «cultura» (культура), а не «цивилизация», в качестве общего названия для духовной, интеллектуальной, общественной и художественной жизни, быть гражданином означало быть частью этой культуры. Римляне, как и греки, у которых они позаимствовали многие социальные установки, считали себя народом уникальной культуры. Два представления — о культуре и цивилизации — в ретроспективе слились в одно. Окруженные варварами, римляне также полагали своим долгом нести цивилизацию другим народам; как писал Вергилий:

Римлянин! Ты научись народами править державно —

В этом искусство твое! — налагать условия мира,

Милость покорным являть и смирять войною надменных!*

Идея цивилизации возродилась в трудах христианских хронистов VII и VIII веков, таких как Григорий Турский и Беда Достопочтенный. Из их описания предшествующих столетий явствовало, что христианство в ту пору, пока оно еще не восторжествовало над язычниками, постоянно находилось под

* Энеида. VI, 852–854. Перевод С. Ошерова под редакцией Ф. Петровского. — *Примеч. ред.*

угрозой истребления. В последующее время, благодаря церковной организации и письменной культуре, союзу церкви с такими всемогущими монархами, как Карл Великий, христианская ойкумена уже могла сознательно ставить между собой и западной цивилизацией знак равенства.

Предренессансный и ренессансный интерес к классическому миру подарил новую жизнь идее особой европейской цивилизации — уходящей корнями в дохристианское прошлое и существовавшей параллельно христианству. Признав в Софокле, Платоне, Вергилии и Сенеке своих духовных прародителей наряду с Христом и святым Павлом, жители западной Европы ощутили себя частью великой традиции. Открытие Нового Света по ту сторону Атлантического океана, знакомство со множеством «примитивных» народов, населяющих все уголки Земли, делало европейцев XVI века в их собственных глазах еще больше похожими на древних греков и римлян — людей цивилизации, окруженных варварами.

К XVIII веку, когда слово «цивилизация» вошло в обиход, европейские интеллектуалы были преисполнены оптимистической уверенности относительно предназначения и благодати всего «Божьего творения», а также относительно способности рационально мыслящего существа рано или поздно упорядочить знание и решить все стоящие перед человечеством проблемы. Стало укореняться представление о цивилизованном поведении — рожденный во Франции идеал политеса (*politesse*) начал превращать землевладельцев, купцов и ростовщиков (прежде находившихся во власти дурных привычек, например привычки жить и питаться под одной крышей со своими работниками) в благородную знать с пусть и не изысканными, но вполне приемлемыми манерами. «Благородная» культура XVIII века казалась достойным возрождением аттического и римского духа, и хотя во Франции просветительский оптимизм не смог пережить ножа гильотины и кровавого побоища наполеоновских войн, он вновь расцвел в следующем столетии в джентльменских клубах Англии. В наступивший Век прогресса, который совпал с эпохой подъема

Британской империи. Маколей, Карлейль, Бокль объясняли читателям, что чудеса Древней Греции и Древнего Рима образуют непрерывное целое с чудесами Венеции и Флоренции эпохи Возрождения, а также с чудесами британской индустриализации. В 1857 году викторианский историк Генри Томас Бокль изобразил цивилизацию в виде великой исторической цепи, уже первое звено которой, цивилизация древнего Египта, «представляла разительный контраст варварству, господствовавшему среди африканских народов». Следующим после Египта звеном оказывалась Греция; далее, пройдя Римскую империю, Возрождение, Реформацию и Просвещение, цепь подводила прямым образом к славным достижениям соотечественников Бокля. Те народы, что находились в стороне от этой священной оси, признавались варварами, а те, что находились на ней, — носителями цивилизации. Цивилизация в дни Бокля не только сама задавала свои географические границы, она считала себя наделенной миссией «подавлять, обращать и цивилизовывать» остальное человечество — с этой точки зрения процесс колонизации всего мира представлялся некоей благотворной смесью проповедничества и морального торжества. Провести черту между цивилизацией и нецивилизацией не составляло труда, пусть даже в случае с индийскими махараджами, наследниками Великих Моголов, или китайскими и японскими императорами приходилось прибегать к некоторым ухищрениям. Цивилизация была атрибутом людей белого цвета кожи и христианского вероисповедания, атрибутом же прочих было варварство.

Представление о западной цивилизации как о единой (пусть кое-где разорванной) исторической цепи лишь укрепилось благодаря вновь ожившему интересу к миру античности и Возрождения. В XVIII и XIX веках английские, французские, голландские и немецкие ученые мужи благородного сословия отправлялись в вояж по континенту, особенно по его южной части, чтобы собственноручно полюбоваться чудесами прошлого. Глиняные амфоры, статуи, барельефы, картины и мозаики переправлялись на север в огромных количествах, в

сотнях североевропейских городов строились музеи для размещения сокровищ, вывезенных из Египта, Греции, Рима и Флоренции. Повинуясь общему поветрию, представители европейской элиты заказывали портреты, изображавшие их в римских тогах и лавровых венках, строили дома, имитирующие греческие храмы, брали девизом своих клубов и полков латинские изречения. Политические мыслители возродили греческие слова, такие как «демократия», а Дж. С. Милль даже заявлял, что «Марафонская битва важнее для английской истории, чем битва при Гастингсе». Цепь истории продолжала коваться: новаторские изменения в итальянском искусстве XV века получили название Ренессанса, то есть Возрождения, каковой титул закрепил за ними в 1869 году влиятельнейший труд Якоба Бурхардта — «Культура Италии в эпоху Возрождения». В 1890-х годах европейская колонизация приобрела невиданные ранее масштабы, и стало казаться, что недалеко то время, когда плоды западной цивилизации начнет вкушать весь мир.

Этот благостный образ цивилизации был безжалостно сметен Первой мировой войной, итоги которой — десять миллионов погибших и неисчислимое количество искалеченных — продемонстрировали всю его иллюзорность. Война 1914–1918 годов была конфликтом либо между коалициями цивилизованных наций, либо между цивилизованными нациями (Франция, Британия, Америка) и нациями, внезапно обнаружившими свое варварство (Германия и Австрия). Так или иначе, она была таким же бесспорным порождением западной цивилизации, как паровой двигатель или микеланджеловский «Давид».

Как могла цивилизация дойти до такого состояния? Как могло случиться, что миллионы европейцев ждала столь бессмысленная гибель? Самый убедительный ответ на эти вопросы дали не историки и не философы — он пришел с совершенно неожиданной стороны. Зигмунд Фрейд, чья концепция человеческой психики уже тогда начала завоевывать всеевропейское признание, предложил миру отрезвляюще

пессимистический взгляд на вещи. «Дело не в том, что мы пали так низко, дело в том, что мы никогда не были так высоко, как думали», — сказал он о Первой мировой.

Человеческое существо, утверждал Фрейд, находится под влиянием низменных, примитивных инстинктов, унаследованных от животных и первобытных предков. Цивилизация обуздывает животную дикость, заключенную в каждом из нас, но избавиться от инстинктов она не способна. Время от времени ее хрупкая оболочка рвется и люди совершают акты чудовищного насилия. Фрейдовское объяснение катастрофы Первой мировой войны установило прочную взаимосвязь между личной психологией и природой цивилизации и сделало психоанализ главным инструментом ее исследования. Границы цивилизации более не пролегали на карте, отделяя Западную Европу и Северную Америку от остального мира, или в пространстве истории, выгораживая особое место для Египта, Греции и Рима. Они проходили внутри нас, мы сами стали одновременно территорией варварства и цивилизации.

Теории Фрейда восторжествовали над представлениями XIX века о цивилизации как благой силе и свергли с пьедестала идею человеческого прогресса. Впрочем, несмотря на непривычность и кажущуюся новизну, они лишь возвратили европейцев к радикальному пессимизму святого Августина, отца церкви, жившего в V веке. Согласно католическому догмату, появляясь на свет, мы несем в себе грехи, унаследованные от Адама и Евы. И хотя крещение снимает с нас это бремя, человек готов грешить при любой удобной возможности. Слова Августина: «Уберите границы, созданные законами, и бесстыдная склонность людей вредить, их неодолимое желание потакать своим прихотям возьмут свое в полной мере» — могли быть написаны Фрейдом. Его взгляды на цивилизацию, созвучные Августину, переключали внимание с общества на отдельную личность, и с тех самых пор, желая что-либо понять о природе войны, жестокости, прогресса, ненависти, созидания и разрушения, в первую очередь мы искали ответ во внутреннем мире человека.

Историки, мыслящие более традиционно, пытались объяснить события смутного времени в европейской истории, строя модели жизненного цикла цивилизаций, их расцветов и падений. И «Закат Европы» Освальда Шпенглера, опубликованный в 1918 году, и последовавшая за ним в 1934 году первая часть многотомного «Исследования истории» Арнольда Тойнби вдохновлялись верой предшествующего столетия в универсальные исторические законы. Задачей историка было продемонстрировать, как эти законы работают на примере цивилизаций.

К началу XX века западная цивилизация оказалась в противостоянии с еще одной варварской силой — массовой культурой. В 1920-х и 1930-х годах европейские интеллектуалы с отчаянием заговорили о смертельной угрозе, которую представляет растущая масса городского населения и ее низкие культурные запросы. Сберечь цивилизацию могла лишь немногочисленная элита творцов и ценителей, культивирующая искусство, недоступное восприятию большинства. В глазах тех, кто относил себя к этой элите, цивилизация становилась уделом узкого круга избранных.

Казалось бы, Вторая мировая война, холокост, сталинский террор заставят нас забыть о прогрессе и благотворном эффекте цивилизации окончательно. Но в действительности произошло обратное. Ужасы нацистской эпохи, поставившие под сомнение само понятие «человеческого», парадоксальным образом реанимировали прежнюю веру в то, что люди могут и должны отыскать путь к более совершенному мироустройству. Отчаянно желавшие видеть в мире что-то хорошее, вдохновленные разгромом нацизма, жители Запада в течение первых послевоенных десятилетий обратились в своем сознании к проверенным рецептам. Стараясь по возможности избегать банальных деклараций о прогрессе, историки культуры все увереннее делились своим преклонением перед «величием» художников и философов исторического Запада, восторгами перед красотой произведений изящного и прикладного искусства и все меньше чувствовали необхо-

димось задаваться вопросом, не было ли все это куплено слишком дорогой ценой. Когда в 1969 году Кеннет Кларк озаглавил свой документальный телесериал, посвященный европейскому искусству, «Цивилизация», он сознательно выставлял подлинными плодами цивилизации не войны и истребление целых народов, а великих художников и их прекрасные произведения.

Смысл, который господствующая культура западного мира вкладывает в слово «цивилизация», по прошествии стольких лет по-прежнему далек от ясности. С одной стороны, если взять Соединенные Штаты, основатели страны и авторы конституции были людьми Просвещения, глубоко укорененными в классической традиции; надо вспомнить также, что европейские поселенцы использовали идею «цивилизаторской миссии» в качестве обоснования захвата Американского континента и уничтожения его коренного населения. С другой стороны, Америка была основана в противовес тогдашним европейским ценностям и состоялась, особенно после волн массовой иммиграции конца XIX века, как общество иного типа. Слово «цивилизация» в устах европейца звучало во многом как вызов американским идеалам — его элитарность и ностальгия противопоставлялись американскому популизму и устремленности в будущее. Да и массовая культура — предмет горького сарказма европейских интеллектуалов в XIX и XX веках — тоже являлась преимущественно американским изобретением. Только после Второй мировой, когда Америка сделалась ведущей державой западного мира, эти противоречия впервые стало возможным как-то разрешить. Цивилизация стала более демократическим, менее элитарным понятием (перемена, немало обязанная любви нацистских вождей к «высокой культуре»), но одновременно его смысл сделался более всеобъемлющим и расплывчатым — под него теперь подпадало все общество, а не только культура верхушки. Эта расплывчатая всеохватность возвращает нас к тому, с чего мы начинали, — к новой жизни понятия, которое, утратив, казалось бы, какую бы то ни было ясность, очевидно сохра-

нило чрезвычайно важную политическую и эмоциональную нагрузку.

Сегодня, в начале нового века, две главные модели цивилизации — боклевская «великая традиция» и фрейдовское (с отголосками доктрины грехопадения) обуздание животного начала в человеке — по-прежнему с нами. Образ светоносной нити цивилизации, принизывающей окружающую тьму варварства, остается выразительным символом на службе историков. Так, в 1999 году Кристиан Майер заметил, что узкий пролив между материком и островом Саламин, в котором афиняне разгромили персидский флот, был «игольным ушком, через которое пришлось пройти мировой истории», а Кеннет Кларк, говоря о периоде, когда христианство «обрело убежище в местах, подобных Скеллиг-Майкл — островерхому утесу посреди моря, в восемнадцати милях от ирландского побережья», — назвал его временем, когда цивилизация «шла по краю обрыва». Истончаясь до предела, в такие моменты золотая нить все-таки умудрялась не оборваться, и благодаря им наша связь с великой традицией не только сохранялась, но и обнаруживала себя с еще большей наглядностью.

Фрейдовские теории тоже были взяты на вооружение историками, пытавшимися объяснить факты бесчеловечности с помощью образа прирученного зверя, время от времени срывающегося с непрочного поводка цивилизации. Не так давно, обсуждая русскую революцию 1917 года и последующую гражданскую войну, Орландо Файджес писал: «Исступление нескольких предшествовавших лет будто сорвало с человеческих отношений тонкую оболочку цивилизации и обнажило примитивные зоологические инстинкты. Людей вновь потянуло на запах крови».

Впрочем, образ «внутреннего зверя» пригодился не только историкам. Для деятелей искусства, кино и в особенности тех, кто эксплуатирует в своем творчестве тему преступности и преступления, фрейдовская идея сдерживаемого силами цивилизации животного начала всегда была исполнен-

ной непреходящего очарования. Авторы криминального жанра, если воспользоваться словами Ф. Д. Джеймс, «показывают обреченность наших попыток перебросить спасительные мостики через бездну социального и психологического хаоса».

Как бы то ни было, в последние несколько десятилетий две привычных концепции цивилизации — вместе с убеждениями, которые их подпитывают, — перестали казаться столь уж естественными. Радикально изменились наши методы изучения истории, традиционные способы подачи исторического материала, блестяще спародированные еще в 1930 году Селларом и Йитманом в книге «1066 год и все остальное», сменились гораздо более разносторонним и нюансированным отношением к прошлому. Будь то в форме книг, фильмов, теле- или радиопрограмм, спрос на историю стал еще более активным. Однако обобщения типа «Наполеон был благом для Франции, но злом для остальной Европы», «Сталин был чудовищем» или «Елизавета I была "выдающейся" королевой» нас больше не удовлетворяют. Жадно потребляя информацию, сюжеты, документы, свидетельства очевидцев, мы хотим сами принимать решение о том, что все это значит. Мы уже усвоили, что события никогда не оцениваются непредвзятым взглядом и что собственные предубеждения историка являются важнейшим фактором, влияющим на способ подачи. В ответ историки отказались от претензии на объективность и бесстрастность; вместо того, чтобы ограничиваться рассказом о результатах своей работы, они демонстрируют саму эту работу, делятся с нами своими методами, трудностями, сомнениями и увлечениями. На этом фоне попытка учреждения обновленного канона «великих», предпринятая Кеннетом Кларком, уже не вызывает доверия. Что в 1969 году казалось смелым и новаторским ходом, сегодня выглядит как последнее издыхание аристократического мироощущения.

Популярность новых, более ясных и близких здравому смыслу трактовок традиционных сюжетов сопровождается растущим интересом к сюжетам, либо плохо освещенным в

прошлом, либо вовсе необычным для исторической науки. Треска, торговля специями, голландская тюльпановая мания, открытие метода измерения географической долготы, рыбный рацион жителей древних Афин — все это и тысячи других феноменов обретают сегодня свою историю и увлеченный интерес публики. Мы также стремимся узнать как можно больше об истории культур, лежащих вне великой традиции: Индии, Китая, американских индейцев, полинезийцев, австралийских аборигенов.

Кроме того у нас развился вкус к археологии исторического и доисторического прошлого, благодаря которой мы получили возможность прикоснуться к богатой, но прежде малоизученной культуре наших далеких предков. Исследования на основе митохондриальной ДНК, палеоклиматических и палеоботанических данных, геофизических аномалий и изотопов, сохранившихся в ископаемых человеческих зубах, открыли множество новых увлекательных аспектов нашей истории.

Когда у широкой публики возникает потребность в том, чтобы ученые демонстрировали источники своей работы, когда желание знать прошлое заводит в самые глухие закоулки истории, золотая нить традиции становится все больше похожа на реку времени, у которой есть множество притоков и заводей, широких разливов и узких стремнин. Или, возможно, на огромную скатанную в моток сеть, в которой связи идут в любом направлении. В свете всего этого исторического многообразия представление о зависимости европейской цивилизации, или даже цивилизации как таковой, от непрерывности одной узко очерченной традиции, начинает выглядеть немного нелепым.

Возможной реакцией на такое положение дел стала попытка рассказать о цивилизациях во множественном числе. В историях, написанных Фернаном Броделем («История цивилизаций») и Фелипе Фернандесом-Арместо («Цивилизации»), вы не найдете привычного поиска фундаментальных исторических закономерностей, а такие труды, как вышедший в 2002 го-

ду сборник «Разные миры: вместе и порознь» коллектива авторов во главе с Робертом Тигнором, ориентируются на растущее число университетских курсов всемирной истории в Америке, которые стараются изначально обойтись без предрассудков евроцентризма. «Столкновение цивилизаций» (1996) Самюэла Хантингтона изображает мир состоящим из нескольких несхожих и претендующих на будущее могущество цивилизаций. В книге «Европа: история», опубликованной в том же 1996 году, Норман Дэвис по-новому взглянул на прошлое Европы, доказывая, всего лишь десятилетие спустя после падения «железного занавеса», что развитие западной и восточной частей континента могут и должны рассматриваться в единой перспективе.

С дисциплинарной точки зрения еще одним фактором, способствовавшим отмиранию старой веры в нравственное и интеллектуальное превосходство европейцев, стало возникновение жанра, который можно было бы назвать экологической историей. Американский ученый и историк Джаред Даймонд убедительно продемонстрировал, как география, топография, климат, океанские течения и рисунок береговой линии влияют на развитие самых разных обществ, причем не «в принципе», а совершенно конкретными способами, поддающимися изучению и измерению. Согласно такому подходу, европейцам просто повезло оказаться в месте, способствовавшем развитию технологий, с помощью которых они затем смогли покорить остальной мир.

Если идея великой традиции осталась на обочине исторической науки, что произошло с возрожденной Фрейдом идеей Августина, согласно которой цивилизация нужна для обуздания животного начала в человеке? Примеры из поведения первобытных людей, приводившиеся самим Фрейдом в подтверждение теоретических построений, оказались палкой о двух концах — впечатляющими поначалу, но ненадежными в свете серьезного научного разбирательства. Такое разбирательство показало, что по большей части фрейдов-

ская выборочная антропология вела к ложным обобщениям. Акцент на бессознательном имел плачевные результаты не в силу ложности самого понятия, а в силу того, что Фрейд использовал идею для объяснения всех без исключения аспектов человеческой жизни. К тому же, несмотря на популярность, которой психоанализ стал пользоваться среди подверженного легким невротическим расстройствам или даже вполне здорового, но неизменно обеспеченного слоя населения, неспособность психоанализа излечить серьезные психические заболевания неминуемо подточила доверие к теориям его автора.

Тем не менее, если мы перестали верить фрейдовской концепции цивилизации, как объяснить всю жестокость войн XX столетия и чем заменить столь удачную на первый взгляд гипотезу, которую можно найти у основателя психоанализа? После зверств Первой мировой эта гипотеза и впрямь могла казаться правдоподобной европейцам, однако в последнее время историки выработали иной подход к человеческому аспекту ведения военных действий. Так, согласно Джону Кигану, в период между разгромом Наполеона в 1815 году и началом Первой мировой в 1914 году Европа успела превратиться в огромный военный лагерь. Несмотря на отсутствие видимых геополитических причин — в 1815 году Европа находилась в начале долгого периода относительного мира и спокойствия, — по прошествии столетия, «на пороге Первой мировой почти каждый дееспособный европейский мужчина призывного возраста имел среди своих личных бумаг солдатское удостоверение, в котором сообщалось, куда и в какой срок он должен явиться в случае всеобщей мобилизации... В начале июля 1914 года в Европе стояло под ружьем порядка четырех миллионов человек; к концу августа их число увеличилось до двадцати миллионов, и многие десятки тысяч уже погибли».

Культура милитаризма, существовавшая параллельно гражданскому обществу, играла в этот период как никогда важную роль — в политике война стала автоматической ре-

акцией на любые осложнения. После того как великие державы начали боевые действия в 1914 году, наличие в распоряжении их правительств многомиллионного резерва мужского населения, а также новейших видов артиллерии и стрелкового оружия, появившихся благодаря качественному скачку сталелитейного производства, сделало массовые боевые потери неизбежными. Кроме того, Киган демонстрирует, что идеал славной битвы, образ благородной смерти на поле брани, желание уничтожить противника суть элементы характерно западного представления о том, что такое вооруженное противостояние — смертоубийственный конфликт подобных масштабов просто не мог возникнуть в других культурах. С точки зрения историка мировые войны были не обращением европейских народов в состояние варварства — а порождением менталитета, сознательно культивируемого на протяжении всего предшествующего столетия.

Подобный новый взгляд на историю отражает изменение наших представлений о мире. Однако во всех своих вариантах он не отвечает на вопрос о смысле цивилизации. Мало того, он делает ответ еще более трудным. Новое мировосприятие принесло с собой новые неразрешимые проблемы. Например, мы постепенно пришли к убеждению, что у так называемых примитивных обществ есть полное право продолжать вести свой образ жизни, право, ограждающее их от нашего вмешательства. Чем в этом случае предстает цивилизация, которая занималась и продолжает заниматься регулярным уничтожением таких обществ, столь же рутинно изобретая этому моральные, религиозные и исторические оправдания? Если наша история есть неотъемлемая часть цивилизации и если последняя является выражением наших непреходящих ценностей, то что, в случае конфликта истории и ценностей, мы имеем в остатке?

Мы можем подступить к ответу на этот вопрос, взглянув на то, чем сегодняшнее поколение отличается от предшественников, и попытавшись понять, почему наше и их миро-

воззрения столь несхожи. Я уже упоминал о том, что понимали под цивилизацией в прошлом, и привел несколько причин, по которым эти концепции оказались несостоятельными. Остается объяснить, в чем заключаются характерные признаки настоящего и как они влияют на нашу нынешнюю концепцию цивилизации.

В 1930-е и 1940-е годы у людей появилась полная ясность относительно того, что именно отстаивают западное общество и западная цивилизация. Были вы социалистом или консерватором, для вас цивилизация являлась тем, что пытались уничтожить Гитлер, Муссолини и японский император. Поэтому задачей стало элементарное самосохранение. Как когда-то вера в христианского Бога уступила место вере в прогресс, в свою очередь последняя на тот момент полностью сосредоточилась в желании добиться полного разгрома нацизма. Сражавшимся на «неправильной» стороне все сделалось настолько же ясно — когда закончилась война. Соответственно, первой целью послевоенных лет виделось не воссоздание прежнего общества, а строительство его на новых основаниях. Но тем, кто пережил войну, пришлось пожертвовать огромным количеством эмоциональной и культуросозидающей энергии, и после краткого периода заигрывания с радикализмом Запад в 1950-е годы погрузился в политический и культурный консерватизм — подчеркнуто довольствуясь тем, что имеет, охраняя свою статичность, пугаясь любых перемен.

Отчасти 1960-е годы стали реакцией на социальную атрофию, характерную для первых послевоенных десятилетий. Если военное поколение было довольно самим фактом того, что ему удалось выжить, было благодарно возможности строить жизнь в мире и процветании, то их взрослеющим детям требовалось иное. Ощущение борьбы за сохранение цивилизации трансформировалось в новое убеждение, по которому именно существующее общество с его жесткой иерархической структурой, преклонением перед вышестоящими, психологической установкой, выражаемой формулой «доктору лучше

знать», — именно оно несло ответственность за сползание Европы в войну. Недаром на Нюрнбергском процессе, в ответ на недоумевающий вопрос всего мира: «Как могли жители цивилизованной Германии оказаться способными на такие кошмарные злодеяния?» постоянным рефреном звучала фраза: «Я только исполнял приказы». Эти ужасные слова стали обратным паролем нового поколения — отныне никто не мог отдавать приказы и никто не должен был их исполнять. Европа избавлялась от милитаризма, который преследовал ее на протяжении полутора веков.

Сегодня трудно представить себе, с каким безусловным доверием в первые послевоенные годы относились большинство людей к существующим социальным институтам, какой силы шок они испытывали сообща и по отдельности, наблюдая, как один за другим «столпы общества» обнажали свое лицемерие, корыстолюбие и продажность. Суэцкий кризис, скандалы с Профьюмо, Поулсоном и талидомидом, требования гражданских прав для католического населения Ольстера, ряд несправедливых судебных решений — в Британии все эти события покончили с нашими иллюзиями и нанесли смертельный удар по прекраснодушным представлениям о существующем порядке.

В Америке крушение иллюзий было еще масштабнее и, как оказалось, имело более серьезные последствия. Благодаря Вьетнамской войне бессмысленную жестокость правительства ощутила на себе каждая американская семья. Если движение за гражданские права раскрыло миру грязные секреты американской политики — узаконенную сегрегацию чернокожего населения, фактическое отрицание человеческого достоинства, — то резня в Ми Лай, убийство Мартина Лютера Кинга, стрельба по мирной демонстрации в Кентском университете, фотографии белых полицейских, избивающих черных манифестантов в Алабаме, — эти и аналогичные события служили постоянным отталкивающим примером для взрослеющего поколения американцев. Схожие настроения рождались у молодежи во Франции, Германии и Италии, а

после подавления Пражской весны 1968 года улетучились и последние остатки преклонения перед советской альтернативой западному общественному строю.

Пока послевоенная молодежь с отвращением наблюдала, как старый порядок пытается навязать себя новому миру, предшествующему поколению определенно внушали не меньшее смятение выходки детей — их неуважение к тому, что пришлось пережить отцам, уверенность в своем праве на материальные блага, беззаботное попрание святынь прошлого. В 1969 году полные залы в Лондоне собирала пьеса Джо Ортона «Что видел дворецкий», в которой одной из центральных деталей реквизита была банка с заспиртованным пенисом Уинстона Черчилля. Подобное святотатство простиралось на все, что связывалось с прошлым и являлось предметом почитания, — на искусство, архитектуру, политику, армию, образование, культуру. Казалось, грехи прошлого настолько велики, что для очищения от них требуется не меньше, чем тотальная дезинфекция общества. Все должно быть выброшено на свалку истории, чтобы все можно было построить заново.

Эта социальная трансформация происходила одновременно с неожиданным ростом благосостояния, особенно в Западной Европе (Соединенные Штаты почувствовали его еще в 1950-е годы). Пренебрежение авторитетами и стремление к немедленному удовлетворению желаний лишь подстегивалось изобилием новых и дешевых товаров: виниловых пластинок, автомобилей, одежды, транзисторных приемников, фотоаппаратов, телефонов, цветных журналов, таблоидов и, что важнее всего, телевизоров.

В 1960-е годы технические новшества не только предлагали человеку более увлекательную и разнообразную гамму впечатлений, но и способ ухода из-под действия норм социального общежития. Семьям больше не требовалось вечерами у каминов развлекать себя домашней самодеятельностью в виде, например, нескладного исполнения младшей дочкой популярных мелодий на пианино. Благодаря центральному

отоплению и портативным проигрывателям и радиоприемникам из каждой комнаты в доме теперь можно было сделать личный развлекательный центр. Спальня подростка, когда-то холодное помещение, где он обитал только в ночные часы, превратилась в уютное гнездышко с плакатами и фотографиями на стенах, с мерцающими приборами, транслирующими музыку и информацию со всего света. Общность семейной жизни отходила на второй план, уступая место личному удовольствию и новому опыту «удаленной общности» — общности потребителей одного и того же продукта индустрии развлечений. Развитие техники влекло за собой рост производства и покупательной способности, который в свою очередь делал появляющиеся на рынке новшества еще дешевле и еще недолговечнее.

К середине 1960-х годов радостный энтузиазм, связанный с возможностью больше зарабатывать и больше тратить, начал приедаться, прежде всего самой молодежи, детям новой социальной либерализации. Контркультура, сформировавшаяся как оппозиция Вьетнамской войне, начала отворачиваться от потребительского индивидуализма в поисках новой духовности и нового чувства общности. Хотя это движение часто считают воплощением шестидесятничества, в действительности оно являлось попыткой вернуться к эпохе, могильщиком которой как раз и стал материализм 1960-х годов. Как оказалось, у контркультуры было слишком мало шансов выстоять перед натиском батальонов мира коммерции, а также перед непосредственными радостями приобретения и обладания. Призыв движения хиппи к новой духовности в условиях массового торжества консюмеризма остался без ответа. Мы выбрали супермаркет — раз и навсегда. Если подходить к этому с точки зрения сказанного ранее, такой выбор был не отказом от изменений, произошедших в 1960-е годы, а прямым их результатом.

Сочетание консюмеризма, материального процветания и неверия в существующий социальный порядок сильно ослож-

нило наши отношения с прошлым. Нам будто дали ключи от дома с сокровищами и одновременно рассказали, как и где эти сокровища были награблены. Не желая отказываться от благосостояния, мы одновременно хотим знать, как наш мир стал таким, каков он есть, — и нам не по себе от многого, что мы уже выяснили. Истории о кровавой эксплуатации остального человечества, разрушении других культур, истреблении народов, населявших привлекавшие нас земли, — все это с готовностью впитывалось поколением, чье недоверие к существующему порядку заставляло ожидать только худшего. Процесс вскрытия язв продолжается по сей день: геноцид индейского населения Квебека, финансирование британской промышленной революции за счет доходов от работорговли, пытки, которым французская армия подвергала алжирских пленников, издевательства над иракцами в тюрьме «Абу-Грейб» — кажется, не проходило недели, чтобы мы не узнавали о новых злодеяниях, добавляющихся к уже известным и подтверждающих наши самые худшие подозрения. Иногда складывается впечатление, что самобичевание превратилось в навязчивое состояние, что теперь мы приветствуем плохие новости заведомым согласием, видя в них подтверждение беспросветной картины зла, которое принесла в мир западная цивилизация. Да, отдельные рассказы о добрых делах и спасении людей по-прежнему остаются вплетенными в нашу историю, но они только подчеркивают общее гнетущее ощущение. Более того, всякий героический поступок рождает подозрение в наличии тайных мотивов у его автора — подозрение, которое вскоре подтверждается благодаря рьяным усилиям исследователей. Кеннеди волочился за женщинами, Черчилль был несносным и бесцеремонным, Ньютон — нестерпимым эгоистом, Джефферсон изменял жене, Харди был мошенником, Ларкин — извращенцем, и так далее, и так далее, и так далее. Даже про беспорочного Альберта Швейцера вспоминают, что он выступал против современных лекарств, и даже мать Терезу обвиняют в том, что для нищих и больных в Калькутте она сделала больше вреда, чем добра.

Наверное, самую важную роль в изменении наших взглядов на цивилизацию играет растущее разочарование в наиболее могущественном западном символе веры — идее прогресса. Последние 60 лет страны Запада жили друг с другом в мире, их граждане пожинали плоды непрерывного роста благосостояния, развитие науки и техники усовершенствовало средства коммуникации, подарило множество бытовых удобств, увеличило продолжительность жизни, научило лечить многие заболевания, а прогрессивное законодательство закрепило и еще больше расширило сферу терпимости в отношении людей иной расы, пола и образа жизни. И тем не менее, несмотря на технический комфорт существования, мы кое в чем начинаем понимать иллюзорную природу своих достижений. Загрязнение окружающей среды, разрушение семейных и общественных связей, появление таких болезней, как СПИД, прогрессирующее распространение ожирения и психических расстройств среди подростков, почти неостановимый рост употребления «тяжелых» наркотиков, увеличивающийся разрыв между бедными и богатыми (как на Западе, так и между Западом и остальным миром), новые проблемы глобализирующейся экономики — все это суровые напоминания о том, что слова о прогрессе должны восприниматься с серьезными оговорками. К тому же у самого экономического процветания есть негативная изнанка, которая влияет на наш повседневный быт. Последние несколько десятилетий управленческие методы бизнеса и, шире, экономики нашли приложение во всех сферах человеческой жизни. И дело не только в том, что в государственном администрировании, школах, университетах, муниципальной жилищной политике, здравоохранении в той или иной мере воцарилась идеология менеджеров-технократов (вместе с их бессодержательным жаргоном). Дело в том, что нас постоянно настраивают на восприятие жизни как долгосрочного финансового вложения. Мы должны вкладываться — деньгами и усилиями — в образование, чтобы больше зарабатывать впоследствии (а также приносить больше пользы экономике страны), а по-

ступив на работу, мы должны постоянно думать о том, чтобы отложить больше средств на старость. Нам потребовалось несколько десятилетий экономического процветания, чтобы почувствовать на себе издержки заботы о непрерывном росте эффективности. Мы видим, что наших детей ждут годы упорной работы, которые не будут компенсироваться традиционными благами общежития и возможностью ощутить единство с природой — тем, что нам самим еще довелось испытать.

Теракты 11 сентября 2001 года и их последствия вновь посеяли сомнение в идее, которой тешили себя многие жители западного мира, — идее о том, что им суждено жить все лучше и лучше и ничто не в силах этому помешать. Угроза новых терактов, немедленные ограничения гражданских свобод, доводы в защиту применения пыток, огромное военное превосходство одной страны над всеми остальными, предположения о возможности использования тактического ядерного оружия и раскол внутри и между западных наций по таким вопросам, как право на «упреждающую войну», заставили задуматься о том, насколько надежны общественные институты, которые гипотетически должны служить опорой ценностей западного мира. Те, кто знаком с историей, помнят, с какой легкостью в 1920-е и 1930-е годы демократические ценности были отвергнуты во множестве демократических стран. Мы начинаем спрашивать: были ли эти шестьдесят лет мира и процветания результатом последовательной реализации либеральных ценностей или, наоборот, последние суть привилегия, которая даруется только непрерывным экономическим благоденствием? Не затуханию ли памяти о Второй мировой мы обязаны тем, что война вновь начинает восприниматься как инструмент государственной политики?

И какое место в этом меняющемся мировосприятии достанется искусству — бриллианту в короне нашей цивилизации? Если мы больше не верим Кеннету Кларку и его заверениям, что «великое» искусство есть предельное выражение цивилизации, каково наше собственное мнение? Не сделалось

ли благодаря тотальному господству популярных форм — поп-музыки, кино и телевидения — так называемое «высокое искусство» ненужным, лишенным общезначимости довеском? И если живопись, скульптура и литература столь часто кажутся сосредоточенными единственно на критике, высмеивании или прямом отказе от господствующих ценностей, то в каком смысле искусство является — если вообще когда-либо являлось — высшим выражением цивилизации?

Итак, мы не сумеем понять, чем в действительности является для нас цивилизация, пока не ответим на несколько трудных вопросов. Несоответствие между ценностями и историческими фактами; отсутствие согласия между приверженностью немеркнущему идеалу прогресса и реальностью таких катастрофических явлений, как технологизированная война и разрушение окружающей среды; конфликт растущего в нас недоверия к принятым авторитетам с верой в славные традиции; неуютное соседство уважения к другим культурам и желания привить остальному миру западные либеральные ценности; наконец, расхождение между нашим пониманием искусства как жизненно важной критики общества и, исторически, как наивысшего выражения цивилизации — все эти противоречия делают любую апелляцию к цивилизации, будь то к слову или к понятию, слишком рискованной и односторонней. И тем не менее, как я сказал в начале, цивилизация остается символом того, что мы больше всего ценим в нашем обществе. Мы не можем просто отмахнуться от нее на том основании, что все вмещаемые этим понятием противоречия лишают его смысла. — мы должны постараться его понять. А этого, считаю я, можно достичь только посредством рассмотрения всей западной истории с точки зрения современности: замечая взаимосвязи между ценностями и событиями, открывая контексты, в которых возникали идеи, сегодня принимаемые нами за данность, сводя воедино культурную, философскую, социальную и политическую эволюцию, оценивая расхожую мудрость и почитаемые авторитеты со здо-

ровой долей скепсиса. Но прежде чем приняться за такую историю, нужно сказать несколько слов о том, как мы вообще умеем смотреть на прошлое.

История как опирающееся на материальные источники исследование и истолкование прошлого — еще одно из понятий, родившихся в лоне западной культуры (изобретение истории будет вообще одним из первых сюжетов, которые нам предстоит изучить). Я уже говорил о том, что история рождается на перекрестье взглядов историка и его читателей и что у обеих сторон есть интересы, которые диктуют направление — исследования или восприятия. Теперь я добавлю, что, даже несмотря на недавнее расширение сферы интересов и методов, история по-прежнему пишется победителями. Любой человек, у которого хватает образования, денег или общественного положения, чтобы опубликовать книгу или статью или стать автором телепрограммы, добился успеха в западном обществе, и его точка зрения неизбежно отражает тот факт, что он воспользовался его благами. История Запада, написанная сбитым с толку калифорнийским наркоманом, которому грозит 40 лет тюрьмы за третий рецидив — кражу шоколадок в местном магазине, или сельским поденщиком, который всю жизнь безвыездно провел в родной галисийской деревне, выглядела бы совсем непохожей на то, что нам доводилось читать. Подобный документ никогда не появится на свет, и мы не способны породить его усилием мысли, однако нам следует помнить о его отсутствии.

То же самое касается исторической периодизации. Вордсворт как-то заметил, что поэзия «происходит из эмоции, вспомненной в состоянии спокойствия». История тоже пишется отнюдь не в пылу сражения. Действительно, у нас нет повествования о западной цивилизации, написанного в Орадурсюр-Плане или Аушвице в 1944 году, или в трудовом лагере на Колыме. Как бы выглядела история, если точка отсчета — настоящее — была бы настоящим адом? Мы никогда этого не узнаем, потому что, несмотря на последующие рассказы

переживших этот ад, история не может создаваться в такие моменты и в таких местах.

Кроме того, история, как и политика по выражению Гарольда Уилсона, есть «искусство возможного». Все, что говорят и пишут историки, опирается на материальные свидетельства, причем преимущественно — в письменной форме. Общества и культуры, не имевшие письменности, практически недостижимы для нас: великие эпохи западной цивилизации и многие ее аспекты остаются белым местом на исторической карте — либо потому что свидетельства о них не дошли до наших дней, либо потому что о многих своих занятиях нашим предкам не приходило в голову оставлять свидетельства. (Великой задачей европейской исторической науки последнего времени — я уже указывал на это — является реконструкция подобных темных эпох на основе археологических и других неписьменных источников.) И наоборот, приближаясь к настоящему, мы находим такое количество письменного материала, что историк рискует оказаться сбитым с толку.

Согласно кем-то высказанному предположению, популярность наблюдения за поведением и повадками птиц среди европейцев объясняется тем, что число видов пернатых здесь достаточно мало, чтобы поддерживать интересу «умеренных» натуралистов, и достаточно велико, чтобы обеспечить пожизненное занятие для орнитологов-фанатиков. Чем-то это напоминает ситуацию с выбором исторических сюжетов. Нас бесконечно влечет период с XVI по XVIII век — период, непосредственно следующий за распространением в Европе и остальном мире наборного книгопечатания. Эти столетия хранят массу неисследованного: официальные документы, личные письма, муниципальные учетные книги, а также безвестные политические памфлеты и периодические листки. Много уже прошло сквозь руки историков, однако всегда остается шанс, что в недрах давно лежащего под спудом толстого регистра или чьей-то переписки попадется нечто по-настоящему важное. К XIX веку романтика поиска подобных сокровищ

начинает сходить на нет — возникновение промышленных методов изготовления печатной продукции попросту обрекает историка на роль не столько открывателя, сколько сортировщика огромной массы документов. В XV веке и дальше в глубь истории документы, наоборот, слишком редки и в основном ограничиваются делами официальными; содержание жизни масс приходится вычислять с помощью искусной интерполяции скудного материала, и здесь шанс набрести на нечто новое близок к нулю.

История избирательна — на нее влияет точка зрения историка, его культурный и социальный багаж, время создания, доступность документов, связь с великими темами прошлого, наконец, то, каким она обладает потенциалом для новых открытий. И если нам не дано серьезно изменить маршрут нашего путешествия в прошлое, мы по крайней мере должны отдавать себе отчет о невидимых силах, нас направляющих.

Глава 1

В САМОМ НАЧАЛЕ

Доисторическое время и бесписьменные общества

Современный человек впервые появился на землях Запада около 40 тысяч лет назад. На этой границе между геологическим и доисторическим временем Европа пережила несколько оледенений, которые наложили глубокий отпечаток как на ее ландшафт, так и на флору и фауну. Первые люди перекочевали на материк не после окончательного отступления льда, а в межледниковый промежуток — история самых ранних европейцев есть история приспособления к постоянно меняющемуся миру. Первые современные люди прибыли в Европу из северо-восточной Африки и Ближнего Востока, где, судя по археологическим данным, жили уже 90 тысяч лет. Возможно, какое-то время они существовали бок о бок с неандертальцами, однако около 40 тысяч лет назад те вымерли, оставив *Homo sapiens sapiens* единственным представителем рода *Homo*.

Как и сегодня, Европа того периода состояла из нескольких природных зон. Ледовый покров на севере (и вокруг Альп) к югу сменялся обширным поясом тундры и степей, леса же занимали только узкую полосу средиземноморского побережья. Уровень моря был примерно на 120 м ниже современного, и на месте южной части Северного моря и западной Фран-

ции простирались огромные прибрежные равнины, образывавшие с нынешними Британскими островами непрерывную поверхность суши и вдававшиеся в океан. Несмотря на суровость зимы в полосе тундры и степи, эти просторы были местом обитания многочисленных стад травоядных: прежде всего северных оленей, также бизонов, диких лошадей, туров, а в самые древние времена — мамонтов и других «ледниковых» млекопитающих.

Весьма вероятно, что самые древние люди в Европе, архантропы, добывали себе пропитание поисками павших животных, однако уже неандертальцы и современные люди научились для этой цели убивать крупных млекопитающих. Охота — предприятие, сложность которого не стоит недооценивать: для такого животного, каким является человек (физически слабый, лишенный когтей примат), убийство даже самого малоподвижного травоядного представляет собой непосильную задачу в отсутствие орудий и некоторой доли организации. С пришествием современных людей начинают широко распространяться пластинчатые изделия из камня: скребки, резцы, наконечники, ножи, шила — в производстве орудий ранние европейцы демонстрируют замечательную изобретательность и сноровку. 33-тысячелетней давности изделия из кости и бивня показывают, с каким поразительным мастерством они умели вырезать, распиливать, затачивать и полировать доступные материалы.

Холодный климат означал, что людям, как и животным, на которых они охотились, поневоле приходилось быть сезонными кочевниками — продвигаться на север в летний период и отступать на юг в зимний. Вначале они, вероятно, не занимались охотой систематически, однако вскоре были найдены способы охоты, которые не так сильно зависели от удачи и которые в результате привели к переменам в социальной организации ранних людей. Уже 30 тысяч лет назад места обитания групп охотников-собирателей начинают подтягиваться к основным маршрутам сезонной миграции травоядных млекопитающих. К примеру, река Везер и долина Дордо-

ни находились на пути миграции северных оленей с летних пастбищ в районе Центрального массива на Атлантическую равнину, их зимнему ареалу. Костные останки, найденные в этих местах, как правило, по одному животному на каждую стоянку, указывают на систематическую эксплуатацию одного вида добычи. Человеческие сообщества становятся крупнее — на стоянках Ложери-От и Лоссель на юге Франции, в Дольни Вестонице, Виллендорфе и Костенках в Центральной и Восточной Европе жили десятки и даже сотни человек. Подобное расширение групп стало возможным благодаря большей оседлости — вместо того чтобы следовать за стадами, теперь люди могли поджидать их в определенных местах. Это позволило селиться в пещерных системах, а также на открытой местности, устраивая достаточно долговечные жилища из костей, камня и деревянных столбов. Хотя Европа преимущественно оставалась безлюдным континентом, плотность населения и число крупных стоянок значительно выросли в тех областях, где было достаточно животных ресурсов.

12 сентября 1940 года четверо подростков случайно забрели в одну из пещер комплекса Ляско на юге Франции, где обнаружили знаменитую «картинную галерею». Верхние части пещеры и почти весь свод сплошь покрывали реалистические изображения туров, лошадей, буйволов, каменных козлов и других животных; в галереях, найденных в глубине пещеры, нашлось еще больше высеченных и нарисованных анималистических изображений, возраст которых оценивается в 17 тысяч лет. К тому времени на севере Испании в пещерном комплексе Альтамира, где раскопки велись с 1879 года, вместе с орудиями и другими артефактами были обнаружены образцы архаической наскальной живописи, оставленные людьми, которые обитали там 18–14 тысяч лет назад. Хотя красота и искусность этих находок никем не оспаривались, открытия, сделанные в Ляско и Альтамире, породили долгие, не прекратившиеся по сей день дебаты о функции искусства в доисторических обществах. Наскальная живопись находит-

ся в глубине пещер, она почти целиком сводится к изображению добываемых животных (изображения человека редки и, как правило, нереалистичны), наконец, что удивительнее всего, рисунки часто располагаются один поверх другого. Мы можем только предполагать, что рисование животных включалось в какой-то ритуал и что изображение, например, бизона было чем-то вроде попытки установить связь с животным или приобрести над ним сверхъестественную власть. Такая догадка может показаться слишком функциональной, однако не следует забывать, что до самого последнего времени человек был глубоко погружен в природный мир — этот мир являлся для него источником пропитания, естественной средой, одновременно оставаясь источником опасности и всего необъяснимого.

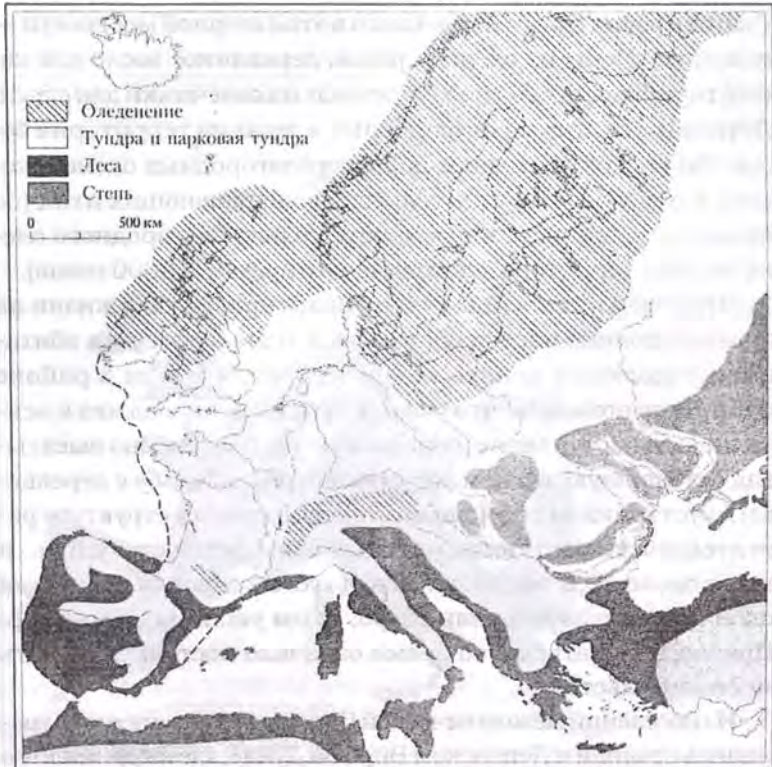
Скорее всего, возникновение художественной деятельности на столь раннем этапе человеческой истории связано с небольшим, но существенным отличием между человеком и другими животными, хотя в то же время сам предмет раннего искусства демонстрирует его тесную связь с окружающими существами. Все животные уникальны; генетические мутации, приведшие к появлению человека, просто подарили миру еще одного члена семейства приматов. По всей видимости, для этого примата характерна способность сознания, которая позволяет ему мыслить, планировать и понимать особым образом, недоступным другим приматам (впрочем, его психика, мозг, основные анатомические черты гарантируют также определенную общность с ними: в способности к привязанности, к собственничеству, в сексуальном влечении, в способности к общению, товариществу, насилию). Определяя эти отличительные признаки, нам приходится соблюдать осторожность, так как недавние исследования показали, что приматы и другие животные способны к языковой коммуникации и некоторым другим видам деятельности (например, к обману и злоупотреблению наркотическими веществами), которые долго считались уникальной принадлежностью человека. Так или иначе, у людей всегда было стремление к изоб-

ражению окружающего мира в рисунках и других визуальных образах, которое, насколько нам сейчас известно, является уникальным. Вполне обоснованно предположить, что это стремление связано с особенностями нашего сознания — возможно, представляет собой его побочный продукт. Благодаря способности обобщать, планировать и думать наперед люди получили очевидные преимущества в изготовлении орудий, организации собирательства и охоты, строительстве убежищ — что в сумме наделило их неизмеримо большим по сравнению с родственниками-приматами потенциалом в аспекте пропитания и обитания. Однако то же самое сознание, как мы знаем из собственного опыта, заставило людей настойчиво искать смысл в окружающем мире. Способность изготовить копье, с помощью которого лишенный когтей примат может убить северного оленя, есть часть того же самого ментального инструментария, благодаря которому у этого примата появляется вопрос, не связаны ли, к примеру, фазы луны с погодой, или с удачной охотой, или с болезнью. В то время как большинство животных справляются с превратностями этого мира в прагматической, рефлекторной манере, человеческое сознание не может смириться с отсутствием смысла. Поэтому люди начали создавать символы, выдумать истории и соблюдать ритуалы, делавшие окружающий мир осмысленным, — все для того, чтобы переменчивость погоды, судьбы, здоровья, охоты и земледелия не осталась непонятной. Искусство, культура, религия и, позднее, наука стали частью того процесса, в который, скорее всего, мы были вовлечены с самого начала нашей истории.

Пещеры Ляско и Альтамиры перестали быть обитаемыми с началом очередной фазы стремительной трансформации европейского климата. Пик последнего оледенения пришелся на 18 тысяч лет назад, и 13–10 тысяч лет назад быстрое потепление в Европе начало серьезно влиять на ландшафт и размер человеческой популяции. Эта доисторическая фаза известна как переход от палеолитического периода к мезолитическому. 10–8 тысяч лет назад густые леса распространились

по большей части континента, поднявшийся уровень океана затопил многие прибрежные равнины и перерезал пути миграции, открытая тундра была оттеснена на крайний север. Тогдашние европейцы тоже начали переселяться на север — не столько вслед за отступающими льдами, сколько подгоняемые наступающими лесами. Популяция Южной Европы (прежде самой населенной части континента) резко сократилась в связи с оскудением пищевых ресурсов. Северный олень как основной предмет добычи уступил место лесным видам животных, таким как благородный олень и дикий кабан. На тот же временной промежуток приходится вымирание мамонта и гигантского оленя. Размер человеческих групп сократился, доступные артефакты того времени демонстрируют меньшую заботу о совершенстве орудий и реализме изображений. Исчезают изделия из бивня, сменившие их изделия из дерева, кости и рога отличаются большим количеством и разнообразием. К тому же мезолитическому периоду относятся довольно распространенные кремневые наконечники для стрел (некоторые из них были обнаружены археологами внутри животных), лезвия топоров и тесел, скребки и сверла, а также мотыги из рогов и сплетенные из прутьев ставные неводы.

Все это указывает на то, что на юге Европы людям поначалу пришлось отвоевывать себе право на существование у наступающих лесов и что излюбленными местами заселения становятся север и атлантическое побережье континента, где внутриматериковые и прибрежные воды превосходно обеспечивали как пропитание, так и пути сообщения. В Тибринд-Виге, в море неподалеку от датских берегов, были найдены рыболовные крючки на бечевке и «текстиль», сотканный из пряжи, которую получали из растительных волокон. Там же обнаружилось и разукрашенное лодочное весло. Глиняные сосуды (раньше предполагалось, что гончарное дело впервые появилось у земледельцев неолита) были известны на территории Скандинавии уже 5600 лет назад, как и хижины с ямами для столбов и деревянными полами, которые настилались из расщепленных березовых и сосновых бревен, переложен-



Береговая линия и зоны растительности Западной Европы в период максимального оледенения, ок. 18 000 лет до н. э.

В период оледенения, около 200 000 лет назад, преобладающая часть территории Западной Европы представляла собой открытую тундру, включая области нынешнего южного Северного моря и Атлантического океана у западного побережья Франции

ных слоями коры. Стар-Карр, мезолитическая стоянка неподалеку от восточного побережья в Йоркшире, почти наверняка являлась летним форпостом мезолитической культуры Скандинавии. Среди найденного в этой озерной местности — головные уборы из оленьих рогов, деревянное весло для каноэ, гарпуны из рогов и зазубренные наконечники для стрел. Летние гости этого края охотились в лесах на территории более 200 квадратных миль, добывая благородных оленей, козлы, кабанов, рыбу, уток и других водоплавающих птиц (по некоторым оценкам, численность только благородного оленя на этой территории доходила в то время до 3000 голов).

Эти североευропейцы сумели адаптироваться к жизни на краю постоянно наступающего леса, однако их среда обитания продолжала меняться. Исследования торфа в районе Стар-Карр показали, что около 11 тысяч лет назад ива и осина начали наступление на мелкое озеро, постепенно высасывая остававшуюся в нем воду. Несмотря на борьбу с деревьями и кустарником с помощью огня, изменения в структуре растительности заставили местных обитателей отступить, и когда около 10,5 тысяч лет назад густые заросли орешника окончательно заболотили озеро, люди ушли из Стар-Карр. Приспосабливаться в то время означало постоянно менять местожительство.

Из поселений мезолитической Европы лучшего всего сохранились стоянки в Лепенском Вире на Дунае, где люди жили со второй четверти VI по третью четверть V тысячелетия до н. э. В этой рыболовецкой деревне охотники перешли к оседлости. Их жилища, площадью до 30 квадратных метров, в плане имели форму трапеции и строились на террасах, выкопанных в речных берегах. Изготавливаемые здесь статуэтки изображали людей с рыбьими головами, а мертвых хоронили головой по направлению течения — как предполагается, чтобы дать реке унести с собой духов. Река также воплощала идею обновления — каждую весну белуга, некоторые особи которой достигали 9 м в длину, шла в верховья реки на нерест, и это считалось возвращением мертвых.



**Береговая линия и лесная зона Западной
Европы ок. 6000 лет до н. э.**

В результате быстрого роста среднегодовых температур 8000 лет назад эти территории оказались покрыты густыми лесами, к которым нашим древним предкам пришлось заново приспособляться

Человеческие группы приспосабливались к наступающим лесам, заселяя речные равнины, морские и озерные побережья, остатки тундры, однако с течением времени они научились осваивать и сам лес. Топография Европы, с ее уникальным разнообразием гор, долин, холмов, равнин и плоскогорий, втиснутым в сравнительно небольшое пространство, давала возможность древним европейцам основывать сезонные базы, подобные Стар-Карр. Эти люди уже не были прежними кочевниками, теперь они совершали регулярные миграции с низменностей, где обитали зимой и где леса, лишенные густого летнего подлеска, позволяли достаточно быстро передвигаться во время охоты, на плоскогорья в теплое время года. В Европе позднего мезолита (6 тысяч лет назад) осталось меньше мест оседлого обитания, но они укрупнились, и каждое имело несколько поселений-сателлитов, или форпостов. В целом возобновился рост европейского населения после первоначального спада, обусловленного наступлением постгляциальных лесов, — люди заново учились извлекать выгоду из окружавшего их природного разнообразия.

Изменение структуры поселений, датируемое серединой V тысячелетия до н. э., совпало с изменением практики погребений — отдельные могилы уступили место общим захоронениям. Крупнейшее мезолитическое захоронение в Западной Европе, курган Кабешу-да-Арруда в Португалии, объединяет более 170 могил; известно немало захоронений с числом могил более 100. Все это указывает на существование оседлого общества и на возникновение интереса к загробной судьбе человека. Позднемезолитические захоронения дают и еще одну подсказку относительно происходивших тогда социальных изменений: останки крупных поселений (например, в Скатехольме и Ведбеке) демонстрируют значительное расширение спектра человеческих заболеваний — в первую очередь артрита и кариеса, но также гиперостоза и рахита — по сравнению с жилищами предшествующих, более мобильных групп (Гротта-дель-Уццо, Арене-Кандиде), где кроме следов кариеса ученые не нашли почти ничего достойного внимания с медицин-

ской точки зрения. По всей видимости, постоянные крупные поселения создали условия для интенсивного распространения паразитарных и инфекционных заболеваний.

В мезолитических могилах обнаруживаются украшения, сделанные из частей добываемых животных, — к примеру, кулоны из зубов, — а также статуэтки животных и людей, гарпуны, гребни, копыта и топоры (в некоторых найдено до 400 таких предметов). Хорошо заметно, как искусство палеолита с его реалистическим изображением животных сменяется новым, более символическим искусством, в котором уже нередко изображения человека и которое не уступает предыдущему в мастерстве исполнения и выразительности. Несмотря на уход от реализма, умение мезолитических художников использовать простые линии и формы для передачи движения и драматизма ситуаций не может не вызывать восхищения.

Из наиболее развитых поселений мезолита многие были обнаружены археологами на атлантическом побережье — от Португалии до Бретани, а также на Британских островах и на юге Скандинавии, — что создало почву для предположений о существовании отдельной атлантической культуры. Несомненно, этот регион изобиловал самыми разнообразными пищевыми ресурсами, и древний человек эксплуатировал их в полной мере. Так, на мезолитических стоянках на острове Рисга, неподалеку от шотландского Аргайла, обнаружены остатки всех типов съедобных моллюсков, рыб (мелкие виды акул, скаты, морской угорь, кефаль, пикша, морской лещ), птиц (бескрылая и обыкновенная гагарка, чайка, гусь, баклан, кайра) и морских млекопитающих (длинномордый и обыкновенный тюлень). Миллионы выброшенных ракушек найдены в датском Эртебелле, на стоянке, обитаемой на протяжении приблизительно 700–800 лет.

Хотя до нас не дошли ранние суда, предназначенные для мореплавания, из состава добычи мезолитических рыболовов — треска, пикша, скаты и другие виды, кормящиеся в придонных водах, — явствует, что уже в то время люди плавали на чем-то вроде традиционной западноирландской кар-

ры, то есть на лодках, состоящих из деревянного каркаса, обтянутого кожей. Речные суда, сделанные из выдолбленных стволов и дубового теса, скрепленного тисовыми и ивовыми прутьями, были обнаружены в Норт-Ферриби на Хамбере. Самые древние упорядоченные захоронения в Западной Европе также были найдены на атлантическом побережье, дав еще одно подтверждение гипотезе о существовании отдельной морской культуры, развивавшейся в зоне, богатой пищевыми ресурсами.

Конец мезолита в Европе наступил с пришествием земледелия — результата так называемой «неолитической революции». В течение 30 из последних 36 тысяч лет Центральную, Западную и Северную Европу населяли исключительно охотники-собиратели. За этот период естественная среда трансформировалась до неузнаваемости. Климат, растительность, даже конфигурация и площадь континента претерпевали разительные перемены, и выживание человеческой популяции зависело от умения приспосабливаться к окружающему миру. Для сравнения, в последние 6 тысяч лет собственно природные изменения были не столь уж многочисленны, гораздо более серьезный эффект на естественную среду оказала человеческая деятельность.

Около 9 тысяч лет назад на юго-востоке Европы начала складываться практика содержания одомашненных животных и выращивания зерновых культур. В течение следующих примерно 3,5 тысяч лет эти практики распространились на север и запад континента, достигнув Центральной и Западной Европы 7,5 тысяч лет назад, а крайнего севера и запада — около 2 тысяч лет назад. Однако процесс распространения земледелия не был плавным — уже на этом примере мы можем видеть изначальное отсутствие единообразия в формировании современного европейского человечества.

Несмотря на то, что европейские охотники-собиратели научились использовать ограниченные изменения среды обитания к своей выгоде, общая география континента имела принципиальное значение для его популяционной истории.



Физическая география Западной Европы

На современных картах моря изображаются как своеобразные пробелы, разделяющие участки суши, однако для наших предков моря и реки запада были дорогами, оборонительными рубежами и неисчерпаемым источником продовольственных ресурсов

Огромную низинную равнину, простирающуюся от Атлантического океана до Уральских гор, пересекают реки, текущие на север и юг, и эти реки представляют собой как естественные границы, так и удобные транспортные каналы. Горные цепи достаточно высоки, чтобы обеспечить легко обороняемые убежища, но ни одна не столь велика, чтобы человеку нельзя было ее пересечь. Европейская береговая линия, с ее несметным количеством закрытых бухт, речных дельт, полуостровов и прибрежных островов (более 10 тысяч), со сравнительно небольшими расстояниями между участками, удобными для высадки, создает благоприятные условия для мореплавания и морской торговли и одновременно способствует развитию независимых прибрежных поселений, защищенных от вторжения с суши. Италия, Греция, Скандинавия, Португалия, Испания, Франция, Британия и Ирландия имеют множество островов и долин, практически неприступных со стороны суши и легкодоступных со стороны моря.

Почти наверняка земледелие принесли в Европу малые группы мигрантов — либо по суше с юго-востока, либо по Средиземному морю на запад и затем на север. Это не был процесс изобретения новых способов пропитания охотниками-аборигенами, это было новшество пришлых людей, несущих с собой собственную культуру, свои виды одомашненных животных и возделываемых растений. Виды пшеницы, ячменя, проса, выращиваемые в Европе на протяжении тысяч лет, ведут свою родословную от ближневосточных культур, и то же самое относится к одомашненным породам овец и коз. В густо залесенных районах Центральной и Западной Европы эти пришельцы редко соприкасались с группами охотников, и после вырубки деревьев и выжигания подлеска они получали возможность кормить животных и выращивать урожай на богатых лёссовых почвах пойм Дуная, Вислы, Одера, Эльбы, Рейна, Гаронны, Роны и множества их притоков. Земледельцы строили «длинные дома», иногда по несколько на стоянку, которые, как правило, имели размер 15–30 м на 6–7 м и были лишены какого-либо защитного частокола. Ран-

ние земледельческие поселения группировались вместе, как, например, те, что были обнаружены в Мерцбахской долине неподалеку от Кельна. Эти люди также принесли с собой особый тип гончарного производства, известный как культура колоколовидных кубков (одна разновидность этой керамики, линейно-ленточная, пришла через восточную Европу, другая — так называемая культура импрессо, в которой узоры наносились вдавливанием по сырой глине, — через западное Средиземноморье). Керамику находили и на более древних охотничьих стоянках, но регулярное ее употребление началось именно с приходом земледельцев.

По Центральной Европе земледелие распространилось сравнительно быстро (приблизительно за вторую половину VI тысячелетия до н. э.), однако когда земледельцы прибыли на север и запад, произошла интересная перемена. Во-первых, на северном краю Европы они наткнулись на песчаные и каменистые почвы, которые не слишком способствовали выращиванию злаков, — еще примерно тысячу лет обитатели северного побережья от Нидерландов до Польши оставались рыболовами и охотниками. Во-вторых, на атлантическом краю Европы они обнаружили развитую оседлую культуру сообществ охотников-рыболовов, которая не видела особой нужды в освоении земледелия. По всей видимости, именно благодаря соприкосновению земледельческой культуры — пришедшей сюда либо путем миграции, либо через диффузию — с устоявшейся атлантической культурой возник тот удивительный феномен, который не имеет аналогов в европейской истории.

По всему ландшафту северо-западной Европы раскиданы массивные и совершенно загадочные каменные монументы, размеры, разнообразие и изощренность конструкции которых бросают вызов современному пониманию того, как был устроен мир наших предков. Ни охотники и рыболовы — коренные жители этих мест, — ни пришлые скотоводы в своей прежней истории не производили на свет ничего подобного.

Более того, ничего подобного нельзя найти и в других частях континента — эти монументы являются уникальной чертой западноевропейской культуры. Начиная примерно с 4800 года до н. э. мегалитические захоронения, часто в форме коридорных гробниц, начинают появляться на иберийском побережье и в Бретани, как правило, окруженные огромными стоячими камнями, многие из которых украшены высеченными узорами. Коридорные гробницы предназначались для продолжительного использования — новые могилы располагались в них вдоль центрального прохода. По мере распространения земледелия на запад с середины V до середины IV тысячелетия до н. э. мегалитические монументы стали возводить на атлантическом побережье Британии и Ирландии, а также в Уэссексе — в виде длинных курганов. Среди наиболее впечатляющих примеров — ирландские коридорные гробницы Нью-Грейндж и Наут, каменные кольца неподалеку от Калланиша на острове Льюис, курган в Маэс-Хоу, каменные жилища в Скара-Брэ и стоячие камни Маэс-Хоу, Бродгара и Стейнесса на Оркнейских островах; возраст этих сооружений — 4–6 тысяч лет.

В возведение этих монументов было вложено невероятное количество труда и человеческой изобретательности. Например, стоячий камень, находящийся в Бретани и носящий название Большой менгир (Grand Menhir), весит 348 тонн — для его транспортировки из места добычи понадобились бы 2 тысячи человек. Коридорная гробница Нью-Грейндж покрыта 200 тысячами тонн булыжника и дерна. Над карнизным камнем входа в тот же Нью-Грейндж строители оставили специальный зазор, с тем расчетом, что при восходе солнца в день зимнего солнцестояния 5 тысяч лет назад солнечный луч, проникающий сквозь него, должен был совпасть с осью центрального прохода и осветить фигуру из трех спиралей, высеченную в стене главной погребальной камеры. Камерное захоронение в Маэс-Хоу (возраст которого около 4800 лет) сложено из каменных плит, пригнанных друг к другу с поразительной точностью и образующих над склепом ступенчатый свод. Как и

Нью-Грейндж, оно сориентировано по положению солнца в день зимнего солнцестояния.

В районе английского Уэссекса эпоха каменных монументов наступила позднее, чем на Оркнейских островах. Здесь найдено пять комплексов, посередине каждого из которых имеется «хендж» — круглая площадка с каменными сооружениями, отгороженная мелким рвом и внешним валом (самый известный из этих комплексов — Эйвбери). Возникновение нескольких больших курганов и огромного Силбери-Хилл относится к тому же времени. Самое раннее строительство в Стоунхендже относится к началу III тысячелетия до н. э. Используемые здесь глыбы серо-голубого камня транспортировали из западного Уэльса, но вертикальное положение им придали лишь тысячу лет спустя. Затем были воздвигнуты трилиты, а камни расставили так, чтобы образовать внутренний круг и подкову, и сделали Стоунхендж центром ритуального комплекса, тянущегося от побережья Ла-Манша до Чилтернских холмов, — сооружения, не имеющего аналога в доисторической Европе. Транспортировка материала из западного Уэльса, распространенность спирального, квадратного и шевронного орнаментов, которые высекали на «входных» камнях, демонстрируют наличие тесных связей между человеческими группами, которые были разделены значительными расстояниями. Свидетельство территориального охвата этой культурной общности — присутствие керамики с нарезным орнаментом (известной как Райнио-Клэктон) в столь удаленных друг от друга местах, как Оркнейские острова и Уэссекс, причем само их географическое положение показывает, что для наших предков «крайний» север и запад Европы не представлялись неким захолустьем, наоборот, это была область с собственной высокоразвитой культурой.

Высокий уровень развития человеческого общества того периода подтверждается находками, свидетельствующими о существовании в период неолита межрегионального обмена. К примеру, среди каменных топоров, найденных в Пеннинских горах на севере Англии, встречаются изделия известных

«индустрий», открытых в северной Ирландии, северном Уэльсе, Камбрии, на шотландской границе, в юго-восточной Англии, в центральных графствах, в Норфолке, Саффолке и, возможно, Суссексе. Склон холма Пайк-оф-Стикл в Камбрии усыпан 450 тоннами каменного лома — остатками произведенных здесь 45–70 тысяч топоров.

Неолитические комплексы на Атлантическом побережье Европы были центральной частью жизни наших предков, и процесс их сооружения — как и само существование в веках — несомненно, имел важнейшее значение. Их астрономическая составляющая доказывает наличие у живших здесь людей культуры, развивавшейся на протяжении долгого времени, а сами монументы являются выразительным символом связи этих людей с определенной территорией и с духами предков. Хотя сооружение мегалитических построек прекратилось примерно 4400 лет назад, огромные холмы и ритуальные хенджи на протяжении тысячелетий оставались одной из главенствующих черт ландшафта и наверняка несли глубокий духовный смысл для многих поколений потомков.

Вслед за распространением земледелия и скотоводства Европейский континент довольно скоро познакомился с другим важнейшим технологическим нововведением — выплавкой металлов. Древняя металлургия основывалась на использовании методов получения высокой температуры, первоначально выработанных для обжига глины в гончарном производстве, и, вероятно, возникла независимо в нескольких местах около 7–6 тысяч лет назад: на Ближнем Востоке, в юго-восточной Европе и в Иберии. В самом начале обрабатываемые металлы, в основном медь и золото, употреблялись для изготовления украшений. В захоронении шеститысячелетней давности, раскопанном под Варной (черноморское побережье Болгарии), найдены шесть килограммов золота и еще больше меди, а в испанской Альмерии медь обнаружили на стоянке, возраст которой составляет 6,5 тысяч лет.

Несмотря на возможное независимое происхождение металлургии в нескольких регионах, около 5 тысяч лет назад

развитие городских сообществ в Месопотамии стало оказывать влияние на европейцев — через потребность в товарах и распространение технологий. Двусоставные литейные формы и сплавы меди с мышьяком, колесный транспорт, легкий плуг и шерстное овцеводство, одомашненная лошадь и новое, более прочное деревянное строительство — все это в данный исторический период впервые оказалось в Европе. Разные регионы воспринимали новшества в согласии с собственными нуждами, однако с начала III тысячелетия до н. э. общность погребальных практик свидетельствует об определенной унификации европейской культуры. Подсечно-огневое земледелие вытесняет мелкое огородничество, а в каменоломнях добывают все больше кремния для топоров, в которых появляется все большая необходимость.

Вырубка леса, возделывание злаков и выпас домашнего скота ускорили процесс антропогенных изменений в естественном ландшафте. Локальные явления способны иметь глубокий и длительный эффект. Только один пример: открытый ландшафт торфяников северного Йорка на северо-востоке Англии (в нескольких милях к северу от Стар-Карр) до пришествия сельского хозяйства покрывали смешанные леса. Первые фермеры начали с вырубки и выжигания деревьев, чтобы очистить место для загонов, в которых они держали диких оленей и домашний скот, а также для полей под урожаем. Через несколько столетий эта деятельность привела к тому, что тонкий и легкоразрушаемый слой плодородной почвы был лишен питательных веществ и структурной базы. Не пригодные ни для возделываемых культур, ни для травы, ни для первоначально произраставших здесь деревьев, 200 квадратных миль этой земли стали — и остаются по сию пору — огромной вересковой пустошью, сохранившей сотни неолитических курганов. (По иронии судьбы, хозяйственная практика, уничтожившая культивационный потенциал этой местности, способствовала формированию дикого ландшафта, красота которого высоко ценится современными людьми.) Преображение Европы в континент интенсивно хозяйствующих земледельцев привело к вымиранию культуры мега-

литических строителей, и лишь в западной Британии и Ирландии прежняя монументальная традиция продолжалась еще какое-то время. Однако западные изображения демонстрируют разительное отличие от того, что происходило в Центральной Европе.

Сегодня археологи подчеркивают, что освоение сельского хозяйства аборигенными охотниками-собираателями следует рассматривать как последовательность решений, связанных с выбором способов пропитания. Особенно непростую историю они имеют в таком регионе, как Атлантическое побережье. Что было более продуктивно: отправляться в море в поисках рыбы, добывать дары моря на отмелях, ставить сети в прибрежных водах, расчищать лес и засеивать зерновые, охотиться в лесах на оленей и кабанов или заводить домашний скот? Ответ на этот вопрос должен был отличаться для разных мест и временных периодов и вовсе не приводил с неизбежностью к освоению сельского хозяйства. Также утверждается, что для многих такое освоение не представляло собой безусловно выигрышную стратегию: жизнь, в которой время охоты сменялось временем отдыха, уступала место жизни, состоящей из беспрестанного труда, — последняя позволяла людям существовать крупными группами, но извлечь выгоду из такого положения дел в этих группах могла лишь верхушка иерархии. Скорее всего, образ жизни первых фермеров Западной Европы еще не вполне вписывался в подобную картину, поскольку внутри небольших групп они имели контроль над способом производства и добычи пропитания. Однако по мере оскудения естественных ресурсов охотничьей дичи пространство выбора сокращалось, и к началу III тысячелетия до н. э. Европа превратилась в регион с подавляющим преобладанием производящего сельского хозяйства.

Около 4 тысяч лет назад распространение металлообработки сделало еще один шаг вперед благодаря возникновению бронзового литья. Скорее всего, европейцы научились технике получения сплава из меди (добываемой в горах Гарца) и

олова (добываемого в Богемии), контактируя с Ближним Востоком. Со временем, однако, они выработали собственные, весьма сложные методы изготовления из бронзы кинжалов, орнаментированных чаш, ювелирных украшений и топоров — изделий, в которых сочетались красота и полезность. Несметные количества предметов из бронзы и золота, демонстрирующих высокое мастерство их создателей, обнаружены в пышных захоронениях центральной Германии — этот регион столетиями оставался центром европейской бронзовой индустрии. Сети обмена, возникновение которых спровоцировал германский бронзовый промысел, охватывали собой весь континент: оловянная и медная руда доставлялись сюда из Корнуолла, северного Уэльса, Ирландии, Бретани и Иберии; в свою очередь бронзовые изделия в обмен на янтарь, пушнину и кожу шли в Скандинавию и западные регионы. Общины Центральной Европы также напрямую торговали с восточным Средиземноморьем.

Сумма таких явлений, как быстрый рост интенсивного земледелия, распространение металлургии бронзы и других металлов, открытие маршрутов межрегионального обмена, на наш взгляд, подразумевает культурную унификацию и существование инстанций централизованной власти. Однако, по-видимому, мелкие субрегиональные группы обнаружили, что для обеспечения собственной безопасности им достаточно заключать союзы между собой и что ни одна из них не сильна настолько, чтобы навязывать другим свою волю. Распространение по всей Европе «кубковой» культуры (названной так по кубкам, обнаруживаемым в захоронениях) в свое время заставило археологов предположить, что около 5 тысяч лет назад произошло нечто вроде массового нашествия или даже завоевания. Но сегодня ученые убеждены, что тогдашние европейские сети обмена были вполне развиты, чтобы обеспечить диффузию гончарных приемов и экзотических погребальных ритуалов; они также полагают, что эти последние перенимались элитами в качестве особого умения, отличающего их от остальных членов группы. Судя по богатым оди-

ночным захоронениям Уэссекса (ставшего торговым перекрестком Англии), Бретани, Ирландии, западной Иберии, а также центральной Германии, поздний бронзовый век был временем возникновения состоятельных элит.

К началу I тысячелетия до н. э. Европа представляла собой мозаику небольших поселений. Хозяйственная деятельность жителей в основном обращалась вокруг работы в поле — выпаса скота и земледелия — и нескольких ремесел, в том числе металлургии. Существовала обширная устоявшаяся сеть каналов обмена — корабль в восточном Средиземноморье мог перевозить слоновью кость из Африки, янтарь из балтийских областей, стекло из Финикии, медь из Иберии и олово из Корнуолла (доставленное к Средиземному морю по речным системам Луары, Гаронны, Рейна и Дуная). Связи между Ближним Востоком, городскими культурами восточного Средиземноморья и Европой по-прежнему оставались ненадежными, однако случившееся 3,3 тысячи лет назад крушение минойской и микенской цивилизаций (см. главу 2) привело к образованию полноценной торговой системы западного и восточного Средиземноморья, что в свою очередь оказало важное влияние на западную часть Европы.

Порядок передвижения народов, культур и технологий, последовавшего за разрушением Микен и упадком Хеттского царства, довольно трудно восстановить. Согласно некоторым теориям, людские массы ринулись в тот момент на запад из Анатолии — при этом кое-кто из множества отклонился в регион Эгейского моря, чтобы впоследствии построить на руинах микенской цивилизации новую эллинскую культуру, а остальные продолжили путь на запад, в Центральную Европу, где и основали культуру, известную нам под именем кельтской. В свете уже сказанного о кубковой культуре эти теории следует воспринимать с осторожностью. Мы лишь можем констатировать: начиная примерно с 1300 года до н. э. новые технологии и культуры начали укореняться на обширной территории материковой Европы.

Производство бронзы пережило невиданный количественный подъем; одновременно применение новой техники вы-

плавленной восковой модели дало возможность добиваться необычайной тонкости деталей (показательный пример — «солнечная повозка», найденная в Трундхольме), а одноразовые глиняные формы значительно облегчили процесс отливки. Список пищевых культур, помимо пшеницы и ячменя, пополнился горохом и чечевицей; также начали возделывать кормовые бобы, просо, лен и мак (используемый для получения масла). Широко распространились употребление меда и йогурта (как способа сохранения молока). Разные группы в разных регионах уже специализировались на разведении различных типов животных (коров, свиней, коз); гораздо более привычным явлением стала ездовая лошадь — бронзовые и, позже, железные детали упряжи начинают в этот период рассматриваться как признаки социального статуса.

Одно изменение, о котором свидетельствует археология, выделяется на фоне остальных — это появление около 1300 года до н. э. практики кремации умерших и сохранения останков в урнах. Так называемая культура урновых полей быстро распространяется по Европе — опять же, вероятно, отчасти путем миграции, отчасти через культурную диффузию. Формирование культуры урновых полей в позднем бронзовом веке тесно связано с тем, насколько мы можем судить, оказалось возникновением новой народности — в любом случае, новой культуры, — кельтов. Кельтская культура, дожившая до эпохи письменной истории (а в фрагментах — до наших дней), общепризнанно рассматривается как ключевое звено, связывающее нас с доисторическим прошлым. Однако сегодня с определенной долей уверенности можно утверждать, что сами кельты, особенно населявшие западную часть Европы, были потомками и наследниками еще более древней культуры.

История кельтов в который раз ставит старый вопрос о миграции и диффузии. Были кельты пришельцами с востока, из кавказской «колыбели народов», которые расселились по всему континенту и позднее были вытеснены на крайний запад другими мигрирующими группами? Или это был процесс освоения существующими обществами определенных культурных практик? В последние годы второй вариант от-

вета находит все больше приверженцев: он рисует увлекательную ретроспективу развития оседлого западноевропейского общества и его культуры (пусть и испытывавшей целый ряд серьезных влияний), которая простирается далеко в прошлое — к эпохе мезолита и еще дальше в глубь истории. Наша культура исторически несомненно является культурой смешанной, однако ее истоки оказываются более давними, чем мы привыкли думать.

Приблизительно в 1000–700 годы до н. э. по Европе широко распространяется металлургия железа и торговля железными изделиями — с этого времени отсчитывается начало железного века. Кельтская культура уже прочно укоренилась в южной Германии. К 450 году до н. э. (начало так называемого латенского периода) кельты активно торгуют с греческими колониями в западном Средиземноморье и этрусскими племенами в Италии. Культура кельтов распространяется за пределы южной Германии и Богемии, а в их искусстве формируется отличительный стиль, для которого характерны изогнутые, текучие формы и орнаменты. Ремесленники Центральной Европы начинают демонстрировать необычайное мастерство, изобретательность и оригинальность в обработке железа.

В IV веке до н. э. происходит достоверно засвидетельствованная миграция кельтских общин через Альпы в долину реки По и на юг и восток, в Македонию и южную Грецию — вплоть до Малой Азии. В то же время кельтская культура распространяется на запад до Атлантического побережья — впрочем, кажется маловероятным, что это распространение сопровождается процессом переселения. Кельтов Западной Европы на основе археологических находок привыкли относить к одному народу с кельтами Европы Центральной. Однако местные традиции, к примеру в Бретани и Британии, явно преобладали над усвоенными элементами латенской культуры. По-видимому, кельтская культура крайнего запада Европы была индивидуальной вариацией культуры континентальной и, возможно, не образовывала с последней даже языкового единства. Вероятнее всего, кельты Запада были потомками не ми-

грантов железного века, а атлантического народа мезолитических и домезолитических времен — поэтому сегодня, изучая определенные элементы кельтской культуры, мы, может быть, видим следы традиции, зародившейся еще в палеолите.

Кельтское общество было в первую очередь сельскохозяйственным. Ранние поселения состояли из одного или нескольких длинных домов, каждый из которых занимал целый род со всем своим скотом, а также местом для ремесленной работы с кожами, деревом, металлом — все под одной крышей. Со временем на смену длинным домам пришли индивидуальные семейные жилища с отдельными постройками для скота, хранения зерна и занятия ремеслами. К I веку до н. э. дома кельтов уже имели отдельные комнаты для приготовления пищи и для сна. По мере передачи опыта от поколения к поколению сельское хозяйство приобретало все более интенсивный характер, а развитие специализации труда привело к тому, что обмениваться товарами и услугами люди и семьи могли уже между собой. С ростом производительности хозяйства росло и население — наступило время формального разграничения земельных наделов. Появляется все больше деревень — мест, где развивалась общинная жизнь и торговля и где земля распределялась по соглашению; в Европе закрепляются полевые системы.

К этому времени уже существуют фортифицированные поселения: некоторые из них используются как временные прибежища, некоторые как места постоянного жительства, какое-то количество, вероятно, предназначалось для пребывания элит. Крепости на возвышенностях, появившееся на всем протяжении севера Центральной и Западной Европы, включая юг Британии и север Франции, обезлюдели приблизительно после 400 года до н. э., но кое-где они оставались заселенными еще в I веке до н. э. В целом ряде мест археологические находки, датируемые 200–50 годами до н. э., демонстрируют существование ремесленных деревень, в которых интенсивно и с большим размахом для своего времени развивались различные производства: тканей, железных гвоз-

дей, изделий из стекла, кости, металлических фибул и монет. Однако наиболее впечатляющими свидетельствами древней кельтской культуры являются «оппидумы» — крупные укрепленные поселения. Как правило, они располагались на площади от 20 до 30 га, хотя в некоторых случаях площадь достигала 600 га, а в одном — в юрском Хайденграбене — 1500 га. (Средневековый Париж, для сравнения, около 1210 года н. э. занимал площадь 250 га.) Внутри некоторые оппидумы имели дома с собственной оградой и даже уличную планировку.

Если в Центральной Европе кельтская культура пережила глубокую ломку под влиянием римского завоевания и усвоения германских обычаев, на крайнем западе континента, воспринятая и преобразованная коренным населением, она смогла дожить до эпохи письменной истории, а в некоторых аспектах — и до наших дней. Поскольку особенно хорошо кельтский элемент сохранился в культуре Ирландии, даже несмотря на последующее принятие христианства, отсюда следует, что исторические повествования об ирландцах и их обычаях позволяют нам узнать кое-что о культуре доисторического Запада. Ирландское общество имело нестрогое иерархическое деление и объединялось сложными системами родства. Верхний этаж иерархии занимал род, из которого избирали монарха. Благодаря традиции приемного родства, то есть усыновления молодых людей, одаренных и снискавших себе монаршьё покровительство (эта традиция имела место и среди древнеримской элиты), в «королевской семье» присутствовало достаточное количество членов, не имеющих с ней кровных связей. В отсутствие майората, возможность для приемных детей наследовать трон была очень практичным решением проблемы качества руководства. Не так уж редко семьи возглавляли женщины, иногда их даже избирали правительницами — например, Медб (она же Маб) в Ирландии, Картимандуя у бригантов, Боудикка у иценов. Следующим после монархов этажом социальной структуры являлись вожди кланов; примерно равным с ними статусом обладали классы друидов, бардов, мастеров-ремесленников и художников.

Большинство же населения состояло из общинников — мелких земледельцев и ремесленников, — которых также называли «свободными» и чьи права и обязанности четко оговаривались обычным правом.

Обычное право, то есть свод правил управления и общежития, присутствует в каждом социуме, и многие такие европейские обычаи, по-видимому, уходят корнями как минимум в эпоху раннего неолита. В некоторых частях Европы (особенно в Ирландии, Уэльсе и Англии) они сохранились в виде так называемого общего права, в других со временем были зафиксированы в формальной системе конституционного права. Центральной предпосылкой обычного права было рассмотрение отдельного человека исключительно в контексте сообщества, еще конкретнее — в контексте сложной родовой системы. Если совершалось преступление, именно семья (в широком смысле: группа людей, объединенная родством) должна была возместить нанесенный ущерб, и поэтому именно семейным делом было заботиться о соблюдении обычного права, а также при необходимости назначать наказание. Родственники имели общие права и обязанности, платили друг за друга штрафы, претендовали на наследство друг друга, делили поровну победы и поражения. Споры между родами, как правило, улаживались тем или иным обычаем, однако если вспыхивал конфликт, его течение регламентировалось столь же строго. Две группы мужчин сходились в поле, после чего из их рядов выдвигались лидеры, главные бойцы, которые осыпали друг друга оскорблениями и затем вступали в единоборство. Дальше участники либо расходились, либо начинали всеобщую рукопашную схватку. Эта тщательно продуманная хореография имела целью снизить до минимума разрушительные последствия конфликта, одновременно давая возможность всем обиженным сторонам получить удовлетворение — процедура, которая, как мы увидим, заметно отличалась от методов ведения войны, принятых у греков и римлян.

Хотя вдохновенная мифология западных кельтов вместе с легендами об их королях дожила до века письменности, из-за

строго соблюдавшейся закрытости друидских таинств нам очень трудно полностью восстановить систему кельтских ритуалов и верований. В любом случае нам известно, что среди кельтов была сильна вера в загробную жизнь и что путешествие в нижний мир, проходящее в окружении фантастических пейзажей и сопровождающееся странными приключениями, являлось главной темой кельтских сказаний. Содержание этих сказаний тесно связано с плавным, текучим характером кельтского искусства, где преобладают многозначность и парадокс, где животные меняют форму и очертания, вплетаясь в замысловатые, практически не распутываемые глазом узоры. Кельтская литература часто изобилует загадками, а ее герои — и люди, и божества — с такой легкостью перемещаются из области естественного в область сверхъестественного и обратно, что кажется, будто между двумя сферами не существует никакого барьера. Мир представлялся кельтам местом поистине волшебным.

Край, куда человек направлялся после смерти, назывался Тир-инна-бео, «страна живых» — это было райское место, в котором отсутствовали старость и болезни, где музыка шла из земли, а пища и питье возникали в волшебных сосудах. Эта страна существовала везде и повсюду — в море, под землей, в пещерах, лесах и озерах. Кельтские боги населяли места, способные спровоцировать у человека духовное переживание — рощи в священных лесах, потаенные озера, реки и источники. Жертвоприношения этим богам были обнаружены археологами в таких местах, как Секвана (исток Сены), озеро Ллин Керриг Бах на острове Англси, источник в Карроуборо близ Адрианова вала, являвшийся святилищем кельтской богини Ковентины, родник на холме Сегайс у начала ирландской реки Бойн. Римский писатель Страбон повествует о великих сокровищах, награбленных римлянами в кельтских святилищах, а со слов Лукана мы знаем о священной роще близ Марсея, которую вырубили по приказу Цезаря.

Вероятно, каждое кельтское сообщество поклонялось своим богам, атрибуты которых часто были взаимозаменяемы-

ми (до нас дошло около 400 имен кельтских божеств), кое-где все священное символизировала одна-единственная фигура пантеона. Священными были и животные: быки (иногда изображаемые с тремя рогами), олени, кабаны, кони, зайцы, гуси; частой и имевшей глубокий духовный смысл темой кельтских мифов и резного творчества оказывается человеческая голова. Мы ассоциируем эти факты с кельтами, но если кельтская культура все-таки является продолжением традиции бронзового века и времен, ему предшествовавших, то есть ведет свою родословную от самых первых обитателей европейского запада, получается, что эти верования представляют собой наследие десятков тысяч лет культурной эволюции.

Кельтская латенская культура, распространившаяся по всему европейскому западу, не затронула ту полосу прибрежных земель, на которой сегодня располагаются северные Нидерланды и Германия, а также Дания и Польша. Здесь культура коренного населения, в сложном переплетении с приморской средой обитания, оказалась довольно устойчивой к внешним влияниям. Поздние римские авторы называли этих людей германцами. В 320 году до н. э. у греческого путешественника Пифея, обогнувшего морским путем Британские острова, мы встречаем различие между «Гермапои» Северной и Центральной Европы, и «Keltoi» Европы Западной, из чего следует, что культура первых уже оттеснила кельтскую на периферию континента. Именно культуре германских племен, а не кельтов (и не греков с римлянами), предстояло главенствовать в Европе на всем протяжении ее последующей истории.

Западногерманские племена включали англов, саксов, франков, фризов и алеманнов — их языки явились прародителями английского, немецкого и голландского. Восточная группа, в которую входили остготы и вестготы, вандалы и бургунды, расселилась по разным частям Западной Европы, но их язык не оставил «потомства». Германцы северной группы как в историческом, так и языковом отношении являются

предками современных скандинавских народов. Помимо того, что сегодня трудно восстановить раннюю историю этих племен, нам снова следует быть осторожными в вопросе миграции и диффузии. По всей вероятности, около 300 года до н. э. племена готов перекочевали к югу, в область, простирающуюся от Дуная до Дона, вторгшись на традиционную территорию охоты и скотоводства восточных кочевых народов, а западные германцы мигрировали на юг, осев в районе современной центральной Германии (алеманны), и на запад, осев до территории исторических Нидерландов (франки).

Большую часть наших представлений о германских народах мы почерпнули из сочинений их тогдашних соперников, римлян, хотя кое-кто из последних, к примеру Тацит, восхвалял варварские обычаи для демонстрации недостатков самого Рима, то есть в подтверждение собственных политических убеждений. Трактат «Германия» написан Тацитом в 98 году н. э., когда под властью Рима находились Верхняя и Нижняя Германия, провинции на западном берегу Рейна. Порядок проведения регулярных собраний у германцев произвел впечатление на римского автора: «О делах, менее важных, совещаются старейшины, о более значительных — все; впрочем, старейшины заранее обсуждают и такие дела, решение которых принадлежит только народу... Если предложения [старейшин] не по нраву, собравшиеся шумно их отвергают; если нравятся — бряцают копьями... На собрании можно также предъявлять обвинения, в том числе требовать смертной казни... На тех же собраниях избирают и старейшин, отправляющих правосудие в округах и селениях». Тацит столь же похвально отзывается о германских обычаях гостеприимства: «Отказать кому-нибудь в крове, на их взгляд, — нечестие, каждый старается попотчевать гостя в меру достатка»*. Юлий Цезарь отмечает, что германские старейшины каждый год заново распределяют среди земледельцев наделы для обработки, не

* О происхождении германцев и местоположении Германии. Перевод А. С. Бобовича. — *Примеч. ред.*

допуская тем самым сосредоточения богатства в одних руках — как считалось, это вредит общественному единству.

Новое представление о жизни германцев было получено на основании археологических раскопок в местечке под названием Феддерсон Вирде. Остатки саксонской деревни, существовавшей здесь примерно с 50 года до н. э. по 450 год н. э., указывают на то, что ее обитатели возделывали овес и рожь на сезонно затопляемых полях, при этом применяли удобрения из навоза и севооборот. Германцы знали о римских городах и кельтских оппидумах, но предпочитали жить небольшими деревнями — поселениями в 100–500 человек, имевшими, по крайней мере, одно помещение для общей сходки.

Германцы не строили храмов богам, считая, что нелепо пытаться ограничить присутствие божества каким-либо сооружением; для них, как и для кельтов, священными местами становились лесные рощи, где они сильнее всего чувствовали присутствие Вотана, главы германского пантеона. До нас дошли сложные по фабуле легенды о германских и скандинавских богах, включающие рассказы об их вторжении в человеческий мир и разнообразных земных метаморфозах. Самое интересное в этих мифах то, что ввиду заранее известной развязки они оказываются вплетены в грандиозное драматическое повествование, начинающееся с сотворения нашего мира и заканчивающееся так называемыми «сумерками богов» (Götterdämmerung, Ragnarok) — последней битвой, в которой гибнут и боги, и герои.

В своем расцвете позднегерманская культура охватывала значительную часть европейской территории, особенно после распада Западной Римской империи. Хотя и западноевропейская франкская культура, и британская англосаксонская обе уходят корнями в культуру германцев, трансформация культуры Англии из кельтской в западносаксонскую служит хорошим примером того, как переплетаются миф и история. Столетиями поколения школьников узнавали о волнах вторжений с Ютландского полуострова и из западной Саксонии, о захватчиках, появлявшихся на востоке и юге

Британии по мере отступления римлян, о том, что кельтских обитателей низменных равнин оттеснили на крайний запад и север — в Корнуолл, Уэльс, Шотландию, — и о том, как их земель, которая стала Англией (страной англов), завладели люди, вошедшие в историю под именем англосаксов. Эта последовательность, которая неверна почти во всем, была сочинена главным образом в V веке (т. е. 300 лет спустя), и ее авторство принадлежит Беде Достопочтенному. Скорее всего, помещенное в его «Церковной истории англов» описание народа гордых язычников, заселившего Англию и принявшего христианство, было призвано содействовать укреплению представления об Англии как едином королевстве. Массовое вторжение англов и саксов в южную и восточную Британию никогда не имело места, и есть некоторые сомнения в том, что среди обитавших в Британии народов вообще существовали некие «англосаксы». Учитывая, что деревни британского англосаксонского периода обнаруживались археологами в местах, заселение которых датируется бронзовым веком — к примеру, Уэст-Хеслертон в Йоркшире, Лейкенхит и Уэст-Стоу в Саффолке, — мы имеем дело не с радикальной сменой обычаев, а с непрерывной традицией. Англосаксонское кладбище в Уэст-Хеслертон располагается среди погребальных курганов бронзового века, и более чем 80 процентов останков из 200 вскрытых могил — останки людей кельтского, или старобританского, происхождения, причем ни у кого не обнаружено следов насильственной смерти или серьезных ранений. По всей очевидности, это была мирная, живущая стабильной жизнью община численностью примерно в 100 человек, которая вполне обеспечивала свое пропитание, обрабатывая местные земли.

Вопреки историческим учениям прошлого, согласно которым чужеземцев привлекали в Британии не столько римские, сколько собственно британские поселения, есть достаточно материальных свидетельств непрерывной жизнедеятельности в этих поселениях — на всем протяжении римского завоевания и после него. Сегодня археологи полагают, что обита-

тели южной Британии сумели сохранить структуру общества во время римского владычества и примерно с V века постепенно усвоили культуру сравнительно небольшого числа германских пришельцев. В результате сформировался гибрид британской и германской культур — к примеру, сложившийся язык был германским по словарному составу и кельтским по строению. Не исключено, что аналогичный процесс происходил и на территории Нидерландов и северной Франции, где франки, изначально западногерманское племя, расселились среди старых галльских племен.

Возможно, наиболее важным материальным аспектом всех этих бесписьменных западноевропейских культур, аспектом, который не склонен замечать современный привязанный к земле человек, являлись их тесные отношения с водой. Рассматривая карту Европы, попробуйте сосредоточить внимание не на участках суши, а на том, что их разделяет. Для людей Запада моря, реки и озера были магистралями, а поймы, отмели и пруды — источником пропитания. Береговые линии, речные устья и дельты рассматривались с борта судна, а не с вершины скалы или крутого берега.

Жители Запада были весьма искусными деревянным строителями, умевшими сооружать жилища, не менее устойчивые к непогоде, чем любая римская вилла, и суда, чье устройство осталось непревзойденным в веках. Корабли-захоронения, вроде обнаруженного в южнодатском болоте Ньюдам и датированного 320 годом до н. э., демонстрируют инженерное и исполнительское мастерство, не уступающее ладьям викингов, которые младше них на целое тысячелетие. Знаменитый захороненный корабль в Саттон-Ху в Саффолке был способен добраться до речных поселений вроде Йорка или южного побережья Англии за сутки, а до французского побережья — за двое суток. Сколь бы большую историческую ценность мы ни придавали дорогам, проложенным римлянами, для коренного населения европейского Запада, как до, так и после римской оккупации, они представляли намного менее привлекательную альтернативу Рейну, Маасу, Шельде, Сене, Луаре, Га-

ронне, Роне, Дуэро, Тахо, Гвадалквивиру, Темзе, Тренту, Хамберу, тысяче меньших рек, прибрежным водам морей — Балтийского и Северного — и Атлантического океана.

Огромные корабельные захоронения, включая захоронение в Саттон-Ху (датируемое приблизительно 645 годом н. э. и сохранившее более 250 ювелирных изделий, свидетельствующих о необычайной искусности своих создателей), показывают, насколько важным было море для наших предков. Украшения из могильника Саттон-Ху демонстрируют ту же самую трансформацию, которую мы видим в кельтском искусстве и саксонских фибулах, украшениях и резных орнаментах, а также в так называемых «иллюминированных» рукописях — красочные орнаменты Линдисфарнского евангелия (начертанного где-то через столетие после последнего захоронения в Саттон-Ху) представляют собой сочетание кельтской и англосаксонской образности, обрамляющее христианский текст на латыни. «Беовульф», самый знаменитый памятник англосаксонской устной культуры, имеет прямую связь с феноменом Саттон-Ху, поскольку начинается с похорон, на которых тело конунга отправляют по течению на корабле, нагруженном сокровищами, и заканчивается погребением праха Беовульфа на вдающемся в море участке земли. Это был народ мореходов, объединенный тысячелетней культурой, которая предшествовала римскому завоеванию и пережила его.

Археология и антропология (изучение человека как вида) обрели статус серьезных дисциплин в конце XIX века, в то самое время, когда среди европейцев была наиболее сильна вера в прогресс человечества и в то, что европейское общество шествует во главе этого прогресса. История человечества диктовалась мировоззрением, для которого географическое расстояние от Западной Европы должно было соответствовать исторической дистанции и которое видело в народах Тасмании, Южной Африки, Аляски или Патагонии представителей зари человечества, таких же как самые первые европейцы.

В тот момент прогресс можно было отложить равно и на временной шкале, и на карте. В начале XX века научные иллюстраторы изобрели визуальный образ пещерного человека, с его классическими деревянной дубиной и набедренной повязкой из шкур животных (ни то, ни другое археологам обнаружить так и не удалось). Археологическая периодизация изначально базировалась на находках орудий, поэтому технологические усовершенствования стали приниматься за очевидный индикатор поступательного развития древних европейцев, т. е. их прогресса. Потребовались усилия тысяч археологов и антропологов, чтобы отказаться от этого примитивного вымысла и представить более сложную, неоднозначную и, следует добавить, более интересную картину нашей древней истории.

Разнообразию европейской среды обитания позволяло охотникам-собираателям адаптироваться к природным переменам. Сегодня ясно, что система поселений ранних гоминидов, неандертальцев и людей палеолита была бесконечно сложнее, чем представлялось еще 50 лет назад. Разброс климатических сред, в которых жили древние европейцы, радикально изменил главенствующую идею технологического прогресса. Вместо нее, считают археологи, мы должны взять на вооружение идею дивергенции людских групп, вынужденных приспособляться к меняющимся естественным и общественным условиям. В сохранившихся материалах они ищут доказательства, свидетельствующие о тех или иных стратегиях выживания. Одна группа адаптировалась к ситуации совсем иначе, чем другая, не потому, что кто-то из них был отсталым, а кто-то — нет, а потому, что ситуация предъявляла им уникальные требования. Ясное понимание этого приходит с изучением одних и тех же групп, действующих в разных условиях: мобильные группы, кочующие между разными климатическими регионами, использовали разные наборы «инструментов» для решения разных задач в разных местах. Сейчас существует понимание, что нельзя датировать артефакт просто на основании его внешнего вида или определить «развитость» группы на основании орудий, которые она ис-

пользовала, и в свете этого понимания идея всеобщих законов технологического прогресса представляется все более и более сомнительной.

Трансформация социального устройства и смена типов артефактов материальной культуры также традиционно рассматривались как индикатор прогресса. Но и здесь имеющиеся в наших руках свидетельства указывают на сложность исторического ряда вариаций, больше на непреднамеренное, нежели поступательное развитие усовершенствований. Когда-то древнеевропейские охотники осознали, что им будет легче устраивать стоянки вблизи маршрутов миграции добываемых животных. Однако последующая зависимость от одного вида и от постоянства этих самых маршрутов оказывалась чревата катастрофой, если единственный источник пропитания иссякал — особенно, когда требовалось прокормить крупное поселение. Для малых групп охотников-собирателей такой опасности не существовало. Большие, оседлые поселения также принесли с собой большой риск заболеваний — непредвиденная компенсация за смену физически трудной, но здоровой жизни в постоянном движении, на менее активную, но более рискованную с точки зрения внезапного недостатка продовольствия или заболеваний. Понятие о территории, которую нужно защищать или, наоборот, завоевывать, у сообществ, выбравших оседлость, также укоренилось гораздо сильнее по сравнению с сообществами мигрантов.

Искусство ранних европейцев столь же не укладывается в нашу схему поступательного развития. Изощреннее ли, совершеннее ли реалистическое искусство верхнего палеолита по сравнению с символическим искусством позднего мезолита? Потребовало ли изображение драматизма и движения принести в жертву реализм, и если да, то что оно собою представляет — шаг вперед или шаг назад? Как явствует из этих вопросов, нам еще предстоит научиться гораздо более плодотворному взаимоотношению с прошлым (включая прошлое искусства) — если только мы готовы отказаться от впитанной на уроках истории идеи поступательного развития.

Эта глава в своем стремительном движении сумела объять и охотников-собирателей, и мегалитических строителей, и земледельцев Запада, и народы, жившее до, во время и после римского завоевания. Объединяет этих людей одно — отсутствие письменного языка, а также представляющееся все более и более вероятным наличие общей для них непрерывной истории. Разглядеть такую непрерывность мешает тот факт, что за все это время доисторические жители Запада сумели впитать, приспособить под себя и в ходе собственной эволюции породить неисчерпаемое разнообразие культурных трансформаций. Их разброс с таким трудом укладывается в наше понимание, что мы долго не видели иных причин этих трансформаций, кроме как миграции, завоевания или давления со стороны более развитых чужеземных групп. Тем не менее последние интерпретации истории больше подчеркивают наличие в ней непрерывности и изменчивости, нежели резких изломов и неуклонного прогресса. Западная культура с ее разнообразием и постоянной текучестью существовала уже в доисторический период — и таковой же перешла в исторический.

Когда мы замечаем, что этой культуре «не хватало» письменного языка, мы выносим одно из самых серьезных и одновременно неосознанных ценностных суждений об истории. Да, появление алфавитного письма оказало огромное воздействие на жизнь Запада во всех ее аспектах, и рассмотрению этого феномена я собираюсь посвятить следующую главу. Однако здесь мне кажется важным увидеть обратную сторону исчезновения устной культуры. Собственно искусство устного повествования — только малая часть такой культуры. С ее утратой общинное, локальное, межличностное, инстинктивное, импровизированное, непосредственное измерения человеческой жизни приходят в упадок, за счет чего возвышаются индивидуализированное, отстраненное, просчитанное и упорядоченное. Законы обычного права вытесняются писаными правилами, опыт уступает место абстракции. Противоречие между этими двумя образами жизни, как мы увидим, станет центральным аспектом всего западного существования.

Попытка рассказать о людях, населявших Западную Европу в дописьменную эпоху и не имевших шанса попасть в анналы, позволяет нам подметить кое-что интересное в самой практике написания истории. Ведь наша склонность втискивать прошлое в удобный формат предисловия к настоящему становится как нельзя более наглядной в случаях, когда о прошлом известно совсем немного. Воодушевленные первыми успехами археологии и опирающиеся на некоторое количество хроник и историй сомнительной ценности, прежние исследователи сумели сконструировать вполне правдоподобный сюжет. К несчастью тех, кто мыслит современными категориями, народы Запада и Севера не оставили ни письменных документов, ни памятников культуры, удобных для размещения в музеях. Поэтому сперва наши предшественники вообще не отводили им места в серьезной истории, а затем сотворили из них некую романтизированную альтернативу общепринятому представлению о том, что такое Европа. Образы первобытного пещерного человека каменного века, мудрого друида, прогрессивного земледельца, освоившего производящую экономику, язычника, погрязшего во тьме невежества, и вдобавок многочисленные реконструкции завоеваний и переселений (так легко обозначаемые на карте — простой линией карандаша) — все это помогало нужным образом свести концы с концами, соблюсти стройность той или иной концепции. Но история не просто испытывает влияние определенной политической идеологии времени ее написания, она вообще всегда является радикальным упрощением прошлого — и 30 тысяч лет доисторического существования Европы особенно уязвимы перед нашей потребностью категоризировать, упорядочивать, осмысливать и объяснять. За отсутствием какого-либо конкретного человеческого голоса, имени, лица мы начинаем смотреть на наших предков как на анонимных членов некоего проточеловечества, исполняющих свое эволюционное предназначение и ведомых безличными силами истории. Тем не менее сам факт адаптации первоевропейцев к разительно меняющимся при-

родным и социальным условиям должен продемонстрировать, что мы имеем дело не просто с еще одним привычно описываемым биологическим процессом; наоборот, множество развилок на путях такой адаптации являются ситуациями выбора — сложного, противоречивого, неосознанного и имеющего самые непредсказуемые последствия.

Когда мы анализируем прошлое, мы так или иначе нивелируем его сложность. Так, периодизация доисторического времени дает нам определенную систему координат, однако грозит обернуться еще одним объяснением взамен требуемого понимания. Технологическое развитие от каменного века к бронзовому и далее к железному само собой выстраивается в картину неумолимого прогресса; смена индивидуальных захоронений коллективными и вновь индивидуальными представляется индикатором смены отношений, связанных с землей и собственностью; рассеяние одинаковых артефактов по всему континенту указывает на общность культуры, возможно, ставшую результатом миграции людских групп; древний документ, пусть и написанный столетия спустя, служит удобным свидетельством того, что происходило на самом деле, — археологи и историки уже научились осмотрительно пользоваться такими построениями, подчеркивая сложность и случайность реальности. Однако нам следует отдавать себе отчет, что новые методы и новые доказательства способны — и никогда не перестанут — быть такой же жертвой нашей склонности категоризировать, какой оказался изобретенный в XIX веке пещерный человек. При всей технической изощренности мы никогда не будем в состоянии объяснить создание столь грандиозных монументов, как Маэс-Хоу, Нью-Грейндж, Калланиш, Стоунхендж или Силбери-Хилл, а любое понимание, к которому мы сможем прийти, будет всегда опираться на наше сегодняшнее мировоззрение. Но тогда что нам «делать» с этими обломками прошлого, какая от них польза, какое влияние они могут оказать на нашу жизнь? Наверное, чтобы взять максимум из того, что могут нам дать эти рукотворные исполины, нужно забыть о присвоенном им концеп-

туальном предназначении и просто взглянуть на них с трепетом и смирением.

Прошлое — страна открытий, но оно же служит фоном, на котором разворачиваются истории, рассказываемые нами другим и самим себе. Потребность в фабуле, в развитии и кульминации заставляет нас смотреть на прошлое, как на нечто, пусть сложное и противоречивое, но имеющее смысл, который в конечном счете должен быть расшифрован. По мере того как благодаря новым методам и открытиям доисторическое прошлое становится частью нашей истории, оно также становится частью нашей цивилизации — выявляющей через географию, культуру, связь с природой свою общность с настоящим. Однако в этом процессе проступает всегдашний парадокс истории. Не наделяем ли мы порядком прошлое, которое в реальности никакого порядка не имело? Не смотрим ли мы в прошлое в поисках обретения уверенности в настоящем? Не является ли вера в то, что мир развернется перед нами во всей своей благоустроенности, утешительной иллюзией, ограждающей от реальности, в которой мы вынуждены жить лицом к лицу с непредсказуемым будущим?

Глава 2

ЛАВИНА СЛОВ

Обновление и обычай в классической Греции

Если в предыдущей главе излагалась европейская история, не оставившая о себе письменных свидетельств, то теперь мы вступаем в период, который просто изобилует писаниями и писателями. Почти волшебное количество древнегреческих документов (а также зданий, скульптур, других артефактов), дошедших до нас, меняет сам принцип наших исследований. Ведь чтобы понять надежды, желания и мотивы европейцев прошлого, нам больше не нужно полагаться на догадки; их мифы, религиозные верования, законы, политические системы, открытия и разногласия теперь доступны посредством элементарного акта чтения.

Алфавитное письмо не просто сохранило историю древней Греции для будущих поколений — оно стало катализатором ошеломляющих перемен в искусстве, архитектуре, политике, а также в восприятии человеком себя самого, своей истории и окружающего мира. Историки и философы уже который век бьются над объяснением этого внезапно возникшего в одном месте многообразия культурных новаций. Было ли у греков больше ума, восприимчивости, таланта, чем у всех их предшественников и последователей, или, может быть, они обладали редкой склонностью к красоте, созерцанию и рацио-

нальному мышлению? От подобных вопросов (несмотря на всю нелепость, их продолжали всерьез задавать еще несколько десятилетий назад) сегодня мы перешли к анализу конкретных исторических, социальных и географических факторов, и одной из тем, пользующихся возрастающим интересом исследователей, является роль алфавитного письма. Собственно, феномен древней Греции, исторический сюжет, кульминацией которого стали Афины V — начала IV веков до н. э., в основных своих чертах может быть описан как последовательность попыток сельскохозяйственного общества адаптировать древние обычаи, лежащие в его основе, к новому уровню экономического благосостояния, к складывающемуся городскому образу жизни и к возникающей культуре письменного слова.

Нас учили видеть в культуре классической Греции гигантский скачок вперед — из тьмы первобытной жизни на свет рационального мышления, демократии и высокой эстетики. Однако, если вспомнить уроки предыдущей главы, у нас сегодняшних больше нет оснований рассматривать пресловутый родоплеменной строй как длящееся и бессобытийное состояние коллективного невежества: уклад и устройство «варварского» доисторического общества позволяли ему весьма эффективно распределять властные полномочия, держать в жестких рамках преступное поведение и ход военных действий, успешно приспосабливаться к меняющейся среде обитания, а также создавать произведения искусства, которые остаются непостижимо прекрасными и поныне. Если мы хотим понять прошлое, нам стоит приучить себя к менее предвзятому и более конструктивному взгляду на соотношение различных ипостасей европейской культуры.

В 1899–1907 годы, работая на острове Крит, британский археолог Артур Эванс сделал ряд поразительных открытий, указывавших на существовавшую здесь в древности неизвестную цивилизацию. На протяжении более чем тысячелетия — приблизительно с 2500 по 1400 год до н. э. — критский



Греция и Персидская империя

В 500 году до н. э. Греция представляла собой западную окраину огромной Персидской империи

город Кносс являлся центром государства, граждане которого имели достаточно развитую письменность, использовали передовые методы обработки бронзы и меди и строили огромные дворцы для своих царей. Минойская цивилизация (названная так в честь царя Миноса) погибла где-то в середине II тысячелетия до н. э. — по всей вероятности, пострадав от разрушительного вулканического извержения, через короткое время она была добита отрядами завоевателей. Около 1200 года до н. э. произошло падение Микен, материкового города-наследника минойской культуры, и Хеттского царства — государства, доминировавшего до тех пор на территории Анатолии и Ближнего Востока. Мы мало знаем о причинах и последствиях этого падения, однако предположительно в результате из Анатолии на запад хлынули потоки переселенцев, которые заставили племена, жившие в районе устья Дуная, мигрировать на юг и восток и в конечном счете осесть на Балканском полуострове и островах Эгейского моря. Хотя 500 лет, последовавшие за падением Микен, оставили очень мало археологических и других свидетельств (за что получили название греческих «темных веков»), по-видимому, именно в это время долины и узкие прибрежные равнины вокруг Эгейского моря были заселены народом, известным нам под именем греческого, или эллинского. Сами греки верили, что являются потомками двух переселенческих племен, ионян и дорян, которые пришли в Грецию извне, и многие их легенды очевидно хранят следы бурных событий XIII–XII веков (падение Трои традиционно датируется 1184 годом до н. э.).

Плавенствующими в культурном, экономическом, политическом и военном отношении державами этого региона на протяжении тысячелетий были государства, лежащие к востоку от Средиземноморья — в Месопотамии и Анатолии. Ассирийская империя, которая пришла на смену хеттам, простиралась от Персидского залива до Средиземного моря, а на короткий период и до дельты Нила. Но в VII веке до н. э. Ассирия подверглась нападению: в 625 году до н. э. Вавилон, а в 612 году до н. э. Ниневия, ассирийская столица, были захва-

чены племенем мидян. В то время как мидяне воцарились в северных областях бывшей Ассирийской империи, на юге персы, народ, сложившийся на Иранском плоскогорье, постепенно захватили бассейн Тигра и Евфрата. В 550 году до н. э. Кир, великий царь персов, разгромил мидян и положил начало империи, которая протянулась от берегов Инда до восточного побережья Средиземного моря.

Сменявшие друг друга восточные империи своей мощью были обязаны земледельческой продукции так называемого Плодородного полумесяца. Надо заметить, что переход от ранних земледельческих поселений на нагорьях к хозяйствованию на обширных низинных равнинах Месопотамии влек за собой определенный риск. Эксплуатация плодородной почвы требовала применения сложных методов ирригации и культивации; отсутствие сырья для производства создавало необходимость в протяженных, а потому ненадежных, сетях обмена и торговли; открытый ландшафт вынуждал строить города с крепкими защитными стенами. В отличие от практически всей территории Европы, где ответом на топографическое разнообразие явилось преобладание небольших поселений, складывание городских обществ в Месопотамии стало естественным итогом адаптации к открытому ландшафту со всеми его опасностями.

Для эллинского населения, рассеянного по крохотным участкам суши в районе Эгейского моря, такое развитие событий имело два важных следствия. Во-первых, имперские державы на востоке были огромным плавильным тиглем для широчайшего исторического и географического спектра культур и традиций. Вавилонская, Хеттская, Ассирийская, Персидская империи абсорбировали культурные влияния самых отдаленных регионов: Индии и Китая, Киргизской степи и Центральной Азии, Гиндукуша и Иранского плоскогорья, Кавказа и южной Месопотамии, Палестины и Сирии, Лидии и Египта — и ко всему этому греки имели непосредственный доступ. Во-вторых, район Эгейского моря лежал в стороне от борьбы за власть над Плодородным полумесяцем, а потому

был предоставлен сам себе — греки могли заниматься своими делами, не боясь вмешательства со стороны.

Дела греков включали в себя рыболовство, сельское хозяйство, ремесла и торговлю — и здесь география и история были на их стороне. Товары прибывали в Средиземноморье из восточных империй и перевозились купцами дальше на запад. Если поначалу в этом промысле заправляли жители Леванта, то есть сирийцы и финикийцы — их регион лежал непосредственно на пути торговых маршрутов, — то по мере захвата империями анатолийских территорий район Эгейского моря начинал играть все большее значение. В эллинском мире, центром которого было море — Сократ метко назвал греков «лягушками, рассевшимися вокруг пруда», — селения располагались в крутых речных долинах, разрезавших горный ландшафт островов и полуостровов. Горы служили труднопреодолимым барьером, однако от одного селения к другому было легко добраться морем. Результатом такой географии стали многочисленные мелкие сообщества, имевшие общие язык и культуру, но благодаря физической разделенности сохранявшие автономию.

К западу от Греции лежало Ионическое море, за ним — южная Италия, Сицилия и выход в западное Средиземноморье. С VIII века до н. э. греки начинают основывать на берегах Средиземного моря колонии-сателлиты, постепенно распространяя свое присутствие до территории современных Италии, Сицилии, Франции и Испании. В южной Италии было рассеяно такое количество греческих поселений, что позже эта область получила у римлян название Magna Graecia, Великая Греция. Одни и те же мифы, божества, ритуалы и поэмы были известны в таких удаленных друг от друга городах, как малоазиатский Милет и южноиспанский Сагунт. Идеи и мнения по любым вопросам находились в эллинском мире в постоянном свободном обращении, лишённые надзора со стороны какой-либо центральной власти. Несмотря на это, история отношений между независимыми греческими городами представляет собой длинный список войн, в которых пре-

дательство, жестокость и порабощение были вполне заурядным явлением.

Из всех эллинских городов больше всего мы знаем об Афинах — по той простой причине, что сочинения афинян, как непосредственных свидетелей событий, так и позднейших историков, были сохранены потомками (само по себе знак того, каким почитанием они пользовались). В VII веке до н. э. на территории Аттики, между ее многочисленными рыболовецкими и сельскохозяйственными поселениями, главным из которых были Афины, начался процесс постепенного политического объединения. Историки предполагают, что до VII века конкуренция за политическую власть на этой территории была незначительной, поскольку общество представляло собой вольную ассоциацию деревень и родов, время от времени собиравшихся вместе для отстаивания и удовлетворения общих интересов и на этом основании преданных друг другу.

Более интенсивная торговля с Востоком, а также открытие месторождения серебра на горе Лаврион, в VII–VIII веках до н. э. привели к росту экономического благосостояния эллинского мира вообще и Афин в частности. Население деревень увеличивалось, в обществах стало выделяться ядро из зажиточных семей, возвышавшееся над большинством обычных земледельцев, рыболовов и ремесленников. Благосостояние сделало необходимой и более формальную социальную организацию, позволяющую распределять ресурсы, защищать накопления, улаживать споры. По мере освоения обычаев урбанизированной жизни восточных империй поселения греческих долин постепенно превращались в города-государства.

В некоторых областях и городах эллинского мира отдельные семьи и люди сумели собрать достаточную поддержку, чтобы взять политическую власть в свои руки, — так устанавливались режимы единоличного правления, или тирании; в других власть разделялась между группами семей — это называлось олигархией. Согласно свидетельству Геродота, в 632 году до н. э. свои претензии на власть в Афинах за-

явил некто Килон: «Он до того возгордился, что стал добиваться тирании. С кучкой своих сверстников он пытался захватить акрополь»*. Несмотря на провал попытки Килона, само свидетельство показывает, что к тому времени Афины уже представляли собой единое политическое образование, в котором захват центральной власти был возможен хотя бы теоретически. На практике же, будучи слишком крупным государством, чтобы стать жертвой манипуляций одного выскочки-властолюбца, Афины сложились как олигархия, управляемая советом богатых семей, который назывался ареопагом.

Согласно Аристотелю (писавшему 250 спустя), в 650–600 годах до н. э. в Афинах и других греческих городах-государствах стали возникать серьезные социальные трения. Конкретным поводом для недовольства афиняне считали так называемое долговое рабство, однако реальной причиной было растущее общественное разделение по признаку богатства и власти. Обеспечение всякого долга ложилось на плечи самого должника, иногда в качестве погашения ссуды у него забирали даже детей, и это, по словам Аристотеля, приводило к тому, что «большинство находилось в рабстве у меньшинства». Институт долгового рабства мог эффективно работать в условиях сельскохозяйственной общины с ее тесными сетями родства и обычным правом; в Афинах VII века до н. э. он уже имел катастрофические последствия. Бесконтрольный рост задолженности происходил в результате того, что состоятельные семьи постепенно прибирали к рукам общинную землю и затем либо брали с земледельцев ренту за пользование ею, либо вообще оставляли их без надела. Земледельцы залезали в долги и через какое-то время переходили в рабство к заимодавцу. Если же они обращались с жалобой в ареопаг, другие состоятельные семьи неизменно отказывали им в удовлетворении.

* История, книга пятая. Перевод Г. Г. Стратановского. — *Примеч. ред.*

К 600 году до н. э. Афинам серьезно угрожала опасность гражданской войны. Напряжение между «народом и правителями государства» (которыми являлись представители богатейших семей) достигло критической точки. Многие граждане буквально становились рабами в собственной стране, другие были вынуждены отправляться в изгнание. Однако наибольшую угрозу для правящей группы представляла ситуация, в которой оказывались земледельцы. Неспособные сопротивляться гнету властителей поодиночке, афинские земледельцы не были вовсе лишены рычагов давления. Дело в том, что деревни поставляли солдат в афинскую армию и флот, и хотя у каждой богатой семьи по отдельности могла иметься собственная вооруженная охрана, потенциально сельская масса была сильнее.

Чтобы избежать кровопролитного конфликта, обе стороны договорились передать ответственность за решение проблем города-государства — полиса — в руки одного человека, Солона, который не был ни членом знати, ни деревенским земледельцем — по свидетельству Аристотеля, «по происхождению и по известности Солон принадлежал к первым людям в государстве, по состоянию же и по складу своей жизни — к средним». Почему афиняне пошли на это? По всей видимости, Афины очутились в тупиковой ситуации — правители грабили собственный народ, но от захвата абсолютной власти их удерживали фракционные противоречия, в то же время простые граждане, особенно земледельцы из деревень, требовали изменить сложившуюся систему отношений, чего не мог обеспечить ни один из членов правящей элиты. Афины превращались в городское общество, где особенно велик риск установления авторитарной власти, однако земледельцы все еще обладали достаточным политическим весом, чтобы настаивать на сохранении обычая общинного самоуправления.

Солон стремился к тому, что греки называли «эвномией», или «благозаконием», — понятие, центральное не только для управления государством, но и для организации жизни вооб-

ще, для повседневного поведения человека и для деятельности окружающего мира. В правлении, как и во многих других делах, существовал единственный верный путь. Задачей, стоявшей перед Солоном, было не сконструировать модель идеального общества и не привести две стороны к взаимоприемлемому разрешению конфликта, а найти, как дела должны обстоять сами по себе. Такое открытие просто обязано вызвать одобрение всякого, кому оно станет известно. Солону не нужно было навязывать эвномию своим согражданам — правильный общественный порядок был благом сам по себе и не требовал насильственных мер для приведения в исполнение.

Реформы Солона явились не только эпизодом политической истории, они стали началом философской эволюции. Ведь земледельцы не добивались некоего сказочного благоденствия, они лишь хотели вернуть себе землю и отменить долги. Чтобы дать им то, чего они просили, Солон не мог повернуть время вспять, однако он мог издать законы, которые воссоздавали гармонию, по его убеждению, существовавшую прежде. При этом «благозаконие», несмотря на все свои практические последствия, оставалось абстрактным понятием, обнаруживаемым не опытным, а созерцательным путем — тогда как его эффект ощущался в реальном мире, само оно существовало только в качестве бестелесной идеи, или идеала. Изобретение таких идеалов стало отличительной чертой классических Афин, и есть все основания увязать это обстоятельство с употреблением письменности, которую греческий мир перенял у финикийцев в промежутке между 800 и 750 годом до н. э.

Изначально надписи появились на памятных каменных плитах и на глиняных черепках и восковых табличках. Среди ранних артефактов письменности — кубок Нестора из южной Италии и вазы из Дипилонского некрополя Афин, датируемые примерно 740–730 годами до н. э. Люди писали послания богам на кусочках обожженной глины и оставляли их

в святилищах — отсюда видно, что кроме прозаической ценности, письмо имело символическую и магическую силу. Для греков, как и для нас, разные формы письма передавали различные нюансы значения.

Особенно интересной исторической деталью стало фиксирование на письме законов — законы Солона (ок. 600 года до н. э.) были, вероятно, изначально вырезаны на деревянных табличках. По одной точке зрения, вырезание законов делало их вечными и неизменными, не допускало последующего искажения, однако сегодня нам уже ясно, что письменная фиксация законов явилась лишь незначительным нововведением в эллинское судопроизводство, к тому же довольно неоднозначным. Как и в других устных обществах, поведение греков по-прежнему регламентировалось нефиксированным обычным правом. Новые законы, возможно, записывались как раз потому, что не являлись законами обычая и, следовательно, не имели всеобщего признания. Важнее другое: из межличностного дела, решаемого в живом общении и взаимодействии, они превратили отправление правосудия в интерпретацию неодушевленного свода правил. Это стало важнейшей стадией в развитии надличностного института государства и абстрактного мышления.

В большинстве афинских проблем Солон винил олигархов. Богатым он говорил: «Знайте же меру надменному духу: не то перестанем мы покоряться, и вам то будет не по сердцу». Он прекратил долговое рабство, отменил все прошлые долги такого рода и призвал обратно всех, кто бежал из Афин, чтобы не стать рабом у заимодавца. Земля, конфискованная за неплату, была возвращена земледельцам. Однако, ликвидируя наиболее острую причину конфликта, Солон понимал, что для установления «благозакония» требуется кое-что еще. Он разработал для полиса новую конституцию, которая разделила население на четыре имущественных класса. Каждому классу отходила определенная доля государственных должностей — архонты и хранители казны избирались из самого

высшего класса; младшие чиновники, начальники тюрем, судебные приставы — из первых трех. Низший класс граждан получал право заседать в народном собрании и избираться в суд присяжных.

Кроме горизонтального деления по признаку социального статуса и собственности афинское общество получало вертикальное деление — по административным единицам, или «филам». Солон решил, что четыре филы должны выдвигать кандидатов на различные посты и что кандидат-победитель должен выбираться жребием. Эта мера помогла сломить постоянную фракционную вражду олигархов. Он также учредил Совет Четырехсот, в который входили по 100 человек от каждой филы, — чтобы дать политическое представительство среднему классу. Наконец народному собранию, состоявшему из всех (свободных) граждан полиса, и судам присяжных были приданы новые полномочия по надзору за действиями должностных лиц и разрешению споров между гражданами.

Наиболее замечательным аспектом Солоновых мер, помимо их смелости и беспрецедентности, стало то, что они нашли понимание и согласие у всех сторон. Тем не менее 50 лет спустя в Афинах сформировалась более централизованная политическая структура, принесшая с собой риск захвата власти, и в 546 году до н. э. человек по имени Писистрат сумел, после трех безуспешных попыток, подчинить себе город. Писистрат правил Афинами 20 лет, в течении которых соблюдал законы, забрав в свое распоряжение лишь главные посты, учредил общественные работы и не облагал население налогами сверх меры. Он понимал, что, не посягая на права земледельцев, удержит их вдали от города и не будет иметь препятствий своему управлению.

Когда в 527 году до н. э. Писистрат умер, власть захватили два его сына, Гиппий и Гиппарх, которые держали в страхе большинство афинян. Гиппарха вскоре убили, а Гиппий продолжал править еще 17 лет. Аристотель писал, что, мстя за брата, Гиппий «многих перебил и изгнал и вследствие этого

стал всем внушать недоверие и озлобление». В конечном счете партия беглецов убедила Клеомена, правителя Спарты, помочь им избавиться город от тирана. Гиппий и его сторонники были изгнаны из Афин в 510 году до н. э.

Несмотря на все очевидные достоинства, законы Солона не смогли помешать людям ими злоупотребить. Когда тираны были низложены, остов солоновской конституции еще сохранялся, однако афинянам требовалось найти новые способы не допустить захвата власти тиранами. Клисфен, глава одного из самых влиятельных афинских родов, во время правления Гиппия живший в изгнании, по возвращении на родину предложил несколько политических реформ, направленных на серьезную реорганизацию афинского строя. Как и Солон, Клисфен пытался поставить предел централизации и понимал, что достичь этого можно, лишь воссоздав распределенную власть, которая существовала в малочисленных сообществах прошлого, живших на основе обычая.

Принципиальной реформой Клисфена, которую Аристотель считал самым важным изобретением греческой политической мысли, было расформирование четырех административных единиц, или фил, афинского общества, каждая из которых возглавлялась группой состоятельных семей, и учреждение вместо них десяти новых. Единым махом эта мера выбивала почву из-под ног влиятельной родовой знати. Прежние афинские филы были устроены на основе географического положения, тем самым облегчая тирану путь к власти, если он завоевывал поддержку населения той или иной области — города, прибрежных поселений или деревень в глубине материка. Десять новых фил избегали этой опасности, поскольку каждая набиралась из трех основных составляющих полиса — каждая имела одну базу в Афинах, другую — на сельских возвышенностях, третью — на побережье. Обитатели различных районов полиса были вынуждены идти на контакт и сотрудничество, и главенство какой-либо семьи в отдельной филе делалось практически невозможным. Каждая филла должна была распределить 50 мест в

Собрании Пятисот поровну между «демами» (избирательными округами размером в среднюю деревенскую общину), а члены Совета избирались голосованием или по жребию и служили на протяжении года. Их нельзя было выбрать снова, пока каждый правоспособный член дема не отслужил свой срок. В дополнение каждая фила выдвигала по одному «стратегу» — военачальнику. Вместе с заместителями других, технических должностей, вроде инженеров или кораблестроителей, стратегам позволялось переизбираться бесчисленное количество раз.

Учитывая, какой ценностью обладает в наших глазах афинская демократия, остается только удивляться, что имя Клисфена так плохо известно. Его реформы были тщательно проработаны, имели далеко идущие последствия и заложили фундамент существования афинского общества на протяжении его «золотого века» в V веке до н. э. Однако меры Клисфена не были случайной находкой. Во время изгнания он познакомился с другими системами правления и, очевидно, хорошо обдумал, чего хотел бы достичь. Если он осознанно поставил целью исключить концентрацию власти в одних руках, то неосознанно он прибег для этого к воссозданию в рамках полурурбанизированного иерархического государства эгалитарной племенной структуры. Филы, существовавшие до Клисфена, представляли собой неформальные общинные системы, что-то среднее между родовыми кланами и соседскими объединениями, — другими словами, они вполне напоминали элементы живущего на основе обычаев сельскохозяйственного общества. Однако в Афинах такие системы становились инструментом присвоения власти амбициозными властолюбцами, а поэтому должны были быть разрушены и созданы заново, чтобы удержать традиционные функции. Общественное устройство могло работать только в том случае, если в нем имелись механизмы распределения власти или согласия на передачу власти в обмен на другие блага — например, защиту или имущество. Население Афин желало вос-

становить закрепленное обычаями широкое распределение власти, и поэтому Клизфену понадобилось искусственно сконструировать, или реконструировать, то, чем люди руководствовались на протяжении тысячелетий.

С небольшими перерывами система, разработанная Клизфеном, продолжала действовать на всем протяжении V века до н. э. — эпохи классической Греции. В середине столетия Перикл пересмотрел конституцию, лишив ареопаг, совет знати, его функций и таким образом оставив единственной инстанцией власти народное собрание. Афины были крупнейшим греческим городом, и где-то к 440-м годам до н. э. их растущая экономическая и военная мощь начала создавать положение, которого Греция прежде счастливо избегала, — положения доминирования одного государства над всеми прочими.

Как бы в доказательство того, что не существует совершенного государственного устройства, в 433 году до н. э. народное собрание последовало совету Перикла и ввергло Афины в гибельную войну со Спартой, отклонило ряд мирных предложений и заново проголосовало за возобновление войны после короткого периода мира. Эти демократические инициативы не только привели афинскую самостоятельность к внезапному концу, они развязали беспощадную гражданскую войну в греческом мире, вследствие которой, по словам Фукидида, «нравственная порча во всевозможных видах водворилась среди эллинов» и «широко возобладало неприязненное, полное недоверия отношение друг к другу».

Афинская демократия, со всеми ее недостатками, сегодня считается идеальной системой правления, причем не только с точки зрения небольшого по нынешним критериям города в древнем Средиземноморье, но и с точки зрения общества любого типа и размера в любом уголке мира. Почему так? Одна из причин — постоянно поддерживаемая самими афинянами идея об уникальной свободе, существовавшей в их

городе. Уже в знаменитой погребальной речи 431 года до н. э. Перикл говорил согражданам, что их общие предки, «передавая [Аттику] в наследие от поколения к поколению, сохранили ее благодаря своей доблести свободной до настоящего времени», что Афины открыты миру и их строй делает афинский народ свободным. Согласно Периклу, афиняне исключительно терпимы к соседям, законопослушны, отважны, любят красоту без прихотливости, мудрость без изнеженности, и каждый в Афинах, «выполняя свое дело с изяществом и ловкостью, всего лучше может добиться для себя самодовлеющего состояния». Никакой другой народ, ни в Греции, ни где бы то ни было еще, не обладал подобными качествами, каковые, судя по всему, смогли развиться лишь благодаря жизни при демократическом правлении.

Перикл произносил свою речь еще в самом начале войны, и его задачей было сплотить войско, связав демократию, личную свободу, отвагу, гражданскую добродетель, обходительное поведение и эстетическую искушенность в неотразимое сочетание. — в то время он вполне мог бы заявить, что афиняне сражаются за саму цивилизацию. Эта речь была блестящим образчиком пропаганды; тем не менее Перикл не без оснований сравнивал некоторые свойства Афин, например, со Спартой, и Пелопоннесская война действительно стала идеологической войной между олигархами и демократами, захлестнувшей весь эллинский мир. Однако не стоит экстраполировать сверх меры. Демократия дала Афинам и другим греческим городам некоторые преимущества над своими соседями, но не могла превратить их граждан в носителей уникальной терпимости и добродетели (в Афинах существовала политическая цензура, граждане не раз голосовали за казнь героических полководцев, они же приговорили к смерти Сократа). Что гораздо важнее ввиду будущего, Перикл был первым знаменитым политиком, который считал один строй правления превосходящим всякий другой из принципиальных соображений. То, как он призывал афинян сражаться за

свои ценности — в войне, которая на самом деле велась по чисто стратегическим причинам, — оказало сильнейшее влияние на всех последующих политических лидеров Запада.

Говоря об афинском демократическом строе как практическом ответе на меняющийся характер общественных отношений, следует добавить, что одновременную ломку переживали почти все элементы греческого мировосприятия. Хотя нам трудно дать непосредственную оценку, алфавитное письмо, по всей видимости, сыграло в этом процессе решающую роль, и лучшей иллюстрацией перехода от устной к письменной культуре могут послужить два великих изобретения классической Греции — история и трагедия.

Люди всегда рассказывали истории о происхождении мира, первых людях, приключениях богов и героев. Эти истории рождались из побуждения человека понять свое место в мире; не будучи буквально истинными, они выполняли функцию более серьезную, чем изображение реальных событий. Боги, полубоги и герои появляются на свет потому, что со временем эмпирическая истина уступает место нравственной — действительные события становятся не так важны, как символическая ценность, которую они имеют в глазах следующих поколений. Практически все системы верований делают человека частью эпопеи сотворения, расцвета, упадка и смерти, намного превышающей его собственные масштабы, — это способ, которым мифы, подобно остальным формам искусства, примиряют человеческий поиск смысла с принципиальной бессмысленностью мира. Поскольку сочинение истории, в нашем современном значении слова, происходит из того же самого побуждения, документальная история как инструмент осмысления прошлого постепенно сменила мифотворчество.

Двумя основателями письменной истории были «отец истории» Геродот и автор истории Пелопоннесской войны Фукидид. Они не верили, что события жизни следует понимать как деяния богов, и в их трудах ничего не говорится о неисто-

вом Зевсе, мудрой Афине или ревливой Гере. Их целью было сохранить для потомства дела людей, зафиксировать важные события и конфликты и указать подлинные (на взгляд автора) причины последних. Такому фундаментальному сдвигу способствовали две вещи — война и переход от устной культуры к письменной.

Геродот начал свой труд примерно в 50-х годах V века до н. э. До тех пор у греков классического периода, насколько можно судить, не возникало желания фиксировать прошлое. История не являлась чем-то, простирающимся позади и впереди подобно бесконечному пути, она была живым, активным бытием, пронизывавшим собой каждый момент настоящего. И такое восприятие роднило греков почти со всеми остальными культурами, кроме нашей — ведь именно наш взгляд на прошлое является уникальным. Первые проблески иного отношения к прошлому появились на свет благодаря ряду произошедших в Греции исторических катаклизмов — в которых настоящее и недавнее прошлое не уступали по драматизму ничему, совершенному богами и описанному у Гомера.

В 500 году до н. э. Персидская империя покрывала обширнейшую область, контролируя из своего центра в долине Тигра богатейшие территории евразийского мира. Греция находилась на периферии этого мира и не представляла особого интереса для персов — если верить Аристокору, эгейское побережье отделяло от Суз, персидской столицы, три месяца пути. Однако с ростом державной мощи персов западные торговые маршруты стали привлекать их внимание. Незадолго до 500 года до н. э. персидские силы разгромили войско лидийских правителей и захватили контроль над водным путем из Черного моря. Затем персы захотели включить в свою империю греческие города на восточном (ионийском) побережье Эгейского моря. Эти города восстали, но после шестилетней осады, в 494 году до н. э., были повержены и оккупированы.

Остальные греческие города следили за тем, как подавлялось ионийское восстание и их единоплеменников уводили в рабство, с беспокойным сердцем. С другой стороны, персы

были поражены богатством и военным искусством ионийцев, передовым оснащением их армий и флотов. Несмотря на свою удаленность, эгейская часть мира очевидно представляла для них интерес. Персидский царь Дарий видел, что сумеет сделать значительное приобретение, если подчинит своей империи весь Греческий полуостров.

В 491 году до н. э. Дарий отправил послов во все независимые греческие города с требованием принести землю и воду в знак покорности. Среди отказавшихся были Афины, Эретрия и Спарта. На следующий год персидский флот из 600 судов с 90 тысяч человек войска отправился из Ионии через Эгейское море. Персы встретили яростное сопротивление в Эретрии на западном берегу острова Эвбея, но сумели захватить город после шестидневной осады. Теперь материк и территория Афинского государства находились у них в непосредственном поле зрения.

Персидский флот отплыл из Эретрии и высадился недалеко от места в Аттике под названием Марафон — на восточном побережье полуострова, в 40 км от города Афины. Афинское собрание послало гонцов в Спарту с просьбой о помощи, зная, впрочем, что спартанская помощь вряд ли подоспеет вовремя. (Основой легенды о марафонском гонце, возможно, послужило путешествие Фидиппида, специально обученного скорохода, который пробежал около 250 км от Афин до Спарты.) Вместо того чтобы готовиться выдерживать осаду внутри городских стен, афинский совет постановил послать девятитысячное войско в Марафон, чтобы вступить в бой с противником и задержать его наступление. Понимая опасность сражения на открытой местности, афинская пехота попыталась увлечь персидскую конницу в глубь страны в близлежащие узкие теснины. Однако затем, под покровом ночи, персы стали загонять большую часть конницы обратно на корабли. Опасаясь, что персидское войско отправится вдоль берега, чтобы напасть на незащищенный город у них за спиной, десять стратегов во главе с Мильтиадом решили напасть на врага немедленно и затем оттянуться к городу.

Нападение увенчалось сокрушительным успехом: персидская армия отступила на корабли с большими потерями, конница не смогла высадиться на берег и персидский флот был вынужден отплыть восвояси.

Значение победы при Марафоне было огромным. Это была афинская победа, одержанная без спартанской помощи и, более того, одержанная войском граждан. Марафон подарил афинянам новое поколение героев — героев, которые не были легендарными фигурами из времен, простирающихся за пределы человеческой памяти, а друзьями, соседями, мужьями, отцами, сыновьями, родственниками. Происходящие из всех слоев общества, из всех районов города и остальной Аттики, это были реальные люди, которые удостоили себя почестей наравне с Ахиллом, Гектором и Одиссеем.

Афиняне ценили помощь богов и шли в атаку только после принесения жертв и толкования знаков. Тем не менее все знали, что само решение послать войско, а затем и напасть на врага, было принято в результате открытого обсуждения на совете и согласия между военачальниками. Марафон укрепил коллективный дух афинского народа, и когда Мильтиад потребовал себе почестей за руководство походом, собрание отклонило его просьбу, утверждая, что победа была одержана всеми воинами и что никто не должен почитаться более остальных.

Марафон положил конец одной кампании, но не мог заставить персов утратить интерес к греческому миру. В последующие годы в Персидской империи произошло египетское восстание, умер великий царь Дарий, однако через десять лет Ксеркс, сын и наследник Дария, вернулся в Грецию с войском в 100 тысяч человек. Пока персидская армия шла по суше через Фракию и Македонию и дальше на юг, к Афинам и Спарте, Ксеркс также двинул на Грецию собранный в Эфесе, на ионийском берегу, огромный флот. Спартанский отряд отослали к северу, чтобы остановить персидскую армию в узком Фермопильском ущелье, а греческие военные корабли вышли навстречу персидским у мыса Артемисий. Сражение у Фер-

мопил задержало персов (что было жизненно важно для спартанцев, лихорадочно воздвигавших в это время защитную стену у Коринфа, которая должна была предотвратить вторжение на Пелопоннесский полуостров с суши), однако не смогло их остановить — они продолжили поход на юг. На греков надвигалась катастрофа: Афины были открыты для нападения с суши, Спарте и всему Пелопоннесу грозил персидский флот, которому не были препятствием никакие стены.

Городское и сельское население Афин эвакуировали, большинство переправилось на остров Саламин. Флотоводцы союзников, возглавляемые спартанцем Эврибиадом, размышляли, что следует предпринять, когда до них дошла весть о том, что Ксеркс сжег Афины до основания. Кое-кто из союзников пожелал отплыть на запад, к Коринфскому перешейку и остановить вторжение персов на Пелопоннес. Однако афинянину Фемистоклу удалось убедить Эврибиада дать вражеским кораблям бой в узком проливе между Саламином и материком.

В конце сентября 480 года до н. э. персидский флот, перевозивший в тот момент большую часть сухопутных войск, вошел в Саламинский пролив, где его поджидали греки. Корабельные палубы использовались как наступательные платформы, несущие воинов, и их разворачивали в нужную позицию с помощью весел — наиболее эффективным методом был таран вражеского судна и последующий абордаж. Греческие корабли были лучше приспособлены для такого маневра, а их экипажи — более опытны в морской войне. В сражении обе стороны понесли тяжелые потери, однако персов масштаб потерь лишил способности продолжать военную кампанию на враждебной территории — Саламин означал, что войне приходит конец. Ксеркс, который наблюдал за сражением с близлежащего холма, немедленно отправился на родину, опасаясь, что новости о поражении персов могут спровоцировать мятеж в Сузах. Остатки его войска отступили домой по суше, остановившись на зимнюю стоянку в Фессалии. На следующее лето греческий союз разгромил персов в Платейской бит-

ве, после чего персидская армия окончательно покинула Балканский полуостров.

Греция была опустошена войной, но своим успехом греки изменили стратегическую географию Евразии. Их победа представляла собой симптом чего-то более глубокого, чем превосходящее тактическое мастерство полководцев. Дело заключалось не в моральном или интеллектуальном превосходстве (европейцев) греков над (азиатами) персами, как внушали нашим предкам, дело было в том, что на тот момент полюс экономической активности уже сместился из Плодородного полумесяца в Средиземноморье. Более мягкий климат, приток населения с Востока, открытие месторождений минералов, освоение земледельческих техник, эксплуатация самого Средиземного моря как обширной торговой магистрали — все это внесло свой вклад в растущее процветание и экономическую мощь народов, заселявших бассейн Средиземноморья. Афины и их союзники пока еще не могли сравниться с Персидской империей по силе и богатству, однако их триумф был знаком того, что Средиземноморье способно соперничать с державами Месопотамии, Анатолии и Леванта на равных.

Вторая Персидская война закончилась в 479 году до н. э., примерно за 20 лет до того, как историк Геродот начал собирать о ней материал. Геродот родился около 484 года до н. э. в Галикарнасе, ионийском городе, завоеванном персами. О его жизни известно немного, но он, несомненно, много путешествовал по Средиземноморью, а детство и юность, проведенные на восточном берегу Эгейского моря, по всей видимости, научили его непредвзятому отношению к персам и другим негреческим народам. Он начал записывать и выступать со своими рассказами, вероятно, в 450-х и продолжал делать это до смерти в 420-х годах. По контрасту с тем бурным временем — между Афинами и Спартой назревала, а затем и разразилась война, охватившая остальную Грецию, — в своих сочинениях Геродот оглядывался на период, когда греки были

едины. Начиная работать, он не имел готовой схемы, а значит, мог доверять только инстинктам. Его «История» содержит все: от басен и фольклора до путевых заметок и высококачественных сплетен, в ней расцветает талант отменного рассказчика — полезное качество для того, кто выступает перед слушателями вживую. И тем не менее Геродот стяжал славу именно историка, именно он впервые открыл нам, что такое история.

То, что Персидские войны повлияли на Геродота самым серьезным образом, не вызывает сомнений. Первые слова «Истории» гласят: «Геродот из Галикарнасса собрал и записал эти сведения, чтобы человеческие свершения с течением времени не пришли в забвение и великие и удивления достойные деяния как эллинов, так и варваров [читай: персов — хотя вообще это слово означало “не греки”] не остались в неизвестности, в особенности же то, почему они вели войны друг с другом». Это необычайно говорящее начало. Во-первых, Геродот не собирался излагать дела полубогов и героев мифического прошлого; он намеревался записать события, происходившие при его жизни, прямо затронувшие его отца, дедов и тех, кто их окружал. Во-вторых, он намеревался не оставить в неизвестности «то, почему они [т. е. греки и персы] вели войны друг с другом». Прежний, рожденный в рамках обычая рассказ о прошлом не подразумевал вопроса «Почему?». Судьба и предназначение человека разворачивались в его отношениях с богами, и хотя подробности реализации судьбы могли быть запутанными и непростыми, никто не спрашивал, почему то или иное событие имело место и почему человек должен был жить или умереть тем или иным образом — нечто происходило потому, что так было угодно богам.

Геродот начинает свой поиск причин, повествуя о разнообразных похищениях царских дочерей финикийцами, критянами и греками, каждое из которых совершается в возмездие за предыдущее преступление и которые в конечном счете разрешаются похищением Елены Парисом и воследовавшей Троянской войной. «Таков, по словам персов, был ход со-

бытий, — пишет Геродот, — и взятие Илиона, думают они, послужило причиной вражды к эллинам. С этим, конечно же, не согласны финикийцы, которые говорят, что самое первое похищение — Ио — вовсе не было похищением, ибо она сама, влюбившись в хозяина корабля, бежала от гнева родителей». Никакое из этих объяснений не впечатляет Геродота, который говорит, что предпочитает полагаться на собственное знание.

После такого зачина мы готовы ожидать от Геродота рационального анализа со ссылками на источники — но напрасно. Собираясь выяснить, почему греки и варвары начали между собой войну, он по-настоящему так и не добирается до объявления причин. Вместо этого мы выслушиваем рассказы — удивительные, занимательные, очаровательные, поучительные. Так, например, первые несколько страниц его первой книги повествуют о войне между персами и Крезом, царем Лидии, но тут же Геродот почему-то считает нужным сделать отступление и рассказать о Периандре, незначительном участнике этого конфликта. «С ним, как говорят коринфяне (и этот рассказ подтверждают также лесбосцы), приключилось в жизни величайшее диво», — пишет Геродот, а затем излагает чудесную историю о музыканте Арионе, спрыгнувшем с коринфского корабля в море и вынесенном на греческие берега на спине дельфина. Эта история, как и многие другие в «Истории» Геродота, не служит никакой цели. Однако рядом с ними Геродот дает подробный отчет о рождении Персидской империи, ионийском восстании, жизни Дария и греко-персидских войнах.

Нас, современных людей, озадачивает способность Геродота совмещать предания, путевые заметки, слухи и серьезную историю в одном произведении, однако в этом Геродот показывает себя как человек своего времени. Его задачей было увлечь слушателей занимательным сюжетом, но не только — одновременно от него ждали повествования и о событиях великих войн, в которых участвовали деда, и о его путешествиях в далекие страны. Хотя сам Геродот наверняка рассказывал по памяти, в то время для выступающих — поэтов,

драматургов, рассказчиков — записывать свои сочинения становилось все более обычным. В начале записи, может быть, существовали только в виде вспомогательных заметок на память, но использование их для личного и коллективного чтения получало все большее распространение. Таким образом, Геродот представлял собой своеобразный мостик от устной культуры к письменной, и особенно отчетливо такое положение Геродота становится видно на фоне его младшего современника Фукидида.

Фукидид писал только об одном — о долгой войне, в которой прошла большая часть его жизни, на которой он служил и которая покончила с афинской гегемонией среди греческих государств. Его труд — единственный сохранившийся источник сведений о Пелопоннесской войне и первая история, написанная скорее для чтения наедине, нежели перед аудиторией. Ко времени опубликования истории Фукидида, вскоре после его смерти в 400 году до н. э., золотой век Афин уже склонился к закату.

Во-первых, о самом конфликте. Пелопоннесская война велась между Афинами и Спартой (втянув большинство других греческих городов) с 431 года до н. э. на протяжении 27 лет с беспокойным миром 421–414 годов в промежутке. Она была развязана, когда правители острова Керкира (Корфу) обратились к Афинам с просьбой о помощи в споре с Коринфом. И Коринф, и Спарта расценили вмешательство Афин как попытку господствующей державы Эгейского моря расширить свое влияние на моря Ионическое и Адриатическое. Губительная война была прекращена в 421 году до н. э., однако Афины вновь сумели посеять вражду среди греков, послав экспедиционный флот для захвата греческих городов на острове Сицилия.

Вопреки выступавшим против экспедиции (включая самого начальника флота Никия), афинское собрание проголосовало за возвращение к войне. Харизматичный и популярный Алкивиад внушал согражданам, что они должны, подобно

отцам, поднявшим могущество Афин на высоту, «стараться вести вперед государство». Экспедиция провалилась, остатки разгромленной армии, высадившейся на Сицилии, были схвачены и проданы в рабство, а флот, источник и символ афинского могущества, брошен. Спарта повторно вступила в войну, на сей раз на стороне сицилийских греков. Боевые действия шли с переменным ожесточением все последующее десятилетие, пока наконец спартанцы со своим предводителем Лисандром и с поддержкой со стороны персов не захватили вновь отстроенный афинский флот у устья реки Эгоспотама в 404 году до н. э. Афиняне были вынуждены признать поражение на унижительных условиях.

В ходе войны большинство городов Греции перешли на сторону одной двух главных противоборствующих в ней сил. Отчасти такие союзы были продиктованы прежними отношениями, отчасти текущими соображениями, однако, по уверению Фукидида, в этой войне присутствовал и идеологический элемент, который спровоцировал гражданские конфликты почти в каждом городе. Внутренние споры перерастали в вооруженные стычки благодаря апелляции к внешней поддержке — «повсюду происходили раздоры между партиями демократической и олигархической, причем представители первой призывали афинян, представители второй — лакедемонян». В ходе внутренних распрей на Керикире одна из сторон судила укрывшихся в храме 50 своих противников и приговорила их к смерти. Осужденные на казнь, чтобы избавиться себя от этой участи, убили друг друга или повесились сами. Однако это не остановило насилия, «происходило все то, что обыкновенно бывает в подобные времена, и даже больше: отец убивал сына, молящих отрывали от святынь, убивали и подле них; некоторые были замурованы в святилище Диониса и там погибли». Эта резня, продолжавшаяся на протяжении недели, зафиксирована Фукидидом во всех ее неприглядных подробностях.

Фукидид свидетельствует и том, как, по крайней мере, в трех отдельных случаях афинянам предлагалось заключить мирные соглашения на разумных условиях и как после откры-

того обсуждения на собрании все предложения были отклонены. Причем в этих решениях не было ничего вынужденного: Афинам не приходилось вступать в войну ради обороны, они могли завершить ее без ущерба для своего могущества и престижа. Но граждане полагали, что Афины слишком великое государство, чтобы смириться с поражением или даже с равноправным миром. Еще важнее оказалась сама история конфликта — после гибели стольких своих жителей город не мог согласиться на мир, который попросту восстанавливал довоенный расклад сил. Афинам, поставившим себя перед дилеммой, не оставалось другого выбора кроме как между великой и славной победой и полным разгромом.

Фукидид был первым историком в современном смысле. Его раздражали объяснения, для которых привлекались сверхъестественные силы, и, в отличие от Геродота, не интересовали поучительные случаи, не имевшие отношения к предмету разговора. Точно так же ему не требовалось предание в качестве ориентира, помогающего понять прошлое. К примеру, он без сожаления развенчивает древнюю легенду о женихах Елены — согласно которой вожди, искавшие ее руки и получившие отказ, решили сплотиться вокруг избранного ею мужа, — говоря, что герои присоединились к Агамемнону просто потому, что тот имел крупнейшее войско в Греции и не потерпел бы отказа. Фукидид специально подчеркивает, что не собирается довольствоваться приведением общих соображений или повторять чужие слухи: «Я не считал согласным со своею задачею записывать то, что узнавал от первого встречного, или то, что я мог предполагать, но записывал события, очевидцем которых был сам, и то, что слышал от других, после точных, насколько возможно, исследований относительно каждого факта».

Образованных афинян уже не так интересовали сверхъестественные силы, управляющие этим миром, или хитросплетения судьбы. Им требовалась надежная информация, которую, как пишет Фукидид, «сочтут достаточно полезной

все те, которые пожелают иметь ясное представление о минувшем». Однако у доказательной истории, появившейся на свет из Персидских и Пелопоннесской войн, был еще один немаловажный источник — распространение алфавитного письма. Фукидид мог отказаться от геродотовского несистематического стиля, потому что перед ним уже не стояла задача выступить со своими сочинениями перед толпой слушателей. Устная культура Афин продолжала существование, однако перед Фукидидом стоял мысленный образ совсем иной аудитории, как следует из его громкого заявления: «Мой труд рассчитан не столько на то, чтобы послужить предметом словесного состязания в данный момент, сколько на то, чтобы быть достоянием навеки»*.

Как было прекрасно известно грекам, записывание сообщает мыслям, идеям и рассказам не изменяемый временем вид, и стремление к богоподобному бессмертию вдохновляло не только писателей, но и самих участников истории. Великие события спровоцировали появление исторического жанра, однако и само фиксирование событий на письме стало влиять на мотивы тех, кто был в них вовлечен. Афиняне полюбили рассказывать миру о своем величии и вечной славе своих деяний. Перспектива занять место в истории стала действующей силой в человеческих поступках; вершители судеб народов сделали предмет своей заботы мнение не современников, а потомков.

Результатом писательства также стала осознанная установка на объяснение. И Геродот, и Фукидид не забывают сообщить нам о том, что объяснение (того, почему случились то-то и то-то) — их цель, и они достигают ее воссоздавая цепь причин и следствий. Афиняне напали на Сицилию, чтобы помочь своим союзникам, но причиной также было и неведение относительно численности войска противника, и убедительные речи Алкивиада. Мы сами видим, насколько это от-

* История, книга первая. Перевод Ф. Г. Мищенко и С. А. Жебелева. — *Примеч. ред.*

личается от прежнего восприятия прошлого. К примеру, в «Илиаде» ахейцы осаждают Трои, чтобы вернуть Елену, и одновременно и для того, чтобы исполнить ряд прорицаний — о том, что Ахилл погибнет под стенами чужого города, что Троя падет от возвращения Париса и т. д. Эти мифические сказания, как и любые устные рассказы, не имели цели объяснять описываемые в них события, они были нужны, чтобы подвести слушателя к определенному осознанию настоящего. Они лишь использовали событийную канву для передачи чего-то, что, сохраняя специфику обстоятельств действия, имеет в то же время универсальное значение. «Илиада», «Орестея», «Беовульф», «Гамлет», «Анна Каренина» бесконечно пересчитываются или представляются на сцене не благодаря фабуле как таковой, а благодаря тому, что используют фабулу для передачи общезначимых истин.

В творчестве Геродота и Фукидида мифический, иносказательный взгляд на прошлое, который был принадлежностью устной культуры, уступает место истории и литературе, которые являются двумя инструментами письменной культуры. Фукидид ставил себе цель представить прошлое как систему объективных фактов, чтобы позднейшие поколения читателей смогли точно узнать, что произошло. Однако ему, как и всем последующим историкам, неизбежно приходилось, во-первых, быть избирательным по отношению к доступному материалу, а во-вторых, составлять отобранный материал в связное повествование. С того момента, когда Фукидид оставил геродотовский беспорядочный и сбивчивый стиль в пользу точности и сосредоточенности на предмете, он дал истории смысл. Но удаление со сцены богов не превратило описание прошлого, как он надеялся, в рациональное фиксирование цепочки причин и следствий. Переход от устной к письменной культуре всего лишь заменил один вид интерпретации другим.

Если рождение истории имеет очевидную связь с наступлением эпохи письменности, связь между первыми ростками этой новой культуры и возникновением трагического те-

атра не столь прямая. Тем не менее, и рождение, и смерть трагедии были возможны только в обществе, которое пребывало в состоянии перехода от устного слова к письменному.

Согласно преданию, в 534 году до н. э. устроитель афинского поэтического праздника по имени Феспид распорядился, чтобы один из членов хора выступал вперед для произнесения своего отрывка. Этот хоревт надевал маску одного из персонажей песнопения, и таким образом принципиальный элемент драматического театра — исполнитель, представляющий действующее лицо, — появился на свет. 50 лет спустя, в 484 году до н. э. Эсхил выиграл свое первое драматическое состязание, положив начало эпохе греческого трагического искусства. Из сотен пьес, написанных и поставленных за последующее столетие в полном виде до сегодняшнего дня дошло лишь чуть больше 30 трагедий. Хотя в нашем распоряжении остался лишь малый фрагмент греческой драматургии и хотя в известном виде она почти целиком сводится к творениям четырех человек — трагиков Эсхила, Софокла и Еврипида и комедиографа Аристофана, — сами пьесы представляют собой неисчерпаемый источник материала, позволяющего подступиться к пониманию мира, который иными средствами остается для нас недостижимым. Ибо театр греков описывает их мир в самый момент исчезновения последнего. Его темы и сюжеты не просто образец захватывающего драматизма — для нас они суть последнее дыхание одной эпохи и предвестие другой.

В устных культурах институт сказания является не только формой искусства, он выполняет множество других функций: преподания исторического урока, наставления в нравах, события коллективной жизни, культивирования разделяемого всем обществом миропонимания. Сказания излагаются стихами, потому что для сказителя это хороший способ придать значительность произносимому, а для аудитории — удержать в памяти одновременно отдельные места и общий смысл. Устное сказание в кельтской, скандинавской, ассирийской, персидской, полинезийской, амазонской

и греческой культурах породило эпическую поэзию, и те устные эпосы, которые дожили до эпохи письменности — легенды о Беовульфе и Гильгамеше, «Мабиногион» и «Илиада», — демонстрируют всю выразительность и изощренность этой формы. Поэтические праздники, на которых поэты повествовали о великих делах олимпийских богов, основании городов, веке героев, были частью греческой культуры с самых ранних времен. Некоторые из них становились праздниками песнопений, а на некоторых происходили представления, в которых граждане составляли хор, певший или декламировавший стихи в унисон. Песнопения и декламация стихов входили и в религиозные обряды, которые, кроме приношения жертв и молитв божествам, включали также игры, борцовские бои и состязания животных.

В V веке до н. э. с ростом благосостояния греческого общества все пышнее становились и его торжества. В Афинах было два главных ежегодных фестиваля (помимо множества однодневных): Ленеи и самое зрелищное из афинских празднеств — Великие Дионисии, которые справлялись в честь Диониса, бога урожая, вина, опьянения и плодородия. На Дионисии сельские жители стекались в город, и население Афинского государства объединялось в прославлении плодородия земли, могущества своей страны, мастерства поэтов и сноровки атлетов. Эти праздники организовывались в расчете на максимальное участие — на любых Дионисиях по меньшей мере 1000 мужчин и мальчиков со всех частей полиса были заняты в пении и более 300 человек задействовали как актеров. Хотя бы одного из исполнителей любой из зрителей знал лично.

Ощущение массового участия усиливалось благодаря размеру аудиторий. Театр Диониса на южном склоне Акрополя вмещал до 17 тысяч человек, причем с каждого места была прекрасно видна сцена. Темы песен и пьес выбирались так, чтобы вызвать живой отклик у зрителей, знакомые всем легенды переплетались в них с событиями недавнего прошлого: войной, мором, стихийным бедствием.

Празднества, в которых развлечения сопровождали религиозные церемонии, традиция поэтических выступлений, дух всеобщего участия и готовность аудитории искренне сопереживать событиям, разворачивающимся на сцене, — все это существовало уже в устной культуре и не выходило за ее рамки; возникновение драматического театра как ответвления поэтического представления потребовало еще одного ингредиента, развития письменного языка. Драматический театр сочетает устную и письменную культуру: слова драмы записываются и произносятся, тщательно отшлифовываются драматургом, но затем исполняются так, как если бы они рождались самопроизвольно. Если некоторые поэты, например Пиндар, просто имели записанную версию своих сочинений, с которыми они выступали, то драма требовала согласованного текста. В эпической поэзии ключевым элементом являлись исполнители, расцвечивать фабулу было их ремеслом. Письменный текст позволил стать творческой силой и драматургам, дал им возможность работать с традиционными легендами, основой всякой греческой драмы, в новом измерении. Для рождения трагедии равно требовались и эпическая поэзия, и письменность.

Самая знаменитая из греческих трагедий — это «Царь Эдип» Софокла, впервые поставленный около 430 года до н. э. Не отступающий от драматической традиции того времени, «Эдип» пересказывал общеизвестное предание, с прочими трагедиями его роднила главная тема — конфликт воли и предначертанной участи человека. Аудитория Софокла прекрасно знала о проклятии, лежащем на доме Эдипа, и о предсказании, данном его родителям, согласно которому Эдипу было суждено убить своего отца и жениться на матери. На этом фоне задачей драматурга оказывалось заставить ужасающую древнюю повесть стать глубинным отражением современной реальности.

На протяжении всей пьесы Эдип показывается искусным и мудрым правителем и при этом человеком действия. Он провозглашает необходимость пользоваться собственным

рассудком и встречать все, что уготовлено жизнью, со спокойствием духа — то есть ведет себя, как образцовый афинянин V века до н. э. Таким образом Софокл фактически переносит героя из древних Фив в свое место и время. К моменту постановки пьесы Афины достигли пика славы и могущества, а возведение Парфенона и другие большие коллективные стройки превратили их в самый прекрасный город в Греции. Некоторые граждане уже усматривали в этом процветании вознаграждение за афинские политические свободы, за свое взвешенное и рассудительное восприятие жизни, — и такое умонастроение не могло не сказаться на религиозных чувствах. Если еще полвека назад вера во всемогущество и вездесущность олимпийских богов была повсеместной, то к 430 году до н. э. образованные греки все больше склонялись к мнению Протагора: «Человек — мера всех вещей». И все-таки, хотя некоторые афиняне (и некоторые действующие лица в «Царе Эдипе») отрицали могущество богов, они не сомневались в том, что человеческой жизнью управляет рок. Даже освобождаясь от веры в Зевса, Геру и Аполлона, афиняне не верили в то, что свободны выстраивать собственную судьбу.

Как разрешить этот парадокс? Как могут люди на первый взгляд вполне успешно распоряжаться своей жизнью, пользуясь рассудком и принимая разумные решения, и в то же самое время подчиняться силам рока? Попыткой Софокла ответить на этот вопрос стала неожиданная сценическая трактовка традиционного сюжета об Эдипе. В начале пьесы пророчество, которое было дано оракулом отцу Эдипа, уже исполнилось, но поскольку никто, и меньше всего Эдип, не знает об этом, никто не страдает. Эдип, в блаженном неведении относительно пророчества, счастливо женат на своей матери Иокасте; Иокаста, знаящая о пророчестве, отгоняет мысли о нем, говоря, что не верит в подобные вещи.

Трагедия пьесы состоит не в исполнении пророчества Эдипом, а в его собственном открытии правды о своей жизни. Его неотступное стремление к истине о самом себе раз за разом встречает неодобрение окружающих, особенно тех, кто зна-

ет эту истину или страшится ее. Однако Эдипа не остановить: «Все я должен знать», — произносит он, и в другом месте, говоря об ужасе, который ему предстоит услышать: «Все ж я слушать должен». Когда истина наконец открывается, его жена и мать Иокаста убивает себя, а сам Эдип выкалывает себе глаза иглой застёжки с ее платья. Слепив себя, чтобы никогда больше не взглянуть в лицо человеку, он покидает Фивы в поисках места, где никогда не услышит человеческого голоса. Причина всего произошедшего — не пророчество, но желание Эдипа изведать истину и то, как он его осуществляет — целенаправленно, целиком полагаясь на собственный ум.

В искаженном современном понимании фигура Эдипа предстает неким чудовищем, мы видим в нем беспомощную марионетку внутренней стихии. Однако подчеркнуто изображая его вменяемым и рассудительным человеком, Софокл показывал своим современникам-афинянам, какая опасность им грозит. Верить в человечество как разумного творца собственной судьбы, понимал Софокл, есть самонадеянное и опасное заблуждение. Иными словами, вершина греческой словесности создавалась как довод против того, в чем, по нашему убеждению, заключался дух ее времени. В «Царе Эдипе» трагедия возвышается над иллюзорной мечтой о торжестве рассудка; напротив, показывает Софокл, рассудок лишь ведет человека обратно к его собственной судьбе.

Замысел и создание новаторской структуры «Царя Эдипа» несомненно не удалось бы Софоклу, если бы к тому времени эллины не знали письменного языка. Сложное ремесло греческого трагического театра, искусное распоряжение драматическими и концептуальными элементами представления опиралось на возможность использовать записанный текст. Но кроме главного орудия в руках драматурга, письменный язык стал еще и провозвестником нового образа мыслей. Трагический театр, как показало будущее, явился последним всплеском уходящей в глубь времен традиции эпической поэзии — инструментальное усовершенствование, породившее из устной формы творчества особый устно-письменный

сплав, стало также и началом его конца. На фоне возвышения рационализма «Эдип» Софокла звучал как отчаянный крик предостережения. Однако стоило рационализму воцариться в сознании людей, они перестали верить в величественную коллизию воли и предназначения, полагая, что разум позволит человеку распорядиться судьбой самому, — и в этом заключался конец трагического театра как центрального элемента греческой культуры.

Развитие письменности сыграло ключевую роль в этом процессе. Воспринимаемая прежде как попытка, одновременно трагическая и комическая, совладать с судьбой, жизнь, будучи записанной, как бы обретала вид поучительного повествования. По сути дела человек мог отныне воображать себя автором своего жизненного сказания. И если так, то его поступки более не увязывались с судьбой, или предназначением, а становились делом свободного выбора. Как именно вести себя в ситуации такого выбора стало предметом уже не трагедии, а новой области человеческого духовного опыта — нравственной философии.

Несмотря на очевидно неоднозначное отношение трагедии, в лице Софокла, к растущей вере в рассудочную способность человека, мы часто слышим, что другие виды греческого искусства явно свидетельствовали о ее укоренении. Пропорциональное совершенство Парфенона, возрождение реализма в скульптуре и живописи, внимание к человеческим формам приводятся в доказательство ненасытной тяги греческих художников к рационализму. Такому мнению особенно способствовало то, в каком контексте и каком состоянии многие греческие произведения искусства открывались современными европейцами, — это были живописные руины древних храмов, бесцветные и безжизненные, или скульптуры, утратившие свои разукрашенные одеяния, или бледные копии, по которым можно было судить только о форме подлинников, но не о их содержании. Все это, вместе с рационалистическим духом Просвещения, привело к стойкому непо-

ниманию греческого искусства. Тем не менее, когда барельефы из Парфенона, вывезенные лордом Элгином, впервые прибыли в Лондон в 1808 году, изумленный английский художник так описывал изображение Тесея: «Каждая телесная форма изменялась от того, находилась ли она в действии или отдыхала... одна сторона спины отличались от другой: первая, начиная от лопатки, тянулась вперед, вторая оттого, что тело опиралось на локоть, сокращалась между позвоночником и прижатой лопаткой, живот же оставался плоским, поскольку внутренности, повинувшись садящемуся движению, вваливались в таз...»* Любого, смотрящего на эти фризы сегодня, мгновенно поражает то же ощущение — ощущение движения и мощи, схваченных в камне. Греческие художники, не ведая того, свели воедино традиции реализма и движения — известные нам по главе 1, — однако этот результат имел отношение не столько к воплощению разумных принципов, сколько к демонстрации человека как животного с собственной анатомией: мускулатурой, костями, суставами, сухожилиями. Древним рационалистам, возможно, и мечталось об изображении людей как возвышенных мыслителей, но ответ художников (по крайней мере лучших из них) был подобен софокловскому — они напоминали людям об их животной природе.

Век классических Афин укладывается между реформами Клисфена примерно в 500 году и разгромом при устье реки Эгоспотамы в 404 году до н. э. Краткость этого золотого века объясняется тем, что Афины, как и остальная Греция, находились в процессе стремительной трансформации. Эгалитарное общество, базировавшееся на устной культуре и обычном праве, адаптировало себя к новым условиям экономического процветания и осваивало алфавитное письмо, которое произвело глубокую перемену в человеческом самовосприятии. Этот переход к письменной культуре прекрасно иллюстрируется такими эпохальными событиями, как разложение мифо-

* Хейдон Б. Р. Автобиография и дневники. 1847.

логического сознания, рождение документальной истории и укоренение рационалистического мировоззрения. Особенно нагляден пример греческой трагедии — ее недолгий век рассказывает поразительную историю о том, как письменность привела к возникновению особого рода искусства и вместе с тем подтолкнула изменения, которые стали для него смертным приговором.

Наследство, которое досталось нам от классических Афин — архитектура, скульптура, литература, мифология, драматургия, — не может не потрясать. На его фоне памятники западноевропейского железного века почти удручают своей незамысловатостью и однообразием. Но мы не должны обманываться этим сравнением и полагать, что Западная Европа обязана классической Греции всем. Как было показано в главе 1, всегда и везде человеческие общества вынуждены приспособляться к переменам, от которых они не в силах уклониться. Права и свободы, столь высоко ценившиеся афинянами, являлись центральным аспектом жизни людей Западной Европы еще с эпохи мезолита, и занимали это место до позднего Средневековья — с единственным перерывом на римское завоевание. Экономическую базу древних земледельческих обществ Запада составляли малые группы, естественный уклад которых подразумевал совместный труд и общее владение землей. Политическая организация западноевропейского общества выстраивалась во взаимодействии между семьями-родами: лидеры родов объединялись на собраниях-советах, выполнявших одновременно функции общественной сходки, законодательного органа, парламента и суда, а некоторые даже имели власть выбирать верховных властителей. Именно это всеобщее участие в управлении так старались сохранить греки.

Западноевропейские общества не являлись образцом совершенства, они сложились как стратегии адаптации в конкретных обстоятельствах и были отнюдь не застрахованы от внезапной трансформации, кризисов или уничтожения. Однако их члены совсем не походили на прозябавших под игом

невежества дикарей, которые, если верить поколениям учебников истории, так и не вышли бы из первобытной тьмы, не случись им испытать влияния Греции и Рима. Также не следует забывать, что принадлежность и связь человека с природой, которую так стремились запечатлеть в своем искусстве греческие художники, была центральным элементом европейской картины мира еще со времен палеолита. Поэтому афиняне отнюдь не являлись исключительным племенем, которое волевым усилием сбросило с себя оковы традиционного общества, — они мучительно разрывались между стремлением сохранить его уклад и необходимостью приспособиться к переменам.

Мы уже немного коснулись новшества, которому предстояло оказать самое глубокое влияние на жизнь Запада. Образованные афиняне того времени все серьезнее увлекались мыслью, что рациональный анализ и дискуссия являются более надежным инструментом постижения мира, чем опыт, толкование оракула, религиозный обряд или героический эпос. Именно эта тенденция стала основополагающей не только для родившейся в греческом мире западной философии, но и для формирования западного мировоззрения вообще.

Глава 3

РОЖДЕНИЕ АБСТРАКЦИИ

Платон, Аристотель и принцип рациональности

Развитие Греции, и особенно Афин, в V веке до н. э. представляло собой ряд сложных пересекающихся процессов. И короткая жизнь трагического театра, и замещение мифологии историей явились следствием освоения греками алфавитного письма, однако связь этих явлений была отнюдь не прямолинейной. Если апофеозом трагического театра было отчаянное и пугающее предостережение человеку, возвысившемуся над складывавшейся веками системой отношений с естественным и сверхъестественным мирами, то история, в лице Фукидида, оказывалась одним из инструментов этого возвышения. Помимо письменной истории, авторы которой считали необходимым дать рациональное объяснение человеческим поступкам, схожий образ мысли находил свое применение и в других областях.

Уже начиная с VI века до н. э. греки начали задаваться вопросами о том, из чего состоит мир, как он устроен и почему изменяется. Свидетельствующие о происходящей ломке традиции, эти вопросы рождались из того же побуждения найти естественный порядок вещей, которое было источником реформ Солона и Клисфена. Некоторые протофилософы пытались напрямую связать порядок, лежащий в основании

природы, с тем, как живут или должны жить люди. Мысль этих первопроходцев, часто принимавшая форму парадоксов и загадок, как правило, выражавшаяся в стихах, дошла до нас лишь во фрагментах. Напротив, от Платона и Аристотеля, учивших в Афинах в первых десятилетиях III века до н. э., осталось довольно многое. Распространение и сохранение в последующие столетия произведений мыслителей классической эпохи, идей и концепций, родившихся в ту пору, обязано созданию новой греческой империи — это историческое событие произошло, когда Средиземноморье скопило достаточно сил, чтобы включить в орбиту своего влияния древние земли Месопотамии, Анатолии и Востока.

Вскользь сделанное Геродотом в «Истории» упоминание впервые сообщает нам о том, что позже было названо греческой натурфилософией. Между Лидией и Мидией шла затяжная война. «Но на шестой год во время одной битвы внезапно день превратился в ночь. Это солнечное затмение предсказал ионянам Фалес Милетский и даже точно определил заранее год, в котором оно и наступило». Предсказание точной даты затмения — по подсчетам, сделанным столетия спустя, это было 28 мая 585 года до н. э. — свидетельствует о высоком уровне астрономических знаний древних. И хотя историки науки полагают, что у Фалеса еще не было возможности предсказывать затмения, рассказ Геродота показывает, что подобное вычисление как минимум не противоречило греческому миропониманию.

Большинство греческих натурфилософов VI века до н. э. жили в Ионии — Фалес, Анаксимандр, Анаксимен были гражданами Милета, Гераклит — Эфеса, а Пифагор родился и вырос на острове Самос. Всех этих ученых мужей интересовала подлинная сущность мира — его происхождение, составные части, основание их связи — концепции, в которых осмыслились эти темы, вполне вероятно, активно циркулировали на территории Персидской империи. В начале V века до н. э. новые объяснения Вселенной появляются уже в греческих го-

родах южной Италии, у таких мыслителей, как Парменид и Зенон (Пифагор обосновался в Италии еще в VI веке). Среди других знаменитых фигур ранней греческой философии: Эмпедокл, живший в первой половине V века и происходивший из сицилийского Акраганта, уроженец Малой Азии Анаксагор и Демокрит из Абдер на севере Греции. Складывается впечатление, что по всему греческому миру отдельные люди перестали рассматривать природу как творение богов — вместо этого они представляли ее как выражение некоего естественного порядка, как результат сочетания вечных элементов или как эфемерную тень совершенного мира, недостижимого для наших чувств.

Мысль о том, что Вселенная существует как физический порядок, открытый для исследования рационально мыслящему человеку, была подлинно новаторским шагом. Письменные фрагменты из трудов Фалеса и Анаксимандра дают нам первое свидетельство об этом шаге, однако не ясно, можно ли считать их новаторами — во-первых, мы мало знаем о том, как и о чем мыслили люди, прежде чем алфавитное письмо сберегло эти мысли, а во-вторых, само мышление испытывает на себе влияние письма. С другой стороны, есть все основания утверждать, что для размышлений о природе письменность имела те же последствия, что и для изучения прошлого.

Многие из первых натурфилософов активно участвовали в политическом управлении. Развитие и строй греческих городов той поры демонстрируют ту же веру в «благозаконие», или эвномию, в человеческих делах, что и афинская конституция Солона, и ранние философы совершили шаг вперед, обратив это стремление к обнаружению законов на мир природы. Это началось всего через несколько десятилетий после адаптации финикийского алфавита, и сложившийся письменный язык эллинов дает нам хорошее представление о том, каким образом складывалось их мышление. Греческое слово, обозначающее порядок, — «космос», и оно же служит для обозначения мира, Вселенной; реальный мир есть порядок, ко-

торый лежит в основании мира, и этот порядок может быть открыт силой размышления.

Из дошедших до нас фрагментов мы знаем, что вопрос о составе мира был одним из главных предметов разногласий. Фалес полагал, что суша покоится в воде и что все сущее в конечном счете происходит из воды. Он также учил, что душа «размешана во Вселенной», — это представление увязывает раннюю греческую мысль с восточной традицией. Фалесу приписывают и важные открытия в геометрии, включая метод триангуляции для вычисления расстояний. Среди постулатов Анаксимандра один гласил, что суша имеет цилиндрическую форму, а другой, что первые животные зародились из влаги и что от животных — возможно, рыб — произошли первые люди. Гераклит учил, что все находится в постоянном течении (по его изречению, нельзя войти в одну реку дважды), Парменид — что нет ни времени, ни движения, а Пифагор — что все возвращается. Пифагор также полагал, что числа являются основой для понимания Вселенной. Мнения этих людей касались происхождения материи, ископаемых, радуги и множества других природных явлений.

Стремление найти порядок, лежащий в основе человеческого общества, сделалось еще более насущным благодаря изменениям, происходившим в конце V века до н. э. Вместе с утратой веры во всемогущих богов и упадком законов обычая перед человеком обнажились новые проблемы: видимое противоречие между благозаконием и свободой, несоответствие между принципами правосудия и переменчивостью народных судов, использование большинством своей возможности обмануть меньшинство и т. д. Эта перемена нравов острее всего чувствовалась в Афинах, которые в последнем десятилетии V века до н. э. вступили в самый беспокойный период своей истории.

В конце долгой войны, которая завершилась в 404 году до н. э., коринфяне и фиванцы намеревались сравнять Афины с землей. Вопреки ожиданиям поверженных афинян — они готовились к изгнанию и уже видели свой город в руинах, — гла-

ва спартанцев Лисандр решил, что прошлые заслуги Афин в деле защиты Греции дают им право на снисхождение. Условия капитуляции, если учесть, как обращались афиняне с городами противников, были на удивление мягкими: городские стены приказали скрыть вместе с оборонительными укреплениями вокруг гавани Пирей, афинский флот — сократить до двенадцати судов, а сам город лишили права на самостоятельную внешнюю политику. Вдобавок всем изгнанникам было позволено вернуться на родину. Рассказывали, что афиняне почувствовали величайшее облегчение с окончанием войны и что люди, разрушавшие стены собственного города, пели от радости. Утратившие политическое господство, они вдохновлялись верой в то, что для греческих городов наступило время мира и гармонии.

Но как должны были управляться новые Афины? Поддержанный Лисандром олигархический режим, известный как тирания Тридцати, вскоре установил в городе террор — от него погибли 1500 членов противоборствующей партии. Вспыхнула гражданская война, в ходе которой войско, собранное человеком по имени Фрасибул, разгромило силы Тридцати. Тем не менее, олигархия сохранила контроль над городом и только усилила террор, составив список из 3000 привилегированных граждан — те, кто не попал в него, знали, что против них в любой момент могут начаться преследования и что, возможно, их ждет казнь. Спарта вновь была вынуждена вмешаться, и на этот раз Павсанию, спартанскому царю, пришлось самому восстанавливать в Афинах демократическое правление. Таким образом, в 400 году до н. э. Афины снова стали демократией — впервые за 30 лет не воюющей со своими соседями.

Среди известных нам философов того времени — Диоген из Аполлонии, Левкипп, Демокрит из Абдер и афинянин Сократ. Последние две фигуры принципиально важны для нашего представления о развитии западного мышления, однако если о жизни Демокрита мы знаем довольно мало, подробности жизни и учения Сократа сохранились. Поэтому мы начнем с него.

О Сократе известно, что он родился около 469 года до н. э. и доблестно служил на войне со Спартой. На улицах Афин и в народном собрании он заслужил репутацию человека, задающего неудобные и острые вопросы, неукоснительно соблюдающего законы и не особенно жалующего самопровозглашенные авторитеты. Хотя у нас нет ничего, что было бы написано самим Сократом, его речь, судя по всему, оказывала завораживающий эффект на слушателей и обращала некоторых в глубоко преданных последователей. Одевавшийся просто, Сократ не чуждался хорошего угощения с обилием вина и приятной застольной беседой. Тем, кто с готовностью внимал его словам, он пытался привить особый подход к жизни и к вопросам, которые она ставит перед человеком; двумя главными чертами подхода Сократа были глубокий, но при этом заинтересованный скептицизм и приверженность умозрению и интеллектуальной дискуссии как единственно верному источнику человеческого познания. Желание, чтобы люди преумножали знание, было очень близко Сократу, так как, по его убеждению, знание несло с собой добродетель и только невежество заставляло людей совершать дурные поступки. И наоборот, утверждал Сократ, поступая во благо, ты не навлечешь на себя никакого вреда, ибо единственный настоящий вред для человека есть вред для его души. Жизнь по справедливости не может навредить душе.

Сократ вовсе не был одиноким искателем истины, он был человеком своего места и времени. В последние десятилетия V века до н. э. стремящиеся к знанию жители Афин и других греческих городов начинали чувствовать себя неуютно в мировоззренческих рамках, которые предлагала освященная веками традиционная мифология. Трагический театр, по-видимому, исчерпал все возможные ответы, которые обычай и предание были способны дать человеку, — чтобы осмыслить вопросы, вызванные изменениями в обществе, должна была возникнуть новая сфера интеллектуальной деятельности.

Среди тех, кто задавался этими вопросами, видную роль играли софисты. Это были образованные люди, понимавшие,

что успех в афинском обществе того времени требует развития навыков спора и устного выступления, и поэтому взявшиеся преподавать риторику и искусство спора для молодежи из аристократических слоев. Софистика подразумевала гораздо большее, чем может показаться, если исходить из нынешнего, негативного значения этого слова. Успешное участие в дебатах было не просто вопросом произведения нужного эффекта — чтобы выиграть спор, оратор должен уметь выявлять логические противоречия в позиции оппонента, тщательно взвешивать и прояснять собственные аргументы во избежание возможных ловушек противоположной стороны, оценивать правильность и ошибочность отдельных утверждений и находить внешние подтверждения для всего, что требуется сказать. Этими инструментами профессии софиста активно пользовался и сам Сократ. Отличие Сократа от софистов, согласно общепринятому мнению, заключалось в его нравственной позиции. Если софисты обучали риторическим приемам за деньги, он вступал в дискуссию из любви к самой дискуссии и потому ходил босым; если они, в расчете на заработок, похвалялись познаниями, Сократ подчеркивал свое исключительное невежество.

Сократ был скептиком, но не циником. Он верил в справедливость и моральную правоту законов, к учреждению которых афиняне пришли путем открытого состязания мнений, потому что верил в тождество между знанием и нравственной добродетелью. Если законы порождались заинтересованным и серьезным обсуждением, они имели нравственный авторитет в силу самого своего происхождения. Однако в действительности дела обстояли не так просто. Приговоры в афинских судах выносились на основании голосования присяжных. Ни полиции как рабочей руки закона, ни института предварительного расследования не существовало — имелись только суды, в которых каждая сторона была обязана представить свое дело. В некоторых случаях и народное собрание функционировало как суд — оно обладало полномочиями приговаривать или оправдывать избранных и назначенных

должностных лиц. Хотя такой порядок может показаться предпочтительным по сравнению с тиранией, узкие места были и у него. Присяжные и члены собрания, будучи просто ответственными гражданами, не являлись экспертами в вопросах права. Они заслушивали выступления сторон, формировали решение о том, на чьей стороне правда, а затем подтверждали свое решение голосованием. Их можно было склонить в ту или иную сторону (отсюда необходимость владеть риторическим искусством), их суждения не обязательно избегали противоречивости. Особенно непостоянство народного собрания сказывалось в периоды войны, в атмосфере напряжения и ожесточенности. Если дела складывались благополучно, афиняне держались друг друга; если успех сопутствовал Спарте, они не замедляли взвалить всю вину на вождей и военачальников.

Человеку, мыслящему рационально, такая система представлялась негодной и внутренне противоречивой, а по Сократу, и общество, и каждый его член могли выполнять свою функцию лишь при условии, что они осознают руководящий принцип своих решений. Идеи «истины», «справедливости» и им подобные употреблялись и Солоном, и Эсхилом, к ним, выступая в судах и народном собрании, часто прибегали софисты. Однако рациональный анализ, которому подверг эти понятия Сократ, выводил их за пределы беспроблемной данности, на которую опирались прежние мыслители. Вместо того чтобы использовать их просто как оружие в споре, он видел в истине, справедливости, благе высшую цель человеческой деятельности. Благо, по мысли Сократа, было чем-то больше и выше удовольствия, товарищества, красоты и даже самой жизни.

Это событие — возникновение мысли о том, что существует некое благо само по себе, к которому мы все стремимся, — ознаменовало рождение такого феномена, как человеческая мораль. Сократ полагал, что мы способны достичь блага путем разумной дискуссии и обретения знания, — другие после него считали таким путем духовное созерцание, политиче-

скую активность, действие сил истории, научный прогресс. Однако какие бы средства достижения блага ни предлагались потом, само понятие и измерение морали появилось в мире благодаря Сократу. Оно не «естественный» феномен, оно было изобретено в конкретном месте и в конкретное время. Кроме того есть все основания утверждать, что именно в морали западное общество обрело признак, отличающий его от всех когда-либо существовавших.

Спрашивая «Что есть справедливость?», «Что есть истина?», «Что есть благо?», сам Сократ оставлял свои вопросы без ответа, взамен пытаясь показать, что подлинный смысл искомым понятиям выясняется путем размышления и обсуждения. Но такая позиция имела одно непредвиденное последствие — она заставляла многих верить, что существование этих понятий по сути независимо от времени, места и обстоятельств и что доступ к ним открыт лишь людям, способным заниматься рациональным анализом и участвовать в интеллектуальной дискуссии. Сократу, вероятно, не хотелось допустить, чтобы эти понятия затерялись в риторических ухищрениях софистов, — однако в конечном счете ему пришлось выгородить для них особую сферу морали и сделать доступ к ним уделом образованных.

Демократия восстановилась в Афинах в 403 году до н. э., а четыре года спустя Сократ, которому тогда исполнилось 70 лет, был призван к ответу перед народным собранием по обвинению в непочтительном отношении к богам и развращении молодежи. Первое обвинение использовалось для возбуждения против него мнения большинства, второе опиралось на дружеские и учительские отношения, которые связывали философа с обесчестившими себя в глазах афинян молодыми аристократами, входившими в состав Тридцати. Поскольку самим им было даровано прощение, Сократ в определенном смысле оказался в положении козла отпущения за чужие грехи. Он был приведен в народное собрание, состоявшее из 501 человека, которые, заслушав сперва речь обвинителя, а затем защитника, проголосовали — 280 голосов к 22 — за его

осуждение. В качестве наказания обвинители требовали смертной казни. Хотя после этого у Сократа имелась возможность предложить меньшее наказание и отстоять свое право на него, он ответил отказом. Его сторонники подали прошение заменить казнь выплатой штрафа, однако прошение было отклонено и собрание вынесло окончательный приговор. В заключительной речи Сократа перед членами собрания, решившими осудить его на смерть, не было и следа раскаяния: «От смерти уйти нетрудно, о мужи, а вот что гораздо труднее — уйти от нравственной порчи, потому что она идет скорее, чем смерть». Его последние слова для суда звучали так: «Но вот уже время идти отсюда, мне — чтобы умереть, вам — чтобы жить, а кто из нас идет на лучшее, это ни для кого не ясно, кроме бога». Чтобы не дожидаться казни, Сократ сам принял яд.

Благодаря тому, что наследие Сократа было столь успешно сохранено и разработано его учеником Платоном, идеи осужденного на смерть афинского мудреца представляются нам интеллектуальной вершиной греческой классической эпохи. Неукоснительное применение разума и опора на знание, как они практиковались Сократом, казалось, несли с собой великие свершения. Нравственная несостоятельность, дурное поведение, неверный суд, зло как таковое — все это теоретически могло быть исправлено или вовсе исключено трудом ума. Но сколь бы подобное чарующее видение ни отвечало современному представлению о классическом мире, как слепки с беломраморных статуй и живописные развалины являются лишь бледной и к тому же искаженной тенью греческой культуры, так же и сократовская вера в исключительное преимущество рационального пути к истине и благу — ненадежное основание для нашего суждения о ней. Младший современник Сократа Демокрит (около 460–385 годов до н. э.), проживший почти всю жизнь в северогреческом городе Абдеры, написал большое количество трудов по физике, космологии, геологии, медицине, этике и политике, но из них до

нас не дошло ни одного — сохранилось лишь порядка 300 фрагментов из его сочинений, причем некоторые представляют собой пересказ слов Демокрита позднейшими составителями. И тем не менее, мы знаем, что Демокрит являлся важной фигурой в интеллектуальной жизни греков, и оставшееся от его работ демонстрирует совершенно иной способ мышления о мире, нежели тот, который мы связываем с Сократом.

Если Сократ полагал, что всякое подлинное знание есть знание истины, Демокрит писал: «Человек должен узнать, что он далек от [подлинной] действительности». Скептическое отношение к абсолютной истине, к любому абсолюту вообще, лежало в основании всего его мышления. В отличие от Сократа, он не думал, что люди поступали бы в согласии с благом, обладай они знанием, и не верил, что можно построить общество, гарантирующее добродетель: «При ныне существующем порядке управления нет никакого средства [воспрепятствовать], чтобы правители, если даже они и весьма хороши, не испытали несправедливости». Иначе говоря, для него люди могли быть одновременно добродетельными и способными на дурные поступки. Демокрит также писал: «Бедность в демократии настолько же предпочтительнее так называемого благополучия граждан при царях, насколько свобода лучше рабства». Для него «хорошо управляемое государство есть величайший оплот: в нем все заключается». Такое управление подразумевало упорный труд со стороны должностных лиц и великодушие со стороны вождей: «Если люди состоятельные решаются давать неимущим деньги взаймы, помогать им и оказывать благодеяние, то это значит, что в данном обществе имеется взаимное сочувствие, единение между гражданами, братство, взаимная защита, единомыслие граждан...»

Демокрит рассматривал политический процесс как практическое предприятие, требующее непрерывной работы, исправления ошибок, взаимопомощи и самоотдачи, а не теоретических построений. Никакая из существовавших систем не могла этого гарантировать, хотя в греческом полисе демократия определенно была предпочтительнее самовластия.

В своих воззрениях на природу и человеческие поступки Демокрит также полагал, что поиск абсолютов есть погоня за иллюзией: «Мы ничего ни о чем не знаем, но для каждого из нас в отдельности его мнение есть [результат] притекающих [к нему образов]». Такая мыслительная тенденция выростала из опыта греческих обществ, вынужденных находить практическое решение проблем, связанных с тиранией, междоусобными войнами и иноземными вторжениями, однако вскоре этой релятивистской, прагматической составляющей греческой мысли было суждено навсегда оказаться в величественной тени платоновского учения.

Суд над Сократом, обвинение и навязанное самоубийство были письменно засвидетельствованы его самым способным учеником; фигурой универсального, а не локального значения Сократ сделался именно благодаря сочинениям Платона. Платон родился в Афинах около 427 года до н. э. и принадлежал к аристократическому роду. На первые 30 лет его жизни выпал один из самых бурных и тяжелых периодов афинской истории. Пока город враждовал со Спартой, военный конфликт был основным фоном постоянно меняющейся политической жизни. Платон служил в афинской армии в 408 году до н. э., и его семья оказалась тесно связана с олигархической группой, которая пришла к власти после разгрома в 404 году до н. э., — в число Тридцати входили брат его деда Критий и дядя Хармид.

Для тридцатилетнего Платона смерть Сократа стала горьким испытанием. Как и многих афинских аристократов, его угнетали метания народного собрания в военное время, и ответственными за поражение Афин он считал разложение и некомпетентность народных вождей, особенно в сравнении с самодисциплиной и воинским профессионализмом спартанцев. Осуждение его учителя судом граждан наверняка лишь усилило отрицательное отношение Платона к народовластью. После смерти Сократа он сразу же покинул Афины и вернулся лишь в 388 году до н. э., чтобы основать Акаде-

мию — подобие высшей школы, которое стало прообразом современных университетов. Именно преподавая в Академии, он написал основной корпус своих сочинений, большинство из которых дошло до наших дней.

Для своих произведений Платон выбрал форму бесед, ведущихся двумя или большим числом участников. Почти во всех случаях одним из протагонистов служит Сократ, которому оппонирует кто-нибудь из известных софистов. Первые сочинения Платона были посвящены суду над Сократом и его смерти, и по общепринятому мнению эти диалоги довольно верно отражают сократовские взгляды. Со временем и, возможно, с обретенной уверенностью в своих силах Платон начал выдвигать собственные идеи и доводы, продолжая пользоваться персонажем по имени Сократ для их выражения в диалогах.

В ходе каждого диалога Сократ задает простые, но исполненные глубокого смысла вопросы: «Что есть истина?», «Что есть ораторское искусство?», «Даются ли законы богами или создаются человеком?» — после чего постепенно вынуждает незадачливого оппонента запутаться в собственных противоречиях. При этом важно, что диалоги позволяют Платону высказать, под видом аргументов в равноправном споре, свои взгляды на множество разных предметов. Платоновский метод разбирательства, унаследованный от софистов и Сократа, заключался в том, чтобы исчерпать предмет непрерывным вопрошанием, нацеленным на выявление противоречивости и нелогичности в позициях остальных участников, которые они легкомысленно принимают за нечто само собой разумеющееся. Интеллектуальная скрупулезность Платона, блестящий и предельно ясный стиль вместе с тем фактом, что диалоги сохранились для последующих поколений, сделали его не только наиболее влиятельным мыслителем своего времени, но и первым отцом-основателем западной философии.

О платоновских методах сказано достаточно, настала пора описать высказанные им идеи. В отличие от натурфилософов, таких как Анаксимандр и Гераклит, которые задавались во-

просом «Из чего состоят все окружающие нас вещи?», Платон полагал, что с нашим действительным опытом согласуется попытка ответить на другой, более фундаментальный вопрос: «Что суть все окружающие нас вещи?» Говоря иначе, по Платону, в основе нашего восприятия мира лежит не просто выяснение его физических атрибутов, а осмысление его в понятиях. Но что представляет собой такое осмысление? Благодаря чему окружающий мир вообще имеет для нас какой-то смысл? Платоновским ответом на этот вопрос стала теория форм, которой было суждено остаться в истории самой долгоживущей и влиятельной из его идей. Когда мы называем определенных животных «кошками» или «собаками», определенные растения — «деревьями» или «папоротниками», а определенные предметы — «столами» или «стульями», мы их категоризируем. Мы делаем это мгновенно и инстинктивно, потому что чувствуем, что вещи, подпадающие под наши категории, обладают определенными общими свойствами. Если мы проанализируем некую категорию, скажем, категорию собак, то выявим набор свойств, который скажет нам, в чем заключается «собаковость». Пока мы не сказали ничего необычного. Но почему наши категории именно таковы, каковы они есть? Почему, к примеру, мы не объединяем белых собак и белых кошек в группу под условным названием «беляки», а коричневых собак и коричневых кошек — в другую под названием «коричневики»? И каким образом, даже в раннем детстве, мы способны опознать собаку, не сверяясь с чем-то вроде списка черт, устанавливающего, отвечает ли конкретный зверь минимальным требованиям? Платон полагал, что такое происходит, потому что мы носим в своем уме идеальную форму собаки (кошки, дерева, стола), придающую определенность нашим чувствам.

Но дело даже не в существовании идеальных форм в нашем уме — на самом деле они существуют в другом, своем собственном мире. Этот идеальный мир недостижим для обычных чувств, он доступен только сознанию и только посредством рационального мышления. Отсюда следует, что

реальный мир, который доступен нашим чувствам, есть искаженная тень идеального. В знаменитом отрывке из «Государства» Платон сравнил жизнь чувств с пребыванием в пещере. Отгороженные от света, все, что видят пещерные жители, — это тени, проецируемые на одну из стен, тени происходящего снаружи, в великолепном сиянии идеального мира. В этом впечатляющем образе заключено все недоверие Платона к способностям чувств, вся его приверженность разуму как единственному инструменту постижения истинного, идеального мира.

Платон полагал, что естественный порядок внутренне присущ всем вещам, равно физическим и нравственным. Греческие натурфилософы искали всеобщих ответов на вопросы о физическом мире, и революционность их мышления заключалась в том, что они пытались открыть правила (причины, элементы), которые были бы верны для всякого места и всякого времени. Платон воспринял этот «универсалистский» подход и применил его к понятийному постижению, а также к вопросам справедливости, блага, политики и управления. Его работа состояла в выявлении идеалов, не скованных в своем существовании этим миром, но обнаруживаемых и применимых повсюду, независимо от места, времени, обычая или опыта. Наиболее важное произведение Платона, «Государство» начинается с вопроса «Что такое справедливость?» и через теорию форм приходит к изображению идеального общества, устройство которого продумано до деталей, причем конкретный характер всех элементов — государственного управления, правосудия, брака, семейной жизни, образования, воинского обучения — выясняется в результате рационального обсуждения.

Читатель, впервые взявший Платона в руки, знакомый с репутацией древней Греции и ее величайшего философа лишь понаслышке, будет готов обнаружить в платоновском идеальном обществе образец открытости, демократии и свободного обмена мнениями, место, где процветают искусство и поэзия. На самом деле он встретит нечто противоположное. Плато-

новским государством управляет группа олигархов-философов из особого класса правителей, семейная жизнь у двух высших классов (правителей и стражей) упразднена, поскольку порядок рождения и воспитания детей определяется набором евгенических процедур, а поэзия, театр и изобразительное искусство запрещены. Истина достигается через познание, поэтому изображения и повествования, с их претензией на истинное отражение событий, недопустимы. «Государство» показывает, как собственный метод рационального абстрактного обсуждения приводит Платона к провозглашению статичного идеала, являющего противоположность демокритовскому прагматическому и изменчивому полису и тому свободному и открытому обществу, которое за 50 лет до этого восславил Перикл.

В 1945 году в книге «Открытое общество и его враги» с сокрушительной критикой платоновских политических идей выступил Карл Поппер, философ и беженец из оккупированной нацистами Австрии. Поппер утверждал, что применение Платоном идеализма в политике и вообще его стремление к идеальному обществу — это прямой путь к тоталитаризму. Любое застывшее общество по определению будет враждебно критике и переменам, а сохранение общества в таком состоянии всегда будет важнее, чем благополучие его членов. Поппер увидел в платоновском сочинении выпад против афинского открытого общества и предательство тех, кто его создавал. Хотя в книге упоминаются имена Демокрита и Перикла, открытостью Афины на самом деле больше обязаны своим гражданам — тем людям, кто сделал реформы Солона и Клисфена необходимостью.

Несмотря на то, что по видимости в построении идеального общества Платон руководствовался абстрактным, отвлеченным рационализмом, мы можем и должны усомниться в объективности его воззрений. Платон происходил из аристократической семьи, напрямую замешанной в расправах 404 года до н. э., а Сократ, воспринимавшийся им как духовный отец, был осужден на смерть властью народа. Если Де-

мокрит утверждал, что порядок и свобода способны существовать бок о бок, то Платон решительно отказался от свободы во имя тотального контроля и в результате, пользуясь методом, унаследованным от Сократа, создал образ общества, в котором поэты не смеют творить из страха оскорбить власть, где только у философов есть право управлять и где будущие члены правящего класса производятся по необходимости и воспитываются исключительно для своего возвышенного предназначения.

Платон показал, что путь к истине состоит в абстрагировании ключевых понятий, таких как знание или справедливость, достигаемом через очищение от локальных, присутствующих в каждодневном опыте вариаций и искажений, и последующее вычленение внутренней, «идеальной» сущности. Этот процесс не нуждался в изучении различных практических методов правосудия, он не требовал внимания к внешнему миру, в котором люди приобретают и используют знания каждый по-своему. Весь его смысл заключался как раз в том, чтобы сквозь испорченность и беспорядочность нашего мира суметь разглядеть мир идеальный. Достигнуть этой цели, по Платону, могли лишь высокоразумные люди, рассматривающие и обсуждающие подобные величественные вопросы в удалении от мира. С тех самых пор западная философия неизменно становилась на этот путь — путь вычленения из сутолоки и неразберихи реального мира всевозможных универсалий, констант и инвариантов, — оставаясь в твердом убеждении, что отвлеченное умозрение есть единственная гарантия ясности мысли и, следовательно, единственный способ понять человека и его место в мире.

Платоновское представление об исключительности пути к истине было усвоено и трансформировано его учеником Аристотелем. Родившийся в городе Стагира на севере Греции в 384 году до н. э., Аристотель был сыном врача при дворе царя Македонии. Отправившись в Афины за образованием, он поступил в Академию Платона 17 лет от роду и оставался в ней

еще 20 лет, до смерти учителя в 347 году до н. э. Следующие 12 лет жизни он провел в странствиях, на какое-то время оказавшись при дворе Филиппа Македонского, в качестве воспитателя царского сына Александра. Вернувшись в Афины в 335 году до н. э., Аристотель основал собственную школу, Ликей, где преподавал 12 лет, пока не был вынужден покинуть город, всего за год до собственной смерти.

В отличие от предыдущего столетия, временной отрезок, на который пришлась жизнь Аристотеля, на удивление плохо задокументирован. Годы, отделяющие конец Пелопоннесской войны от строительства грандиозной империи Филиппа и Александра, освещены только в одном полном труде — «Греческой истории» Ксенофонта, — да и та известна своей ненадежностью. Историки полагают, что в течение IV века до н. э. города-государства центральной и южной Греции постоянными войнами друг с другом довели себя до того, что ни один не был в состоянии должным образом оборонять свои границы. К этому периоду относится возвышение Фив, сумевших завоевать территорию Спарты, а также крупные конфликты, в которых участвовали Коринф и Афины. Результатом этих междоусобиц стала неспособность предотвратить вторжение новой силы, окрепшей на севере. Филипп Македонский, разгромивший афинян при Херонее в 338 году до н. э., сумел сделаться властителем всей материковой Греции, а в 336 году до н. э. его трон унаследовал сын Александр.

Хотя Аристотель, македонец по происхождению, был учеником Платона, разница в их взглядах стала корнем философских споров всех последующих столетий. Оспаривавший некоторые центральные идеи учителя, Аристотель тем не менее вполне по-платоновски считал рассуждение единственным путем к открытию истины о мире и о человеке. Он соглашался, что в каждой вещи заключена некая сущность, однако не верил, что такие сущности существуют самостоятельно — для него не было никаких «кошкостей» или «собаковостей», существовавших вне кошек или собак как объектов этого

мира. Также, на взгляд Аристотеля, если подобная идея сущности и применима к статическим объектам, то сам мир, как утверждали еще ранние философы, преисполнен роста и движения. Он утверждал, что каждая вещь содержит не только статичную сущность, но и сущность как то, чем она может стать, — названную Аристотелем естественным предназначением, или «телосом» (целью). Отсюда следует, что, например, желудь содержит сущность дуба, а ребенок содержит сущность взрослого. Желудь и младенец растут, потому что на то есть естественная причина — они должны перейти от заложенного в них потенциала к реализации, состояться, соответственно, как дубовое дерево и как взрослый человек. Движение также подразумевает осуществление, или актуализацию, потенциала, имеющегося в телах.

Исполнение естественного предназначения, или телоса, выступает объединяющим принципом аристотелевских воззрений по целому ряду вопросов. Он видел цель благой жизни в исполнении телоса, который заключается в занятии наилучшей деятельностью, например интеллектуальным созерцанием или совершением добродетельных поступков. В политике город-государство, или полис, есть осуществление потенциала, заключенного в объединении добродетельных людей, а у полиса в свою очередь есть потенциал для исполнения своего предназначения — обустроить общество, в котором каждый гражданин обретет благоденствие.

Другой ведущий принцип Аристотеля, непосредственно относящийся к исполнению телоса, — это причины. Вещи, содержащие потенциал движения, приводятся в действительное движение некоей внешней силой. Эта сила является причиной их движения. Аристотель полагал, что даже тогда, когда подобные причины движения и роста невидимы, как, например, при росте растений и животных, они тем не менее существуют. Всякое движение, всякий рост должны иметь причину, а всякая причина в свою очередь производится другим движением, которое имеет собственную причину. С по-

мощью долгого ряда подобных переходов Аристотель показывал, что всякая причина через цепь следствий производна от Первой причины, или Перводвигателя. Эта-то Первая причина и оказывается прародителем и творцом Вселенной.

К моменту смерти Аристотеля в 322 году до н. э. греческий мир переживал масштабную трансформацию, спровоцированную грандиозными свершениями бывшего аристотелевского воспитанника. Внутренние территории Евразии, когда-то находившиеся под властью шумеров, хеттов, вавилонян, ассирийцев, египтян и персов, за каких-то 15 лет были целиком завоеваны Александром и включены в состав вновь создаваемой огромной греческой империи. Эллинистический мир, возникший благодаря Александру и его наследникам, сохранил культуру классической Греции, однако применять ее исторические уроки приходилось уже в ситуации, имевшей совершенно иное физическое, социальное и политическое измерение. Частное сделалось универсальным, и горизонт греческого интеллектуального поиска вырос от размеров города-государства до всемирной империи. Практические и теоретические вопросы, нацеленные на должное, как оно понималось гражданами полиса, уступили место исследованиям всеобщей природы морального и справедливого. По этой причине именно произведения Платона и Аристотеля, с их акцентом на универсальное, стали пользоваться особым почтением. Щедрое обещание Платона достичь истины и преобразовать человеческое существование силой разума возоблагодало над демокритовским признанием неискоренимой субъективности и случайности этого существования.

В 356 году до н. э., когда Филипп взойшел на трон Македонии, последняя представляла собой небольшое, сравнительно бедное государство на севере Греции, на самом краю эллинского мира. Тридцатью годами позже его сын Александр правил империей, простирающейся от Италии до Индии и от Египта до Каспийского моря. При этом столь масштабное завоевание было осуществлено силами всего лишь тридцати-

тысячного войска. Из учебников мы знаем, что величайшей мечтой Филиппа было повергнуть Персидскую империю — Александр не только исполнил эту мечту, но и достиг гораздо большего. Откуда же происходил этот мощный завоевательный импульс?

Приграничные области Македонии на севере были районом богатых пастбищных угодий, куда периодически вторгались племена кочевников, мигрирующих между степями Северного Кавказа и Среднедунайской равниной. Специально чтобы защитить свою землю, Филипп набрал армию, и это дало ему доступ к постоянному конному и кормовому резерву. Обзаведясь войском и кавалерией, Филипп сделался желанным союзником для других городов и вскоре был втянут в конфликт между Фивами и Фокидой, по окончании которого под его контролем оказалась еще большая территория. Через короткое время, в качестве предводителя союза северо-восточных греческих государств, Филипп стал представлять угрозу для Афин и Фив, которые не замедлили объявить ему войну. Разгромив новых врагов, он обнаружил, что повелевает практически всей Грецией.

Веками Греция оставалась скоплением самостоятельных городов-государств, попеременно ссорившихся и друживших между собой, воевавших и заключавших союзы. Под властью Филиппа большинство из них внезапно осознало себя частью единого политического образования, и с политической точки зрения это образование было монархией — строем, от которого греки уже успели отвыкнуть. Век полиса подошел к концу, ему на смену пришел век царств, или империи. Почему же Филиппу понадобилось захватывать Персидскую империю? Возможно, он стремился освободить греческие города, которые по-прежнему платили дань Персии; возможно, он хотел раз и навсегда устранить для Греции угрозу персидского вторжения. Так или иначе, очевидно, что Филипп был царем-воином и вся его власть была добыта с помощью войск. Когда он подчинил себе Грецию, ему и его преисполненным боевого духа, опытным, закаленным в сражениях солдатам

было больше некуда наступать. Возможность же остановиться и возвратиться в Македонию, распустить войско по домам, к полю и хозяйству, Филиппу, судя по всему, просто не приходила в голову. Дополнительной причиной могло быть то, что новая держава оказалась вероятной мишенью для нападения со стороны персов. В любом случае, для Филиппа и его сына Александра пределом стремлений не являлось ни благоустроенное общество, ни хорошо управляемый полис, ни установление прочного союза между неуживчивыми греческими государствами — целью было повелевать всем миром. Достичь этой цели можно было только одним путем — повергнуть Персидскую державу и установить взамен собственную.

Когда Филипп умер в 336 году до н. э., царем Македонии и главой греческой федерации стал его девятнадцатилетний сын Александр. Дорога царствия была уже проложена — греческие армии находились в этот момент в Малой Азии, маршируя к Иссу, навстречу Дарию III. Последующие 12 лет Александр провел во главе войска, которое исходило Персидскую империю вдоль и поперек, захватив и подчинив по пути Сирию, Финикию, Египет, Вавилон, Сузы и Персеполь. Он разгромил Дария в трех сражениях и насадил свою власть во всех областях, куда только могли пойти его воины.

Нам сегодняшним Александр представляется блистательной и даже романтической фигурой, возможно, величайшим полководцем всех времен и народов. В то же время есть основания утверждать, что его походы были одним из первых примеров характерно западной культуры ведения войн. Традиционный всадник-воин азиатских степей использовал нелобовые нападения и отступления, полагаясь на метательные снаряды, тактический отвод сил и сохранение резервов как на средство изматывания противника, вместо того чтобы пытаться уничтожить его в генеральном сражении. Народы, пользовавшиеся такими методами, оседая в низменностях и основывая сельскохозяйственные и городские общества, продолжали воевать по-прежнему, сочетая тактику внезапных набегов с дипломатией и культурным поглощением соперни-

ков. Философию войны как орудия сдерживания исповедовали многие азиатские общества — от китайцев до арабов-мусульман, — и персы ничем не выбивались из этого ряда.

Для отрядов Александара, напротив, символом веры было понятие воинской чести: они сражались не за ту или иную территорию, а за общее дело. Такая вера греческих воинов во многом питалась их чувством превосходства над противником, которое в свою очередь происходило из осознания того, что они обладают уникальной степенью свободы. В сражении греческая пехота стояла и билась на смерть и была готова умереть с честью, поскольку исход сражения значил больше, чем просто выживание, а от хорошей смерти следовало не спасаться, а стремиться к ней. Дарий и его армия попросту не могли понять страсть Александра к сражениям: в последнем столкновении свита Дария убила собственного царя и оставила его тело в надежде на то, что, увидев труп главного врага, Александр успокоится. Разумеется, их надежда была напрасной. Если персы вступали в войну осмотрительно, рассчитывая на завладение преимуществом, греки шли воевать с радостью, ожидая заслужить честь, — и не знали, как остановиться.

Покорив все персидские земли, Александр двинулся на северо-восток, к Самарканду и Бухаре, затем повернул на юго-восток, через Гиндукуш и Афганское плоскогорье добравшись до Инда, пересек его и прошел через весь Пенджаб. И хотя он ставил себе целью отодвинуть линию обороны как можно восточнее, исключив любую угрозу со стороны племен Центральной и Южной Азии, Александр гонялся за иллюзией. Следуя тысячелетнему обычаю, народы степей и плоскогорий Центральной Азии просто отступали перед надвигавшейся угрозой и вновь возвращались на то же место, когда греческие отряды проходили мимо. Александру было просто не под силу обнести стеной половину мира и удержать другую половину за ее пределами.

В 325 году до н. э. Александр вместе с войском двинулся из Индии обратно в Персию и двумя годами позже умер в Вави-

лоне, по всей видимости, от тифа. Ему было всего 33 года. Хотя бесплодный натиск греков на Восток имел определенную стратегическую цель, ни Александр, ни его солдаты не видели ничего кроме боевых будней. Они продолжали сражаться, потому что не знали другой жизни. Когда в конце похода солдаты взбунтовались, они просили отпустить их домой — но только после того, как достигли земного предела.

После смерти Александра его семья, двор, военачальники, правители областей начали спор о том, кому из них отойдут захваченные земли. Приблизительно к 280 году до н. э. размер подконтрольных им территорий относительно стабилизировался, положив начало трем великим эллинистическим династиям*. Селевкиды подчинили огромный регион от Сирии до самого Инда; Птолемеи правили Египтом; Антигониды остались во главе Македонии, которая на тот момент включала, за незначительными исключениями, большую часть материковой Греции. Внутри этой обширной области несколько мелких территорий сохранились в качестве независимых царств. Поскольку македоняне не сумели захватить Элладу целиком, свою автономию удержали и несколько «старых» греческих государств. Хотя многие из них сохраняли верность демократическим институтам и выборному управлению, мир вокруг них изменился и ни один город уже не мог проводить внешнюю политику, игнорируя присутствие крупных и могущественных соседей.

Старые греческие города изменились и внутренне. Одной из важнейших мер Александра стало введение по всей империи единой валюты. Это серьезно подхлестнуло развитие торговли на огромной территории, города Средиземноморья получили прямой доступ к пшеничным житницам Египта и Ле-

* Империю, созданную Александром, мы называем эллинистическим миром, чтобы отличить ее от предшествующего эллинского (греческого) мира, сердцем которого был регион Эгейского моря.

ванта. Перевозка зерна по Средиземному морю сделалась одним из важнейших источников греческого экономического процветания, однако этот новый вид торговли, основанный на общей денежной единице, спровоцировал и серьезную поляризацию общества. Богатые получили еще больше возможностей накапливать богатство, для бедняков же доступ в этот денежный мир чаще всего оказывался закрытым. Богатство и бедность существовали и прежде, однако когда разница между ними стала столь велика, система круговой поруки, подразумевавшая участие людей в политическом управлении, коллективную военную службу, широкое распространение образования, развитое гражданское самосознание, — система, которая поддерживала жизнедеятельность демократий V века до н. э., — оказалась разрушенной.

Несмотря на все сказанное, малые греческие города-государства продолжали существовать и даже процветать в III и II веках до н. э. — но только объединяясь друг с другом в конфедерации. В южной Греции ведущими силами регионального значения стали Этолийский и Ахейский союзы. В союзных городах все свободные мужчины призывного возраста собирались на главном собрании раз в полгода, чтобы избрать на годичный срок первое должностное лицо, выполнявшее функции командующего объединенными войсками, и назначить делегатов в общий совет и комитет «апоклетов», ведавший повседневными делами союза. Историк Полибий примерно в 150 году до н. э. писал: «Нигде в такой степени и с такою строгою последовательностью, как в государственном устройстве ахейян, не были осуществлены равенство, свобода и вообще истинное народоправство... Устройство это быстро достигло поставленной заранее цели, ибо имело двоякую надежнейшую опору в равенстве и милосердии». Если бы не рост римского могущества, это открытое сотрудничество между греческими союзами могло бы процветать и дальше, а федерализм имел все шансы распространиться в качестве модели управления, вобравшей лучшие элементы полиса и империи.

Внутреннее устройство восточных царств эллинистического мира было совсем иным. Если в свое время Александр желал объединить греков и верхушку прежней Персидской империи в новую политическую и культурную элиту, его потомки образовали правящие группы, оставшиеся исключительно греческими по составу. Македоняне и другие участники завоевательных походов пустили корни в этом прекрасном новом мире, а волны переселенцев, прибывавших из Греции в его древние города, обнаруживали, что вне зависимости от статуса у себя на родине они оказывались в привилегированном положении по сравнению с новыми соседями — персами, месопотамцами, египтянами или финикийцами. Для огромной части мира греческая культура сделалась общественным эталоном, а греческий — общеобязательным языком. (Большинство современных европейцев очень плохо представляют себе географию этой части мира. Самые западные греческие города на испанском побережье были отделены от Афин 1500 милями, и еще 3000 миль — от восточных поселений на реке Окс. Таким образом, общая протяженность эллинистического мира составляла около 4500 миль, что равно расстоянию от Эдинбурга до Катманду.)

Эллинистический мир стал моделью многих будущих культурно-государственных образований, в особенности европейских. Греческая культура приходила в новые области в войсковых обозах победителей и делалась определяющим мотивом местного цивилизационного процесса. Чтобы приобщиться к цивилизации, жителю эллинистического мира было необходимо приобщиться к чужеземной культуре — культуре завоевателей, которые, оседая на новом месте, платили за то, чтобы их сыновья обучались поэзии Гомера и Еврипида, музыке и арифметике, а также получали физическое воспитание. В эллинистическом мире гимнасий в конечном счете превратился в институт образования второй степени, дающий дополнительные навыки мальчикам постарше — тем, кто уже прошел начальную, или элементарную, ступень. Ученые путешествовали между городами, что-

бы набраться опыта друг у друга и найти новых учеников. Циркуляция знаний разносила греческие идеи, тексты и умонастроения по тысячам городов и поселений всей ойкумены. Афины, практически утратившие к тому времени политическое влияние, почитались как родина философии и ее знаменитого триумvirата: Сократа, Платона и Аристотеля. Важными оплотами учености становились и восточные города: главными центрами притяжения для образованных людей были малоазийский Пергам и приютившая знаменитую библиотеку и музей столица Птолемеев Александрия, однако выдающиеся философы эллинистического мира происходили из самых разных уголков: Самоса, Кипра, Афин, Родоса, Сирии, Малой Азии, Сицилии, Фессалии.

Эллинистический мир сохранил и распространил культуру классической Греции, но, как мы уже видели, сама эта культура была не лишена внутренних противоречий. Вдобавок новые поколения греческих мыслителей обнаруживали себя в ситуации, отличавшейся от ситуации их прославленных предшественников. Если Сократ и Платон спрашивали о том, как добродетельному человеку выстроить свою жизнь, как должен управляться город и как человеку быть хорошим гражданином, то в эллинистическую эпоху люди жили в городах, которые самоуправлялись лишь на словах — мысль о том, что полис и человеческая личность оба могут рассматриваться как целостные, автономные существа, перестала быть убедительной. Личность теперь существовала в мире, чьи пределы простирались далеко за ее физический и мысленный горизонт.

Следствием этой политической и географической трансформации стало сосредоточение мысли на новом предмете — жизни частного человека внутри универсальной культуры. Платоновская и аристотелевская концепция отвлеченного рассуждения как единственного пути к подлинному знанию продолжала оставаться отправной точкой для всех серьезных мыслителей, однако обстоятельства ее применения изменились. Философия разделилась на тех, кто, вслед за Эпикуром,

рассматривал человека как отдельную единицу, и тех, кого вместе со стойками прежде всего интересовало место человека в обществе и природа человека как универсальный феномен. Еще одна школа, которой дал рождение эллинистический мир, — школа неоплатонизма — интерпретировала платоновскую теорию идеальных форм как особый тип религиозной, или мистической, философии. Идеалом блага, справедливости и истины для неоплатоников выступало Единое — говоря иначе, божественный источник всего сущего, — а истина была доступна не только через разум, но и через откровение. Через триста лет этим трем философским направлениям было суждено лечь в основу трех разных ответвлений христианской теологии (см. главу 5).

Эллинистическая ученость не ограничивалась философией. Люди, занимавшиеся инженерным делом, зодчеством, врачеванием, пытались взглянуть на свой труд с теоретической точки зрения, и наука стала крепнуть как занятие, довольно серьезно отличавшееся от философии. Евклидовы «Начала», появившиеся на свет около 300 года до н. э., были сводом накопленных к тому моменту математических знаний, в котором показывалось, как математические доказательства могут выводиться из определенного набора изначальных допущений, или аксиом. Архимед, живший в III веке до н. э. в греческом городе Сиракузы на Сицилии, прославился своими трудами по геометрии, оптике, астрономии, инженерному делу и гидростатике. В чем-то предвосхищая современного труженника прикладной науки, он использовал теоретические познания в разработке специальных рычажных и шкивных механизмов, поливальных машин и устройств для обороны города от осады. Аполлоний, Эратосфен, Гиппарх и множество других прославили себя новыми идеями в области математики, геометрии и астрономии.

Несмотря на этот теоретический интерес к природе, эллинистическое отношение к делам практическим довольно сильно отличалось от современного. Греческие благородные мужи избегали физических занятий, а общественный статус

зарабатывали не практическими, а письменными произведениями, как, впрочем, и обучением детей богатых и влиятельных родителей. Вследствие этого почти все греческие ученые того времени были скорее наблюдателями, чем экспериментаторами. До практического вмешательства в мир природы, вынуждающего последний выдать свои секреты, оставалось еще 17 столетий.

Хотя греческая культура растеклась по огромной территории Евразии, на западе набирали силу две новых державы. Финикийский город Карфаген к III веку до н. э. обладал достаточным могуществом, чтобы поставить под свой контроль западную часть Средиземноморья, а Рим в 281 году до н. э. впервые вмешался в греческие дела, начав войну с эпирским царем Пирром. В 229 году до н. э. римские отряды пересекли Адриатическое море, чтобы высадиться в материковой Греции, а в 217, как свидетельствует Полибий, Агелай уже предостерегал делегатов, съехавшихся из разных греческих городов: «Если царь допустит только, чтобы поднимающиеся теперь с запада тучи надвинулись на Элладу, то следует сильно опасаться, как бы у всех нас не была отнята свобода мириться и воевать и вообще устраивать для себя взаимные развлечения...» Слова Агелая оставили без внимания, и римляне никто не остановил. Они ушли из Греции в 194 году до н. э., однако в 148 году после внутреннего переворота и последующей военной экспедиции римлян Македония потеряла остатки самостоятельности и превратилась в римскую провинцию. В 146 году до н. э. власть Рима над Средиземноморьем, как восточным, так и западным, была укреплена уже не дипломатическими, а насильственными мерами — в тот год были разрушены города Карфаген и Коринф. Все следующее столетие римляне продвигались на восток, постепенно захватив весь эллинистический мир, кроме Египта. Клеопатра, последняя египетская царица, попыталась отстоять независимость своего государства, соблазнив сначала Юлия Цезаря, а затем Марка Антония, правителя Восточной Римской империи. Все ее усилия пошли крахом в 31 году до н. э. у мыса Акции, где



Эллинистический

К 250 году до н. э. греческий мир охватывал города и колонии на западе, простираясь от атлантического



мир

эллинистические царства на востоке и старые греческие побережья до Гиндукуша

Октавиан разгромил Антония и египетский флот. Смерть Клеопатры в 30 году до н. э. стала формальным концом эпохи эллинизма.

Эллинистическая культура не исчезла с приходом римлян. Наоборот, Римская империя превратилась в носителя и продолжателя греческих — или теперь уже греко-римских — культурных традиций, а также в источник их распространения в Центральной и Западной Европе. Восточная часть Римской империи не переставала быть греческой культурной зоной, по крайней мере на уровне правящей элиты, еще на протяжении семи веков. И даже когда в VIII веке арабские воины молниеносно покорили Ближний Восток, греческие тексты V–IV веков до н. э., прекрасно сохранившиеся и к тому же имеющие переводы на арамейский и персидский, обрели новую жизнь в руках мусульманских ценителей мудрости. Произведения Платона и Аристотеля стали частью канона арабского мира и именно арабским ученым предстояло в XII веке во второй раз познакомить Западную Европу с культурой классической Греции. Ее наследие никогда не исчезало и до нового открытия в эпоху европейского Ренессанса продолжало жить своей жизнью в эллинистической, римской, византийской и арабской культурах. От Александрии и Византии и от Кордовы и Гранады культурные новации, рожденные когда-то в Афинах, со временем были переняты народами Западной и Северной Европы.

В нашей исторической памяти классическая Греция живет как эпоха исключительного творческого взлета человеческого духа. Наука, философия, демократия, театр, мифология, эпическая поэзия, архитектура и скульптура впервые родились на свет или как минимум обрели новую жизнь на протяжении нескольких поколений. Все эти достижения кажутся как-то связанными с еще одним греческим новшеством — верой в человеческий разум и в людей как авторов собственной судьбы. Но когда мы смотрим пристальнее, то замечаем, что эта связь не всегда является такой однозначной, как мы

хотели бы видеть. Произведения Платона и Аристотеля обычно представляются кульминацией, высшим выражением классической греческой мысли, однако платоновский акцент на абстрактной рациональности как единственном пути к истине и справедливости был для своего времени позицией спорной и во многом даже радикальной. Платон, следует помнить, не был первым. Греческое народовластие, драматургия, искусство — все это создавалось не философами, рассуждающими абстрактно и рационально, а практиками и прагматиками, которые, отвечая на вызов, брошенный им меняющимся обществом, сумели проявить одновременно редкую решимость и редкое воображение. Как бы то ни было, именно произведения Платона сохранили для нас первейшую значимость и именно его видение оказалось доминирующим в культуре западной цивилизации.

Глава 4

ВСЕМИРНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Рим и варвары

Греческий и эллинистический мир, описанный в предыдущих главах, не мог не соприкасаться с обществами центрально-, северо- и западноевропейского железного века, однако торговля между ними была незначительной, а технологический обмен — весьма скудным. Именно Римской империи, начиная со II века до н. э., предстояло принести с собой культуру восточного Средиземноморья на запад и север континента. Влияние эпохи римского господства на Западную Европу было и остается огромным, но, несмотря на интерес к классическому миру, мы редко обсуждаем специфику и механизм этого влияния в их собственной исторической ситуации. Позднейшее включение Греции и Рима в нашу культурную родословную только затмило реальную картину событий, сопровождавших приход римлян в Иберию, Галлию, западную Германию и Британию. Тем не менее взаимодействие столь разных культур — средиземноморской, германской и западной кельтской, — происходившее в контексте торговых отношений, завоевательных походов, оккупации и вывода войск, было центральным событием в истории западной цивилизации.

Рим был одним из государств Средиземноморья, в котором после свержения владычества этрусков в центральной Италии, около 510 года до н. э., установился республиканский строй правления. Как и многих до и после него, каждый следующий этап территориальной экспансии втягивал Рим во все новые внешние конфликты. Завоевав, поглотив или залучив в союзники все центральноитальянские племена, он обнаружил, что находится в состоянии соперничества или войны с крупными стратегическими силами Средиземноморья: Карфагеном на западе, Македонией, Эпиром и менее значительными влиятельными державами на востоке. Период наиболее стремительной экспансии Рима пришелся на отрезок между 250 и 140 годом до н. э., когда Карфаген, Македония и другие греческие государства были побеждены, а их территории аннексированы. Хотя позднее Рим продолжил захват новых земель, к 150 году до н. э. он уже являлся полновластным хозяином Средиземноморья.

Для народов Центральной и Западной Европы римская экспансия означала замену нескольких соседей и торговых партнеров на единую инстанцию военного и экономического могущества. Греческие города, рассеянные по южноиспанскому, французскому и итальянскому побережьям, карфагенские земли на севере Африки и в западной Иберии, а также этрусские территории в северной Италии были поглощены Римской империей — начиная с 140 года до н. э. именно Рим контролировал всю торговлю между Средиземноморьем и севером. Кульминация средиземноморских завоеваний совпала с внутренним мятежом под предводительством братьев Гракхов, который положил начало долгому периоду междоусобной вражды в Риме. Это остановило дальнейшее военное продвижение почти на столетие, однако не помешало развитию торговли между римлянами и западными «варварами».

С захватом контроля над средиземноморским побережьем Галлии во II веке до н. э. Рим открыл итальянским винам и другим товарам дорогу в Массиллию (Марсель) и Нарбон (Нарбонну), откуда они переправлялись дальше на запад и север.

Благодаря фактически вечной сохранности сосудов для перевозки вина — амфор — и характерным чертам, указывающим на их происхождение, виноторговля того времени исследована современными учеными довольно подробно. Амфоры II века до н. э. в больших количествах обнаружены на территории южной Галлии, вдоль речных маршрутов Рона — Рейн и Гаронна — Од, вдоль Сены, на прибрежных землях Бретани, а также на берегах пролива Солент и севернее устья Темзы на юге Британии. Поставляя вино и предметы роскоши на рынок, простиравшийся до самой южной Британии, римские купцы охотно скупали на этой территории металлы, пушнину, кожи, шерстяные ткани, мед, зерно, а в Иберии также оливковое масло.

Еще одной важной статьей импорта для империи служили рабы. Захват рабов и владение ими были особенностью средиземноморского бытия на протяжении столетий, однако работа механизма, составлявшего саму основу Римской империи, резко увеличивала спрос на живой товар. Чтобы разобраться в этом механизме, нужно представлять себе, по какому принципу римляне набирали войско и на каких условиях заключали союзнические договоры, а также почему результатом этих принципов и условий становилась потребность в непрерывном завоевании.

Между 500 и 250 годом до н. э. римляне сумели занять доминирующее положение в центре Апеннинского полуострова, плодородном и густонаселенном сельскохозяйственном регионе, благодаря тактике сочетания завоевательных войн с установлением вассальных союзнических отношений. Жители включенных в состав Римского государства или зависимых областей становились полноправными гражданами Рима, гражданами без права голоса (*sine suffragio*) или продолжали считаться союзниками. Однако все они входили в Римско-Италийский союз и все были обязаны поставлять вооруженных солдат в римскую армию. Поскольку группа подконтрольных Риму государств обладала огромными резервами живой силы, империя быстро превратилась в самодвижущуюся.

щуюся машину — новые завоевания добавляли новые отряды воинов, что в свой черед создавало новые возможности для завоеваний. К 264 году до н. э. у Рима имелось 150 договоров с побежденными или добровольно присоединившимися городами и областями, по условиям которых все они обязывались предоставить в его распоряжение определенный воинский контингент. Войны оказались эффективным способом инкорпорировать обретенных союзников в состав подконтрольного Риму политического целого и могли вестись со сравнительно небольшим риском для самого Вечного города.

Если завоевания и экспансия были очевидно выгодны Риму, почему в этот процесс втягивались его союзники? Дело в том, что заключенные Римом соглашения оговаривали для союзников право на определенную долю захваченной добычи, включая землю и движимое имущество — италийцы получали наделы в Галлии, Испании и множестве других земель. Экспансионизм союза под предводительством Рима кто-то сравнил с поведением банды разбойников — до тех пор, пока она продолжает заниматься своим делом, все получают долю от награбленного; стоит процессу прекратиться, банда распадается сама собой. Римские союзники получали безопасность, защиту и часть трофеев в обмен на участие в военных походах.

Эта самовоспроизводящаяся система позволила Риму разгромить Карфаген и подчинить конфедерации эллинистического Востока, однако в конечном счете проверенный механизм начал давать сбои. Землевладельцам Италии, обязанным служить в войске, приходилось постоянно участвовать в заморских кампаниях, которым, казалось, не видно конца. Продолжительное отсутствие хозяев мелких наделов приводило к аккумуляции этих наделов в составе крупных имений, в которых, за недостатком свободных работников, трудились преимущественно рабы — количество рабов, к примеру, в правление Августа оценивается от миллиона на все четырехмиллионное население полуострова до двух миллионов на шестимиллионное. В I веке до н. э. сельскохозяйственное про-

изводство в Италии было высокоприбыльным делом, землевладельцам и купцам требовалось как можно больше рабов и рынков сбыта, и варварские страны представляли собой превосходный источник того и другого. Диодор Сицилийский, например, так объяснял связь между рабо- и виноторговлей: «Италийские купцы пользуются страстью галлов к вину: они... извлекают из торговли неслыханные барыши, доходят до того, что за амфору получают раба, то есть покупатель отдает своего слугу, чтобы оплатить выпивку».

Торговые отношения между римлянами и Западной Европой обрели такой масштаб, что некоторые римские купцы стали перебираться на жительство в наиболее крупные галльские оппидумы, где было еще удобнее заниматься обменом тканей, вина и предметов роскоши на шерсть, зерно и рабов. Однако эти явно взаимовыгодные отношения Рима со своими западными соседями не сумели пережить амбициозных стремлений Юлия Цезаря и искушения богатством, превосходящим то, что дает обыкновенная торговля. После 88 года до н. э. в результате гражданского конфликта, охватившего всю Италию (и известного как Союзническая война), Рим раскололся на фракции, поддерживающие одного из двух влиятельных полководцев — Мария или Суллу. Сперва один, а затем другой подчинили город своей власти и устроили жестокую расправу над сторонниками врага. Сулла, которому удалось взять верх, приказал казнить 6 тысяч человек во время своего выступления перед сенатом. Попирая один за другим республиканские обычаи, диктатор (таков был официальный титул Суллы) поощрял доносы и ответные убийства, лишь бы они совершались его именем. Мрачным эхом афинского режима Тридцати стало опубликование Суллой списков (проскрипций) врагов государства, за голову которых обещалась награда всякому, взявшемуся их выследить и убить.

В правление Суллы вместе со многими другими членами элиты Юлий Цезарь удалился в изгнание и вернулся в Рим только в 78 году до н. э. В 60 году до н. э. ему удалось сформировать триумвират правителей с Помпеем и Крассом. Но глав-

ным, что требовалось Цезарю в империи, которая все больше и больше переходила под власть военачальников, был контроль над легионами. Он убедил римский сенат, что германские племена рейнского левобережья и гельветы, обитавшие на территории нынешней Швейцарии, двигаются на запад и что Галлия падет под натиском германских варваров, если Рим не возьмет эти земли под свою опеку. В тот момент римляне скептически отнеслись к словам Цезаря, полагая так называемую угрозу лишь удобным поводом для захвата дополнительных полномочий. Тем не менее в 59 году до н. э. сенат сделал Цезаря наместником Цизальпийской Галлии и Иллирии, а на следующий год отдал приказ о вторжении в Галлию.

Римский поход в Галлию занял семь лет, и это были годы ожесточенной борьбы, когда любого осмелившегося оказать сопротивление ждало полное уничтожение. В 56 году до н. э. Цезарь приговорил старейшин племени венетов к смерти, а все племя продал в рабство; из 60 тысяч войска белгов после сражения с римлянами уцелели только 500 человек, причем из 600 членов племенного совета выжили лишь трое; адуатукам оборона своего оппидума обошлась в 4 тысячи погибших, оставшиеся 53 тысячи были также проданы в рабство; карнутов, которые казнили проживавших среди них римлян-купцов, ждало массовое истребление — от сорокатысячного племени остались только 800 человек. По оценке Плутарха, в течение кампании были убиты около миллиона галлов и еще миллион обращены в рабов. Хотя прочие провинции захватывались с целью получения экономических выгод, хозяйство и социальная структура Галлии были уничтожены и оставались бесполезными для римлян на протяжении жизни двух поколений.

Цезарь завоевал преданность войска, однако, чтобы получить абсолютную власть в Риме, ему пришлось развязать гражданскую войну, на время которой (и в продолжение террора, развязанного после убийства Цезаря в 44 году до н. э.) дальнейшие завоевания были приостановлены. В 12 году до

н. э. Август, наследник Цезаря, предпринял попытку отодвинуть рубеж империи дальше на восток, до самой Эльбы. Однако в отличие от галлов, оседлых земледельцев, германские народы вели более мобильный образ жизни и были гораздо лучше подготовлены к войне. После попыток экспансии на север и на восток граница римских владений стабилизировалась по Рейну и Дунаю.

Во время Галльских войн Цезарь дважды отряжал экспедиции в Британию — в 55 и 54 годах до н. э. С южными и восточными племенами, для которых римское завоевание Галлии обернулось крупной экономической выгодой, он сумел заключить союз. Римские купцы с товаром теперь отправлялись на север по Рейну, после чего пересекали Ла-Манш и прибывали в устье Темзы, где торговали с обитателями Эссекса и Восточной Англии — триновантами и иценами. Дороги, построенные по всей Галлии, сделали сухопутный маршрут более предпочтительным, что в свою очередь привело к упадку атлантических судоперевозок. Однако то же самое развитие торговли и транспортной инфраструктуры делало Британию лакомым куском для любого римского политика, желающего повысить свой авторитет. В 43 году до н. э. император Клавдий отдал приказ о вторжении в Британию, и довольно скоро остров был оккупирован — на север до самого Хамбера, и на запад до Северна. Местные восстания валлийцев и иценов убедили императора Агриколу обеспечить римское присутствие по всему острову — единственной не покорившейся Риму областью остался крайний север.

Римские завоевания питались амбициями полководцев, системой вознаграждений для союзников и, все больше и больше, денежным интересом. В правление Августа (27 год до н. э. — 14 год н. э.) население города Рима составляло почти миллион человек, и самой насущной нуждой империи было прокормить множество горожан. Причем эта задача носила совсем не теоретический характер — ее решение было вопросом политического и физического выживания. Императору и сенаторам, жившим рядом с римским народом, при-

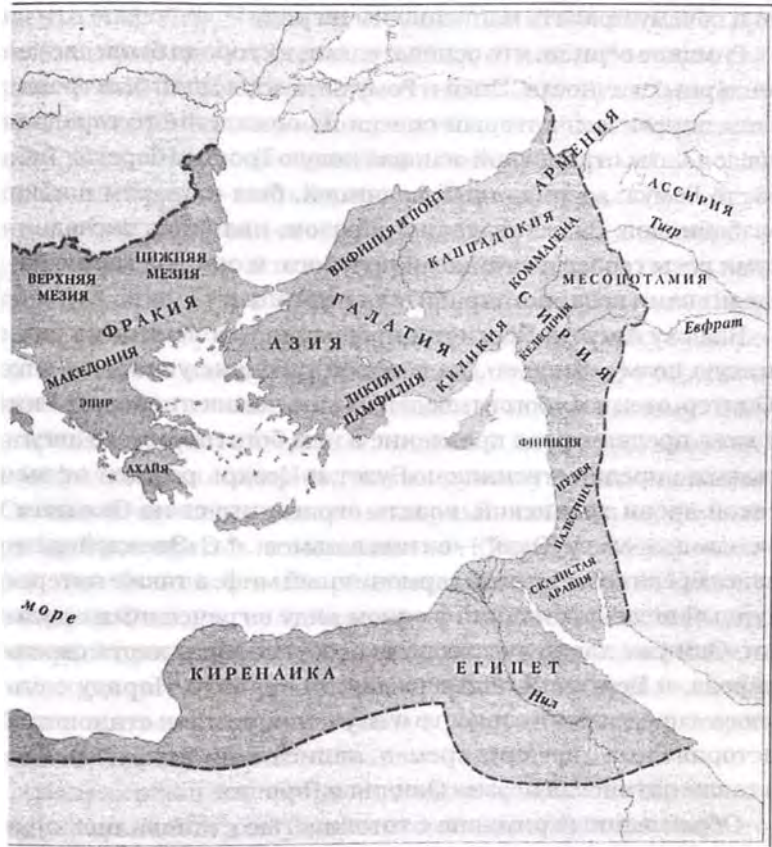
ходилось устраивать щедрые раздачи хлеба и зерна — голод среди горожан привел бы к массовому недовольству, беспорядкам, а возможно, и более пагубным последствиям. Пшеница поступала в Рим со всех уголков империи, и на этом промысле некоторые римляне создавали целые состояния. Цицерон утверждал, что Рим вел войны ради своих купцов; но поскольку многие из этих купцов были членами сената, получалось, что те, кто принимал решение о начале походов, на них же и наживались.

Таковы хронология и мотивация римского покорения Запада. Остается прояснить, какой эффект эти завоевания оказали на народы, культуру и цивилизацию самой Западной Европы. Что не удивительно, дать такую характеристику неимоверно сложно, и она бесконечно далека от традиционной картины, согласно которой римляне принесли свет цивилизации в нецивилизованную часть мира и после своего ухода оставили ее во тьме невежества. Для начала следует познакомиться с образом римлян в их собственных глазах — с тем, что они думали о Риме и о его месте в мире. Естественно, поскольку авторами произведений, отражающих такую самооценку, были патриции, правящий класс римского общества, напрасно пытаться составить по ним представление о взглядах простых римлян; тем не менее они позволяют нам понять людей, которые стояли во главе республики и империи.

Ко времени правления Августа Средиземноморье целиком подчинялось Риму, однако жизнь этого региона по-прежнему вдохновлялась интеллектуальной энергией эллинистической Греции. Римляне преклонялись перед культурой восточного соседа: состоятельные граждане отправляли своих сыновей за образованием в Александрию, Пергам и Эфес, республиканские власти использовали сочинения греческих философов при создании законов, главные боги римского пантеона копировали черты греческих аналогов, и даже свою родословную римляне возводили к центральному мифическому событию греческой культуры — осаде Трои. Октавиан Август вместе с другими членами патрициата чувствовал, что Риму не-



Провинции



Римской империи

обходима мощная самостоятельная культура, некое начало, сплывающее граждан и наделяющее смыслом ту уникальную ситуацию, в которой им довелось жить. Хозяевам мира требовалось объяснить себе не только, как должно править, но и почему править написано им на роду.

Римляне верили, что основателями их города были две легендарных личности, Эней и Ромул. Но если Эней был троянским царевичем, который спасся из осажденного города и после долгих странствий основал новую Трою на берегах Тибра, то Ромул, воспитанный волчицей, был главарем шайки разбойников. Римляне, таким образом, являлись наследниками расы героев, потомками полубога, и одновременно наследниками коварного грабителя и убийцы.

В эпоху Августа Вергилий превратил эти легенды в эпическую поэму «Энеида», из которой римляне узнавали, что Юпитер, отец всех богов и людей, лично повелел основать Рим и даже предначертал правление в нем боготворимого августовского предшественника: «Будет и Цезарь рожден от высокой крови троянской, власть ограничит свою Океаном, звездами — славу, Юлий — он имя возьмет...»* С «Энеидой» римляне обрели собственный гармоничный миф, а также литературный шедевр, стоящий в одном ряду с греческими эпосами. Они уже давно чувствовали особую избранность своего народа, и Вергилий подтверждал их правоту. Наряду с его эпосом предметами гордости и изучения римлян становятся история Рима с древних времен, написанная Титом Ливием, а также латинская поэзия Овидия и Горация.

Образованные римляне с готовностью становились продолжателями сократовской рациональной традиции — они тоже хотели знать, в чем должна заключаться добродетельная жизнь. Концепция, которая сильнее других привлекала ученых и благородных мужей Рима, принадлежала философской школе стоицизма. Стоики верили в главенство разума

* Энеида, песнь первая. Перевод С. Ошерова под редакцией Ф. Петровского. — *Примеч. ред.*

как в человеческих делах, так и в мире вообще, но особенное значение придавали деятельному отношению к жизни. Они полагали, что любой человек, вне зависимости от положения в обществе, в любых обстоятельствах должен делать лучшее, на что способен. Человеку стоит не приманивать удачу при помощи молитв и обрядов, а в каждый данный момент стараться оказаться на вершине ситуации. Действуя в таких рамках, настоящий стоик мог оставаться не только добродетельным, но, казалось, даже свободным от превратностей рока и прихотей богов — если ты мог сохранять себя в любых обстоятельствах, ты был в своем роде избавлен от их давления.

Стоики также считали, что высочайшая добродетель приобретается вместе с мудростью. Знание, когда и как поступать, вместе с углубленным пониманием устройства мироздания, были важными предметами стоического образования. Однако стоицизм не сводился к определенному своду знаний и правил поведения, он, как и любая другая античная философия, содержал также духовную составляющую. Стоики почитали традиционных римских богов, но, к примеру, Цицерон считал, что поклоняться Юпитеру и Марсу — скорее, его обязанность как римского жителя, нежели священный долг. Он и другие стоики верили в единого бога, или духа, который пронизывает собою весь мир и каждого человека, а не существует от мира отдельно. Любой носит в себе частицу бога и потому находится с ним в родстве, обладает искрой высшего вдохновения.

Из этих разных элементов стоицизма возникал образ жизни, который был доступен всякому человеку, а его учение о божественном объединяло всех людей как совокупное порождение и воплощение высшего существа. Вера в то, что все люди являются братьями и что у каждого есть возможность прожить хорошую и добродетельную жизнь, оказывалась столь же универсальной, как Римская империя, которая в сознании ее граждан обнимала весь мир. И хотя эта концепция выглядит чем-то весьма далеким от реальной жизни основной части тогдашнего населения империи, ее посыл заклю-

чался в ином — стоицизм, подобно большинству религий и философий Древнего мира, не являлся моральным кодексом, а был еще одной попыткой человека понять, как жить. В сочинениях Сенеки, Цицерона, Плиния находится место и забавным случаям, и практическим советам, и интригующим подробностям, однако главным образом они все-таки посвящены центральному вопросу: как следует жить добропорядочному человеку. И если вергилиевское подражание Гомеру кажется несколько притянутым, изготовленным на заказ, Сенека и Цицерон, как правило, непосредственны и злободневны — политики, погруженные в самую гущу общественной жизни, писатели, погруженные в процесс развития языка, который вдруг оказался способен передавать и монументальные декларации имперского могущества, и творческую поэтику Овидия и Горация, и пытливый рационализм мыслящей части римского благородного сословия.

Римляне были бесконечно поглощены собой и глубоко увлечены вопросами должного и справедливого. Их интересовало, почему им удалось покорить весь мир, и хотелось понять, как надлежит управлять. Они спорили о том, является ли добродетель врожденным свойством или достигается только правильным воспитанием; ставили репутацию человека выше его богатства; горячо обсуждали практические противоречия, возникающие между дружбой, преданностью, справедливостью и публичным служением.

В целом стоицизм стал отражением характерного для Римской империи этического настроения. Во-первых, добродетельная жизнь должна проживаться в реальном мире, а не в раздумьях о некоем абстрактном идеале; добродетельный человек — человек активный, хотя и посвятивший определенное время изучению мира и преумножению знаний. Во-вторых, человек должен искать универсальные ответы на универсальные вопросы. У римлян, завоевавших половину мира, присутствовало чувство общности человеческой природы — теоретически римским гражданином мог стать любой житель империи. Вера в человеческое братство, являющееся след-

ствием происхождения всех от единого бога, придавала дополнительный вес идее Рима как некоей неопределимой сущности, которую долг повелевает защищать и сохранять любой ценой. Если бы римляне попросту стремились к захвату всего, до чего могут дотянуться, Рим наверняка остался бы в истории либо мелким античным царством, либо недолговечной империей. Римская империя смогла продолжить себя в веках, потому что для большинства римлян она выражала общее человеческое начало и, следовательно, воспринималась как сила на стороне добра.

Римляне верили, что конфликты с другими государствами провоцировались извне и что, будучи вынужденными захватывать чужие земли, они приносят с собой все блага римской цивилизации. Это убеждение было кодифицировано в кодексах жрецов-фециалов, тогдашнем варианте международного права, которое запрещало войну как акт агрессии и вводило понятие справедливой войны. Римский историк Тит Ливий старательно подчеркивал, что Рим никогда не отступал от этого закона, — дав повод Гиббону саркастически заметить позднее, что «обороняя себя, римляне покорили целый мир». Специфически римским понятием, которое лежало в основании фециального права, было понятие *fides*, то есть добросовестности и справедливости в употреблении силы. Льстя римским правителям, философ Панаэций с Родоса и другие превозносили их исключительную и благородную приверженность сочетанию принципов *fides* и стоицизма. Такая лесть лишней раз убеждала римлян в собственном превосходстве и избранности. Как вера греков в особенную добродетель заставляла их воевать иначе, чем прагматически настроенных противников, римлян вела в бой честь и слава родины, неколебимая убежденность в том, что своими победами Рим несет благо для человечества.

Как бы то ни было, реальный город Рим и Рим идеальный поразительно отличались друг от друга. В правление Августа на участке земли в 146 гектаров, зажатом между холмами и

Тибром, проживали почти миллион человек. Большой форум и примыкающие к нему здания базилики и курии, где протекала административная, деловая и юридическая жизнь города, были безнадежно перенаселены почти с самого времени их постройки. Эта проблема частично решилась за счет устройства других, не менее величественных общественных пространств и возведения амфитеатров вроде Колизея, однако за потрясающим великолепием фасадов публичных зданий для всех, кроме крохотной горстки римлян, жизнь оставалась убогой и опасной. Если богатые могли селиться в виллах на Квиринальском холме, от которых вела прямая дорога к загородным поместьям, то большинство ютилось в четырех-пятиэтажных многоквартирных домах — холодных, неосвещенных, переполненных крысами трущобах. Для этих строений с деревянным каркасом, которых в Риме IV века н. э. насчитывалось, судя по сохранившимся свидетельствам, порядка 40 тысяч, пожар и обрушение представляли вполне реальную угрозу.

Рим отличался от других городов империи не только беспорядочным ростом, огромным населением и многоквартирными домами. Особенными были и сами римские жители. Несмотря на отстроенный и действующий городской центр, в Риме помимо строительства почти отсутствовали городские индустрии. Город существовал за счет сбора налогов с провинций и колоний, и сменявшие друг друга правители вынужденно шли на нормированную раздачу хлеба для огромного множества безработных. Лозунг «Хлеба и зрелищ» являлся отнюдь не циничной формулой умиротворения масс, а выражением реальной и насущной политики. Объем поставок пшеницы из колоний, который требовался Риму ежегодно, составлял от 200 до 400 тысяч тонн: раздачи зерна при Августе рассчитывались на 350 тысяч горожан мужского пола. Беспочвенность римского городского бытия проявилась в тот момент, когда политические функции отошли новой столице императора Константина в 330 году н. э. Население бывшего центра мира стремительно сократилось, а когда империя на-

конец рухнула, он и вовсе утратил свое значение — в IX веке в нем насчитывалось меньше 20 тысяч жителей.

Черта римской жизни, которую нелегко осмыслить в привычных нам категориях, — взаимоотношения между правящим классом патрициев и простыми гражданами, или плебсом. Хотя патриции держали в своих руках контроль над Римской республикой, а затем империей, они опирались на поддержку и согласие плебеев. В начале римской истории плебеи, бывшие общинники, сумели продемонстрировать силу, объединившись между собой и пригрозив отделением от Рима. Это крупное возмущение было улажено благодаря учреждению института должностных лиц — трибунов, — избираемых на народных сходах (консилиях), на которых плебеи могли выбирать себе должностных лиц-трибунов. Возникшая политическая структура имела шанс развиться в обычное народовластие, однако этого так никогда и не произошло. В этом заключен принципиальный момент римской политической истории: если в начале республиканского строя в 510 году до н. э. демократия была реальной возможностью для любого средиземноморского государства — существовало вполне достаточно «рабочих моделей», — то к его концу все реальные демократии уже сгнули под имперским натиском самого Рима, а новой реинкарнации демократического устройства оставалось ждать еще 18 столетий. В действительности, хотя у народных собраний теоретически имелись полномочия принимать собственные законы, а трибуны обладали особой неприкосновенностью, патриции-сенаторы всегда оставляли последнее слово за собой. Богатые плебеи и влиятельные трибуны негласно допускались в сенат, а мнение собраний склонялось в нужную сторону подкупом и покровительством. В имперскую эпоху плебейское влияние ограничивалось легионами — позднее этим с успехом воспользовались те императоры, кто не жалел усилий для обращения этого влияния к своей выгоде.

Если политические интриги оставались инструментом контроля, без которого патриции не могли обойтись вовсе, то

один элемент римской жизни сплачивал патрициат и плебс воедино — война. С самого начала право решения для плебеев распространялось лишь на гражданские дела, тогда как вопросы войны целиком являлись прерогативой сената и консулов. В конце III века до н. э. Пунические войны против Карфагена, развернувшиеся на огромном пространстве — в Испании, южной Франции, Италии, Сицилии и Северной Африке, — поставили Рим на грань выживания; только в одном сражении при Каннах в 216 году до н. э. погибли 50 тысяч римских солдат. Этот конфликт потребовал выдающихся усилий администраторов, прозорливости военных стратегов, сметки финансистов и ловкого маневрирования дипломатов. Стало необходимым расставить на все эти позиции в исполнительной власти действительно сведущих людей, и, в итоге, сенат поневоле превратился в республиканское правительство, а сенаторы — в разработчиков и исполнителей римской внешней политики. Говоря современным языком, они приняли на себя обязанности министров обороны и иностранных дел, штабных чиновников, дипломатов и военачальников. Связь политиков с армией имела и чисто служебный аспект — чтобы занять политическую должность, молодой человек должен был отбыть трибуном легиона определенное количество кампаний, как правило покрывавших срок в 10 лет. Способность командовать на поле боя была принципиальной составляющей легитимности любого правителя.

Патриции могли занимать себя вопросами о том, в чем должна заключаться добродетельная жизнь и как победы римского оружия должны уравниваться этическим влиянием римской цивилизации, однако подлинным инструментом распространения культуры Рима в окружающем мире была армия, а подлинным строителем империи — военная машина. Римское войско сперва формировалось как войско граждан и состояло преимущественно из тяжеловооруженной пехоты (гоплитов) — воплощая собой ту же модель, что и афинское и спартанское (которые в свою очередь сохраняли

черты традиционных племенных ополчений). Составлявшие основной костяк граждан мелкие землевладельцы шли на войну добровольцами, то есть безвозмездно, и вооружались за собственный счет. Как бы то ни было, к IV веку до н. э. Риму пришлось начать платить солдатам, которые воевали все дальше и дальше от родины, и именно таким образом было положено начало крупнейшей профессиональной организации из всех, когда-либо известных миру. Два этих слова — «профессиональная» и «организация» — целиком выражают руководящий дух римской армии и объясняют причины ее успеха. За девять столетий через эту громадную организацию прошли миллионы людей со всех уголков Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. Естественно, наиболее совершенными носителями военной философии являлись профессиональные центурионы и солдаты, которые не имели других устремлений кроме как провести жизнь в походах и сражениях. Однако милитаристский дух пронизывал все слои римского общества, отзываясь даже в римском искусстве и технологическом развитии: триумфальные арки сооружались в память боевых побед и победителей, дороги и великолепные акведуки соединяли гарнизонные города, а амфитеатры возводились для военных парадов, инсценировки знаменитых сражений и проведения зрелищных и жестоких рукопашных боев.

Рим находился в состоянии войны почти непрерывно на протяжении 900 лет, и пока ему сопутствовала удача на поле боя, сенат и императоры держали власть в своих руках, а о демократии не возникало и речи. Римская армия покорила Карфаген и эллинистические державы, жестоко подавляла любую силу, решившую встать на ее пути, строила дороги и акведуки прямо по территории враждебных стран, не считаясь с неудобствами естественного ландшафта, — она неуклонно навязывала свою волю народам, географии и культуре соседей. Что же произошло с этой самоуверенной милитаристской, полугородской цивилизацией, имевшей письменность и феноменально отлаженное административное устройство,

когда она вплотную столкнулась с мелкими и разрозненными, занятыми сельским хозяйством, рыболовством и торговлей общинами Западной Европы?

Завоевание, торговля и дороги превратили почти всю Европу, включая непокоренные Римом земли, в единую экономическую систему, а что касается покоренных территорий, то на них дополнительным унифицирующим фактором служил единый свод законов, соблюдение которых регулировалось из одной властной инстанции. Оккупация запада шла рука об руку с урбанизацией. Хотя в западных кельтских сообществах к тому времени уже существовали оппидумы — крупные ремесленные, производственные и торговые поселения, — римляне принесли с собой городскую жизнь иного типа. Римские города либо строились с самого начала, либо категоризировались постфактум в рамках иерархической структуры. Важнейшими из них были «колонии» (*coloniae*) — Лугдунум (Лион), Камулодун (Колчестер), Линдум (Линкольн) и другие, — создаваемые для римских граждан, преимущественно отставных легионеров, которые женились на женщинах из местных племен. Вторыми по рангу были «муниципии» (*municipia*) — к примеру, Веруламий (Сент-Олбанс), — жители которых пользовались определенными привилегиями, не будучи полноправными гражданами. В обмен на уплату налогов, самоуправление и общее сотрудничество с римскими властями они получали средства на публичное строительство и отправление других муниципальных функций. Местные лидеры выбирались на руководящие должности (получая при вступлении в них римское гражданство) и брали на себя ответственность за разбор всех мелких криминальных и гражданских дел, а также за поддержание в порядке общественных зданий. Любой спор, затрагивающий двух римских граждан, а также серьезные преступления передавались в римские суды, заседающие в колониях. Ниже прочих городов стояли «цивитас» (*civitas*), которые являлись центрами племен, полностью признававших власть Рима. Несмотря на некоторую

степень местной автономии, муниципии и цивитас часто строились на новых местах — римляне находили прежние оппидумы непригодными для своих целей. Вокруг многих городов воздвигались защитные стены, однако местному населению всегда отводилось определенное место внутри.

Как можно было внедрить подобную городскую систему на преимущественно сельскохозяйственной территории? Понять это позволяет изучение функций римских городов и особенностей их экономики. Во-первых, города были административными, военными и жилыми центрами. Во-вторых, римские чиновники и особенно римские легионеры (как служащие, так и отслужившие) создавали огромный спрос на местные услуги и обладали исключительной платежеспособностью. Многие города кормились за счет легионерского жалованья и пенсий, а их жители привлекались как поставщики продовольствия, предметов быта, наемного труда и развлечений — всего, что требовалось мужчинам, получавшим хорошие деньги и имевшим возможность их потратить.

Как бы то ни было, внутри этой унифицированной системы существовали местные отличия, которые обуславливались степенью принятия и усвоения римской культуры, — опираясь на результаты раскопок на территории Иберии, Галлии и Британии, сегодня мы понимаем сложные и многое объясняющие закономерности этого процесса. Так, если римляне и латиняне, поселявшиеся на плодородном юге и востоке Иберии, строили или переустраивали города по собственному вкусу, то на неприветливом севере и западе, где было сильно сопротивление природной среды и населения, города и социальные структуры остались преимущественно незатронутыми римской оккупацией.

В Виспаске (нынешнем Алжуштреле) на юге Португалии особенности организации и работы местных серебряных и медных рудников дошли до нас зафиксированными на бронзовых табличках. Рудники принадлежали римскому государству, однако местные жители могли получить откуп на работу и тем самым не прекращать своих традиционных занятий.

Государство также владело правами на коммерческую деятельность на рудниках и в городе, поэтому те, кто желал содержать термы, торговать или обрабатывать руду, должны были обращаться к властям за лицензией или концессией. Иными словами, хотя римское право и административная система затрагивали почти любой аспект жизни обитателей запада и севера, пока налоги исправно платились, последние были предоставлены сами себе. Если судить по характеру строений и городской планировке, именам гражданских вождей и сохранению древних обычаев, складывается впечатление, что местное население практически избежало какого-либо культурного влияния со стороны Рима.

Похожую картину можно наблюдать в Британии, которая была завоевана на 200 лет позже Иберии. Юг и восток острова быстро перешли под власть Рима, а север и запад превратились в милитаризованную зону, причем крайний север избежал даже этой участи. На первом отрезке завоевания была оккупирована область южнее Хамбера и восточнее Северна. Впоследствии, уже в конце I века н. э., римляне продвинулись в глубь Уэльса, а на севере дошли до долины между Клайдом и Фортм, позже отступив до линии Адрианова вала. Крепостные и гарнизонные города в Британии строились римлянами с широким разбросом (к примеру, в Честере и Йорке), новые дороги соединяли их с оборонительными рубежами. Там, где эти, а также находившиеся в мирной зоне города предназначались для расквартирования войск или выполнения административных функций, они планировались по римской модели, однако даже на этих территориях многие поселения аборигенов остались незатронутыми римской оккупацией. В милитаризованной же зоне к северу от Хамбера и к западу от Северна и Экса романизация или вовсе, или почти не сказалась на местных поселениях и обычаях. Так, археологи отметили разительный контраст между племенем думнонов на юго-востоке Англии и их непосредственными соседями на востоке — дуротригами. Поселения думнонов не несли черт римского влияния, несмотря на присутствие римской крепо-

сти в Эксетере, и на их землях почти не обнаружено римских монет. Дуротригов же романизация коснулась сильнее: они взяли у завоевателей строительство прямоугольных в плане зданий вместо прежних круглых, употребляли римские деньги и переняли некоторые культурные привычки. Если, весьма вероятно, такая разница объяснялась сознательным отказом думнонов от римских обычаев, то мы можем сделать законное предположение об устойчивости их собственной культуры, которая, как мы можем предположить, в свою очередь уходила корнями в экономическую и социальную независимость атлантических приморских сообществ, описанных в главе 1.

В областях, более открытых для римского культурного влияния, завоеватели специально стимулировали приобщение местной верхушки к обычаям своих хозяев. О реакции некоторых бриттов Тацит язвительно замечает следующее: «Агрикола частным образом и вместе с тем оказывая поддержку из государственных средств... настойчиво побуждал британцев к сооружению храмов, форумов и домов ... те, кому латинский язык совсем недавно внушал откровенную неприязнь, горячо взялись за изучение латинского красноречия. За этим последовало и желание одеться по-нашему, и многие облеклись в тогу. Так мало-помалу наши пороки соблазнили британцев, и они пристрастились к портикам, термам и изысканным пиршествам. И то, что было ступенью к дальнейшему порабощению, именовалось ими, неискушенными и простодушными, образованностью и просвещенностью»*. Включение местной элиты в римскую систему часто осуществлялось посредством усыновления знатными римскими семьями местных юношей, в дальнейшем отсылавшихся в Рим для получения образования. Сельская местность в мирной зоне быстро покрывалась римскими, или римско-британскими, виллами. В отличие от итальянских загородных рези-

* Агрикола. Перевод А. С. Бобовича. — *Примеч. ред.*

денций, они были функциональными, приносящими прибыль хозяйствами и, как правило, возводились бриттами, подражавшими римскому стилю, включая орнаментальную мозаику и строительство бань. С другой стороны, очевидно, что обитателями этих британских вилл нередко оказывались отставные легионеры и имперские чиновники.

Более глубокое усвоение римской культуры можно видеть на территории Галлии, где римское заселение происходило гораздо интенсивнее. К моменту вторжения войск Цезаря серьезное присутствие Рима в Галлии продолжалось уже больше столетия. Тот факт, что ее южные области были римскими провинциями, а также торговые отношения, поддерживаемые по речным маршрутам Роны, Луары, Ода и Гаронны, изрядно способствовали тому, чтобы сделать римскую культуру и римские товары доступными для галлов. После покорения Галлия была разделена по племенному принципу, а дороги связали ее центр Лугдунум (Лион) с Булонью на севере, атлантическим побережьем на западе, Кельном и Рейнской областью на северо-востоке. Римляне построили муниципии и *цивитас* в центре каждой племенной территории, выросший объем торговли привел к возникновению новых портов вдоль рек и океанского побережья. Галлия стала стартовой площадкой как для вторжения в Британию и Германию, так и для установления с ними торговых отношений, и теперь в ее торговой и транспортной системе постоянно циркулировало огромное количество товаров.

Все западные провинции снабжали Рим металлами, пушниной, шерстяными тканями и зерном, а также солдатами и рабами. Поставки живой силы в армию шли со всех уголков империи, рабы же либо трудились в родных провинциях, либо перевозились на юг, чтобы удовлетворить ненасытный аппетит Рима. Рабов использовали в качестве чернорабочих, строителей, в сельском хозяйстве и в домашнем услужении. По сохранившимся свидетельствам можно сделать вывод, что в серебряных копях испанской Картахены были заняты порядка 40 тысяч рабов, а на открытом рынке (составлявшем лишь

незначительную долю от общеимперского объема работ (торговли) ежегодно продавали до 250 тысяч человек; согласно Страбону, через невольничий рынок в Делосе ежедневно проходили 10 тысяч единиц живого товара.

Мой краткий очерк способен лишь намекнуть на всю сложность, которая характеризовала взаимодействие между римской культурой и коренными культурами Запада. Оккупация принесла с собой городское строительство, новые технологии и великолепную архитектуру, а также предметы роскоши и крупномасштабную систему социальной организации. Местным жителям была предоставлена определенная степень автономии, и, по крайней мере, некоторые из них переняли римские привычки и усвоили внешние проявления римской культуры. Однако в общем и целом оккупация была оккупацией, а не вторжением с последующим заселением. Административная система, несмотря на всю свою гуманность, поддерживалась силой оружия. Когда богатый король иценов Прасутаг умер в 59 году н. э., половина его королевства отошла по завещанию Риму, а другая половина была поделена между двумя дочерьми. Подробности не вполне ясны, но последующий полный захват королевства иценов очевидно состоялся вразрез с договоренностями между империей и местными вождями и, возможно, включал в себя унижение королевских дочерей и насильственное принуждение к браку. Вдова Прасутага Боудикка возглавила восстание, которое было подавлено римскими войсками. Подобные восстания не были частыми, однако сам их факт демонстрирует, что терпимость к местным обычаям соблюдалась лишь тогда, когда они не нарушали римских интересов. На туземные культы также смотрели сквозь пальцы лишь до тех пор, пока они не становились символом сопротивления. Друидические сообщества на Англси были уничтожены, а их священные места и рощи осквернены; точно так же целенаправленно вырубались священные леса в Галлии и других областях.

По-настоящему обоюдная трансформация римской и западных культур проявилась в IV веке н. э., когда имперская

оккупация подошла к концу. Исчезновение римского протектората породило интересную ситуацию, очень далекую от той упрощенной картины торжества хаоса, которая известна нам из традиции. Для Рима как политического образования была свойственна одновременно открытость и закрытость. Доступ к высшим властным позициям строго охранялся, но отличившихся чужаков (не-римлян и не-патрициев) иногда приглашали войти в сенат, звали на консульское или даже императорское место; римский закон был единообразен и непреклонен, но его принятие открыто обсуждалось и он проводился в жизнь местными властями; римское войско было одновременно стражем и воплощением чужого и далекого государства, но солдаты в него набирались со всех уголков империи.

Орды варваров, которые ломались в ворота империи, прежде чем снести их и заполнить все вокруг, на самом деле во многом состояли из бывших торговых партнеров, союзников, наемников и вербовщиков, работавших на римское государство. Ко времени исчезновения Западной Римской империи в конце IV века на службе у императора было больше готских воинов, чем римских легионеров. На севере Англии согласованное вторжение саксов, пиктов и скоттов в 367 году н. э. отразили, но местные земледельцы-воины сумели захватить римские крепости Адрианова вала. Племенам приграничья позволялась, или присваивалась ими фактически, бóльшая автономия, они формировали государства, связанные с Римом договорными отношениями, а из числа скоттов и атекотов, которые номинально считались врагами Рима, набирались полки, служившие в армии императора Гонория (395–423 годы). Восточное побережье Англии было уязвимо для набегов с севера и из-за Северного моря, однако римские власти приглашали саксов селиться на территории восточного Йоркшира, награждая их за военную службу земельными наделами и таким образом обращая врагов империи в ее защитников.

Из сказанного видно, что римское отступление должно было быть неоднозначным процессом, по-разному сказав-

шимся на разных областях. Очевидно, что в Британии римская культура после отступления не сохранилась и что на территории бывшей мирной зоны культура германцев-саксов быстро стала доминирующей. На территории милитаризованной зоны и непокоренной части Шотландии, Уэльса и Корнуолла мощная атлантическая культура бронзового и железного веков, не поддавшаяся римскому влиянию, устояла и перед влиянием саксонским. Почему же обитатели юго-востока Британии столь легко расстались со своим римским прошлым и с такой видимой готовностью приняли новые саксонские обычаи? Почему латинский язык, каменное строительство, римская система законов и физические следы империи исчезли практически без следа?

Мы можем только предполагать, что римская культура оставалась чуждой для населения Британских островов, северной и западной Галлии, Иберии, западной Германии и других мест, переживших оккупацию, а затем стремительно «де-романизовавшихся». Система римских городов была искусственно навязанной и поддерживалась гражданскими и военными ассигнованиями, исходившими из Рима. Эти города не были естественной формой поселений, возникшей из нужды в торговле, ремеслах, совещательных собраниях и совместной самозащите — они являлись узлами организующего механизма, предназначенного охранять оккупационный режим и отправлять потребности империи. Когда войска и чиновники ушли, смысл существования городов исчез вместе с ними.

Несмотря на все заигрывание с элитами покоренных стран, попытки их ассимиляции, римская культура в Западной империи, по-видимому, не сумела проникнуть в жизнь простых людей. Одной из причин этого, помимо естественной разницы в культурном мировосприятии между Средиземноморьем и атлантическим западом, возможно, послужил ее патрицианский характер. Народ Рима, с его домашними божествами и семейными обрядами, безусловно имел собственное культурное лицо; однако его особенности оказались по-

гребены под напластованиями культуры, которая частично была позаимствована у эллинистического мира, а частично специально сконструирована римским правящим классом. Если классическая греческая культура зародилась в гуще противоречий афинской жизни в V веке до н. э., то культура августовской эпохи была гораздо более спланированной и продуманной, попыткой даровать Риму собственную «классику». Получившееся в результате не имело реальных корней в опыте римского народа и потому не смогло всерьез отразиться на быте простых людей Запада. Пока вожди учились латыни и заказывали мозаики, народ смирялся с римскими обычаями лишь постольку, поскольку был вынужден — когда нужда прошла, он быстро вычеркнул их из своей памяти.

Исключением из этой закономерности, что неудивительно, были области, имевшие тесные связи с исконной римской территорией или непосредственно с ней соседствующие. Средиземноморское побережье Галлии и Иберии и примыкавшая к нему полоса земли, которая с перерывами продолжалась до самой Луары, к моменту падения империи являлись частью средиземноморской торговой и культурной системы уже на протяжении тысячелетия. Греки, римляне, латиняне, италийцы и другие племена торговали с этим регионом и селились здесь столетиями. Когда империя рухнула, он больше любой другой западной области сохранил свой римский облик.

Выше я уже говорил о вере стоиков в универсальность человеческой природы, об их ощущении причастности любого человека, из какого бы племени тот ни происходил, божественному духу, и о том, что результатом такого мировоззрения становилась возможность вменить всякому народу определенные принципы поведения. В Римской империи проявились обе стороны этого универсализма. Любой человек теоретически мог стать гражданином, должностным лицом, сенатором, консулом и даже императором (Диоклетиан, к примеру, был сыном вольноотпущенника из Далмации); однако, чтобы реализовать эту возможность, он должен был

принять ценности римского патрициата. Именно универсализм позволял римлянам не сомневаться в том, что городская система, работавшая в Италии, будет работать и в Иберии, и в Галлии, и в Британии, и что если она требовала строительства городов в географически неблагоприятных местах, прокладки дорог и акведуков вразрез с условиями ландшафта, то, значит, так тому и быть. Система законов, рождаемых в результате споров и обсуждений в средиземноморском городе, использовалась для регламентации жизни сообществ с совершенно иной культурой. Имперское существование питало веру в универсализм, а эта вера в свою очередь создавала организацию, которая позволяла империи существовать.

Если добавить к универсализму стоическую веру в то, что доступ к культуре и цивилизации обретается лишь через обучение и усвоение определенной совокупности знаний, у нас начнет складываться понимание того, в чем заключалось характерное для Рима миросозерцание и какое наследство он нам оставил. Относительно небольшое число людей, происходящих теоретически из любой точки мира, впитавших с образованием один и тот же корпус знаний и придерживающихся одних и тех же ценностей, обладали исключительным и неоспоримым правом называть себя цивилизованными. Только они по-настоящему умели ценить искусство, только они хранили мудрость, необходимую чтобы управлять и воевать надлежащим образом, только у них имелась способность суждения и достаточно знаний, чтобы истинно постигать человеческую природу. Это позволяло им не просто повелевать другими, но и повелевать с позиций самопровозглашенного превосходства. Они были цивилизованными, потому что были правителями, и они правили, потому что представляли цивилизацию.

Для западных соседей Рима наследие его классической эпохи выражалось в одном ощущении: цивилизация есть нечто внешнее, постороннее. Действительная цивилизация не была укоренена в их собственных обычаях, языках, верованиях и законах, она имела источник в другой, более совер-

шенной культуре. Доступ к этой цивилизации был открыт только через формальное образование, обучение искусству рационального анализа и усвоение предписанного корпуса знаний. Способность цитировать Платона, Вергилия и Горация являлась составной частью цивилизации; знание о том, как вступить в священную рощу кельтского бога Дагды, таковым не являлось. Это была универсальная цивилизация, годная для всей империи, но доступная только тем, кто мог ее себе позволить. Как следствие, большинству западноевропейцев (и в римские времена, и после «открытия» классического мира в эпоху Ренессанса) не оставалось никакого иного отношения к цивилизации, кроме веры в ее чуждость и недостижимость.

Глава 5

ХРИСТИАНСТВО ПО АВГУСТИНУ

От мятежной секты до вселенской конфессии

Римская империя, простершаяся от Месопотамии до Иберии и от Сахары до Нортумбрии, распространила свою цивилизацию повсюду. Но, несмотря на то, что новая свобода передвижения создавала потенциал для передачи культур на огромные расстояния, большинство жителей империи не отступали от своих обычаев и не спешили перенимать универсальную римскую культуру. Этот «регионализм» отчасти отступил лишь тогда, когда христианская вера утвердилась в качестве официальной религии римского государства и в дальнейшем, за все долгие годы распада Западной империи, постепенно превратилась в средоточие жизни римских провинций, ее господствующий культурный фактор. Три века понадобилось христианству, чтобы вырасти из мелкой фракции внутри иудаизма в институализованную религию империи, однако, в отличие от римской культуры, бесследно выветрившейся из местного быта вместе с уходом легионов, христианство сумело пропитать собой существование западноевропейцев и стать фундаментом их культуры и цивилизации.

Три столетия, предшествовавших принятию и распространению христианства в качестве официальной имперской религии, были свидетелями не только преследований, муче-

ничества и необычайного бесстрашия верующих, но и прозорливости и политической мудрости, проявленной христианскими вождями. При этом религия, в конечном счете утвердившаяся на Западе, создала себя не только в сопротивлении гонителям, но и в собственной внутриконфессиональной борьбе. Причина, по которой христианство сумело стать универсальной религией средневековой Европы, заключалась в том, что его ведущие принципы предполагали открытость для всех. Каждый человек, будь он святым или грешником, монахом или молочницей, мог и должен был стать христианином. Такая всеоткрытость сделалась одним из главных устоев западного христианства стараниями святого Августина; однако дабы показать, что именно в этом заключается Божья воля, Августину пришлось взять верх над множеством толкований и противоречий, живших в христианстве с самого начала его существования. С торжеством августиновского вероучения западное христианство, а вместе с ним и западная цивилизация получили цельную ортодоксию, сумевшую удержать свои позиции на протяжении тысячелетия. После Библии труд Августина «О граде Божием» был самой читаемой книгой средневековой Европы, и подобно тому, как ученые эллинистического мира искали практического применения идей, сформулированных Платоном и Аристотелем, латинская церковь средних веков пыталась строить организационные структуры, создавать правила и давать наставления, которые бы отражали августиновскую концепцию христианства. Чтобы понять, как сложилась эта концепция, нам нужно знать о том, какой путь прошла христианская вера до Августина.

В конце весны 27-го, или, возможно, 33 года н. э. молодой еврей из северной иудейской области Галилея был казнен за городской чертой Иерусалима через распятие на кресте — форма казни, предназначавшаяся римлянами для рабов и преступников, не являвшихся римскими гражданами. Проповеди Иисуса, странствующего харизматического проповедника и, по свидетельствам некоторых, чудотворца, привлек-

ли к нему небольшую, но преданную группу последователей-галилеян, и когда судьба привела его в Иерусалим, вокруг уже собрались возбужденные толпы, желающие увидеть знаменитого «учителя» своими глазами. Однако весть, которую нес Иисус, не заключала в себе ничего триумфального: его учение звало к состраданию и прощению, любви к неимущим и слабым. В Иерусалиме же его ждало предательство, унижение, бичевание и казнь на кресте.

Предназначение, которое исполнял Иисус, ничем не отступало от иудейской веры и истории. Пятью столетиями ранее Исайя предрек, что Мессия (помазанник Господа) будет «презрен и умален пред людьми» и «как овца, веден... на заклание» (Ис 53:2–7). Однако когда Иисуса распяли, иерусалимские власти — римский наместник, царь Иудеи, верховное священство — были только рады сбить с рук потенциального возмутителя спокойствия. Что касается большинства евреев, то сам факт его смерти, скорее всего, позволил им не воспринимать всерьез или вовсе отринуть любую мысль о том, что Иисус мог быть Мессией — хотя вообще родиться такая мысль могла только в их среде.

Римская империя вбирала в себя множество религий, и почти каждая из них была формой политеизма. Римляне, как правило, терпимо относились к чужим богам, а некоторых даже заимствовали сами — греческий олимпийский пантеон был присвоен целиком, широкое распространение получили культы египетской Изиды, малоазийской Кибелы и персидского Митры. От подчиненных народов требовалось лишь чтить римских богов животными жертвоприношениями и, еще важнее, поклоняться божественной персоне императора. Однако иудаизм отличался от прочих религий. Евреи верили в единого бога, и их вера запрещала им поклоняться кому-либо еще. От римских властей они получили особую льготу на *religio licita* — разрешенную религию, — освобождавшую их от почитания императора.

Осевшие во многих городах эллинистического и римского мира, евреи славились своей замкнутостью и обычаем не

вступать в браки с людьми иной веры или расы. Средоточием их конфессиональной жизни были священные писания, в которых история страданий народа переплеталась с его уникальным и крайне моралистическим единобожием и которые, помимо прочего, содержали строгие предписания относительно режима питания, семейных отношений, обрезания и соблюдения субботы. Именно вера, а не место жительства была фундаментом сообщества — евреи из Эфеса, Антиохии или Карфагена ничуть не уступали в своем еврействе тем, кто жил в Иерусалиме или Лидде. Это центральное место веры в жизни означало, что евреи, уверовавшие в Иисуса как Мессию, превращались в исключительно преданных хранителей христианства.

Последователи Иисуса со всей очевидностью убедились в божественности Иисуса, когда тот через несколько дней после распятия вновь явился перед ними. Воскресение стало центральным актом христианской веры. После вознесения учителя на небеса настал черед его немногочисленных приверженцев, апостолов, распространить учение Христа («христос» — греческое слово, означающее «помазанник») среди евреев. Но и власти, и многие иудеи из народа видели в рассказах апостолов серьезное оскорбление религии — христиан стали гнать из городов, избивать и осуждать на казнь. Одним из наиболее рьяных преследователей оказался человек по имени Саул, который присутствовал при мученической смерти Стефана, первого апостола, забитого насмерть камнями за богохульство, и организовывал расследования среди сочувствующих христианам. Отец Саула был достаточно важной персоной, чтобы заслужить римское гражданство, однако все члены его семьи оставались праведными иудеями. Они говорили на еврейском в домашнем кругу, но при этом свободно изъяснялись и на арамейском, и на греческом — межплеменном языке эллинистического мира. Таким образом, среда, в которой воспитывался Саул, носила черты одновременно глубоко местные и универсальные.

Саул стал христианином после того, как услышал голос Христа по дороге в Дамаск, и в дальнейшем Саула уже знали

под именем Павла. Энергия, которую этот человек продемонстрировал во время преследований, теперь обратилась на проповедь христианства и строительство христианской церкви. Павел путешествовал по Леванту, Малой Азии и Греции, посещал христианские общины, проповедовал и рассылал письма со словами предостережения или поддержки. В 58 году н. э. он был арестован римскими солдатами в Иерусалиме, где какое-то время ему угрожала смерть, но затем его переправили в Рим, где он предстал перед судом. В 64 году н. э. императору Нерону показалось удобным обвинить христиан в пожаре, который уничтожил значительную часть Рима. Согласно преданию, и Павел, и Петр — апостол, которому Христос предопределил стать основателем церкви, — оба стали жертвами последовавших расправ.

Присутствие в Риме в период правления Нерона заметной христианской общины (состоявшей, вероятно, из пары сотен человек) демонстрирует, что в продолжение каких-то трех десятилетий отколовшаяся иудейская секта распространилась за пределы иудейского общества и укрепилась в городах, расположенных на другом конце империи. Миссионерство Павла явилось основной движущей силой этого процесса, однако прежде чем познакомиться с его деятельностью, нам нужно понять, почему так много людей оказались готовы принять религию, происходившую из чуждой культуры. Почему те, кто не имел никакой связи с иудаизмом, — сирийцы в Дамаске, греки в Коринфе, египтяне в Александрии — смогли поверить в то, что Иисус Христос есть мессия, посланный Богом? И в то, что этот Бог не просто бог евреев, но общий Бог всего человечества и единственный Бог, исключаящий всех прочих?

С древнейших времен и во всех культурах религия служила разным человеческим потребностям. Желание найти смысл посредством веры в сверхъестественные силы сочетается у человека с врожденным ощущением связи с неким неопределимым измерением естественного мира. И хотя данное ощущение с трудом поддается описанию — ибо является чисто эмоциональной реакцией на место и обстоятельства, —

это не умаляет его значения. Большинство религий признавало богов, и боги повелевали всеми элементами природного мира, в том числе человеческой судьбой. Поскольку боги непостоянны, функцией религии и жрецов (позднее священников) оказывалось умилоствление богов с целью склонить удачу на сторону людей. В Древней Греции этот порядок взаимоотношений стал разрушаться: люди по-прежнему верили в богов, они участвовали в священных праздниках и приносили жертвы в надежде снискать высшее благоволение, однако изначальная связь между богами и духовным измерением человека уже не ощущалась. За последующие столетия прогрессирующей урбанизации чувство связи с силами природы у обитателя греко-римского мира притупилось еще сильнее, а взаимозависимость между духовной жизнью и религиозным поклонением почти исчезла. И тем не менее для наших предков небо над головой не было началом бесконечного и пустынного пространства, оно было полно богов, соперничающих за человеческое внимание. В сверхъестественные силы по-прежнему верили все, изменилась только их природа.

Римляне, смотревшие сквозь пальцы на местные культы, если те не несли угрозы власти, без промедления расправлялись с обрядами и традициями, которые служили консолидации регионального самосознания в самых беспокойных областях империи. К середине I века до н. э. местные религии (за исключением иудаизма) во многом сделались выхолощенными, лишенными витальности: священные праздники превращались в дни попоек и увеселений, сами официально провозглашенные божества имперского Рима (в числе которых побывали Калигула и Нерон) являли собой печальное зрелище упадка, а жертвоприношения богам римского пантеона, и без того потерявшие глубокий смысл, воспринимались как дань рутине. В то же самое время в сознании образованной части публики давно жил сократовский императив, утверждавший добродетель в качестве высшей цели всех стремлений. Стоики верили, что долг человека — это, словами Сенеки, «жить среди людей, как если бы тебя видел бог». Однако между

религией и жизненным, духовным, мистическим опытом человека, казалось, пролегла непреодолимая пропасть.

В такой атмосфере и возникло практическое учение, которое восстанавливало связь между духовной жизнью, убеждениями и опытом и которое заявляло серьезную и ясную альтернативу духовному вакууму и растерянности римского мира, — более разительный контраст трудно вообразить. Хотя христианство предлагало спасение через внутреннюю работу души, Иисус также наставлял своих учеников подавать милостыню нищим, оказывать честь угнетенным и молиться за врагов. Новая вера обладала огромной притягательной силой и для духовных наследников Сократа, живущих в эпоху нравственного смятения, и для римского простонародья, ощущавшего нехватку значимого религиозного опыта. Помимо прочего христианство также предлагало поддержку в виде сплоченного сообщества родственно мыслящих людей. И если городские ремесленные слои в империи были особенно отделены от правящей элиты в силу своего негражданского статуса, то церковь несла иную, духовную империю, членство в которой принадлежало им по праву.

Павел, великий строитель христианской церкви, не знал Иисуса при жизни и не мог опереться на письменные «благовествования», которые стали впервые появляться только после его собственной смерти. Тем не менее подобно многим, пошедшим по его стопам, Павел свято верил, что делает Божье дело и что его помыслами и поступками водит рука Всевышнего. По этой причине он без стеснения проповедовал собственные идеи о христианской церкви и ее доктрине, даже если те напрямую не выводились из слов Христа, а главенствующей среди них было видение христианства как объединенной вселенской церкви. Это имело два непосредственных следствия: во-первых, принятие в лоно церкви неевреев — чему немало христиан активно сопротивлялись — и, во-вторых, создание единой общины с универсальным учением. Хотя не существовало видимых препятствий тому, чтобы

группы христиан практиковали религию каждая по-своему, бескомпромиссный Павел считал это недопустимым. Церковь являлась мистическим телом Христа, которому была дарована Божественная власть, а значит, она должна оставаться неделимой. Павел настаивал, что именно в вере, а не в мирском могуществе, положении или поступках, лежит корень спасения и что именно через веру христианин способен обрести благодать Бога и стать одним из его избранных. Он также считал, что вера в воскресение Христа и вера в воскресение всего человечества в Судный день — еще одна вещь, которую с трудом могли бы принять потенциальные обращенные и ранние христиане, — являются абсолютным условием христианского вероисповедания. Он же впервые написал о природе Христа — одновременно божественной и человеческой, природе Сына Божия и частицы Бога, — положив начало спорам, которые столетиями будут занимать христианский мир.

Противоречивость в учениях Павла начинала проявляться тогда, когда он пытался остаться верным одновременно иудаизму и христианству. Все христиане считались равными перед Богом — рабы и состоятельные граждане молились, женщины ничем не уступали мужчинам. Как следует из евангелий, Иисус относился к женщинам с уважением и вниманием, и самые первые христиане следовали его примеру. В обществе — и эллинистическом, и римском — женщины также занимали не самое низкое положение: они становились во главе домохозяйства после смерти мужа, они были представлены почти во всех известных профессиях — выступали в суде, врачевали, учительствовали. У ранних христиан женщины также нередко становились священницами, проповедницами, пророчицами. Несмотря на это, Павел, следуя еврейской традиции, пишет в своих посланиях, что женщины были созданы для мужчин, что в храме им следует хранить молчание и что в любое время они должны быть скромны и тихи. Сексуальные отношения были непростой темой: Павел утверждал, что церковь должна принять необходимость в продол-

жении рода, однако чувственные помыслы, похоть, блуд и вообще «бремя плоти» возбуждают порочные мысли, а потому заслуживают наказания. В конечном счете отголоском этого авторитетного мнения стало очернение женщин как источника соблазна для мужчин (с неизменной ссылкой на пример Евы-искусительницы), а также рождение и распространение учения о непорочном зачатии Девы Марии. Брак был необходимостью, однако идеалом оставалось целомудрие.

Приверженность Павла идее единой церкви сказывалась в том, с каким беспощадным гневом он обрушивался на всякого отступившего от правил — еретические мысли или поступки, сколь-нибудь противоречащие его предписаниям, грозили провинившимся отречением от церкви и вечным проклятием. Но в то же самое время Павел неустанно проповедовал практическое милосердие, помощь больным и немощным, и повторял, что материальные лишения суть источник духовного обогащения.

Со всеми его противоречиями, гневом, смирением, энергией, верой, самонадеянностью, непререкаемостью, преданностью Павел учредил образец христианской церкви и ее вероучения. Будучи образованным евреем и жителем греко-римского мира, он вложил в христианство уникальное сочетание греческого рассудочного универсализма и ветхозаветного нравственного рвения. Влияние иудаизма на его убеждения, а следовательно и на церковь, было значительным. Как и евреи, первые христиане ощущали себя членами целого, которое зиждилось не в принадлежности к какому-либо месту, а в общности верований. Еврейское писание повествует о народе, который смог сберечь себя в изгнании, в долгих странствиях и во время преследований. На протяжении большей части своей истории он существовал обособленно от угнетателей и от окружающей природы, ведомый по жизни бестелесным идеалом родины. Такая обособленность изъясняется еще в рассказе о сотворении мира: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над пти-

цами небесными, [и над зверями,] и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле» (Быт 1:26). Представление о человечестве как исключительно привилегированном создании — сотворенном Богом по своему образу и наделенном властью над всеми прочими — было отличительно иудаистской идеей, которая прекрасно сочеталась с выпестованной греческими философами идеей уникальной человеческой рациональности; приноровив к своему пониманию эти две идеи, христиане шагнули дальше и объявили, что Бог послал людям Своего Сына в человеческом обличии. Если в большинстве других религий — египетской, кельтской, германской, греческой, персидской, индуистской — божества были вплетены в ткань природы, время от времени принимая вид быков, лебедей, орлов, баранов, слонов и коней, то христианство безусловно исходило из предпосылки, что люди являются не только венцом природы, но и косвенной причиной ее существования.

Вскоре после смерти Павла начали появляться анонимные сочинения, повествующие о жизни Иисуса, и к началу II века уже установился основной корпус христианских священных писаний: четыре Евангелия, Деяния и Послания, все на греческом языке. Христианская община обрела в этих писаниях новую почву для самоопределения и укрепления веры, однако мир вовне остался враждебным к ее словам. Как только стало окончательно ясно, что христианство — это не еще одно внутреннее ответвление иудаизма, оно было объявлено Римом вне закона. Христианам запрещалось собираться, и любой из них, будучи допрошен, был обязан отречься от своей веры. На следующие 250 лет христиане стали объектом постоянных притеснений, время от времени перераставших в жестокие гонения. Священников и епископов обрекали на казнь вместе со многими членами их паствы. Иисус когда-то предсказал преследование своим ученикам, однако он никогда не звал других становиться мучениками в свое имя: «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой» (Мф 10:23);

также и Павел посчитал за лучшее бежать из Дамаска, нежели встретить свою смерть. Тем не менее некоторые вожди церкви начали отстаивать мученичество как способ постижения опыта Иисуса и прославления его имени. Публичные казни лишь сильнее цементировали веру внутри христианской общины и пробуждали любопытство и восхищение у язычников, наблюдавших за всем со стороны. Для христиан же несколько часов пытки были ничем в сравнении с будущим вечным проклятием — отречению от веры они предпочитали долгую мучительную смерть. Однако не примитивный страх был причиной их необычайного мужества. Во-первых, они верили, что своими страданиями заслуживают любовь, которую даровал им Бог, а, во-вторых, их поступок отзывался эхом древнего представления греков о благой смерти, являлся его новым историческим воплощением. Греки первыми шли воевать и были готовы умереть за принципы или идеалы. Принимая смерть за веру, ранние христиане помимо всего прочего демонстрировали эллинистические корни своей религии.

В 111 году н. э., находясь в провинции Вифиния и Понт (область на южном побережье Черного моря), Плиний Младший писал императору Траяну об адептах новой веры: «Я спрашивал их самих, христиане ли они; если ответ получался утвердительный, я спрашивал в другой и в третий раз, грозя наказанием; упорствующих я приказывал привлекать к ответственности...» Однако в том же письме Плиний сетует, что «зараза [христианства] охватила не только города, но и села» и что его меры (он упоминает пытку двух служанок-диаконов) оказываются недостаточными для искоренения этого «извращенного суеверия».

Говоря, что ряды христиан пополняются все активнее и что преследования лишь привлекают внимание к их учению, Плиний не ошибался. Медленно, но верно христианские общины расширялись и все смелее заявляли о себе. Относительная стабильность империи во II веке (период правления Антонинов) вызвала рост численности средних классов и дала возможность путешествовать: мелкие купцы и ремесленники.

составлявшие костяк христианских общин, внезапно ощутили себя гражданами мира. Однако даже в этих условиях христианство до середины III века оставалось культом — живучим и непокорным, — который присутствовал во многих городах (точнее, ютился) и базировался главным образом в восточной части империи.

Неуклонная, пусть и происходящая неравномерно, экспансия христианства резко сменила свой характер, когда в середине III века римское государство поразил кризис, равного которому не случалось за всю его предыдущую историю. На протяжении сорока лет, начиная с 240 года, в результате серии драматических и унижительных поражений империя один за другим была вынуждена сдать несколько рубежей. Легионы уступали натиску чужих войск на всех направлениях, и даже доходило до того, что жертвами врагов Рима становились императоры — воплощение стабильности империи.

В 251 году силы коалиции племен под предводительством готов смогли заманить в ловушку в болотах Добруджи императора Деция и его армию — и тот, и другая были уничтожены. В 260 году Сапор, император вновь набирающей силу Персидской империи, разгромил и захватил в плен императора Валериана. В то же самое время племена, жившие в нижнем течении Рейна, начали нападать на римские гарнизоны, а суда из северной Германии — совершать вооруженные высадки на берегах Британии и Галлии. В 260-х годах, продвигаясь набегами, готы сумели выйти к Эгейскому морю и вплотную подобраться к богатым, но плохо защищенным городам восточного Средиземноморья. Императоры в этот период сменяли друг друга с пугающей скоростью, а ощущение кризиса было таково, что в 271 году начались работы по возведению оборонительной стены вокруг самого Рима.

От разрушения Римскую империю спасло новое поколение полководцев. Эти профессиональные военные, большей частью уроженцы имперских окраин, были почти ничем не обязаны правящему классу, и, едва оказавшись у власти, сумели радикально преобразовать структуру государственного уп-

равления. В 260 году новый император Галлиен отстранил сенатскую аристократию от военного руководства и приступил к реформам: он разбил легионы на более мелкие и более мобильные отряды, ввел тяжелую кавалерию как новую войсковую ударную силу и довел численность войск до 600 тысяч человек — создал крупнейшую регулярную армию из когда-либо существовавших. В 268 году Галлиен одержал победу над племенами, вторгшимися в северную Италию, а на следующий год Клавдий II отвоевал территорию до Дуная, снова сделав его границей империи. В 273 году Галериан вернул Риму восточные провинции, а в 296 году персидская угроза была окончательно устранена войсками Галерия, полководца при императоре Диоклетиане.

Военные, которые совершили этот выдающийся переворот, будучи полной противоположностью заседавшим в сенате патрициям — Диоклетиан был сыном вольноотпущенника, Галерий — бывший погонщик скота из Карпатии, — воссоздали империю по своему образу и подобию. Диоклетиан разделил империю надвое и назначил двух человек управлять каждой половиной; он же учредил формальную систему призыва и налогообложения на военные расходы — теперь сыновья солдат и слуги землевладельцев обязывались служить в армии, а по всей империи был введен земельный налог. Диоклетиан очистил политические институты от представителей почтенных патрицианских семейств и расставил по руководящим позициям верных соратников-военных.

Империя, возможно, была восстановлена, однако в течение почти полувека бóльшая ее часть (за исключением Британии и Галлии) находилась под постоянной угрозой. Этот период беззащитности и страха для ее жителей очень скоро поставил под сомнение прежнее мировосприятие и уклад жизни. В приграничных провинциях стабильность, которая подпитывала величественный статус римских учреждений и ритуалов, была уничтожена вторжениями. Предписанное почитание римских богов тоже приходило в упадок — по мере того как люди обращались к религии, в которой духовный

смысл существования обретался человеком посредством внутреннего просветления и которая вместе с тем подавала пример добродетельной жизни в мире, все больше и больше переполнявшемся злом. Посреди смятения христианская церковь предлагала стать частью строго очерченной общности людей, несущей ясное послание искупления и спасения. В годы кризиса сострадание и мужество, свойственные христианам, проявились еще сильнее, чем прежде — резко выделяясь на фоне пренебрежения своими и чужими проблемами, характерного для стоического мироощущения. Христианство демонстрировало интересный парадокс: оставаясь адептами идеи личного спасения и внутреннего сосредоточения духа, христиане верили в исключительную нравственную необходимость любви и заботы о ближнем. В одном из наиболее запоминающихся отрывков Павел поучает членов общины: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий» (1 Кор 13:1). В глазах римского общества, приходящего в себя после глубочайшего за последние два века кризиса, христианство воплощало действительную альтернативу прежнему порядку. Для многих подданных и граждан империи этот кризис показал, что конфликт империи с христианством является чем-то незначительным в сравнении с угрозой, которую представляли осаждавшие ее враги. Мир перестал делиться на язычников и христиан, поскольку на первый план выступило деление между империей и варварами. И хотя этот сдвиг не был явно выражен, он имел глубокие последствия — перестав быть «внутренним врагом», христианство стало казаться многим одним из главных инструментов в борьбе за сохранение империи.

Вместе с увеличением влияния христианства в практической жизни его богословское учение постепенно вводило религиозную веру в контекст имперского бытия. Хотя процесс этот был достаточно непростым и противоречивым, отдельные христианские авторы стали представлять империю как необходимую предтечу новому пришествию Христа, — это

означало, что христианство начало инкорпорировать историю империи в свою собственную. Так, александриец Ориген, писавший в середине III века, истолковал классическую эпоху как предвестницу христианства и назвал таких ее представителей, как Сократ и Аристотель — глубоко интересовавшихся природой души и предметами того же ряда, — «христианами до Христа». Одновременно платоновский идеальный мир стал пониматься как символ христианского Бога-творца. В начале IV века христианский богослов Евсевий в своем «Доказательстве в пользу Евангелия» утверждал, что «власть римлян достигла вершины точно тогда, когда случилось неожиданное пребывание Иисуса среди людей, — во время обретения Августом власти над всеми народами». Среди христиан возникла мысль об особой миссии Христа как объединителя всех прежних философий и религий, пришедшего разрешить все противоречия, а также о том, что предназначением Христа в мире было не ниспровержение империи, а поучение и исцеление. Для христианства этим создавалась новая, менее мрачная и более открытая миру перспектива, и именно благодаря ей идеи Платона и Аристотеля не оказались отброшены с триумфом новой религии, а продолжили свою жизнь внутри церкви.

Тогда же, когда христианское богословие пыталось выстроить идейную перспективу, которая вбирала бы в себя греческую и римскую историю, философы греко-римского мира начали двигаться во встречном направлении. В середине III века александрийский философ Плотин открыл в Риме академию, в которой преподавал свою, оказавшуюся чрезвычайно влиятельной интерпретацию Платона. Эта философия, представляющая собой сплав платоновских, аристотелевских и стоических элементов, позже получила название неоплатонизма. Плотин утверждал, что все сущее с неизбежностью проистекает из единого божественного целого и что в конце концов все должно вернуться к тому же состоянию единства. Это единое божество по природе является сверхъестественным и абсолютно благим, и оно сообщает свою благость созданиям

более низких уровней существования. Платоновские идеалы, например, становились у Плотина порождениями этого высшего существа. Хотя система, разработанная Плотиним, носила однозначно философский характер, она, как и христианство, явилась духовным ответом на те масштабные перемены, которые переживал современный ему мир. Несмотря на то, что Плотин отвергал христианское богословие, его творчество заложило фундамент дальнейшего слияния христианства и греческой философии.

Могущество и авторитет христианской церкви, заметно выросшие к концу III века, вызывали одобрение не у всех. Христианство преимущественно оставалось религией восточной, грекоговорящей части империи, тогда как Диоклетиан и большинство его армии принадлежали латиноязычному Западу. Когда Диоклетиан в 287 году построил себе дворец в Никомедии, на противоположном холме он обнаружил действующую христианскую базилику; в 302 году к моменту его возвращения из нескольких походов, христианство уже закрепились в империи как альтернативная структура власти.

Диоклетиан решил, что христианство должно быть искоренено. Этот оборот событий стал источником глубокого потрясения для многих, включая даже людей, уже привыкших к умеренным преследованиям, к которым время от времени прибегали римские власти. Большинство населения империи больше не считало христиан членами опасной секты, в них видели уважаемых граждан, чья деятельность не выбивалась из общего русла римской жизни. Как бы то ни было, в ходе расправ христиане-военные были лишены должностей, храмы предавали огню, а тех, кто не отрекался от веры, продавали в рабство; епископов бросали в тюрьму и силой вынуждали приносить жертвы традиционным римским богам. Хотя среди гонителей не было единодушия, и немало официальных лиц с явной неохотой исполняли приказы верховной власти, многие священники, епископы и члены их паств были приговорены к смерти, а многие оставшиеся христиане заключены в тюрьму и подвергнуты пыткам. После оставления

Диоклетианом поста императора в 305 году репрессии постепенно и негласно сошли на нет, однако христианские вожди успели твердо осознать, что без политической власти судьба их церкви становится игрушкой в руках императоров.

Легенда гласит, что обращение в христианство унаследовавшего в конечном счете Диоклетианов трон Константина случилось во время сражения у Мильвийского моста на реке Тибр в 312 году, в котором Константин смог одолеть своего соперника Максенция. Его друг и биограф Евсевий описал видение, явленное Константину — световую фигуру креста в небесах и надпись «СИМ ПОБЕДИШИ», — после которого тот немедленно дал клятву не поклоняться отныне никакому другому богу. Однако решение Константина было не только духовным, но и политическим. Он понимал, что христианская церковь, с ее организацией, множеством епископов и преданных рядовых членов, способна стать могущественным союзником императора. Также весьма вероятно, что Константину, в отличие от Диоклетиана, христианство не казалось чужеродным — его мать Елена была христианкой, судя по всему, еще со времен его юности.

Диоклетиан разделил империю на Восточную и Западную, и христианство по-прежнему оставалось преимущественно восточной религией (это положение сохранялось до VIII века). В 324 году Константин, который был западным императором, разгромил своего восточного совластителя Лициния в битве при Хрисополе и сделался единым правителем всей империи. Затем он расширил имперские владения, отвоевав восточные провинции в Малой Азии, и тем самым поставил христианские земли в Леванте и Анатолии под свой личный контроль. В 325 году Константин выбрал портовый город Византий в качестве новой столицы Римской империи, а в 330 году она получила имя в его честь — Константинополь. Этому городу было суждено стать не только центром христианской учености, но и местом сосредоточения всех процессов сохранения и продолжения двухтысячелетнего наследия восточносредиземноморской культуры.

Константин опирался на христианскую церковь как на подспорье в обретении и удержании политической власти — церковь поддерживала его в борьбе с Лицинием, сам он использовал епископов и христианские общины как систему сбора информации, по которой до него доходили новости о политических событиях и настроениях во всех городах империи. Со своей стороны, продолжая труд Павла, Константин пытался объединить христианскую религию в рамках единой институции. Он обратил к христианству симпатии простых людей, сделав христианскую субботу официальным днем отдыха и приурочив языческие праздники к христианскому календарю. Им были запрещены распятия, бои гладиаторов и жертвоприношения животных.

К IV веку христианство распространилось по всему Египту дойдя на юге до Эфиопии, на востоке проникло до восточного побережья Черного моря, утвердилось на территории Малой Азии, Сирии, Финикии, Палестины и захватило часть Аравии. На западе христианские общины существовали в каждой римской провинции, включая Галлию, Иберию и даже отдаленную Британию. Александрия и Антиохия превратились в восточные центры христианства, и хотя номинальное главенство над церковью римского епископа (базирующееся на апостольском наследовании от святого Петра) было с неохотой признано в III веке, языком первых пап был греческий, а не латынь.

Возвышение новой столицы Константина на Босфоре привело церковных иерархов в замешательство. Рим, всегда выступавший западным форпостом церкви, перестал быть даже политическим центром империи, а мысль о том, что Константинополь утвердится как новый, равнозначимый с Александрией и Антиохией центр христианства, вызывала сопротивление епископов этих двух городов. Помимо политического соперничества, в церкви существовали и глубокие богословские разногласия, сосредоточенные вокруг вопросов о природе Христа и Его месте в Троице, о Втором пришествии, Непорочном зачатии, предопределении и божественной избран-

ности. Константин, которому сверх всякой меры досаждали споры и распри внутри церкви, отряжал послов во все концы империи для разрешения противоречий и провел несколько соборов, которые должны были вынудить неуживчивых епископов договориться между собой.

Наиболее серьезный внутренний кризис христианской церкви был спровоцирован последователями Ария, священника из Египта, который полагал Христа стоящим ниже Бога и поэтому не обладающим божественной природой в полной мере. За отречением Ария в 321 году последовал Никейский собор 325 года, на котором епископам-арианам был дан выбор — согласиться с формулировкой веры, которая наделяла Христа равным статусом, или быть изгнанными из церкви. Однако у арианства остались приверженцы, и вскоре оно распространилось на севере среди готских племен — на несколько столетий их представление о христианстве сделалось одним из главных источников угрозы для официальной церкви.

Арианство представляло собой лишь одну из нескольких тогдашних сект, исповедовавших каждая особое понимание христианской веры. Во II веке проповедник по имени Маркион учил, что еврейский Бог Ветхого Завета — творец порочного и павшего мира, который не тождествен истинному, высшему Богу христианства. Аналогичным образом гностики полагали явление Христа лишь одной из кульминаций в непрерывной борьбе между добром и злом и называли его воплощение иллюзией. Существовали апокалипсические движения, члены которых верили в скорое Второе пришествие, и визионеры, убежденные в том, что напрямую общаются с Богом. Влиятельнее других, насколько можно судить, были секты, ставившие во главу чистоту веры. Донатисты утверждали, что отрекшиеся от Христа во время диоклетиановых гонений не могут быть вновь допущены в церковь; катары, то есть «чистые», верили в то, что являются избранными, о которых говорится в Евангелии от Марка и Откровении; манихеи видели мир разделенным на добрую и злую части, управляемые соответственно богом света и богом тьмы, и считали,

что предназначение *electi* (избранных), то есть священства, — принести свет в царство тьмы. Убеждение в том, что Христос подал христианам действительный пример жизни в этом мире, также заставляло многих верующих отказываться от имущества и жить подаением. Аскетическое движение, из которого вышел такой институт, как монастыри, всегда оставалось сильным в христианстве, но было неясно, какое место следует отвести ему в доктрине церкви и как примирить многочисленные его толкования.

Вопреки авторитету Константина как властителя империи и его энергичным объединительным усилиям, десятилетия спустя после его смерти в 337 году раскольнические течения внутри церкви вновь со всей силой заявили о себе. Соборы в Эфесе в 431-м и в Халкедоне в 451 году были использованы церковными вождями не для поиска общих оснований, а как возможность навязать соперникам свои взгляды. Следствием такой политики стало то, что церковь, единое земное тело Христа, которое с таким усердием создавал Павел и удерживал от распада Константин, в конце концов раскололась по линиям культурного раздела.

Средоточием доктринальных разногласий между епископами была природа Христа и Марии. Имел ли Христос всю полноту божественности, или был частью богом, а частью человеком, в каком случае сливались ли эти разные части воедино в его личности или существовали рядом друг с другом? И было ли возможно для Марии, как человека, дать жизнь божественному существу, а если было, не являлась ли некоторым образом сама Мария больше чем смертной женщиной? Эти оспариваемые или отстаиваемые разными епископами тезисы оказались роковым образом увязаны с внутрицерковной политической борьбой, в которой каждая группа старалась присвоить себе право быть источником общеобязательной ортодоксии. В конечном счете епископы и рядовые члены церковью Востока, где по-прежнему было сосредоточено большинство христиан, предпочли раскол отказу от своего понимания веры. Копты из Египта и Эфиопии, сирийские якови-

ты, армяне и несториане — все они пошли собственными путями. Римские епископы также видели, как отдалялась восточная церковь и как константинопольские первосвященники, воспользовавшись поддержкой императоров, сумели перехватить у них верховный статус. Начиная с V века, посреди развала Западной империи, западному христианству с его центром в Риме пришлось искать самостоятельный путь.

Для христианства, возвысившегося в период кризиса конца III века, большая часть следующего относительно безмятежного столетия стала временем процветания. Однако начиная примерно с 380 года Западная империя начала расползаться на мелкие области, все более уязвимые для вторжения нехристианских народов и культур. Христианству было необходимо приспособиться к этому непредсказуемому и таящему многочисленными опасностями миру, и на сей раз западная, или латинская, церковь должна была найти способ справиться с кризисом, не имея за спиной политической и военной мощи империи. Раскол и внутрицерковные разногласия оставили латинское христианство наедине с тяжелыми проблемами, распад же Западной империи угрожал, казалось, самому ее существованию. Хотя, как мы увидим, ожидаемые разрушительные последствия гибели империи слишком переоценивались, в условиях упадка римской политической системы латинская церковь оставалась единственным институтом, являвшимся носителем сколько-нибудь универсального единоточаия. Разногласия, сотрясавшие восточную церковь, ощущались и на Западе, однако здесь их эффект оказался иным. Отчасти это объяснялось тем, что Запад уступал Востоку в экономическом и политическом развитии и поэтому власть находилась в руках меньшего числа людей. Но еще одним фактором, направившим западное христианство по иному пути развития, стала его обновленная доктрина — цельное и открытое для всех учение, которое было создано галлонским епископом Августинем и которое позволило латинской церкви сохранить внутренний мир на следующую тысячу лет.

Есть две главных причины, по которым Августин занимает в нашем сознании такое впечатляющее место. Во-первых, обширнейший корпус его сочинений не только сохранился, но и продолжал все последующие века оказывать самое широкое влияние. Во-вторых, его откровенная автобиография — одно из первых произведений в этом жанре вообще — самим фактом своего существования сделала так, что мы знаем о нем больше, чем о любом другом его современнике. Родился Августин в 354 году, у родителей-христиан, живших в североафриканском городе Тагаст (ныне Сук-Ахрас). Оттуда он отправился в Карфаген, чтобы получить образование в классической латинской литературе, и его образ жизни не отличался благонаравием — через какое-то время он стал сожителем с девушкой-служанкой. Его тогдашние устремления сводились к карьере судебного оратора на имперской службе, однако от планов на будущее и от родительской веры его отклонили встречи с членами некоторых раскольнических христианских групп.

Официальная латинская церковь провозглашала Библию источником истинной премудрости, и вера в написанное в ней являлась непререкаемым законом. Однако для юных знатоков латинской классики это казалось нелепостью. Ветхий Завет представлялся им коллекцией диковатых историй и самых обычных народных преданий, переведенных плохой латынью. Воспитанные на блестящем слогe Цицерона и Вергилия, многие из них, несмотря на симпатии к христианству, в своем восприятии Ветхого Завета не могли освободиться от чувства недоумения или даже отторжения, вызываемого его формой и содержанием.

Вслед за другими образованными римлянами Августин увлекся манихейством — учением секты, которая ставила себе целью объединить все религии мира. Манихеи верили в Христа как в великого учителя, который совершенно не нуждался в опоре на древних иудейских пророков. Центральный догмат манихеев гласил, что мир состоит из двух разных частей, доброй и злой, которые смешиваются между собой во

всем сущем, в том числе в людях. Человек способен жить доброй частью своей души и ума и обособить злую часть — злые помыслы, поступки и желания, — оставив ее в бездействии. Такая концепция выглядела чрезвычайно привлекательной в глазах Августина и тех, кто, имея, подобно ему, на своей душе множество мирских грехов, хотел сохранить добрую часть незапятнанной. Бог, сотворивший порочный материальный мир, был злым богом, благо же принадлежало другому богу — тому, который одухотворял.

После преподавания философии в Карфагене Августин перебрался в Рим и затем в Медиолан (Милан), где в 384 году был назначен профессором риторики. Это было необычное время — последние десятилетия находящейся на излете Западной империи. Императорам приходилось вступать в отношения с готскими племенами, стекавшимися с востока и севера, выделять им государственные земли в обмен на воинскую службу. Эти отношения носили очень ненадежный характер, и их разрыв в результате привел к постепенному развалу империи, но в 380-х годах хрупкий взаимный баланс между императором, сенатом, армией и силами готов и гуннов еще поддерживался. Рим как центр начал терять значение уже в правление Диоклетиана: императоры проводили много времени в поездках, строили дворцы в отдаленных местах империи, а сама она медленно распадалась на полусамостоятельные образования. Хотя сенат по-прежнему заседал в Риме, и сам город, и его патрициат играли все меньшую роль в политической жизни. Император Феодосий (правивший в 379–395 годах) перевел свой двор в Медиолан — город, в котором помимо римлян, лигурийцев, потомков местных аборигенов инсубров, присутствовало немало чужеземцев и в котором царило такое же конфессиональное разнообразие: католики жили бок о бок с арианами и язычниками, манихеями и гностиками. Приграничные провинции всегда оставались зоной, где культура и исконное население Рима смешивались с внешними культурами и народами; когда в IV веке рубежи римских владений оттянулись к югу, вся Западная

империя превратилась в большую мозаику разных групп и интересов.

Вскоре по приезде Августин увлекся воззрениями Амвросия, католического епископа Медиолана и видного политического деятеля западной церкви. Амвросий видел в христианстве религию духа, которая объединяет души как нематериальные сущности, скрытые от взгляда оболочкой плоти. Это нематериальное понимание религии и мира явилось совершенной новостью для Августина — как и большинство других, он всегда исходил из того, что Бог должен присутствовать в материальной действительности. Учение Амвросия показывало, сколь серьезное влияние оказывали на христианское богословие Плотин и другие неоплатоники. Платоновский мир идеалов оказывался у него безвременным, совершенным царством духа, а реальный мир представлял испорченную версию, которая со временем только сильнее приходила в упадок. Если Платон верил, что идеальный мир доступен человеческому разуму, рациональному мышлению, то по мнению Плотина, и впоследствии Августина, «Единое», или Бог, существовало абсолютно за гранью человеческого понимания. Как позже, обращаясь к Богу, написал Августин: «Я понял, что удален от Тебя». Интерпретация Плотина, сформулированная Амвросием, апеллировала к ученным инстинктам Августина и в конечном счете заставила его, отвергнув манихейство, прийти в объятия католической веры. В 386 году он крестился и после пяти лет, проведенных в Сицилии и Тагасте, был назначен епископом портового города Гиппон на южном побережье Средиземного моря, где и провел все оставшееся время до смерти в 430 году.

Прежде чем дать характеристику гиппонским сочинениям Августина, нужно понять контекст, в котором они были написаны. После смерти императора Феодосия в 395 году соглашения, заключенные имперскими властями с готскими поселенцами, вскоре были нарушены. Аларих, предводитель вестготов, посчитав себя оскорбленным отсутствием компен-

саци за службу, в 410 году возглавил поход на Рим, в результате которого бывшая столица была захвачена и разграблена. Имевшее огромное символическое значение, это событие стало лишь очередным симптомом общего упадка политической и церковной власти империи. Хотя не все «варвары» были захватчиками и не всегда они несли с собой разрушение, их растущее влияние уже изменило облик Западной Европы. Едва вестготы ушли из Италии, как другое германское племя, вандалы, вторглось в Западную Африку из Европы и начало продвижение вдоль побережья Средиземного моря к Гиппону и Карфагену.

Занимая пост в Гиппоне, Августин собственными глазами видел, как могущество и авторитет католической церкви приходят в упадок вместе с властью императора Западной империи — ее защиты и опоры. И вестготы, и остготы, и вандалы были приверженцами арианства, еретического учения, преданного анафеме на Никейском соборе. В отсутствие центральной власти пути развития западного христианства, как внутри, так и за пределами официальной церкви, становилось невозможно ни предугадать, ни, тем более, спланировать. Соперничающие христианские секты без стеснения навешивали ярлык еретиков на всех, кого вздумается, и Августин вполне серьезно полагал, что для него, не исключено, уготован мученический конец. Соответственно, в своих трудах он видел не упражнение в теоретизировании, а отчаянную битву за душу христианства посреди мира, погрузившегося в пучину распада.

Для всякого богослова, считал Августин, главной целью занятий должен стать ответ на вопрос «Откуда происходит зло?» Если Бог и благ, и всемогущ, то как зло могло появиться в этом мире? В такой формулировке мы видим Августина как восприемника метода абстракции, обязанного своим рождением Сократу и Платону. Идея о том, что есть некая абстрактная вещь, называемая «злом», которая противоположна вещи, называемой «благом», не приходила в голову другим людям в другие исторические времена — это изобретение посткласси-

ческой Греции. Однако поверив в существование такой абстракции, Августин поставил себя перед необходимостью решить вопрос о ее происхождении. Манихеи уже дали ответ — злой бог и благой бог сосуществуют, — но Августину претил подобный «просвещенный фатализм». Он верил в то, что со злом должно бороться, а не просто его избегать.

Как бы то ни было, отказ от манихейства вновь привел Августина к проблеме истолкования Ветхого Завета. Как примирить историю еврейского народа, ведомого мстительным богом иудаизма, с платоновским бестелесным идеальным божеством, или с всепрощающим Христом? По мнению Августина, если от евреев требовалось неукоснительное соблюдение строгих законов, чтобы удержаться на верном пути, то остальные народы ничем не уступают евреям в пороке и слабости, и поэтому, чтобы держать их в узде, человечеству должны быть предписаны столь же строгие законы. «Уберите границы, созданные законами, и бесстыдная склонность людей вредить, их неодолимое желание потакать прихотям, возьмут свое в полной мере». Стало быть, Ветхий Завет — это руководство для всех времен и народов, а не только для древних евреев. Но откуда же возникла эта врожденная человеческая порочность? Ответом Августина стало учение, имевшее широкое хождение среди самых разных конфессий Римской империи, — учение о первородном грехе.

Для Августина Адам и Ева были существами, сотворенными в совершенстве, однако собственными действиями допустившими зло в мир. Их потомки могут жить добродетельной жизнью, однако все они несут в себе возможность обращения к злу и греху. Августина особенно беспокоила власть над человеком бесконтрольных сексуальных влечений — озабоченность, которая, возможно, уходила корнями во времена его собственного юношеского неблагоразумия. Вера в то, что на людях лежит некое несмываемое пятно, что в них заключена некая ущербность и порча, оказывалась серьезным подспорьем для всякого, кто в бурные периоды истории пытался объяснить избыток хаоса и страданий в окружающем мире.

Перед Августином стоял и другой, не менее трудный вопрос. Если мир полон зла и каждый человек запятнан злом, как должен жить христианин? Для латинской церкви этот вопрос в конечном счете сделался средоточием глубокого внутреннего разногласия — разногласия, так и оставшегося неразрешенным. Если адептов восточной церкви заставили отколоться от Рима споры, касавшиеся божественной сущности Христа и Марии, то потенциальный раскол западной церкви всегда был связан с вопросом о сущности христианской праведности.

В самом знаменитом произведении Августина, «О граде Божием», описывается человечество, которое разделено на жителей Вавилона, земного града, и жителей Иерусалима, града Божия. Вавилон будет разрушен в Судный день. Иерусалим же пребудет в вечности. Большинство христианских богословов соглашались с подобным разделом паствы, однако в связи с этим вставал вопрос о критерии, по которому будут отбираться «спасенные». У секты донатистов ответ был прост: они провозгласили избранными себя. Они верили, что нравственная чистота и соблюдение предписаний христианской религии позволят им отделиться от остального человечества и пройти сквозь ворота града Божия. Именно в этом заключалось правило, которым, как следовало из их учения, следует руководствоваться христианину. Подобная узость приводила Августина в исступление: «Чем погрешил против вас христианский мир, который вы в своем безумии и нечестии отсекаете от себя?.. Чем миролюбие Христово погрешило против вас, что вы противитесь ему, отделяя себя от тех, кого проклинаете?» По вере Августина, только Бог может решать, кто будет спасен: на Него, далекого и всемогущего Бога, не в силах повлиять никакие законы морального суда, установленные каким-либо обществом или отдельным человеком. Думать иначе значит предаваться ереси.

Пелагий, богослов с Британских островов, живший в Риме в начале V века, в своих сочинениях излагал воззрения, близкие тем, что проповедовали донатисты. Согласно этим воз-

зрениям, человеческая природа способна улучшаться и даже достичь полного совершенства через строгое соблюдение христианской веры, стремиться же к совершенству — обязанность праведного христианина. Таким образом, целью всякого верующего должна быть жизнь монаха или аскета. Когда после 412 года «Исповедь» Августина получила распространение, Пелагий выступил с опровержением идеи первородного греха. Он не мог принять, что человеческое самосовершенствование сводится на нет неким отдаленным во времени событием и что первым греховным деянием Адама люди были обречены оставаться грешниками навечно. Один из его последователей, Юлиан Экланский, писал Августину: «Ты спрашиваешь, почему я не согласен с тем, что грех существует как часть человеческой природы? Отвечаю: это против вероятности и против истины; это против справедливости и благочестия; это представляет дьявола творцом людей. Это искажает и разрушает свободу воли... если говорить, что люди столь неспособны к добродетели, что в самом материнском чреве исполнены прошлых грехов».

Мысль о том, что грех Адама и Евы лег несмываемым пятном на все человечество, для рационально мыслящих христиан вроде Пелагия и Юлиана представлялась не только абсурдной, но и опасной. В ответ на доводы людей, которые с точки зрения интеллекта были его ровней, Августину пришлось сформулировать собственное видение жизни истинного христианина. Августина не интересовала нравственная чистота ограниченной группы — ни избранничество донатистов, ни монашеское совершенство пелагиан. Ему требовалось вероучение, которое было бы пригодно для всех христиан: для жены, родившей больше детей, чем она желает, и для мужа, которого одолевают помыслы об измене, для богача, которого иногда тревожит чувство вины за свое положение, и для бедняка, который мечтает о лучшей доле. В этом и состоял великий вклад Августина в христианство — он создал учение, в согласии с которым религия, основанная на признании всемогущего и мстительного Бога, могла исповедо-

ваться людьми, недостойными Его любви. Произведший на свет столь невообразимый парадокс, Августин, который придерживался самых суровых взглядов на человеческую природу, сделался провозвестником нравственной терпимости. Тем не менее достижение это было куплено дорогой ценой. Если христианство должно объять всех и каждого — святого и грешника, монаха и купца, спасенного и проклятого, — тогда что же такое христианская жизнь?

Чтобы ответить на этот вопрос, Августин прибег к сочиненному платониками образу бесконечно далекого Бога, для которого человечество представляет собой чрезвычайно маловажную часть Его собственного творения. Выводы Августина отдавали шокирующим пессимизмом: единственно доступное истинному христианину — страшиться Бога, терпеть страдания и ждать Его суда. Христиане должны жить праведной жизнью ради нее самой, ибо только так, освободившись от порабощения злых желаний, они сумеют постичь Божий промысел и Его любовь. Правда, это никак не повлияет на окончательный Божий суд, ибо — и здесь заключался наибольший пессимизм — их судьба уже решена. Но разве могло быть иначе? Ведь все, что случается, случается по воле Бога. Бесконечно далекий Бог не будет ждать, чтобы судить каждого из людей по заслугам, ибо именно Ему они обязаны каждой своей мыслью и поступком — судить собственные дела для Него было бы абсурдно. Вместо этого, поясняет Августин в сочинении «О предопределении святых», Он посылает в мир определенных людей для свершения великих подвигов. И именно эти святые будут обитать в граде Божиим в Судный день, тогда как все остальные погибнут вместе с земным градом.

Такое вероучение, по всей видимости, отвечало на августиновский вопрос «Откуда приходит зло?» и объясняло присутствие человеческих страданий в мире, сотворенном благим Богом. Хотя люди суть излюбленное Божье творение, их жизни, судьбы, страдания мало Его беспокоят. На первый взгляд, это должно обречь христиан на пассивную беспомощность — ведь все их действия предопределены, а воля свобод-

на лишь в иллюзии. Страдать, ждать Высшего суда — разве это все, что способно предложить христианство? Августин писал, что его учение не отрицает свободы, но просто подталкивает христиан быть более деятельными. Им следует изучать Писание, понять, что есть благо, и действовать в соответствии со словами: «Помни о Господе Боге, ибо Он есть Тот, Кто дает силу вершить великие дела». Они должны быть готовы расстаться с желанием действовать по собственному почину в обмен на причастность к активной Силе, которая наделяет смыслом этот на первый взгляд бессмысленный мир. Даже будучи грешниками, недостойными искупления, они могут быть проводниками воли Бога, творцами свершений, которые преумножат Его славу.

Августину удалось сконструировать мир, где каждый элемент заранее предопределен Богом, но где люди по-прежнему обладают свободой выбирать благие поступки. Как абстрактный философский аргумент это построение не выдерживает никакой критики — однако как практический призыв к христианам творить благо среди мирского зла оно преуспело сверх всякой меры. В последний год жизни Августин написал сочинение «О даре упорства», где сформулировал свое убеждение о христианском долге — последний заключается в том, чтобы выстоять, остаться стойким в мире и тем самым помочь устоять в нем истинной католической церкви.

Отвечая манихеям, донатистам и пелагианам, Августин создал цельную богословскую доктрину католического христианства. Крайне мрачно и пессимистично настроенное по отношению к человеческой природе и вместе с тем открытое для всех грешников; отрицающее возможность человеческого усовершенствования или спасения через благие дела и вместе с тем являющее собой объединяющий призыв к христианам творить добро — августиновское учение оказалось той темной, парадоксальной и противоречивой концепцией, которая легла в основание всей западной христианской теологии.

После катастрофы 410 года Западная империя продолжала существовать лишь номинально. К 476 году, когда последний западный император, Ромул Августул, был смещен со своего поста, императорский трон сделался разменной пешкой в политических играх между готскими королями. Когда Одоакр, германский вождь, под чьим контролем находилась крупнейшая в Италии воинская сила, сместил Ромула и провозгласил себя королем, а не императором, империя на Западе официально пала. Удаление последнего императора прошло почти незамеченным, и империя медленно развалилась на составляющие части.

Христианские императоры на Востоке, особенно Юстиниан в VII веке, предпринимали попытки вернуть западные области под имперские знамена, однако эти попытки только ослабили их позиции дома. На тот момент уже существовало слишком много самостоятельных сил, которые требовалось подчинить. Рим впал в ничтожество, и папы — главы католической церкви, — пребывая в изоляции в старой имперской столице, оказались вынуждены идти на поклон либо к византийским императорам, либо к местным готским королям. Римско-католическая церковь пережила империю, однако ее будущее находилось в чужих руках. Это будущее напрямую зависело от способностей ее предводителей наладить сотрудничество с новыми властителями Запада — чтобы построить в итоге универсальную цивилизацию, базирующуюся на мрачной, пессимистичной, вдохновенной и, самое главное, открытой для всякого человека концепции Августина.

Глава 6

РЕЛИГИЯ КАК ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Основание христианского Запада

Исторические периоды, от которых нам осталось меньше всего свидетельств, открыты для самых широких интерпретаций и дают настоящему больше всего возможностей навязать свое понимание прошлому. Столетия, отсчитывающие свое начало от крушения Западной Римской империи, давно вошли в историю под названием «темных веков» — термин, отражающий воззрения наших предшественников и служащий для предостережения тем, кто шел вслед за ними, — какой честлюбивый молодой историк захочет посвящать карьеру столь мрачному и малообещающему времени? Однако в последнее десятилетие в этой области произошел масштабный сдвиг. Период, теперь известный как поздняя античность или раннее Средневековье, стал предметом множества интересных и новаторских исследований, которые ставят под сомнение почти все принятые ранее допущения. Образ времени между закатом Римской империи и «пробуждением» позднесредневекового мира как столетий мрака и хаоса уже давно вызывал обоснованный скепсис, но за чрезвычайной скудостью сведений об этих столетиях нам было нечего предложить взамен. Только в последние несколько лет, опираясь на археологические и документальные свиде-

тельства, историки нашли возможность нарисовать новую картину этого принципиально важного периода в истории западной цивилизации.

В 400 году основная часть населения Европы жила мелкими общинами, связанными между собой сетью родственных отношений и разговаривавших на множестве языков и диалектов. Некоторые напрямую подчинялись Риму, другие были включены в систему экономического оборота, в которой главенствующую роль играли римские деньги. Пятью столетиями позже начала складываться география современной Западной Европы: установились национальные территории, как правило, объединенные по принципу общего языка, вместе с ними окончательно оформилась и вся церковная организация епархий и приходов, управлявшая верующими континента через тщательно проработанную систему предписаний, уложений и церковного права. К концу «темных веков» европейские монархи осуществляли свою власть при поддержке и с учетом мнения родовой аристократии, чей статус обеспечивался подконтрольными ей внутри королевств областями. Потенциальный конфликт между светской властью королей и духовной властью пап и епископов обернулся взаимовыгодным сотрудничеством, в рамках которого монарх получал церковный статус защитника веры, оставаясь при этом формально вдали от церковных дел. Крестьяне даже перешли на время в свободное состояние и смогли вести хозяйство, не сдерживаемое ни прежним жестоким налогообложением со стороны Рима (которое едва давало большинству сводить концы с концами), ни установившейся позже системой феодального землевладения.

Хотя фундаментальное строительство европейской цивилизации целиком протекало в так называемые «темные века», подробные свидетельства о том, почему оно приняло именно ту форму, которую приняло, досадно малочисленны. Вину за эту неясность мы можем частично возложить на процветание позднейших времен: средневековые строители сносили

саксонские и меровингские церкви, чтобы построить на их месте новые, а рост промышленных городов разрушил основную часть материального быта той эпохи (например, остатки обитателей в Уирмуте и Ярроу, связанных с именем Беды Достопочтенного, погребены под нынешним Тайнсайдом). Запутанная система «монашских тропок», каменных и колеяных дорог, как правило, скрывалась новым мощением в следующие века. Документальные источники редки и, что еще хуже, часто далеки от реальности — являясь преимущественно сочинениями монахов, жаждущих продемонстрировать торжество христианства над темными силами язычества или рассказать о спасении народа, произошедшем через принятие истинной веры. Тем не менее в последнее время появилось достаточно материала, позволившего историкам создать новый образ этой эпохи — образ, в котором попросту растворились многие из привычных исторических вех нашей цивилизации.

У расхожего представления о раннем Средневековье всегда была основополагающая идея, которая заключается в том, что единство является, или являлось, идеалом европейской цивилизации. Если Римская империя и Карл Великий обеспечили политическое единство континента, то католическая церковь и франкское завоевание, начиная примерно с 900 года н. э., дали единство духовное и культурное. Всякое отклонение от этих «идеальных» единств подразумевало хаос, анархию и разрушение. Хотя варварские нашествия после 400 года н. э. уничтожили объединяющие структуры римской цивилизации, христианству удалось сохранить себя в изолированных сообществах, и таким образом после 600 года н. э. миссионеры уже смогли отправиться в варварские земли Англии, северной Галлии, Нидерландов и Германии для обращения язычников в истинную веру. Родилась христианская культура, однако даже Карл Великий, выдающийся объединитель, не сумел надолго сковать единством континент, на котором заправляли варварские короли; как следствие, все пришло к тому, что на карте Европы возникли отдельные государства.

Нас учили, что падение Римской империи было вызвано массивным притоком варварских народов, который она отчасти сама же и поощряла. Но понятное пристрастие к впечатляющим жирным линиям на карте заставляет придавать «племенным» миграциям и вторжениям непомерно большое значение. Движение людей и культур наверняка было процессом постепенным — непрерывным дрейфом, порожденным нескончаемыми метаморфозами жизненного пространства. Одна из недавних гипотез гласит, что границы империи встали барьером на пути естественной человеческой миграции с востока на запад и позже с севера на юг. Эта миграция, связанная с климатическими изменениями и экстенсивным хозяйствованием, происходила на протяжении столетий, медленно перемещая малые людские группы с востока через всю карту Европы. Римское завоевание Галлии, западной Германии, Дакии, Британии и других окраинных провинций, установление постов таможенной службы и пограничной стражи остановило эту миграцию, что привело к скоплению населения во внешних областях. Именно это популяционное давление, а не слабость имперского центра, стало самым важным фактором подрыва римского влияния на окраинах. Эти внешние поселенцы не жили в отрыве от римского мира, они были включены в римскую торговую систему, кто-то перенимал культурные привычки римлян, их вожди входили в сношения с имперскими властями. Варваров звали воевать за империю и даже приглашали формировать собственные легионы внутри армии, компенсируя службу землей и деньгами — тем самым неявно признавая как потребность варваров в земле, так и наличие ее ресурсов у империи. Число варваров, находившихся на военной службе Риму, росло все быстрее, происходило размывание власти, а раздоры между группами вели не столько к коллапсу империи, сколько к утрате центральной инстанцией решающего значения.

Некое впечатление о нагнетавшемся внутри империи напряжении позволяет составить непростая история взаимоотношений между Аларихом и римскими властями. В конце

IV века Аларих, вождь вестготов, был приглашен Феодосием на службу в Западную империю, где ему поручили командование готскими частями имперской армии. Однако после смерти императора он откочевал на юг, в Грецию, и там получил предложение от восточного императора Аркадия за вознаграждение вторгнуться в Италию. После поражения от отрядов нового западного императора Гонория он вновь получил денежное предложение сменить союзника, но, так и не увидев обещанного золота, в 410 году захватил Рим и подверг его разграблению — к тому времени, правда, двор императора находился в Равенне, и Рим не представлял политического значения. И хотя взятие Рима стало рубежным и символическим событием, в целом варвары не преследовали цели разрушения империи — они пришли на юг в поисках земли и безопасности, а не для того, чтобы сеять насилие и хаос. Переселение народа, которое задним умом ощущается как поворотный эпизод истории, на самом деле было преимущественно мирным и постепенным.

Хотя в результате ослабления центральной власти Рима местные жители обрели больший контроль над своей территорией, это не было простой передачей власти из одних рук в другие. Все хозяйство Западной империи было самым тесным образом завязано на ее выживание. Разные провинции процветали в разное время и в разной степени, но общая экономическая система работала за счет циркуляции денег, добываемых через налогообложение с помощью армии и гражданской администрации и в свою очередь расходуемых на поддержание и строительство публичных зданий, приобретение продовольствия, снаряжения и прочих необходимых товаров. В этой системе местные жители удерживались в состоянии, близком к нищете — в их среде болезни и недоедание были широко распространенным явлением, — а значит, оказывались неспособны дать экономике что-либо кроме налогов. (На гораздо более урбанизированном Востоке дела обстояли совсем иначе.) Когда римская администрация исчезла, вся система немедленно рухнула, и именно эти события, а

не учиненные варварами разрушения, изменили социальную географию Западной Европы столь кардинальным образом.

Модель общественного развития после коллапса империи сформировалась, по крайней мере, в некоторых провинциях, еще во времена кризиса начала III века. Хотя порядок был восстановлен и IV век стал эпохой стабильности и процветания, особенно в западных провинциях Галлии и Британии, империя трансформировалась в более фрагментированное образование, как политически, так и культурно. В каждой области местный «патрон» (*patronus*) — правитель, номинально назначаемый Римом, — получил еще больше власти и самостоятельности. По мере того как контакты с Римом стали сходить на нет, он превращался в человека, который выступал посредником между гражданами и остальными подданными с одной стороны и законом и сборщиком налогов с другой. Патроны способствовали поддержанию стабильности, собирая деньги для имперской казны и рекрутов для имперской армии и одновременно держа под контролем граждан и крестьян. (Позднее этот порядок стал образцом также и для феодальной системы.)

В последние годы Западной империи местная структура потребностей и обычаев, местная властная иерархия стали важной альтернативой культуре контролирующего центра. Искусство и орнаменты на римских постройках III–IV веков демонстрируют едва заметные «туземные» вариации римского стиля, свидетельствующие о новой жизни местных традиций изобразительного искусства и зодчества. Состоятельные члены общества предпочитали строить роскошные поместья и дворцы в сельской местности или пригородах, нежели внутри городской черты. На этих виллах можно было найти прекрасные мозаики, мраморные стены, разгороженные занавесями галереи и, самое примечательное, банные помещения для личного, а не для публичного пользования — личное удовольствие ценилось выше, чем жизнь напоказ. Одним из парадоксальных эффектов такой региональной автономии яви-

лось то, что местные жители стали жить более по-римски. Большие возможности распоряжаться собственными делами привили средним классам Италии, Испании, Галлии и других регионов большую любовь к культуре империи. Они стали говорить на местных вариантах латыни — тем самым дав начало современным романским языкам, — а кельтский язык и культура пришли в забвение даже в сельской Галлии. Коренные обитатели строили себе загородные виллы, носили римскую одежду, скрепляемую римскими фибулами, и даже варвары южной Германии стали усваивать римские обычаи. Для этих самодостаточных провинциалов империя приобрела абстрактное качество, и теперь больше воплощалась в фигуре императора, нежели в самом Риме и его институтах.

В последние десятилетия империи ее культура трансформировалась и в другом ракурсе, демонстрируя возросшее влияние культуры христианской. Мозаики IV века из Остии, портового города в устье Тибра, отсылают к классическому искусству прошлого, но, вместе с тем, и к будущим средневековым живописным и скульптурным изображениям человека. На протяжении почти тысячелетия идеальная жизнь человеческого духа персонифицировалась фигурой ученого мужа классического периода, окруженного книгами и учениками и с интересом вглядывающегося в мир. В течение IV и V веков этот образ ушел в прошлое, и идеалом человека сделалась фигура христианского святого. У статуй, найденных в Остии, мы видим застывшие черты лица и возведенные глаза — они обращены внутрь, то есть в душу, и вверх, то есть в небеса. Отмерла и классическая идеализация человеческих пропорций: поскольку изображения святых и благочестивых людей писались ради вдохновения и духовного просветления, их создавали в субъективной и схематичной манере — человеческая плоть несла в себе порчу, поэтому художник сосредоточивался на передаче внутренней жизни посредством формальных техник и символов. Тем не менее развивающееся христианское искусство Средиземноморья, в отличие от большинства языческих религий, поме-

щало именно человека в центр творения. Хотя классическое и христианское искусство изображали человека каждое по-своему, и то и другое выделяли его в ряду всего сущего.

Разрушение объяввшей огромное пространство материальной и экономической структуры Западной империи привело к возникновению совсем другой Европы. Империя еще была чем-то вроде призрачного эха, однако римские города в основной массе уже опустели (за исключением тех, что функционировали как центры церковной жизни), и Запад превратился в территорию сельского хозяйства, державшегося исключительно на локальной инфраструктуре. Многие исследователи придавали серьезное значение этой дезурбанизации — население Рима, достигавшее когда-то максимума в 1 миллион человек, к VII веку сократилось до 20 тысяч, а треть итальянских городов обезлюдела полностью, — однако римские города создавались с целью, которая более не существовала. Для Европы было необходимо вернуться к доимперскому устройству, дабы заново отстроить процветание. При этом мы не должны видеть в восторжествовавшем регионализме или переходе к сельскому существованию приметы невежества и социального разложения. Хотя общеевропейский объем производства упал, сельская жизнь в раннем Средневековье имела свои преимущества: отсутствие вмешательства извне, крепкая и устойчивая система внутриобщинных отношений, гарантии от крупномасштабного голода, относительная безопасность. Легенда о живущей в мире и спокойствии империи, после смерти которой наступили века распрей и раздоров, не произвела бы никакого впечатления на жителей бесчисленных сельских поселений, которые были рады скинуть с себя политическое и налоговое бремя Рима.

Не считая правильным ставить знак равенства между распадом Западной империи и деградацией, некоторые историки последнего времени выдвигают теорию, согласно которой расцвет империи отмечался «интенсификацией» активности в определенных центрах, а закат — ее «понижением», или рассредоточением. Например, тогда как Рим терял свое влияние

и население, Константинополь превратился в крупнейший город Евразии. Культурная, экономическая и политическая жизнь на Западе перетекла из городов в сельскую местность, и по тому же пути пошло христианство — монастыри сделались центрами сельской, а не городской жизни, а короли и аристократия обитали преимущественно в охотничьих замках и загородных поместьях. Первые монастыри Западной Европы были основаны в 415 году близ Марсея, а в 540 году св. Бенедикт утвердил свод правил для крохотной общины, обосновавшейся в высокогорном Монте-Кассино. Кое-кто из основателей монастырей считал недостаточным просто жить в сельской среде — по их убеждению, подлинную близость к Богу можно было обрести только в самых безмятежных и максимально отдаленных уголках земли. Монастырские общины возникали на островах у ирландского побережья и постепенно на всех островах к западу от Шотландии, включая знаменитую общину Колумбы на острове Иона, после чего столь же изолированные общины рассеялись и по другим местам — например, на Линдисфарне, или Священном острове, неподалеку от северо-восточных берегов Англии. Монахи вовсе не спасались от языческих преследований, они просто желали провести жизнь где-то «посередине между небом и землей». Они приближались к Богу, погружаясь как можно глубже в мир природы — в этом сказывался их подлинно кельтский инстинкт.

Старые римские дороги, рассчитанные на интенсивное движение, дополнились сетью проселков, связывающих между собой множество не только мирских, но и христианских поселений. И хотя формально римская система коммуникаций ушла в прошлое, ее материальная составляющая по-прежнему обнимала собою весь континент. Транспортные сети обслуживали даже островные аббатства — движение в Ирландском море в VII и VIII веках было столь насыщенным, а поселения на его берегах столь многочисленны, что некоторые историки теперь называют этот регион Средиземноморьем Запада. В любом случае мы должны отбросить всякую

мысль о том, что христиане крайнего Запада были отрезаны от остального мира. Они безусловно верили, что Бог присутствует повсюду и что христианство можно исповедовать везде, где только сверху есть небеса, а снизу — преисподняя. Вселенский характер религии позволял заложить христианскую общину в любом месте, а желание поддерживать общение друг с другом и ощущать принадлежность к единой для всех вере означало, что одни и те же сочинения изучались на Ионе и в Антиохии, в Армаге и в Александрии.

Даже при римском владычестве около 90 процентов западноевропейцев проживали в сельской местности. Рассредоточение по территории Запада дало возможность христианству стать религией простого народа, однако в ходе подобной трансформации оно не могло не считаться с потребностями новой паствы. Этот бессознательный процесс трудно проследить с какой-либо ясностью, но существует достаточно свидетельств того, что христианство усвоило многие черты прежних языческих культур — кельтской и германской. Если восточное христианство, с его иудейской родословной и городской средой существования, было целиком поглощено человеком и его отношениями с Богом, то западная религия демонстрировала больше интереса к природному миру. Забота об урожае, «священные» растения и животные, приписывание осязаемых духовных свойств лесным чащобам, вместе с праздниками весны, летнего и зимнего солнцестояния и некоторыми конкретными верованиями, такими как представление о магических свойствах трехчастных предметов, — все это было постепенно вовлечено в орбиту христианства.

Если христианство в достаточной степени укоренилось на территории Римской империи и если дезинтеграция, сопровождавшая ее закат, не имела таких драматических последствий, как мы привыкли думать, то что на самом деле представлял собой второй ключевой элемент предания о «темных веках» — обращение варваров? Здесь традиционная фигура святого миссионера оказывается еще одной иллюзией, или,

выражаясь точнее, еще одним мифом. Для авторов вроде Беды Достопочтенного, писавшего почти столетие спустя, сюжеты о миссионерах-крестителях (в частности, ирландских святых Колумбе, Эйдане и Колумбане, а также присланном в Англию из Рима Августине), представавших перед воинственными королями, которые с недоуменным любопытством внимали их кротким, но убедительным речам о жизни Христа и апостолов, были существеннейшей частью христианской истории. Устная культура атлантических племен как нельзя более удачно подходила для создания подобных легенд, некоторые из них перекочевали и на страницы письменных сочинений. «Житие святого Колумбы» Адамнана и «Житие святого Патрика» Муирку, а также последовавшие за ними жития святых Колумбана, Бригитты и Кутберта возвели фигуру святого в ранг героя христианских преданий. Однако авторы этих сочинений недооценивали масштаб присутствия христианства в послеимперском пространстве. В каких-то областях сеть общин была представлена больше, в каких-то меньше, но в любом случае мало что (помимо воображения позднейших христианских писателей) вынуждает нас поверить образу языческих орд, сметающих на своем пути всех, кто не отступился от Христа. Действительно, присутствие империи на Западе сосредоточивалось в городах — поэтому когда городская жизнь сократилась, то же самое поначалу произошло и с христианскими общинами. Но ни готовность, с которой бритты на территории бывшей мирной зоны (то есть нынешней Англии) усвоили культуру саксонских пришельцев и которая, вполне вероятно, служит доказательством деградации их собственной культуры в период римского владычества, ни то, что вновь распространившаяся германская культура могла сперва являть собой неблагоприятную среду для христианства, не означает, что из Англии и Галлии христианство исчезло вовсе. Так, в послеимперской Галлии германские племена обнаружили уже устоявшуюся к тому времени систему епархий, в рамках которой лидеры церкви фактически выполняли функцию провинциальных властей.

Церковная организация, с которой столкнулись саксы в Англии, была не столь сильна, ей еще только предстояло найти свое место в новой культурной среде. Но и саксы на Британских островах, и франки и готы, которые оседали на землях Галлии, были хорошо знакомы с христианством как одним из влиятельных местных религиозных течений.

Беда рассказывает, как в 587 году на пути из Рима в Кент Августина и сопровождавших его «вдруг охватил ужас. Им захотелось вернуться домой вместо того, чтобы идти к варварскому, свирепому и недоверчивому народу, говорившему на непонятном для них языке». Однако благодаря раскопкам в таких местах, как Уэст-Хеслертон в восточном Йоркшире или Уэст-Стоу в Саффолке, мы знаем, что мир, в котором обитали язычники-англосаксы, был не более опасным и воинственным, чем любой другой. Они вели относительно спокойный образ жизни и имели вполне стабильные общественные структуры; их ценности были тесно связаны с окружающей природой, они обладали превосходными художественными навыками и глубокой и изощренной устной культурой. Некоторые англосаксонские вожди действительно могли быть враждебно настроены по отношению к христианским эмиссарам, поскольку видели в их деятельности угрозу своим ценностям — не будем забывать, что Августин был послан обращать англичан из Рима, города, символизирующего внешнюю власть и подчинение.

Если английская часть Британии усвоила германскую культуру саксонских пришельцев, то на западе острова и в Ирландии развивалось христианство, которое признавало Рим центром церкви при том, что сама эта территория никогда даже не входила в состав империи. Удивительным образом обитавшие здесь «атлантические» племена смогли принять новую религию — возможно, благодаря ее редкой гармонии с местными обычаями, — одновременно оставаясь неподвластными ни римскому, ни саксонскому влиянию.

Христианские общины, не сгинувшие вместе с римской администрацией, тем не менее очутились в мире, в котором

отсутствовал координирующий центр, и внутри церкви, которая утратила властную инстанцию. Представление о Риме продолжало жить в умах, и каждая община черпала силу из связи с этим почти мифическим городом, однако на столетия у христиан исчезло какое-либо ощущение, что церковь управляется и направляется из Рима. Легендарные трансальпийские путешествия миссионеров, а потом и пап, несмотря на символическое значение, которое они приобрели в дальнейшем, не сыграли практически никакой роли в жизни христианства севернее Италии. Постепенно, наощупь, христианские общины выстраивали собственные отношения с правителями европейского Севера и Запада. В частности, по мере того как каждое западное королевство возникало из объединения владетельной знати вокруг одного двора, христианские книжники, монахи, епископы и даже миряне становились для новых монархов привлекательными кандидатами на место в свите. Знаменитое обращение в 627 году нортумбрийского короля Эдвина у Беды описывается как результат долгого обсуждения достоинств новой религии между королем и его мудрыми советниками. На самом же деле жена Эдвина, сестра короля Кента, к тому времени уже была христианкой, и скорее всего то же самое касалось многих членов двора. Очень вероятно, что крещение Эдвина в Йорке, как и крещение Константина за три столетия до того, было признанием растущего влияния христианской религии среди подданных.

Еще раньше, в 496 году, состоялось обращение франкского короля Хлодвига — век спустя Григорий Турский изобразил это событие как великую победу католической церкви. Племя франков, занимавшее нынешнюю территорию северо-восточной Германии и стран Бенилюкса, в результате исчезновения имперских границ прирастило свои владения за счет северной Галлии. К концу V века под его контролем находилось большинство ключевых торговых маршрутов и плодороднейшие уголья северной Европы. На большей части тогдашней Галлии имперские наместники и епископы, несмотря на происходивший распад империи, как ни в чем не бывало

продолжали выполнять свои функции. Юг на какое-то время был оккупирован остготами, осевшими в нескольких областях и подчинившими себе несколько других; при этом, несмотря на исповедуемое ими арианство, о сколько-нибудь серьезных столкновениях на религиозной почве между ними и христианами-католиками нам не известно. Что касается франков, то они, по уверению Григория, якобы не знали христианства вообще — но это очень мало похоже на правду. Ремигий, епископ Реймса и правитель части Галлии, убедил Хлодвига, что королю будет весьма выгодно заручиться поддержкой местных христианских общин. Обращение явно склоняло на его сторону мнение простых людей в Галлии, к тому же от католических епископов он получал статус светского лидера христиан и церковную санкцию на «освобождение» паствы от «оккупантов»-ариан. По всей видимости, Хлодвиг счел для себя правильным принять главенствующую религию новых подданных, — его обращение стало таким же политически разумным шагом, как обращение Константина и Эдвина. Королевское крещение случилось на Рождество 500 года в Реймсе, и из его описания у Григория Турского мы видим, что церковь к тому времени была давно устоявшейся частью жизни: «На улицах развесили разноцветные полотнища, храм украсили белыми занавесями, баптистерий привели в порядок, разлили бальзам, ярко блестели и пылали благовонные свечи, и весь баптистерий наполнился божественным ароматом».

Эта яркая картина придает истории христианства романтический ореол, однако она отвлекает внимание от ощущения единой цели, которое все больше связывало христианские общины Запада, с одной стороны, и земельных магнатов, знать и монархов, с другой. Помимо заботы о политических нуждах, от религии ждали наставления и практических результатов — у верующих того времени христианство ассоциировалось не столько с прощением, сколько с авторитетным суждением и решением насущных вопросов. Вскоре христианские епископы уже могли приводить успех франков в дока-

зательство того, что Бог, если Ему подчиниться, оборонит от врагов любого вождя и дарует победу его войску. Кроме того, у христианства имелась в запасе такая чрезвычайно эффективная вещь как грамотность — наличие в свите умеющих читать и писать священников и епископов наделяло властителей дополнительным престижем как в глазах подданных, так и в глазах равных по статусу.

В отличие от предшествующей римской эпохи и последующего высокого Средневековья, ранние средние века за исключением монастырей почти не оставили после себя памятников зодчества. Однако сооружение каменных построек как символов могущества и покровительства не было стандартом тогдашней культуры — в ней доминировал обычай принесения даров. Одаривание церкви золотыми украшениями, чашами, ткаными гобеленами, книгами, священными реликвиями, даже поручение ее заботам своих сыновей связывало церковь и знать взаимовыгодными отношениями. При этом дарители, в благодарность получавшие благословение и устройство заупокойных служб по умершим родственникам, не чувствовали необходимости строить для церкви величественные каменные базилики или соборы. Благодаря подношениям, религиозные ордена могли расширить свою работу среди мирян, в частности, устраивать приюты и лечебницы, где больных просили молиться за души жертвователей.

Кроме того, что западное христианство вобрало в себя многие культурные традиции людей Запада, преобладающая неграмотность населения сделала средоточием укоренившейся религии не слова, а образ, зрелищность и обряд — форма поклонения вышла на первый план по сравнению с содержанием. Католическая служба превратилась в пышный спектакль; крест занял место конфессионального символа; слова богослужения и псалмов стали не проговариваться, а пропеваться; наконец широкое распространение получила икона — визуальное представление священных фигур. Чтение слов Христа сделалось не таким важным, как ощущение их смыс-

ла, разыгрываемого в драматической обстановке. Иконы, мощи и другие реликвии, наделенные чудотворными свойствами, заполняли средиземноморский и западный мир по мере того, как христианство все больше становилось магической религией, а епископы и священники — непосредственными представителями нового Божества в этом мире. Именно в этой атмосфере и создавалась мифология святых: для монастыря или аббатства связь с каким-либо святым была очень важным достоянием, повышавшим его духовное могущество и, следовательно, число и ценность приносимых даров.

Раннесредневековая церковь традиционно не избалована вниманием исследователей интеллектуальной истории. Находящееся в промежутке между деятельностью латинских отцов церкви IV и V веков — Иеронима, Амвросия, Августина — и философией высокого Средневековья — Абеляр, Аквинат, Оккам, — ее идейное наследие и вправду представляется чрезвычайно скудным. Однако неимоверно сложная задача, которую удалось решить церкви в этот период, носила прежде всего практический характер. Кроме приведения под знамена веры простого народа, знати и монархов Западной Европы, а также создания системы сотрудничества и взаимодействия между светским и духовным мирами, тогдашние христиане сумели шаг за шагом выработать сложный набор правил христианской жизни — совокупность того, что один историк назвал «прикладным христианством». Августин сделал достоянием всех свое умозрительное понимание христианской жизни, но что оно должно было означать на практике? Бенедикт, основатель аббатства в Монте-Кассино и отец западного монашества, написал «Монашеское правило», в середине VI века, а вскоре после этого Григорий Великий, бенедиктинский монах, ставший папой, обнародовал свое «Пастырское правило», предназначенное стать справочником для клира в делах духовных. Эти сочинения настраивали облеченных саном христиан в определенном ключе: живя по обязанности среди мирян и предлагая им духовное руководство, они не должны были позволить увлечь себя таким светским

соблазнам, как богатство и власть. Производными из этих правил также оказывались многочисленные конкретные советы и наставления: когда не является грехом убийство из самообороны в нарушение шестой заповеди; един ли по сути всякий грех или у него существуют градации; отличается ли грех от преступления и кому надлежит выносить решение о наказании; возможно ли лживыми средствами достичь благочестивых целей; является ли грехом дача денег в рост; как следует смотреть на изваяния Христа — как на идиолов или как на подспорье в молитве — и суждения еще по тысяче других практических вопросов. Учитывая мстительность христианского Бога, человеку было важно понимать, на какие правила поведения стоит опираться, чтобы избежать вечного проклятия.

Начиная с VIII века королевства Запада были втянуты в процесс слияния, в ходе которого стирались старые, прочерченные еще империей границы, а результирующее целое прирастало все новыми областями. Если Англия к тому времени состояла из шести королевств — Корнуолл, Уэссекс, Мерсия, Кент, Восточная Англия и Нортумбрия, — то на западе континента доминировало единое королевство франков, простиравшееся от Рейнской области до Атлантики и занимавшее всю территорию современной Франции за исключением Аквитании. Эта огромная область управлялась наследниками Хлодвига — Меровингами, — чье королевство представляло собой союз вождей кланов, обменивавших живую силу, которую они поставляли в королевское войско, на престиж и влияние. Поскольку в награду родовая знать получала земли, такая практика порождала потребность в новых завоеваниях и провоцировала дальнейшее ослабление центральной власти. Еще одной причиной постепенного размывания последней было то, что на смертном одре каждый Меровинг разделял свои владения между всеми живыми сыновьями. Результатом этих процессов было реальное рассредоточение власти внутри единого франкского королевства.

До VIII века политическая география Западной Европы оставалась текучей — короли распространяли влияние на



Материковая Европа в VIII веке

определенные территории, но часто региональные или локальные правители имели больше власти над своими областями, и даже они лишь номинально могли контролировать земли, средоточием жизни которых являлось деревенское натуральное хозяйство. Каждый монарх повелевал больше знатью, составлявшей его двор, нежели конкретной территорией или даже определенным народом — границы между владениями были нечеткими и часто не имели значения; точно так же дело обстояло с этническими различиями. Следует помнить, что когда мы говорим о франках, саксах или вестготах, то используем удобное обобщающее название, которое отсылает не столько к выделенной этнической группе, сколько к людям, жившим в такое-то время на такой-то территории. Великие границы Римской империи — по Рейну, по Адрианову валу и по Дунаю — ушли в небытие, и на их место пришло обычное свободное движение людей и товаров. Однако в VIII веке ситуация начала постепенно меняться, и конфликты, которые стали следствием этих изменений, дают более ясное представление об отношениях, установившихся между системой европейских королевств и латинской, или католической, церковью.

Из своей исконной области, исторических Нидерландов, Меровинги повелевали большей частью Западной Европы — но лишь номинально. Города, имения, округа, графства Запада имели каждое ту или иную степень автономии, и мало что связывало их с каким бы то ни было центром. В конце VIII века из сферы меровингского влияния выпал юго-запад Галлии. Другие земли, не подвластные франкам, находились восточнее долины Рейна и были населены фризами и саксами, а еще восточнее — поляками, литовцами, алеманнами и аварами. Границы между всеми этими народами практически отсутствовали, а их взаимоотношения подерживались непрерывными торговыми и миграционными потоками. Однако фризы и саксы отличались от своих соседей-франков — во-первых, тем, что так и не приняли христианство, во-вторых, особым общественно-политическим устройством, сложив-



Империя Карла Великого и ее распад

шимся как следствие проживания этих племен в окоме Северного моря, на его островах и вдоль впадающих в него рек (см. главу 1). Начиная с V века, а может быть, и раньше, отряды саксов и фризов пересекали море, чтобы осесть в прибрежных районах на востоке Англии, тем самым включая их в бурно развивающуюся систему торгового обмена. Поселения на Узе, Хамбере и Темзе были завязаны друг на друга и на такие же поселения на Эмсе, Везере и Эльбе: самые удаленные из них разделяло максимум несколько дней плавания, и для обитателей Нортумбрии и Восточной Англии регион Фризии и северной Саксонии, из которого речные пути шли в глубь континента, являлся настоящими воротами в Европу. В VIII веке Саксония по-прежнему управлялась собранием родовитых вождей, которые избирали верховного главу лишь на период войны и в отличие от франкских королей продолжали держаться своих древних религиозных обычаев. При этом саксы сумели нажить немалые богатства на торговле через Фризию — их земледельцы и купцы были не беднее любого франкского аристократа, а порты на Северном море и впадающих реках превосходили франкские города и размерами, и экономической активностью. Процветание этих племен, с их язычеством и отсутствием единоначалия, идет вразрез с позднейшей верой европейцев в то, что цивилизация пришла к ним исключительно с христианством и франкскими королями.

Вскоре после 700 года власть у династии Меровингов перехватило семейство, представители которого служили у королей майордомами. Карл Мартелл, глава семейства, убедил аристократию двух наиболее важных франкских областей, Нейстрии и Австразии (занимавших территорию северной Франции и Бельгии и север Рейнской области), что объединение усилий позволит добиться большей власти и богатства. В тот момент из-за неконцентрированного, локального характера европейской торговли и диффузии власти, наступившей после ухода римской администрации, аристократия обладала лишь ограниченным контролем над собственными землями. Ее позиция не позволяла серьезно вмешиваться в жизнь

оберегавшего свой фактический свободный статус торгового и крестьянского люда и, что еще важнее, облагать его податями. Карл Мартелл изменил такое положение дел, превратив аристократию в грозную армию, которая с готовностью использовала силу для устрашения и подчинения народа своего и соседних государств. И если за пять последующих столетий, как мы увидим, под франкский контроль перешла большая часть Европы, то первыми непосредственный эффект возвышения Мартелла ощутили на себе жители самого королевства и прилегающих территорий.

При Карле Мартелле землевладельцы, включая церковь, начали облагать все большим бременем крестьян-земледельцев, выстраивая и закрепляя систему «сеньориальных» и феодальных обязательств. В результате этого возник особый тип общества, в котором повинность перед господином и обладание землей находились в прямой зависимости от военной и политической власти. Крестьянство было прикреплено к земле и служило суверену, который в свою очередь служил королю. Поскольку плодородные почвы Нейстрии и Австразии производили достаточно излишков урожая, франкская аристократия довольно быстро превратилась в чрезвычайно состоятельное сословие.

Успех новой системы заставил франкские власти обратить внимание на чужие территории. Подчинив себе почти всю южную Галлию после победы над арабским войском у Пуатье, Карл нацелился на восток. Несмотря на то, что пограничные земли между Австразией и Саксонией перешли вскоре под франкский контроль, сама Саксония оказала серьезное сопротивление захвату. Так, впервые после Римской империи, в Европе возникла ясно очерченная граница: на западе были владения франков с восторжествовавшей централизованной системой государственной службы, налогообложения и принуждения, во главе которой стояли люди исповедовавшие христианство и обученные читать и писать; на востоке лежали земли фризов и саксов с их слабо иерархизированным обществом земледельцев, торговцев и региональных вождей и

устной языческой культурой. Линия, разделяющая цивилизацию и варваров, установилась вновь после трехсотлетнего отсутствия. Для нас, изучающих прошлое, чрезвычайно важно, что все летописцы находились по одну сторону этой линии — чтобы попасть в анналы, в ту пору было необходимо оказаться цивилизованным христианином-франком.

После смерти Карла Мартелла, который так и остался пожизненным «управляющим королевского дворца», франкская знать и высшее духовенство избрали королем его сына Пипина, а в 751 году попросили папской санкции на то, чтобы заменить одного христианского короля другим. Это была необычная просьба, поскольку римские папы, несмотря на номинальное главенство в церкви, практически не играли роли в западноевропейских делах. Вернувшийся из Византии с отказом простить долги тогдашний папа Стефан II стоял перед перспективой финансового банкротства римской церкви. Сам город Рим, являя лишь бледную тень бывшего «августовского» величия, производил тем не менее довольно впечатляющее зрелище. Ирландские, английские и франкские христиане, совершавшие паломничество в Вечный город, не обманывались в своих ожиданиях увидеть грандиозные руины. Огромные храмы ютились среди призраков прошлого — имперских стен, площадей и дорог, — и в центре этой картины находился папский двор, обнищавший, но не отказавшийся от приличествующего высокому статусу великолепия. Как бы в довершение римских бед, византийцы, занятые отражением арабов на Востоке, не смогли удержать своих владений в северной Италии перед натиском лангобардов, тем самым оставив Рим в окружении враждебных сил.

В 753 году папа Стефан II отправился из Рима на север, чтобы встретиться в Павии с королем лангобардов Астульфом. Когда его просьба об освобождении от непосильной подати и признании римского главенства ломбардской церковью была отклонена, он совершил свое историческое путешествие через Альпы, навстречу новоизбранному франкскому королю Пипину. Впервые глава римской церкви пересекал Альпы и

впервые искал союзников не в Средиземноморье, а на севере. Как выяснилось, его усилия стоили труда. Новые лидеры франкской державы не получали никакого стратегического выигрыша от присутствия папы, однако у Пипина имелась грандиозная мечта о христианской империи, которая управлялась бы членами его семьи с благословения Божьего наместника на земле. Папе Стефану, отвергнутому византийцами и лангобардами, на сей раз сопутствовала удача, и благодаря его усердию трансальпийское путешествие стало символическим актом смещения политического центра тяжести Европы из Средиземноморья на запад и север.

Пипин, помазанный Стефаном в король в намеренное подражание ветхозаветному обряду, в ответ изгнал Астульфа и его приспешников из Италии. Франки сумели передать папе обширную область в центральной Италии, включая византийский анклав с центром в Равенне, — что положило конец византийскому влиянию на Западе. Папа, благодаря союзу, заключенному между Стефаном и Пипином, отныне становился полновластным хозяином собственной территории и неоспоримым главой западной католической церкви. Захваченные в Ломбардии сокровища и земли были поделены между предводителями франкского войска, солидная доля также досталась римским иерархам.

Союз между папством и франкским двором оказал глубокое влияние на деятельность сына и наследника Пипина, который вошел в историю под именем Карла Великого. Правивший 46 лет, начиная с 768 года, Карл сделал делом своей жизни покорение соседних стран и обращение их в католическое христианство «железным языком». В 772 году он вторгся в Саксонию — теми же дорогами, что восемью веками раньше Август, и столкнулся с таким же сопротивлением. Его войска уничтожали саксонские святилища, но разгромить саксов, учитывая их многоначалие, было почти невозможно. Несколько визитов в Рим, которые совершил Карл, лишь распалили его амбиции как строителя империи и преисполнили ощущением эпического, ничем не сдерживаемого могуще-

ства. Кампания против саксов принимала все более ожесточенный характер по мере того, как целые деревни сгонялись со своих мест, а крепости на холмах осаждались и уничтожались. Часть саксонской знати в надежде на обретение большей власти над собственными крестьянами переходила на сторону завоевателей и отдавала свои земли без боя; в 782 году близ Вердена на Адлере по приказу Карла Великого были обезглавлены 4,5 тысячи саксонских пленников.

По условиям итогового договора о мире, как свидетельствовал секретарь и биограф Карла Эйнхард, «саксы, отвергнув почитание демонов и оставив отеческие обряды, принимали таинства христианской веры и религии и, объединившись с франками, составляли с ними единый народ». Те же самые условия навязывались и большинству других западноевропейских народов, по мере того как Карл Великий, продвигаясь на восток по континенту, покорял исконные земли германских племен, достигнув в конечном счете аварского каганата на территории нынешней Венгрии и оттеснив арабские армии в Испании до реки Эбро. Местные религиозные традиции, языческие и христианские, попадали под запрет и любое отступление от католической веры сурово наказывалось — как говорилось в выпущенном Карлом Саксонском капитулярии, «кто из племени саксонского будет впредь уклоняться от крещения, не явится для совершения над ним этого таинства, желая оставаться в языческой вере, — будет казнен смертью... Подлежит смертной казни всякий, кто нарушит верность государю королю».

На своем пике королевство Карла Великого охватывало территорию от Пиренеев до Одера и от Северного моря до Рима. Западная Европа, за исключением Британии и Иберии, превратилась в государство с единым правителем и четко очерченными по всему периметру границами. Карл придерживался строго франкских представлений о внутреннем устройстве этого нового политического образования. Во времена его деда ко двору франкского короля прибывали мона-

хи из Ирландии и Англии, стремлением которых было нести проповедь христианства язычникам Фризии и Саксонии, — и «апостол фризов» святой Виллиборд, и «апостол Германии» святой Бонифаций следовали традиции так называемых странствующих проповедников, или *peregrino*. Однако завоевания Карла Великого и суровое насаждение христианства изменили характер деятельности церкви. Вместо обращения силой проповеди ее посланцы отныне были призваны обучать и «исправлять» население, блюсти его в неукоснительной верности католичеству. При этом процесс вдохновлялся не только диктатом высших властей, но и повсеместным представлением верующих о Божественной каре, ожидающей человечество за грехи, — к искоренению которых, стало быть, следовало прилагать любые доступные усилия.

Карл Великий и сам чувствовал необходимость в наставлении, для чего вновь обратил свой взор на знаменитую к тому времени школу христианских книжников из северо-восточной Англии. Алкуин из Йорка, наследник ученой репутации Беды, отправился в Аахен, где располагался новый дворцовый комплекс короля — возведенный, что характерно, в изначально сельской местности, — чтобы стать духовным советником Карла. Помимо того, что подданных Карла следовало научить правильной христианской жизни, им также надлежало быть послушными франками. Покорность Господу Богу приводилась в соответствие с покорностью, верностью и почитанием по отношению к светскому господину. У себя при дворе Карл мастерски сочетал атмосферу исключительной преданности нижестоящих с системой формально дружеских отношений — модель, далее воспроизводившаяся его аристократами. При этом столь строго иерархизированное франкское общество безжалостно подавляло любую попытку формирования организаций по общинному принципу — к примеру, гильдий или братств. Распространение письменности в административных делах, как в античной Греции и Риме, позволило властям широко применять

кодифицированные законы. Римское право вновь начало действовать либо наряду с обычным правом местных общин, либо взамен оно.

На Рождество 800 года папа Лев III провозгласил Карла Великого цезарем, или императором. Этот акт являлся уже не столько помазанием преклонившего голову короля, сколько отчаянной попыткой понтифика завоевать благосклонность самого могущественного человека Европы и обрести некоторое влияние на судьбы христианского мира. Несмотря на полувековой давности старания папы Стефана, теперь западное христианство целиком и полностью находилось в руках северян — самого Карла в первую очередь, а также группы книжников, которых он в данный момент желал видеть у себя при дворе, — и новому папе требовалось проникнуть в этот закрытый круг. Занятые непосредственным руководством духовной жизнью франкского королевства, ученые монахи в Аахене также способствовали созданию мифической истории западного христианства, кульминацией которой стала фигура Карла Великого. Это было совершенно понятно — аахенский двор нуждался в собственном «цивилизационном сюжете», который объяснял бы его уникальное место в истории. В частности, Алкуин, которому было известно о нападениях викингов на берега его родины, рассматривал их как знак того, что Бог рассержен людскими делами. Эйнхард, прижизненный биограф Карла, считал, что огромная власть была дарована королю именно для того, чтобы тот привел всех верующих к повиновению.

Вслед за Бедой, эти авторы изображали прошлое и окружающий мир как царство языческой тьмы. В их сочинениях меровингская эпоха представляла веком варварства и невежества, что в дальнейшем способствовало возникновению представления о VIII веке как о периоде «каролингского ренессанса». Разумеется, и то и другое являлись лишь пародией на правду, однако такой образ возвышал франков в собственных глазах и давал оправдание крайней жестокости, с которой велись завоевания. Даже так называемые каролингские

минускулы, строчный римский алфавит якобы аахенского происхождения, на самом деле вышли из-под руки поколений писцов, трудившихся при дворах «варварских» королей, тогда как действительное порождение каролингской эпохи — «правильная» латынь, насаждаемая Алкуином и другими (уроженцами региона, где разговорная латынь вышла из употребления столетия назад), явилась лишь новым барьером между интеллектуальной и обыденной жизнью того времени. Жители Франкии, или Франции (а также Италии и Испании), в начале IX века предполагали, что говорят на латинском языке, унаследованном от римлян. Однако эта латынь представляла собой раннюю форму французского, которая была непонятна латинским книжникам — Алкуин видел в ней варварское наречие. Как следствие, церковная латынь превратилась в язык, на котором не говорил простой народ, но который стал универсальным средством общения образованной элиты и декретированным языком католической литургии — языком, на котором человек должен был разговаривать с Богом.

В то время как Карл Великий желал придать стране христиан форму священной империи, монашество и духовенство начинали задумываться о необходимых церкви политических структурах. Вдохновляемая Августином, который со страниц трактата «О граде Божием» наставлял верующих не ограничивать себя жизнью в порочном мире, но брать на себя разъяснение того, как этот мир должен быть управляем, церковь нацелилась на учреждение государства, которое руководствовалось бы христианской доктриной, — отвечая стремлениям Карла восстановить величие Римской империи через объединение святейшего престола со своей северной державой. Могущество и амбиции Карла Великого, сумевшего включить римскую церковь в орбиту западноевропейского, а не средиземноморского исторического развития, определили курс этого развития на следующие 500 лет. Усилиями Карла была создана модель государства, которой стремились подражать многие, — христианская империя, управляемая двором, где ценились благочестие и ученость, и обращавшая или

подчинявшая силой языческие племена, населявшие его границы. Ценой такого государства оказалось подавление всякого разнообразия и наделение церкви все возрастающим влиянием в вопросах политики и образования. Карл Великий, новый создатель католической империи, поставил религию в центр государственных дел — однако одновременно поставил государство в центр дел церковных.

Правление Карла Великого знаменовало конец первой фазы средних веков, а его империи не была суждена долгая жизнь. В 843 году сын Карла Людовик Благочестивый разделил ее между тремя собственными сыновьями, в результате чего франки образовали три новых королевства: западное (французское), восточное (германское) и срединное. Дополнительным фактором, усугублявшим и без того непростую обстановку, вызванную последовавшими за этим усобицами, явились участвовавшие нападения северных разбойников из Скандинавии — викингов — и набеги венгерских и славянских племен. Однако мощь германской составляющей бывшей франкской державы была заново укреплена Оттоном I, королем германцев с 936 года, получившим титул императора в 962 году и остававшимся на троне до смерти в 973 году. Войска Оттона покончили с угрозой венгерских вторжений, оттеснили славян обратно к Балканам и захватили большую часть Италии — германский (немецкий) народ сделался ведущей силой в центральной Европе. К 1000 году ранее промышлявшие разбоем скандинавы оказались уже полностью интегрированными в христианскую западноевропейскую культуру.

Источником могущества франков являлась широкая полоса плодородной пахотной земли, охватывавшая Нормандию, Шампань, Савойю, Фландрию, Брабант, Бургундию, Рейнскую область, Швабию и Баварию. В позднее Средневековье землевладельческим семьям этого региона предстояло стать хозяевами Европы. Хотя мы привыкли воспринимать средние века как период стагнации для Европы, которая смогла шагнуть в современность лишь благодаря импульсу еще

не наступившего тогда итальянского Возрождения, фундамент процветания был уже заложен к 1000 году, и последующие 300 лет этот фундамент развивал и подпитывал экспансионистские устремления европейской аристократии во главе с прославленными франкскими родами — Жуанвилями, Гранменилями, Жискарами и т. д. Обширные сеньории и бенефиции приносили поступления от налогов и торговли, а с дальнейшим развитием торговли и производства — еще и доходы с продажи товаров в города. Однако ключевым источником богатства оставалась земля, а земли в пределах исконных франкских территорий имелось лишь столько, сколько имелось.

Землевладельцы были рыцарями при императорском дворе, и владения приходили к ним либо по наследству, либо в награду за военную службу. Франкские рыцари приобретали стальные латы и оружие, которые были не по карману их менее состоятельным противникам, и формировали отряды тяжелой кавалерии, в которых и всадники и лошади были покрыты непроницаемой броней доспехов. На протяжении 300 лет, примерно с 930 по 1250 год, эти воины не знали поражений. Захватив контроль над Францией и западной Германией, они прошли по всей Европе, покорив и в той или иной степени заселив Англию, части Уэльса и Ирландии, Сицилию, Грецию, южную Италию, Богемию, Моравию, Эстонию, Финляндию, Австрию, Венгрию, Силезию, Кастилию и Арагон. Норманнское завоевание 1066 года воспринимается англичанами как событие чрезвычайной исторической важности, однако оно было лишь фрагментом гораздо более масштабной картины норманно-франкской экспансии (норманны — скандинавское племя, обосновавшееся на севере Франции и вскоре интегрировавшееся во франкскую систему). Иногда франки воювали против язычников, иногда против арабов, а иногда и против своих братьев по вере. К 1300 году франкская знать посредством захватов, выгодных браков и колонизации добилась имущественного и политического господства практически в каждом королевстве Европы. Франки брали жен из

верхушки местного общества, а их потомки становились ядром национальных аристократий Европы.

Вместе с католическим христианством франки несли с собой высокоразвитую систему феодализма, которую неизменно насаждали в обществах, до этого существовавших на совсем других основаниях. И если во Франции феодализм явился плодом постепенного усиления аристократической власти, то в покоренных странах, к примеру в Англии, он безжалостно навязывался местному населению во исполнение соглашений, заключенных между монархами и их рыцарями еще до начала кампании. После 1066 года Вильгельм I раздавал норманнской знати епархии, герцогства и поместья в награду за военную службу и в подтверждение феодальных обязательств, установившихся в прошлом. Так называемая «Книга Страшного суда», которая зафиксировала главных землевладельцев в каждом английском графстве после завоевания, перечисляет исключительно норманнские имена. Эти заново пожалованные владения ознаменовали перелом в системе европейского землеустройства, выводя на первый план крупномасштабные землевладения за счет маргинализации мелких самостоятельных хозяйств. Наследственный домен, состоящий из одного или нескольких поместий, достаточно крупных, чтобы обеспечить господина продовольствием в неурожайный год и защитить его границы от посягательств извне, стал эталонной социальной единицей франкской Европы.

Локальные обычаи, по крайней мере, кое-где, сумели сохраниться в условиях феодальной системы. Жители деревни Лэкстон в Ноттингемшире до сих пор устраивают ежегодные общинные собрания — суды, — на которых решаются вопросы о межевании границ и распределении наделов на следующий год. Такие собрания часто называют феодальными судами, однако на самом деле они представляют собой пережиток еще дофеодальной англосаксонской системы. После завоевания сельские общинники продолжали выбирать себе

старост, или управляющих, а господа попросту оставляли внутренние дела на их усмотрение.

Центральной административной фигурой франкской Европы становится должностное лицо, называвшееся графом. Позиция графа во многом соответствовала позиции патрона в эпоху поздней Римской империи — это был местный родовитый помещик или назначенный правитель, который собирал налоги от своего лица и от имени сюзерена, председательствовал по несколько раз в году в суде графства и предводительствовал местным ополчением в ходе военных кампаний. Через графов и другую владетельную знать военный и гражданский элемент общества все теснее переплетались между собой, а королевские полководцы в конечном счете становились гражданскими администраторами Западной Европы.

Слияние военных и гражданских функций являлось фундаментальным принципом феодального общества. Сложная система бенефиций, соглашений, пожалований, хартий, договоров создавала взаимозависимость не только между крепостным и его господином, но и между бесправным рабом и высокопоставленным придворным, включая самого короля. Договоры пронизывали каждый слой общества, вовлекая все население в сеть правовых, политических, социальных, военных и экономических отношений. Законы, издаваемые в новозавоеванных странах, в том числе в Англии, гласили, что отныне вся отцовская земля должна переходить только к старшему наследнику, — это немедленно привело к возникновению феномена безземельных младших сыновей. Помимо того, что отсутствие имения понижало статус такого человека, ни одной дочери благородных родителей не позволили бы выйти замуж за дворянина без земли. Единственной социальной реакцией на такое положение дел могли стать только новые завоевания.

Наиболее серьезное сопротивление непрерывной экспансии католической церкви и франкской аристократии оказало исламское население восточного Средиземноморья. VIII век

стал свидетелем стремительного распространения новой культурной силы, следовавшей за победами арабского оружия, — войско халифов, пройдя по всему Аравийскому полуострову, в небывало короткие сроки захватило большинство территорий восточного Средиземноморья. Взяв в 635 году Дамаск, в 638 году Иерусалим и в 646 году Александрию, арабы повернули на восток, где пополнили список покоренных городов: в 656 году была взята Басра, в 669 году — Кабул и в 710 году — Самарканд. Столь же стремительно они продвигались и по Северной Африке, оккупируя византийские города, в свое время отвоеванные Юстинианом у вандалов, и окончив поход высадкой в 711 году в Испании. К 730 году арабы захватили весь Пиренейский полуостров, дойдя на севере до Пуатье. В течение того же периода арабские отряды пересекли Малую Азию и в 673 году подобралась к стенам Константинополя. Город выдержал пятилетнюю осаду, в 717–718 годах был осажден вновь и снова выстоял.

Арабо-мусульманская экспансия оказалась катастрофой для восточной церкви. Христианство являлось главенствующей религией в Сирии, Персии, Египте и Палестине на протяжении столетий и распространяло свое влияние даже на часть Аравии. Когда все пошло прахом, Византия сжалась до размеров города с прилегающими областями, которые были окружены кольцом враждебных сил. Она оказалась в «блестящей изоляции», в которой и просуществовала еще 700 лет.

Халифы арабо-мусульманского мира утвердили свой двор в Дамаске в конце VII века, однако в середине VIII века персидские мусульмане подняли восстание против дамаскского халифата Омейядов и основали новый, Аббасидский халифат, которому было суждено стоять во главе исламского мира следующие 500 лет. Аббасиды оставили Дамаск и сделали своей столицей новопостроенный город Багдад. И хотя в Багдаде правили арабские династии, империя вновь стала областью персидского преобладания. Гарун Ар-Рашид, ставший халифом в 786 году, и его наследники отвернулись от восточного Средиземноморья, поставив во главу угла древние интересы

в Месопотамии и Персии. Торговля с Китаем, осуществлявшаяся через Персидский залив и Шелковый путь, имела для халифата первостепенное значение, и хотя Карл Великий посылал Гаруну Ар-Рашиду дары, а путешественники возвращались к багдадскому двору с рассказами о баснословной роскоши франкских королей, персы и арабы не чувствовали потребности идти в Европу. Великие портовые города восточного Средиземноморья — Эфес, Антиохия, Библ, Сидон, Тир, Кесария, Яффа и Газа — столь долго остававшиеся перекрестком евразийской ойкумены, переживали медленный закат. Византийские неприступные стены спасли Европу от арабского нашествия, но обратной стороной этого процесса явилась изолированность от Востока — более чем тысячелетнего источника идей в культурной, политической, мифологической и технологической сферах. Европа всегда являлась восприимчивой неистощимого разнообразия новаций, рождавшихся из контактов и взаимодействия народов Ближнего Востока, но после 750 года эта сокровищница была закрыта.

Хотя крестовые походы, начавшиеся в 1095 году и закончившиеся в 1205-м, позиционировались римским престолом как священная война с неверными, они вполне вписывались в общую модель католико-франкской экспансии. На пути в Святую Землю младшие сыновья аристократов-северян основывали поместья по всему христианскому Средиземноморью — надеясь на такие же поместья в Сирии и Палестине. Но сарацины оказались совсем иным противником по сравнению с теми, к каким привыкли северные рыцари, и их оборонительные действия были гораздо более изоциренными. В восточном Средиземноморье каменные замки и защитные стены использовались уже тысячелетиями, тактика осады была разработана до совершенства, а кавалерия представляла собой обязательную часть любой армии. Также, поскольку местное население не проявляло желания обращаться в католичество, завоевание потребовало бы изгнания огромной массы людей — условие, реализовать которое не было под силу никому. Сумевшее отчасти утвердиться на

территории Леванта, латинское христианство так и не стало силой, которая заставила бы считаться с собой другие региональные державы.

Неудача крестовых походов определила восточные рубежи Европы, однако само это предприятие стало определяющим фактором для Европы и в другом смысле. Восточное христианство подчеркнуто отказывалось признать первенство Рима со времен великих споров V века, и новые разногласия по вопросу употребления квасного хлеба в таинстве причастия еще больше отдаляли две церкви друг от друга. Утратив зависимость от могущественной Восточной империи, западная церковь и ее союзники стали свысока смотреть на восточных христиан. Пока греческие и римские иерархи соперничали за новообращенных язычников Восточной Европы, норманнские рыцари изгоняли византийцев из их последних западных оплотов в южной Италии и на Сицилии. По мере ослабления Византийской империи и обретения западноевропейцами все большей уверенности, латинская церковь перерастала свою греческую сестру и давнишнюю покровительницу. Это обострение отношений достигло пика в 1204 году, когда крестоносцы, оказавшиеся на Востоке с санкции Рима, вмешались во внутренний династический конфликт и на какое-то время захватили Константинополь. Устроив разгром города с мародерством и кровопролитием, они выбрали одного из своих, графа Бодуэна Фландрского, и посадили его на императорский трон. На тот момент греческая церковь рассматривалась как противник западного католического христианства, и хотя грекам позже удалось отвоевать город, раскол между двумя церквями закрепился окончательно.

Не менее важно, что в результате крестовых походов религиозная идентичность западноевропейцев стала мыслиться как единое целое с расовой принадлежностью. В XII веке как в европейских, так и в мусульманских сочинениях начинают появляться выражения «христианский народ» и «христианская раса». Отряды крестоносцев, представлявшие собой мно-

гоязычную и многонациональную смесь (правда, неизменно возглавляемые потомками франкской аристократии), стали осознавать себя как людей, единых по крови и религии.

Политический авторитет и социальный статус западной аристократии опирались на постоянные завоевательные кампании. Но это были не те полководцы, что стоят на холме и бросают войска в сражение с неприятелем, — облаченные в боевые доспехи, они сами возглавляли атаку, веря в военную доблесть и воспринимая драку как дело личной, родовой и племенной чести. В состав локальных сообществ франки приносили собственную культуру. Именно поэтому во всей Западной и Центральной Европе дети даже самых низших классов получали франкские имена — саксонские Этельреды и Альфреды вытеснялись Вильгельмами (Уильям, Гийом), Генрихами (Генри, Анри) и Робертами (Робер).

Постоянная наступательная война пришельцев с Запада была чуждым понятием для некоторых народов, которым приходилось с ними сталкиваться. Как греки бились за свободу, а римляне — за цивилизацию, готовые к убийству и к смерти за общее дело, воины средневекового Запада сражались за Христа. Жители восточного Средиземноморья следили за ними не без тревоги — в их глазах отряды крестоносцев, проходившие через Византию, даже до катастрофы 1204 года представляли полчищем алчных авантюристов, которым приносили удовлетворение только сама война или ее трофеи. Франки превосходно умели использовать силу для устрашения местного населения, и, когда встречали организованный отпор или стихийное восстание, они, подобно Вильгельму на севере Англии, попросту топили его в крови. Во все уголки Европы они принесли с собой культ воителя. Безжалостные, но честолюбивые, скупые, но верные своему роду, ненасытные, но богобоязненные — таковы были характеристики новых хозяев Европы, к которым добавлялись постоянное культивирование идеи войны и социальная структура, отражавшая потребности милитаризованного общества.

Наследники Карла Великого не сумели удержать объединенную христианскую империю в Западной Европе от распада, и это не могло не представлять серьезную проблему для римской церкви, которая столь тесно связала себя с делом Каролингов. Как бы то ни было, время франкского владычества позволило папскому Риму утвердиться посреди политически раздробленной Европы в качестве вселенской духовной державы — стать единственным голосом, вещающим от имени христианского мира. Однако и за это право им пришлось как следует побороться. К XI веку для авторитета церкви создались неблагоприятные условия по причине окончательного оформления феодальной системы, в рамках которой знать и короли стали все чаще позволять себе назначать епископов и священников. Реакцией папы Григория VII стал *Dictatus Papae*, или «Папский диктат», в котором провозглашалось главенство церкви во всех вопросах, как религиозных, так и светских. Хотя диктат Григория состоял из положений давно сложившейся системы церковного права, никогда до этого они не применялись для столь явно политических целей. 27 папских статей среди прочего гласили:

Только римская церковь основана самим Господом.

Только римский папа вправе называться вселенским.

Одному папе принадлежит право назначения и смещения епископов.

Один папа может носить императорские регалии.

Все князья должны целовать ноги папы.

Во всем мире лишь он удостоен имени папы.

Папа вправе низлагать императоров.

Римская церковь еще никогда не ошибалась, она, согласно свидетельству Писания, вечно будет непогрешима.

Григорию скоро представился случай употребить власть, которую он провозгласил за собой. В 1070-х годах император Священной Римской империи Генрих IV покорил земли северной Италии и вступил в конфликт с Григорием по вопросу об

их юрисдикции. Когда Генрих объявил Григория низложенным, в ответ папа отлучил императора от церкви: «Освобождаю всякого христианина от бремени любой присяги, которую он принес или принесет ему, и воспрещаю всякому служить ему как королю». Этот экстраординарный поступок привел к одному из самых знаменательных событий в долгой истории взаимоотношений императоров и церкви. В 1077 году Генрих отправился на церковный собор в Каноссе, чтобы заново быть допущенным к святому причастию. Вот как описывал случившееся сам Григорий: «Придя туда, он [Генрих] в жалком виде, сбросив все королевские одеяния, босой и облаченный в шерстяное рубище, оставался стоять перед городскими воротами три дня... Наконец, побежденные искренностью его раскаяния... [мы] приняли его обратно к благодати причастия и в объятья Святой Матери Церкви».

Тем не менее примирение продлилось недолго, и Генрих вновь заслужил отречение, объявив папу «лживым монахом» и усомнившись в его праве представлять Бога на земле: «Как будто королевство и империя в твоих, а не Божьих руках!» Император пошел маршем на Рим, где низложил Григория силой и поставил на его место своего фаворита. Результатом явилась гражданская война в Германии, а обоим ее зачинщикам, папе и Генриху, было суждено умереть в изгнании. Хотя после такой катастрофы папство стало избегать конфронтации, отдавая предпочтение тайному давлению и дипломатии, напряженность в отношениях между духовными и светскими вождями не иссякала на протяжении всех средних веков. С одной стороны, императоры и короли были уязвимы для обличений со стороны клириков, с другой — папа мог быть в любой момент насильственно лишен своего престола: в то же время, действуя наравне с мирскими властями и вмешиваясь в политику королей, церковь рисковала потерять авторитет у паствы.

Столетиями обитатели европейского Севера видели в римском понтифике далекую, почти легендарную фигуру. Однако начиная с X века церковная литургия, законы, доктрина,

назначения на духовные должности диктовались единой организацией, подчиненной центру в Риме. Любые различия в обрядах искоренялись: испанский мозарабский обряд прекратил существование в XI веке, славянские ритуалы запрещались на тех территориях Востока, где была возможность насадить латинский. Ирландия имела самую почтенную традицию христианства среди всех северных стран, но для духовных властей континентальной Европы и Англии ее церковь и общество выглядели отклонением от нормы. Ирландская церковь не финансировалась за счет десятины, ее епархиальная система не подразумевала четких разграничений или властной структуры, в стране не существовало объединяющего монарха, некоторые местные практики, в частности, матримонические обряды, носили глубоко индивидуальный характер. Богослов XII века святой Бернар назвал ирландских варваров «христианами лишь по имени, а на деле язычниками». При этом латинская церковь не просто стремилась привести к единообразию ирландские приходы, она хотела полного переустройства ирландского общества — так, чтобы оно отвечало европейскому шаблону, изобретенному франками. Норманнские аристократы в Англии были только рады оказать Святому престолу такую услугу и в XII веке вторглись в Ирландию, движимые, по их собственным словам, желанием «расширить границы церкви».

За столетие до этого воинственный натиск римской церкви, жаждущей установить повсюду единообразие и контроль, вылился в один из кровопролитнейших эпизодов истории западного христианства. В Лангедоке на юге Франции в то время продолжали жить катары, или альбигойцы, — дальние потомки «чистых» сект V века. Эти раскольники, исповедовавшие учение о раздельном сотворении доброго и злого миров и возглавляемые избранной группой «совершенных» (*perfecti* или *parfaits*), обосновались в регионе вокруг города Каркассон. Катары (название происходит от греческого «катарос» — «чистый») отвергали материализм и мирскую власть церкви

и стремились вернуться к простому христианству времен Нагорной проповеди. Среди них — число катаров никогда не превышало 10 процентов от населения — были и знатные особы, которым оказывали покровительство местные графы. В целом катары и католики в этой области поддерживали между собой вполне бесконфликтные отношения.

В 1209 году папа Иннокентий III объявил о крестовом походе против катаров, обещая за участие в нем землю и деньги. Внявшие его призыву войска с севера Франции окружали катарские поселения и сжигали людей сотнями. Эти гонения заставили жителей Лангедока — равно катаров и католиков — дать совместный отпор захватчикам, однако благодаря вмешательству французского короля область была покорена и навсегда осталась под властью римской церкви и франкской знати.

В результате сочетания франко-германского, римского и христианского начал сформировалась современная европейская цивилизация. И впервые после многосотлетнего перерыва восторжествовавшая ортодоксия стала увековечивать себя грандиозными каменными монументами. Города, поселения, стратегические возвышенности начиная с XI века наводнил безудержный поток каменного строительства — кафедральные соборы, церкви, монастыри и замки покрыли североевропейский ландшафт. Норманны строили замки прямо посреди английских городов — Лондона, Йорка, Уорика, Кентербери, Винчестера — с единственной целью внушить почтительный трепет местному населению, а на границах, в Гарлехе, Конви, Карлайле и других местах, воздвигали гарнизонные крепости. Французские короли укрепляли долину Луары в Анжере, Лоше и Туре, а существовавшие восточные замки — например, в Праге и Карлштейне — были перестроены. Вместе с замками наступила эпоха великих романских и готических соборов. Это были первые элементы монументального наследия северной Европы, «трактаты в камне», которые можно

поставить в один ряд с письменными памятниками, ювелирными и металлическими изделиями раннесредневековой культуры.

Дошедшие до наших дней соборы и храмы сохранили драматическое напряжение между самовластным диктатом вышестоящей церкви и государства и художественным и культурным чутьем тысяч каменщиков, зодчих, резчиков по дереву, золотых дел мастеров, стеклодувов и художников, которое имело свое происхождение в народных низах. Построенные по плану древней римской базилики или зала для собраний, эти огромные здания высвобождали себя из оков классической традиции и становились выражением характерно североевропейской культуры. Революционное применение кровельных ребер в Даремском соборе, начатом в 1093 году, позволило храмостроителям отказаться от старых римских полуцилиндрических сводов в пользу стрельчатых арок и устремленного ввысь внутреннего пространства. Благодаря новому методу конструкции смогли нести большой вес, что привело к заметному расширению нефов и боковых приделов, почти чудесным образом поддерживаемых хитросплетением тонких каменных ребер. Этот готический стиль, впервые полностью воплощенный в соборе Сен-Дени близ Парижа (начало строительства — 1144 год), быстро распространился по всей Западной Европе. Использование животных мотивов в резьбе, каменные кружева, трилистники и четырехлистники, сочетание резных колонн, уводящих ввысь к расходящимся ребрам свода, и лабиринтного орнамента (к примеру, мощный лабиринт в Шартре) — все было призвано воплотить органическую духовность в неорганическом строительном материале. Несмотря на споры между историками по вопросу о том, какие черты составляют готический стиль, большинство соглашались, что его основной характеристикой являются незавершенные визуальные последовательности, постоянно уводящие зрителя за собой, — по контрасту с изображением окружающего мира с единой точки зрения. Соборы возносились

над землей как грандиозные лесные рощи или древние монолиты: северные мастера переиначили римскую базилику на свой лад, воссоздав в ней священный ландшафт собственной культуры.

Картина истории средних веков, возникающая из исследований недавнего времени, бросает вызов нашим укоренившимся представлениям об основаниях западной цивилизации. Падение Римской империи, мрак и смута «темных веков», каролингское возрождение и триумф латинского христианства — во всех этих элементах нашей традиции, как обнаруживается, истина щедро перемешана с искажениями и мифотворчеством. Сегодня мы начинаем воспринимать раннее Средневековье как эпоху разнообразия и взаимной толерантности, когда местная культура, промыслы и письменная ученость могли развиваться в рамках всеевропейской системы связей, практически не обремененной границами между народами и королевствами, непримиримыми этническими и религиозными конфликтами и подавляющим контролем какого-либо центра.

Мартелл, дед Карла Великого, дал отсчет новой эпохе самовластья, показав франкской знати способ наживаться на крестьянах. Сельскохозяйственное производство в плодородных областях Нейстрии и Австразии было встроено в социальную систему, которая позволила состояниям укрупняться в невиданных ранее масштабах. Завладение богатствами и их централизация посредством системы иерархического контроля стали отличительной чертой империи Каролингов в той же мере, в какой она была характерна для Римской империи. И хотя государство Карла Великого расколосось на части, методы насаждения христианской религии и параллельное утверждение королевской власти как единственной модели управления в будущем стали ведущими началами западного социального устройства и западной цивилизации. Языческие племена, включая саксов и позднее викингов, были не просто обращены в католичество — они стали обществами, вы-

строенными по иерархическому принципу с монархом во главе. Экспансия католического мира в десятом и последующих столетиях в конечном счете привела всю Европу под знамена единой церкви. Наиболее продолжительное сопротивление этой экспансии оказали западнославянские племена в Польше и восточной Прибалтике — они не обратились в христианство в правление Карла Великого и оставались политеистическими сообществами вплоть до XIV века. Литовская монархия в конечном счете приняла новую веру лишь в 1386 году в обмен на польскую корону. В общем и целом католический «крещеный мир» позднего Средневековья стал продуктом колонизации Европы — немногим более столетия спустя после обращения литовцев тот же самый процесс начался заново, но уже на других континентах.

Глава 7

ДРУГОЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Средневековый город и общинная жизнь

За столетия франкской военной и иной экспансии земли Европы были разделены на крупные владения, и жизнь большинства простолюдинов — труд, передвижения, даже matrimониальные дела — оказались под контролем господина-феодала. Однако растущее экономическое благосостояние Европы привело к возникновению еще одного феномена, который позволил некоторым обитателям средневекового католического мира вести совсем другой образ жизни. Тогда как сельский быт подчинялся произволу аристократии, средневековый город сделался убежищем от феодальной системы, местом, где общинная жизнь и индивидуальные потребности могли обрести пространство для взаимодействия, где население имело влияние на управление обществом и было напрямую заинтересовано в его защите и процветании.

Еще несколько десятилетий назад средневековый город, с его узкими петляющими улочками, теснотой лавок, домов, церквей и мастерских, с рыночными площадями, стенами, воротами, тупиками, проходами и на первый взгляд полностью хаотичной и случайной планировкой имел репутацию чего-то нездорового, неэффективного, нелогичного и абсолютно отсталого. Сегодня мы видим в средневековом городе

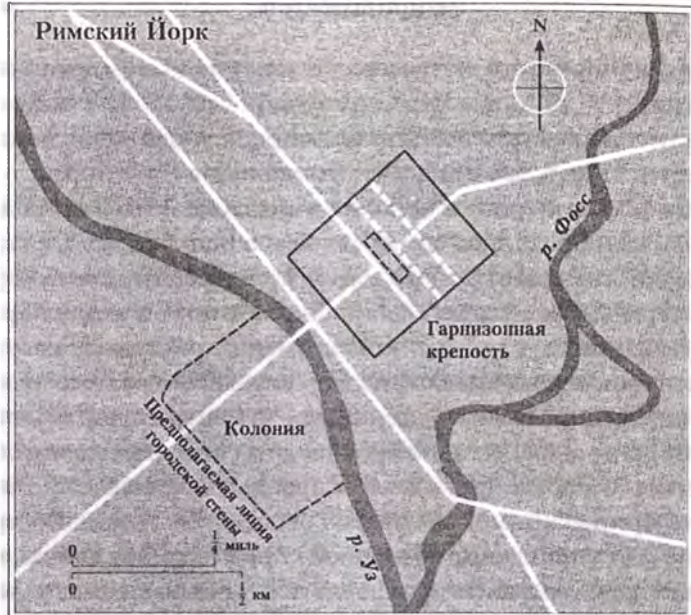
не только историческое сокровище, но и пример желанной организации жизни, при которой личные устремления образуют непротиворечивое целое с общественным бытием. Мы не сразу осознали, что взаимодействие между людьми и случайные встречи, которые происходили и по-прежнему происходят на этих улицах и переулках, в этих трактирах и лавках, представляют собой крайне важный элемент человеческого существования. Как писал Льюис Мамфорд, «с опозданием мы начали понимать, что добытые с таким трудом открытия в искусстве планировки городов... всего лишь повторяют, применительно к нашим собственным социальным нуждам, общие места здоровой средневековой практики». Средневековый город позволял реализоваться бесконечному разнообразию, обходясь без так полюбившегося в позднейшие времена выстраивания пространственных прогрессий; улицы петляли, спускались, поворачивали, расширялись и сужались без какой-либо иной причины, кроме собственного существования, и существовали как места, где люди встречались, трудились, торговали, питались и развлекались.

Наше представление о городах Средневековья отчасти является изобретением романтиков и деятелей готического возрождения конца XVIII века. Желая воскресить особую таинственную духовность донаучного прошлого, они живописали его как время, когда люди были одержимы самыми мрачными страхами на грани помешательства, когда охваченные религиозным вдохновением, прокаженные, жертвы чумы и пророки апокалипсиса объединялись в нескончаемом шествии по лабиринту улиц, являя зрелище крайнего экстатического исступления и крайнего же убожества. Напротив, в глазах рационалистов Просвещения, желавших искоренить предрассудки и заменить их вечными истинами, средневековые города с темными и запутанными улицами символизировали хаос непросвещенного человеческого разума. Теперь мы ощущаем отсутствие предначертанной цели и не скованную заданными рамками органическую структуру как величайшую ценность; средневековый город кажется нам не де-

тищем конкретного исторического периода, представляющим интерес лишь для музея, а случайным порождением эволюции, содержащим потенциал непрерывного обновления и развития. Как же возникла эта уникальная структура?

Римская империя включала в себя около 2 тысяч городов: они финансировались за счет налогов (как правило, с сельскохозяйственного производства), в каждом имелся свой форум, термы, амфитеатр, особняк наместника, зал для народных собраний и, в позднейшие времена, христианская базилика, их жизнедеятельность поддерживалась через имперскую сеть снабжения. Если кельтские города Центральной и Западной Европы выростали из производственных поселений, где в тесном соседстве друг с другом процветали разные промыслы, то природа римских городов была совсем иной. Построенные для управления империей и размещения войск, они являлись центрами не производства, а потребления, и были лишены собственного функционального стержня — когда стало не с кого собирать налоги и исчезли имперские поданные, нуждавшиеся в управлении, существование римских городов потеряло смысл, их ждал стремительный упадок.

В некоторых случаях картина была на редкость гнетущей. В 400 году н. э., как раз перед разграблением отрядами Алариха, Рим имел около миллиона обитателей; к 600 году эта цифра сократилась до менее 50 тысяч. Город раскололся на отдельные районы, между которыми пролегла полоса заброшенной земли, а публичные здания приходили в запустение и использовались для добычи строительного камня. Многоэтажные бетонные трущобы, когда-то перенаселенные, стояли подобно скелетам посреди пустыни. Из 372 итальянских городов, упоминавшихся Плинием, перестала существовать треть — при этом городская жизнь в Италии сохранилась лучше, чем в Галлии и Британии. Здесь римские города превратились в собственные тени: крохотные остатки населения продолжали обитать внутри разрушающихся стен по соседству с развалинами, в жилищах, сооруженных из дерева и понатасканного там и здесь строительного камня.





Йорк был стратегическим пунктом переправы через реку Уз у места ее слияния с рекой Фосс. Он последовательно являлся гарнизонным городом в милитаризованной зоне периода римского владычества, саксонским, а затем норманнским поселением, христианским центром и, с 1189 года, средневековым вольным городом

В последние века империи состоятельные римляне активно перебирались в сельские поместья, оставляя в городах лишь должностных лиц и сборщиков налогов заодно с немногочисленными торговцами зерном и оливковым маслом. После распада Западной империи транспортная система, которая снабжала римские города, пришла в немедленное запустение: римские дороги обычно строились на бетонной основе, которая без постоянного ухода быстро разрушалась, а акведуки и мосты просто больше никому не были нужны. После V века нет ни одного свидетельства о строительстве новых дорог или ремонте уже существующих. Эволюцию городов можно проследить на примере Йорка, основанного как крупное римское поселение (Эборак) у нижней переправы через реку Уз и продолжившего свое существование в качестве бриттского, а затем саксонского города. Несмотря на то, что жизнь в нем не прекратилась, римские стены и здания стремительно ветшали, а мост и вовсе обвалился. Город разделился на две половины, и для построенной римлянами дороги пришлось поменять направление, чтобы позволить транспорту пересекать реку вброд, когда уровень воды был достаточно низок. По свидетельству Беды и Алкуина, Йорк являлся крупным центром при саксах, однако артефактов того периода практически не сохранилось. Следы зданий отсутствуют полностью, а в отношении прочего достаточно привести резюме одного археолога: «Всю среднесаксонскую керамику из Йорка можно уместить в один мешок». То же самое касается и остальных городов на территории Западной Европы.

Стремительный упадок римских городов объяснялся не только их ненужностью, но и спецификой культуры тех, кто жил под римской оккупацией: у обитателей европейского Севера и Запада не существовало традиции компактного городского проживания, они, скорее, видели в ней один из аспектов и символов римского ига. Даже франкские короли предпочитали жить в сельской местности, перенося двор из одних охотничьих угодий в другие. У Меровингов было несколько городов — Орлеан, Суассон, Арль, — которые они держали в

качестве крепостей, однако власти не предпринимали никаких усилий к стимулированию городской торговли — насколько известно, за весь меровингский период, с 470 по 800 год, был основан единственный рынок, в Сен-Дени. Поскольку сельское поместье становилось исчерпывающе самодостаточным, многие товары просто не доходили до городских центров, и это дополнительно способствовало их упадку. Единственными каменными строениями, воздвигавшимися в Западной Европе в раннее Средневековье, являлись монастыри, но для них почти всегда выбиралось место в сельской глуши или на необитаемых островах, где монахи могли уединиться от мира. Серьезное монастырское строительство в VI и VII веках никак не сказалось на состоянии городской жизни.

Дезурбанизация Запада традиционно воспринималась историками как примета цивилизационного упадка. Однако культурная, экономическая и социальная активность не исчезла, она просто переместилась в иное пространство: хутора, деревни, монастыри, поместья, усадьбы. Городская жизнь также не исчезла вовсе, и поселения, которые, пусть и в усеченной форме, продолжали ее поддерживать, в поздней фазе Средневековья стали тем фундаментом, на котором выросла система европейских городов. Первоначальные очертания этой системы, таким образом, были еще одним наследством пресловутых «темных веков».

Во франкских владениях наиглавнейшим фактором поддержания жизни старых городских центров являлась церковь. Поскольку после распада Римской империи городские епископы, часто совмещавшие духовные функции с административными, как правило, остались на своих местах, церковь естественным образом положила в основу территориальной организации старую имперскую структуру. Свидетельство той роли, которую сыграла церковь, можно увидеть в судьбе городов, утративших свои епархии. Бельгийский Тонгр, когда-то столица римского округа, в определенный момент расстался с епископским местом, которое сперва перекочевало в

Маастрихт, а затем в Льеж — оба эти города в дальнейшем превратились в важные центры, тогда как Тонгр всю последующую историю оставался в неизвестности. Епископы Апса в области Ардеш перебазировались в Вивьер, а еще два римских центра — Бойор (в земле бойев) и Диаблинт (в Бретани), не удержав епархий, и вовсе исчезли.

В Британии ситуация была иной. Епархии были немногочисленными, а потому города выживали лишь в том случае, если использовались в качестве поселений бриттами и англосаксами. Таким образом, многие из них сохранились — Йорк, Честер, Колчестер, Сент-Олбанс. — но многие ушли в небытие. Покинутый римский город Вироконий находился чуть севернее Шрусбери, а Херефорд возник в свое время рядом с тем же бродом через реку Уай, где когда-то стоял римский Кентчестер. По сути, Честер стал единственным городом на валлийской границе на месте бывшего римского поселения. И тем не менее в долгосрочной перспективе Британия ничем не отличалась от Галлии: церковь присылала епископов в новые англосаксонские (они же старые римские) города, и те, на которые падал ее выбор, в дальнейшем процветали больше других.

В начале IX века, во время правления Карла Великого, появляются первые следы возрождения городской жизни — правда, чтобы набрать достаточный вес, городам понадобилось целое столетие. При архиепископе Эббоне (817–841) новые каменные постройки возводятся в Реймсе, значительно реконструируются церкви в Лионе и Орлеане. По приказу Карла Великого были сооружены дворец и базилика в Аахене (Экс-ля-Шапель) — хотя тогда это была сельская местность, по крайней мере, она стала пристанищем для постоянного императорского двора: дворцы в Неймегене и Ингельхайме, а также великолепный мост через Рейн в Майнце. В 822 году Людовик Благочестивый повелел заложить новый двор во Франкфурте: через десять лет по приказу местного епископа в Ле-Мане был проложен новый акведук. Но в ретроспективе это строительство видится не более чем каплей в море.

Принципиальным условием городской жизни является избыток аграрной продукции, который позволяет некоторой части населения обеспечивать свою жизнь иначе, чем сельским трудом. Такая ситуация начинает складываться в IX веке, и по мере роста торговли сельскохозяйственными излишками (включая такой наиважнейший продукт, как шерсть) вдоль эстуариев рек и морского побережья возникает целая череда новых поселений — особенно в северо-восточной Галлии и южной Англии, где практически все важные поселения основывались на берегах судоходных рек. При Карле Великом суконный промысел во Фландрии был уже достаточно развит для того, чтобы император мог послать в дар Гаруну Ар-Рашиду прекрасные фламандские ткани, однако запрет на занятие ростовщичеством затормозил дальнейшее коммерческое развитие. Карл разрешил открывать рынки — как удобное место для сбыта монастырями излишков своей продукции, — но стабильных центров торговли по-прежнему не хватало.

Часто высказывались предположения, что едва наметившееся возрождение городской жизни в IX веке было на корню пресечено набегами викингов, державших в страхе многие области Северной и Западной Европы. Однако в тех же самых областях, где оседали викинги — в восточной Англии и Нормандии, — они основывали новые города (например, Скарборо) или давали новый импульс старым (Ипсвич, Йорк, Руан). Торговая сеть викингов простиралась от Новгорода до Дублина и дальше до Исландии, Гренландии и Северной Америки — впрочем, ее товарная и денежная емкость, а также размер участвующих в ней центров, были сравнительно невелики.

Настоящий переворот произошел с утверждением единовластия на огромном пространстве Европейского континента. В 955 году при Аугсбурге король Оттон Саксонский нанес решающее поражение венграм, терроризировавшим Европу на протяжении более 60 лет, и тем ознаменовал начало долгого периода франкской и норманнской экспансии, которая описана в предыдущей главе. Благодаря стабильности, обеспеченной франкской гегемонией, значительно увеличилось

аграрное производство, а человеческая масса стала расти невиданными темпами — по оценкам историков, между 1000 и 1340 годом население Центральной и Западной Европы утроилось (приблизительно с 12 до 35,5 миллиона человек), а всего континента вообще — примерно удвоилось (с 38,5 до 73 миллионов).

В конце X — начале XI века европейские купцы, традиционно кочевавшие между разными пунктами торговли, стали оседать в определенных местах: епископы и графы, имевшие право устраивать ярмарки, начали строить в городах склады для хранения товаров; кое-где появились постоянные рыночные ряды, вокруг которых немедленно устраивались мастерские и лавки, сделавшиеся центром ремесленных производств; наконец состав малочисленного городского населения, в котором преобладали клирики, знать и крестьяне, пополнился солидной долей ремесленников и купцов. Примерно в то же время в экономический обиход вошли ранее неизвестные на Западе производственные займы, или *commenda*, — в обход молчаливо игнорировавшихся ограничений на ростовщичество, введенных Карлом Великим. Города, переживавшие эту трансформацию, радикально отличались и от полисов античности, и от римских административных центров. Средневековье сделало акцент на коммерческой деятельности городов — храмы и казармы постепенно окружались плотным кольцом рынков, купеческих кварталов, мастерских и складов.

Дарование права на торговлю в Англии, Франции или Священной Римской империи являлось прерогативой короля или императора, и обычно это право получали епископы, монастырские настоятели или графы. Все первые рынки были ярмарочного типа: скоропортящееся продовольствие отпускалось с телег, запряженных волами, ткани и скобяные изделия — со специально устанавливаемых прилавков. К началу XI века разнообразие товаров, предлагаемых на продажу, уже впечатляло. Ярмарка, устроенная в 1036 году в пикардийском городе Аррас под эгидой настоятеля монастыря Св. Вааста,

специализировалась на тканях, однако кроме тканей там можно было купить многое: осетрину, лососину, сельдь и китовое мясо; парное мясо, ветчину, топленое сало, солонину; соль, мед, растительное и сливочное масло, английский и фламандский сыр, фрукты и вино; сыромятную и дубленую кожу, меха; железо, сталь, шерсть, нитки, красители; кожаную обувь, ножи, серпы, лопатные лезвия и черенки, веревки, деревянные сосуды. Большинство товаров, прежде чем попасть на городскую ярмарку, выращивалось, ловилось и изготавливалось в сельских районах — трудовое население обеспечивало своих феодальных хозяев, которые затем продавали все, что не употребили для собственных нужд. Но ближе к концу XI века производители осознали, что могут позволить себе жить в городах в непосредственной близости от потребителей продукции. Как следствие, возникло сословие лавочников — посредников между производителем и покупателем, сделавших предметом своих занятий скупку и продажу.

Документы X века свидетельствуют, что в то время лицензии выдавались преимущественно на строительство новых помещений для постоянных рынков, нежели на размещение оных в уже существующих зданиях. Города, в которых устраивались эти рынки, стали строить пристани, жилища и прочую инфраструктуру для коммерсантов и их товаров. Эти купеческие кварталы в тогдашнем германском языке назывались *wiks*, вики, откуда произошло английское *wich* — Ипсвич, Харидж (*Harwich*), Гринвич, Сандвич все были портовыми городами, торгующими с континентальной Европой. В XI веке то, что еще недавно было новацией, становится общепризнанным правилом. Сеньор, устраивавший рынок, имел право чеканить монету и взимать пошлину с продаж, но взамен должен был обеспечивать места для стоянки судов и склады для хранения товаров, а также поддерживать закон и порядок. Купцы прибывали в те рыночные города, где могли без труда разместиться сами и разместить привезенное добро, где была безопасность, ходовая монета и достаточно покупателей.

Регионом, который эта урбанизация на новых началах охватила в первую очередь, оказались, что неудивительно, исконные франкские земли. Провинции Фландрия и Брабант, бассейн Мааса и Рейна стали той питательной почвой, на которой развился новый, отчетливо средневековый тип города. Обширная сеть судоходных рек, доступ к огромной территории, обеспечиваемый Рейном и Маасом, плодородные сельскохозяйственные земли, морское соседство Британии и исхоженные морские пути в другие державы, традиции суконного производства и престиж родины императорской династии — все это дало региону невероятную фору в развитии. Почти в то же время, когда Оттон начал теснить венгров и создавать на востоке действительно укрепленные рубежи, города стали появляться по всей германской земле. Если в IX веке значительные части Германии представляли собой полубитаемое пространство со множеством лесов и минимумом обрабатываемой земли, то за четыре столетия после триумфальной победы в 950 году в королевстве возникло 2,5 тысячи городов и обширнейшие участки земли пошли под запашку. Этот край никогда не был под римской оккупацией, поэтому родоначальниками многих немецких городов являлись мелкие поселения в центре бывших племенных территорий. Стремительный расцвет городов по всему центру континента стал решающим событием в истории европейской урбанизации.

Богатое торговое ядро Европы, включающее франкские исконные земли северной и восточной Франции, Рейнскую область, средиземноморские порты северной Италии, а также юг и восток Британии, естественным образом создавало все условия для возникновения множества коммерческих центров. Однако те, кто населял территории, не входящие в это ядро — как монархи, так и прочие региональные властители из числа баронов, аббатов, епископов — нуждались в крепостных городах. В результате женитьбы Генриха II на Элеоноре Аквитанской в 1152 году ее необъятные владения на юго-западе Франции на 300 лет превратились в оспариваемую анг-

лийскую провинцию. Между 1220 и 1350 годами в Аквитании англичане и французы построили более 300 так называемых «бастид» (*bastides*) — укрепленных городов посреди сельской местности. В XI веке в Англии существовало 99 замков-крепостей, половина из которых принадлежала королю. Они часто воздвигались в уже существующих поселениях, придавая мощный импульс местному хозяйству и одновременно повышая престиж города. Отношения, связывавшие горожан и крепость, в которой обитал военный гарнизон, развивались непросто и со временем трансформировались. Если часто целью строительства замков-крепостей было усмирение местного населения, то через какое-то время эти демонстративные символы центральной власти обрели новую функцию — гарантов городской безопасности. По средневековому правилу крепостные каменные стены огораживали не только стоянку войска, но и весь город целиком, вдобавок сам гарнизон набирался из местного городского ополчения.

В XI веке мало-помалу также начинает восстанавливаться дальняя торговля, и главным ее предметом служит наиважнейший промышленный продукт того времени — текстиль (в первую очередь шерсть и шерстяные ткани). Фландрия и Тоскана задавали тон в этой индустрии, однако она имела общеконтинентальный характер, и шерсть поступала на рынки отовсюду: от Англии и Испании до Прибалтики и Богемии. Регионы, сперва функционировавшие лишь как поставщики шерстяного сырья, например Уэст-Райдинг в Йоркшире, превращались в центры производства. Из записей судебных книг 1201 года мы узнаем о красильщике из Лидса по имени Саймон, в 1258 году в них упоминается ткач Уильям Уэбстер (искаженная форма слова *weaver*, «ткач»), а в 1275 году некоего Саймона Фуллера обвиняют в том, что он продает слишком зауженное полотно. К XVI веку, когда появляются достаточно надежные документальные сведения, шерсть и шерстяные ткани составляют уже 80 процентов английского экспорта.

Кроме торговли текстилем, развиваются и другие специализации: пушнина и металлы поступают из балтийского ре-

гиона; венецианские и генуэзские купцы с Востока доставляют в сердце Европы шелка, специи, красители, золотые и ювелирные украшения, изделия из кожи; в XII веке европейцы знакомятся с серебром и золотом, которые в значительных объемах начинают добывать в Богемии и Венгрии. Взаимообращение этой продукции происходило на крупных ярмарках, которые сперва устраивались в Шампани и Бургундии, а затем и повсюду на материке. Безопасность торговли обеспечивали местные правители — они гарантировали купцам спокойный проход по своей территории в обмен на пошлину с товаров. Если раньше вооруженный контроль приносил доход лишь в виде добычи от изредка устраиваемых набегов и налогов на плоды крестьянского труда, то в XI и XII веках, как инструмент обеспечения безопасности, он стремительно начал превращаться в источник пошлинного дохода. Европа становилась не столько военным и географическим, сколько хозяйственным и коммерческим целым.

Хотя развитие коммерции провоцировало увеличение спроса, прирост как объемов торговли, так и человеческой массы в городах по-прежнему находился в сильной зависимости от избытка аграрной продукции. Соответственно, резкий всплеск численности сельского населения, произошедший в XI веке, имел два прямых эффекта. Во-первых, для прокорма и производительной деятельности вновь нарождающихся миллионов требовались дополнительные площади обрабатываемой земли. Как следствие, на обширных заболоченных территориях Фландрии, Брабанта и Гелдерланда приступили к серьезным осушительным работам, а по всей Европе началось масштабное сведение лесов. Во-вторых, традиционная система феодальных доменов оказалась неспособной справиться с таким умножением населения. Строгие ограничения прошлых времен уступали место большей независимости; общая привлекательность жизни в городе и закон, позволявший крепостному обрести свободу после года и одного дня, проведенного у сеньора, означали, что землевладельцам приходилось искать новые стимулы для удержания работников.

Подстегиваемые ростом стоимости труда, крупные поместья осваивали технологии, немало число которых было известно столетиями, но не употреблялось за ненадобностью. Применение энергии водяных потоков, введение хомута, увеличившееся использование тяглового скота способствовали серьезному скачку в производительности сельского труда. Тем не менее на протяжении XII и XIII веков рост объемов промышленности, численности населения и потребления во многих городах заметно превосходил потенциал локального сельского хозяйства. Сырье приходилось доставлять на все большие расстояния, что становилось еще одним двигателем общекионтинентальной торговли. Даже такой базовый продовольственный товар, как зерно, нередко поступал в Западную Европу со стороны: северная Италия ввозила его из черноморского региона, а Лондон, Париж и Фландрия — из Прибалтики.

Использование золота и серебра в печатании монеты признанной ценности превратило пространство Европы из бартерного в денежное и послужило дополнительным стимулом развития городской коммерции. Примерно с 1100 года землевладельцы все чаще и чаще собирали ренту не товарами и трудом, а деньгами. Как следствие, потребление богатства больше не требовало жить в имениях, они получили возможность обосноваться в городе, куда направлялись причитающиеся им сборы. Поскольку наличная денежная масса начала концентрироваться в городах — в отличие от товаров, производимых и остававшихся в деревне, — города все больше перехватывали у сельских поместий функцию центров влияния и, соответственно, притяжения знати. Причем, завладев избытком наличности, аристократы немедленно принимались ее тратить — на строительство городских особняков, на снаряжение себя и своих слуг, на предметы роскоши: меха, шелка, ювелирные украшения, тканые гобелены. На европейском Севере, где феодалы с неохотой покидали насиженные места, этот процесс развивался гораздо медленнее, чем, ска-

жем, в северной Италии. По сути северная Италия представляла особый тип средневековой урбанизации (см. главу 8), обусловленный ее политической спецификой и высокоразвитым хозяйством. Примерно к 1200 году торговля через Венецию, Геную, Флоренцию и другие североитальянские города достигла таких объемов, что купцы перестали путешествовать с товарами; вместо этого они нанимали торговых агентов в Леванте и бурно развивающихся коммерческих центрах Севера — Лондоне, Париже, Брюгге и т. д., — а за провоз товара платили корабельщикам.

Уже в 829 году, как следует из его завещания, венецианский купец Джустиниано Партечипацио смог увеличить свое состояние, вложившись в корабельную транспортировку, а документ 1073 года фиксирует совместное вложение инвестора и хозяина судна — два к одному — в стоимость перевозимого товара с последующим пропорциональным разделом прибыли от продажи. Венеция была флагманом в развитии этих зачаточных капиталистических отношений, потому что доступ к Востоку сделал базой ее экономики золотую монету раньше, чем где-либо еще; и хотя Генуя и Пиза сумели быстро догнать Венецию в этом отношении, остальное европейское богатство оставалось привязанным к земле как минимум до XII века.

Если таковы внешние обстоятельства новой волны европейской урбанизации, то в чем заключались отличительные характеристики самого средневекового города? Поскольку эти города не были формальными административными центрами, подобными имперским городам Рима, внутри пространства, подчиненного власти императоров, королей, герцогов, графов и князей церкви, они сумели обрести на первый взгляд необъяснимую автономию. Дело в том, что в эпоху, когда политическая власть ассоциировалась с контролем над определенными землями, производимой на них продукцией и крестьянским населением (из которого феодалы также набирали пехоту в свое войско), города оказались как бы предоставленными сами себе. И если, как в северной Италии, знать перебиралась в города, там она обнаруживала мощную кон-

курению за муниципальную власть со стороны епископов, монастырских настоятелей, купцов, мастеровых и плательщиков пошлины, которые все считали, что имеют полное право влиять на решение административных вопросов. Граждане собирались в ассоциации для отстаивания и удовлетворения своих интересов — в каждом европейском городе возникали аристократические коммуны, купеческие и ремесленные гильдии. Кое-где они группировались, чтобы добиться от суверена исключительных привилегий, в других местах, особенно в северной Италии, в отсутствие какого-либо суверенного контроля брали власть в свои руки.

Признание особого положения городов, а также их экономических успехов, ознаменовалось началом дарования королевских хартий. Монархи стали понимать, что возрастающее влияние городов не обязательно представляет угрозу для правления, а в определенных аспектах может даже ему способствовать. Получая исключительные привилегии, которые стимулировали экономическую активность, средневековые города превращались в особые объекты юрисдикции, а городские обитатели фактически оказывались более свободны заниматься своими профессиями, нежели сельские. К примеру, хартия, дарованная Дублину принцем (позже королем по прозвищу Безземельный) Иоанном в 1192 году, наделяла горожан рядом специальных экономических и юридических прав как в самом городе, так и за его пределами. С них снималось бремя определенных посягательств на свободу, а любые штрафы, которым их подвергали, носили жестко регламентированный характер; они могли строить на городской земле и коллективно распоряжаться незастроенным пространством; они могли образовывать гильдии и имели право выдавать дочерей замуж за кого посчитают нужным, без учета мнения лорда — жителям деревень в этом отказывали; горожане также освобождались от дорожных сборов и от преследования за чужие долги; приезжим купцам запрещалось покупать определенные товары у кого-либо, кроме местных торговцев, как, впрочем, и торговать самим на местном рынке более 40 дней в году.

Привилегированный средневековый город не являлся просто увеличенной копией античного ремесленного поселения — это было юридическое и коммерческое образование, отграниченное от прилегающей сельской местности физически и культурно. Развитие сети таких торговых городов по всему западному христианскому миру имело важнейшие последствия. До XI века образование в Западной Европе представляло собой либо монашеское обучение, либо, в некоторых редких случаях, подготовку к участию в феодальной администрации. Начиная приблизительно с 1050 года под сенью городских соборов и приходских храмов возникают немонастырские церковные школы. Образование в них по-прежнему сводилось в основном к богословию, однако ученики этих школ были уже не монастырскими послушниками, они готовились к священническому служению среди мирян. Поскольку в их будущие обязанности входило хозяйственное и финансовое поддержание храмов, они должны были знать грамоту, грамотность же пополняла кругозор все новыми и новыми знаниями. Широко распространилось использование бумаги (ввезенной в Европу в конце XII века), начали появляться новые книги по логике — в XII веке Пьер Абеляр снискал всеобщую известность как преподаватель философской логики в Париже, вслед за ним Петр Ломбардский и Грациан прославились применением логики в решении богословских вопросов. Через переводные отрывки из сочинений Аристотеля Запад начал знакомиться с языком античной Греции и Рима. Ученики стекались, чтобы послушать знаменитых учителей в соборных школах северной Франции, и распространяли затем новое знание через собственные школы, а из-под руки великих деятелей монастырской учености, таких как Фома Аквинский, Роджер Бэкон и Уильям Оккам, выходили сочинения, в которых содержались рассуждения о соотношении между логикой и верой, духовным и рациональным.

Результатом распространения грамотности становились не только философские труды. В 1130–1136 годах Гальфрид Монмутский составил свою «Историю Британии», в которой

излагались базировавшиеся на кельтских преданиях сюжеты о короле Артуре. Через несколько десятилетий Кретъен де Труа использовал тот же материал для создания истории о Персивале, которая вплетала в артуровские легенды сюжет о поиске Священного Грааля. В этих сочинениях была впервые зафиксирована развившаяся в дальнейшем особая культура рыцарства, благородной любви и христианской героики — которая на многие века стала источником идеализированного самовосприятия для европейской аристократии и дворянства. Ключевыми элементами этой литературы были изображение отваги как цели самой по себе (рыцари не сражались, защищая свою родину, они отправлялись в мир на поиск приключений) и идеализация любви между мужчиной и женщиной. Как очевидный вызов невоспитанным нравам сельских вояк-баронов и моральной строгости церковных писаний, горожане изображали любовь вещью до крайности изысканной и часто идущей против долга супружеской верности — Ланселот, первый рыцарь Круглого стола, был создан, чтобы стать запретным предметом возвышенной любви королевы Гиневры. Хотя этот кодекс любовных отношений был на редкость искусственным порождением культуры, по большей части вдохновленным сложившейся в Иберии арабской традицией, он продолжал восприниматься на Западе как нечто вполне естественное еще около восьми столетий.

Мы кое-что знаем об атмосфере средневековых городов, поскольку многие из них дожили до наших дней. Это были полузакрытые, живущие общинной жизнью поселения, где сами стены придавали обитателям чувство сплоченности — явственнее всего воплощавшейся в таком событии, как запираание ворот и подъем разводных мостов на ночь. Статус горожанина подразумевал определенные обязанности — в частности, бюргеры призывались на военную службу и посменно выполняли функции охраны общественного порядка (в рембрандтовском «Ночном дозоре» мы видим яркое выражение этой общинной жизни). Городские власти не только привлекали

граждан к службе, но также держали рынки и чеканили деньги. Этот круг общих обязанностей развивал у жителей чувство гражданской ответственности и соединял весь город узлами знакомства.

Общинный дух горожанина крепился также принадлежностью к определенной группе — с собственными традициями, правилами и неповторимым лицом. Средневековые гильдии, родившиеся из потребности в цеховом объединении, превратились в организации, члены которых имели гарантии в случае болезни и при достижении преклонного возраста, возможность обучения, защиту прав, наконец, товарищеские отношения, статус и источник самоидентификации. Поскольку люди определенных занятий, как правило, тяготели к одним и тем же местам в городе, гильдии функционировали и как органы квартального самоуправления. В средневековом городе они являлись господствующим институтом общинного бытия. Законы этого бытия распространялись и на домашнюю жизнь — дом бюргера был одновременно мастерской, складом, местом отдыха, бухгалтерией, а у мастеровых и лавочников не существовало разделения между непосредственной профессией и любым другим необходимым трудом. Домохозяйства состояли из подмастерьев, родственников из деревни, работников и хозяйской семьи, которые трудились и питались сообща и спали в больших общих спальнях.

Строительство было одной из крупнейших индустрий Средневековья. Замки, дома, городские стены, церкви, приюты, семинарии и соборы — все это многочисленные следы тогдашней бурной деятельности строителей, в большинстве случаев работавших по заказу церкви и религиозных орденов. Например, в Йорке с его 10–15 тысячами населения в 1300 году существовали как минимум 57 религиозных построек, а в Бреслау, где жили порядка 30 тысяч человек, ордена содержали 15 приютов-лечебниц. Деньги на строительство также приходили от налогов и продаж лицензий на мостовые и заставные сборы, а также на сбор таможенных пошлин.

Наши привычные представления о мрачности и убогости средневековой городской жизни очень далеки от действительности. Разумеется, улицы бывали переполнены в определенное время суток, однако церкви и молитвенные дома предлагали человеку убежище от сутолоки. В их затененной глубине он мог предаться спокойному, не нарушаемому ничем размышлению, и хотя для прославления Бога средневековая культура возводила высокие кафедральные соборы, подавляющее большинство религиозной архитектуры того времени было вполне соразмерно человеку. Улицы были узки, однако имелось достаточно открытых зеленых пространств: расположение и размер городов обеспечивали легкий доступ к окружающей природе, да и внутри самих городских стен существовало множество садов и огородов.

Были в средневековых городах и купальни, частные и муниципальные — в Риге их существование зафиксировано в XIII веке, а в XIV веке в Ульме насчитывалось 11, в Нюрнберге 12, во Франкфурте 15, в Аугсбурге 17 и в Вене 29 купален. Во многом подобная древнеримским термам, средневековая баня представляла собой одновременно общественное, медицинское и гигиеническое заведение, где люди встречались, питались, общались и получали врачебную помощь — среди занятых свидетельств того времени мы встречаем жалобу на бесстыдство детей, бегущих по улицам нагишом на пути в баню.

Следует также добавить, что тогдашние города были куда более ярким местом, чем иногда можно подумать, судя по дошедшим до нас фрагментам застройки. Выбеленные лавки и дома, церкви, украшенные резьбой и настенной росписью (большой частью утраченной при последующих подновлениях и реконструкциях), товары, выставленные напоказ на открытых рынках, роскошные наряды, надеваемые по праздничным дням, — все это складывалось в весьма яркую картину. Помимо прочего, город был и сценой, на которой разыгрывались великолепные гражданские и религиозные церемониальные действия. Центральное место во всякой церемонии занимала главная приходская церковь или собор, сама построй-

ка которой была, как правило, общинным предприятием, нередко безвозмездным, даже с привлечением женщин. Преисполненные гордости за эти восхитительные здания, горожане всегда воспринимали их как центры и кульминационные пункты многочисленных процессий, стекавшихся по узким городским улицам.

Немецкий художник Альбрехт Дюрер так описывает одну сцену в Антверпене в начале XVI века: «Я увидел проходящую по улице процессию, участники которой шли рядами: каждый человек находился на некотором расстоянии от своего соседа, но ряды следовали плотно друг за другом. Там были мастера золотых и расписных дел, каменщики, вышивальщики, ваятели, столяры, плотники, моряки, рыбаки, мясники, кожевники, швейники, пекари, портные, сапожники... Были там и всех мастей лавочники и купцы с их приказчиками. После шли стрелки с пищалями, луками и арбалетами, всадники и пехотинцы. За ними следовала стража магистрата. Затем шел прекрасный отряд, весь в алом, одетый пышно и благородно. Прежде прошествовали члены орденов и религиозных корпораций, весьма суровые, все в разных облачениях... От начала до конца процессия, прежде чем миновала наш дом, заняла два часа».

Ввиду первоочередной потребности в защите внешний облик средневековых городов во многом определялся топографическим фактором — они располагались на вершинах холмов, в излучинах рек, на полуостровах, теснились вплотную к башням крепостей. В отличие от позднейшего городского планирования, улицы не прокладывались с учетом дальнейшей застройки. Вместо этого вновь возникающие здания группировались вокруг церквей, монастырей, рынков, купеческих кварталов, пристаней, муниципальных зданий, мест, где оседали те или иные промыслы, а затем пешеходные дорожки связывали эти «островки» друг с другом, отмечая естественным образом возникавшие маршруты движения людей. В большей части любого города не было никакой необходи-

мости в транспортных средствах — все либо переносилось вручную, либо перевозилось на тачках или верхом. Улицы петляли, огибая существующие здания, однако их узость и извилистость также предохраняла от непогоды. Витрины лавок на первом этаже не имели стекол и потому были наполовину открыты стихиям — единственной защитой служили плотно стоящие здания противоположной стороны улицы и нависающий второй этаж самой лавки.

Размер городов ограничивался характером внутренней транспортировки, величиной запасов пресной воды и доступностью свежей продукции из прилегающего аграрного региона. Исключительный размер средневековой Венеции отчасти объяснялся как раз особенностями внутреннего транспорта, поскольку перевозить товары по воде было гораздо легче, чем доставлять их в нужное место по узким улицам, — урок, позже усвоенный Амстердамом, Санкт-Петербургом и некоторыми другими городами. Расширение территории происходило (Флоренция, к примеру, перестраивала свои стены трижды), но лишь в определенных пределах, не нарушающих внутреннюю сплоченность — основной принцип городского бытия. Большинство городов имело меньше мили в поперечнике и от 300–400 до 4 тысяч обитателей (как в Лондоне) — Париж и Венеция с сотней тысяч человек в каждом были редчайшим исключением. Около 1450 года в Лувене и Брюсселе, располагавшихся в сердце самого процветающего европейского региона после Италии, насчитывалось где-то между 25 и 40 тысячами обитателей, а в Германии ни в одном городе не проживало больше 35 тысяч. Когда у городов возникала необходимость в экспансии, они скорее строили поблизости город-спутник, чем шли на увеличение собственной территории — тем самым сохраняя преимущества управляемости.

Привилегированный средневековый город, с его крепкими общинными устоями, автономией и целостной социальной идентичностью, представлял собой краеугольный камень европейской культуры. Но, вопреки сложившемуся понима-

нию новой урбанизации как рождения, или возрождения, цивилизованной жизни после унылого застоя «темных веков», с недавних пор начинает складываться гораздо более интересная картина этого явления. Перемещение экономической и культурной активности в сельскую местность, последовавшее за распадом Римской империи, фактическое отсутствие централизованного контроля на какое-то время позволило локальной культуре утвердить себя заново. Однако в ходе многосотлетнего процесса, стартовавшего в VIII веке при Карле Мартелле, почти вся аграрная территория Западной и Центральной Европы была повторно подчинена произволу верховных властей. На фоне такого закрепощения деревни городские обитатели имели возможность жить и работать в условиях относительной независимости и объединяться для защиты собственных интересов. В этом смысле средневековые города явились продолжением тех независимых сообществ, которые существовали в Западной Европе еще с доисторического периода.

Средневековые города действительно обеспечивали убежище от кабалы сельских феодалов и альтернативный способ общинного существования, однако не следует делать вывод, что сельское население прозябало в жалком состоянии беспомощности, покорности и невежества. Несмотря на рост городов, Европа в подавляющей степени оставалась аграрным обществом. И когда мы стараемся понять, в чем состояла жизнь наших средневековых предков, нас сковывает не их невежество, а наше собственное. Мы отделены от средних веков позднейшим изобретением автономной личности, в которой видим себя и которая искажает любое наше сознательное усилие. Средневековое смирение перед судьбой, единодушная вера в предопределение и неотвратимый конец света кажутся нам удавкой человеческого духа и отрицанием всех творческих порывов. Тем не менее почти не отраженная в анналах и хрониках жизнь подавляющего большинства тогдашнего населения — безграмотного, необразованного крестьянства — была насквозь пропитана особой духовностью,

в многообразных проявлениях которой мы с таким упорством пытаемся разобраться.

Христианство трансформировало верования наших пра-родителей — кельтов, готов, викингов и славян, но ни в коем случае их не вытеснило. Ритм смены времен года, кругооборот рождения, жизни и смерти, преобладающее эмоциональное значение родственных отношений — все это несло огромную смысловую нагрузку в мире, где время измерялось движением солнца по небосводу и общинной памятью, а география была делом личных испытаний и познаний, а не абстрактной картографией. Самоопределение человека начиналось с семьи и простиралось на деревню, феодальный домен или город (и никогда на страну или этнос), а целостность среды очерчивалась общим горизонтом верований и опыта. Сам же человеческий опыт был в первую очередь опытом жизни в природном мире, по-прежнему неподатливом и опасном, но в то же время полном волшебства, — в пространстве, лучше всего постигаемом сознанием, которое населяло природу сверхъестественным. Границы между реальным и нереальным, истиной и вымыслом не имели значения в мире, где недуг мог поразить человека без видимой причины, где исцеления всегда были чудесными и где урожай был обилен только в случае исполнения нужного ритуала, как правило языческого. Средневековое мировосприятие проистекало не из хаоса поверхностных и некритично усвоенных предрассудков, а из фундаментального понимания того, что верность обычаю предков есть вопрос жизни и смерти.

В этом мире символика, чудеса и обряды христианской церкви оказывались еще одним набором инструментов в нескончаемой работе освоения природы, еще одним способом ассимилировать ее непредвиденные скачки и размеренные циклы, ее непостоянство и волшебство. С одной стороны, вера в христианского Бога как подателя всех благ и вершителя судеб всего сущего была безраздельной, а драматургия религиозного мирозерцания (наследовавшего языческим верованиям народов Запада) создавала систему координат, в кото-

рой происходило осмысление жизни. С другой — авторитет католической церкви ощущался более под сводами храмов и замков, чем в крестьянской лачуге, сельской таверне или городской аптеке.

Средневековые крепостные, издольщики и кустари, несмотря на преобладающую неграмотность, не были невежественны. Они знали, что первостепенная важность соблюдения обычая диктуется не просто способностью последнего влиять на плодородие земли, но и фундаментальными законами общественного бытия. И если современному уму импонируют простые уравнения из причин и следствий, то наши предки в этом отношении были несравненно мудрее. Средой и содержанием их жизни была сложная и тонко сбалансированная система отношений друг с другом и с природой. Они знали, что молитва и обряд должны идти рука об руку с хозяйской распорядительностью, заботой о земле и скоте и ответственностью за плоды труда, — что эти вещи не противостоят, а непрерывно подпитывают друг друга. Христианство было принято и усвоено простыми людьми Запада не потому, что оно переворачивало традиционное мирозерцание, а потому, что оно сумело встроиться в бесконечный процесс приспособления к жизни в природном мире. Поскольку этот процесс никогда не застывает во времени, Средневековье являет нам то же сочетание неизменных потребностей и непрерывных изменений, как и любой другой отрезок истории. Его завершение, оказавшееся долгим и болезненным, было спровоцировано его собственным расцветом — богатство и индивидуализм, накопив критическую массу, стали первыми вестниками наступающей современности.

ИСКУССТВО КАК ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Богатство, власть и новации в эпоху итальянского Ренессанса

В Италии тридцать лет правления Борджиа — это сплошные войны, террор, убийства и кровопролития, но они произвели на свет Микеланджело, Леонардо да Винчи и весь Ренессанс. В Швейцарии была одна лишь братская любовь, люди пятьсот лет жили при демократии и мире — и что произвели они? Часы с кушкой.

*Орсон Уэллс. Третий человек**

Ренессанс — не столько период истории, сколько сокровищница мифов, созданных нами о западной цивилизации. Уникальность Ренессанса как научно-исторической концепции проистекает из воплощенного в нем сплава двух понятий — искусства и цивилизации, неожиданно оказавшихся взаимозаменяемыми. В трудах по истории искусства западная живопись, скульптура и архитектура с Ренессансом достигают своего совершенства, а после начинается долгий упадок, прозябание в тени великих мастеров. Мы сами, когда смотрим на какое-нибудь из полотен Рафаэля, скульптуру

* Эту реплику добавил к сценарию Грэма Грина сам Уэллс и произнес ее от лица своего персонажа Гарри Лайма.

Микеланджело или здание, спроектированное Брунеллески, чувствуем, что эти шедевры воплощают собой высочайшие ценности западной, да и вообще любой цивилизации; иногда мы даже склонны уверовать в то, что сочетание трепета и воспарения, охватывающее наш дух при виде «Рождения Венеры» Боттичелли, и есть цивилизация в самой ее неизъяснимой сущности. Однако такое переплетение искусства и цивилизации в Ренессансе странным образом влияет на наше понимание прошлого. Нам начинает казаться, что любой отрезок времени или место на карте, сумевшие произвести на свет великое искусство, должны обладать социальными, политическими и культурными характеристиками, которые каким-то образом выбиваются из общего ряда. И наоборот, любой период, от которого не осталось значительного художественного наследия (жалкие часы с кукушкой!), перестает быть достойным серьезного внимания.

Возрождение — непростой предмет исследования для историков, потому что, попадая в его призму, история Европы вдруг превращается в историю итальянской живописи, скульптуры и архитектуры. Внезапно становится важнее знать, кто заказал какое полотно и почему, чем помнить, чье войско выиграло то или иное сражение и какой король издал какие законы. В отсутствие упоминания об искусстве любой рассказ о XV веке начинает быть похожим на свадьбу без невесты, в то время как его присутствие делает все вокруг блеклым и незначительным. Искусство становится даже не центральным предметом исторической экспозиции, но фундаментальным феноменом, от объяснения которого зависит само понимание данного периода.

С тех пор как термин «Ренессанс» (или «Возрождение») впервые появился на свет в 1840-х годах, знатоки итальянского искусства заняли главенствующие позиции в изучении Европы XIV и XV веков. Родоначальником и законодателем вкусов в этой сфере стал швейцарский историк Якоб Буркхардт. Выпущенная им в 1869 году книга «Культура Италии в эпоху Возрождения» представила итальянское Возрождение апоге-

ем европейской цивилизации и «началом современного мира». После того как Буркхардт показал, что эпоха рождения великих произведений живописи была эпохой политического вероломства, жестокости и интриг, всем вдруг захотелось знать о Медичи и Борджиа, о Макиавелли и Сфорца не меньше, чем о Брунеллески, Леонардо и Микеланджело. Он же продемонстрировал, что новое открытие античности, экспедиции в неизведанные земли и перемены в религиозном мировоззрении внесли непосредственный вклад в творческие новации художников Возрождения. И тем не менее эта выдающаяся всесторонность Буркхардта во многом нивелировалась главной предпосылкой его труда — он не скрывал, что исходил из дорогой его сердцу идеи ренессанса (то есть возрождения) цивилизации в Италии XV века и именно ее подтверждение стремился найти везде, где только можно. Не ставя себе целью рассказать историю Италии, он искал признаки чего-то, что, по его убеждению, просто обязательно было в ней найтись.

Тот же Буркхардт, правда, открыл возможность рассмотрения искусства, политики, экономики, социальных движений и философии позднесредневековой Италии во всем их разнообразии и взаимозависимости, позволяя другим взять на вооружение тот же подход и при этом оставаться критичным по отношению к его исходному тезису. Однако эта возможность так и осталась нереализованной — те, кто пришел вслед за Буркхардтом, оказались способны лишь к вариациям на заданную тему, и вскоре итальянское Возрождение вознеслось на самую вершину западной цивилизации. За вторую половину XIX и почти все XX столетие итальянское искусство лишь повысило свою ценность и статус, а историческое время и место его создания обрели черты некоего сказочного мира, сплетенного из богатства, интриг и любви к прекрасному. Так как ведущая роль в сотворении и тиражировании подобного образа принадлежала историкам культуры, будет весьма поучительно взглянуть на то, какое истолкование специфическим чертам и великим свершениям Ренессанса дали два ведущих искусствоведа середины XX века.

Для Кеннета Кларка история ренессансного искусства представлялась чередой превосходящих один другого гениев, производящих на свет все более и более великие шедевры. У основания этой прогрессии находились фрески Джотто 1304–1306 годов, в середине — изваяния Донателло и архитектура Брунеллески начала XV века., и наконец она достигала сияющей вершины, венца всех человеческих свершений, в творчестве Микеланджело, Рафаэля и Леонардо да Винчи в 20-е годы XVI века. Вопреки признанному современниками новаторству Кларка, выпущенный им в 1969 году телесериал «Цивилизация» и сопровождавшая его книга сегодня выглядят чем-то вроде элегического прощания с уходящим мировоззрением. Гуманист до мозга костей во всех своих оценках, Кларк тем не менее оставался зачарованным идеалом величия — величия, которым, по его мнению, веяло от художников прошлого и бесконечная удаленность от которого так уязвляла в настоящем. Он сообщает нам, что Микеланджело «принадлежит всякой эпохе, и, возможно, более прочих эпохе великих романтиков, на фоне которых мы можем чувствовать себя лишь наследниками, растерявшими почти все их достояние». Под влиянием подобострастной манеры Кларка творения художников Возрождения начинают казаться чудесными дарами носителей сверхчеловеческой природы и не поддающегося описанию гения. Эти существа вызывают у нас священный трепет, они бесконечно отдалены от нас и, что самое проблематичное, внеисторичны. Наследие Ренессанса заключается в изобретении фигуры художника как исключительной одаренной личности, и укоренившееся позднее представление о гении сделало некоторые личности недостижимыми для истории и анализа — полубогами, существующими вне общества, времени и пространства. На первый взгляд повествуя об истории цивилизации и ее кульминации в итальянском Ренессансе, Кларк по сути изымает свой предмет из истории и рисует картину волшебного времени, когда люди по какой-то непонятной причине вдруг исполнились необычайной энергии, любознательности и любви к прекрасному. В этой истории искусства не находится места для реальной истории.

Эрнст Гомбрич придерживался несколько иного взгляда на трансформацию, происходившую в эпоху итальянского Возрождения. Он утверждал, что свобода, обретенная художниками в результате социальных перемен, открыла перед ними самые широкие перспективы, однако та же самая свобода стала источником определенных трудностей, которые пришлось преодолевать. Каждое поколение художников одновременно решало существующие проблемы и создавало новые — связанные с изображением, тематикой, пространственной композицией, соразмерностью и т. д. — до тех пор, пока все они не были в конечном счете решены уже известным нам триумvirатом — Рафаэлем, Леонардо и Микеланджело.

Ввиду нашего нынешнего скептицизма в отношении идеи прогресса, следует напомнить, что господствующая в тогдaшнем искусствоведении концепция рождения, зрелости и упадка вызывала у Гомбрича серьезное неодобрение: «Это наивное искажение — представлять постоянные метаморфозы искусства в виде непрерывного поступательного развития... Мы должны понимать, что каждое завоевание или шаг вперед в одном направлении подразумевает сдачу позиций в другом и что такой субъективный прогресс, несмотря на свою важность, не тождествен объективному увеличению художественной ценности». Даже «реалистическое» искусство Возрождения, в котором событие схватывается в самый момент происшествия, не представляет собой прогресса по сравнению с «идеализмом» средневекового искусства, которое делало образ святого заставшим в вечности, — искусство попросту выигрывало в непосредственности ценой непреходящести.

Подход Гомбрича позволяет разобраться с несуразностями, заложенными в повествовании Кларка, — то есть с объяснением непрерывного совершенствования ренессансного искусства через тот факт, что вновь рождающиеся художники каждый раз оказывались гениальнее своих предшественников, — однако ему свойственно отделять последовательное решение творческих задач от исторических достижений общества, в котором жили сами творцы. Гомбрич утверждал, что метаморфозы в искусстве объясняются не какими-либо сдви-

гами в психологии масс, а свершениями одиночек, открывающих новые пути, и возможностью для идущих следом учиться на их примере. Хотя такая концепция явно предпочтительнее усвоенного набора поверхностных закономерностей, якобы отражающих взаимосвязь искусства и общества в эпоху Ренессанса (скажем, прямо выводящих гуманизм на холсте из гуманизма в политике), в общем и целом ей свойственно изолировать художественную деятельность человека от остальной. Гомбрич отмечает общественные перемены, спровоцировавшие тот или иной переворот в искусстве, однако не рассматривает художника в реальном контексте политической, экономической, социальной и даже философской истории его времени. Можно прочесть и Кларка, и Гомбрича, так и не узнав, к примеру, что, начиная с 1494 года французские войска под предводительством Карла VIII, а позже его наследника Людовика XII, совершали регулярные походы через Альпы, которые в результате положили конец независимости всех итальянских городов-государств, кроме Венеции — единственного места, где после 1520 года еще продолжало появляться на свет новаторское искусство. Кларк и Гомбрич, наверное, отдавали себе отчет, что коротким указанием на события политической и социальной истории способны затушевать любое искаженное представление о прошлом. Но строить свою концепцию на «общепринятом» представлении о прошлом значит заниматься чем-то, противоположным самому духу исторического исследования, который требует от нас постоянного поиска, анализа и новых интерпретаций источников и сведений — в ином случае, подобно Буркхардту, мы будем искать то, что, как мы точно знаем, обязательно должно найтись. Слишком часто возникает искушение нанизать искусствоведческий сюжет на «известную» историю Запада и назвать результат западной цивилизацией.

Что в таком случае остается нам? Нас долго учили, что именно в изобразительном искусстве итальянского Ренессанса заключены смысл, дух и высочайшее достижение западной цивилизации. Однако эта концепция создает больше проблем, чем решает. В каком смысле искусство может обозна-

чать цивилизацию? И если история искусства есть история трансформаций, а не поступательного развития, как убедительно доказывает Гомбрич, то не является ли Ренессанс лишь исключительно интересным и интенсивным периодом преобразований, а вовсе не их кульминацией? Какая чаша тяжелее на наших внутренних весах: спокойная жизнь, отмеряемая часами с кукушкой, или жизнь в эпоху смятения, скрашиваемая присутствием творцов ранга Рафаэля и Боттичелли? Заключается ли суть цивилизации в том, чтобы производить гениев, как утверждает Кларк, или в том, чтобы обеспечить безопасную и наделенную смыслом жизнь для возможно большего числа людей? Или, может быть, картины и скульптуры итальянского Возрождения, являясь побочным продуктом истории Запада, все-таки представляют собой средоточие его цивилизации?

К счастью, в последние несколько десятилетий историки взяли себя показать нам и себе, на какие из этих вопросов действительно имеет смысл искать ответ и каким именно образом. Идеи искусствоведов по поводу микеланджеловского «Давида» или рафаэлевской «Афинской школы», одна изощреннее другой, уступили место дотошным исследованиям политических, экономических и общественных трансформаций, выпавших на долю позднесредневековой Италии. Предшествующие Ренессансу столетия стали рассматриваться не как подготовительные стадии к «цветению» Ренессанса, а как увлекательнейшее время изобретения, испытания и забвения человеком многообразных способов существования; XV век все больше открывается нам как исполненный горького великолепия финал прекрасной эпохи итальянской истории. Сделалось очевидным, что любое изучение мучительно рождавшейся современной Европы должно начинаться в итальянском средневековье.

Со времен Карла Великого до середины XII века северная Италия оставалась разменной монетой в политических играх между папами и императорами Священной Римской империи. Игнорируемым на протяжении десятилетий, затем

внезапно вынужденным справляться с вооруженным вторжением чужеземцев в отсутствие единого властителя, который пришел бы на их защиту, итальянским городам пришлось взять в собственные руки заботу об обороне и, по необходимости, об управлении. В 962 году германский император Оттон по уже сложившейся традиции пересек Альпы, чтобы быть провозглашенным «италийским» королем в Павии, древней столице лангобардов, а затем отправиться в Рим и принять от папы венец высшей власти. Как бы то ни было, преемники Оттона на троне смотрели на североитальянские владения как на ненужное отвлечение от домашних проблем и почти перестали наведываться по ту сторону Альп. Итальянское королевство большей частью оказалось предоставлено само себе.

Для Центральной и Западной Европы XI век был временем невиданного коммерческого, сельскохозяйственного и популяционного роста (см. главу 7). Представляя собой южную оконечность золотой сердцевины средневекового католического мира, северная Италия имела прочные торговые связи с богатыми городами южной Германии, Бургундии, северной Франции, Нидерландов и Англии. В свою очередь для этого осевого пространства Европы Италия играла роль ворот в Средиземноморье и на мусульманский Восток. Шелковый путь через Центральную Азию в северный Китай, караванные пути в Персию, Индию и южный Китай, древний торговый маршрут из Египта через Палестину в Сирию и Малую Азию, коммерческий оборот между Византией, черноморскими портами и Московией, — товары, проходящие через все узлы и направления этой обширнейшей сети, поступали в сердце Европы поначалу через Венецию и Геную, а затем и через другие итальянские города.

Развитие торговли привело к активной миграции крестьян, ремесленников, деревенских купцов и землевладельцев из сельской местности, в результате чего такие захолустные речные порты, как Флоренция, Пиза и Генуя, начали превращаться в урбанизированные центры торговли и индустрии. Ста-

рые города — Милан, Верона, Падуя, Павия, Кремона, Пьяченца, Мантуя — обрели новую жизнь, и на фоне их растущего богатства все сильнее и сильнее бросалось в глаза отсутствие в северной Италии какой бы то ни было центральной власти. Некоторые полномочия находились в руках епископов и представлявших империю графских наместников, однако было совершенно не ясно, что и кому подконтрольно — разные своды законов противоречили друг другу и никак не соответствовали вновь возникающим хозяйственным и социальным структурам. Кто имел право собирать налоги и от чьего имени? Кто должен был снабжать войска, необходимые для обороны городов и защиты крестьян от враждебных посягательств? На основе каких законов должно происходить урегулирование коммерческих споров? В тогдашней ситуации ответить на эти вопросы становилось все труднее и труднее.

Поскольку сельскохозяйственные угодья стали расти в цене, церковь, в то время крупнейший земельный магнат Италии, начала практику активных ленных пожалований в награду за службу. С XI века обширные области церковных владений стали отходить мелким землевладельцам, постепенно сформировавшим прослойку младшей знати и тогда же осознавшим, что вновь пожалованные поместья вполне могут приносить им доход и в городах, куда они не замедлили перебраться. Это был специфически итальянский феномен: в Италии новые аристократы, не ведавшие феодальных традиций, оседали в городах вместе со всем окружением — тогда как на севере и западе Европы они, за редким исключением, оставались в деревне.

По неизбежной логике событий, обосновавшись в бурно растущих городах и столкнувшись с ситуацией безначалия, люди, пользующиеся определенной поддержкой, вскоре попытались взять власть в свои руки. Между 1081 и 1138 годами в крупных городах Итальянского королевства, включая Пизу, Лукку, Милан, Парму, Рим, Геную, Верону, Болонью, Сиену и Флоренцию, к власти приходят режимы, получившие назва-

ние коммун: объединения влиятельных персон, которые приносили клятву всемерно служить делу союза и поддерживать остальных его членов. Это были состоятельные аристократы, предметом желаний которых являлось управление городом, обеспечение его безопасности и спокойствия, а также удержание его независимости. Коммуны не имели санкции императора или папы, они попросту присваивали фактический контроль на местах, подминая под себя все существующие властные органы. Первейшей задачей любой коммуны было установление и оборона границ города, и эта задача решалась насильственным захватом прилегающей сельской местности либо убеждением окрестных феодалов вступить в члены коммуны. Как следствие, через короткое время вся территория северной Италии представляла собой мозаику из небольших, но процветающих городов-государств.

К 1150 году североитальянские города всюду наслаждались плодами стремительного экономического и популяционного роста и уверенно смотрели в будущее, воодушевленные возможностью самим распоряжаться своими делами. По богатству и обороту торговли они вскоре догнали и оставили позади многие северные города, включая Антверпен, Брюгге, Майнц, Кельн и Лондон. В Милане, крупнейшем из них, проживало около 80 тысяч человек, из которых 20 тысяч трудились в текстильной, строительной, металлургической и других отраслях. Итальянские города не только торговали, но и производили великое многообразие собственных товаров.

Спокойствие этого самоуправяемого и все более процветающего мира было нарушено Фридрихом Барбароссой, грозным императором Священной Римской империи и законным наследником трона Итальянского королевства. Когда в 1154 году пожелавший короноваться по старинному обычаю Фридрих пересек Альпы, его взору предстала картина, которая не могла его обрадовать. Впрочем, богатство и военная мощь городов, номинально находившихся в подчинении императора, были в его глазах не только угрозой, но и искушением, и четыре года спустя Фридрих вернулся в сопровождении не-

мецких отрядов, чтобы навязать свою власть силой. Вторгшаяся армия довольно быстро заняла Милан, однако группа северных городов под предводительством Венеции (которая никогда не входила в империю) сформировала военный союз, и тот в 1176 году после нескольких кампаний нанес Фридриху окончательное поражение при Леньяно. По мирному договору, заключенному в 1183 году в Констанце, император передавал городам право самоуправления, издания законов и избрания консулов в обмен на уплату имперской пошлыны — вскоре благополучно забытой. Таким образом, 1183 год оказался для итальянцев началом долгого — трехсотлетнего — периода полной свободы во внутренних делах. Несмотря на то, что североευропейские города тоже обладали определенными гарантиями от вмешательства сюзеренов, лишь итальянские (и позже ганзейские и голландские) города могли по праву называться подлинно самостоятельными.

В конце XII века коммуны находились на вершине власти, будучи во главе как минимум 40 крупных городов Италии, в основном на севере страны. Изначально типичная коммуна представляла собой генеральную ассамблею, из числа участников которой выбирались от 4 до 20 консулов — глав административной и судебной власти в городе. В подражание древнеримской системе консулы занимали свою должность в течение одного года и имели право занять ее снова лишь после двухлетнего перерыва. Однако довольно скоро процесс избрания стал фактически подменяться передачей власти по усмотрению консулов, уходивших во временную отставку. Вся полнота контролирующих функций начала сосредоточиваться в руках малочисленных семейных группировок. В итоге к концу XII века общие собрания уступили место гораздо более скромным по количеству участников советам, и концентрация власти в городах достигла максимальной степени.

Фундаментом коммун был дух сотрудничества, который закреплялся соответствующей клятвой, но год от года конкуренция между их членами становилась все напряженнее. За раздроблением церковных земель последовал раздел феодаль-

ных поместий — ряды владетельного дворянства продолжали расти. Потребовалось полтора века, чтобы к 1200 году итальянская знать превратилась из немногочисленной прослойки сельской аристократии, привязанной к земле и крепко державшейся за родословие, в гораздо более широкую группу коммерчески ориентированных горожан, заинтересованных в политическом влиянии и умножении состояния посредством торговли. Перспектива же богатства и беспрецедентных властных полномочий, которая открывалась благодаря Констанцскому миру, окончательно восстановила членов всех без исключения коммун друг против друга. На несколько десятилетий в конце XII века кварталы итальянских городов превратились в места вооруженных столкновений между противоборствующими группировками. В конечном счете главенствующие семьи подчинили себе определенные городские территории, застроив их домами для родственников и прислужников, — эти районы патрулировались вооруженными наемниками, представляющими те или иные родовые фракции. Города оставались источником богатства и широких возможностей, однако они же сделались источником угрозы жизни и здоровью.

Одним из самых причудливых проявлений этого беспокойного времени стало строительство оборонительных башен. Начиная приблизительно с 1160 года в Милане, Пизе, Вероне, Парме, Флоренции, Болонье и других городах семейные союзы начинают возводить башни невероятной высоты (97 м в Болонье) и в невероятных количествах (в одной Флоренции их насчитывалось 100 штук, с местным рекордом высоты в 75 м). Эти башни были необитаемыми и служили исключительно для обороны или укрытия в моменты опасности. Эстакады, связывавшие их и проходившие над перенаселенными и исчерченными узкими улицами кварталами, превращали города в совсем уж фантастическое зрелище, однако намерения творцов этого зрелища были абсолютно приземленными. Семья контролировала свой район, его улицы, площади и церкви, и башни возвышались надо всем как зримое

доказательство ее господства. В результате раскола коммун каждый их член теперь стремился сам захватить столько власти, сколько мог.

В недрах этого причудливого и опасного городского пейзажа зародилось движение, которое привело к фундаментальному, надолго изменившему жизнь итальянских городов перевороту. Пока умножавшееся сословие знати прибирало к рукам все больше власти и богатства, в средних слоях общества выкристаллизовывались собственные организованные структуры. К 1200 году ремесленники и купцы итальянских городов, подобно своим коллегам по всей Европе, уже организовались в гильдии — ассоциации по цеховому признаку, членство в которых, как и в случае коммун, скреплялось присягой. Мясники, строители, нотариусы, седельщики, кузнецы, купцы, пекари, ткачи и красильщики образовывали корпорации для отстаивания общих интересов, однако рост городского насилия шел вразрез с самым насущным интересом — безопасностью жизни и здоровья. В большинстве городов представитель знати мог убить простолюдина, не рискуя быть наказанным по закону, а наемные головорезы запугивали каждого, осмелившегося встать на пути их хозяина или посягнуть на его территорию.

Реакцией гильдий на эту угрозу стало формирование квартальных ополчений. Участники этих добровольческих формирований держали оружие под рукой днем и ночью, готовые мгновенно явиться на призыв своего капитана; они поддерживали жесткую дисциплину, были превосходно организованы и обладали исключительным корпоративным духом — у каждого отряда имелось знамя с эмблемой: конем, львом, змеей, драконом и т. п. В начале XIII века в Болонье было 24 отряда, во Флоренции 20, в Милане, выделявшемся на фоне остальных, лишь один — Креденца святого Амвросия, — который защищал весь город.

Как бы то ни было, помимо вооруженной силы аристократия обладала особыми правами на налоговые и юридические

послабления, а также на распоряжение городской землей — привилегиями, недоступными простолюдинам, — и гильдии были бессильны изменить эту ситуацию в отсутствие политического представительства. Надо заметить, что правление коммун опиралось на особую иерархию авторитета и власти: люди, имевшие древнюю родословную и значительное состояние, считались естественными и наилучшими кандидатами на роль правителей. То обстоятельство, что члены гильдий все-таки стремились получить долю в гражданском управлении, доказывает, что средневековые европейцы не были настолько беспросветными фаталистами, как мы привыкли читать. Требования пополанов (от *popolo* — народ), как называли эти гильдейские слои, простирались далеко за пределы привычных прав, однако для защиты своих интересов в смутные и беспощадные времена у них просто не было другого выбора.

Но с какой стати аристократическим коммунам было предоставлять политические права объединившимся торговцам и ремесленникам? Ответить на этот вопрос довольно просто: город за городом пополаны достигали той переломной точки, в которой под их началом находилось больше вооруженных людей, причем лучше организованных и мотивированных, чем под началом знати. Пополаны могли отстаивать свое право на политическое представительство на словах, однако в конечном счете они перехватывали власть силой оружия, особенно когда город терпел военное поражение. Между 1200 и 1250 годом пополаны взяли под свой контроль Лукку, Пьяченцу, Лоди, Верону, Болонью, Модену, Бергамо, Сиену, Пистойю, Парму, Флоренцию и Геную. Во второй половине XIII века пополаны либо стали самой влиятельной силой, либо установили исключительный режим правления во всех главных городах северной Италии, кроме Венецианской республики.

Подъем и последующий приход к власти пополанских организаций был не кратковременным бунтом горожан, а фундаментальным и долго набравшим силу движением против утративших всякую ответственность перед городским насе-

лением властей. Его непосредственный политический эффект имел значение сам по себе, но социальные, психологические и культурные последствия были куда более обширными и долгосрочными. Во-первых, попланы изменили само представление о том, что такое город, в чем его предназначение и из чего должна состоять жизнь горожанина. Башни снесли, укрепления городских районов уничтожили. Отныне городское пространство — улицы, площади, залы для собраний, церкви — стали открытыми для всех и каждого. Расколотый в прошлом на частные владения, как бы повторявший в миниатюре сельскую феодальную географию, город теперь превратился в воплощение абсолютно новой концепции человеческого бытия. Эта концепция воссоздавала распределение власти, существовавшее в традиционных сообществах, и поднимала статус «простолюдина» — пекаря, седельщика или нотариуса — до полноправного гражданина. Жизнь обычного человека становилась не менее ценной, чем жизнь благородного феодала или прелата. Большинство жителей обретали чрезвычайный интерес к повседневному функционированию своего города, ибо отныне их делом было не только прокормление семьи, но и решение административных вопросов, издание законов, городское планирование, обеспечение помощи больным и немощным, забота о членах корпорации и служба в армии.

Если в других европейских городах и существовали режимы, аналогичные итальянским коммунам и *popolo*, то их влияние не шло ни в какое сравнение с полномочиями последних — по той простой причине, что повсюду в остальной Европе присутствовала та или иная инстанция внешнего контроля. Города Германской империи, Франции, Бургундии и Англии обретали привилегии в виде особого пожалования монархов, а не брали ситуацию в свои руки самостоятельно, и хотя верховная власть поощряла усилия местных жителей по обороне городов, никогда здешние благородные семейства не смогли бы получить в безраздельное владение целые участки городской территории и никогда бы здешним гильдиям не

позволили через создание вооруженных формирований прийти к власти. Феномен частного семейного состояния и феномен влиятельной гильдейской организации являлись неотъемлемыми чертами североευропейских городов, однако нигде, кроме Италии, они не набрали такую силу и нигде не носили такой политизированный характер.

Эпоха пополанских режимов в XIII веке стала временем крупнейшего роста населения и экономики итальянских городов. Волна энергичной деятельности захлестнула образование, государственные финансы, военное строительство на основе гражданского ополчения, политику, архитектуру, изобразительное искусство и литературу. К 1300 году уровень грамотности в Италии был выше, а образование распространено более широко, чем в любом другом европейском регионе. Расширение поля деятельности гражданской администрации и числа задействованных в ней лиц сопровождалось бурным всплеском обучения арифметике, счетоводству, коммерческой латыни и праву. Среди граждан твердо укоренилось чувство общей причастности к политическому управлению. На рубеже XIII и XIV веков в Италии насчитывалось около 300 городов, функционировавших фактически как независимые государства.

Вторая половина XIII и начало XIV века ознаменовались не только политическими и социальными, но и художественными новациями. Внезапный рост денежной массы, населения и размера городов, проникновение политики в повседневный быт, увеличение числа людей, умеющих читать и писать, напряженные отношения между благородным и ремесленным сословием, неутомное кипение городской жизни — все это порождало ощущение ненадежности и сиюминутности бытия, сочетавшееся с пьянящим вкусом власти. Именно в этот период цеховая продукция средневековых мастеров — тех, что строили и расписывали храмы, сочиняли и исполняли баллады и устные истории — впервые начала превращаться в произведения художественного творчества. Поэт Данте Алигьери

(1265–1321) служил на высоких должностях во Флорентийском государстве, прежде чем в 1302 году был изгнан из города политическими противниками. Он представляет собой замечательный пример творца, являвшегося верным сыном своего времени и в то же время с презрением отзывавшегося о многих его отличительных чертах. Поэзия Данте исполнена отвращения к расцветавшей материалистической культуре позднесредневековой Флоренции и ее изоляционистскому «патриотизму». Он жаждал вернуться к идеалу единой империи на земле под началом единого и ответственного перед Богом правителя. В то же самое время он писал на тосканском наречии и пытался создать общий итальянский язык, чтобы стихи и другие сочинения его времени были понятны всем. Именно этому особенному сплаву вечности и повседневности, нашедшему выражение в письменной стихотворной форме, принадлежит заслуга нового утверждения европейской литературы как искусства, и именно ему Данте обязан собственной славой.

В 1303 году Энрико Скровеньи, падуанский купец, заказал художнику Джотто ди Бондоне (1266–1337), который был почти ровесником Данте, серию фресок в память о своем недавно усопшем родителе. Вышедшие из-под руки Джотто фрески, посвященные теме жизни и страданий Христа, несли в себе целый ряд смелых нововведений. Уже то, что в запечатленных библейских сценах принимали участие простые итальянцы, а сами сцены разворачивались на фоне вполне обычного итальянского пейзажа — к примеру, «Оплакивание Христа» могло происходить где-то на обочине дороги в предместье Падуи, — было достаточно непривычным; главным же новшеством явилось то, что и люди, и сцены выглядели «как в жизни». Изображая «реальность», Джотто опирался на знакомство с византийской техникой, однако западная живопись его усилиями оказалась в совершенно новом творческом пространстве. Способность Джотто создавать иллюзию трехмерности обозначила радикальный перелом в традиции итальянского искусства — настолько радикальный, что понадооби-

лось еще 70 лет, чтобы другие художники научились успешно применять этот прием.

Работа Джотто по заказу семьи Скровеньи стала примером и других замечательных новшеств. Во-первых, двумя сторонами договора здесь выступили богатый купец, стремящийся обрести культурный статус (отец Скровеньи был признан виновным в ростовщичестве, поэтому семья не получила разрешения на христианское погребение), и художник, стремящийся отобразить в своем искусстве повседневный быт обыкновенных людей, — в дальнейшем такому союзу суждено было стать катализатором множества творческих достижений. Во-вторых, как и в случае с Данте, поразительное мастерство Джотто довольно скоро снискало его имени широкую славу, а ему самому — многочисленные заказы по всей северной Италии.

Повторное открытие классического мира считается ключевым моментом Ренессанса. Данте сделал римлянина Вергилия своим проводником по аду и чистилищу, другой выдающийся поэт, Петрарка (1304–1374), показал себя творческим переосмыслителем римской литературной классики. Древние латинские тексты, как и заброшенные римские колонны, акведуки и амфитеатры, всегда оставались чертой итальянской реальности, однако они казались осколками чуждого и непривлекательного мира. Художники, вновь нашедшие им применение, вовсе не пытались воскресить прошлое — они лишь оглядывались вокруг в поисках инструментов и средств, способных помочь справиться с вызовом настоящего. Представители образованной мелкой знати и ремесленники, воспитанные в эпоху пополанских режимов, старались понять, что им делать с миром, который шатался у них под ногами.

Превосходное выражение внутренней дилеммы, с которой столкнулся этот образованный класс, мы находим в творчестве Джованни Боккаччо (1313–1375). Его сборник «Декамерон» состоит из рассказов об обычных людях, рассказов, за которыми, по уверению автора, проводили время флорентийцы, спасавшиеся в деревне от бушевавшей в 1348 году чумы.

Боккаччо не интересуют религиозные сюжеты, подвиги святых или героев и даже романтическая любовь — его внимание привлекают того рода повествования, которым люди предаются ради собственного развлечения и увеселения. Названия двух историй из «Декамерона» дают вполне точное представление об интонации и содержании всей книги: «Мазетто из Лампорекио, прикинувшись немым, поступает садовником в обитель монахинь, которые все соревнуют сойтись с ним» и «Брат Чиполла обещает некоторым крестьянам показать перо ангела, но, найдя вместо него угли, говорит, что это те, на которых изжарили Сан Лоренцо». Разумеется, люди всегда развлекали себя подобными грубыми и непочтительными анекдотами, однако до Боккаччо никто и не думал их записывать. Своими сочинениями Боккаччо удовлетворял определенную потребность — не потребность собиравшихся в таверне за выпивкой крестьян, остававшихся в рамках устной традиции, но потребность образованных флорентийцев, оторванных от своих корней и ощущавших растерянность в мире, где общинные устои и солидарность все чаще отступали перед натиском амбициозного индивидуализма.

Перемены в живописи и литературе сопровождались столь же серьезными переменами в архитектуре. Новые концепции обустройства городов, возникшие в эпоху пополанских режимов, привели к рождению в Италии национальной городской архитектуры, особенно проявившейся во всем, что касалось открытых пространств и общественных зданий. Дворец дожей в Венеции, начатый в 1309 году, являет превосходный пример расположенной на первом этаже открытой сводчатой галереи, или лоджии, а церковь Орсанмикеле во Флоренции была первоначально построена в 1304 году как просторный торговый зал с открытыми сторонами и лишь несколько десятилетий спустя обнесена стеной. Как дополняющий элемент пространства площадей, принцип открытости, это детище эпохи *popolo*, применялся итальянскими архитекторами на протяжении следующих семи столетий — он воплотился в таких шедеврах, как детский приют Оспедали дельи Инноченти во Флоренции,

спроектированный Брунеллески, в нескончаемых колоннадах центра Болоньи, в бесчисленных гильдейских залах собраний, коллегиях и мостах; он порождал и усиливал ощущение города как общинного пространства. Мы по привычке ассоциируем северную Италию с эпохой Возрождения, однако сама фактура североитальянских городов, включая многие из их прекраснейших построек, была продуктом предшествующей пополанской эпохи — когда контроль за жизнью города отняли у знати и передали в руки горожан.

Правление пополанов подошло к концу, потому что они не сумели приспособиться к непрерывно возникающим новым обстоятельствам, изменявшим жизнь итальянских городов. Избирательная база *popolo*, намного превышая по своему охвату аристократические коммуны, была тем не менее ограничена пятилетним цензом оседлости, членством в гильдиях, владением собственностью и уплатой налогов. Эти обязательные условия исключали из числа граждан большую массу чернорабочих и новых иммигрантов, продолжавших прибывать в города, и поэтому во времена политических волнений пополанские цеха не могли рассчитывать на поддержку тех, кого они сознательно отстранили от возможности участвовать в самоуправлении.

Кроме того, само ядро активных пополанов стало раскалываться в результате трений, провоцировавшихся дальнейшим обогащением. Гильдии купцов и банкиров с энтузиазмом участвовали в коллективном движении, когда их интересам угрожало самовластие знати, однако с ростом достатка и влияния они почувствовали больше общего с отставленными от власти аристократами, чем с корпорациями мясников или каменщиков. В XIV веке было немало золота, которое предстояло заработать или скопить, и пока поэты писали сатиры на алчность и скупость, богатство становилось пропуском к высокому общественному положению. Сочинители того времени начинали говорить о пришествии «новых людей» и о том, что нет ничего хуже, чем совсем не иметь денег.

Бурный поток индивидуалистического материализма, захлестнувший самоуправляемые города, постепенно обвалил народные режимы. На протяжении XIV века богатство сосредоточивалось в руках все менее многочисленной и все более закрытой прослойки очень состоятельных купцов, стремившихся завладеть политической властью. Цеха еще какое-то время успешно отбивались от их посягательств, а кое-где (например, во Флоренции в 1378 году) простонародью даже удалось устроить переворот и отобрать у новой знати реальный контроль над городами. В эту беспокойную эпоху горожанин мог за свою жизнь стать свидетелем четырех или пяти смен государственного устройства. Однако в широкой перспективе XIV век стал периодом угасания политической власти пополанских режимов, на место которых приходили либо единоличные правители, либо семейные олигархии.

Деятельность новых плутократических режимов вдохновлялась не представлениями о гражданской доблести или долге, а непомерными властными аппетитами — в начале XIV века генуэзские, флорентийские и миланские изгнанники-аристократы шли войной на собственную родину при поддержке отрядов, состоящих из чужеземцев. Тогда как некоторые города — Милан, Феррара, Мантуя — переходили под контроль единоличных властителей, в некоторых других устанавливалась коллективная форма республиканского правления. Венеция (существовавшая как республика с IX века), Флоренция, Сиена и Лукка оставались республиками практически весь конец XIV и XV век; Генуя, Болонья и Перуджа за тот же период попеременно возглавлялись то республиканским правительством, то членами одной аристократической семьи. При всех возможных вариациях в XV веке господствующее положение в городах чаще всего занимали либо единоличный верховный властитель и его наследники, либо узкая группа представителей «новой знати».

Еще одной приметой XIV века стало поглощение крупными итальянскими городами более мелких соседей, которое происходило либо по соглашению, либо путем аннексии. Тер-

ритория севера полуострова вскоре оказалась разделена между восемью государствами — Венецией, Миланом, Генуей, Феррарой, Моденой, Флоренцией, Мантуей и Сиеной. Процесс рассредоточения власти внутри городов и между ними, который был столь важной чертой XIII века, постепенно, но неумолимо обращался вспять, и к концу XV века весь север Италии уже находился в руках нескольких семейств. Власть малочисленной группы людей над остальной знатью и всем населением вообще стала центральным фактом жизни любого итальянского города начала XV века. В Милане правили Висконти и Сфорца, в Мантуе — Гонзага, в Ферраре — д'Эсте, во Флоренции — Медичи, в Генуе — Спинола и Дориа. Однако процесс установления единоличного правления не был плавным и однородным, и чтобы яснее понять его связь с художественными достижениями той эпохи, нам нужно сосредоточить внимание на Флоренции — городе, где эти достижения проявили себя в наибольшей степени.

Поздно включившаяся в общий бурный процесс новой североитальянской урбанизации из-за удаленности от моря и поначалу отстававшая от Венеции и Генуи, Флоренция догнала и обошла конкурентов, опираясь на развитие не только торговли, но также производственной и финансовой составляющей экономики. Все европейские города постепенно превращались в производительные центры, и Флоренции удалось стать первой среди них. Ее специализацией стал шерстяной текстиль: чистка, воросование, выбраковка, гребнечесание, прядение, ткание, валяние, окрашивание — все это выполнялось в мелких городских мастерских, связанных друг с другом сложной коллективной структурой. По традиции за процессом производства следили цеховые мастера, а закупкой сырья и сбытом готовой продукции ведали купцы. Однако вскоре эта средневековая система претерпела двойную трансформацию, и каждый раз флорентийцы играли в ней ведущую роль. Во-первых, на смену цеховым мастерам и купцам пришло новое племя капиталистов-предпринимателей,

которые поставили под свой контроль и торговлю тканями, и их изготовление. Еще в XIII веке флорентийские купцы начали открывать представительства по всей Европе, от Эдинбурга до Константинополя (к примеру, в архивах семьи Датини хранятся письма от клиентов и поставщиков из 200 европейских городов), одновременно скупая мастерские в самой Флоренции и нанимая для них специальных управляющих.

Второй коммерческой инновацией стало развитие банковского дела. Для поддержания торговой сети новым предпринимателям требовался механизм, смысл которого должен был состоять в том, чтобы делать деньги доступными в нужное время и нужном месте. Флорентийцы сумели наладить такой механизм раньше кого бы то ни было: они выступали гарантами для купечества, обеспечивали кредитами, оказывали финансовую и бухгалтерскую помощь. Возникновение феномена банкира, то есть человека, который был источником и продавцом не товаров и не услуг, а только денег, стало важнейшим шагом в экономической истории. На вершине своего могущества Флоренция контролировалась примерно сотней семейств, и все они были так или иначе связаны с банковским делом.

Описанные хозяйственные новшества могут показаться чем-то само собой разумеющимся, однако усовершенствование организационной составляющей произвело настоящий переворот в европейской коммерции. Отчасти он опирался и на технологический прогресс. К XIII веку в Италии уже начали производить бумагу, все больше распространялось употребление арабских цифр. Механические часы, завоевавшие широкую популярность в XIV и XV веках, придали иное измерение организации и производительности труда. Как раз во Флоренции впервые применили систему двойной записи в счетоводстве, и именно местные банкиры взяли на себя организацию обмена валюты (ситуация, когда каждый город-государство чеканил собственную монету, несла в себе серьезную потенциальную угрозу для торговли) — помимо выдачи кредитов, покрытия перерасхода, принятия вкладов, снабже-

ния наличностью и т. д. В 1355 году семья Перуцци имела представительства во Флоренции, Палермо, Неаполе, Авиньоне, Брюгге и Лондоне, ее агенты управляли местными банками и в других крупных европейских городах. Агенты ее соперников, семьи Барди, действовали в Константинополе и Иерусалиме, на Кипре и Майорке, в Барселоне, Ницце, Марселе, Париже, Авиньоне, Лионе и Брюгге. Флорентийцы были банкирами не только для соотечественников — но для всей Европы и ее самого зажиточного купечества.

Образование в средневековой Флоренции, несмотря на отсутствие собственного университета (что, не исключено, было сознательным решением), находилось на самом высоком уровне. В середине XIII века из 90 тысяч флорентийцев в списках учащихся различных заведений состояли 10 тысяч молодых людей, причем около полутора тысяч из них обучались в высших школах, где преподавались математика, латынь и логика. Учитывая также специальную подготовку, которую получали будущие праведы и банкиры, вся эта система производила весьма внушительное количество образованных, умеющих обращаться со словами и цифрами граждан.

К тому же, несмотря на исключительное богатство купеческих и банкирских домов, во Флоренции были сильны пополанская и республиканская традиции. Добившись полной независимости в 1115 году, после смерти маркграфини Тосканской Матильды, Флорентийская республика сразу же сделалась ареной противостояния фракции вождей, поддерживавших папу, — гвельфов, — и фракции на стороне императора — гиббелинов. Так как почти на всем протяжении следующих нескольких столетий гвельфам удавалось сохранять за собой последнее слово, двумя основными участниками политической конкуренции в городе стали так называемые *Primo Popolo*, группировка, возглавляемая купцами, и *Secundo Popolo*, представители ремесленных гильдий. В 1378 году волнения среди низовых слоев ткацких рабочих привели к кратковременному захвату власти «чомпи» — так называли людей, не имеющих собственности и политических прав, — однако ку-

печеское сословие быстро вернуло себе контроль. До того, как в 1434 году верховное положение в республике занял Козимо Медичи, Флоренция целых 300 лет избегала диктата единоличных тиранов или представителей какой-либо одной семьи. Возвышение Медичи, совпавшее с периодом наибольшего расцвета Флоренции, ознаменовало конец создававшейся трудом поколений традиции гражданского республиканского строя.

Хотя в каждом городе имелось великое разнообразие промыслов и занятий, каждый отличался и особой специализацией. Венеция славилась печатным делом и торговлей с Востоком, Падуя — университетским и ученым сословием, Сиена — шерстью, Лукка — оливковым маслом и шелком, а Флоренция — тканями, банкирами и художниками. Веками сыновья из ремесленных фамилий по достижении определенного возраста отдавались в цеховые подмастерья. Семьи платили мастеру за обучение отпрысков профессии, а иногда и за то, что тот обеспечивал кров и стол. В конце ученичества, перешагнув 21-летний рубеж, подмастерье получал право обратиться с прошением о зачислении в члены гильдии и пройти испытание на звание цехового мастера. В XV веке во Флоренции было 270 текстильных, 84 древорезчицких, 54 каменотесных, 83 шелкопрядильных и 73 золотоделных мастерских, причем последние имели широкий круг занятий: гравировка, оправка камней, разработка оригинальных ювелирных изделий, литье из золота, серебра, бронзы и меди.

В конце XIV века именно золотые мастерские Флоренции, база самой престижной корпорации, стали питомником для целого ряда художников-новаторов. В 1391 году пятнадцатилетний Филиппо Брунеллески сообщил своему преуспевающему отцу, что вместо уготованной карьеры нотариуса он желает поступить в учение к золотых дел мастеру по имени Бенинказа Лотти. Кроме юного Брунеллески, которому было суждено стать самым влиятельным художником во флорентийской истории, тем же путем решили пойти Гиберти (у которого ювелиром был отчим), Орканья, делла Роббиа, Дона-

телло, Уччелло, Вероккьо, Боттичелли, Леонардо и Гоццоли — все эти флорентийские скульпторы и живописцы обучались у золотоделов, в мастерских которых фактически давались цеховые навыки самого широкого профиля. Это была жизнь, насыщенная напряженной практической деятельностью, с медленным освоением разнообразных ручных техник и отсутствием всякого образования, даже в письме и чтении, не говоря о богословии или классической литературе. Ремесленная работа была связана с физическим трудом, грязью и при этом требовала старательности.

Если некоторые подмастерья искали путей для творческого выражения, то стимулом большинства был огромный спрос на ремесленную продукцию, который существовал во Флоренции и других итальянских городах. Шло активное строительство новых церквей, залов для цеховых собраний, больниц, частных палаццо, и требовались зодчие и работники многих других специальностей; еще одним фактором являлся постепенно обнаруживавшийся у зажиточных семей вкус к роскоши: драгоценностям, тканям с золотым шитьем, гобеленам, мебели, картинам. Вопрос, однако, заключается в том, почему спрос на продукцию всех этих мастеров повлек за собой необратимую трансформацию природы художественного выражения?

Флорентийские традиции ремесленного творчества и все еще не угасшая слава Джотто явно были серьезным стимулом для энергичной, честолюбивой и преисполненной новых идей молодежи, однако немаловажную роль в ее выдвижении сыграла и политическая жизнь Флоренции. В первые десятилетия XV века духовная атмосфера города представляла собой причудливую сумму таких слагаемых, как гражданское самосознание, чувство общинного единства и чрезмерный достаток некоторых горожан. Республиканская традиция означала для флорентийцев нечто большее, чем отсутствие монарха или герцога — республиканство было живым принципом отношений между городом и его обитателями и источником глубоко укорененного в них ощущения взаимопричаст-

ности. В 1400 году центр Флоренции являл собой картину кипучей деятельности — возобновилась работа над собором Санта-Мария-дель-Фьоре, выкладывалась площадь Пьяцца-дель-Опера, строилось новое здание Опера-дель-Дуомо. Когда в тот год эпидемия чумы унесла жизни 12 тысяч из 50 тысяч горожан, память о великом бедствии было решено увековечить на вторых дверях городского баптистерия, а оплату работы по украшению взяла на себя гильдия торговцев сукном. Однако еще до того, как был решен вопрос о будущем авторе бронзового рельефа дверей (произведения, традиционно считающегося поворотной вехой в истории европейского искусства), над городом нависла новая опасность. Летом 1402 года войска миланского тирана Джангалеаццо Висконти блокировали и осадили Флоренцию, поставив под угрозу как ее независимость, так и судьбу республиканского правления. По счастью, в начале сентября того же года Висконти умер от лихорадки и миланцы отступили, оставив флорентийцев праздновать победу, которая одновременно стала триумфом республиканской свободы над тиранией. Предприимчивые художники увидели в этом возможность продемонстрировать свое искусство и применить на практике некоторые новые изобразительные идеи. Расход общественных средств на уход за баптистерием и завершение брошенного строительства собора находилось в руках гильдии торговцев сукном, скульптурное украшение фасада Орсанмикеле контролировали *Arti Maggiori* — Великие гильдии. Они-то и поручили работу, находящуюся в их ведении, Гиберти, Вероккьо, ди Банко, Тедеско и Донателло. Какое-то время спустя, в 1420 году, Брунеллески, уже успевший спроектировать несколько купольных сводов для корпорации шерстяников, выиграл еще один заказ комитета гильдий — на строительство свода Санта-Мария-дель-Фьоре.

Обеспеченные богатыми заказами, художники воспользовались ими для того, чтобы предпринять решительную попытку порвать с традицией. Когда-то средневековая и византийская церковная роспись и рельефы создавались с целью

вызвать у верующих благоговение и духовное переживание, как бы в помощь акту религиозного поклонения, а главным сюжетом был один из святых, или сам Спаситель, в молитвенном предстоянии. Лучшие образцы канона представляли собой глубоко волнующие произведения искусства, однако столетия повторений и копирования стереотипизировали эти изображения и притупили эффект. И если Марафонская битва дала Геродоту повод сфокусировать внимание слушателей и читателей на событиях современности, то поражение миланских войск стало поводом для флорентийских художников изменить выразительный фокус тогдашнего искусства. Вместо того чтобы запечатлеть святых угодников за молитвой, они, вместе со своими покровителями, хотели прославить гражданина Флоренции, носителя цехового духа и республиканских убеждений, твердо вставшего на защиту города от тирании. У искавших выразительные средства для такого прославления было два очевидных источника вдохновения: во-первых, творения Джотто, окружавшие их повсюду; во-вторых, остатки римского искусства. О сделанном ренессансными мастерами открытии классического мира сказано и написано более чем достаточно, но нужно отдавать себе отчет в том, что это открытие не было прямолинейным усвоением прошлого. Брунеллески, Донателло и другие щедро черпали из классического наследия — изваяний, мозаик, разрушенных зданий, архитектурных ордеров — не потому, что стремились воссоздать давно минувший мир, а потому что существовавшие зодческие, скульптурные и живописные приемы перестали отвечать потребностям публики. Далекое от желания возродить культуру римской республики, художники Возрождения попросту брали все, что попадало под руку.

Отход от средневекового искусства явственно проступает в скульптурном изображении святого Георгия, созданном Донателло в 1415 году по заказу гильдии флорентийских оружейников. Оставаясь религиозной фигурой, у Донателло святой теряет в видимом благочестии и одухотворенности, но приобретает в решительности и физической мощи. Изваяние

не должно было погрузить зрителей в возвышенно созерцательное состояние, художник явно хотел заставить их восхищаться Георгием как человеком. И тем не менее оно представляет не идеальную, классическую, а отчетливо современную фигуру — вопреки нашему привычному восприятию произведений ренессансного искусства как образцов захватывающей красоты, Донателло, Мазаччо, Мантенья и другие мастера раннего Возрождения сознательно старались уйти от устоявшихся средневековых представлений о красоте, придавая первостепенное значение выразительной ясности, правдивости и прямоте.

Хотя знание о классическом мире всегда присутствовало в культуре этих мест, начало XV века стало временем неожиданной волны интереса ко всему римскому. Язык и литература классического Рима вошли в моду, один за другим выискивались до сих пор неизвестные широкой публике античные манускрипты. Вместе с рукописями был найден — и открыт — дом Цицерона, люди зачитывались вновь обнаруженными сочинениями таких авторов, как Лукреций и Квинтиллиан, а останки историка Тита Ливия эксгумировали и перенесли на хранение в ратушу его родной Падуи под почти религиозные восторги собравшегося народа. По свидетельству некоторых историков, Брунеллески и Донателло потратили годы на раскопки в римских развалинах, в ходе которых они проводили измерения и покрывали страницы тетрадей-кодексов множеством зашифрованных пометок, чтобы вдохновенными вернуться обратно во Флоренцию. Эти развалины не вызывали никакого интереса у их предшественников, и более того, в глазах средневековых европейцев они были обгажены кровью христианских мучеников. Отнюдь не сводящийся к личной любознательности интерес Брунеллески и других мастеров, таким образом, знаменовал перемену в представлениях Европы о своем прошлом.

Интерес к римской классике не мог не пробудить интерес к классике греческой. В середине XIV века Боккаччо сетовал на то, что в Италии некому научить греческому, однако к на-

чалу следующего века образованные люди из Византии уже знали, что могут обеспечить себе безбедное житье, преподавая сыновьям итальянских купцов и банкиров греческий язык, литературу и философию. Как в свое время зажиточные римляне отправлялись в города эллинистического мира за ученостью, так и флорентийцы, венецианцы и миланцы выстраивались в очередь к византийским учителям. После 1452 года, когда Константинополь пал под натиском армий Мехмеда II, Италию наводнили грекоговорящие беженцы и греческие манускрипты.

В 1420 году, преодолев множество препон, вернувшийся во Флоренцию Брунеллески выиграл подряд гильдии каменщиков на строительство купола Санта-Мария-дель-Фьоре. Решение проблемы покрытия обширного пространства флорентийского собора, к которому пришел Брунеллески, блестяще сочетало готическую технику реберного свода с классической куполообразной формой, венчавшей римские базилики, — все его последующие работы в стилевом отношении воплощали собой смелую эклектическую смесь, использующую элементы римской и греческой архитектуры. Этот мастер заимствований щедро применял арки, колонны, капители, пилястры и фронтоны в проектах зданий (например, таких, как исключительно оригинальная капелла Пацци), которые были совсем не похожи на античные храмы или готические соборы.

Стремление к правдивости и естественности в искусстве постепенно приближало живописцев и скульпторов к изображению мира таким, каким он представлялся их глазам. В 1425 году Мазаччо применил математическое построение перспективы в «Святой Троице» — фреске в церкви Санта-Мария-Новелла, которая показала, насколько успешно живопись способна передавать трехмерное пространство. Он же впервые воспользовался эффектом так называемой тоновой перспективы, при котором краски использовались для того, чтобы вызывать ощущение близости или удаленно-

сти. При этом, в отличие от других художников, все сильнее увлекавшихся идеализацией предмета, он оставался верен неприукрашенному реализму. Суровая прямота Мазаччо, несомненно оказавшего серьезное влияние на позднейших мастеров (и сегодня по праву считающегося ключевой фигурой ренессансного искусства), расходилась с преобладающим настроением процветающей, плутократической Флоренции, и это, вероятно, повлияло на его решение покинуть город в 1427 году.

Из сказанного видно, что искусство флорентийского раннего Ренессанса создавалось под действием различных импульсов и влияний. Городские гильдии ждали от художников прославления республиканского духа Флоренции и располагали средствами для оплаты их труда. Сами художники, воспитанные работой в цеховых мастерских и на заказ, с готовностью адаптировали навыки средневековых живописцев, резчиков и строителей к новым нуждам, обращаясь за вдохновением к первопроходческим достижениям Джотто и вошедшему в моду (не без их собственных усилий) классическому прошлому. Со времен Джотто высшей похвалой художнику стало сравнение его творений с наследием древних. Явно хорошо знакомые с мозаиками, изваяниями и прочими элементами изобразительного искусства, оставшимися от римских времен, Гиберти, Мазаччо, Донателло, Брунеллески и другие мастера увлеченно осваивали классические приемы, включая некоторые из них в свой творческий арсенал.

Однако в то самое время, когда Брунеллески, создавая классический фасад Ospedale della Innocenti, направлял по новому пути развитие европейского зодчества, политическая, общественная и культурная жизнь Флоренции претерпевала серьезную трансформацию. Еще во второй половине XIV века городская экономика вступила в период застоя: финансовые неурядицы обрушили старые банковские империи Барди и Перуцци, чума уничтожила половину населения города и значительно сократила хозяйственную активность. Уже упомянутое восстание текстильных рабочих в 1378 году

происходило на фоне двукратного снижения числа заказов на продукцию по сравнению с полувековой давностью. В условиях экономической стагнации несколькими новым купеческим домам постепенно удалось прибрать к рукам значительную долю флорентийского производства, торговли и богатства — на первые роли во Флоренции выдвинулись семейства Ручеллаи, Строщи, Питти и Медичи. Именно Козимо Медичи, унаследовавший в 1429 году огромное состояние своего отца Джованни Медичи, оказался тем человеком, которому, несмотря на по-прежнему номинально республиканский статус Флорентийского государства, удалось подчинить себе городской совет и с 1434 года пожизненно, на долгие 30 лет, стать фактическим правителем города. Это правление явилось самым ярким симптомом общего процесса возвышения роли отдельных людей и упадка влияния общества. Читая результаты государственной переписи 1434 года, мы узнаем, что на тот момент в руках 100 наиболее зажиточных семей Флоренции находилось 27 процентов городского богатства, а половина долговых обязательств бюджета (важный источник дохода для кредиторов) принадлежала 200 домам — и при этом один из каждых семи горожан официально признавался нуждающимся. Рента с флорентийских сельских территорий, поступающая в город, также оседала в карманах богатой элиты. В этих обстоятельствах, несмотря на продолжающийся поток поручений от коллективных заказчиков — в первую очередь, церковей и гильдий — и на то, что в подавляющем большинстве случаев содержанием произведений искусства оставались религиозные сюжеты, частное покровительство начало все заметнее сказываться на творчестве художников. Редкий заказ на оформление вновь построенной часовни от гильдии торговцев шерстью не отменял для них того факта, что основным источником заработка были одна-две самых влиятельных семьи — щедрость которых чем дальше, тем больше требовала наглядных выражений признательности.

Следующая стадия этой эволюции, явственно прослеживаемая во внешнем и внутреннем убранстве флорентийских

церквей XV века, ознаменовалась преобладающей активностью индивидуальных заказчиков и семей и решительным оттеснением на задний план общественного покровительства искусству. Немногочисленные представители богатой верхушки сделали патронами своих гильдий, и именно их влиянию обязаны непривычные прежде новшества: сооружение роскошных династических часовен и гробниц, упоминание имен заказчиков на алтарных росписях и фасадах храмов. Вдобавок в середине XV века расцвет архитектуры и скульптуры, доминировавших в раннем Ренессансе, начал сопровождаться расцветом живописи — по мере того как пространством для обозрения произведений искусства все реже становилась общинная церковь и все чаще — частное палаццо. В 40-х годах XV века сооружаются родовые дворцы Медичи, Ручеллаи и Питти; еще сотня таких дворцов была построена во Флоренции до конца века, и всем дворцам требовались предметы для украшения интерьеров и садов.

Еще в 1430-х годах Ян ван Эйк научился достигать поразительного живописного эффекта, разводя краски на масляной основе. Итальянские художники довольно скоро открыли для себя, что масляная техника, позволяющая наносить красочное покрытие тончайшими прозрачными слоями, способна с невероятной точностью воспроизводить одновременно глубину и поверхность, тем самым создавая почти волшебную имитацию реального мира. Станковая картина, выполненная в этой технике, оказалась транспортабельным предметом роскоши, идеально подходящим для вновь строящихся палаццо, — однако сам факт превращения искусства из публичного в частное достояние обозначил новую линию раздела между элитой и массами. Кроме того, стоило богатым покровителям обнаружить, какого поразительного (и часто лестного) сходства изображения с моделью могут добиваться станковые живописцы — Уччелло, Гирландайо, Мантенья, Венециано, Кастаньо, — жанр портрета, практически отсутствовавший до 1450 года, стал немедленно набирать популярность.

Помимо новых поручений художникам, состоятельные люди увлеклись поиском произведений прошлого: возник рынок искусства, на котором профессиональные порученцы и советники действовали от лица собирателей (герцог Миланский держал во Флоренции собственного закупщика), а художники рекламировали свои умения, соревнуясь друг с другом за новые заказы. В конце XV века несколько первенствующих на рынке мастеров (Липпи, Перуджино, Леонардо, Микеланджело), к тому времени во многом сблизившихся со своими покровителями по образу мыслей, уже имели возможность, используя собственный статус, отойти от гильдий и зарабатывать большие суммы денег самостоятельно, тем самым, пусть не до конца осознанно, породив новый исторический феномен — художественную элиту.

Серьезный рост масштабов частного меценатства во Флоренции не был результатом лишь увеличения династических состояний. Судя по всему, мода на античную классику, начавший исподволь сказываться эффект распространения светского образования, долгосрочная политическая стабильность и стремительный инновационный процесс в искусстве — все это образовало с частным богатством единую совокупность факторов, которая изменила самовосприятие флорентийцев. Классические тексты Сенеки и Цицерона, казалось, говорили этим состоятельным мирянам гораздо более понятные вещи, нежели библейские притчи или мрачные поучения богословов. Естественно, прежние представления о добродетели не могли устоять в этой ситуации: во-первых, отказ от мирского богатства (необходимость которого провозглашалась Писанием и буллами папы Григория) попросту перестал быть возможным, а, во-вторых, под рукой уже имелась иная мораль, сформулированная классическими авторами и их современными интерпретаторами. Те, кто обладал богатством и честолюбием, больше не желали стыдиться — купцы эпохи Возрождения хотели тратить свои деньги на прекрасные предметы и чувствовать себя добродетельными в той же мере, в какой ощущали себя их предшественники, жертвовавшие

средства на церкви, монастыри и приюты. Ответом на их потребность явилась концепция гражданского гуманизма.

Новый идеал гражданственности был выдвинут флорентийскими учеными-гуманистами, такими, как Леонардо Бруни и Колуччо Салютати, и живо подхвачен представителями купеческого сословия. Гуманисты пытались внушить своим слушателям и читателям, что богатства и общественного положения недостаточно, чтобы называть человека «благородным», что кроме этого он должен разбираться в искусстве и развивать свою добродетель, рассуждать о жизни с моральной точки зрения. Вместо церкви функцию нравственного ориентира начинал выполнять особый настрой мысли и чувства, воспитываемый классической литературой как образчиком благородной традиции гражданского республиканства, личного самосознания и самосовершенствования. От руководителя, вельможи, властителя требовалось быть мудрецом — рассудительным и добродетельным человеком, будучи при этом знатоком искусства и света. Так выглядел идеал, который с готовностью усваивали члены правящей элиты итальянских городов в XV веке. Сколь бы лицемерным и тщеславным ни был каждый из них в отдельности, жизнь предполагалась подчиненной этому новому социальному эталону.

Подобное развитие событий вполне заслуживает в наших глазах самого цинического отношения — ведь нам кажется, что гражданский гуманизм ловкой интеллектуальной подтасовкой превращал политические амбиции и ненасытное стяжательство в доктрину гражданской активности и просвещенного покровительства (не говоря о том, что гражданская активность являлась неотъемлемой чертой средневековой жизни европейских, и особенно итальянских городов, начиная как минимум с XII века). Однако лишь такой парадоксальный и противоречивый характер флорентийского общества мог послужить катализатором столь стремительных перемен. Из сочинений Леонардо Бруни, к примеру, мы понимаем, что сам автор был страстным республиканцем, который обличал захват политической власти силой богатства. Бруни сделал

чрезвычайно много для распространения идей гражданского гуманизма, в чем опирался на вновь открытые труды классической эпохи, и он же пытался отстоять средневековую флорентийскую традицию республиканства от посягательств набиравшей вес олигархии. К тому же, сколь бы новые плутократы и властители ни напоминали своей самонадеянностью средневековых баронов, все они, вместе с членами их семейств и окружением, вольно или невольно являлись наследниками сложной городской культуры, насчитывавшей к тому моменту уже несколько веков развития. Сущность этой культуры мало-помалу изменялась под давлением потребностей денежной экономики, и лишь во Флоренции в XV веке был достигнут тот поворотный момент, который сделал эти изменения необратимыми.

Открытие путей социального роста и накопления богатства сопровождалось все сильнее ощущаемой каждым отдельным членом общества (и особенно каждой семьей) необходимостью самому заботиться о собственных интересах. По мере того как власть концентрировалась в руках нескольких людей или одной семьи, другие прилагали все больше усилий, чтобы оказаться в максимальной близости к этой власти, — приобретая богатство, которое в свою очередь конвертировалось в общественное положение. Люди начали видеть свою жизнь по-иному. Сформулированная Августином и папой Григорием доктрина отречения от мирских благ и сосредоточения на молитве и богоугодных делах уступила место непрерывной активности и стремлению к успеху. В средневековом мире человек измерял время движением солнца по небесводу и не чувствовал потребности втискивать в каждый из проходящих часов как можно больше дел. Напротив, характер эпохи Ренессанса прежде всего проявился в том, что личные достижения вышли на первый план, а время превратилось в предмет потребления — нечто, что нужно тратить с полной и безжалостной самоотдачей для приобретения знаний, завоевания общественного положения и зарабатывания денег. Козимо Медичи, как свидетельствует Марсилио Фичино, «тра-

тил свои дни с бережливостью, тщательно учитывая каждый час и скупко расходуя каждую секунду». К тому же процветающая математическая наука все активнее способствовала восприятию мира как гигантской математической задачи — в таком мире требовалось постоянно вести измерения, а вычисления играли роль ключа к правильной жизни.

По мере накопления баснословных богатств их демонстрация превращалась в важную часть социальной роли верхушки общества. Стремясь перещеголять друг друга в погоне за славой и преклонением окружающих, властители делали горожан свидетелями все более расточительных и экстравагантных проявлений роскоши и меценатства. Герцог Миланский, прибывший в 1471 году с государственным визитом во Флоренцию, возглавлял процессию, которая состояла из 2 тысяч лошадей, 200 вьючных мулов, 5 тысяч пар гончих собак и нескольких тысяч придворных. Весь кортеж был убран в шитый золотом и серебром бархат, а его общая стоимость приближалась к 200 тысячам дукатов (при среднегодовом жалованьи тогдашнего чернорабочего в 15 дукатов). Лукрецию Борджиа, в ее свадебном путешествии из Рима в Феррару в 1502 году, сопровождали 700 придворных, приданое же, которое она везла, составляло 100 тысяч дукатов. Федерико да Монтефельтро потратил 200 тысяч дукатов только на расходы при строительстве дворца в Урбино, после чего воздвиг себе еще один дворец в Губбио. Выставление напоказ личного богатства, да еще столь чрезмерное, было новым феноменом для Италии, однако набравшая силу тенденция к самопрославлению им не ограничивалась. Знатные семьи заказывали живописцам и скульпторам изображения себя, своих родственников, детей, даже собак. Каждый стремился во что бы то ни стало превзойти конкурентов, для чего нанимал лучших художников и все с большей пышностью обставлял процессии, бракосочетания и церемонии вступления в должность.

В этом контексте становится понятно подлинное достижение гражданского гуманизма. Ренессансный культ личности угрожал расколоть общество на множество конфликтую-

щих сил и интересов, а потому перед Бруни и его единомышленниками встала задача пробудить у членов плутократической верхушки, а также их отпрысков память о благородных традициях городов, дать нравственную систему координат, опирающуюся на еще более древнюю интеллектуальную и художественную традицию, и в конечном счете сохранить культурные узы, связывавшие богатого и могущественного одиночку с городской общиной. Эта попытка была обречена на провал, однако, пока она еще имела смысл, трения между противоположными началами индивидуального и общественного оставались источником непрерывного обновления искусства.

Какова же была реакция флорентийских художников на потребности новых покровителей и на метаморфозы окружающего их мира? Во-первых, изменилось содержание работ. Несмотря на по-прежнему преимущественно религиозный характер живописи, внутри изображаемых библейских сцен стали появляться светские персонажи, кроме того, наряду с христианскими были узаконены и классические сюжеты — прекрасным примером здесь может послужить боттичеллиевское «Рождение Венеры», созданное по поручению дома Медичи в 1485 году. Поскольку правители и их родственники стремились запечатлеть свой облик на заказываемых полотнах, поначалу многие портреты исполнялись как произведения на традиционные религиозные темы: Мантенья написал Гонзага в виде Святого семейства, молодой Лоренцо Медичи был представлен одним из главных персонажей «Шествия волхвов» Гюццолли, а Тициан позже изобразил членов семьи Пезаро вместе со святыми, собравшимися у престола Богоматери. Изменилась и сама техника портрета: на смену суровому реализму Донателло и Мазаччо пришла более мягкая манера, отчасти являвшаяся следствием применения масляных красок, а отчасти продиктованная необходимостью передать внешний блеск и великолепие изображаемой модели. Символизм, характерный для средневековой фрески или изваяния, уступил «истории», повествовательности — картины

сделались отображениями конкретного момента в известном зрителю событии. Этот повествовательный стиль потребовал от художников еще большего правдоподобия как в плане естественности композиции, так и в плане имитации объектов реального мира: людей, животных, драпировок, ландшафтов и т. д. Покровители приходили в восторг и изумление, видя с каким исключительным мастерством живописцы способны вызвать у зрителя иллюзии глубины и поверхности и сделать буквально осязаемыми детали пышной обстановки. Поскольку они рассматривали эти полотна как еще один способ демонстрации своих богатств, привычный смысловой центр произведения, к примеру библейская сцена, в угоду им часто обрамлялся обилием тщательно выписанных дорогостоящих предметов. Исследования Джона Берджера и, совсем недавно, Лизы Джардин рассказали нам о том, как, потворствуя желаниям работодателей, художники изображали роскошь и как сами картины превращались в еще один из предметов этой роскоши — предмет, которым можно было владеть и торговать.

Все сказанное дает некоторое представление об искусстве Высокого Возрождения и оставляет за скобками его самое важное качество. Критики и историки искусства веками стремились представить архитектуру, скульптуру и живопись этого периода как свидетельство великого возрождения классического рационального гуманизма: в их устах искусство Ренессанса оказывалось в первую очередь «гуманистическим» искусством. Такая связка и вправду напрашивается: картины и скульптуры все больше напоминали окружающий реальный мир, изображаемые фигуры все сильнее походили на обычных людей, а содержание все чаще имело светский характер, — однако это не значит, что такова истинная ситуация. Весьма искусные, но не более того, художники Ренессанса (например, Поллайоло и Гбццоли) действительно могли довольствоваться изображением «новых» рациональных людей — людей, крепко держащих в руках свою судьбу и судьбу всего, что находилось в их ведении. Однако если бы к этому и

сводилось искусство Ренессанса, оно давно было бы мертво для нас. Подлинное достижение Мантеньи, Микеланджело, Беллини, Тициана и других заключалось в том, что на волне растущего благосостояния и в атмосфере непрерывного обновления они сумели произвести на свет искусство, которое выходило далеко за пределы сюжетного содержания. «Святое семейство» Мантеньи, «Давид» Микеланджело, мальчик с алтаря Пезаро Тициана, нимфа на картине Гирландайо «Рождество Иоанна Крестителя», выражение лица Леонардо на его автопортрете — все это не зримые воплощения рационального гуманизма, а напоминания о том, что даже облаченный в золотые ризы, окруженный часами, книгами и драгоценными шкатулками, человек всегда остается феноменом природы. Ренессанс иногда называли возвращением язычества, и историки не жалели сил, чтобы понять, как это утверждение согласуется с ренессансным культом личности и идеалом рационального гуманиста. Ответ, возможно, заключается в том, что никакого согласия нет. Художник Возрождения был детищем индивидуалистической культуры, однако отсюда не следует, что его искусство непосредственно служило прославлению собственного статуса или рационально-гуманистического идеала.

В первой половине XV века Брунеллески и Донателло еще ощущали необходимость высвободиться из пут средневекового стиля, однако совсем скоро стремительный оборот событий столкнул их последователей лицом к лицу с другой угрозой — угрозой того, что их искусство может превратиться из посредника духовного самовыражения в драгоценный предмет потребления. Если живопись перестала играть роль подспорья для религиозного опыта, в чем тогда ее предназначение? Лучшим творцам Ренессанса принадлежала заслуга нового утверждения смысла, который изобразительное искусство сохраняло на протяжении тысячелетий. Подобно своим языческим предкам, они разглядели в человеке — с его телесными формами, эмоциями, тончайшей гаммой настроений, высокомерием и слабостями — не некое надприродное явле-

ние, а неотъемлемую часть вещественного мира. В микеланджеловском «Давиде» мы узнаем не рациональный объект, а воплощение физического начала, в «Умиравшем рабе» мы видим запечатленное сексуальное переживание. Как и камнерезчики Парфенона за две тысячи лет до того, Микеланджело словно бы напоминал своим зрителям, что они прежде всего остаются существами телесными, чувствующими, эмоциональными.

Мир итальянских правителей, вельмож и купцов, вершивших дела в атмосфере непомерного частного богатства и политических интриг, пришел к неожиданному и печальному концу, когда в 1494 году французский король Карл VIII, стремительно преодолев Альпы и заручившись поддержкой миланских герцогов Сфорца, во главе тридцатитысячного войска прошел по всей Италии, чтобы завладеть неаполитанской короной. Эта военная интервенция решительно опрокинула долго и трудно складывавшийся между итальянскими городами-государствами баланс власти. Для изгнания французов Венеция пошла на союз с папством, Священной Римской империей (к тому времени уже находившейся в руках австрийской династии Габсбургов) и Испанией, однако итогом этого противостояния оказался конец эпохи самостоятельности североитальянских городов. На следующие полвека Италия, эта блистающая сокровищница, открытая для разграбления чужеземцам, опять, как когда-то, превратилась в арену выяснения отношений между внешними силами: Франция, Испания и Габсбургская империя наводнили полуостров своими войсками. Город-государство не мог выдержать давления амбициозных национальных монархий, поэтому вскоре герцоги и правители Италии сделались марионетками в руках европейских великих держав. Карл V, император Священной Римской империи, а также властитель Испании, Бургундии и Нидерландов, и враждовавший с ним французский король Франциск I только в промежутке между 1520 и 1544 годами умудрились провести четыре военных кампании в северной Италии. Безумный хаос войны, сделавший обыкновением



А

Северная Италия

Многочисленные коммуны в границах номинально к 1490-м годам сократились до небольшого



Б

в 1200 и 1490 годах

существовавшего Итальянского королевства в 1200 году (А)
 числа городов-государств (Б)

передвижение границ, перемену союзников, предательство, дипломатию и мятежи, окончательно разрушил иллюзорное представление о человеке, особенно о просвещенном правителе, как о некоем благородном существе. Именно в этой атмосфере был написан полный горечи шедевр Никколо Макиавелли — «Государь». Жизненный путь самого Макиавелли как, вероятно, ничей другой, воплощает в себе все противоречия и заблуждения позднеренессансной Италии.

Не ожидая ничего хорошего от французского вторжения, в 1494 году Медичи бежали из Флоренции, и, после четырехлетнего правления монаха-аскета Савонаролы, в городе установился новый республиканский режим под руководством гонфалоньера Пьеро Содерини. В это время Макиавелли был назначен послом Флорентийской республики при европейских дворах, а позже, в 1509 году, вернулся для организации взятия Пизы флорентийской «гражданской» армией. Однако время гражданского правительства подошло к концу, когда объединенные войска папы Юлия II и испанского короля в 1512 году насильственно и к великому неудовольствию горожан восстановили во Флоренции власть династии Медичи. Макиавелли ненадолго заключили в тюрьму, а затем вынудили оставить публичную деятельность.

Пылкий республиканец, изгнанный с должности, претерпевший пытки и заключение от рук узурпаторов, Макиавелли написал «Государя» — потрясающе откровенное рассуждение о качествах, необходимых тому, кто желает добиться политического успеха. Столетия споров так и не решили вопрос о том, создавался ли «Государь» как едкая сатира или как прямой совет потенциальным властителям. Что гораздо важнее, Макиавелли, имевший огромный опыт участия в политике и наблюдения за ней, возможно, первым сформулировал ту истину, что хорошее правление нельзя установить, следуя каким бы то ни было отвлеченным рациональным правилам. В XV веке возрождение интереса к Цицерону, Титу Ливию, Сенеке и другим римским авторам сопровождалось возросшим вниманием к сочинениям Платона и Аристотеля — в 1438 году во Флоренции была даже основана акаде-

мия, ставившая своей целью изучение платоновского наследия. Ее члены с энтузиазмом восприняли античную концепцию рационального мышления как средства открытия универсальных начал, равно применимых и в частной жизни, и в государственном управлении. Состоятельные студенты ученых-гуманистов охотно внимали наставникам, однако, как позже показал Макиавелли, связь усвоенных ими идей с практической политикой была обречена оставаться иллюзорной. Во-первых, в предшествующую эпоху пополанские и другие режимы прекрасно справлялись с задачей без всякой опоры на абстрактные принципы, сформулированные не имеющими практического опыта философами; во-вторых, гражданский гуманизм не имел никакого смысла в эпоху, когда чужеземная армия могла запросто навязать городу своего ставленника. Вместо того чтобы занимать себя умозрительным поиском руководящих начал, утверждал Макиавелли, политикам следует научиться понимать постоянно возникающие конкретные обстоятельства и затем попытаться заставить последние работать на себя. Его ключевым открытием было то, что абстрактные характеристики невозможно вычленить из действительности неким унифицированным образом: в один день тебе понадобится послать противнику приветствия и дары, на следующий — объявить ему войну, и при этом ни тот ни другой поступок нельзя рассматривать как «правильный», или «хороший», в отвлеченном, теоретическом смысле — все зависит от ситуации. Это революционное и во многом непонятое послание касалось не только политики, но и всякой сферы человеческой деятельности вообще. До Макиавелли философы и политические мыслители привычно исходили из того, что абстрактное рассуждение, рациональный анализ способны открыть человеку верный способ управления городом, ведения войны или даже планирования личной жизни. Однако Макиавелли, прошедший тяжелую школу испытаний и живший на исходе блистательного столетия своего города, прекрасно сознавал, что это лишь безрассудный самообман.

После изгнания французов из южной Италии в 1503 году сменявшие друг друга папы неизменно пользовались покровительством Испании и Габсбургской империи. За два десятилетия, в течении которых держался этот союз, Рим сделался центром итальянского мира, а понтифики подчинили себе правителей Милана, Мантуи и Фаррары и поставили своих фаворитов во главе Флоренции и Пармы. Это было время папы Александра VI (в миру Родриго Борджиа, отца Чезаре и Лукреции Борджиа, возглавлявшего церковь в 1492–1503 годах), Юлия II (Джулиано делла Ровере, годы понтификата 1503–1513) и Льва X (Джованни Медичи, годы понтификата 1513–1521) — состоятельных вельмож с севера, использовавших свое высокое положение, чтобы дать начало новой светской династии (Борджиа) или возродить влияние старой (Медичи). Коллегия кардиналов была переполнена выходцами из знатных итальянских семейств, торговавших между собой за папское место, в котором они видели сказочный источник дохода, и поэтому каждый вновь избранный глава церкви начинал щеголять семейственностью и богатством так, словно его обязанностью было доказать, что Рим ничем не уступает Милану, Венеции или Флоренции.

И Леонардо, и Микеланджело, и Рафаэль были призваны в Рим, чтобы послужить прославлению папского престола своим искусством (примерно в то же время в Вечном городе гостил немецкий монах-августинец Мартин Лютер). Однако связь между содержанием искусства и реальной жизнью была разорвана. Сознывая, что их городами распоряжаются посторонние люди, а религия попала под власть деспотов, итальянские вельможи, художники и простые люди все больше утрачивали ощущение того, что судьба находится в их собственных руках. В отсутствие подлинного гражданского общества, возвеличиванию которого посвящали свое дерзновенное творчество их предшественники, художники Высокого Возрождения все чаще отворачивались от действительности и обращались к надмирному. Изображения повседневного быта, религиозные сцены, запечатленные в обыденной обста-

новке итальянского города, сходили на нет, уступая место идеализированной красоте. Это было своеобразное возобновление платоновского мирозерцания, для которого «идеальный» мир представлялся более реальным, чем порочный мир чувств. Художники отправились на поиски совершенной красоты, поэты — на поиски совершенной любви. За краткий отрезок времени идеализирующее направление руками Джованни Беллини, Рафаэля, Микеланджело и других произвело на свет величественные произведения, несущие отсвет неземного сияния. Но отстранение от реальности не могло быть жизнеспособным, и вскоре искусство вступило в период вторичности, известный под уничижительным названием «маньеризма». По мнению искусствоведов, когда Рафаэль, Микеланджело и Леонардо разрешили проблемы, поставленные Джотто, для поиска нового элементарно не осталось места; однако живописи, содержание и форма которой были оторваны от реальности, приходилось не просто искать новое — ей было попросту нечем питать жизненные силы.

После того как Рим пал под тяжестью своего надменного великолепия (в 1527 году распоясавшиеся немецкие и испанские солдаты имперской армии подвергли его разграблению), центром итальянского новаторского искусства сделалась Венеция, последняя из независимых республик. Ученики Джованни Беллини, в первую очередь Тициан, последовав примеру наставника, выбрали свет и колорит основным орудием творчества. Однако, пройдя школу в мастерской Беллини и проведя первые годы зрелости в Венеции, Тициан в 1530 году покинул город, чтобы стать придворным живописцем Карла V и затем его сына Филиппа II. Леонардо оставил Италию в 1516 году и прожил остаток своих лет во Франции, пользуясь гостеприимством Франциска I. Первопроходцам итальянского искусства, прославленным мастерам своей родины, теперь покровительствовали не итальянские вельможи, а самые могущественные люди Европы — короли западных держав.

Если вторжение иностранных войск прозвучало похоронным звоном по Ренессансу, то начавшаяся вскоре Контрре-

формация забила последний гвоздь в крышку его гроба. В 1519 году протестантские воззвания достигли Италии, а к 1542 году, когда германские государства вступили в открытое противостояние с церковью, всякое расхождение с точкой зрения Рима в этой католической стране уже безжалостно подавлялось — так началась эпоха жестких социальных барьеров и суровой церковной ортодоксии. Престарелый Микеланджело дожил до того момента, когда ему запретили рисовать обнаженные тела, а в 1563 году папский престол опубликовал список запрещенных книг, в который попали сочинения величайших творцов итальянской культуры: Данте, Боккаччо, Макиавелли, Кастильоне, Пьетро Бембо. Итальянское Возрождение подошло к концу.

В начале этой главы я поместил довольно бесцеремонную констатацию противоречий эпохи Ренессанса, которую Уэллс вложил в уста своего персонажа. Видимое несоответствие между возвышенной итальянской живописью XV века и алчностью, царившей в тогдашнем обществе, вряд ли можно развеять как некую иллюзию, однако, используя историю, чтобы увидеть, как оно возникло, мы, может быть, немного лучше поймем природу взаимоотношений между искусством и обществом, а значит, и цивилизацией. Здесь следует заметить, что в оценках историков последнего времени общество эпохи Возрождения предстает, наверное, даже более неприглядным и внутренне противоречивым, чем мы привыкли думать, опираясь на работы их предшественников. Подводя итог своему очерку истории Ренессанса, Лиза Джардин так описывает его наследие: «Мир, в котором мы сегодня обитаем, с его безжалостной конкуренцией, яростным потребительством, неутомонным желанием постоянного расширения горизонтов, страстью к путешествиям, открытиям и изобретениям, мир, зажатый между узостью мелочного национализма и безрассудством религиозного фанатизма, но отказывающийся склонить перед ними голову, — этот мир был сотворен в эпоху Возрождения».

И если даже на этом фоне искусство Ренессанса умудрилось сохранить репутацию вершины всей западной культуры, то мы по-прежнему вынуждены как-то объяснять себе его вопиющие противоречия. Со своей стороны я попытался показать, что в XIV и XV веках итальянское общество переживало процесс пугающе стремительного распада и трансформации. Художники, зарекомендовавшие себя как мастера новых средств выразительности — масляной живописи и каменной скульптуры, — вовсе не пытались с их помощью воспеть эти самые перемены (может быть, вопреки желанию своих покровителей), но, наоборот, напоминали окружающим и самим себе о вечных истинах, касающихся места человека в мире. Когда мы смотрим на «Святое семейство» Мантеньи или «Мадонну в скалах» Леонардо, нас в первую очередь захватывает не умение автора, сколь угодно выдающееся, передать форму человеческого тела или фрагмента драпировки в точности, как они представляются глазу, а то, как с помощью языка живописи ему удается сообщить нам что-то, никак иначе не изъяснимое. В этом смысле искусство никогда нельзя со всей справедливостью назвать выражением цивилизации: на самом деле художники используют приемы, технологии, пристрастия общества — все, что доступно им в момент творчества, — чтобы сообщить нам нечто. И довольно часто это нечто оказывается глубоким отращением к господствующим настроениям своего времени.

Такое понимание искусства, действующего наперекор ходу истории, возможно, покажется более оправданным, если взглянуть на ренессансную литературу. Когда следствия роста материального благосостояния и высвобождения энергии индивидуального честолюбия в XVI веке вслед за Италией распространились на всю Европу, континент вступил в эпоху драматических общественных перемен. На этом фоне Рабле, Сервантес, Шекспир и другие писатели посвящали свое творчество не демонстрации теоретической рациональной добродетели человека Возрождения, а, наоборот, странностям, слабостям и нелепостям, присущим его поведению, —

включая рационалистическую иллюзию, что своими поступками он способен изменить мир к лучшему. Шекспир жил в опасное время и был вынужден соблюдать исключительную осторожность в отношении критики любых проявлений тогдашней английской монархии. Тем не менее ему удалось передать свое отвращение к венецианским стяжателям-купцам (с помощью романтической сюжетной линии сделав их вопиющую алчность не столь одномерной), а значит, по ассоциации, и к купцам, похваляющимся своим богатством на улицах елизаветинского Лондона. В «Короле Лире» Шекспир продемонстрировал ужасающие последствия обращения со своей страной как с бумажной картой и нетерпимости к инакомыслию, выражающейся в изгнании «чужаков». «Король Лир», во многом подобно «Царю Эдипу», звучал предостережением против обобщения и единообразия, двух неизменных спутников коммерциализации европейской жизни.

Одна из частей наследия Ренессанса, вскользь упомянутая в этой главе, требует более развернутого комментария. В течение XV и XVI веков живописцы, скульпторы и архитекторы Италии завоевали всеевропейскую известность. Столь велика была их слава, что снабжавшие их заказами могущественные правители надеялись обрести своего рода бессмертие в ее отблесках. Семья Сфорца, правящая династия Милана, заказала Леонардо огромную конную статую Франческо Сфорца, зная, что творение Леонардо будет жить всегда (позднее статуя была разрушена врагами семьи), а папа Юлий II стремился стяжать вечность не молитвой, а поручением Микеланджело оформить свою усыпальницу. Эти двое были знаменитостями первого ранга, однако само представление о том, что все художники являются особо отмеченными людьми, как считается, стало новым шагом в развитии западной цивилизации. Отделение и социальное возвышение художника безусловно наложило глубокий отпечаток на европейское общество. Несмотря на возможные преимущества, полученные теми из творцов, кто заслужил похвалу публики, — так-

же косвенно затрагивающие их просвещенных и влиятельных покровителей, — совокупный эффект этого шага имел в конечном счете разъединяющий характер. Едва художник вознесся над ремесленником, разделение на высокое и низкое искусство было тут же воспроизведено во всех сферах человеческого творчества. Когда-то изображение святых и библейских историй было способом достучаться до неграмотного и необразованного большинства, и потому иконы и фрески, украшавшие церкви, были открыты всем и каждому. Ренессанс вывел живопись из церкви и поселил ее в частном особняке, одновременно сделав способность понимать изящное искусство признаком принадлежности к образованной элите. Ту же трансформацию пережила музыка и, позднее, театр, поэзия и художественная проза. Простонародные песни и церковная музыка Средневековья эпоху спустя преобразились в изящные пьесы, доступные вкусу немногих избранных, а представления-мистерии на религиозные сюжеты «мутировали» в гораздо более изощренные развлечения для верхушки общества. Во всех этих жанрах довольно продолжительный переходный период становился временем колоссальных возможностей для творцов, сочетавших глубокое знакомство с традицией с видением новых путей реализации ее потенциала, — однако в долгосрочной перспективе обществу приходилось расплачиваться за это слишком дорогой ценой.

Как только художественный элемент изымается из любой сферы человеческой деятельности, оставшееся почти неизбежно теряет в цене, обретает репутацию чего-то посредственного и даже презренного. Стоило религиозным изображениям превратиться в произведения искусства, любое церковное убранство, не имевшее клейма мастера, утратило интерес; любое здание, не спроектированное знаменитостью, было обречено называться «провинциальным»; любая анонимная народная песня, сколь угодно очаровательная, имела шанс стать искусством только в обработке заслуженного композитора. Продолжая существовать как бы ниже горизонта истории, низкое искусство было лишь позднее извлечено

на свет историками-обществоведами (а вовсе не историками искусства).

Эта часть наследия Ренессанса не сводилась к разделению искусства на «высокое» и «низкое» — она также сузила возможности художественного проявления человека в повседневной жизни. После того как оформление церквей, писание икон, возведение храмов и гильдейских собраний ушло из рук резчиков по дереву, каменщиков и прочего цехового люда, чтобы поступить в безраздельное ведение художников, сама фигура ремесленника решительным образом утратила свой прежний статус. Хотя мастера могли по-прежнему гордиться плодами своего труда, было понятно, что так или иначе им суждена репутация чего-то второсортного. Когда художник удаляется из общества и воздвигается на особый пьедестал, он начинает умирать и внутри каждого из нас.

Глава 9

В ПОИСКАХ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ Европейская Реформация как новое начало

Реформация, теоретически означавшая элементарный акт восстания против католической церкви, в реальности представляла собой прихотливый ряд событий, большинство которых будто противоречили законам исторических причин и следствий. Наиболее очевидным ее следствием стал период нетерпимости, ожесточения и религиозных конфликтов, но именно она чрезвычайно укрепила роль и значение христианской веры в жизни людей. Реформация явилась протестом против тогдашней тенденции к рационализации богословия и отстаивала возвращение к средневековому благочестию, но именно ее усилиями современный мир обрел новый тип религии, в котором так остро нуждался. Она родилась из раздражения против бесстыдства итальянских пап эпохи Ренессанса, но именно протестантские церкви воплотили в себе то сочетание религиозности, личного честолюбия и общественного служения, которое было столь характерно для гражданского самосознания новых итальянцев. И в то время, как апостолы Реформации стремились вернуться к корням, к духу раннехристианской общины, наиболее фундаментальным следствием их деятельности в истории оказалось сотворение личной совести — величественная коллективная драма сред-

невековой церкви, венчавшаяся проклятием и спасением неисчислимых людских множеств в день Страшного суда, сменилась образом набожного христианина, одиноко стоящего перед лицом Бога.

Эти видимые парадоксы можно понять, если присмотреться к тому, из суммы каких неоднородных сил складывалась жизнь позднесредневековой Европы: могущество и скрытая слабость католической церкви, ширящаяся коммерциализация и урбанизация, зачаточный, но набирающий силу национализм и, вдобавок, интеллектуальная мода на гуманизм и антигуманистическая реакция. Хотя у этих сил были разнонаправленные векторы, все вместе они порождали губительную раздробленность когда-то монолитного мира и института, находящегося в его средоточии, — католической церкви. За каких-то 40 лет, с 1520 по 1560 год, новая форма христианского вероисповедания прочно укоренилась по всей северной Европе, включая многие германские княжества, швейцарские кантоны, Скандинавию, Нидерланды, Англию, Шотландию и часть Франции. Почему же казавшееся незыблемым мощное здание средневековой церкви стало рушиться с такой легкостью и почему миллионы преданных католиков отвернулись от нее столь поспешно и охотно? Некоторые ответы на эти вопросы мы можем найти, если внимательно присмотримся к тому, в чем заключалось переживание веры для обычного средневекового христианина.

Для средневекового человека церковь была центром его жизни, нерасчленимым переплетением материальных и духовных аспектов. И ориентиром этой жизни, возвышавшимся над миром суровой практичности и мистицизма, а также над учением и обрядами средневекового христианства, служила смерть и смысл, из нее проистекающий. Христиане ощущали себя участниками великого тысячелетнего действия, которое началось в момент Творения, было прервано в своем течении Воплощением и Воскресением Христа и должно закончиться в Судный день, когда некоторым будет даровано вечное блаженство, а остальным — вечное проклятие. Прак-

тическое вероисповедание давало верующим чувство причастности к этой сверхъестественной драме и какую-то степень влияния на жизнь после смерти. Литургия Святого причастия служила фокусом драмы: присутствующие при богослужении с трепетом наблюдали за тем, как священник святит хлеб и вино, обращая их, в повторение чуда Тайной вечери, в плоть и кровь Христа. Посещение мессы заставляло людей чувствовать близость к Божественному, и той же цели служили паломничества к святым местам, сосредоточенные молитвы святым, изредка выпадавшая возможность лицезреть мощи — сохраненные останки или кровь прославленных христианских подвижников. Все это делало их зрителями и участниками грандиозной, разворачивающейся на их глазах исторической мистерии.

Возможность влиять на существование после смерти человека представляла собой другую сторону средневекового христианского ритуала. За покойников молились, ради них служили заупокойные мессы, в их честь освящали часовни — все это должно было помочь им в загробной жизни. Строгая августинианская ортодоксия не допускала влияния на спасение души, и поэтому в XII веке возникает концепция чистилища как своеобразного преддверия высшего мира. Пусть молитвы и дары не спасали душу, обреченную на проклятие, однако они могли сократить ее пребывание в мучительном состоянии неопределенности. Вокруг чистилища образовалась целая обрядовая отрасль — гильдии, братства, обители и церкви устраивали мессы и освящения, как правило, в обмен на жертвования и услуги, чтобы попавшие на тот свет не чувствовали себя покинутыми. Бедные наравне с богатыми оставляли по завещанию деньги и ценные вещи церквям, богадельням и клирикам, распорядившимися специально существовавшими для этого фондами, чтобы купить себе после смерти как можно больше молитв и богослужений, а для монахов, священников и немощных поминовение в молитвах покойных благотворителей было одним из рутинных занятий.

Грандиозная пирамида католического христианства состояла из множества чинов духовенства, однако в его основе лежало устройство ранней церкви, в которой епископ отвечал за свою паству. Священники представляли особое сословие, состоявшее из грамотных и (после 1139 года) безбрачных мужчин, призванных служить посредниками между Богом и простым народом и используемых высшими духовными властями для надзора не только за церковными, но и за прочими общественными делами. Кроме того, они были профессионалами, чей труд оплачивался из собираемой с прихода десятины. По мере роста благосостояния Западной Европы на ее территории строилось все больше храмов, и к XV веку даже в самых захудалых приходских церквях имелись высокие кафедры, с которых священник излагал содержание Библии (чтение было недоступно большинству паствы), пересказывал жития святых и толковал те или иные места католической доктрины. Епископы стояли во главе нескольких приходов, но также являлись крупными землевладельцами, часто не менее могущественными в мирских делах, чем любой граф или герцог. Кафедральный собор, центр каждой епархии, представлял собой влиятельнейшее коммерческое, политическое и духовное учреждение.

Вне этой епископальной системы существовало другое множество людей, посвятивших свою жизнь Богу. Реформы, проведенные в XII веке, упорядочили жизнь монахов и монахинь в рамках организованной системы религиозных орденов, которая теснее связала их с иерархической структурой церкви. Включавшая в себя бенедиктинцев, францисканцев, доминиканцев, картезианцев и другие ордена, монашеская система стала поистине интернациональным институтом, сравнявшись в этом качестве с самой вселенской церковью и общеобязательным каноническим правом.

В центре и во главе этой обширной сети священников, епископов и священных орденов, как цементирующее и фокусирующее начало всего западного христианства, восседал папа римский. Наследовавший свой сан от святого Петра по

апостольской линии, папа являлся священной фигурой, законодателем и наместником Бога на земле. Находясь на расстоянии от большинства своих духовных подданных, он оставался символом их веры.

Монолитность этого грандиозного института, несмотря на его доминирующую роль в жизни средневековых европейцев, не очень вяжется с нашими представлениями о той поре. Однако, когда мы обращаем внимание на средневековую церковь, пытаясь обнаружить доказательства ее слабости и приметы надвигающегося кризиса, нас не должны сбивать с толку ни Лэнгленд, Боккаччо или Чосер с их безжалостными насмешками над чревоугодием нищенствующих братьев или похотливостью монахинь, ни периодические всплески истового аскетизма, ни открытые вызовы клерикальному авторитету. Во многом сила ортодоксального средневекового христианства базировалась именно на разумном балансе терпимости и давления, разнообразия и единообразия, и в примерах здоровой критики церкви куда оправданнее видеть доказательство ее внутренней устойчивости, нежели слабости. Как бы то ни было, некоторые события и тенденции, легшие в основание постреформационного западного мира, действительно уходят корнями в средневековье.

В 1305 году вновь избранный папа Климент V, француз, решил перенести свою резиденцию из Рима в Авиньон, тогда представлявший собой полусамостоятельный протекторат Франции. Пять следующих пап продолжали руководить церковью из Авиньона, где им, возможно, ввиду удаленности от политической борьбы, удалось поднять уровень внутрицерковной администрации на невиданную прежде высоту. Отладив сбор налогов со множества бенефиций, разбросанных по всей католической Европе, церковь начала получать огромные доходы, а усиление контроля над местными епархиями упрочило ее централизацию. Однако выигрыш от возросшей эффективности церковного управления перевешивался негативным влиянием других факторов. Папы-французы не уступали ни англичан, находившихся в состоянии войны с Фран-

цией, ни итальянцев, традиционно удерживавших римский престол в своих руках; европейские монархи и графы выражали недовольствие величиной налогов, утекавших из их владений в казну церкви (и карманы флорентийских банкиров); наконец прелатам и епископам на местах также не нравилось расставаться с самостоятельностью. Местные власти, как светские, так и духовные, в первую очередь в Англии и Германии, попросту отказывались выполнять папские указания. Когда в начале XIV века император Людвиг Баварский был отлучен от церкви папой Иоанном XXII (желавшим видеть на месте Людвига его соперника и, вдобавок, умудрившимся навлечь своими толкованиями вероучения обвинения в ереси от авторитетных богословов), большинство немецких епископов не послушались духовного начальника и сохранили преданность императору. Враждебность к авиньонским папам со стороны жителей германских, британских и нидерландских земель и обычно благосклонное отношение к ним со стороны Франции и Италии обозначили линии будущего религиозного раскола.

В 1376 году папа Григорий VI оставил Авиньон и переселился обратно в Рим. Когда два года спустя он скончался, огромная толпа собралась у стен конклава с твердым намерением не допустить избрания на высшую церковную должность не-итальянца. Новый понтифик, хотя и итальянец, обнаружил свою строптивость, и через несколько месяцев весь состав коллегии за исключением трех кардиналов удалился из Рима, чтобы избрать еще одного папу, Климента VII, который не преминул тут же укрыться в Авиньоне. Ситуация оставалась патовой до Пизанского собора 1409 года, низложившего обоих пап и избравшего нового. Однако, поскольку два действующих папы отказались уступить решению собора и снять с себя полномочия, церковь, имевшая на сей раз трех враждовавших друг с другом высших лиц, только усугубила хаос, в котором находились ее дела. В конечном счете проблема была улажена (пусть и не к всеобщему удовлетворению) в 1415 году на Констанцском соборе, где светским властям удалось пере-

ломить традицию и навязать свое решение церкви. По этому историческому решению церковный собор, составленный из национальных делегаций, провозглашался источником Божественной власти и потому имел окончательное слово в вопросе о назначении папы. Хотя в течение XV века папство малопомалу вернуло себе главенствующую роль и оттеснило собор от реального руководства, авиньонский раскол позволил национальным церквям продемонстрировать свой политический потенциал, а сопровождавший его фарс заставил сильно померкнуть ореол святости, окружавший фигуру папы.

В то время как национальные монархи подчиняли своему растущему влиянию позднесредневековую Европу, локальные политические процессы, происходившие на уровне городов и областей, также способствовали разрушению доверия к католической церкви. Средневековые города зачастую представляли собой административные анклавов внутри сельских территорий, контролируемых владетельной знатью (см. главу 7), однако во многих епархиях важнейшие церковные назначения оставались прерогативой древних аристократических династий. Поскольку в таких обстоятельствах не имели голоса даже зажиточные городские купцы, но при этом материальное, политическое и хозяйственное — не говоря о духовном — присутствие церкви все еще было важнейшим фактором городской жизни (в Майнце, например, клирики составляли четверть населения), — сохранение подобной наследственной привилегии вызывало все большее сопротивление со стороны как простых горожан, так и их вождей. На епископов, деканов и священников начинали смотреть как на чужаков, представляющих непрошенную власть.

Фоном, на котором происходил раскол XIV века, являлись война и чума, еще сильнее ослабившие авторитет официальной церкви. Бросавшаяся в глаза беспомощность церкви перед лицом Черной смерти, поразившей Европу в 1348 году (на протяжении четырех десятилетий от нескольких эпидемических волн бубонной, септической и легочной чумы умерло от трети до половины населения континента), понизила ее пре-

стиж в глазах простого народа и способствовала распространению мистических идей среди христианских мыслителей, в числе которых можно вспомнить Уолтера Хилтона, автора «Облака неведения», Юлиану Норвичскую, Екатерину Сиенскую, Анджелу из Фалиньо, Иоганна Таулера и Фому Кемпийского. Эти религиозные авторы, вместе с единомышленниками из *devotio moderna* и других подобных движений, считали, что приближение к тайне Бога должно происходить посредством личного переживания и размышления, интимного общения с собственным духовным миром, к которому имеет мало отношения огромная структура, воздвигнутая церковью. Столетняя война между Англией и Францией (1337–1453) стала важным дополнительным стимулом развития у западноевропейцев чувства национальной принадлежности и еще сильнее подстегнула процесс трансформации средневекового «крещеного мира», сплоченного властью франкских сюзеренов, в мир, разделенный между национальными монархами и подотчетными им национальными церквями.

Всеоткрытость средневекового христианства допускала существование множества разных толкований, если только они не оспаривали авторитет единой церкви. На всевозможных визионеров, уличных проповедников и пророков, когда их влияние не переходило определенных границ, чаще всего не обращали внимания. Однако в христианстве всегда было достаточно людей, убежденных, что жизнь верующего должна быть подражанием земной жизни Христа — лишенной мирских богатств, проводимой в бедности и целомудрии. Хотя средневековое монашество сумело построить эту радикальную тенденцию в упорядоченную структуру католичества, время от времени она все же вырывалась наружу.

Необычайная слава святого Франциска явилась как свидетельством растворенного среди простого народа стремления к простой, безыскусной духовности, так и вдохновением для тех, кого не удовлетворяли сложившиеся представления о смысле христианства. Франциск был сыном обычного ита-

льянского купца XII века, однако предпочел отказаться от богатства и посвятить жизнь заботам о немощных и проповеди любви и веры. В какой-то момент рисковавший отлучением, он тем не менее был начисто лишен желания ставить под сомнение авторитет церкви; вместо этого он основал орден, члены которого, наперекор монашеской традиции удаления от мира, исполняли свое духовное предназначение среди людей.

Рассказы о Франциске Ассизском разнеслись по всему западному миру: его сознательное подражание земной жизни Христа, стигматы (кровоточащие следы на теле, потворяющие раны распятого Христа), рисунки, изображающие младенца-святого в яслях, смогли поколебать устоявшуюся идею христианского благочестия. Религиозное влияние святого Франциска и общественное влияние пополанского движения северной Италии также сопровождалось переменами в искусстве: традиционные изображения Христа, восседающего на небесах одесную Бога, постепенно сменялись изображениями Его земных страданий. В Христе, запечатленном на «Снятии с креста» — созданном в XV веке Рогиром ван дер Вейденом алтарном образе, — мы видим уже больше общего с обычным горожанином или сельским жителем, чем с папой, восседающим на троне.

Помимо того, что пример Франциска Ассизского вдохновлял рядовых христиан, побуждая их иначе взглянуть на свою веру, средневековая церковь также получила серьезный интеллектуальный стимул — и вместе с тем еще один вызов. Хотя западное христианство положило в основу своего доктринального и духовного авторитета труды святого Августина, отца церкви V века, многое в практике средневековой церкви было прямым противоречием августиновскому вероучению. Если Августин старался показать, что христианская жизнь в смирении и страхе способна объединить верующих, святых наравне с грешниками, то ни сама позднесредневековая церковь, ни многие из членов ее паствы не могли вполне примириться с бессилием перед лицом Бога. Хотя никто не говорил

об этом открыто, молитвы часто приносились людьми с целью переменить Его решения — либо напрямую, либо прося святых на небесах о заступничестве перед Ним от чьего-либо имени. Изобретение чистилища формально не затрагивало догмат Августина о неспособности человеческих поступков изменить Божественные планы относительно спасения или проклятия души, однако все понимали, что, заказывая богослужения, жертвуя и молясь, они пытаются сделать именно это и ничто другое: повлиять на Бога. И центральным проводником этих усилий являлась именно церковь, ибо только священники могли проводить службы, освящать часовни, принимать пожертвования и продавать индульгенции. С августиновскими принципами все больше расходилась не только практика западного христианства, но и интеллектуальная жизнь. В XII веке Библия, труды Августина, заново открытый кодекс Юстиниана, а также то небольшое число сочинений Аристотеля, Платона и поздних платоников, которое было доступно в латинском переводе, составили базовое ядро университетских курсов по логике, богословию и праву. Первые университеты были основаны в этом веке в Италии, Франции и Англии, откуда они за три столетия распространились по всей Европе. Поскольку университеты за пределами изначальной итальяно-франко-английской оси организовывались по образцу тех, которые посещали их основатели, европейское высшее образование с самого начала развивалось как унифицированная интернациональная система. Изучение права было особенно важным для ученых клириков, так как именно в этот период церковь активно пыталась подчинить своей правовой юрисдикции светский мир — вопреки явному недовольству королей, князей и императоров.

Университеты представляли собой церковные учреждения, в которых и преподаватели, и учащиеся следовали священническому призванию, и готовились либо к служению среди паствы, либо к продолжению ученых занятий под эгидой монастырей. Правила были чрезвычайно строги — к примеру, декрет кардинала Робера де Курсона относительно Па-

рижского университета гласил: «О богословах мы постановляем, что никому из них младше тридцати пяти лет от роду не дозволяется выступать с лекциями в Париже и даже тогда дозволяется при условии, что он посвятил изучению предмета по меньшей мере восемь лет и прилежно слушал курсы в школах». Церковные власти зорко следили за содержанием курсов, особенно богословских. В 1241 году Одон, ректор Парижского университета, составил список преподававшихся в нем «ошибочных положений», включив в него, например, такое: «Что злой ангел [т. е. дьявол] был злым от самого своего сотворения, и никогда не был иным. Мы порицаем это ошибочное положение, так как твердо верим, что сей был сотворен добрым, и позже через свое грехопадение стал злым». Однако свидетельства современников показывают, что атмосфера в среде студентов была далека от смиренной почтительности: «Почти все парижские студенты, и местные, и прибывшие из других краев, не стремились совершенно ни к чему другому, кроме как узнать и услышать что-нибудь новое... Очень малое число училось ради своего или чужого образования. Они вздорили и устраивали между собой диспуты не только о различных сектах или о богословских вопросах; отличия между странами тоже становились среди них предметом разногласий, ненависти и смертельной вражды».

Во Франции Гильом из Шампо (ок. 1100) и его воспитанник Пьер Абеляр (1079–1142) впервые попытались интегрировать классические системы логики в христианскую теологию. К 1200 году правоведческие и логические курсы, включающие изучение наследия античных философов, были уже вполне устоявшимися и важными элементами университетского образования, развитие которых подстегнуло появление в Европе полного корпуса сохранившихся трудов Аристотеля в новых латинских переводах. Источниками этих текстов была вовсе не Греция, а арабские ученые, жившие и работавшие в Испании. Именно в тот момент, когда католические мыслители усердно пытались дать ответ на вопросы о морали и природе всеобщего, благе и разуме, в их распоряжении ока-

залась тщательно продуманная философская система, охватывающая все: от политики и управления до материального состава мира, от устройства космоса до смысла справедливости, от сущности жизни до государственного строя Афин. Вставшая перед ними непростая задача — понять, как творчество Аристотеля может быть вписано в христианский контекст — дополнительно осложнялась тем фактом, что арабские богословы, в первую очередь Ибн Сина (известный на Западе как Авиценна, 980–1037) и Ибн Рушд (Аверроэс) (1126–1198), уже снабдили его труды учеными комментариями, в которых трактовались предметы вроде разделения веры и разума и часть которых попала в Европу вместе с аристотелевскими текстами. Аверроэсу, жителю Кордовы и Севильи, удалось показать, что такие понятия, как вечность Вселенной, смертность души и способность к рассуждению, общая для всех людей, могут быть выведены из Аристотеля, и из-под его же пера вышли потенциально еретические для самого ислама аргументы, отстаивающие примат философии над религией в решении подобных вопросов. Таким образом, не только прославленный Аристотель, язычник и автор философской системы, обходящейся без всемогущего Бога, предстал на глазах у церкви во всем своем блеске и великолепии — ситуацию усугубляло еще то, что его наиболее основательным и интересным толкователем оказывался мусульманин.

Человеком, который смог дать самый исчерпывающий и убедительный ответ на вызов, брошенный Аристотелем и Аверроэсом, стал Фома Аквинский. Подобно многим схоластам позднего средневековья, Аквинат был фигурой поистине всеевропейского масштаба. Родившийся в 1224 или 1225 году неподалеку от Неаполя, Фома обучался в местном университете, который был основан императором-немцем, вступил в монашеский орден, который был основан испанцем, и затем отправился в Париж и Кельн, чтобы читать греческие рукописи под руководством немецкого преподавателя. Позже он жил в Орвието и Риме, где изучал арабские тексты вместе с ученым-фламандцем, прежде чем еще раз съездить в Париж

и окончательно осесть в родном Неаполе.

Фома посвятил жизнь построению такой философской и богословской системы, которая примирила бы наследие Аристотеля с христианским вероучением и одновременно вобрала бы в себя все лучшее из сочинений Платона и отцов церкви. Это было неимоверно тяжелой задачей, потребовавшей создания более сотни философских и теологических работ, включая знаменитую «Сумму теологии». Главной целью Аквината являлось восстановление разума в положении законного и необходимого элемента человеческой природы. В V веке Августин счел человеческую природу изначально порочной и нуждающейся в постоянном исправлении посредством формальных законов и цивилизующих обычаев; он не верил, что человеческий разум способен видеть разницу между добром и злом или побуждать на добрые дела. Отсюда вытекало, что единственным путем к спасению является Божья благодать, причем ограниченный разум человека мог оставить всякую надежду понять, кому она предназначена, а кому нет.

В опровержение и взамен пессимистичной картины, нарисованной Августином, Фома предпринял исчерпывающий анализ отношений, в которых находятся между собой человеческая природа, религия, разум, общество и природный мир. Он воскресил основополагающее понятие древнегреческих философов о мире, исполненном порядка, а также их веру в то, что этот порядок справедлив и имеет собственную цель. Именно благодаря порядку становится возможно открыть принципы устройства Вселенной, найти объяснение тому, почему общество имеет тот вид, который имеет, и узнать причины различных проявлений человеческого поведения. Аквинат утверждал, что изначальная упорядоченность и справедливость дарована универсуму не кем иным, как христианским Богом, который оказывался разумным, справедливым и любящим творцом (а также подлинным воплощением аристотелевского Перводвигателя, или Первопричины; см. главу 3).

Что это означало для христиан в практическом измерении? Аквинат говорил: «То, что разуму дано знать по своей

природе, является наиболее очевидно истинным». Поскольку вселенский порядок и человеческий разум суть плоды сознательной воли Бога, значит, вполне богоугодное дело, по сути даже обязанность, христианина использовать дар разума для постижения смысла Его творения. Именно эту обязанность исполнял Фома, пытаясь вскрыть и объяснить порядок и гармонию, лежащие в основании людского общества, политики и морали. Он утверждал, что у человеческого разума существуют границы и что некоторые предельные истины, к примеру природа Бога, достижимы для людей только посредством веры. Тем не менее отстаивание возможности и необходимости употребления человеком своей разумной способности ознаменовало великую перемену в христианском богословии, еще сильнее закрепленную доказательством того, что истины, обретаемые с помощью разума и с помощью веры, не противоречат друг другу, а, наоборот, находятся в гармонии.

Одним из непредвиденных последствий учения Аквината оказалось изъятие рационального исследования таких вещей, как природный мир, политика и гражданское право, из исключительного ведения теологии. Если для церкви было совершенно надлежащим делом выводить собственные законы из положений вероучения и толкований Писания, то и для светских властей было совершенно правильно опираться в законодательстве не на богословские, а на рациональные принципы. Ибо используемые для этого способности и порядок, который они стремились установить, являлись равноправной частью разумного плана, который Бог предначертал для сотворенного Им мира.

Попытка Фомы интегрировать древнегреческий рационализм в христианское богословие вызвала как сопротивление со стороны вероучителей, например святого Бернара, так и концептуальные возражения со стороны других схоластов, в первую очередь Иоанна Дунса Скота и Уильяма Оккама (оба были францисканцами). Последовали споры вокруг вопроса о том, должна ли вообще вера искать поддержки в разуме, а также вокруг так называемых номиналистических возраже-

ний против платоновских форм и аристотелевских сущностей. Но каково бы ни было конкретное содержание этой полемики, сама она свидетельствовала о двух важных вещах: утверждении рационализма в интеллектуальной жизни Европы и присутствии в ней же сильного антирационалистического элемента. К 1300 году под сводами обителей и университетов уже вовсю бушевали диспуты об аристотелевском опровержении платоновских идеалов, способности воли предопределять человеческие поступки, подлинном смысле силлогизмов, атомизме в противоположность качествам, содержащимся в субстанциях, и т. п. Деятельность Фомы Аквинского, показавшая, что мир учености вполне может существовать отдельно от церкви, открыла тем самым перспективу для развития светских исследований во всех областях человеческой жизни. И хотя оппоненты не соглашались с Аквинатом, для отстаивания своей правоты они пользовались собственным разумением. Августинианское христианство перестало восприниматься как незыблемая догма, и коллективное сознание католического Запада постепенно трансформировалось в океан индивидуальных умов, видящих мир каждый по-своему.

Подъем национальных чувств, разочарование в папской непогрешимости и растущая роль индивидуального сознания представляли собой долгосрочные, медленно вызревавшие тенденции позднесредневековой Европы. XV век стал свидетелем их реализации, проявившейся в резком ускорении процесса перемен. В середине XV века в один ряд с коммерческой и художественной революциями, очаг которых находился в северной Италии, встала разработанная Иоганном Гутенбергом из Майнца новая система печати на основе отдельных литер, сделавшая набор и изготовление любого необходимого количества объявлений, документов и книг сравнительно несложным делом.

В 1453 году войска Османов, в конце концов взявшие Константинополь, устремились через Балканы в сердце Европы, чтобы дойти до самой Вены — центр восточной церкви пал, и

глава западной церкви тоже не мог чувствовать себя в полной безопасности. Однако в 1460 году папство неожиданно завладело солидным источником дохода: неподалеку от Рима было открыто природное месторождение квасцов, важнейшего минерала в красильном промысле. Поступления от торговли квасцами, а также от налогов и земельных владений, наделили высших церковных иерархов не только богатством, но и, в подражание другим итальянским князьям, склонностью к расточительству. Сменявшие друг друга папы, казалось, не желали выбирать между мирской славой и духовным руководством — своей низшей точки эта тенденция достигла в понтификат Александра VI, имевшего многочисленных любовниц и открыто устраивавшего судьбу своих многочисленных детей, включая Чезаре и Лукрецию Борджиа.

Усилившаяся власть западных национальных государств решительно заставила считаться с собой в 1494 году, когда Франция вторглась в Италию, тем самым дав немедленный повод сделать то же самое имперской и испанской армиям. В этой ситуации Риму пришлось заключать политические союзы — одновременно наживая себе политических врагов. — а Юлий II даже самолично облачился в доспехи, чтобы повести войско в сражение против французов. Ненависть к папам не была единственной причиной Реформации, однако в глазах набожных христиан светская роскошь и прямое участие в боевых действиях делали их отталкивающими фигурами. Не в первый раз почитание папской должности как религиозного символа исподволь подменялось суждением о том или ином занимающем ее конкретном человеке.

Хотя папы-итальянцы вызывали у многих враждебность своими действиями, сама Италия оставалась источником притяжения для ученых, купцов, художников и князей остальной Европы. Изумленные великолепием и роскошью дворов итальянских правителей и высокими достижениями итальянского искусства, европейцы также подхватили итальянскую моду на все классическое. Благодаря беженцам из

поверженного Константинополя и в результате собственных увлеченных поисков континент наводнили античные греческие и римские тексты. Вместо узкого круга писаний отцов церкви и работ Аристотеля и Платона, которым они были ограничены прежде, европейцы столкнулись с целым потоком новых находок и переводов. Ученое сословие впервые взглянуло на классический мир как на сокровищницу философий и мировоззрений, которые можно было обсуждать и толковать, а не как на монолитную скрижаль мудрости, начертанными в которой заветами необходимо беспрекословно руководствоваться.

Самым влиятельным из гуманистов постренессансной эпохи был голландец по имени Дезидерий Эразм. Настоящий гражданин Европы, проживший в Нидерландах, Камбре, Париже, Италии, Кембридже, Базеле и Лувене, Эразм завоевал известность в 1500 году обнаружением «Поговорок» — увлекательной коллекции классических изречений, — но международная слава пришла к нему после 1509 года, когда в свет вышла «Похвала глупости», содержащая острую и язвительную критику пороков общества и церкви. В 1516 году Эразм опубликовал Новый Завет в греческом оригинале, снабдив его своим новым латинским переводом — настала пора, когда сведущий ученый мог самостоятельно трактовать даже официальный латинский текст Писания. Всеевропейская знаменитость пришла к Эразму потому, что его деятельность выпала на эпоху быстрого распространения книгопечатания, и потому, что грамотные европейцы имели в эту эпоху общий язык — латынь. Не менее ярко, чем в произведениях Эразма, атмосфера того времени отразилась в полных безжалостного юмора произведениях его младшего современника Франсуа Рабле. Оба, вслед за опередившим их на 200 лет Боккаччо, высмеивали пороки духовенства, оба были необычайно популярны (до конца XVI века вышло более сотни изданий «Гаргантюа и Пантагрюэля») — и оба остались верными католиками.

Усиление национальных чувств среди европейцев; первые ростки отношения к вере как к личному делу человека; развитие светской учености и черпающего вдохновение из античной классики гуманизма; начало книгопечатания; распространение городской коммерциализированной культуры; зреющее исподволь недоверие к институтам церкви, как в лице местных прелатов, так и в лице обладающего вселенской властью папы, — все это детали обстановки, на фоне которой разворачивались революционные события начала XVI века. Однако ключевым эпизодом, повлекшим за собой разделение западного христианства на соперничающие фракции, явилось создание жизнеспособной альтернативы официальной католической церкви. Никто из критиков церкви (за малыми исключениями) не отстаивал необходимость иной структуры и никто не взял на себя ее строительство, чтобы дать отколовшейся пастве практическую основу вероисповедания. Два человека, ответственных за состоявшийся раскол западного христианства, Мартин Лютер и Жан Кальвин, смогли подкрепить свои нападки на католическую церковь учреждением нового религиозного института.

Отправной точкой этих эпохальных событий стала столица католического мира. В 1506 году папа Юлий II принял шокировавшее многих решение снести базилику Св. Петра, одну из крупнейших и самую почитаемую из всех католических церквей, поставленную, по легенде, на месте захоронения самого апостола. Юлий планировал заменить четырнадцатисотлетнюю святыню сооружением, воплощающим величественные классические формы — средство добиться возвышающего эффекта, к которому с немалым успехом прибегали во всей остальной Италии. Новый храм должен был покончить с тысячелетней традицией расположения конгрегации в прямоугольном нефе, вытянутом и обращающим взоры верующих на восток, в сторону алтаря; вместо этого предполагался гигантский квадратный зал с симметричным перекрестьем в центре. Глубокая сосредоточенность на единой точке главного престола сменялась рассеянием поля внима-

ния, а также невольным вторжением в него окружающей обстановки и других поклоняющихся. Это был намеренный уход от средневековой церкви, как в смысле культового здания, так и в смысле земного воплощения христианского бытия. Кроме того Юлий II заказал Микеланджело расписать свод Сикстинской капеллы, а Рафаэль в то же время начал работу над серией настенных фресок для папских апартаментов, в число которых вошла и «Афинская школа» с ее идеализированными портретами великих греческих мыслителей Платона и Аристотеля.

В этот поражающий своим блеском город, средоточие политической власти, показного богатства, самовозвеличивания и меценатства, в 1509 году прибыл Мартин Лютер, монах августинского ордена, священник и преподаватель теологии в недавно основанном университете саксонского города Виттенберга. Неправдоподобное богатство храмов, роскошь и беспутство ватиканских чиновников и кардиналов, атмосфера интриг и клеветы, политики и тщеславия, не могли не оскорбить чувств Лютера, который ощущал христианство как религию глубоко и в первую очередь духовную. Он вернулся в Саксонию еще более уверенный в правоте своей богословской доктрины, двумя столпами которой были благочестие и скрупулезное изучение Священного писания.

Немецкоговорящий мир в то время представлял собой мозаику княжеств, герцогств, вольных городов и епархий, которые все вместе составляли Священную Римскую империю. По традиции император избирался правителями этих государств из своего числа, однако на практике императорская корона давно сделалась наследственным владением австрийской семьи Габсбургов — Максимилиан, правивший с 1493 года, в 1519 году просто оставил ее своему внуку Карлу V. Отношения между верховным властителем империи и ее составными частями не были строго кодифицированы, и потому желания императора осуществлялись либо средствами политического убеждения, либо, в качестве последней меры, военной силой. Это неформальное устройство сохра-

няло империю в качестве конфедерации на протяжении 500 лет.

В 1517 году папа Лев X решил профинансировать реализацию планов своего предшественника по перестройке собора Св. Петра за счет продажи индульгенций. В январе доминиканский монах Иоганн Тецель был назначен папским субкомиссаром в провинции Магдебург, и к апрелю он уже находился у границ Саксонии. Попытка воспользоваться страхами христиан, чтобы вытянуть деньги для погрязших в роскоши папы и кардиналов, вызвала немедленную негодующую реакцию Лютера, однако, ставя под сомнение авторитет верховной церковной власти, он также опирался на свое понимание вероучения. Он составил послание кардиналу Альбрехту фон Бранденбургу, архиепископу Майнцскому, в котором решительно протестовал против лжи, распространяемой Тецелем и другими.

Монахи и священники, действуя с особой папской санкции, говорили христианам, что покупка индульгенций — особых грамот, — поможет сократить пребывание в чистилище и снимет с них бремя грехов. С точки зрения Лютера, это равнялось отрицанию смысла христианства и одновременно еретическому присвоению Божественной власти. Августин учил, что только Бог способен освободить души от бремени греха, что покаяние есть непрерывный и упорный труд и что грешники не только не могут откупиться от справедливой Божьей кары, но должны еще настойчивее искать ее в знак своего покаяния. Лютер заявил, что папе лучше бы продать собор Св. Петра, чем строить новый храм «на костях паствы». В октябре 1517 года Лютер прибил листок со своими 95 тезисами — доводами против индульгенций — к воротам виттенбергской церкви, и следующий месяц они стали перепечатываться и распространяться среди народа. Уже в декабре 1517 года кардинал Альбрехт переправил лютеровы тезисы римским властям, вместе с собственным опровержением их содержания. Почва для того, чтобы незначительная местная смута с участием малоизвестно-

го богослова переросла в конфликт, втянувший в себя все западное христианство, была подготовлена.

Лютер немедленно оказался в центре трехстороннего политического противостояния. В 1518 году папа дал приказ своему легату потребовать от мятежного немецкого богослова публичного отречения, а в противном случае добиться его ареста и доставить в Рим. Однако, считая себя властным над гражданином Саксонии, пусть даже тот и был членом святого ордена, папа заблуждался. Все это время Лютер прилежно снабжал информацией и искал совета у Фридриха, курфюрста Саксонии, который с самого начала внимательно следил за развитием ситуации. В ответ на требования папского легата Фридрих отказался арестовывать Лютера или изгонять его из своего княжества. Наиболее удивительным аспектом этого начального этапа было то, с какой стремительностью одно событие влекло за собой другое и с какой скоростью идеи и сочинения Лютера распространялись среди людей. Уже совершенно убежденный в злокозненности римских иерархов, Лютер выпустил целый ряд памфлетов, в частности «Вавилонское пленение церкви» и «К христианскому дворянству немецкой нации», в которых обличал папу и призывал немецких князей к реформе церкви. Лютер завоевывал преданных читателей по всей Германии своим страстным немецким национализмом, направленным против отмеченных итальянским засильем церковных властей. Его ничем не скованные слова и действия не только выставляли церковь порочной и покусившейся на основы христианства, но к тому же обнаруживали ее беспомощность. В октябре 1520 года новый император Карл V прибыл в Саксонию, чтобы убедить Фридриха выдать Лютера, однако Фридрих снова отказался уступить. В ответ Лев X немедленно выпустил буллу, угрожающую Лютеру отлучением от церкви. В 9 часов утра 10 декабря 1520 года огромная толпа студентов и преподавателей Виттенбергского университета разожгла костер, в который бросала листки с папской буллой. 3 января Лютер был наконец отлучен —

и тем самым официально освободился от всякого подчинения римской власти.

К 1591 году, когда в городе Вормс собрался чрезвычайный рейхстаг, или имперский совет, слава Лютера гремела по всей Европе. Его репутация была такова, что император, призвав его на совет, пообещал ему безопасность и свободу передвижения. Однако из поведения Карла V явствовало, что он намерен изгнать своего отлученного подданного из пределов империи, и потому после появления в Вормсе сподвижники уговорили Лютера укрыться в замке Вартбург неподалеку от Айзенаха, где в уединении он и прожил весь следующий год, заняв себя переводом Библии на немецкий. Хотя император, вставший на сторону папы, сумел навязать свое решение германским государствам, в реальности империя, прежде образовавшая единое религиозное целое, распадалась на глазах.

Германские правители снова собрались вместе в Нюрнберге в 1522 году и здесь, сплотившись, отколовшиеся государства сумели настоять на принятии решения о созыве свободного христианского собора. Когда все опять встретились в Шпейере в 1529 году, проримские настроения преобладали — однако меньшинство государств обнародовало коллективный протест (отсюда название «протестанты»), в котором заново утверждалось принятое в Нюрнберге единодушное решение, оставлявшее попечение религиозных вопросов и взаимоотношения с Богом на индивидуальное усмотрение каждого человека. Сумятица и разногласия между множеством издававшихся и отменявшихся указов, как в католической части империи, так и в протестантской, были наконец преодолены в 1555 году Аугсбургским миром. Хотя включенная в соглашение формулировка «*cuius regio, eius religio*» («религия правителя — религия народа») послужила причиной новых волнений, к тому времени Европа уже твердо разделилась на католические и протестантские государства, а некоторые ее части, например, Франция и Шотландия, к своему несчастью оказались разделенными и внутри себя.

В чем же заключалось послание Лютера, воспринятое немцами и другими народами северной Европы? Яростный противник роскоши и стяжательства римской церкви, Лютер не был «сторонником прогресса». Наоборот, он считал бросившийся ему когда-то в глаза чрезмерный мирской блеск папы и кардиналов прискорбным современным поветрием и искренне желал возвращения к простому благочестию далекого прошлого — его идеалом была ранняя христианская церковь. Он с гневом отвергал претензии католической церкви на духовное водительство, поскольку в корне расходился с ней по вопросу о природе отношений между человеком и Богом. Как член августинского ордена, он верил, что людям не дано ни предугадать Божественную волю, не повлиять на нее. Решение Бога о том, кому суждено быть спасенным, а кому проклятым, человек не сможет отворотить жалкими попытками исправить свое поведение. Его задача — не пытаться разобраться в том, как себя вести, а терпеть страдания и жить в Божьем страхе. Для Лютера сказанное Августином означало, что при извечной предопределенности спасения верный христианин может воспринимать свою глубокую веру как знак того, что он находится в числе спасенных. Указания на спасение не покупаются вместе с индульгенцией, не обретаются в награду на пожертвования или даже на добрые дела и соблюдение законов церкви — они приходят через веру и только через нее.

Политическая культура Германии заодно с развитием книгопечатания обеспечила распространение учения Лютера; но какую форму оно должно было принять на практике, и к тому же, если забыть на время о политике, почему оно явилось объектом притяжения для множества немцев и других североευропейцев? Лютер оказался в роли громоотвода духовных стремлений миллионов западных христиан. Его потребность в глубокой связи со смыслом христианства и в надежде на спасение отразилась в чаяниях и страхах половины континента. Многие по-прежнему обретали и духовный опыт, и путь к спасению в лоне католической церкви, однако для многих

прочих она перестала быть источником того и другого. Общность в вере, на которой когда-то возвели религию, была подорвана. Кроме того, Лютер дал людям иную церковь, церковь Христа, предлагавшую удовлетворить нужды искренне верующих христиан-раскольников. Он писал для обновленной церкви молитвы и гимны, давал указания о порядке службы, выстраивал ее административную и материальную структуру. Положение священника и в материальном, и в духовном смысле радикально изменилось, а значение мессы было переосмыслено: вместо священного жертвоприношения, проводимого особым лицом (священником), она превратилась в момент общения Бога с верующими. Писание говорило просто: «Сие есть Тело Мое... сие есть Кровь Моя», и всякий мог быть причастным к этому действию: служение священника теперь было одновременно служением церковной общине. Высокие мраморные жертвенники, полузакрытые крестными перегородками, сменились деревянными столами на виду у всех, а священник проповедовал либо с приступки, ведущей в алтарь, либо с кафедры, не вознесенной высоко над конгрегацией, а расположенной в «теле» церкви.

Поразительным нововведением лютеранской церкви стало употребление немецкого языка. Сделанный самим Лютером перевод Библии распространился по всей Германии, позволив тысячам немцев напрямую познакомиться со Священным Писанием. Восторг и изумление, испытываемые при первом прочтении библейских историй, еще сильнее привлекали к учению Лютера, а богослужения и гимны, тоже на немецком, внушали ощущение полноправного участия в церковной жизни, сплетая зарождающееся национальное чувство в единое целое с вероисповеданием. Кроме того, Лютер напрямую апеллировал к вековой заботе рядовых христиан о спасении и к постоянно присутствующему страху перед Страшным судом и проклятием. Его послание — укрепляйте свою веру, и это станет знаком того, что вы достойны спасения, — отзывалось радостью во множестве сердец.



Религиозный раздел Европы после Реформации

Если Лютер, не в последнюю очередь благодаря распространению книгопечатания, смог положить начало разделению западного христианства и закрепить его своей созидательной деятельностью, то второй важнейшей фигурой Реформации стал человек, который придерживался несколько иных воззрений на христианскую жизнь. Родившийся и получивший образование во Франции, Жан Кальвин перешел в протестантизм в 1533 году и был вынужден бежать в Швейцарию. После нескольких лет скитаний, найдя пристанище в вольном городе Женеве, он основал здесь собственную церковь, которая фактически сделалась городским правящим органом с 1541 года до смерти Кальвина в 1564 году. В своем главном труде «Наставление в христианской вере» Кальвин говорил о ничтожности и неизбежной греховности человечества, а также о предопределении: «Ибо не все они сотворены с одинаковым предназначением; но некоторым от начала суждена вечная жизнь, а другим — вечное проклятие. Следовательно всякий сотворен либо для одной, либо для другой из этих целей, и поэтому мы говорим: тому-то предопределена либо [вечная] жизнь, либо смерть». Тех, кто спасется, Кальвин (словно бы вторя Пелагию, см. главу 4) называл Избранными, и хотя никому не дано знать, кто избран, а кто нет, верующие могли искать определенные знаки, свидетельствующие об их принадлежности к кругу Избранных, а значит — о грядущем спасении. Если Лютер говорил, что знаком спасения может быть вера, и только вера, по убеждению Кальвина, свидетельством твоей избранности служило то, как ты проживаешь свою жизнь.

Став главой Женевы, Кальвин получил шанс дать людям наглядный урок христианской жизни. Кальвинисты, которым ничего не требовалось от этого мира, отказались от всех удовольствий и развлечений: пение, танцы, увеселения, сборники занимательных рассказов, нарядная одежда и алкоголь изымались из быта. Вместо этого принципами жизни пуритан, как мы привыкли их называть, становились набожность, труд, примерное поведение, благотворительность, воздержан-

ние и бережливость. Внешнее проявление степенного благочестия было не менее важно, чем внутреннее содержание — Избранные должны были демонстрировать остальным, как следует жить истинному христианину. Будучи специфическим толкованием доктрины предопределения, кальвинизм тем не менее вдохновлял своих приверженцев вести духовно насыщенную и активную жизнь. К тому же, он предлагал людям общность в вере посреди мира, в котором все сильнее царствовало индивидуальное начало.

В отличие от Лютера, Кальвин не звал вернуться к богобоязненному Средневековью, вместо этого он проповедовал идею о том, что можно показать себя достойным спасения через труд. К XVI веку растущее буржуазное сословие начало доминировать во многих городах хозяйственного сердца Европы. Если в Италии коммерческая верхушка прибрала к рукам власть в городах, то в Ульме, Антверпене, Майнце, Утрехте, Лионе и Женеве этого не случилось — власть знати распространялась на сельскую местность, и города (до какой-то степени) существовали сами по себе. Грамотные и образованные торговцы, цеховые мастера, юристы, управляющие, конторщики, грузоперевозчики, банкиры и преподаватели не обладали достаточным богатством, чтобы поставить город под личный контроль, однако в совокупности они представляли самую влиятельную группу населения. Подобно тому как христианство в самом начале распространялось преимущественно среди представителей среднего класса городов восточного Средиземноморья, кальвинизм привлекал к себе в первую очередь буржуазию городов Европы. Разочарованные выхолощенными обрядами католической церкви, недоверчиво посматривающие на высшую власть, самодостаточные и рассудительные, буржуа Женевы, Амстердама и Гамбурга целиком принимали проповедуемые Кальвином добродетели. Они привыкли работать не покладая рук, были набожны, сдержаны и верили в необходимость участвовать в жизни общины. Кальвинизм не осуждал их за зарабатывание денег. Если они не прозябали в праздности и соблюдали все необ-

ходимые правила, то могли скопить несметные богатства, не утратив при этом ни капли христианской добродетели, — более того, зарабатывать деньги непрерывным трудом было их христианским долгом.

Хотя Реформация часто истолковывается как освобождение из-под гнета римской церкви, во многих аспектах содержание этого процесса сводилось вовсе не к освобождению. Позднесредневековая церковь относительно спокойно сносила критику и насмешки, как, впрочем, и деятельность мистиков, магов, визионеров и разного рода чудаковатых уличных пророков. Однако в глазах многих верующих она стала слишком расслабленной и снисходительной, и потому строгая дисциплина, насаждавшаяся лютеранами, кальвинистами, пресвитерианами и пуританами, являлась сознательным шагом к исправлению нравов. В Женеве при Кальвине за прелюбодеяние, чревоугодие и магические обряды бросали в темницу, а критика кальвинистской доктрины каралась смертной казнью.

Как и Лютер, Кальвин был неутомимым организатором. Помимо разработки системы теократического правления в Женеве и публикации ряда сочинений, излагавших его богословские положения, он наладил подготовку и обучение нового священства в основанной им Женевской коллегии. Систематическое учение и организационная структура кальвинизма, вместе с непрерывно растущей армией проповедников, стала распространяться из Женевы по всей северной Европе. Спустя какое-то время кроме швейцарцев число кальвинистских сообществ пополнилось французскими гугенотами, населением северонидерландских Соединенных провинций и некоторых частей Шотландии. Кроме того, кальвинизм, как и лютеранство, имел серьезное влияние и на несколько диссентерских (раскольнических) движений, осевших в XVII веке в английских колониях в Северной Америке, — на тех, кто сформировал религиозное и политическое лицо будущих Соединенных Штатов.

Историческая связь между распространением кальвинизма, а также более умеренного англиканского протестантизма

ма, и расцветом капитализма уже давно представляет серьезный интерес для историков. Тогда как католические страны Юга — в первую очередь Италия и Испания — вступили в XVII веке в период относительного упадка, в странах протестантского Севера, особенно Англии и Нидерландах, начался долгий период экономического подъема, связанного с переходом к капиталистической системе. Такие выдающиеся историки, как Р. Дж. Тоуни и Макс Вебер, приняв на веру слова Кальвина, увидели прямую причинно-следственную зависимость между религиозной санкцией мирского успеха и самим успехом, а значит, между протестантизмом и капитализмом, причем именно первый служил причиной второго. Однако с не меньшей обоснованностью можно сказать, что опрощенное благочестие лютеран и кальвинистов явилось эмоциональной реакцией на растущую коммерциализацию городской жизни. Религиозное рвение протестантизма, возможно, было совсем не идеологической опорой стяжательства и индивидуализма, а их противовесом. Когда мы усматриваем в соседстве смиренной набожности и кальвиновского одобрения мирского успеха логическое противоречие и даже лицемерие, мы забываем, что эти на первый взгляд конфликтующие идеалы, образуя своего рода взаимозачет, способны уравновесить друг друга в человеческой душе.

Вернувшись к одному из парадоксов, заявленных в начале этой главы, мы, уже изучившие исторический сюжет, связанный с их возникновением, наверное, убедились, что все время пытались выстроить неверные связи. Возможно, ключ к пониманию Реформации лежит не в рационализации мотивов основных ее участников и значения основных событий, а в понимании эмоциональной жизни и духовных нужд людей западного христианского мира. Если Реформация чему-то нас и учит, то именно тому, что жизнь людей подчиняется потребностям души, а не рациональным требованиям последовательности и непротиворечивости. Католическая церковь, вместо того чтобы предложить духовную альтернативу денежному материализму, казалось, сдалась перед лицом наступа-

ющей коммерциализации, сама увлеченная роскошью и богатством. Лютер и Кальвин, наоборот, создали возможность — в первую очередь для горожан — жить духовной жизнью в сердце мира, которым правят деньги.

Реакция католической церкви на религиозный пуризм Лютера и Кальвина оказалась зеркальной: начатая ею Контрреформация была попыткой поставить барьер распространению протестантизма, но чтобы добиться этого, она прибегла к оружию своих оппонентов. На Тридентском соборе, заседавшем в 1545–1547, 1551–1552 и 1562–1563 годах, римские церковные власти отбросили прежний либерализм и положили начало периоду суровой дисциплины. Инквизиция и орден иезуитов были поставлены надзирать за верующими, интенсивные гонения навсегда отчистили католический мир от неортодоксальных учений, визионеров и пророков, а жизнь простых католиков отныне омрачил ничуть не надуманный страх заслужить обвинение в ереси.

Если кажущиеся парадоксы Реформации правильнее всего рассматривать как ряд эмоциональных реакций европейцев на те или иные события и тенденции, то некоторые парадоксы оказались заключены внутри самого протестантизма. Если Лютер не мог смириться с тем, что Аристотель стал одним из источников христианского богословия, то Кальвин сам был исследователем классики, чьей первой опубликованной работой стал комментарий к сочинению Сенеки «De Clementia» («О милосердии»). Хотя лютеровская реформа церкви родилась из отвращения к рационализму и в главном опиралась не на разум, а на веру, протестантизму удалось найти место для растущего увлечения классическими штудиями и рациональным исследованием всевозможных областей бытия (см. главу 10). Городское происхождение новой конфессии означало, что рано или поздно ей придется прийти к компромиссу с рационализмом, однако оно же серьезнейшим образом ослабило связь христианства с природным миром. Если христианское богословие всегда помещало человека на вершину

творения, то Реформация пошла еще дальше и совершенно отделила человека от остальной природы. Черная магия, алхимия, знахарство, на которые старая религия закрывала глаза, теперь попали под подозрение и сделались опасными для тех, кто их практиковал. — охота на ведьм и сжигание их на кострах были по преимуществу протестантским занятием.

Вероятно, самым решительным вызовом прежнему христианскому мирозерцанию явилось растущее у людей ощущение своего существования как существования отдельного индивида, руководимого индивидуальными потребностями, надеждами и желаниями, а не как элемента единого общественного целого. Реформация одновременно развивала эту тенденцию и боролась против нее — еще один пример логического противоречия, сводящегося в человеке к эмоциональному балансу. Лютер дал образец единения в вере, который, по его мысли, воспроизводил практику ранних христиан — собрание небольшой общины в скромной обстановке. Священник становился не более причастен Божественному, чем любой другой член конгрегации, он просто назначался, чтобы помочь остальным. Однако своей доктриной и переводом Библии на понятный язык лютеранство связывало каждого верующего напрямую с Богом. Акт чтения, пусть поначалу это было коллективное чтение вслух, открывал для человека двери в собственный внутренний мир, а отсутствие священника как духовного руководителя делало личную совесть главной ареной религиозной жизни. Раз за разом протестантским сектам позднейших времен — шейкерам, менонитам, членам «Брудерхоф», Обществу друзей (квакерам), Плимутскому братству — приходилось предпринимать попытки сохранить общинный дух в том мире индивидуализма, который сложился не в последнюю очередь благодаря Реформации.

Протестантский тип религиозной общности оказался влиятельным и в другом отношении. В отличие от католической церкви с ее нисходящей системой легитимной власти (имеющей своим первоисточником Бога на небесах), кальвинист-

ская церковь была организована как ряд концентрических уровней, состоящих из избираемых органов: консисторий, синодов, пресвитерий и коллоквиумов, ведущих к региональным и национальным синодам. Устранение церкви как посредника оставляло верующего лицом к лицу с Богом, однако вместе с тем оно меняло представление каждого отдельного христианина о естественном устройстве религиозной и политической власти. Участие общины в управлении церковью отвечало вековой потребности человека, и вскоре она проявилась в светской сфере. Вовсе не случайно голландский и североамериканский кальвинизм оказались столь тесно переплетены со стремлением к политическому самоопределению.

Учитывая, что движителем Реформации стала жажда духовной жизни во все более коммерциализирующемся мире, уместно задать вопрос о реакции на этот процесс со стороны художников. Как сумели приспособиться к новому миру живописцы, скульпторы и архитекторы, еще недавно вознесенные из анонимных ремесленников в культурные знаменитости? В католической Европе покровительство состоятельных и могущественных лиц не прекратилось: новые меценаты использовали стилистически преобразованное итальянцами искусство для собственного прославления, однако в нем уже отсутствовал тот центральный творческий импульс, который был характерен для XV века. Произведения барокко, оформившегося в XVII веке, выглядят слишком напыщенными на современный взгляд — нарочитые и причудливые, они демонстрируют мастерство художника, но бессильны оказать художественное воздействие; к тому же в мире, в котором деньги являлись пропуском в высшее общество, искусство встало на службу состоятельных людей, желавших выделить себя из массы. Впрочем, даже в эту эпоху были исключения из общего правила: в творчестве Караваджо, Веласкеса и других мы обнаруживаем попытку противостоять окружающим их в избытке воплощениям неумеренно идеализированной красоты.

Реформация религии означала, что у протестантов осталось все меньше потребности в «искусстве» как отдельной

сфере жизни — как и в случае со средневековыми христианами, их вера и общение в вере отвечали многим из тех потребностей, которые искусство обычно пытается удовлетворить. В протестантских странах церковные власти смотрели на живописные и скульптурные изображения святых как на проявления идолопоклонства, вследствие чего местным художникам пришлось зарабатывать на жизнь книжными иллюстрациями и портретами. Живопись как профессия практически вымерла во многих частях Германии и Англии. Однако в Нидерландах она не только не вымерла, но даже расцвела. В том, что касалось изображения природы, репутация фламандцев превзошла даже репутацию итальянских мастеров. Исключительное умение Яна ван Эйка, Хуго ван дер Гуса и Рогира ван дер Вейдена добиваться достоверной передачи всевозможных поверхностей, прославившее их имена на всю Европу, было унаследовано позднейшими фламандскими живописцами. Когда религиозные темы попали под запрет, Питер Брейгель, Франс Хальс и другие стали специализироваться на «натурных» сценках и индивидуальных и групповых портретах. Голландские бюргеры были особенно пристрастны к изображениям ассоциаций и клубов, являвшихся опорой их общества, что дало возможность Хальсу и позже Рембрандту запечатлеть столь характерное для этих объединений сочетание личных особенностей каждого и сплавивающей коллективной цели — мы видим это в «Ополчении святого Георгия» Хальса и «Ночном дозоре» Рембрандта. Другие голландские мастера зарекомендовали себя в пейзаже — жанре, возникшем как бы в качестве компенсации горожанам за отстраненность от жизни природы.

Расцвет портретной живописи, обусловленный ролью практически единственного источника дохода для фламандских художников, явился также признаком общей тенденции подчеркнутого внимания к человеческой индивидуальности. Английские, немецкие и голландские купцы стали заказывать свои изображения столь же активно, как итальянские князья и испанские короли. И если, как и в Италии XV века, те,

кто лишь потакал желанию своего покровителя, не создали ничего выдающегося, то Гольбейн, Веласкес, Хальс и временами Рубенс умели заставить человеческую фигуру и лицо донести до зрителя эмоциональную глубину, задать загадку и вызвать сочувствие. Впрочем, один из поздних художников той эпохи поднял искусство портрета на совершенно иной уровень. Рембрандт ван Рейн (1616–1669) не был модным живописцем и едва сводил концы с концами, живя в Амстердаме. Свое неостребованное мастерство он обратил в ином направлении — на себя самого. Его серия автопортретов представляет собой одновременно красноречивую автобиографию и волнующий ответ безразличному миру. Рембрандта не сковывала задача польстить или добавить красоты модели, вдобавок, его никто не торопил. Вместо этого он искал способ передать внутренний мир души через запечатление внешнего отражения — человеческого лица. Созерцательный и, по-видимому, мятущийся человек, Рембрандт отворачивался от мира, чтобы найти вдохновение и предмет исследования в себе самом, — тем самым предвещая возникновение западного художника иного типа.

При том, что живопись везде, кроме Нидерландов, не могла отыскать подходящего места в новом мире, ее нишу начала занимать литература. Распространение книгопечатания означало, что теперь любой состоятельный вельможа мог сочинить поэтическую книжку или изложить историю своих путешествий на бумаге и затем распространять экземпляры среди своих друзей, знакомых и тех, на кого он хотел повлиять. В XVI веке Европу наводнили повести о приключениях — их авторы представляли собой массу отдельных людей, каждый из которых пытался возвысить голос над шумной толпой. И так же, как из-под кисти фламандцев выходило искусство, в котором религиозный сюжет сменялся выражением духовности и особого настроения самого художника, из-под пера европейских писателей выходила литература, в которой не было Бога. Творения Данте, Боккаччо, Чосера и Рабле все существовали внутри религиозной вселенной, но к творениям

Сервантеса и Шекспира это уже определенно не относилось — чрезвычайная скудость религиозных тем и аллюзий является одной из самых удивительных шекспировских черт, — а Мишель Монтень смотрел на мир исключительно собственными глазами, и ничьими другими. Западная Европа по-прежнему была насквозь пропитана христианством, однако на горизонте уже брезжил рассвет иного мира. В эпоху Реформации средневековое сообщество уступило место отдельному человеку, одиноко стоящему перед лицом Бога; пройдет еще немного времени, и смысловая ось западной цивилизации вновь сдвинется: на сей раз христианин, состоящий в непосредственной связи с Богом, превратится в рационального индивидуума, нуждающегося в рационально устроенном обществе.

Глава 10

КОРОЛИ, АРМИИ И НАЦИИ

Возникновение военного государства

Когда в 1494 году король Франции Карл VIII в сопровождении 30 тысяч солдат пересек Альпы, чтобы занять престол Неаполитанского королевства, он вел себя как средневековый князь, пришедший вернуть личную собственность. Однако его действия и, что еще важнее, методы стали сигналом начала конца средневекового мира. К весне 1494 года, продвигаясь по суше, Карл достиг порта Ла Специя, где, только что прибывшие морем из Франции, дожидались 40 свежееотлитых пушек. Хотя грубые формы стационарных орудий существовали в Европе уже на протяжении столетия или дольше (самое раннее упоминание относится к 1326 году), пушки Карла отличались принципиально: они были передвижными, точными и обладали огромной разрушительной силой. Когда стены замка Фрицциано превратились в груды обломков, это послужило предостережением любому городу, вздумавшему оказать сопротивление французскому войску в надежде на свои по видимости надежные средневековые укрепления — Флоренция, к примеру, сдалась без боя. Единственная осмелившаяся не уступить Карлу неаполитанская крепость Сан-Джованни, в своей предыдущей истории однажды выдержавшая семилетнюю осаду, была взята за восемь часов. Высокие сте-

ны оказались не только бесполезными — они делали обрушение еще более вероятным, если пушки начинали бить по основанию. Внезапно всем, включая Леонардо и Микеланджело, захотелось узнать побольше о химическом составе пороха и траектории полета пушечных ядер.

Итальянский триумф Карла не продлился долго, поскольку против него объединились другие державы, в первую очередь испанцы и австрийцы, также имевшие пушки на вооружении; вдобавок эти державы могли выставить на поле боя не меньшее количество солдат. Тем не менее средневековая система, в которой князь или герцог мог править личным уделом, опираясь на верность небольшого числа дружинников и защиту стен крепости, и в которой города могли существовать как неприступные самодостаточные образования, ушла в небытие. Что же должно было прийти ей на смену?

Корни европейских наций, начавших постепенно выкристаллизовываться из средневекового мира, уходили в прошлое, однако сами по себе это были формации нового типа. Средневековый князь, король или император был обязан свои правом на власть предкам, от которых ему доставались земля, собственность и до какой-то степени преданность вассалов. Короли могли оставаться королями без того, чтобы контролировать целиком территорию своего королевства, — веками французским монархам приходилось соперничать с баронами, которые иногда были более могущественными и подчиняли себе более обширные области и чьи наследственные права предшествовали королевским, а значит, с точки зрения баронов, их превосходили. Английская корона в этом смысле не имела проблем, поскольку все английское дворянство получило земли от короля в результате завоевания 1066 года. Тем не менее даже королям и королевам Англии не всегда удавалось склонять номинальных вассалов к полному подчинению.

Связывавшая франкских властителей позднесредневековой Европы общая культура позволяла заключать многочисленные браки между правящими фамилиями, что вело к при-

чудливому переплетению родословий и в дальнейшем к потенциальным и реальным конфликтам. С одной стороны, браки между отпрысками великих династий считались выгодными, с другой — они плодили постоянные войны за престол. К примеру, в 1337 году Эдуард III, английский монарх, посчитал себя вправе претендовать на французскую корону как на часть своего наследства по материнской линии. Результатом стала серия военных кампаний, затянувшаяся дольше, чем на век, и получившая название Столетней войны. Каждый лагерь пытался сплотить вокруг себя знать подвластных земель, однако, что бы мы ни прочитали у Шекспира, напрасно представлять себе, будто на кону стояла национальная честь или даже национальный интерес — Плантагенеты попросту стремились забрать семейную собственность.

Этот кровопролитный, до какой-то степени искусственный конфликт бросил вызов средневековому пониманию войны как благородного рыцарского предприятия. Знаменитый Черный принц, воплощение легенд средневекового рыцарства, лишил жизни 3 тысячи обитателей Лиможа, включая женщин и детей, падавших перед ним на колени с мольбой о пощаде. В 1415 году при Азенкуре тяжеловооруженная французская конница, 300 лет сметавшая все на своем пути, неожиданно оказалась беспомощной перед боевыми луками английских крестьян-пехотинцев, косивших французскую знать как траву. После битвы английский король Генрих приказал перерезать горло всем захваченным в плен, а при осаде Руана в 1418–1419 годах оставил 12 тысяч французских женщин и детей, выгнанных оборонявшимися, умирать от голода и холода под городскими стенами. Это были его подданные, однако для осажденного гарнизона они представляли собой лишние рты и потому были обречены на смерть.

Столетняя война являлась типичным средневековым конфликтом между двумя династиями. Время от времени выливавшаяся в ужасную бойню, она оставалась эпизодической, локализованной, не приносящей ни одной из сторон решающего перевеса, вдобавок по сути представляя собой внутрен-

нюю распрю между двумя группами аристократов, породненных культурой, кровью и прежде всего религией. Способность князей средневековой Европы воевать ограничивалась количеством войска, которое они могли собрать под своим началом, но не в меньшей мере и ролью католической церкви. Средневековые папы использовали политическое влияние для того, чтобы отговорить духовных подданных от военных действий: перспектива взаимного уничтожения друг друга «братьями во Христе» ради власти над землей, которая в конечном счете принадлежала одному Всевышнему властителю, не могла быть по нраву вселенской церкви.

Всего лишь 40 лет отделяет конец Столетней войны от французского вторжения в Италию — и тем не менее произошедшая перемена бросалась в глаза. Разрушительная мощь пушек покончила с институтом города-государства и, за несколькими важными исключениями, с городской автономией. Безопасность правителя, неожиданно переставшую зависеть от высоких каменных стен, теперь мог гарантировать лишь полный контроль территории. Те из князей, кто мог выставить достаточно солдат на защиту определенной местности, сохраняли свою власть, а кто не мог — обрекали себя на безвластие. Миновало еще 25 лет после триумфального шествия Карла по Италии — и западное христианство навсегда утратило свою целостность. Вселенская церковь уже больше не сдерживала королевские амбиции — теперь имел значение только территориальный контроль, обретаемый посредством современной артиллерии и внушительной вооруженной людской массы. Этот новый рецепт чем дальше, тем больше превращался в неотменяемый факт европейского существования, приведший в конечном счете к рождению нового типа государства и цивилизации.

Города Италии, обладавшие баснословными богатствами (у Венеции и Флоренции каждой было больше золота, чем у французского или английского королевства), в XV веке стали использовать эти богатства для своей обороны, приглашая на

службу вооруженных наемников — кондотьеров. Однако новая ситуация потребовала еще больше войск, как, впрочем, и еще больше невероятно дорогостоящего оружия: пушек и мушкетов. Чтобы найти деньги, властям Милана, Флоренции, Венеции, Рима и Неаполя пришлось обложить граждан или подданных дополнительным налоговым бременем. Как утверждают историки, именно из этой потребности во всеобщем налогообложении для покрытия расходов на оборону и родилось европейское государство. Итальянские города оказались в авангарде процесса, поскольку малочисленное население и сравнительно высокая доля граждан-налогоплательщиков ставили их в положение, отличное от положения феодальных королевств Севера и Запада. Власти итальянских городов не сумели бы наладить фискальную систему пополнения казны для покупки наемников, если бы развитая коммерческая инфраструктура не породила к тому времени целый класс образованных нотариусов, счетоводов и конторских служащих — по сути, готовую государственную бюрократию. Стоило этой бюрократии, а также системе, от имени которой она действовала, вполне освоиться со своим новым положением, как поддержание ее существования сделалось более важным для функционирования города, герцогства, княжества или королевства, чем сама персона правителя. Однако машина сбора налогов, администрирования и распоряжения расходами, взявшая на себя также вопросы военного планирования, не просто стала главной опорой общества, которому она была призвана служить; «состояние»*, как его позже начали называть, превратилось в некую всемогущую и вездесущую, но при этом не поддающуюся определению вещь,

* Английское слово «state» («государство») также означает «состояние, положение» и, вместе с названиями «государства» в других западноевропейских языках (фр. «état», исп. «estado», ит. «stato», нем. «staat», шв. «stat»), происходит от латинского «status», имеющего то же значение. — *Примеч. перев.*

которая, во благо или во зло, сделалась доминирующим фактором жизни его подданных или граждан.

С самого начала в Европе уживались разные типы государств: империи, королевства, отдельные города и федерации, — однако, с современной точки зрения, наиболее успешными из них оказались те, что сумели объединить институциональные изменения с плодами прогресса военных технологий. Никколо Макиавелли одним из первых увидел необходимость перемен. Законная власть итальянских правителей долгое время опиралась на сложную комбинацию династических претензий, народной поддержки, колоссального богатства и военной мощи. Но по мере того как аппарат власти приобретал все более «государственные» черты, правителю требовалось новое оправдание его положения. Если он уже не был ни отцом-патриархом, ни рыцарем в сияющих доспехах, ведущим в бой, ни феодальным хозяином, то кем он был? Ответ Макиавелли, наиболее убедительно сформулированный в «Государе», гласил, что правителю надлежит быть слугой государства. Это не означало какого-то принижения личного статуса, смысл был в том, что вместо следования личным пристрастиям и инстинктам правитель должен взять за правило всегда руководствоваться благом государства. «Государь» прославился своей аморальностью — Макиавелли, к примеру, писал о «жестокости, примененной кстати» и «жестокости, примененной некстати», — однако суть этого трактата сводилась к тому, что правителю, если тот хочет сохранить свою власть (и жизнь), придется полагаться не на личную мораль, а на политическое разумение. Короли, князья, императоры и вожди кланов пользовались практической мудростью для завладения властью или удержания ее на протяжении столетий. Отличие нового «состояния» заключалось в том, что королевство или княжество больше не было личным владением правителя. Какого бы могущества он ни добился, главным основанием его притязаний на верховенство являлось то, что он служил нуждам государства лучше, чем кто бы то ни было.

Новое абстрактное, развоплощенное государство с его неотъемлемой территориальной целостностью и фискальными полномочиями появилось на свет в Италии, однако вскоре итальянский урок был усвоен остальными. На протяжении большей части XV века английскую корону оспаривали различные аристократические династии, а до того она заявляла свои претензии на обширные владения во Франции. В XVI веке короли династии Тюдоров наладили эффективную работу внутреннего административного аппарата и, за исключением краткой вылазки во Францию, сосредоточились на том, чтобы подчинить себе всю территорию Британских островов. Знаменитый Генрих VIII и его отец сумели запустить действенный, сам себя подпитывающий механизм, смысл работы которого заключался в том, что повышение налоговой эффективности конвертировалось в дополнительные ресурсы, а те, в свою очередь, позволяли выдавливать из населения еще больше налогов. По сравнению с современными показателями казна не требовала слишком многого — но стоит учесть, что тогдашнее государство не выполняло функций поставщика услуг и являлось лишь защитником подданных.

Тот же процесс шел и во Франции, где в XVI веке Людовик XII, Франциск I и Генрих II сумели выстроить централизованную администрацию, поставить на вооружение новшества военной техники и учредить обеспечиваемую за счет налогов армию, подчинив с их помощью независимые провинции и герцогства: Бургундию, Бретань и Гасконь. Как ни парадоксально, именно поражения в Италии способствовали стягиванию, на английский манер, французских земель в то территориальное целое, которое стало почвой для утверждения нового государства. После смерти Генриха II в 1559 году Франция вступила в период династических раздоров, однако возвышение Генриха Наваррского в 1589 году закрепило особенности функционирования новой властной системы. Если предшествующие конфликты питались религиозной враждой, то после коронации Генрих, протестантский вождь, перешедший в католицизм, заключил мир с католи-

ческой Испанией и выпустил Нантский эдикт, гарантирующий свободу вероисповедания католикам и протестантам. Знаменитая фраза Генриха, сказанная им по поводу своего обращения, — «Париж стоит мессы», — в мире, по-прежнему глубоко религиозном, означала свершившееся признание новой тенденции. Если правитель хочет взойти на трон, ему не остается ничего другого, кроме как поставить требования государства выше личных религиозных или иных интересов.

Аналогичная трансформация произошла в Англии, которой после смерти Генриха VIII пришлось пережить беспокойное время под властью его столь несхожих отпрысков. Сын Эдуард был рьяным протестантом, а дочь Мария — не менее ревностной католичкой. Их правления были недолговременными, последнее слово осталось за Елизаветой, права которой на престол были по меньшей мере спорными, но которая сумела взять верх, руководствуясь своим пониманием потребностей английского государства. Безжалостная и решительная, Елизавета прежде всего была человеком прагматичным, готовым подчинить себя насущным нуждам нации.

Если во Франции и Англии государство одновременно обрело территориальную целостность и абстрактную бестелесность, то в третьей главной европейской державе, Габсбургской империи, дела обстояли точно наоборот. Родившийся в 1500 году Карл V унаследовал Нидерланды после смерти отца в 1515 году, затем трон Кастилии и Арагона в 1516 году, а в 1519 году, после смерти деда, сделался эрцгерцогом Австрии и избранным главой Священной Римской империи. Он правил до 1556 года, когда добровольно отрекся от власти, и умер в 1558 году.

Карла и его сына Филиппа это колоссальное наследство, которое в прежние времена сочли бы даром небес, едва не погубило. При возникшей для властителей необходимости уметь в критическом случае защитить свои территории, управиться с пространством такого географического разброса было практически невозможно. Карл, который рос в Нидерландах, заслужил привязанность подданных в качестве

правителя этих полуавтономных областей, однако в Испании его постоянное отсутствие (и положение чужеземца) создавало серьезную проблему. Но с главными трудностями Карл, неодобрительно смотревший на лютеранство, столкнулся в немецких землях. В результате тридцатилетнего противоборства с номинально подчиненными ему государствами он в конце концов был вынужден пойти на компромисс. После Аугсбургского мира 1555 года, который позволил каждому члену имперского совета выбирать религию подданных, Карл (продемонстрировав разительный контраст с позднейшим поведением Елизаветы и Генриха Наваррского) отрекся от короны, удрученный собственной неспособностью защитить католическую веру.

Карл разделил королевство между древней Священной Римской империей — прямым властвованием над Австрией и номинальным властвованием над немецкими государствами — и остальной частью, включая Испанию, Неаполь и Нидерланды. Эта остальная часть отошла его сыну Филиппу, вместе со многими проблемами. К 1556 году, когда Филипп принял испанскую корону, Контрреформация была в полном разгаре, а серебро из Перу переполняло казну. Испания внезапно выдвинулась на первые роли в европейских делах в качестве ведущей католической державы и богатейшей страны, обладающей практически неограниченными ресурсами для содержания армии и флота.

В отличие от отца Филипп не пользовался популярностью у жителей Нидерландов: в их глазах он был чужеземцем, которому не следовало вмешиваться в их жизнь и позволить им самостоятельно распоряжаться своими делами. Однако Филипп, в молодости посетивший Нидерланды и познакомившийся с местной знатью, считал эти земли своим законным владением. Как вождю католической Европы, ему виделось необходимым не только выкорчевать протестантизм, но и вернуть католицизм в Англию, которая временно отступилась от древней веры.

Когда в 50-х годах XVI века от центрального правительства Нидерландов посыпались указания о преследовании все более многочисленных сторонников лютеранской и кальвинистской ереси, власти в некоторых провинциях не проявили должного рвения. С 1560 года в защиту веротерпимости начали выступать некоторые из членов самого правительства — органа, в который входили представлявшие провинции аристократы-католики. В 1565 году в Испанию была направлена делегация во главе с графом Эгмонтом, которая должна была вручить королю просьбу о смягчении принятых религиозных законов. Это был поворотный момент истории: Филипп мог либо навязать свою веру разрозненным землям королевства, либо решить, что является наилучшим для государства, которому он служит. Поскольку Филипп мечтал о католической Европе, восстановившей средневековое единство, а не о безопасности и мире для Испании, он отказался пойти на компромисс. Результатом его решения стала Голландская революция — ожесточенный кровавый конфликт, затянувшийся на десятилетия.

За полвека после того как французская армия силой пушек заставила Италию склонить голову, голландские инженеры научились возводить оборонительные стены, которые выдерживали обстрел даже самой мощной артиллерии. Однако у Филиппа было достаточно серебра, чтобы продолжать бессмысленное и невероятно затратное предприятие. Когда деньги иссякали, он просто прибегал к займам — три раза умудрившись при этом обанкротить испанскую казну. (В 1576 году из-за невыплаты жалованья испанская армия устроила настоящий погром в Антверпене, перебив в общей сложности 17 тысяч жителей.) Конфликт не остывал на всем протяжении долгого правления Филиппа и в какой-то момент втянул в себя Францию и Англию. В последнем случае у Филиппа созрел грандиозный план, как одолеть обоих протестантских врагов: огромный военный флот, «Непобедимая армада», должен был разбить флот Елизаветы, за что благодарный като-

личный народ Англии помог бы Филиппу расправиться с голландцами. План не привел ни к чему хорошему, и после десятилетий боевых действий Испания была вынуждена уступить Нидерландам: ее солдаты воевали вдали от дома и в отсутствие союзников, а богатство подпитывалось не собственным благосостоянием, а ввозом перуанского серебра — у Филиппа просто кончились деньги.

Голландская революция показала слабость разрозненного габсбургского королевства, управляемого монархом, который поставил собственные религиозные убеждения над интересами государства. Эта слабость вновь дала о себе знать во время разразившейся Тридцатилетней войны (1618–1648), определившей будущие очертания политической карты континента и окончательно утвердившей разделение на множество суверенных государств. Когда нападения на протестантские храмы Богемии, а также восшествие на богемский престол в 1617 году католического эрцгерцога Фердинанда заставили местных лютеран поднять восстание против будущего императора (Фердинанд стал им через два года), по обе стороны противостояния выстроились все католики и протестанты Центральной Европы. За первыми победами габсбургской армии последовала вакханалия возмездия, в ходе которой Богемия была насильственно приведена к религиозному единообразию, а протестантскую северную Германию опустошали банды католических солдат и наемников, в том числе не так давно оставшимися без дела испанскими отрядами из Нидерландов. В 1625 году датский король Христиан VI вступил в войну на стороне протестантов, заручившись финансовой поддержкой Франции, голландской Республики Соединенных провинций и Англии. И снова люди с оружием прошли по всей Центральной Европе, на сей раз включая нидерландские провинции и Прибалтику. После того как датчане вынужденно отступили в 1629 году, на помощь лютеранам пришел шведский король Густав II Адольф. Шведские войска пересекли Германию, а когда они приблизились к Вене, императору поневоле пришлось начать переговоры о мире. Решив воспользо-

ваться паузой, кардинал Ришелье (фактический правитель Франции при Людовике XIII) ввел войска в Эльзас и Рейнскую область. Пока тянулись долгие переговоры о мире, отряды французов и шведов (соответственно католиков и протестантов) разоряли католические земли Баварии.

Стратегическим победителем в этой войне оказалась Франция — главным образом благодаря по-макиавеллиевски мудрой политике Ришелье, — однако Англия и Нидерланды тоже получили краткосрочные преимущества от разорения немецких земель. Прагматическое вмешательство Ришелье шло абсолютно вразрез с прежней открыто католической позицией Франции, однако сделало эту страну, и прежде всего ее государство, самым могущественным в Европе. Что касается Германии, ее население сократилось с 21 до 13 миллионов, города лежали в руинах, сельское хозяйство, промышленность и торговля за почти полвека непрерывной войны понесли непоправимые потери, а некоторые области остались практически необитаемыми.

Отчасти масштаб разрушений Тридцатилетней войны объясняется количеством задействованных войск. К тому моменту кроме мобильных артиллерийских орудий на вооружении европейцев было еще одно изобретение — мушкет, — сделавшее наличие многочисленной пехоты ключевым фактором военного успеха. Но этих пехотинцев отличало не только наличие мушкетов — им полагалось быть как следует подготовленными, дисциплинированными и сознательными, чтобы держать строй и поддерживать постоянный огонь в суматохе сражения. Поскольку от наемников нельзя было ждать сознательности, а от самодеятельных гражданских ополчений — серьезной подготовки, воюющая страна могла положиться только на профессиональную армию. Перед центральными властями вставала задача разработки более сложной системы сбора денег, способной покрыть расходы на кадровых военных, снаряжение, боевые корабли, гавани и современные фортификации. Чем больше становилось денег у казначейств, особенно в связи в растущим общеевропейским

благосостоянием, тем непомернее разрастались европейские армии. Если в 1470 году испанские вооруженные силы насчитывали порядка 20 тысяч человек, то к 30-м годам XVII века их численность равнялась 300 тысячам. Франция в 1550-х годах обладала армией в 50 тысяч человек, в 1630-х годах — в 150 тысяч, а к 1700 году — в 300 тысяч. В 1606 году на оплачиваемой военной службе голландской Республики Соединенных провинций находилось 60 тысяч человек; Англия в 1644 году, два года спустя после начала гражданской войны, имела под ружьем 110 тысяч человек. В России принудительный призыв в 1658 году дал царю 50 тысяч солдат для войны с Польшей, а в 1667 году набор принес 100 тысяч рекрутов.

XVII столетие стало свидетелем спиралевидного роста централизованной бюрократии, могущества государства, налогового бремени и военных расходов. Предел централизации был достигнут в тот момент, когда монарх сосредоточил в своих руках достаточно власти внутри государства, чтобы по сути воплощать государство собственной персоной. Однако установление абсолютной власти, или божественного права королей, представляло для монарха довольно опасный и непростой путь, ибо реализация такой привилегии абсолютного повелителя парадоксальным образом зависела от согласия государства. Провозглашая «L'état, c'est moi» («Государство — это я!»), Людовик XIV не только похвалялся всесилием, но и признавал свое место в общем порядке вещей.

Английские короли династии Стюартов верили в собственное божественное право, однако Яков I понимал, что оно существует в рамках политического устройства английского государства. Король и знать, заседавшая в парламенте, могли извлекать выгоду из централизованного государства только до тех пор, пока все их интересы удовлетворялись. Именно неготовность его сына Карла I сообразовываться с нуждами государства положила начало революции и смутному времени, окончившемуся лишь в 1688 году, когда сын Карла Яков II повторил ошибку отца, поставив личную веру выше нужд го-

сударства, и был низложен. Три главных западноевропейских конфликта в XVII веке: Голландская революция, Тридцатилетняя война и Английская революция — дружно показали, что современное государство, с его территориальным единством и прагматическим правителем, готовым служить интересам страны, сделалось более могущественным институтом, чем средневековое княжество или необъятная империя.

Оформление современного государства повлекло за собой перемены в европейской геополитике, характеризовавшиеся выходом на первые роли государств, сумевших лучше всего приспособиться к требованиям времени. Но что это означало для населения континента? Наиболее заметным эффектом такого сдвига стал упадок средневековых городов и сопровождавшее его возвышение столиц с их национальными монархическими дворами. Потребность в боеготовой армии, способной контролировать территорию государства, радикально изменило отношения между городом и селом. Позднесредневековое процветание и влияние гильдий принесли горожанам высокие доходы и высокие цены. Промыслы были локализованы в городах по причине сосредоточения в них квалифицированной рабочей силы и рынков, а также в связи с тем, что сельская местность оставалась небезопасной. Однако контроль за территорией означал, что некоторые промыслы и ремесла, например текстильное производство и обработка сельскохозяйственной продукции, теперь могут переместиться за город, где можно значительно сократить издержки на плату рабочим и плату за землю. Бывшие производители-горожане постепенно превращались в инвесторов, вкладывающих деньги в сельскую промышленность. Города прошлого жили за счет сборов и налогов (особенно доходной статьей были речные сборы), однако многие из сборов отменили во имя эффективности национальной экономики. Раздача лицензий на производство, горную добычу или обработку определенных типов сырья была присвоена монархами от имени государства, и на смену традицион-

ным региональным монополиям, которые держали местные купцы, пришли права на исключительную торговлю теми или иными товарами, выдававшиеся на общегосударственной основе. Утвердившиеся правительственные монополии на добычу и первичную обработку таких материалов, как свинец, железная руда и квасцы, приносили в казну колоссальные суммы.

В XIV веке флорентийские и венецианские банкиры совершили революцию в системе финансового учета; в XVI веке этот новый уровень организации был взят как образец при строительстве национальных бюрократий — государство впервые появилось на свет в качестве гигантского фискального аппарата. Одновременно с сокращением числа местных налогов и пошлин в городах мало-помалу начинали хозяйничать агенты монарха, занимавшиеся поборами с представителей городских профессий. Общинный средневековый мир городов и деревень сохранился по форме, но его содержание преобразилось под влиянием растущего сосредоточения военной и политической власти в столицах. Поскольку власть, богатство и статус всегда шли рука об руку, аристократы, купцы и честолюбцы начали оттягиваться из региональных центров и оседать при национальных дворах. Мадрид, Вена, Париж и Лондон постепенно превзошли провинциальных соперников в пять-десять раз, и причиной этого было то, что состояния теперь все сильнее зависели от политической власти.

В позднесредневековом мире власть золота сочеталась со сложной системой кланового и семейного родства. «Патрифамилии» ренессансной Италии использовали браки и политические интриги, чтобы прибрать к рукам побольше богатств и добиться максимально близкого положения к центрам власти, что в свою очередь позволяло им завладеть еще большими богатствами и забраться еще выше по социальной лестнице. Деньги и честолюбие, как понимал Шекспир (недаром перенесший действие столь многих своих пьес в золотой котел ренессансной Италии), выворачивают присущее человеку стремление к общению, дружбе и взаимовыручке наизнан-

ку. По мере того как вольные города и города-государства сдавали позиции королевствам, власть и богатство концентрировались все в меньшем числе рук; соответственно, тем, кто хотел деятельно проявить себя в жизни или добиться места за высоким столом, приходилось хитрить и маневрировать еще усерднее и безогляднее на пути к непрерывно ускользающему центру.

Все это выразилось в не сразу замеченном сдвиге самовосприятия большинства европейцев: перестав быть в первую очередь горожанами, жителями определенной деревни или определенного имения, они осознали себя подданными монархов. Эта перемена потребовала столетий, однако власть и авторитет всех институтов — церкви, гильдий, провинции, города, местного ополчения, графства — мало-помалу стала частью (причем подчиненной) власти национального государства. Что важнее всего, государство присвоило себе исключительную монополию на насилие в границах своей территории. Поскольку только представители государства могли законным образом применять насилие к кому бы то ни было, любые частные войска, отряды гражданской самообороны и ополчения потеряли право на существование иначе как в составе национальных вооруженных сил под эгидой государства. К нации была обращена теперь и лояльность граждан. Несмотря на религиозный прагматизм правителей вроде Елизаветы I или Ришелье, раскол на католические и протестантские государства и последующее основание государственных церквей чрезвычайно способствовали закреплению национального самосознания европейцев. На протестантском севере англиканская церковь, голландская реформатская церковь и лютеранские церкви Германии и Скандинавии превратились в опору самосознания, вдохновляя свою паству на борьбу против агрессии католических государств. Даже в католических Франции и Испании главными фигурами церкви сделались короли — время высокомерия пап, распекающих императоров и князей, безвозвратно миновало. Европейские подданные больше не идентифицировали себя с малой роди-

ной или вселенской религией; только нация, имеющая собственную церковь, стала тем сообществом, к которому принадлежали обитатели нового мира — мира, оставившего единственными законными инстанциями государство, семью и самого человека.

В первую очередь государство было призвано функционировать как фискальный аппарат, работающий на покрытие быстрорастущих военных издержек. Когда мы спрашиваем, почему все эти государства без устали воевали между собой, мы должны понимать, что от военных действий зависела сама их жизнеспособность. Поскольку они держались на потребности подданных в защите от внешнего вторжения и внутреннего бунта (функция, ранее исполнявшаяся бароном, гражданским ополчением и городскими стенами), непрерывные боевые действия являлись лучшим оправданием существования государств. Это не была лишь гипотетическая взаимозависимость — люди перестали бы раскошелиться на налоги, если бы не считали, что государство реализует их насущную потребность. Как следствие, государства предпочитали вступать в войну, чтобы создать условия, от которых пришлось бы потом защищать своих граждан. Войны, как правило, прекращались не в результате окончательного поражения или триумфа, а потому что у враждующих сторон иссякали денежные ресурсы и им приходилось соглашаться на незначительные приобретения или потери.

Новый феномен — мирная конференция — был создан как раз для того, чтобы ввести эту ситуацию в удобные рамки. Когда-то школьникам Западной Европы с пафосом рассказывали о многочисленных «мирах» — Утрехтском, Вестфальском, Баденском, Парижском, Экс-ля-Шапельском, Версальском и т. д., — будто те и вправду были событиями, изменившими ход европейской истории; сегодня эти договоры выглядят больше как кратковременные передышки на пути ускоряющейся милитаризации. На новоизобретенных конференциях трактаты о мире разрабатывались в самых исчерпывающих подробностях, их целью было позволить каждому

участнику выйти из войны не с пустыми руками. После этого стороны получали время, чтобы пополнить денежные ресурсы и заново приготовить армии к новым конфликтам.

Если милитаристское происхождение государства Нового времени объясняет, почему оно всегда так охотно начинало боевые действия, то спусковым крючком этих войн, как правило, служили застарелые династические разногласия, веками изводившие Европу. Родовая привязанность и межклановые распри, эти древнейшие эмоциональные реакции человеческой психики, продолжали играть центральную роль, пока современное государство окончательно не вытеснило их из политической сферы. Между тем европейские страны начали создавать и перекраивать новые союзы. Как только контуры территории каждого государства закрепились (первая карта Европы, демонстрирующая национальные границы, появилась в 1630 году), цель незаметно сместилась от постоянной агрессии к обеспечению своей гегемонии, охране собственных интересов. Каждому становилось ясно, что локальные войны способны по-прежнему поддерживать легитимность государства, но любое крупное противостояние, в случае проигрыша, может покончить с ним навсегда.

К 1700 году Западная Европа представляла собой устоявшийся ряд государств, среди которых доминирующую роль играли Франция, Англия (вскоре благодаря англо-шотландской унии ставшая Британией) и Австрия. (Мощь германских государств была серьезно подорвана Тридцатилетней войной, Италия находилась под влиянием внешних сил, а Испания переживала затяжной упадок, наступивший после возвышения в XVI веке.) Никто из этих троих не хотел воевать друг с другом, и таким образом сложилось представление о «равновесии сил» между самыми могущественными державами. Ограниченные возможности такого равновесия (как бы то ни было, просуществовавшего три столетия) немедленно дали о себе знать после смерти испанского короля Карла II, которому не посчастливилось иметь детей. Леопольд I, император Священной Римской империи, заявил о притязаниях на ва-

кантный престол от имени Габсбургов, тогда как Людовик XIV потребовал его от имени Бурбонов. Оба понимали, что остальные европейские государства не позволят им, особенно Бурбонам, завладеть чрезмерным влиянием, поэтому было предложено, чтобы каждый отказался от своих намерений в пользу любого другого претендента с тем условием, что им не окажется его соперник. Однако поскольку других серьезных претендентов так и не нашлось, конфликт, в результате охвативший все западноевропейские государства и стоивший жизни десяткам тысяч, сделался неизбежным. Хотя ни одна из сторон не достигла своих целей, равновесие сил (в реальности — недопущение роста французского могущества) было обеспечено.

Если даже равновесие сил не смогло предотвратить крупный конфликт, присутствие несметного множества спорных территорий гарантировало почву для продолжения мелких споров. Эти клочки земли позволяли главным державам удовлетворять жажду действий и на позднейших мирных конференциях играли роль козырей, доставаемых в нужный момент. Так, в 1660-х годах император Леопольд пытался отговорить Людовика XIV от претензий на испанское наследство, пообещав взамен испанские Нидерланды, Франш-Конте, Неаполь, Сицилию, Наварру и Филиппины.

При том, что государства укреплялись и оправдывали свое существование с помощью войн, непрерывное состояние или угроза войны являлись не просто результатом деятельности государства. В эпоху, которую можно примерно ограничить 1500–1800 годами, большинство людей смотрели на войну как на необходимую и чуть ли не благотворную часть жизни. Поскольку войны происходили с такой регулярностью, никто не думал вдаваться в подлинные причины, и потому они воспринимались почти как природное явление. Войны убивали и калечили немало людей, уничтожали собственность, однако для большинства было не вполне ясно, в чем заключается их долгосрочный негативный эффект. Как бы это нас ни шокировало, многие полагали, что мир является нежелательным состоянием для любой страны. Мир делал общество слабым

и праздным, лишал его «стойкости духа»; война, напротив, делала его активным, неустанным и сплоченным, выявляла в мужчинах лучшие качества.

Многие также смотрели на массовую армию как на хороший способ очистить общество от нежелательных элементов — граждане и подданные только радовались рекрутским наборам, если с их помощью удавалось сбить с рук местных бродяг и правонарушителей. И это касалось не только принудительного призыва, ибо большинство добровольно поступавших на военную службу были также выходцами из малопочтенных кругов. В беднейших частях Европы, таких как Шотландия, Кастилия или Швейцария, жизнь профессионального солдата являлась привлекательной перспективой для большинства молодых людей. В самый разгар Тридцатилетней войны около 25 тысяч шотландцев, 10 процентов мужского населения страны, отправились сражаться в Германию, и почти в каждой европейской армии XVII века имелся свой швейцарский полк. Общество не выражало недовольства войнами, если они всасывали в себя его отбросы и били только по кошельку; в то же время люди низкого происхождения и достатка, облачаясь в форму, обретали постоянное жалованье, определенный статус и цель в жизни.

Новый мир централизованных государств с массовой армией наложил глубокий отпечаток на положение дворянства. Потомки франкских хозяев средневековой Европы обнаружили себя в странном, подвешенном состоянии между государственными органами — монархом, королевским советом и двором — и простыми людьми, существованием которых в прошлом распоряжались их предки. Какая роль была уготована отпрыскам древних титулованных родов, когда-то практически безраздельно хозяйничавших в своих владениях? Меньшинство перешло в административный аппарат государства, однако первоочередной функцией дворянства сделалось командование новыми национальными вооруженными силами. С одной стороны, в этой институции воспроизводилось старинное разделение на господ и крестьян (нивелировавшие-

еся в ополчениях средневековых городов), с другой — в ней отражалась сложная иерархическая структура богатства и статуса, которая пронизывала каждый уголок коммерчески ориентированной Европы. Дело в том, что унаследованный титул, «благородство» по-прежнему воспринимались как таинственный источник воинского умения. Армии Европы, схлестывавшиеся в обезличенной массовой бойне, ставшей возможной благодаря пушкам и мушкетам, были все так же очарованы легендами о рыцарях былых времен, и потому потомков франкских рыцарей считали наделенными доблестью и военными талантами, о которых простолюдин не мог даже и мечтать. Безымянный автор в XVI веке писал: «Благовоспитанный дворянин способен добиться больших познаний в военном искусстве и науке за год, чем рядовой солдат за семь лет». Новые армии возглавлялись господами, а набирались из крестьян — по крайней мере на какое-то время война помогла знати зафиксировать начальствующее положение.

Тем не менее, отобрав у знати политическое и военное могущество, новое государство заставило аристократов и мелкопоместных дворян добиваться, по примеру итальянского купечества, общественного и культурного престижа. Многие наши представления, связанные с цивилизацией, уходят корнями именно в эту потребность определенных сегментов общества отличать себя от других в ситуации, когда они уже перестали играть реальную историческую роль. Исключительная цивилизованность дворян заключалась не в высоком достатке, а в том, что в их распоряжении были лучшие вещи, они обладали превосходным образованием, более изысканными манерами и тонким пониманием искусства — и все благодаря породе и благородству характера. Множеству предков этих людей не было дела до подобных вещей, ибо их подлинным отличием служили реальная власть и могущество — но, поскольку реальная власть осталась в прошлом, целью и идеалом европейского дворянства отныне становились утонченность и цивилизованность.

Если таковы были видимые выгоды, которые война несла разным слоям западноевропейского населения, то в чем заключался ее вред? Приемлемыми или желательными войны представлялись только тем, кто оставался на удалении — для самого солдата служба была тяжким и смертельно опасным трудом. Усовершенствованная артиллерия, тесные боевые построения и мушкетный огонь вели к огромным потерям. Основной прием сражения с XVI по XVIII век заключался в том, чтобы стянуть на поле боя максимальное число пехоты и теснить противника под залпами артиллерийских орудий, бивших с безопасного расстояния и разрывавших сплошную строй в клочья. К примеру, в ходе войны за испанское наследство 34 тысячи французских солдат были убиты или захвачены в плен в битве за Бленхейм в 1704 году; при Мальплаке в 1709 году объединенные британские и австрийские силы численностью 85 тысяч купили победу ценой жизни 20 тысяч своих солдат и 12 тысяч французских.

Поскольку армиям часто приходилось поддерживать существование за счет мест постоя, это провоцировало недовольство, страх и враждебность со стороны гражданского населения. Более того, материальные разрушения, причиненные, к примеру, Тридцатилетней войной, привели к серьезному спаду европейской торговли вместе с обесценением денег и крахом рынков на территории, где проживало до трети всех жителей Европы. Мощнейший удар испытала международная торговля; резкое уменьшение численности населения, вызванное войной и болезнями, кризис сельскохозяйственного производства и падение зарплаток, беспрецедентное повышение налогов для покрытия военных расходов обрушили спрос на товары. Война, ограничив ввоз серебра из испанской Америки, сделала невостребованной испанскую промышленную продукцию. Население и производство в испанских промышленных городах за период между 1620 и 1650 годами сократились на 50–70 процентов; выработка текстильной продукции в Венеции, Милане, Флоренции, Генуе и Комо за период между 1620 и 1660 годами снизилась на 60–80 про-

центов; в южной Германии такие центры, как Нердлинген, Аугсбург и Нюрнберг, навсегда утратили гегемонию на рынке шерстяных и хлопчатобумажных тканей.

Меньшие доходы работников на большей части территории Европы сказались в конечном счете даже на фламандской текстильной отрасли. В ответ на спад цен, происходивший на фоне по-прежнему высоких городских заработков, голландцы стали выводить производства за пределы городов и превращаться в предпринимателей. Европа тем самым вступила в, как ее называют историки, протокапиталистическую фазу — эпоху, когда в хозяйстве континента возобладали сельские мануфактуры. Города, терявшие промышленный потенциал, продолжали развиваться как преимущественно финансовые, административные и торговые центры.

Войны, как и массовые эпидемии, имеют смешанный экономический эффект. Резкое сокращение населения в Центральной и Восточной Европе позволило трудящимся требовать больших прав и лучшей оплаты. В восточногерманских землях, таких, как Бранденбург и восточная Саксония, землевладельцам удалось предотвратить подобное развитие событий, обратив арендаторов в крепостное состояние. Между 1600 и 1650 годами практика прикрепления крестьян к господской земле распространилась также на Польшу, провинции Прибалтики, Венгрию, Богемию, Моравию и Австрию. Правительства либо выступили в союзе с землевладельцами, приняв соответствующие запретительные законы, либо были слишком слабы, чтобы им противостоять. В Московии в 1649 году государство и землевладельческая аристократия приняли уложения, которые привязывали крестьян к земле навечно и заставляли их в любое время оказывать господину любую услугу по его изволению. Помимо того, что учреждение крепостного права обрекло миллионы людей на беспросветную жизнь, заполненную рабским трудом, и лишило всяких прав, оно ознаменовало начало периода протяжен-

ностью в несколько столетий — периода экономического и общественного застоя, который развел восточную и западную части Европы в разные стороны.

Национальные и религиозные войны XVII века ввергли в крах Центральную Европу и явились экономическим бедствием в масштабах всего континента. Период приблизительно с 1650 по 1750 год позволил Европе прийти в себя, а также несколько изменить фокус существования. Пока Испания переживала губительные последствия своего участия в Тридцатилетней войне, другие атлантические державы — Франция, Нидерланды и прежде всего Британия — успели разглядеть гораздо более привлекательное поле деятельности в заморских странах, нежели во внутриевропейских территориальных конфликтах. Целью западной политики стало сохранение равновесия сил в Европе, которое высвобождало энергию ее государств для освоения остального мира. Следствием этого стали значительные успехи Британии на заморских территориях, а Франции период относительного спокойствия позволил добиться значительного процветания дома. Франция уже долгое время являлась самой густонаселенной европейской страной, обладавшей огромными ресурсами плодородной земли, однако ее размеры серьезно затрудняли осуществление централизованного контроля, и французским монархам приходилось постоянно иметь дело с влиятельными региональными группировками. Как бы то ни было, между 1589 и 1789 годами во Франции правили всего пять монархов, и за это время королевская власть, с помощью сменявших один другого искусных министров финансов, сумела сплотить и централизовать подвластную ей территорию. В результате страна превратилась в главную культурную и экономическую державу Европы. Людовик XIV (правил с 1643 по 1715 год) властвовал как абсолютный монарх, однако именно превосходные административные качества его главных министров, кардинала Джулио Мазарини (занимавшего должность в

1643–1661 годах) и Жана-Батиста Кольбера (в должности с 1643 по 1683 год), смогли обеспечить финансовую стабильность и достаточно ресурсов, чтобы покрыть монаршие ошибки. Вторжение Людовика в Нидерланды, война за испанскую корону, решение изгнать из Франции всех протестантов в 1685 году нанесли колоссальный урон французскому государству. Наследники короля-Солнце, находившиеся под сильным впечатлением его примера, также не сумели приноровить свои желания к потребностям государства, и Франция продолжала существовать как абсолютная монархия в то самое время, когда другие нации взяли на вооружение гораздо более действенные способы управления.

Хотя со смертью Людовика XIV в 1715 году в Европе наступил краткий период спокойствия, непрочное равновесие сил опять было поколеблено — на сей раз усилиями государства, которое довело централизацию до предела. Итоги Тридцатилетней войны значительно ослабили немецкие государства в составе империи, и единственной по-настоящему могущественной державой осталась Австрия. Однако в 1701 году Фридрих I, сын правителя Бранденбурга, провозгласил себя первым прусским королем и приступил к укреплению военной мощи этой сравнительно бедной северогерманской земли. Его сын Фридрих II, правивший с 1740 по 1786 год и позже названный Великим, был преисполнен решимости сделать Пруссию первым среди государств империи. В результате двух войн, за Австрийское наследство (1740–1748 годы) и Семилетней (1756–1763 годы), Пруссия либо разгромом на поле боя, либо патовым противостоянием смогла подчинить себе несколько гораздо более могущественных государств. В Семилетней войне Габсбургская империя, Франция, Россия и Швеция образовали союз с целью уничтожить прусскую военную мощь, однако Пруссия устояла и превратилась в вескую силу на европейской арене.

Пример Пруссии был впечатляющим. Мелкое государство, не игравшее никакой роли в европейской политике, сумело

пробиться в круг великих наций, пожертвовав всем ради военного превосходства. Равновесие сил мало что значило, если оно не учитывало честолюбия таких правителей, как Фридрих. Введенные им методы муштры и организации подняли военную дисциплину на новый уровень и были переняты другими странами — свой пруссак имелся даже в Континентальной армии Джорджа Вашингтона (генерал-инспектор Фридрих фон Штейбен). Наблюдая за тем, как прусских рядовых муштруют до полного изнеможения, а ослабевших кулаками и розгами загоняют обратно в строй, Джеймс Босуэлл нашел это отвратительным, заметив, впрочем, что система работает, ибо «машины суть лучшие орудия, чем люди». Всем европейским солдатам начиная с XVIII века пришлось пройти через процесс обезчеловечивания, которым сопровождалась подготовка. Повсюду начали строить комплексы казарм с учебными плацами как особые места для проживания войск (в прошлом, как правило, квартировавших в родных городах), а воинская карьера стала отдельной, поглощенной только собой и требующей полной самоотдачи жизнью.

Влияние прусской модели милитаризованного государства сказалось далеко за пределами армии. В Пруссии, на габсбургских территориях Центральной Европы и в России мундиры не только стали носить при дворе — сами монархи и правители начали одеваться как офицеры высшего ранга. Число мужчин на военной службе в этих странах за XVIII столетие резко выросло: Пруссия в 1740 году имела армию в 80 тысяч человек, в 1782 году — уже 200 тысяч, а во время Семилетней войны прусская армия насчитывала 260 тысяч — 7 процентов всего населения страны; численность русской армии к 1800 году достигла 300 тысяч человек. Напротив, во Франции численность войск сократилась с 380 тысяч в 1710 году до 280 тысяч в 1760-м. Западноевропейские державы не стали копировать прусскую модель милитаристского государства так увлеченно, как Восточная и Центральная Европа, однако XVIII столетие ознаменовалось значительным расширением состава западных военно-морских флотов. В 1714 году бри-

танский флот, на тот момент самый мощный и дорогостоящий в мире, состоял из 247 боевых кораблей, к 1743 году, по окончании американской войны за независимость, он вырос до 486, включая 174 линейных корабля; Франция в 1782 году имела 81 линейный корабль.

Во второй половине XVIII века в национальных государствах Европы, когда-то возникших для защиты территории и населения, воинское сословие все активнее превращалось в институт, чьи интересы и потребности оказывали фундаментальное влияние на общественный уклад. Армия всегда использовалась для поглощения нежелательных социальных элементов, однако эта тенденция всего сильнее проявилась в XVIII веке, когда вопрос о контроле за жизнью общества стал всерьез беспокоить правительства. Население Европы оправлялось от кризиса предыдущего столетия, и процесс восстановления нелегко давался городам и столицам. В 80-х годах XVIII века французский военный министр граф де Сен-Жермен писал: «Без сомнения, было бы превосходно, если бы мы могли сформировать войско из надежных и специально отобранных людей самых отменных качеств. Но ради построения армии мы не должны разрушать нацию, отнимая у нее самых лучших сынов. Учитывая текущее положение дел, армия по необходимости должна состоять из отбросов общества и всех тех, кому оно не может найти места». Проблема контроля за жизнью общества наделила армию еще одной функцией. В конце XVIII века Европа стала ареной целого ряда крупных гражданских восстаний, таких, как лондонский бунт Гордона, на подавление которого пришлось бросить 12 тысяч солдат. Нежелание французской армии вмешиваться в общественные беспорядки, вспыхнувшие в Париже в 1789 году, оказалось ключевым фактором, позволившим революции вооружиться.

В России и Пруссии кадровые военные сделались настолько влиятельными, что фактически поставили общество под свой контроль; на Западе они сформировали отдельную касту внутри гражданского общества. Это был феномен одно-

временно материального и культурного свойства. Армейский мир был самодостаточным, замкнутым и, как ему казалось, стоял выше мира гражданского. Он имел собственные законы, кодекс поведения и дух солидарности, который делал преданность полку почти столь же важной, как преданность стране. Военнослужащие могли рассчитывать на поддержку своих «братьев по оружию» и попечение «отцов-командиров», их награждали за долгую службу и хоронили с воинскими почестями.

В XVIII веке возникло и другое совершенно новое военное явление — генеральный штаб. Это была группа специалистов военного планирования, сведенных воедино, дабы управлять наступательными и оборонными ресурсами нации: разрабатывать стратегии будущих кампаний, распределять материально-техническое обеспечение, возводить укрепления и т. п. — причем не только в военное время. В XIX веке генеральные штабы стали играть важнейшую роль во властной структуре европейских государств, и это постепенно сказалось на международной политике, попавшей в зависимость от военных стратегов. Новой армии требовались и специально обученные кадры. Первым английским учебным заведением, финансируемым целиком за счет государства и имевшим набранный государством преподавательский состав, стала военно-морская академия, основанная в Портсмуте в 1729 году. Курсантские школы для сыновей состоятельных родителей были устроены в Санкт-Петербурге в 1731 году, в Париже в 1751 году, австрийском Винер-Нейштадте в 1754 году, в испанской Саморе в 1790 году, в Пруссии в 1717 году, в Саксонии в 1725 году, в Баварии в 1756 году. В 1776 году Франция открыла 12 военных школ в провинциях для бедного дворянства, которое как раз и составляло основной костяк офицерского корпуса.

Углубляющаяся профессионализация и рост влияния военных, вместе с завоевательными амбициями некоторых государств, имели тяжелые последствия для гражданского общества. В Семилетней войне прусская армия потеряла около

180 тысяч человек, а сама Пруссия недосчиталась полмиллиона из своего 4,5-миллионного населения. Соседнее государство Померания лишилось 20 процентов своих граждан, Бранденбург — 25 процентов. Кроме разрушений от боевых действий, перемещения масс населения и сельскохозяйственных и промышленных потерь, войны несли болезни — в эпоху, когда медицина мало чем могла помочь. Болезни не только расцветали в условиях войны, некоторые из них переносились самой армией. В 1771 году, во время русско-турецкой войны 1768–1774 годов, солдаты занесли чуму из южнорусских степей в Москву, где в результате эпидемии умерли 60 тысяч человек, и в Киев, где умерли 14 тысяч. Не так уж редко случалось, что болезнь скашивала больше солдат, чем боевые действия. И тем не менее, зная, что войны разрушительны для страны и разорительны для казны, правительства и население смотрели на них с оптимизмом.

Если рост наций опирался на потребность в практически непрерывной войне, то как люди, очутившиеся в этом новом мире, смотрели на свою жизнь? В средневековую эпоху все-ленская драма католического христианства и многочисленные правила, разработанные богословами, обеспечивали и систему координат, и путеводный ориентир. Но теперь кем они стали — просто налогоплательщиками, пушечным мясом или кем-то еще? Для европейской мысли открылась перспектива возрождения политической философии — Суарес, Гоббс, Гроций и другие пытались описать в своих трактатах те отношения, которые, на их взгляд, должны связывать государство, монарха и народ (см. главу 12). Каждый ставил истинно насущные вопросы о свободе воли, праве повелевать и ответственности повелителя, долге и правах подданных, роли государства в защите моральных прав граждан и т. п. Столетие спустя после Лютера и Кальвина богословие как основа для понимания предназначения человека уступила место рационализму. Разумеется, люди нисколько не сомневались, что эти две системы понимания совершенно совместимы между

собой — человек должен использовать данный ему Богом разум, дабы постичь Его волю. Тем не менее, тот же Гоббс, посвятивший немало страниц подтверждению своих политических взглядов ссылками на Писание, аргументированно возражал против религиозных законов, которые могут повлечь за собой неповиновение законам государства. Уже следующему поколению, множество представителей которого безукоризненно знали текст Библии, предстояло доказать, что Писание можно использовать для поддержки любой политической философии, от автократии до общества равноправия. Религиозные войны XVII века оказались напрасными: религия будто утратила в глазах людей способность объяснить мир или указать верный путь построения общества, и это бремя пришлось взвалить на себя разуму.

От историков мы привыкли узнавать о том постепенном, но необратимом движении, которое привело Европу от империй и королевств (где повелевали неподотчетные никому императоры и монархи) к национальным государствам, а затем к либеральному конституционному правлению. Однако по большей степени «прогресс», происходивший в Европе примерно с 1500 года, сводился к усилению контроля над городами, областями, церквями, гильдиями и отдельными людьми со стороны все более централизованного государства. Если средневековый житель был связан узами верности с множеством разнообразных институтов: феодалом, деревенским старостой, своим родом, местным епископом, папой, гильдией, городом, герцогом или князем, — то национальное государство покончило с большинством из них, оставив только себя и семью в качестве легитимных инстанций нового мира.

С 1500 года государства Западной Европы принимали различные формы, и неутихающий спор о том, какая из форм государства является единственно верной, сделался одним из главных элементов сознательной жизни общества, а также, по мнению некоторых, главной причиной военных конфликтов. Основой разногласий неизменно служило отсутствие гармонии между жизнью, мыслями, устремлениями и душев-

ными переживаниями отдельного человека и реальными делами государства. Хотя государство может сохранять себя только при поддержке народа, который оно призвано защищать, взаимоотношения этих сторон всегда были бесконечно сложнее примитивной модели. Как недавно заметил писатель Ханиф Курейши, даже представительный орган власти не тождествен народу, который он представляет, и культура — литература, театр, пресса — возникает из потребности человека в постоянном «напряженном диалоге» с государством. Но, может быть, выдающийся успех западного государства в сохранении и упрочении своей власти (приведший к гегемонии нескольких государств в глобальном масштабе) обязан тому факту, что оно предлагает своим гражданам моральное алиби? Государства, совершая поступки, за которые отдельному человеку было бы стыдно, убеждают нас, что действуют ради «национальных интересов» и для поддержания «национальной безопасности». На протяжении последних пятисот лет в большинстве случаев люди Запада спокойно мирились с любым актом, совершаемым от их имени неким безличным органом в погоне за неким абстрактным понятием.

Глава 11

МЫ И ОНИ

Колонизация и рабство

Однажды индейцы вышли нам навстречу, чтобы со всем гостеприимством приветствовать нас подношением съестных припасов и учтивыми возгласами, в десяти лигах от большого города; и когда достигли селения, получили от них в дар много рыбы, и хлеба, и прочей пищи, также и в высшей степени любую услугу, которую они могли оказать нам. Но кольдьявол нетерпелив, то вселился в испанцев и заставил обречь мечу всех их в моем присутствии, безо всякой причины, больше трех тысяч душ, что собрались перед нами, мужей, жен и детей. Я видел зверства столь великие, что ни один живущий человек не видел и не увидит им подобного... Испанцы с их конями, пиками и копьями приступили к убийствам и необыкновенным жестокостям: они вступали в города, селения и хутора и не щадили ни детей, ни стариков, ни жен с младенцами, ни тех, что на сносях, но вспарывали им животы, и секли на куски, словно бы те были стадо овец, выпущенных из загона для забоя... Они убивали князей и благородных обыкновенно так: делали подобие жаровни из ветвей, положенных на рогатины, и разжигали под ними слабый огонь с тем умыслом, что в криках и отчаянии от своих мучений те мало-помалу испустят дух.

Бартоломе де Лас-Касас. История Индии

Открытие Нового Света в 1492 году стало колоссальным шоком для европейцев. И священники, и образованные, и простолюдины — все верили, что книги Священного Писания, вместе с сочинениями отцов церкви и почтенных авторов античности, заключают всю сумму человеческого знания. Однако любому было очевидно, что ни Плиний, ни Аристотель, ни, самое главное, Библия не содержат никакого знания об еще одном мире по ту сторону океана. Казалось, Бог и отцы церкви просто забыли упомянуть о существовании Нового Света. Такое упущение означало, что ни святые книги, ни древние философы не могли дать совета, как следует его рассматривать — как Эдемский сад до грехопадения или как ужасное место, населенное дьявольскими тварями, от которых Бог защитил свою паству. И что было делать христианской Европе с целым континентом необращенных: являлись они невинными и невежественными душами, ожидающими крещения, чтобы быть принятыми в раскрытые объятия святой матери церкви, или опасными язычниками, чье безбожие преградило им дорогу к спасению? Привычно проклиная безбожников и еретиков, католическая церковь впервые за свою историю была вынуждена задаться вопросом: каково христианское отношение к тем, кто никогда не знал Христова учения?

Светские философы Европы, развивавшие на основе своего понимания греческих и римских авторов доктрину гуманизма, тоже пребывали в смятении. Принадлежали ли обитатели Америк к тому же человеческому роду, что и европейцы; были ли они подобны нам, только лишены благ нашей цивилизации; все ли люди в сущности одинаковы, или некоторые по природе стоят на ступеньку ниже на лестнице бытия?

Пока церковные власти и мыслители-гуманисты бились над этими вопросами, аннексия заморских территорий европейцами не замедлила начаться, движимая двумя фундаментальными фактами европейской жизни XVI века: могуществом воинственных национальных государств и повсеместным распространением денежной экономики. С одной стороны, со-

перничество стран друг с другом и наращивание военной мощи — включая принятие на вооружение пушек и мушкетов, введение регулярной армии и строительство океанских судов — превратили Новый Свет в поле битвы европейцев. С другой, первоначальное завоевание Америки питалось жадной наживы — Колумб говорил, что с золотом человек может сделать все, что пожелает, а Кортес рассказывал мексиканцам, что его люди больны сердечной болезнью, которую может излечить только золото. Европейцы прибыли в Америку, ведомые двумя мыслями, которые объединяло одно желание, — суждено им было найти морской путь в Китай и Индию или золото, в любом случае открытие сулило богатство.

Ко времени возвращения Колумба из последнего, четвертого путешествия в 1504 году португальские экспедиции уже достигли берегов Бразилии и обогнули Африку, попав наконец в Индию по морю, а в 1522 году Фернан Магеллан завершил первое кругосветное путешествие. Как бы то ни было, примерно до 1525 года испанские и португальские авантюристы предполагали, что Эспаньола (Гаити) и Куба, прибрежные земли Бразилии, Юкатана и Флориды представляют собой острова, лежащие неподалеку от азиатского берега — поиск прямого прохода к богатствам Востока по-прежнему оставался мечтой многих.

Тем временем испанцы начали продвижение в сторону «Индийских» островов, где, как они слышали, человек может взять себе землю и жить в такой роскоши, которая в Кастилии была бы не по средствам. Начало пути Эрнана Кортеса типично для той эпохи: родившийся в 1484 году в семье бедного дворянина, он получил хорошее образование, прежде чем, подобно отцу и множеству других испанцев того времени, стать кадровым военным. Его первоначальной целью было воевать наемником в Италии, однако в возрасте 22 лет он отплыл к «Индийским» островам в надежде обрести богатство и, если повезет, немного славы. Острова Карибского моря обеспечивали вполне безбедное житье прибывавшим испан-

цам, однако ценой этого было ужасное опустошение. Эспаньола, первый порт захода в плавании Кортеса, в 1506 году была уже наполовину разорена, а местное население в результате болезней и расправ почти исчезло. Кортес отправился дальше, на Кубу, где, на востоке острова, ему посчастливилось найти золото и где он обосновался на собственной асиенде с большой прислугой, состоявшей из «индийских» рабов и рабынь. Никаких ограничений на то, чтобы использовать индейцев в качестве рабов, для сексуальных услуг, принудительного труда, чтобы пытаться их или устраивать на них охоту, даже чтобы попросту убивать или оставлять умирать впроголодь, не существовало — Лас-Касас писал, что за четыре месяца, проведенных на Кубе, он стал свидетелем голодной смерти 7 тысяч коренных обитателей острова.

Если острова только утверждали европейцев в мысли, что американцы — непритязательный и примитивный народ низшей природы, то на материке обнаружилось нечто иное. В 1517 году испанская экспедиция высадилась на побережье полуострова Юкатан (по-прежнему считавшемся частью острова) и вступила в контакт с народом майя — обществом, давно миновавшим свой расцвет, но все равно поразившим испанцев. На следующий год испанский губернатор Кубы послал своего племянника собрать побольше сведений о майя. Новости, с которыми вернулся Хуан де Грихальва, оказались неожиданными и взбудоражили европейцев. Сперва он увидел майянские города, постройки и башни которых по величине не уступали севильским, а затем, вызвав подозрение у майя и будучи ими изгнан, был вынужден отплыть и высадиться дальше по побережью. Здесь местные жители тотонаки объяснили ему, что они, как и остальные народы этой страны, против воли являются поданными великой империи, которая называется Мексико (Мексика). Высокие горы на горизонте, размеры рек и разнообразие встретившихся культур уже дали понять Грихальве, что земля, в которую он прибыл, необычайно велика, возможно, даже является частью континента, но кроме того он увидел, что, далекая от образа

райского уголка невинности, эта местность представляет собой территорию развитой и весьма могущественной империи.

Кортес, ставший к тому времени одним из богатейших людей Кубы, согласился профинансировать и возглавить экспедицию из местных европейцев в самое сердце мексиканской империи. В последний момент испанский губернатор, возможно, почувствовавший, что Кортесом движет личный завоевательский интерес, отказал ему в поддержке, и Кортесу пришлось отбыть с Кубы во главе фактически частного предприятия. О скромной численности — около 400 человек — отряда Кортеса, а также о наивности, доверчивости и суеверии мексиканцев за прошедшие века было сказано немало. Однако то обстоятельство, что ацтеки плохо понимали желания, поведение и методы европейцев, не должно нас удивлять. Кроме того, как только они наконец поняли, какую угрозу представляет Кортес, они сперва заставили его покинуть город, а после с беспримерным мужеством отбивали атаки его войск, которые на тот момент насчитывали уже не 400, а 10 тысяч человек.

О событиях 1519–1521 годов невозможно читать без содрогания (хотя не следует забывать, что столетиями за Кортесом сохранялась слава европейского героя). Потопив свои корабли, чтобы никто не мог дать знать о его планах кубинским властям, Кортес сперва вступил в вооруженное противостояние, а затем сумел заключить союз с могущественным племенем тлашкаланов, которые согласились сопровождать его в великий город Теночтитлан, центр ацтекской империи. После перехода по высокогорным тропам Кортес и его отряд достигли края центральной мексиканской равнины. Ничто не могло подготовить испанцев к виду, который открылся перед ними. Построенная в центре озера Тексоко, окруженная городскими поселениями по всему периметру, с дамбами, разводными мостами, несметным числом домов, дворцов, улиц и храмов, с рынком, способным вместить 70 тысяч человек, и садами, плавающими на поверхности озера, — столица ацтеков больше напоминала сказочное видение. Это была от-

нюдь не пустынная земля, ждущая новых хозяев, и отнюдь не примитивный народ — это была империя, которую нельзя взять голыми руками. В одном только Теночтитлане, как считается, могли обитать 250 тысяч жителей; все же население Мезоамерики на 1520 год составляло, по некоторым оценкам, 25 миллионов человек.

Испанцев приветствовал вождь ацтеков Монтесума, который пригласил их в город и обеспечил жильем и продовольствием. Кортес вскоре пошел на решительный шаг и взял Монтесуму в заложники, однако один из его помощников допустил оплошность, устроив резню в священном дворе храма, где местные жители собирались для исполнения обряда ацтекского праздника весны. Священники и музыканты были изрублены испанскими мечами — нечто невероятное для ацтеков, всегда строго соблюдавших правила войны и табу, касающиеся любого нарушения целостности человеческого тела. Для них, как и для многих других культур, вооруженные действия были глубоко ритуализированным мероприятием, и даже человеческие жертвоприношения исполнялись с великой тщательностью и в почтительном отношении к телу. Европейская воинская культура, видевшая доблесть в том, чтобы сознательно подставлять себя опасности и атаковать с намерением убийства, была за пределами их понимания. Когда резня в храме показала ацтекам истинные цели гостей, они перестали приносить испанцам пищу и начали поднимать мосты на выходах из города. Кортес бежал из Теночтитлана 1 июля 1520 года, но прежде задушил Монтесуму и других вождей, которых удерживал в заложниках. Отчаянная попытка побега стоила жизни трем четвертям испанского отряда — многие утонули в озере, утянутые ко дну золотом, которые пытались унести с собой. Из первого сражения ацтеки вышли победителями.

Кортес вернулся через полгода во главе десятитысячного войска своих союзников-тлашкаланов. Тем временем оспа, занесенная испанцами, распространилась почти по всем ацтекским городам и селениям, выкашивая население в огром-

ных количествах, — есть основания полагать, что в XVI веке от болезнетворных возбудителей, привезенных из Европы, погибли несколько десятков миллионов коренных американцев. Вопреки превосходящему оружию осаждавших и голоду, который осада повлекла за собой, ацтеки отказались сдаться. Чтобы захватить город, который он называл «прекраснейшим на земле», Кортесу пришлось его разорить. Через 80 дней, имея под контролем лишь небольшую городскую территорию, молодой ацтекский правитель Куаутемок прибыл к Кортесу, чтобы оговорить условия капитуляции и размер дани, которую должны заплатить ацтеки — по-прежнему не понимавшие, что ценой поражения станет полное уничтожение города, образа жизни, обычаев и самой империи. В ответ на предложение Куаутемока, чье достоинство, сохраняемое в поражении, впечатлило испанцев и их союзников, Кортес посоветовал ему приказать своим людям сдаться, а затем заставил его умереть под пыткой в напрасном стремлении разузнать об оставшихся еще не открытыми золотых хранилищах. В поисках золота испанцы и тлашкаланы принялись грабить и разрушать город, убивая всех, кто попадался под руку. В результате осады и захвата погибли более 100 тысяч ацтеков, выжившие разбрелись по окрестным землям. Ацтеки пытались сражаться, чтобы защитить себя и свой город, однако видели в выпавших на их долю бедствиях изъявление неотвратимой судьбы.

Аналогичная последовательность событий разыгралась десятью годами позже и на 4 тысячи км южнее, в сердце инкской империи. Подобно Кортесу, Франсиско Писарро сколотил неплохое состояние на золотодобыче, только не на Кубе, а в колонии Панама на тихоокеанском побережье. Однако ему, как и Кортесу, не терпелось завладеть собственным королевством. В 1527 году экспедиция, отправившаяся на юг вдоль западного берега континента, натолкнулась на огромный бальсовый плот с удивительным грузом: серебром, золотом, драгоценными камнями, вышивкой, зеркалами, сосудами для питья, самоцветами и тканями. Как выяснилось, это были

товары из империи инков, которые перевозились для обмена на кораллы и морские раковины. В 1528 году Писарро на единственном корабле добрался до инкского порта Тумбес, где его приветствовал местный глава заодно с народом. Испанцев поразило, насколько, по их собственным словам, «разумен и цивилизован» этот народ. Империя инков, протянувшаяся на расстояние, равное расстоянию от Севильи до Москвы, была организована с необычайной эффективностью и управлялась через посольных, гражданских чиновников, распределение и хранение запасов продовольствия, а при необходимости и через насильственные меры. Подвластные земли платили империи дань и в обмен становились частью торговой системы, которая охватывала территорию от современного Эквадора до Чили и дальше на юго-восток, с заходом на территорию Аргентины.

После первого контакта с инками Писарро вернулся в Панаму, а оттуда в Европу, чтобы собрать деньги на более серьезную экспедицию. Тем временем европейский возбудитель оспы начал собирать свою страшную дань с андских народов — к самым, наверное, губительным последствиям привела смерть в мае 1528 года от оспы Великого Инки Уайны Капака, сыновья которого немедленно начали междоусобную войну, позже давшую Писсаро шанс разделять и властвовать в свое удовольствие. Пока бушевала война, Писарро встретился с Кортесом в Толедо, а после, продемонстрировав на аудиенции у короля россыпь драгоценностей и изделия инкских мастеров, получил от Карла патент на завоевание Перу и правление страной от имени испанской короны. Однако покорение «индийских» земель являлось не только политическим, но и коммерческим предприятием. В эпоху, когда деньги могли купить власть и влияние, Европа не ощущала недостатка в людях, которые, следуя примеру итальянских купцов и банкиров, желали вложиться в какое-нибудь прибыльное дело. Новости о завоевании Кортеса, о золоте ацтеков и инков привели многих в чрезвычайное возбуждение, и Писарро не составило труда собрать требуемый капитал. Когда он вер-

нулся в Перу в 1530 году, его сопровождало 180 вооруженных человек, включая его собственных братьев, мужчин из его родного города и других лично преданных ему людей. Последовав совету Кортеса, он, вопреки огромному численному преимуществу безоружного противника, захватил инкского вождя Атауальпу и расправился со всеми его многочисленными приближенными, подавляя и запугивая местных жителей с помощью пушек, лошадей (до тех пор неизвестных инкам) и непомерной жестокости. Атауальпа попытался умиротворить испанцев, разрешив им беспрепятственно перемещаться по всей территории империи, но такая уступка никого не устроила. Инкские святилища, полные удивительных резных предметов из золота, пришлось опустошить: семь тонн золотых изделий и тринадцать тонн серебряных украшений — выкуп за Атауальпу — были отправлены в ставку Писарро, где их переплавили в удобные слитки. Художественные творения инков, ядро духовной жизни народа, были уничтожены, и власти инков тоже пришел конец.

Когда потребность в Атауальпе отпала, его убили, судьбой же остальных знатных инков и их жен сделалось постоянное унижение, поругание, пытки и смерть от рук испанцев. Как и ацтеки, инки сражались против завоевателей, подняв в 1537 году широкое антииспанское восстание, однако у Писарро было время вызвать подкрепление из Панамы, и, кроме того, по примеру Кортеса он позаботился о том, чтобы заключить союзы против инков с другими местными народами.

Хотя Кортес и Писарро действовали практически от собственного имени, системная колонизация Америк и подавление их населения были бы невозможны без поддержки высокоорганизованного испанского государства. Карл V и его сын Филипп II, с большим трудом справлявшиеся с европейскими проблемами, тем не менее имели в своих руках крайне эффективную административную и военную машину, которую унаследовали от Фердинанда и Изабеллы (католических монархов, объединивших Испанию и изгнавших мавров из Андалусии). Частным авантюристам и колонистам никто не

мешал заселять «индийские» земли, однако вся коммерция регламентировалась испанским государством и находилась под его жестким контролем. Монополия на атлантическую торговлю принадлежала Севилье, поэтому все грузы и суда должны были проходить регистрацию у городских таможенных властей — таким образом испанское государство могло управлять потоком товаров и взимать пошлины со всего импорта и экспорта. Учреждение подчиненных короне колоний на островах Карибского бассейна было решающим фактором для завоеваний и в Мексике, и в Перу, ведь и то и другое осуществили люди, к тому времени сравнительно давно обосновавшиеся в Америке. Из захваченных золота и серебра Писарро оставил себе и своим людям лишь часть — остальное отправилось в испанскую казну.

Взаимовыгодные отношения между конкистадорами и испанским государством длились недолго. К 1540-м годам вести о зверствах и беззакониях по ту сторону океана стали доходить до Испании все чаще, и им уделяли все больше внимания. В результате были изданы так называемые «Новые законы», запрещающие обращение коренных жителей в рабов и ограничивающие поселенцев в наиболее изуверских деяниях. Столкнувшись с активным сопротивлением этим мерам со стороны многих конкистадоров, Филипп в 1546 году был вынужден послать в Перу с умиротворительной миссией Педро де ла Гаска. Де ла Гаска удалось собрать под своим началом армию и разгромить лидера повстанцев, последнего из братьев Писарро — Гонсало, который был казнен в апреле 1546 года.

Меры Филиппа стали первой в ряду многочисленных попыток со стороны метрополий — властей Испании, Британии, Франции, Португалии — поставить под контроль своенравных заокеанских подданных. Большинство этих попыток так ни к чему и не привели. В случае Филиппа он отступил перед первым серьезным препятствием. В 1554 году, когда король находился в Англии, готовясь к бракосочетанию с Марией Тюдор, испанские поселенцы в Перу направили ему ходатай-

ство о принятии поправки к «Новым законам», которая давала им право использовать труд индейцев пожизненно. Вопреки мнению собственного Совета по делам Индий Филипп удовлетворил ходатайство, получив взамен от поселенцев 5 миллионов золотых дукатов. Поселенцы на Эспаньоле, испытывая жесточайшую нехватку рабочей силы, решили тоже обратиться к королю с ходатайством — о разрешении захватывать карибских индейцев в качестве рабов и значительно расширить ввоз рабов из Африки. Филипп опять согласился, в результате чего коренные американцы и африканцы надолго обрели юридический статус домашней скотины.

В 1569 году в совместной американо-европейской истории произошло важное событие: Филипп II назначил Франсиско де Толедо вице-королем Перу. В первый раз европейское государство создало формальное колониальное правительство, которое должно было осуществлять его власть на заморской территории; отныне испанская колонизация представляла перманентный и консолидированный процесс. Событие было историческим и по другой причине: в 1572 году Толедо пленил и казнил последнего инкского императора Тупака Имару. Эта знаменательная смерть продемонстрировала, что сочетания корысти, стремления к наживе любой ценой, невежества, жестокости, дурного управления и невмешательства испанского государства оказалось достаточно, чтобы похоронить целую цивилизацию. Тупак Имару был казнен всего лишь 41 год спустя после высадки братьев Писарро в Перу — целый мир был стерт с лица земли менее чем за средний срок человеческой жизни.

Стоило испанской короне постепенно поставить под контроль «Новую Испанию» (Мексику), Перу и, позже, весь южный континент, как колонисты последовали за конкистадорами тысячами. Миграция как внутри, так и за пределы Испании приобрела внушительные масштабы. В XVI веке потоки переселенцев хлынули на юг из рыночных городов и деревень Кастилии, чтобы заселить область вокруг Севильи и Кадиса; около 150 тысяч испанцев перебрались за океан. Одних зва-

ло в дорогу золото и серебро (к 1800 году на Мексику приходилось две трети мировых поставок серебра), другие соблазнялись земельными пожалованиями от королевского правительства — энкомьендами и асиендами.

Стремление отдельного человека к деньгам кажется нам естественным. Однако такое справедливо лишь для общества, в котором, во-первых, сняты ограничения, накладываемые обычаем на приобретение и употребление материального богатства, — ограничения религиозного сознания, социального статуса, правил коллективного общежития — и в котором, во-вторых, богатство приносит положение и власть. Если в прежних европейских обществах высокое положение зарабатывалось военной доблестью, мудростью, причастностью к духовным институтам, то в постренессансной Европе оно, дарующее к тому же власть над другими, приходило вместе с деньгами. Картины личного богатства и роскоши итальянских городов в XV веке будоражили воображение остальной Европы вместе с рассказами о Греции и Риме античных времен. История окрыляла авантюристов, пытавшихся представить себя современными александрами и цезарями, несущими цивилизацию варварам на острие меча.

Коренное население Америк уступало западноевропейцам в военных технологиях, однако покорить его было тем легче, что местные жители совсем иначе понимали природу и форму конфликта. Как и в большинстве других обществ (см. главы 1 и 4), боевые действия у американцев носили ограниченный характер, задействовали строго определенные группы лиц и, будучи в высшей степени ритуализованными, представляли собой тщательно срежиссированное насилие, причинявшее вред минимальному числу людей. Напротив, война по-европейски имела особую моральную цель. Мимолетные стычки, оскорбления, символические триумфы — всему этому не было места, ибо моральным идеалом являлось достижение победы, в котором человек сам открывал себя смертельной опасности и старался насмерть поразить врага. Лю-

бой богословский тезис о природе индейской души меркнул по сравнению с грубой реальностью столкновения европейских солдат и коренных американцев лицом к лицу.

В то же время, если зверства против коренных американцев ограничились бы «подвигами» европейских солдат, для остального мира события могли бы не принять столь печальный оборот. Однако европейские умы тоже не спешили встать на защиту примитивных, отсталых язычников, столь неожиданно возникших на окраине известного мира. Те, кто был знаком с историей Европы, Азии и обозримой части Африки, постепенно приходили к выводу, что европейцы и европейская цивилизация на самом деле стоят выше культур и народов других континентов, откуда следовало, что господство первых над вторыми является «естественным» положением вещей. В реальности, конечно, у европейцев не было особенных причин ставить себя выше остальных, ибо в 1500 году население Западной Европы составляло меньше 50 миллионов человек, тогда как в минском Китае и в Индии при Великих Моголах — двух высокоразвитых азиатских обществах — оно составляло 200 миллионов и 110 миллионов соответственно.

Как бы то ни было, в 1547 году испанский теолог Хуан Хинес де Сепульведа записал следующее: «С совершеннейшим правом испанцы повелевают этими варварами Нового Света и близлежащих островов, каковые мудростью, разумением и добродетелью, а также цивилизованностью, столь же уступают испанцам, сколь младенцы уступают взрослым, а женский пол — мужскому. Разница между ними подобна разнице между наиболее жестокими и дикими из народов и наиболее милосердными из них, между теми, что склонны к отвратительнейшим излишествам, и теми, что сдержанны и умеренны в своих удовольствиях, одним словом — разнице между обезьянами и людьми».

Когда Сепульведа и множество таких, как он, привлекали пример римского владычества над нижестоящими странами и народами для оправдания действий испанцев, это было не одноразовым использованием истории в корыстных целях, а

систематическим процессом, который наложил глубочайший отпечаток на наше понимание прошлого. Повторное открытие классического мира и распад великой религиозной картины средневекового христианства заставили европейцев сконструировать новую историю. Выйдя за рамки фабулы, состоящей из Творения, явления Бога во плоти, воскресения Христа и неотвратимого Страшного суда, мыслители Нового времени осознали связь между собой и мудрецами Греции и Рима как золотую нить, в разматывании которой заключается судьба человечества. Глядя вокруг, они видели явственные следы естественного развития человеческой цивилизации от кочевых охотничьих племен через оседлые сельскохозяйственные крестьянские сообщества к сложно устроенным обществам городов. И Афины, и Рим достигли этой стадии, но затем были разрушены силами регресса. Тем не менее европейская культура в конечном счете смогла наверстать упущенное и на тот момент продвинуться вперед на самое большое расстояние (вместе с некоторыми незначительно отстающими частями Азии). Оценивая другие племена, европейцы, даже отдавая должное искусным украшениям ацтеков и инков, не могли не удивляться своим выдающимся успехам на их фоне. Не иначе, казалось им, сам Бог отличил европейцев среди остальных народов мира.

Дело было не только в технологических достижениях. Если другие народы оставались в состоянии дикого невежества или под пятой всевластных тиранов, европейцы пользовались свободами и правами, которые являлись плодами разумного диалога между правительственной властью и отдельным человеком. Европейское население очевидным образом находилось на более высокой ступени политического и общественного развития, чем коренное население Африки, Азии или Америки. Когда европейское оружие, это детище изошренной, урбанизированной, все более рационалистической и технологической культуры, уничтожало и обращало в бегство туземцев на других континентах, все, кроме самых дальновидных европейцев, искренне радовались общему триумфу.

Из сочинений, оставшихся от классического мира, европейцы также получили представление о границе между цивилизацией и ее отсутствием. Для римлян такой границей были рубежи империи; для жителей Западной Европы — окраина католического «крещеного мира». Картина цивилизации, окруженной варварством, заставляла причастных цивилизации радоваться своему превосходству, но она же возбуждала в них страх перед внешними силами. Новый Свет представлял собой пример непостижимого величиной в целый континент. Эта земля имела чуждый ландшафт и была населена множеством странных растений и животных. Однако наиболее наглядным свидетельством отсутствия цивилизации в Америке являлись сами ее народы. Американские туземцы служили дерзким и отталкивающим напоминанием о «неокультуренном» человеке, его грубом, первобытном, зверином естестве. Неприкрытые или одетые очень необычно, ведущие себя то ли как дети, то ли как любопытные животные, бестолково пассивные и беспричинно агрессивные — повадки американцев были совершенно непредсказуемы и потому объяснимы лишь с точки зрения недоразвитой человеческой природы. Учение Августина обретало практическое оправдание: жертвам худших желаний и низменнейших инстинктов, нецивилизованным людям было суждено либо приобщиться к цивилизации, либо быть уничтоженными.

Даже когда перед американскими язычниками распахнула объятия христианская церковь, их участь не стала намного слаще. В удушливой атмосфере Контрреформации деятельность католических миссионеров, решивших проповедовать в Новом Свете Слово Божие, принесла суровый контроль за духовной жизнью. Новоназначенный вице-король Перу запретил все исконные религиозные обряды, а в 1570 году в Лиме было учреждено первое заокеанское представительство Священной инквизиции — впоследствии обосновавшейся в каждом испанском доминионе. У коренных американцев не было шансов уклониться от влияния культуры, прибывшей, чтобы подчинить себе весь континент. Испания создавала

колонии в Мексике, Панаме, Перу, а позже в Аргентине, Вест-Индии, Флориде и дальше по восточному побережью Северной Америки — вплоть до нынешних Южной и Северной Каролин, — заявляя притязания на владение всеми американскими землями (даже не ведая, насколько они обширны) и предостерегая остальные европейские страны от посягательств на свою собственность. Позиции Испании позволяли ей с успехом удерживать в подчинении всю открытую заокеанскую территорию на протяжении XVI века. Географически она располагалась на самом краю Европы (Филипп присоединил Португалию в 1580 году), а растущее влияние Испании в западноевропейских делах заставляло другие нации избегать вражды с испанским королем.

Тем не менее в XVII веке равновесие сил в Европе, а соответственно и в Америках, быстро изменилось. Англия, не выделявшаяся своей сухопутной армией, сформировалась как мощная военно-морская держава; Франция, преодолев внутреннюю смуту, вступила в период стабильности и наращивания сил; несколько нидерландских государств, восставших против Испании, образовали Республику Соединенных провинций, которая на тот момент сделалась самым крупным европейским торговцем с заокеанскими территориями. В конечном счете оказавшиеся, несмотря на упадок испанского могущества, отрезанными от Южной Америки, все трое устремили внимание на Америку Северную.

В первые годы XVII века, следуя пути, проложенному Жаком Картье, французские коммерсанты двигались по реке Св. Лаврентия, закладывая поселения на месте нынешних Квебека, Монреалья и Труа-Ривьер. После они двинулись на запад, через район Великих озер, и на юг, в бассейн Миссисипи, в конце концов в 1682 году выйдя к Мексиканскому заливу. Поселок, ставший позже Новым Орлеаном, был основан в 1718 году. Французам удалось освоить колоссальную территорию, однако их самих было слишком мало. Больше всего французских колоний сосредоточилось в низовьях реки Св. Лаврентия, где небольшие поселки формировались из

длинных узких наделов: каждый *habitant* (сельский житель) имел отрезок берега в качестве участка, зады которого уходили далеко в леса; в районе нынешнего Иллинойса поселения складывались по модели средневековых земледельческих общин. Хотя некоторые из колонистов пытались заработать, выращивая индиго и хлопок, большинство французов в Америке являлись не оседлыми жителями, а охотниками, промышлявшими трапперством и продажей добытого меха. Французы, значительно уступавшие численностью соседям-индейцам на землях своего рассредоточения, сумели интегрироваться в образ жизни аборигенов гораздо успешнее, чем когда-либо в дальнейшем удавалось британцам. В 1750 году в Луизиане (так называлась огромная территория, номинально подчиненная французской короне) жили порядка 2 тысяч французов и немцев и от 200 до 300 тысяч коренных американцев; в Канаде браки между французскими мужчинами и индейскими женщинами поощрялись на официальном уровне как средство формирования единой нации. Однако французы никогда не эмигрировали за океан в количествах, достаточных чтобы численно перевесить местное население или конкурентов-европейцев. Правительство неодобрительно смотрело на любое сокращение населения метрополии, и вдобавок в XVII веке Франция в значительно меньшей мере страдала от нестабильности, чем Англия или Нидерланды, — у французов не было ни особенных причин покинуть родину, ни поддержки заморских начинаний со стороны властей.

Голландская и английская волны колонизации Северной Америки шли воедино с самого начала. В 1609 году Хендрик Хадсон (Гудзон), английский исследователь на службе Голландской Ост-Индской компании, поднялся по реке, носящей ныне его имя, в поисках морского пути в Индию. Торговцы из Нидерландов основали первое поселение, форт Нассау, в самой дальней достигнутой Хадсоном точке, и примерно с 1624 года начали заселять острова в устье самой реки, включая Губернаторский остров и Манхэттен. Они привели за собой более

10 тысяч колонистов из Европы, в том числе французских гугенотов, бельгийцев, англичан, финнов и шведов и, кроме того, португальских евреев из Бразилии и африканцев. Голландцы удерживали контроль над Гудзоном лишь до 1664 года, пока прибывшие из-за океана английские военные корабли не заставили их признать суверенитет Британии.

Несмотря на то, что автономия голландцев просуществовала недолго, их влияние было немаловажным. Нужно помнить, что для купцов и путешественников доиндустриального века вода являлась естественной стихией. Перемещение людей, товаров и вооружений всегда несравненно легче осуществляли суда, а не сухопутные обозы, а открытие Америки, Ост-Индии и путей в Индию и Китай означало, что ко множеству точек на карте мира доступ имелся только по морю. До 1776 года, и даже до гражданской войны, Северная Америка представляла собой ряд прибрежных колоний, чье население жило морской торговлей. Голландские стоянки, лепившиеся к побережью и, в глубине континента, вдоль речных систем Гудзона и Делавэра, входили в мировую торговую сеть, связывавшую Европу, Северную Америку, Индию, Ост-Индию, Китай и Южную Америку. Кроме того, если бы не голландская автономия и принесенное ею культурное разнообразие, национальному составу ранних колоний было бы суждено оставаться почти исключительно английским.

Северная Америка «подвернулась» англичанам как раз тогда, когда это понадобилось. Хотя историки не могут прийти к единому мнению по поводу того, действительно ли Англия в XVII веке пережила «военную революцию», очевидно, что после гражданской войны 1642–1649 годов англичане уже осознали, что самой эффективной защитой берегов будет мощный флот. Государство стало вкладывать деньги в корабли и снаряжение, а не в крупную регулярную армию и солидные фортификационные сооружения, как поступали на континенте. Побочным результатом этого стала гегемония Англии в северной Атлантике, а затем и на большей части мирового океана.

Английские морские суда традиционно служили предметом не только государственных, но и частных инвестиций. Английское дворянство еще со времен Елизаветы объединялось для финансирования исследовательских, первооткрывательских, торговых и пиратских миссий. Прибыль от этих вложений часто впечатляла: Фрэнсису Дрейку захваченное испанское золото позволило во много раз покрыть затраты инвесторов, однако с лихвой окупались и вполне законные операции. Деньги частных вкладчиков собирались под эгидой одной компании, так что и риск, и прибыль разделялись между всеми. В начале XVII века такие вкладчики, неплохо нажившиеся на торговых вояжах, стали задаваться вопросом, не стоит ли им, в подражание испанцам, начать финансирование колониальных поселений.

Хотя попытки закрепиться в Северной Америке предпринимались и ранее, единственными европейскими поселениями, существовавшими здесь на 1600 год, были испанские форпосты Сан-Хуан на территории нынешнего Нью-Мексико и Сан-Августин во Флориде. Когда в ходе революции 1640-х годов в Англии начались преследования протестантских сект, вышедших из повиновения официальной церкви, многие из их членов были вынуждены покинуть страну, и поток беженцев только возрос после реставрации монархии в 1660 году, которая вызвала появление большего числа диссентеров. Нонконформистские секты, руководствуясь словами и примером Христа, отправлялись за океан, чтобы создать там религиозные общины, огражденные от вмешательства правительства и от господствующего на родине материализма: Новый Свет, казалось, давал шанс построить идеальное общество. Однако немалое число английских поселенцев гнали на запад не преследования и не собственный идеализм, а материальный интерес или элементарное стремление к лучшей жизни. У англичан имелся недавний опыт колонизации Ирландии, которая была разрезана на части и поделена между завоевателями, каковые нередко из простых солдат вдруг превращались в зажиточных землевла-

дельцев. Многие надеялись, что та же самая судьба ждет их в Северной Америке.

Первым постоянным английским поселением в Северной Америке был Джеймстаун, основанный на реке Джеймс в 1607 году. Представляя собой пестрое сборище предпринимателей, небедных и готовых вложиться в рискованное дело, ремесленников, а также впадших в бедность, которые надеялись отработать свой временный кабальный договор и получить в личную собственность кусок земли, Вирджинская колония была почти обречена. Из 8–9 тысяч человек, прибывших сюда между 1610 и 1622 годами, не меньше 80 процентов не дожили до конца этого срока. Чума и малярия (занесенные с островов Карибского моря на кораблях), желтая лихорадка и дизентерия выкосили большинство обитателей. Колонию спасла проведенная в 1624 году реорганизация, естественно выработавшийся иммунитет к болезням и открытие такой ценной товарной культуры, как табак — в 1643 году население колонии уже составляло 5 тысяч человек. Внутренне устройство поселения постепенно менялось: крупные плантаторы скупали наделы более мелких производителей и земля концентрировалась во все меньшем и меньшем числе рук. Как только скопилась критическая масса колонистов и жизнь вошла в спокойное русло, район Чесапикского залива стал источником притяжения для многих британских эмигрантов.

В 1620 году группа религиозных раскольников, позднее названных отцами-пилигримами, высадилась гораздо севернее Джеймстауна, на мысе Кейп-Код. Хотя им тоже пришлось нелегко, колония выжила, и в 30–40-х годах XVII века примеру ее основателей последовали еще около 18 тысяч пуритан. Пилигримы сумели обжить территорию гораздо успешнее, возможно, благодаря взаимовыручке: к 1700 году в районе Массачусетского залива жили уже порядка 100 тысяч поселенцев. В 1681 году Уильям Пенн основал колонию для преследуемой в Англии секты квакеров на территории, которая позже получила название Пенсильвании. Эта колония, на-

ученная опытом предшественников и существовавшая в более благоприятных природных условиях, преуспела в крайней степени, став пристанищем не только для английских квакеров, но и для протестантских сект из Шотландии, Германии и Швейцарии. К 1700 году Филадельфия, обогнав Бостон, являлась самым крупным городом на атлантическом побережье Северной Америки.

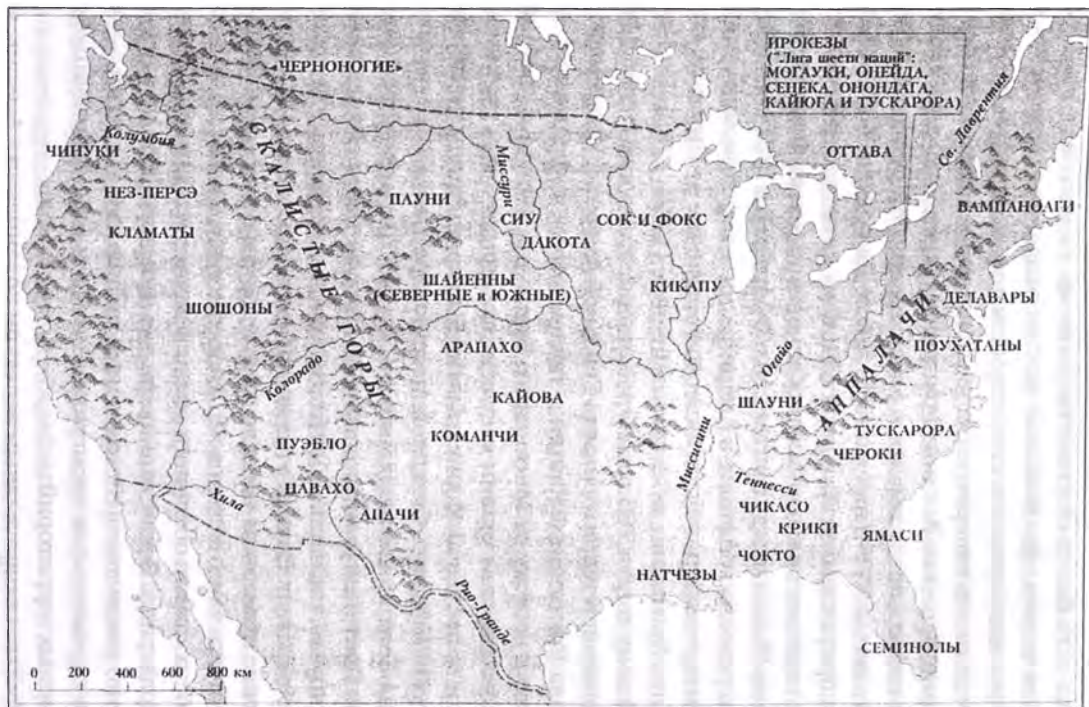
Колонисты, возможно, сохранили большинство черт европейского быта, однако общественное устройство новых колоний разительно отличалось от того, что было принято в метрополиях. Пуритане Новой Англии и квакеры Пенсильвании проживали либо в городах, либо в отдельных семейных усадьбах. В отсутствие властной иерархии города обычно управлялись по общинным принципам: знаменитые городские сходы функционировали в качестве административных советов и судов. Однако в сельской местности, где работали фермеры, деревни европейского типа, которые могли бы служить общественными, культурными или политическим центрами, так и не появились; соответственно, не возникло и крестьянских общин. Хозяйствующая семья получала участок земли, в центре которого ставила свой дом, а для сбыта продукции и закупки припасов ей приходилось совершать долгие путешествия в город. Этому изолированному фермерскому расселению предстояло стать образцом развития американской провинции на следующие 300 лет.

Несмотря на отвагу и стойкость первых жителей прибрежных колоний, европейское заселение Северной Америки отнюдь не являлось благим союзом авантюризма и коллективизма. Три фактора, омрачавших всякое колониальное предприятие, — обращение с коренным населением, влияние внутриевропейских раздоров и рабство — явственно присутствовали как в колонизации Северной Америки, так и во всей ее дальнейшей истории. Уже самые ранние контакты европейцев и аборигенов указывали на характер дальнейшего развития событий, и первым дурным предвестием стали болезни. Испанская экспедиция в 1528 году в Техас занесла на

его территорию тиф; грипп появился на побережье Мексиканского залива в 1559 году; оспа попала во Флориду в 1564 году, в Каролину — в 1615 году, в Мэриленд — в 1616 году; чума — в Вирджинию в 1607 году и в Мэриленд в 1616 году. Местные жители не имели иммунитета к этим евразийским возбудителям, и хотя количество погибших никем не фиксировалось, оно явно исчислялось десятками, если не сотнями тысяч.

Английские колонисты поначалу имели добрые намерения в отношении коренных американцев, но стоило им обжиться на новом месте (часто с помощью туземных народов), как потребность в земле стала причиной конфронтации. Поскольку они легко побеждали в любом военном столкновении, заселение, особенно в Вирджинии, превратилось в завоевание. В отличие от большинства французов, которые научились жить в добрососедстве с индейцами, англичане предпочитали изоляцию и чем дальше, тем больше смотрели на индейцев с подозрением. Уважаемые поселенцы презирали тех, кто жил торговлей с коренным населением, считали их негодьями, развращающими аборигенов и несущими порчу туземному образу жизни. Однако настоящими разрушителями традиционного американского образа жизни были вовсе не бесстыдные торговцы, а вполне уважаемые фермеры, которым требовалась индейская земля и которые прошли через весь континент, чтобы утолить свои аппетиты.

В 1763 году британские власти предприняли первую в длинном ряду попыток юридически закрепить земли к западу от Аппалачей за коренными американцами. Однако когда поселенцы заняли зарезервированную территорию и последовавшее восстание индейцев оттава было подавлено, фиксированная граница сдвинулась дальше на запад. В 1768 году глава ирокезов — большой конфедерации племен — уступил территорию в Огайо в обмен на то, что граница между белыми и индейцами пройдет по реке Огайо. Не прошло и года, как британские поселенцы пересекли реку, чтобы обосноваться в Кентукки. Ко времени обретения независимости Соединенными Штатами в 1776 году непреодолимая тяга поселенцев



Обитатели южной части Северной Америки перед прибытием европейцев

к завладению новыми землями по-прежнему толкала их на запад, чего бы это не стоило коренному населению.

Как только официальные власти оказались вовлечены в процесс колонизации, существенным компонентом последней сделалось соперничество между европейскими государствами. Испания, Англия, Франция и Нидерланды пребывали в непрерывных союзах и раздорах друг с другом на всем протяжении XVII и начала XVIII веков. Джорджия была заселена британцами в 30-е годы XVII века с намерением защитить каролинские колонии от обосновавшихся во Флориде испанцев. Война между Британией и Францией в 1739–1748 годы перенесла конфликт в Америку, однако решающий удар по интересам французов нанесло поражение от Пруссии, союзника Британии, в Семилетней войне (1756–1763). По Парижскому миру 1763 года Франция расставалась с прямым управлением территориями в Северной Америке, Испания уступала Британии Флориду, а также, вместе с Францией, — землю к востоку от Миссисипи. Британия вышла из войны как бесспорный хозяин всех североамериканских колоний. Тем не менее такой оборот событий был признанием неизбежного. В 1750 году в Северной Америке проживали около миллиона британских подданных и только 70 тысяч французских: Британия доминировала на континенте и теснила как французов, так и индейцев благодаря элементарному численному перевесу. Во всех этих конфликтах французские и британские поселенцы воевали друг с другом от лица метрополий (пусть часто с неохотой), а коренное население получало от обеих сторон обещания земли в вечное владение в обмен на поддержку. В конечном счете для них оказалось не так уж важно, какая европейская нация «выиграла» у другой, — в этом соревновании проигравшими были они, лишившиеся исконных территорий.

Третьим неприглядным аспектом колонизации Америк, и Северной Америки в первую очередь, было рабство. В середине XV века португальские мореплаватели продвигались все дальше и дальше вдоль западной окраины Африки. Они ста-

рались держаться вблизи материка, однако иногда заплывали достаточно далеко в океан, достигая Азорских островов и Мадейры. На африканском берегу, к 1500 году освоенном ими до территории нынешней Сьерра-Леоне, они основывали торговые стоянки и заключали соглашения с местными вождями. Отправляясь в Африку вовсе не за рабами, португальцы обнаружили, что в новооткрытых странах на тех же рынках, где выменивались слоновая кость и корабельный лес, продавалась и живая сила. Решающее событие в истории работорговли произошло, когда португальские и испанские эмигранты начали выращивать сахарный тростник на островах Атлантического океана: Канарских, Азорских, Мадейре, островах Зеленого Мыса, Сан-Томе и Принсипи. Европейцы сочли острова идеальным местом для размещения плантаций: во-первых, они были почти необитаемыми, во-вторых, здесь не было тех болезней и опасностей, которыми изобиловало западное побережье Африканского континента. Хотя до тех пор сахар в Европе считался роскошью и тростник выращивался лишь в мизерных объемах кое-где в Средиземноморье, новые поставки быстро подняли спрос на невиданную высоту.

Переправлять рабов с материковых рынков Африки на островные плантации было сравнительно просто. Судя по некоторым свидетельствам, поначалу португальцы активно пытались обращать купленных рабов в христианство и относиться к ним как к пленным работникам. Однако стремительный рост доходов от сахарного производства превратил работорговлю в чрезвычайно масштабное и прибыльное дело. Средняя продолжительность жизни раба на плантации составляла всего семь лет, а хорошее обращение с живой силой требовало много времени и эмоционального участия; торговцы и плантаторы скоро усвоили, что гораздо комфортнее оставаться равнодушными и даже враждебными и смотреть на рабов как на товар, нежели как на возможных прихожан Божьей церкви.

После 1492 года португальцы стали отправляться в более дальние странствия. Америго Веспуччи, итальянский купец

на службе португальской короны, высадился на южноамериканском берегу около 1500 года и за столбил за Португалией территорию, которую мы теперь знаем как Бразилию. Атлантическая работоторговля начиналась как расширение хорошо отлаженной системы, и едва она началась, европейская колонизация Нового Света сделалась не просто авантюрой, а коммерческой возможностью. К 1600 году в Бразилии было около 16 тысяч рабов, производивших 10 тысяч тонн сахара в год; тридцать лет спустя объем производства удвоился, а число рабов достигло 60 тысяч. Португальские торговцы, доставлявшие в Бразилию 15 тысяч африканцев ежегодно, активно искали рынки сбыта своего товара в колониях других европейских стран.

К середине XVII века печально известный треугольник работоторговли уже сложился и приносил коммерсантам внушительную прибыль. Господствующие юго-восточные ветры вели корабли с полными трюмами рабов из Гвинейского залива в Карибский регион; затем, груженные сахарным тростником, они плыли по Гольфстриму в Европу; завершал треугольник перегон порожнего транспорта по Канарскому течению на юг, вдоль западного берега Африки. Португальские колонисты, окрыленные возможностью стать хозяевами плантаций, перебирались в Бразилию в огромных количествах. На какое-то время в Португалии наступила эпоха сахарного процветания — в XVII веке две пятых доходов казне приносили сахарные пошлины. Однако любые прибыльные предприятия на стороне, богатства, которые приходят, а не создаются своими руками, почти всегда имеют разрушительный внутренний эффект. Подобно перуанскому серебру, которое в XVI веке подарило Испании *siglo d'oro* («золотой век»), но нанесло огромный урон промышленности и сельскому хозяйству, сахар стал причиной серьезной дестабилизации португальской экономики.

Если первоначально монополия на торговлю невольниками оставалась в руках Португалии, то ее дальнейшая судьба тесно связана с богатством других атлантических стран. К се-

редине XVII века на первое место в мировой торговле вышли Нидерланды, но их гегемония оказалась кратковременной: мало-помалу голландцев стала оттеснять держава, ставшая лицом атлантической работоторговли и сделавшая рабовладение движителем колонизации Северной Америки.

Английские колонии, преуспевшие раньше прочих, находились не в Северной Америке, а на островах Карибского бассейна, в первую очередь на Барбадосе. Этот небольшой клочок суши в 430 квадратных км (166 кв. миль) был заселен англичанами в 1625 году, и его последующее развитие, во многом повторив судьбу португальских колоний в Бразилии, стало прообразом для того, что позже происходило на севере. Первые колонисты, мелкие хозяйственники, прибывали на Барбадос с целью выращивания здесь таких торговых культур, как хлопок и табак. Они сами трудились на земле вместе с работниками, привезенными из Англии на условиях временной кабалы, дополнительно привлекая местных жителей и немногочисленных африканцев. К последним относились практически так же, как и ко всем другим, кто был связан срочным договором, и через семь лет обычно получали свободу. Далекое не райский остров для африканцев, Барбадос представлял собой расово смешанное сообщество, имевшее статусные отличия, но не закреплявшее право абсолютного господства за европейцами.

В 1640-е годы эта ситуация, как и чуть ранее ситуация в Бразилии, резко изменилась в результате знакомства плантаторов с сахарным тростником. Те, кто выращивал тростник, быстро обогнали соседей, табаководов и хлопководов, и начали скупать мелкие надель, чтобы в конечном счете занять весь остров. Они испытывали потребность в рабах, на которую с большой охотой откликнулись голландские торговцы и недавно образованная Королевская Африканская компания. За период между 1640 и 1700 годами на остров завезли 134 тысяч африканцев, составивших через какое-то время 70 процентов всего островного населения — 70 процентов, целиком и полностью сегрегированных от хозяев-британцев.

Ситуацию, в которой все белые были свободными, а все африканцы рабами, вскоре закрепили законодательно, и эти новые законы стали моделью для остальной Америки.

К 1670-м годам, в условиях абсолютной подконтрольности английскому военно-морскому флоту всего Карибского бассейна и северной Атлантики, Барбадос, ежегодно отправлявший в Англию 15 тысяч тонн сахара, сделался богатейшим островком мира. Сахарное поветрие вскоре охватило и другие территории — на Ямайке к 1740 году жили 10 тысяч белых хозяев, эксплуатирующих труд 100 тысяч африканских рабов на 400 плантациях; к 1770-м годам число рабов увеличилось до 200 тысяч, а число плантаций — до 775. Такая ситуация приносила барыши и плантаторам, и перевозчикам, и британским инвесторам, базировавшимся главным образом в Лондоне, Ливерпуле и Бристоле. Бристольские купцы, помимо покрытия затрат на суда и экипажи, вкладывавшие 150 тысяч фунтов в год в прибыльное дело транспортировки рабов и сахара, позволили Бристолу в 1730 году обогнать Лондон в качестве главнейшего невольничьего порта Британии. Мало того, что на работорговле были построены прекрасные улицы георгианского Бристоля и Бата, сама структура британского общества изменилась с возвышением нового слоя знати — разбогатевших на сахаро- и работорговле мелких землевладельцев (эти социальные перипетии позже увековечит в своих романах Джейн Остин). В начале XVIII века в Британии было мало тех, кто сомневался в моральной оправданности рабовладения или в его согласии с христианством — прибыли были слишком высоки, а жестокость существовала вдали от взоров обходительного британского общества. Купеческое сословие охватила настоящая карибская лихорадка — Вест-Индия обеспечивала неиссякаемый источник богатства, а остальное не имело значения.

Подобно испанцам и португальцам далеко на юге, англичане в Северной Америке упорно пытались сделать колонии рентабельными аграрными хозяйствами. Здесь африканцы трудились на фермах плечом к плечу с европейцами, и отсут-

ствовало формальное различие между работниками по цвету кожи. Но затем не покладавшие рук колонисты открыли для себя еще одну культуру, активный спрос на которую возник в Европе недавно. Хотя табак, американский эндемик, возделывался в мелких количествах уже давно, в конце XVII века новые табачные плантации стали появляться повсюду и потребовали столько рабочей силы, сколько в Вирджинии и обеих Каролинах было не найти. Табачные плантаторы обратили свои взоры на работоторговцев Карибского региона, и те сумели максимально удовлетворить их потребности. К примеру, в списках временно закабаленных работников вирджинской плантации Ширли, основанной в 1613 году, в 1620-х годах числились как европейцы, так и африканцы. К 1660-м годам за ее владельцем было закреплено кабальное «душевое право» на трех чернокожих рабочих, а в конце XVIII века на плантации жили и работали 134 раба — половине из которых не исполнилось и 16 лет. К этому времени структура и содержание жизни колоний переменились: табачные плантации безоговорочно преобладали над остальными, а с относительным равноправием рас было покончено. На табачных плантациях существовала жесткая стратификация: определенные расы выполняли определенные типы работ. Поскольку отсутствие крестьянской рабочей силы, привязанной к земле обычаем и законом, заставляло землевладельцев искать иные источники труда, плантаторство, этот коренной институт американского Старого Юга, стало решением их проблемы.

На необъятных сахарных плантациях Карибского бассейна рабы трудились огромными группами, и контакт между европейцами и африканцами, между белыми и черными, сводился к минимуму. Табачные плантации Вирджинии уступали им по масштабу: группы, а затем и семьи рабов трудились под началом владельца-хозяина, а на рабынь были возложены заботы по домашнему хозяйству. Ввоз невольников в район Чесапикского залива прекратился примерно в 1750 году, и непрерывная потребность в рабочей силе удовлетворялась за счет внутреннего прироста рабского населения. Африкан-

цы превращались в афроамериканцев, имевших несколько поколений американских предков и находившихся в постоянном, пусть и жестко регламентированном, контакте с белой европейской культурой. В среде североамериканского чернокожего населения зародилась новая культура — отчасти африканская, отчасти европейская, однако прежде всего носящая следы уникальной ситуации своего возникновения.

Временем процветания для Вирджинии и обеих Каролин стал XVIII век: строительство роскошных плантационных и городских усадеб шло полным ходом, финансируемое за счет выручки от возделываемых рабским трудом табака, кофе и риса. В 1803 году недавно обретшие независимость Соединенные Штаты ратифицировали договор с Францией, ставший известным как Луизианская покупка, и завладели правами на обширную территорию бассейна Миссисипи — география Америки, еще недавно представлявшей собой ряд прибрежных колоний, начала приобретать очертания страны континентального охвата. Европейские поселенцы, уже проникшие по следам Дэниела Буна и других первопроходцев в Кентукки, а затем в Теннесси, после 1803 года хлынули в Алабаму, Миссисипи и Луизиану.

В 1793 году Илай Уитни изобрел машину, которая изменила экономику южных штатов. Его хлопкоочиститель отделял семена и грязь от волокон со скоростью, равной скорости 200 пар человеческих рук. В то же самое время в Ланкашире вовсю строились новые ткацкие предприятия, способные обрабатывать огромные количества сырца, чтобы удовлетворять потребности расцветающего мирового рынка хлопчатобумажных тканей. Поселенцы вскоре обнаружили, что хлопок идеально подходит для полутропического климата Глубокого Юга, — это была еще одна высокоприбыльная товарная культура, которая требовала огромного количества живой силы. Поскольку ресурсы рабского труда и готовая система хозяйствования существовали под рукой — на вирджинских и каролинских плантациях, — и методы, и людские массы Старого Юга начали перемещаться через полконтинента, чтобы зас-

тавить работать новое золотое дно. В 1802 году Америка экспортировала табака на 6 миллионов долларов и на 5 миллионов долларов — хлопка; к 1830 году эти показатели, соответственно, составляли 6 и 30 миллионов; к 1860 — 16 и 192 миллиона (к тому времени США производили три четверти мирового объема хлопка).

Перемена в общественных настроениях в Британии привела к отмене атлантической работорговли в 1807 году (Соединенные Штаты последовали примеру в 1808 году), однако это послужило сигналом к началу крупнейшей принудительной миграции рабов внутри Америки. Между 1810 и 1860 годами около миллиона рабов официально переправили через границы штатов на запад и юг, еще большее количество перемещалось внутри каждого штата. В ходе этого жестокого переселения членов семей, друзей и возлюбленных, которые поколениями росли вместе на «родных» плантациях, насильственно разлучали по первому желанию хозяев, продавцов, агентов, перевозчиков и покупателей. В 1846 году Элвуд Харви случайно очутился на аукционе в Вирджинии, где происходила закупка рабов для южных рынков. Хозяин пообещал своим рабам, рожденным здесь же, в поместье, где устраивался аукцион, что ни они, ни их дети не будут проданы или разлучены — но вскоре выяснилось, что хозяин обманул: «Когда их уму открылась ужасная правда о том, что они будут проданы, что ближайшие родственники и друзья будут разлучены, это вызвало неопишуемые муки. Женщины хватали младенцев и с криками бежали в хижину. Дети прятались за хижинами и деревьями, а мужчины стояли с выражением немого отчаяния на лицах... Во время продажи вся округа оглашалась воплями и стенаниями, от которых у меня разрывалось сердце».

Сама транспортировка была жестоким, унижительным и опасным для жизни предприятием — рабов заковывали в цепи, и сами они не имели ни малейшего понятия о своей дальнейшей судьбе. Рабство настолько широко распространилось по всему югу Соединенных Штатов, что в 1860 году

число рабовладельцев составляло 380 тысяч человек. Обычные люди держали рабов для любых целей, какие только можно вообразить: от приготовления пищи до ухода за детьми, от строительства до черной работы. Владение рабами сделалось для белых колонистов на юге естественной и важнейшей частью бытия.

Система рабства лежала в основе всего южного общества, и ее поддержание обеспечивалось угрозой или действительным применением насилия. Принимались специальные законы, не позволявшие либерально настроенным рабовладельцам делать послабления для рабов или даровать им свободу. Для черных предусматривались чудовищные наказания, беспричинная жестокость являлась обыденным обстоятельством их жизни — ни один белый не получил бы взыскания за дурное обращение с черным рабом. В 1846 году Сэмюэл Гридли Хоу, ведущий теоретик и практик образования, посетил нью-орлеанскую тюрьму, в которой держали беглых рабов и тех, кто предназначался на продажу. Во дворе он увидел привязанную к скамье чернокожую девушку, которую секли кнутом: «Каждый удар отрывал полоску кожи, пристававшую к ремешку кнута или падавшую на помост, алый от обильно стекавшей крови... Это происходило в публичной тюрьме, подчинявшейся официальному распорядку; вид наказания не вызывал протеста и дозволялся законом. Но, может быть, вы решили, что эта несчастная совершила какое-то гнусное преступление?.. Отнюдь. Ее привел собственный хозяин, чтобы подвергнуть бичеванию общественного палача — без законного процесса, судьи и присяжных, лишь по просьбе, за некое подлинное или предполагаемое преступление, а может, и ради удовлетворения прихоти или раздражения. И он мог приводить ее день за днем, без всякого вменения вины, и назначать любое число ударов, которое ему заблагорассудится... довольно было того, что он вносил сумму на оплату трудов палача».

В XIX веке природа иммиграции в Северную Америку изменилась. Люди, стекавшиеся в ныне независимое государ-

ство из Шотландии, Ирландии, Германии, Скандинавии, Южной и Восточной Европы, не были поселенцами, стремившимися сколотить состояние на выращивании доходных культур или даже на скотоводстве. Это, как правило, были жертвы того или иного сорта неблагоприятных обстоятельств: сгона с земель в горной Шотландии, голода в Ирландии, религиозных преследований в Венгрии и России, бедности в Италии и Греции. За ними последовали мелкие фермеры, соблазненные посулами огромных наделов от железнодорожных компаний. Совершенствование системы сообщения — использование пароходов, строительство каналов, открытие навигации по рекам — открыли Глубокий Юг для нового хозяйственного использования, а канал, связавший Гудзон с озером Эри, сделал северную часть Среднего Запада — Огайо, Мичиган, Индиану и Иллинойс — естественным пунктом назначения для всех, прибывавших в Нью-Йорк. Через короткое время эти две культуры — южане, заселившие Кентукки, Теннесси и Миссури, и северяне, направляющиеся в Огайо, Индиану и Иллинойс, — начали вступать в контакт. На тех же пароходах, что доставляли их в вольные края, северяне-иммигранты, часто бывшие жертвами преследований у себя на родине, могли видеть транспортируемых в цепях и кандалах партии черных рабов. Конфронтации между этими двумя культурами — южной традицией, для которой рабовладение было неотъемлемой частью, и северной идеологией, представляющей Америку страной свободы, — было суждено сыграть центральную роль в развитии американского общества. Гражданская война 1861–1865 годов привела к полной отмене рабства, но, как мы увидим в следующих главах, не отменила это противостояние.

История аннексии обеих Америк европейцами, обращение с коренными народами и насильственное перемещение и закабаление миллионов африканцев ставят перед нами неизменно сложные вопросы о природе западного общества и людей, его составляющих. Среди аспектов нашей оценки завое-

вания великих цивилизаций Мезоамерики наибольшее беспокойство, может быть, внушает та мысль, что современное (т. е. послесредневековое) западное общество оказалось неспособным — и остается таковым — жить по соседству с любой другой культурой. Так и подмывает спросить себя, не лишает ли нас западный образ мысли и обустройства человеческих дел элементарной возможности вглядываться в чужую культуру и, кто знает, даже чему-нибудь от нее научиться — без необходимости подчинять ее, разрушать и делать частью западной системы. Наша последующая история показывает, что единственными незападными обществами, которые умудрились сохраниться, стали те, что были либо слишком удалены, чтобы затронуть наши интересы (инуиты северной Канады, аборигены бассейна Амазонки и гор Папуа-Новой Гвинеи), либо слишком сильны в военном отношении, чтобы мы смогли их завоевать (Китай).

Тем не менее Мезоамерика не вполне подтверждает нашу догадку. Когда испанское правительство, одержимое превосходством чистокровных испанцев, в какой-то момент пошло на то, чтобы ввести в Мексике и на других подвластных территориях расовые категории, новые социальные типы стали множиться почти немедленно. *Criollos, mestizos, castas* — все они либо несли в себе смешанную кровь, либо были мексиканцами по рождению, и в конечном счете их совокупность сформировала базис новой национальной культуры. Ни испанская, ни коренная, ни африканская, составленная из множества расовых смешений во множестве сочетаний, мексиканская культура (и точно так же бразильская) выросла в нечто уникальное, хранящее память обо всех истоках и одновременно соразмерное среде обитания. Складывается впечатление, что в Мексике западная цивилизация влилась в состав большего, чем она сама, великого целого.

Северной Америке выпала иная судьба. Не столь плотно населенная (в доколумбовой Северной Америке проживали от 6 до 12 миллионов человек, тогда как в одной Мексике — 20 миллионов), она вбирала в себя самые разнообразные спо-

собы человеческого существования — от охотников-кочевников до оседлых рыболовов и земледельцев, которые, как правило, жили деревенскими обществами, объединенными сложными системами родства. Все это разнообразие было сметено европейскими пришельцами. Аборигены представлялись европейцам либо неисправимо примитивными дикарями, либо «гордыми дикарями». Так или иначе, помимо краткого увлечения фантазией о «первобытной невинности» в эпоху Просвещения, за полтысячелетия, проведенных в Северной Америке, европейцы не смогли научиться у ее коренных обитателей ничему (или почти ничему).

Характеристика «отсталости» или «неразвитости», предназначенная для других цивилизаций, вошла в привычку европейцев еще в XVI веке. Как только представление о линейном прогрессе в истории сумело закрепиться, освободиться от его чар было уже не под силу: общества могли располагаться только на линии, ведущей от каменного века прямоком к горизонту будущего, воплощенному в Кремниевой долине, небоскребах Осаки или Шанхая. За отсутствием понятийного аппарата, позволяющего иметь дело с обществами, чье развитие не вмещается в эту модель, мы их загоняем в нее силой.

Обеспечив возможность колонизации Америки, рабовладение наградило ее самую успешную страну, Соединенные Штаты, своим неумирающим наследством. Мы знаем Америку как страну иммигрантов: люди стекались сюда со всех континентов, спасаясь от гонений, в поисках шанса на лучшую жизнь, свободу и процветание. Но африканцы прибывали в Америку при совершенно иных обстоятельствах — против воли, осужденные на рабский труд, несправедливость и постоянное унижение достоинства. Для большинства американцев свобода и возможность лучшей жизни для каждого, с которыми ассоциируется их страна, являются частью истории семьи и народа; для американцев с африканскими корнями все обстоит точно наоборот. Мы также знаем Америку как страну непрерывного обновления: волны иммиграции, технологический прогресс и социальные новации создают

впечатление вечной молодости. Однако африканское — и коренное — население продолжает служить неприятным напоминанием о том, что у Соединенных Штатов, как у любой другой культуры, есть прошлое.

Поскольку начало массового рабства быстро приучило белых европейцев к тому, что все рабы — африканцы, не потребовалось много времени, чтобы сложилось представление о том, что все африканцы — рабы. Они никогда не видели чернокожих в иной обстановке — не сталкивались с вождями племен или грозными военачальниками, или талантливыми художниками, или искусными умельцами — только как с неприкаянным человеческим стадом, зависимым от белых и не имеющим без них ни работы, ни крова, ни пропитания. Ужасным было не только само владение людьми (практиковавшееся во многих обществах) — ужасной была вера в то, что из-за своего цвета кожи эти люди не заслуживают ничего другого, кроме положения домашней скотины и соответствующего обращения, редкого по жестокости. Атлантическая работоторговля стала почвой для беспримерной по масштабу дегуманизации, и ее жертвы никогда не будут забыты — они продолжали нести наказание, ибо служили живым укором обществу, присвоившему себе их жизни.

История повествует о том, что было, но не дает наставлений о том, как поступать впредь, — по крайней мере, таких, которые мы готовы принять. Рассказ о европейском завоевании обеих Америк сам по себе не уберезет от повторения чего-то подобного. Наверное, единственный урок, который мы можем извлечь, заключается в том, что одна человеческая цивилизация, очутившись в положении военного превосходства над другой, вполне способна — даже когда ее члены полагают себя цивилизованными сверх всякой меры — повести себя с чудовищной жестокостью, имеющей целью уничтожить другую цивилизацию. И мы знаем, что это так и есть, потому что так уже было.

Глава 12

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНДИВИДУУМ

Теория и практика общественного устройства

Мы уже давно осознали, сколь важную роль сыграла наборная печать в развитии западной цивилизации. Широкое распространение Библии на национальных языках, вместе с сочинениями классиков и таких современных писателей, как Эразм, Лютер, Рабле и Кальвин, способствовало разрушению средневекового мировоззрения и стало одной из вех формирования нового типа европейского общества. С тех пор возможность быстрого воспроизведения и тиражирования письменных документов навсегда сделалась центральной чертой западной культуры. В последнее время, однако, становится все яснее, что алфавитное письмо и машинная печать не только решающим образом повлияли на характер циркуляции идей и мнений, но во многом определили само наше мировосприятие. Сегодня рождение абстрактного мышления в античных Афинах уже осознается нами в контексте употребления греками алфавитного письма (см. главу 3), и некоторые историки доказывают, что невозможно отделить идеи от способа, которым они выражаются, ибо сами идеи формируются, соотносясь с представлением о способе их донесения до окружающих.

В художественном мире эта зависимость самоочевидна: Шекспир писал для театральных подмостков, Бах — для цер-

ковного органа и придворного оркестра, их произведения несут отпечаток опосредующего инструмента, призванного донести слово и звук до сознания аудитории. То же самое относится и к другим культурным, философским и идеологическим творениям. Библия сочинялась с мыслью о записи, ибо в начале I тысячелетия до н. э. Иудея уже познакомилась с технологией письма. Ее содержание, составленное на основе ряда устных народных преданий в достаточно последовательную историю с добавленным началом и концом, диктовалось требованиями, предъявляемыми к письменному документу, а появление во II веке н. э. такой вещи, как кодекс, с его скрепленными листами вместо неудобного собрания свитков, подтолкнуло к тому, чтобы собрать из разрозненных писаний единый сакральный том.

Каким же образом наборная печатная форма изменила мировосприятие европейцев, и как эти изменения повлияли на развитие современной западной цивилизации и на рождение культуры письменного слова? Иоганн Гутенберг не изобретал принцип набора, однако он разработал быстрый и аккуратный метод превращения литой заготовки в отдельную металлическую литеру. В его мастерской, основанной в 1450-е годы, новая литера вынималась из матрицы каждые несколько минут; таким образом, любая печатня могла получить столько штук каждой литеры, сколько ей требовалось, что позволяло работать над несколькими листами или книгами одновременно. Римский (прямой) шрифт, повторяющий буквы классических документов (на самом деле сочетание древнеримских прописных букв и строчных каролингских минускул) распространился по печатням всей Европы, так что, в отсутствие общего разговорного языка, теперь имелся общий алфавит. Гутенберг также улучшил работу печатных прессов и придумал более совершенные способы изготовления бумаги — в результате книгопечатание превратилось в ремесленную индустрию, наподобие ткацкого или гончарного промыслов.

К 1500 году печатные машины, использующие наборные печатные формы, существовали практически во всех городах

Европы. Мартин Лютер писал: «Нельзя передать словами, сколь велика польза от книгопечатания. Посредством этого изобретения Священное Писание сделалось открытым всем языкам и наречиям и может распространяться повсюду; все искусства и науки могут быть сохранены, преумножены и переданы нашим потомкам». Однако латинская Библия и, некоторое время спустя, ее переводные версии были лишь первыми в полноводном потоке сочинений, увидевших свет благодаря печатной машине. Платон и Аристотель больше не стояли в гордом одиночестве среди остальных классических авторов — труды Плотина, Прокла, Птолемея и множества других стали доступны публике в легко читаемом и компактном виде. Ученые мужи вдруг узнали, что древние писатели столь же расходились в своих мнениях, как и современники. У Аристотеля, собирателя и разъяснителя всей греческой мудрости, обнаружились противоречия как с Платоном, так и с философами, жившими позже, например с Платином. Замысленное Фомой Аквинским и другими средневековыми схоластами объединение знания теперь выглядело непосильным и ненужным, а интеллектуальный субстрат, которым Аквинат в XIII веке пользовался в качестве «клея для идей», в XVI все очевиднее переставал что-либо скреплять. Именно в этой атмосфере складывалось умонастроение, которое в 1543 году сформулировал Франческо Вимеркати: «Я полагаю, наша вера подвергается куда большей опасности, когда мы прибегаем ради ее подтверждения и защиты к свидетельствам Аристотеля, Платона и других чужаков — свидетельствам негодным, неуместным и написанным не для этой цели».

Благородные ученые мужи XVI века, знакомившиеся с философскими сочинениями Платона, Аристотеля, Цицерона и Сенеки, а также с поэзией Овидия и Горация, были покорены свершениями древних и, разумеется, желали им подражать. Дипломаты, военные, дворяне и ученые всего континента вдруг прониклись страстным желанием запечатлеть на бумаге свои приключения и мысли о всевозможных предме-

тах. Что-то побуждало образованных англичан, таких как Томас Уайетт, Джон Донн, Уолтер Рэли, Уильям Шекспир и Филип Сидни, живя в мире, зараженном деньгами и честолюбием, сочинять стихотворные книги, в которых они предавались глубоким и тонким размышлениям о любви, дружбе и подлости века.

Также черпая вдохновение в мудрости и писаниях классиков и беря их за образец для современников, Мишель Монтень (1533–1592), чьи «Опыты» вышли в 1580 году, придал своему творчеству несколько иную интонацию. Само то обстоятельство, что Монтень, несмотря на ревностный католицизм и хорошее знакомство с Августином, ощутил необходимость «открыть для себя благоразумный и человеческий образ жизни», уже говорит многое о происходивших изменениях в мировоззрении европейцев. Если в свое время Августин отстаивал идеал христианской жизни, пронизанной и скованной Божьим страхом, классически образованный Монтень считал для себя нужным усвоить жизненные уроки Сенеки и Цицерона. Монтень являлся прежде всего читателем, и его способ постижения мира подразумевал сверку прочитанного с обстоятельствами собственного пути. Не настроенный догматически и не пытавшийся, подобно Аквинату, построить рациональную систему, объединяющую католическое богословие с античной метафизикой, Монтень (послуживший и в армии, и на административных должностях) был человеком опыта и придирчивым исследователем, с недоверием относившимся к притязаниям разума на статус единственного источника знания.

Опыт, как, впрочем, и обширный круг прочитанного, убеждал Монтеня, что люди гораздо ближе к природе, чем принято считать. Ортодоксальное христианское богословие наделило человека владычеством над природой; протестантизм установил между ним и Богом прямое сообщение, не нуждающееся в священных местах, животных или предметах; наконец, набирающая вес доктрина рационального гуманизма утверждала, что от природы человека отделяет уникальная

способность — разумение. Однако, по убеждению Монтеня, превосходство или отдельность человечества суть иллюзии — он исповедовал натуральную теологию, согласно которой доказательство бытия Божия следовало искать в Его творении — природном мире; поэтому, споря с христианской теологией и адвокатами рациональности, он утверждал, что человеческое тело является отнюдь не тленной оболочкой, пригодной лишь для ношения души либо разума, а неотъемлемой частью многогранного человеческого существования. Человечество должно жить *secundum naturam*, согласно природе.

Монтень явил пример здорового скептицизма в отношении рациональной способности человека, однако его постоянный вопрос «Что я знаю?» как никогда раньше подчеркивал роль мыслящей личности. Как и все большее число европейцев, он уже мог вступать в диалог с другими, просто сидя в библиотеке и погружившись в чтение. Такое технологическое новшество, как напечатанная книга, превратила интеллектуальную полемику из совместного, публичного предприятия в частное времяпрепровождение. Не удивительно, что читающего одиночку в первую очередь занимало воздействие прочитанного на отдельную личную жизнь. Хотя за плечами Монтеня был внушительный практический опыт (это заметно из его книг), другие читатели в таком опыте не нуждались — все, что необходимо знать о мире, можно было почерпнуть в книгах. Ученые мужи, как когда-то их предшественники в платоновской Академии, получили шанс изъять себя из мира низменных страстей. (У Шекспира Гамлет показан вечным студентом, непрерывно что-то читающим, все время погруженным в собственные мысли — и неспособным вступить в контакт с окружающим миром.) Помимо возможности обособиться от мира, возрождение слова в его печатном виде размежевало тех, кто обладал доступом к нему (физическим, финансовым, образовательным), и тех, кто таким доступом не обладал. До этого в обществе всегда имелось достаточно перегородок, но в средневековые времена разделение между знатью, священством и крестьянством все-таки не отсекало

низшие сословия от духовной мудрости и спасения; возрождение цивилизации письменного слова оставило большинство за «оградой».

Видя, как классические авторы противоречат друг другу, современные последователи набирались достаточно смелости, чтобы поставить под сомнение их авторитет. Благодаря изобилию рукописных и печатных текстов, которые стали более удобочитаемыми и достигали более широкой аудитории, почтительный и благоговейный настрой ученых занятий уступил место вовлеченности и критике. Вызов общепринятым авторитетам сделался преобладающей чертой всякого мышления, включая и изучение природы. Так, ниспровержение аристотелевской модели Вселенной Николаем Коперником в 1543 году лишь отчасти вытекало из наблюдений — не меньше оно было обязано тому, что классические тексты, вроде изложения Архимедом гелиоцентрических моделей Аристарха и Пифагора, стали доступны в Падуе и Кракове.

К концу XVI века широкая циркуляция античных сочинений по медицине, космологии, геометрии, архитектуре и механике, оставшихся в наследство от Архимеда, Герона Александрийского, Евклида, Витрувия, Гиппократы, Галена и других, постепенно формировала сообщество исследователей-энтузиастов, рассеянных по всему континенту. В университетах, где богословы и правоведы продолжали работать в рамках аристотельско-католической доктрины, факультеты математики и медицины охватило поветрие новых методов. Около 1590 года Галилео Галилей (1564–1642), в то время профессор математики в Пизанском университете, поднялся на Пизанскую башню, чтобы бросить вниз несколько предметов различного веса и обнаружить, что, вопреки аристотелевскому учению, все они достигали земли приблизительно за одно и то же время. Он не считал своим противником ни католическую церковь, ни Аристотеля (который, по убеждению Галилея, признал бы ошибку с радостью), — прежде всего он спорил с теми, кто отказывался смотреть на мир собственными глазами: «Аристотель гово-

рит, что "железный шар весом в одну сотню фунтов, падающий с высоты ста локтей, достигает земли ранее, чем шар весом в один фунт пролетит расстояние в один локоть". Я говорю, что они упадут одновременно. Ты, проделав такой опыт, находишь, что больший шар обгоняет меньший на два пальца... но ведь ты точно не спрячешь за этими двумя пальцами девяносто девять локтей Аристотеля и не сможешь упомянуть о моей малой ошибке, в то же время обойдя молчанием его весьма крупную» («Диалог о двух главнейших системах мира», 1638).

К моменту эксперимента Галилея Аристотеля не было в живых уже 19 столетий. За все это время никто, насколько известно, не задумался провести эксперимент, чтобы проверить его утверждения. Но к концу XVI века, когда Галилей начал ставить свои опыты, авторитет Аристотеля, по-прежнему непререкаемый, уже подвергся сомнениям.

Аристотель утверждал, что есть два вида знания о природном мире, которые он называл «техне» и «эпистеме». *Техне* — обыденное знание, которые мы получаем благодаря разнообразному практическому опыту. К примеру, земледельцы могут видеть, что злаки лучше растут на песчаной почве, а бобы — на глинистой. Нет необходимости понимать все детали физиологии растений, чтобы пользоваться *техне* — в виде устно передаваемого корпуса знаний оно существует во всех исторических обществах. Однако от *техне* не будет толку, если мы хотим узнать, почему злаки растут лучше на песчаной почве, или почему солнце встает каждый день, или почему из туч льется дождь, — для этого нужно *эпистеме*, которое рождается в результате применения разума. Аристотель высказал предположение, что у всего сущего есть причина и что применение разума способно открыть причины всякого движения и изменения. *Техне* предназначалось для земледельцев, *эпистеме* — для ученых. *Техне* являлось знанием постоянно присутствующих природных закономерностей, *эпистеме* подразумевало обнаружение причин.

В греко-римском мире заниматься техне считалось ниже достоинства ученых мужей — их интересовало эпистеме. В Италии и других частях Европы XVI века положение стало меняться. Все чаще физики, инженеры и врачи — Альберти, Бальяни, Кастелли, Фабрициус, Гильберт, Парацельс, Сервет, Стевин, Везалий и другие — объединяли в своей работе теорию и практику. В университетах возникали новые факультеты математики и медицины, однако большинство новаторски мыслящих ученых и теоретиков не входили в эту систему — часто их призванием были практические занятия, такие как архитектура, инженерная служба или врачевание. Техне постепенно превращалось в нечто вполне достойное благодаря именно этим людям, наблюдавшим за природными явлениями не только с интеллектуальной, но и с практической точки зрения. Вопреки романтическому образу одинокого гения, Галилей не работал в полной изоляции. В то же время он понимал, что аристотелевский поиск причин сковывает изучение природного мира и что вместо причин исследователи должны высматривать в природе закономерности или законы — другими словами, соединить эпистеме и техне. Это звучит несколько заумно, но практические выводы из такого разворота внимания были самими приземленными: если ты хотел знать, почему нечто происходит именно так, как происходит, вместо того, чтобы читать об этом у Аристотеля, ты шел и убеждался собственными глазами.

Увлеченный поведением падающих камней, Галилей был не меньше озадачен качающимися люстрами Пизанского собора, которым, казалось, требовалось одно и то же время, чтобы описать дугу, — независимо от того, на какое расстояние их отводили от центра. Он также продолжал бросать камни и убедился, что Аристотель ошибался, считая, что время падения пропорционально весу тела. Галилей понял, что это имеет какое-то отношение к растущей скорости падающих тел, поэтому он начал скатывать шары по наклонной плоскости и подсчитал, что те ускоряются одинаково, вне зависимости от размеров. Находки были любопытны сами по себе, но что они

означали? Для профессоров-знатоков Аристотеля в университетах — ничего. Ибо может ли столь бессмысленное занятие, как бросание предметов с башни, сравниться с интеллектуальной доблестью распутывания глубочайших тайн, оставленных великими учителями, которое достигается годами кропотливого, смиренного труда за книгами? Но что это значило для самого Галилея? Он не скрывал, что поиск аристотелевских причин не входит в его намерения: «Настоящее не кажется мне временем, благоприятствующим началу разыскания причины ускорения природных движений, относительно которой разные философы придерживаются различных мнений... От удостоверения или разрешения этих измышлений, и других им подобных, мало толку».

Другими словами, получается, что Галилей не занимал себя высматриванием искомого — он попросту смотрел. На первый взгляд безрассудный и иррациональный, галилеевский подход нес в себе огромную свободу. Отныне испытатели могли свободно экспериментировать и бесконечно рассуждать о природном мире, не заботясь о поиске лежащих в его основе причин. Это было возрождение духа Гераклита или Парменида, который, к примеру, высказал идею, что пространство повсюду обладает одними и теми же геометрическими свойствами. Его идея не была доказуема, однако она позволила математикам предположить, что геометрические отношения, известные из собственного опыта, в действительности являлись универсальными теоремами, применимыми ко всякому месту и во всякое время. Следовательно, любой безобидный и локальный, казалось бы, эксперимент, проведенный в Пизе или Флоренции, в Эфесе или Александрии, мог обладать вселенским значением.

Едва представимое, почти невероятное ныне умещалось в границы человеческого разума. Возможно ли, что воробьиное яйцо падает на землю с той же скоростью, что и пушечное ядро? Возможно ли, что неподвижная по всей видимости Земля вращается в пространстве в дневном и годичном циклах? Возможно ли, что мы живем на одной из нескольких

планет, окружающих Солнце? Вместо того, чтобы отмахнуться от подобных фантастических идей, Галилей словно отвечал: «Почему бы и нет?» Любая гипотеза, которая не шла вразрез с очевидностью природного мира, имела право на существование.

Тем не менее эта обретенная свобода была не вполне тем, чем казалась. В приведенных выше словах Галилея мы слышим досаду на тех, кто обнаруживал мелкие отклонения в его экспериментальных результатах. Тела, падавшие с Пизанской башни, достигали земли не точно, но почти в одно и то же время; маятники одинаковой длины не проходили путь туда и обратно за одинаковый срок, но разница была весьма мала. Утверждая, что он всего лишь наблюдает за миром, Галилей убедил себя (и постарался убедить остальных), что он изучает реальный физический мир падающих камней и раскачивающихся маятников, чтобы познать скрывавшуюся за ними истину. Его эксперименты никогда не демонстрировали абсолютного согласия с физическими законами — ему пришлось воспользоваться разумом, чтобы открыть законы, объясняющие поведение природы.

В сущности, Галилей воскрешал платоновский мир идеальных форм (см. главу 3), только теперь это был мир, в котором тела падают одновременно, а маятники раскачиваются в совершенной гармонии друг с другом, — другими словами, мир, все процессы которого наглядно согласуются с законами природы. Освободив исследователей от поиска причин, Галилей поставил перед ними задачу отыскания универсальных законов. Экспериментатору не требовалось верить в действительное существование идеального мира, однако приходилось непрерывно сбрасывать со счетов локальные отклонения вроде трения, сопротивления воздуха и тому подобных факторов, чтобы докопаться до истины — универсальных физических законов, которые должны быть сформулированы на языке математики.

Разногласия Галилея с профессорами-аристотеликами итальянских университетов привели к конфликту с католи-

ческой церковью. У него были могущественные противники, вдобавок в эпоху параноидальной одержимости выискиванием всех и всяческих ересей учение Аристотеля по-прежнему оставалось интеллектуальным фундаментом католицизма. На суде в 1613 году Галилей согласился признаться в мелком посягательстве на доктринальные положения и был поражен, когда узнал, что приговорен за это к пожизненному заключению. Он сумел упросить, чтобы ему позволили поселиться в доме, примыкающем к францисканской женской обители, где была послушницей его верная дочь Мария Челесте. Здесь он и прожил до своей смерти в 1642 году.

Наблюдение за природным миром, особенно за ночным небом, сыграло не менее важную роль, чем экспериментальное открытие универсальных законов. В 1601 году Иоганн Кеплер унаследовал от датского астронома Тихо Браге всеобъемлющие и точные, не прерывавшиеся на протяжении 40 лет записи, фиксировавшие движения звезд, планет и других небесных тел. Кеплер, который был приверженцем теории Коперника о вращении Земли вокруг Солнца, основываясь на наблюдениях Браге, вывел три закона планетарного движения, а в 1610 году Галилей превратил недавно изобретенный телескоп в астрономический инструмент, который открыл людям область Вселенной, не известную Аристотелю и другим исследователям античности. Европейцы, веками оглядывавшиеся на древних как на источник мудрости, благодаря техническим новшествам сумели расширить горизонты своих славных предков.

Телескоп и микроскоп (изобретенный в 1609 году) убедили ученых нового времени, что классические авторитеты поставлены под сомнение не зря — особенно в свете новых открытий, вести о которых доходили из Америки и Азии. Наука, или натуральная философия, занималась наблюдением за миром, однако ее главным двигателем являлось печатное слово. В изобилии стали появляться книги со словами «новый», «новая», «новое» в заглавии, призванными отличить их содержание от

всякого рода устаревших идей. В 1660 году в Лондоне было образовано Королевское общество, которое начало издавать «Философские труды» — прототип научных журналов, положивший начало традиции открытого обмена информацией. Благодаря такому средству, как печать, в науке начал торжествовать самоотбор, исключение случайных наблюдений во имя систематического исследования — что по сути противоречило первоначальному галилеевскому импульсу.

Хотя Галилей открыто возражал против философского вмешательства в исследование природного мира, философов это не остановило. Недоверие Монтеня к рациональности и потребность укоренить человека в природе стали выглядеть решительно старомодными, едва все убедились, что мир подчиняется законам, открываемым с помощью объективных измерений. Рациональность и отстраненность от природы сделались двумя ключами к истине.

Английский ученый Фрэнсис Бэкон (1561–1626) утверждал, что вместо того, чтобы искать абстрактные причины в природе, исследователи должны накапливать знания, полученные через наблюдение, и затем путем индукции выводить лежащие в ее основании истины. «Следует больше изучать материю, ее внутреннее состояние и изменение состояния, чистое действие и закон действия или движения, ибо формы суть выдумки человеческой души...» («Новый Органон», 1620). Перспектива освобождения познания от аристотелевских оков, как она рисовалась Бэконом и другими, опьяняла, однако, в сущности, это была замена одной методологии знания на другую. Утверждение натуральной философии как деятельности, направленной на поиск универсально применимых законов, выраженных математическим языком, заставило все остальные виды знания отступить в тень. Все эпизодическое, бессистемное, случайное, неисчисляемое рассматривалось как отклонение, которое необходимо преодолеть, чтобы добраться до подлинных, неизменных и универсальных истин, — и потому судьбой «хаоса» становилось постепенное вытеснение за границы истинного знания.

Универсализм был еще одной причиной отделения человека от природного мира. В экспериментальном естествознании место не принимается в расчет, потому что бытие, по слову Парменида, везде то же самое. Как только принципы открытия законов применили к земной топографии, ее разные ландшафты, множество форм жизни, разнообразие местных условий оказались не более чем результатом действия всеобщих законов. Разнообразие предстало в подчиненности универсальному — чем-то таким, на чем не следовало останавливаться на пути к истине. Вполне естественно, распространение такого занятия, как чтение, лишь усиливало ощущение обособленности от разнообразия мира: одна и та же книга одинаково читалась в Эдинбурге, Саламанке или Падуе. Взамен многочисленных сообществ, привязанных к физическому месту обитания — деревень, городов, приходо́в, — складывалось развоплощенное сообщество умов. Чтение про себя (практиковавшееся, к примеру, Томасом Мором) считалось чем-то экстравагантным в самом начале XVI века, но к XVIII веку уже стало общепринятым. Поиск универсальных законов в природе рано или поздно должен был спровоцировать аналогичный поиск во всех областях человеческой деятельности. И поскольку абстрактные универсалии всегда (по крайней мере теоретически) обнаруживались посредством разума, рациональная абстракция постепенно обрела общепризнанный статус единственного пути к истинному знанию и пониманию. Образ мышления, созданный Платоном за 2 тысячи лет до этого, лег в основу западной научной культуры.

Если Фрэнсис Бэкон думал о том, в каких рамках должны описываться новые открытия натуральной философии, то Рене Декарт (1596–1650) подверг строгому испытанию рационализмом всякое знание вообще. Декарт видел, что совокупная философская система Фомы и Аристотеля не выдерживает надлежащей рациональной проверки, и поэтому задался целью построить совершенно новую мыслительную конструкцию, которая должна стать основанием современного хрис-

тианства. Его знаменитой отправной точкой был все тот же монтеневский вопрос: «Что я знаю?», и от нее рациональным умозаключением он приходил к тому, что поскольку логически мир может быть фикцией воображения, то он ничего не может знать с достоверностью, кроме того, что сам должен существовать. Поскольку кто-то должен иметь мысли, которые думает, этот кто-то должен существовать — отсюда *cogito ergo sum* («я мыслю, следовательно я есть»).

Дальше Декарт применял метод, используемый при построении математических уравнений, чтобы показать, что должен быть и мир, существующий независимо от наших чувств, и что этот мир должен иметь в своей основе математические принципы. Благодаря изобретенным им многомерным координатам (оси, используемые на всех графиках и диаграммах) очертания и положение любого тела могли быть описаны в математических терминах, и Декарт же предсказал, что движение также подчиняется физическим законам, выражаемым математически. Помимо описания мира с помощью математики, из развиваемых Декартом положений вытекала поразительная перспектива — будущее поведение мира теоретически точно предсказуемо. С отклонениями в природе можно справиться, и при условии достаточного умственного напряжения все, что есть, вполне впишется в огромный часовой механизм Вселенной. Причины и следствия для Декарта просчитывались наперед и были совершенно открыты для сильного человеку рационального анализа.

Приходя к внешнему миру из глубины одинокого «я», которое знает только, что существует, ибо мыслит, Декарт помещал обособленный человеческий разум (к слову, совершенно отделенный от человеческого тела, которое его заключает) в центр всего сущего. Человек как единственное разумное бытие предстал верховным творением Бога, а размышляющий над самим собой индивидуум Монтеня усилиями Декарта превращался в фокус всякого человеческого вопрошания и постижения. Не существовало темных сил, диктующих ход существования; жизнь личности была рядом действий и по-

следствий этих действий, которые разум способен предсказывать и контролировать.

По-прежнему ничто не мешало сказать, что именно Бог создал физические законы, которые управляют природой. — однако эффект декартовской теории заключался в том, что мир делался похожим на гигантский, невероятно сложный часовой механизм. И это не случайная метафора. Механические часы были внушительным и наглядным доказательством изобретательности человека и его превосходства над природой — ведь такие часы непрерывно показывали точное время в отличие от зависимых от погоды солнечных часов, и их можно было бесконечно совершенствовать. Математический и механический образ мысли проникал и в другие сферы жизни. К примеру, деньги представляли собой систему исчисления, с помощью которой можно было подсчитать стоимость человека: по мере распространения денежной экономики по Европе ее обитатели начинали все больше воспринимать себя как производителей и потребителей, понимать себя как экономические единицы, а не как духовных существ. И наоборот, они стали утрачивать чувство духовного родства с природным миром — ведь нельзя ощущать духовную связь с часовым механизмом.

Декартовское «Рассуждение о методе», опубликованное в 1637 году, гармонировало с растущим ощущением европейцев, вдохновленных чтением классических авторов, что нет такой области человеческой жизни, которая бы не подлежала рациональному исследованию. Применение разума просто обязано оградить человека от издавна досаждавшей ему стихии случайности и непредсказуемости. В подобной интеллектуальной атмосфере распространение книгопечатания и грамотности доводило до все более широкой аудитории идеи, рожденные попытками осмысления политического наследия Греции, Рима и Средневековья. Возможность читать и обсуждать книги, в которых излагались политические события и концепции других эпох и стран, обернулась для ученых всей Европы поводом задуматься об уместности этих концепций в

эпоху, отмеченную подавляющим влиянием современного государства. В XVI веке возникают первые пробные опыты политической философии: широкую известность обретают сочинения Макиавелли об искусстве управления, публика знакомится с вышедшей в 1516 году книгой Томаса Мора, в которой описывается идеальное общество под названием Утопия; к 1597 году относятся рассуждения Франсиско Суареса, испанского католического философа, о праве королей повелевать и праве народа свергнуть тирана.

В 1640-х годах попытки теоретического осмысления начал современного государства неожиданно получили мощный практический импульс, и его источником стал политический кризис в одной из главных европейских монархий. Именно английская революция создала ситуацию, в которой у политических идей появился шанс на широкое публичное обсуждение. Когда предпосылки, составлявшие фундамент современного государства, обнажились и каждый смог взглянуть на них, стало очевидно: как никогда властное и могущественное, государство только в том случае может обеспечить себе прочное существование, если позаботится найти место для новой личности — рационального, трезвомыслящего индивидуума, отстаивающего собственное достоинство. И первыми, кто вскрыл эту настоятельную нужду современности, были не философы и ученые, а солдаты и офицеры английской армии, собравшиеся в приходской церкви Патни.

Английская революция была затяжной и в конечном счете успешной попыткой английского парламента освободить страну от гнета абсолютизма и устранить подспудно зреющую угрозу католического переворота. Она уложилась в отрезок истории между началом гражданской войны в 1642 году и двумя законодательными актами: «Биллем о правах» 1689 года и Актом о престолонаследии 1701 года. Каковы бы ни были истоки этого конфликта — историки трактуют их по-разному, — центральным фактором явилось нежелание королей династии Стюартов, особенно Карла I, смириться с ролью

монарха как слуги государства (см. главу 7). Действуя как абсолютные самодержцы, и Карл, и его отец Яков I, не отдавали себе отчет в том, что устойчивость их положения, как ни парадоксально, может быть обеспечена лишь добровольным согласием монарха олицетворять государство собственной персоной.

Среди поступков, которыми Карл восстановил против себя протестантское государство, были назначение прокатолических деятелей на высокие посты в государственной англиканской церкви (как, например, в случае с новым архиепископом Кентерберийским Уильямом Лодом), повышение налогов без одобрения парламента (так называемые «корабельные деньги»), попрание древних прав англичан на защиту от тюремного заключения без предъявления обвинения и суда (в печально известном случае с пятью рыцарями). Взаимные подозрения и ненависть дошли до предела, когда Карл, собравшийся финансировать свое правление за счет внедрения королевских монополий, был вынужден созвать парламент, чтобы тот одобрил монаршее решение. С этих пор в стране возникли две явно раздельных и враждующих инстанции власти. Печать, благодаря которой Библия короля Якова недавно появилась в каждом британском приходе, разносила по стране памфлеты и листки с известиями о католических зверствах над протестантами Богемии и Саксонии. Когда аналогичные устрашающие новости, описанные в столь же ярких красках, пришли из Ирландии, английское государство оказалось перед необходимостью действовать. Вместе с тем остро встал вопрос о том, кто представляет это государство. Подозревая короля в религиозном отступничестве, парламент отказался позволить ему возглавить поход против ирландских католиков. Непосредственным результатом этого решения и явилась гражданская война.

Самым удивительным аспектом гражданской войны, по крайней мере с точки зрения современного сознания, было то, что она шла под лозунгом сохранения, или возвращения, древних традиций. Если для того чтобы увидеть в афинской

демократии попытку удержать свойственное традиционному обществу рассредоточение власти нужен анализ скрытых мотивов, то в случае английской революции никакого анализа не требуется — обе стороны открыто апеллировали к традиции. Роялисты полагали, что любой вызов монархии разрушает древнее представление о божественном порядке; сторонники парламента хотели восстановить старинные привилегии английского общего права, поруганного Карлом и его предшественниками.

Даже в XVII веке англичане продолжали говорить и писать о «норманнском иге». Какой бы нелепой тоской по прошлому это ни казалось, английские простолюдины знали, что огромные имения их страны Вильгельм I раздал своим соратникам после 1066 года, и верили, что до норманнского завоевания земля принадлежала народу. Неписанное право на справедливый суд и защиту от чрезмерных налогов (в действительности гораздо более древнее) они отсчитывали еще от англосаксонских времен. Вообще, в XVII веке потенциальное противоречие между старинным обычным правом и правом короля издавать законы стало играть важнейшую роль в жизни Англии и остальной Европы. Сэр Джон Дэвис, высокопоставленный юрист времен Якова I, писал: «Это обычное право совершеннее и превосходнее всех остальных и без сравнения лучшее средство для создания и сохранения государства. Ибо писанные законы, которые рождаются либо указами правителей, либо государственными советами, вменяются по данным прежде того, как будут испытаны... Обычай же никогда не становится законом, сковывающим народ». Таким образом, апелляции короля к истории уравнивались безусловной уверенностью его противников в первенстве английского обычного права.

Военная и экономическая власть абсолютных монархов Англии и остальной Европы была чрезвычайно слаба. Сумма налогов, которые Карл собирал в казну за год, в среднем равнялась 7 шиллингам с души, в то время как средний годовой заработок чернорабочего составлял 9 фунтов. Суд, ополчение

и вспомоществование бедным (единственные точки соприкосновения между простонародьем и властью) находились в руках местных сановников, которые не получали жалованья из казны и в целом осуществляли свою деятельность без надзора со стороны государства. Тем не менее власть монарха заключалась в другом.

Все, и в первую очередь знать, верили, что без объединяющей фигуры монарха скорой судьбой королевства станут распад и хаос. Вторя Августину, тогдашние священники грозно вещали с кафедр, что человек есть варварское животное, которое, если бы не Бог и королевские законы, неудержимо погрязло бы в грехе. Античная идея «великой цепи бытия» также не умерла и привлекалась в качестве одного из оправданий королевской власти. Всеобщее убеждение заключалось в том, что в иерерхии существ человек находится ниже Бога и Его ангелов, но выше зверей, а среди людей ближе к божественному стоят короли и князья. Кроме большей близости к Божеству, королям дома Стюартов повезло пережить покушение на их власть со стороны католиков. После раскрытого в 1650 году Порохового заговора любой, кто неодобрительно высказывался о монархии, рисковал заслужить клеймо сторонника папистов. Как бы то ни было, Карл умудрился лишиться всех этих рычагов власти в глазах англичан, испытывавших глубокое недовольство его правлением.

Если королю не доверяли, то духовных лиц презирали открыто — простой народ считал их заискивающими приспешниками богатых и власть придержащих, заботящимися лишь о том, чтобы набить мошну. Преподобный Эдмунд Кэлами в 1642 году сообщал палате общин, что «народ жалуется на священников и называет их гнусными жадными псами, которым не наесться досыта». Духовенство являлось составной частью правящего сословия, его проповеди вменяли прихожанам почтение к властям и высокородным господам, однако среди английского населения с елизаветинских (и еще более ранних) времен жила сильная традиция религиозного нонконформизма. К концу 1630-х годов в стране вовсю бушевало движение

осквернения алтарей и разрушения священных изваяний, участники которого требовали, чтобы церковь обновили, а священники объезжали свой приход, живя добровольным подаянием паствы и проповедуя в полях и на рыночных площадях. Они призывали изгнать из церкви епископов и сжечь их роскошные особняки.

Гражданская война продолжалась четыре года. В 1644 году, после двух лет сражений, группировка во главе с сэром Генри Вейном и Оливером Кромвелем, помещиком из Хантингдона, поставила под свой контроль парламентские вооруженные силы, чтобы учредить на их основе «армию нового образца». После поражений при Нейсби, Лангпорте и Бристоле король был вынужден искать убежища у шотландцев, которое, впрочем, оказалось ненадежным: в январе 1647 года, получив 20 тысяч фунтов выкупа, они передали монарха уполномоченным посланцам английского парламента.

Внезапно мир, как точно замечает Кристофер Хилл, оказался перевернутым вверх ногами. Король, архиепископы, все, кто прежде являл собой живое воплощение власти и авторитета, очутились в руках народа — высшие у подножия, низшие вознесены к вершинам. Объявились разные группы, такие как левеллеры и диггеры, которые, потрясая Библией, доказывали окружающим, что мир есть сокровище, принадлежащее всем Божьим детям поровну, а члены диссентерской секты квакеров проповедовали отмену всякой власти и равенство для всех, в том числе женщин.

Парламент, одержав победу, столкнулся с трудностями двоякого рода: ему предстояло решить судьбу короля и судьбу армии. Последняя, в ожидании выплаты огромных долгов по жалованью, отказалась самораспуститься и, кроме того, потребовала законодательных гарантий от преследования — боясь, что любое окончательное решение, которое оставит короля у власти, даст ему возможность обвинить взявших в руки оружие в измене. Важнее всего было то, что в награду за свое участие в победе парламента солдаты стали требовать права на участие в управлении. Большинство парламента-

риев сочли требования армии чрезмерными, однако средств навязать ей решение о расформировании у них не было.

Король, находившийся под домашним арестом в Холмби-Хаусе в Нортхэмптоншире, сумел воспользоваться ситуацией, чтобы усугубить едва наметившийся раскол в стане противников. Несмотря на видимое бессилие Карла, любое соглашение о конституционном строе должно было получить его одобрение; кроме того, все стороны считали необходимым сохранить его в качестве монарха и главы государства. В июне 1647 года армия, опасаясь водворения короля на трон в качестве деспотического правителя, захватила Карла и двинулась к Лондону, доставив пленника в Хэмптон-Корт и разбив лагерь в Патни. Сложилась обстановка, в которой противостояние между королем, парламентом и армией должно было наконец найти разрешение. В июле 1647 года два армейских начальника, Генри Айртон и Джон Ламберт, обнародовали проект конституционного соглашения, известного как «Основы предложений». Несмотря на то, что Карл отказался подписывать эти предложения, последние не были достаточно демократичны для огромной солдатской массы и ее депутатов, которые выпустили собственный проект под названием «Народное соглашение». Это исторический документ — первый зафиксированный на письме план государственного устройства, согласно которому учреждалось представительное правление и за гражданами закреплялись определенные неотъемлемые права. Именно «Народное соглашение» стало предметом обсуждения Армейского совета — органа, представлявшего все войсковые чины и разряды — на знаменитых дебатах в Патни.

29 октября 1647 года заседание общевойскового совета открылось в помещении церкви Св. Марии в Патни. Протоколы обсуждения являются одним из ярчайших примеров политической полемики, вызванной к жизни исключительными обстоятельствами. Король, находившийся под арестом, не собирався идти ни на какие уступки, армия, считавшая свои ин-

тересы ущемленными, тоже не собиралась расходиться по домам — в этой ситуации должно было выясниться, кому надлежит править страной и за кем останется решающее слово. О настроении, царившем на заседании, прекрасно свидетельствует произнесенная в утро первого же дня речь Эдварда Сексби: «Причина нашего бедствия в двух вещах. Мы намеревались сделать довольными всех, и это было справедливо; но все наши усилия только вызвали всеобщее недовольство. Мы старались угодить королю, но, думаю, если только не решим перерезать глотки самим себе, мы ему не угодим; мы поддерживали совет, который, оказалось, состоит сплошь из подлецов — я имею в виду парламент, это сборище гнусных негодяев».

Действия королевской власти в отношении парламента собрали множество людей под его знамена. Свято верившие, что парламент стоит на страже их прав, сражавшиеся за него и потерявшие немало своих товарищей, теперь англичане видели парламент вблизи и убеждались в его несовершенстве. Кромвель и Айртон, которые с пониманием относились ко многим требованиям солдат, полагали себя способными убедить их в разумности своих предложений. Однако у радикалов были собственные, не менее разумные доводы. Результатом этих дебатов стала исторически важная формулировка двух разных политических философий.

Айртон отстаивал мнение, что обладать правом голоса могут только имущие, ибо они заинтересованы в благосостоянии королевства куда больше прочих. Право называться англичанином, дышать воздухом, ходить по земле и пользоваться законами королевства есть естественное право, а право участвовать в осуществлении власти есть право гражданское, вытекающее из строения общества. Главный аргумент Айртона в пользу ограничения гражданских прав гласил, что не имеющие собственности, пользуясь своим большинством, смогут принять законы, которые отнимут у собственников земли, а в таком случае королевство ожидают анархия и хаос.

Ответ полковника Рейнборо, сделанный в пылу дебатов, вошел в историю как страстное и первое в своем роде обосно-

вание представительного правления: «Беднейшего, кому довелось родиться и жить в Англии, я почитаю наравне с величайшим; и потому поистине, сэръ, я полагаю очевидным, что всякому человеку, живущему при некоем правительстве, первое всего надлежит иметь возможность повиноваться этому правительству по своему согласию; и я также уверен, что беднейший человек в Англии ничем в строгом смысле не обязан правительству, если он не имел возможности решать, повиноваться ему или нет... Я не нахожу в Божьем законе ничего такого, из чего бы следовало, что лорд вправе избрать двадцать членов собрания, простой землевладелец — только двух, а бедняк — ни одного: я не нахожу ничего подобного ни в законе природы, ни в законах людских».

Рейнборо выдвинул свои доводы и в ответ на опасения Айртона относительно судьбы собственности. Во-первых, есть Божья заповедь «Не укради» и этот закон, утверждал Рейнборо, нисколько не утратит силы. Во-вторых, в духе представлений своих соотечественников о старинных правах и их нарушениях, он поставил под сомнение статус английской собственности как таковой. «Если это собственность, то собственность по закону... И я хотел бы знать, за что мы дрались. За наши законы и свободы? А ведь таков старый закон Англии — тот самый, что порабощает простых людей Англии, — чтобы они повиновались законам, в принятии которых вообще не имели голоса!»

Абсолютизм, «великая цепь бытия», ничтожность просто человека в божественной иерархии — все это словно забылось участниками дебатов. В центр обсуждения был поставлен вопрос о том, какое устройство государства делает его законным в глазах граждан. Но при всей кажущейся прогрессивности такой постановки вопроса на фоне королевского абсолютизма, мы не должны забывать, что целью Рейнборо и Айртона, которая и заставила обоих сражаться на стороне парламента, было восстановление древних прав, пусть и в новых обстоятельствах. Со времен Августина священники прибегали к словам Библии, чтобы убедить людей в необхо-

димости внешнего порядка, однако Рейнборо и его современники больше не нуждались в чужих толкованиях. Они знали свою Библию и знали, что Бог не поставил одного человека над другим. Древность их прав и вправду не подлежала сомнению.

Доводы, приводимые участниками дебатов в Патни, опирались не на абстрактную политическую философию, а на грубые обстоятельства практического опыта. Защищавшие парламент на полях войны хотели знать, что принесла им победа. Рейнборо и Сексби, привлекая авторитет Священного Писания для отстаивания своей позиции, не воспринимали Библию как умозрительный политический трактат — по сути, вполне обоснованно предположить, что в свое время переводы Библии вызвали такой энтузиазм у североевропейцев именно потому, что по настроению священный христианский текст во многом соответствовал их обычаям и образу жизни. Хотя для нас обычай привычно ассоциируется с регрессом, а рациональность с прогрессом, дебаты в Патни показывают ущербность подобной прямолинейности: Рейнборо, опираясь на представление о законах обычая, фактически отстаивал всеобщее избирательное право (для мужчин); Айртон, опираясь на рациональные доводы, отстаивал его ограничение.

Самой возможностью дебаты в Патни были обязаны исключительной политической обстановке; дальнейшие политические события отодвинули их на задний план. Король скрылся из Хэмптон-Корта в Карисбрукский замок на острове Уайт, надеясь переждать смуту, однако восстание роялистских сил убедило армию, что Карл должен быть подвергнут суду за измену, и 30 января 1649 года монарха казнили. Первым лицом государства к тому моменту стал Оливер Кромвель (1599–1658), который сумел возвыситься благодаря своим талантам умелого манипулятора событиями и армейским недовольством. О радикальных требованиях Рейнборо и Сексби уже никто не вспоминал, и финал долгой английской революции в 1689 году по сути дела стал торжеством рациональ-

ного плана Айртона. Главной инстанцией в государстве сделали состоящий из землевладельцев парламент (во многом, правда, подтвердивший древние обычаи), а король и простолюдины остались без власти. Реализации плана Рейнсборо о введении всеобщего избирательного права Англии пришлось ждать до 1918 года.

Политическая сумятица, которая вызвала к жизни полемику на Армейском совете, не улеглась и во время суда над королем, завершившимся казнью, и во время республики, и во время Реставрации — вплоть до низложения Якова II. Вопросы законного государственного устройства обсуждались в сочинениях мыслителей и армейских офицеров, часто с риском для собственной жизни. Но сколь бы ни были интересны все эти проекты, сомнительно, что они реально повлияли на политическое урегулирование в Англии. Как бы то ни было, политическая философия прочно вошла в список тем, занимавших умы растущего круга образованных людей. «Левифан» Томаса Гоббса, подкреплявший необходимость абсолютистской монархии родственными августиновскому учению доводами о потребности человека в абсолютном контроле, был опубликован в 1651 году во Франции, где его автор находился в изгнании. Реставрация Стюартов в 1660 году, возможно, и была оправдана с точки зрения Гоббса, однако на английской почве абсолютизм больше и не прижился. Политические сочинения Джона Локка, по духу вполне согласовывавшиеся с обстоятельствами английской политики, по сути дела описывали настроения наиболее влиятельных кругов в парламенте. Если Гоббс считал человечество изначально порочным и неспособным обходиться без внешнего контроля, то Локк отстаивал добродетельность человеческой природы и необходимость не гоббсовского диктатора, а добровольного соглашения между членами общества — общественного договора.

Английская революция показала, что, несмотря на умножение теоретических сочинений на политические темы, их влияние на реальные события почти отсутствовало. Люди реагировали на памфлеты, призывающие к действию, на попра-

ние обычаев, на угрозу религиозного преследования, и пока мало обращали внимания на теоретические умозаключения о необходимости построения того или иного рода государства. За последующие сто лет положение изменилось: идеям, созревшим в бурной политической атмосфере XVII века, было суждено найти практическое применение в XVIII столетии — веке восторжествовавшего, как казалось, рационализма.

Английская революция породила политическую полемику, нашедшую отражение в речах, памфлетах и философских трактатах. В то же время, несмотря на все политические бури, экономическое благосостояние Англии стабильно росло — вместе с сословием образованного дворянства. Самостоятельность этого сословия, уже продемонстрировавшего в полной мере нежелание мириться с диктатом заносчивого властителя, начала все сильнее проявляться и в других областях. Помимо политической философии, основанной на рациональном анализе, она породила сообщество натуральных философов, таких как Роберт Бойль (1627–1691), Роберт Гук (1635–1703) и Исаак Ньютон (1642–1727), в среде которых сформировалось совершенно новое видение природного мира. Именно Ньютону принадлежало величайшее оправдание сурового декартовского рационализма — доказательство того, что Вселенная на самом деле абсолютно объяснима посредством математического анализа. В «Математических началах натуральной философии» Ньютона, увидевших свет в 1687 году, показано, каким образом движение любой части Вселенной, в том числе планет, подчиняется нескольким простым законам, формулируемым на языке математики. Теперь математически можно было выразить даже скорость изменения различных феноменов — с помощью нового метода, называемого исчислением бесконечно малых величин, разработанного Ньютоном и, независимо, его современником Лейбницем (1646–1716).

Фоном для поразительно успешного доказательства рациональной анализируемости физического мира, предпринято-

го Ньютоном, было постепенное, но имевшее фундаментальное значение изменение интеллектуального климата Европы. В течение XVI и XVII веков новый интерес к рациональной натуральной философии (к тому, что мы теперь называем научным естествознанием) уживался с традиционным вниманием к другим формам знания: нумерология не отделялась от математики, астрология от астрономии, алхимия от химии и т. д. Однако к концу XVII века натуральные философы, которые, как Исаак Ньютон, по-прежнему всерьез интересовались магией, алхимией и оккультными науками, уже составляли незначительное меньшинство: в «Скептическом химике», опубликованном в 1661 году, Роберт Бойль, член-основатель Королевского общества, снисходительно посмеивался над «общностью алхимиков» и их верой в возможность получить золото из свинца.

Неодобрительные мнения натуральных философов в конечном счете привели мистицизм, алхимию и магию к почти полной утрате некогда огромного авторитета и престижа. Впрочем, для заката мистических и магических верований европейцев — процесса, уникального в мировой истории, — имелись и другие причины. В Англии и Голландии технические усовершенствования в сельском хозяйстве привили деревенским жителям большее доверие к возможностям человеческого вмешательства, и хотя болезни оставались важной угрозой, чума, которую всегда окружали многочисленные предрассудки, после 1670-х годов уже никогда не возвращалась в Англию. Уровень грамотности оставался достаточно низким, однако благодаря печатным изданиям — газетам и памфлетам — большинство городов и деревень уже находились в постоянном контакте с суждениями и идеями рационалистически настроенных мыслителей.

Зарождение основ страхового дела около 1700 года стало знаком глубокого перелома в сознании людей. Начало страхованию судов было положено в лондонской кофейне Ллойда, а после лондонского Великого пожара 1666 года широко распространилось страхование на случай огня. Читая знаме-

нитый отчет о Великом пожаре Сэмюела Пипса, мы видим автора, который без передышки спешит от места к месту, едва находя время, чтобы перекусить или перехватить кружку эля, — и ни разу не забегает в церковь, чтобы попросить у Бога о вмешательстве. Вместо этого он ищет, как практически возможно обуздать пожар, и все встреченные им люди делают то же самое. Человечество должно помогать себе само. К середине XVIII века, чтобы спасти дом, магия или божественное вмешательство уже не требовались — ты просто посылал за приходской пожарной повозкой, а если она не поспевала вовремя, связывался со своим страховщиком. Люди всегда помогали себе сами, но раньше они верили, что их судьба есть часть некоего великого плана, проникнуть в который можно только с помощью древних обычаев и обрядов. Страховой делец, напротив, мог использовать математические новации — методики подсчета вероятности, — чтобы вычислить, как долго, скорее всего, суждено жить клиенту, сколько у него может быть детей и от чего он может умереть. Математика казалась фундаментом бытия.

Кроме естественнонаучных объяснений природного мира, технических усовершенствований в сельском хозяйстве и активной циркуляции прогрессивных идей, свою роль в упадке магического сознания сыграли еще два фактора. Во-первых, если согласно картине, предлагаемой христианским вероучением, господствующей и определяющей силой мироздания был единый и всемогущий Бог, то магия, напротив, всегда имела дело с миром, переполненным странными и часто враждующими друг с другом силами, контакт с которыми возможен только посредством сокровенного знания и обрядов. Христианство и магия могли уживаться и на самом деле уживались друг с другом больше тысячелетия, но для магии монотеистическая религия всегда представляла потенциальную угрозу. Пока христианство сохраняло связь с языческими традициями Севера, магическая составляющая северной культуры продолжала жить. Однако в результате Реформации связь между христианством и природным миром — источни-

ком всякой традиционной магии — была безвозвратно нарушена. Протестантизм, связав человека с Богом напрямую, отменив необходимость в опосредующем ритуале или специальном тайном знании, оставил мистический элемент жизни в изоляции, наедине с самим собой. Вдобавок к этому печатная машина знакомила все более широкий круг людей с впечатляющим по своим размерам корпусом сочинений, показывавших, с какой пользой рациональный подход — нечто, противостоящее суеверию, — может применяться для решения людских проблем. Человеку предъявлялось неопровержимое по видимости доказательство того, что его судьба вовсе не подвластна неким непонятым магическим таинствам, а, наоборот, находится в его собственных руках.

К началу XVIII века в послереволюционной Британии сложилось государство, в котором интересы помещичьего сословия, завладевшего парламентской властью, возобладали над интересами как королей, так и простолюдинов. Рациональный индивидуум — грамотный, образованный дворянин («джентльмен»), регулярный читатель книг и газет, знакомый с содержанием идейной полемики, религиозный, но прагматичный — обнаружил, что это государство вполне служит его потребностям. На протяжении следующих примерно 200 лет британскому государству лучше остальных удавалось направлять в благотворное русло устремления и активность этой самоопределяющейся социальной группы — дав ее членам доступ к власти. По мере того как остальные нации следовали примеру Британии, вкусы, идеи и социальные условности среднего и мелкого дворянства (в противоположность как монархическому классу, так и простонародью) превращались в лейтмотив западной цивилизации.

Тем не менее неверно представлять себе ситуацию так, будто образованные классы европейских стран были все на одно лицо. Пусть формирование государственного устройства осуществлялось по преимуществу усилиями правящей верхушки общества, само оно во многом базировалось на обычаях и

традициях, которые значительно варьировались в зависимости от того или иного европейского региона. Голландская республика, рожденная в результате многолетнего противостояния с испанской монархией, во многих аспектах была чудесным исключением на фоне Европы XVII века — обстоятельство, осознававшееся как самими голландцами, так и многими их невольными почитателями. На континенте, государства которого находились под властью суверенов, голландцы были аномалией, и поэтому, точно так же, как в Англии, политическим философам приходилось придумывать рациональное обоснование тому, что в реальности являлось следствием местных обычаев. В обеих странах перед государством стояла задача придать себе законный статус в глазах как собственного образованного сословия, так и иностранных держав. Может показаться курьезным тот факт, что образованные европейцы, восхищенно перечитывавшие рассказы о классических Афинах и Римской республике, тем не менее были убеждены в естественной законности монархической формы правления. Однако у влияния рациональности на человеческие дела есть свои пределы — монархия, должным образом ограниченная, предлагала образованным классам стабильность, в которой они могли процветать. Рациональное оправдание восстанию голландцев против испанского короля, а также созданной ими республике, было дано Гуго Гроцием (1683–1645), продемонстрировавшим, что древность автономного правления в Батавии и Нидерландах превосходит древность притязаний испанской короны. Законность немонархического государственного устройства, доказывал он, проистекает из самой истории.

Процветанием Голландская республика, даже когда она обрела собственного монарха, обязана тому, что ей удалось стать современным государством, сохранив в то же время древние обычаи. В отличие от городов северной Италии, чья вражда друг с другом привела их к падению, Нидерланды сплоченными действиями отстояли себя от посягательств

испанских, французских и австрийских войск и сохранили автономию отдельных провинций в рамках системы взаимной поддержки. Голландцы прославились тем, что сумели превратить суровые земли, полные солончаковых болот и заливных земель, в рай для людей. Новые методы возделывания растительных культур, восстановление почв и строительство на воде сделали сельскую местность и города Нидерландов настоящим чудом Европы. Республика также являлась единственным местом на континенте, где отсутствовала цензура и царила относительная религиозная терпимость.

Здесь же воплотился в реальность и новый тип урбанизации. В Англии и Франции средневековые города утрачивали самостоятельный статус, а королевские столицы, напротив, стремительно поднимались на дрожжах денег и власти. В Нидерландах главные города сохранили роль торговых и производственных центров и в то же время обустроивались как достойные места для жизни. В георгианском Лондоне или Париже времен Людовика XIV имелись прекрасные площади и здания, однако они планировались лишь как места обитания состоятельной верхушки, а не как функциональные элементы городской среды. Голландцам же, благодаря их необычайному чувству гармонии, удалось удержать лучшее из пестрого и прихотливого наследия средневековых городов, одновременно подчинив градостроительство требованиям современного коммерческого мира. Амстердам, к примеру, был спланирован как ряд концентрических колец-каналов с тем расчетом, чтобы каждый дом или мастерская имели выход на канал и мощеную набережную. В каналах регулярно спускали воду, чтобы очистить дно от отходов и нечистот, товары доставляли по каналам из сельской местности прямо в центр города, а сеть других каналов связывала Амстердам с Лейденом и Харлемом. Хотя некоторые улицы были престижнее других, дворцы в Амстердаме отсутствовали. Миллионеры-купцы жили в лучших, но совершенно того же типа домах, что и люди, на них работавшие. Улицы в голландских городах

вымостили иногда на несколько столетий ранее, чем в остальных городах Европы, к совместной пользе купцов, работников и остальных граждан. Преимущества голландского образа жизни не ускользали от внимания посторонних. В страну без конца прибывали английские и французские изгнанники, которые в разное время искали здесь убежища от преследований, тюрьмы или возможной казни — включая таких людей, как Декарт и Локк. Именно в этой атмосфере творили голландские живописцы, старавшиеся передать в своих полотнах непростое взаимодействие коммерциализации и религиозного благочестия, индивидуализма и общинного духа (см. главу 9).

Различным западным государствам, складывавшимся в это время, так или иначе приходилось соответствовать требованиям образованного дворянства — сословия, прекрасно освоившего стиль теоретического рассуждения, осознающего, что такое права и обязанности, баланс интересов личности и государства, конфликт интересов стабильности и свободы. Те из них, что сумели удовлетворить эти требования в наиболее полной мере, как, например, Британия и Голландия, обеспечили себе долгосрочную политическую стабильность. Те же государства, которые, как Франция, не отнеслись к ним с должным вниманием, продолжали создавать себе все более сложные — и в конечном счете неразрешимые — проблемы.

Новые рационалистские настроения коснулись и отношений между европейскими государствами. Понятие справедливой войны восходило как минимум ко временам Августина (а возможно, и к римским фециалам), однако оно было тесно переплетено с заповедями религиозной морали. «Когда справедливо идти войной на своих братьев-христиан?» — первыми, сумевшими найти обоснованный ответ на этот вопрос, снова были голландцы. Поскольку война входила в противоречие с религиозными убеждениями большинства голландских бюргеров, Путо Гроций почувствовал необходимость

обосновать право Голландской Ост-Индской компании (коммерческой длани голландского государства) вступать в вооруженные столкновения и показать, почему вообще в некоторых обстоятельствах война является законным действием. Его полный ответ, обобщенный в книге 1625 года «De Jure Belli ac Pacis» («О праве войны и мира»), представлял поле международной политики в виде множества взаимно признанных государств, чьи общие интересы обеспечиваются благодаря единой системе законов, договоров и индивидуальных прав. Когда права одного из участников этой системы явным образом нарушаются, он мог справедливо объявить войну. Подобно политическим философам Англии, Гроций скорее описывал реально существовавшую в Европе ситуацию, нежели представлял теоретический идеал государства или общности государств. Как и сочинения англичан, его описание было рациональным обоснованием развития государства, призванным найти понимание у правителей и поддерживающего их сословия.

Появление всемогущего государства, подробно описанное в главе 10, в сочетании с распространением книгопечатания и грамотности оказало глубоко влияние на жителей Запада и их понимание собственной цивилизации. Образованный индивидум осознал себя разумным, прагматичным и самостоятельным существом, частью определенного сообщества, но в первую очередь отдельной личностью, наделенной свободной волей, правами и обязанностями и управляющей собственной судьбой — в то время как государство, в котором он жил, подавляло любое посягательство на свой авторитет и присваивало монополию на насилие в своих границах. Именно в совокупном действии этих двух тенденций заключался источник «цивилизованности» европейского общества.

Начиная с XVI века на смену былым простоватым нравам вояк-рыцарей, составлявших окружение короля, постепенно приходит придворный этикет, который вслед за этим распро-

страняется и в среде аристократии и мелкого дворянства. Телесные отправления, включая рождение и смерть, начинают скрывать; открытые проявления насилия и открытое получение удовольствия от подобных зрелищ все чаще рассматривались как проявление невоспитанности и нецивилизованности — что не случайно, поскольку и то и другое шло вразрез с интересами государства. В домах знати появляются коридоры с целью отгородить комнаты, что сделало совместное обитание нескольких людей в одном помещении уделом низших классов. В прошлом во многих провинциях Европы аристократы, как правило потомственные клановые вожди, привычно делили жилище со слугами, свитой, музыкантами и товарищами по увеселениям, однако теперь, под влиянием новых цивилизованных манер, такой образ жизни мало-помалу начал сходить на нет. Хотя усвоение верхушкой общества хороших манер кажется чем-то бесспорно положительным, само это явление могло родиться на свет только в результате уступки реальной власти государству. Еще в 1651 году Томас Гоббс указывал, что в обмен на устранение опасности непредсказуемого вреда из жизни поданных государство ставит их в условия перманентной угрозы применения насилия. Импульс цивилизованности с энтузиазмом подхватили высшие слои общества, однако последствиям этого исторически значимого шага было суждено проявиться еще не скоро.

В течение XVII века распространение индустрии книгопечатания вместе с разрушением средневековой картины мира привело к возникновению сосредоточенной на себе рациональной личности, а также плодов мыслительной деятельности такой личности — теоретических сочинений. Двумя главными предметами этих сочинений были, с одной стороны, отношения между индивидуальным человеческим разумом и природным миром, а с другой — отношения между индивидуумом и государством. Но если рационализация человеком природного мира принесла скорые плоды в виде захватыва-

ющей картины механической Вселенной, то политические теории почти без исключения рационально описывали уже существующее положение дел. В XVIII веке ситуации предстояло измениться — когда рационально мыслящие и образованные личности, жившие в самой могущественной европейской стране, стали использовать политические теории, чтобы с их помощью освободиться от деспотизма, и когда фокус политических изменений в Европе переместился из Англии и Голландии во Францию.

Глава 13

ПРОСВЕЩЕНИЕ И РЕВОЛЮЦИЯ

Политика и разум во Франции и Америке

Отрезок истории между 1770 и 1815 годом стал для Запада периодом колоссальных политических, социальных и экономических потрясений. Переворот, ими вызванный, был настолько масштабным, что многие историки видят в нем не только начало современного Запада, но родовые муки, предвещавшие появление совершенно нового типа общества, практически порвавшего с любыми обычаями и традициями. Образование конституционного государства в Америке, практическое воплощение революционных идей во Франции, сельскохозяйственная революция и стремительный промышленный и технологический рост в Британии, тотальная война и создание рационального бюрократического государства Наполеоном, внезапный всплеск капитализма и мировой торговли, подъем этнического национализма — все это способствовало формированию условий для рождения нового общества. Индустриализированное, технически оснащенное капиталистическое национальное государство, управляемое в согласии с конституцией представительным органом — то есть то, что мы подразумеваем под словосочетанием «западное общество», — появилось на свет именно в эти десятилетия.

Подоплекой событий конца XVIII века была фундаментальная трансформация, которая к тому моменту происходила уже на протяжении столетия и которую можно было бы назвать истинной прародительницей современного мира. Стоило западноевропейцам осознать себя в качестве разумных автономных существ, следующей сознательной потребностью стало построение общества, в котором они могли бы счастливо обитать. Это был поистине революционный ход мысли, поскольку до тех пор европейцы желали лишь воссоздать или сохранить права и ограничения, существовавшие в прошлом, и реализовывали это желание в опыте настоящего. В конце XVIII века политические идеи, созревшие в полной изоляции, нередко у людей, не имевших ни малейшего понимания практических аспектов управления, воплощались в реальном мире. Но реализовать на практике теоретическую модель существования свободных личностей в обществе, где царствует порядок, оказалось неизмеримо труднее, чем кто-либо мог себе вообразить. Чтобы понять, как идейная эволюция смогла повлиять на ход политических событий, сперва нужно рассмотреть интеллектуальную атмосферу, порожденную французским Просвещением, американскую и французскую революции; тогда мы и засвидетельствуем рождение современного государства в наполеоновской Франции.

В 1700 году, когда население Англии и Уэльса составляло 5,6 миллиона человек, Нидерландов — 1,9 миллиона, а Испании — 7,5 миллиона, во Франции проживали 21,4 миллиона человек. Эта огромная страна, своими границами и побережьями выходящая практически на все западноевропейские государства, за период, прошедший под сенью административного гения Мазарини и Кольбера, сумела стать крупнейшей державой Европы не только в географическом и демографическом, но и в хозяйственном и военном отношении. Революция XVII века, спровоцированная попыткой Мазарини в 1648 году отстранить парламент от управления, во Франции потерпела неудачу, что оставило ее, в отличие от Англии

и Нидерландов, централизованной автократией с абсолютным самодержцем во главе.

Франция тех времен представляла собой своеобразный парадокс. Она являлась центром европейских культурных и политических дебатов почти на всем протяжении XVIII века, французский был международным языком образования, интеллектуального обмена и дипломатии, французские архитекторы, мебельщики, портные и философы работали по всей Европе — и в то же время страной самоуправно повелевала династия Бурбонов, а свобода слова и высказывания на ее территории жестко ограничивались. Как бы то ни было, со смертью Людовика XIV в 1715 году атмосфера изменилась: французское государство перестало быть тем агрессивным интриганом, намерения которого вызывали настороженность и страх у европейских соседей и собственных граждан. В условиях повсеместно распространившейся французской культуры образованные европейцы начинали воспринимать себя членами всеобщего человеческого братства. Мало того, что религиозные различия предстали во всей своей неуместности — казалось, что и национальным границам нет места на карте. Вольтер говорил о Европе как о «большой республике, разделенной на множество государств», а Руссо писал: «Нет больше ни Франции, ни Германии, ни Испании, ни даже англичан, а есть только европейцы. У всех одни и те же вкусы, одни и те же пристрастия, один и тот же образ жизни»; Монтескье верил, что он — «человек по природе и француз по прихоти обстоятельств». Войны, с точки зрения интеллектуалов, проистекали из эгоизма правителей, которые правдами и неправдами убеждают незадачливых и невежественных подданных, что те должны навлекать на других — и на себя — смерть и страдания. В войне враждующим династиям даже не приходило в голову интересоваться благополучием подданных. Раздавались даже призывы к учреждению международного органа, полномочного разрешать конфликты, обеспечивать безопасность и принуждать к миру. Царство мира должно было обязательно наступить, если только разрушить традици-

онные барьеры, разделяющие людей. Некоторые авторы начали отстаивать ту точку зрения, что поведение государства принципиальным образом зависит от формы правления — чем более власть в государстве рассредоточена между людьми, тем оно миролюбивее и тем меньше вероятность, что оно начнет войну.

В этой оптимистической атмосфере французские философы обращались к данному Локком благосклонному толкованию человеческой природы как к основанию для построения идеального общества. Мы знаем Локка в первую очередь как основателя эмпиризма, философской концепции, согласно которой все наше знание о мире приходит через посредство чувств, однако в ту эпоху именно политическая философия обеспечила ему всеевропейскую славу и почетное звание «философа свободы».

В «Трактате о правлении», опубликованном в 1690 году, Локк признавал два главных фактора общественного бытия: естественное право и общественный договор. Исходя из естественного права, мы все свободны и равны по природе, но мы также объединяемся в общество (где можем стать неравными и менее свободными), чтобы обрести стабильность в жизни и в отношениях друг с другом. Естественное состояние не существует исторически, оно является сущностью человека, фундаментом его природы. Общественный договор, который мы заключаем между собой, подразумевает определенную уступку свободы и равенства с нашей стороны, имеющую целью достичь большего благополучия для всего общества и для каждого его члена по отдельности. Люди, в согласии с естественной свободой, вольны выбирать, какое правление для них желательно — монархия, олигархия или демократия. Но если люди выбирают монархию, монарх тем самым не наделяется властью отменять естественные права, которые присущи человеку изначально и стоят на страже его интересов. Монарх, который все-таки идет на такой шаг, считается тираном и может быть законным образом низложен.

Вольтер и остальные французские *philosophes* (с готовностью принимавшие построения Локка) оказывались в странной ситуации. Увлеченно придававшиеся рациональному анализу общественных и политических вопросов, они были неспособны извлечь из своего знания практическую пользу. Изнутри Франция начала раскалываться на два параллельных мира: аппарат самодержавного правления, центр которого находился в Версале, и среду, охваченную брожением в умах под названием «просвещение» и существующую в дворянских собраниях, клубах, библиотеках и объединениях по всей стране. Эти два мира пересекались, так как сами основы государства, во Франции и не только, переживали в это время непрерывный процесс трансформации. На место режимов, в которых монарх был окружен свитой вассалов-аристократов, представлявших региональные политические единицы, приходили профессиональные администрации с министерствами, организованными по функциональному, а не региональному критерию. Специально созданное французское министерство иностранных дел было в 1714 году скопировано Испанией, в 1719 году — Россией и в 1728 году — Пруссией. По мере разрастания административного аппарата власти все отчетливее понимали, насколько плохо они знают страны, находящиеся под их управлением. Функциями государства становились сбор статистической информации и составление карт: первая официальная съемка британского побережья, к примеру, была предпринята в 1765 году. Плодом работы австрийского эквивалента британского Картографического управления в 1787 году стала впечатляющая «Йозефинская съемка» — гибрид переписи и топографического атласа, в котором перечислялись все постройки, реки, дороги и леса Габсбургской империи. Развитие государственной картографии одновременно указывало на идущий полным ходом процесс политического присвоения географической территории и на меняющийся характер отношений человека с природным миром.

Поскольку новому сословию администраторов и бюрократов требовалось образование и специальная подготовка, правительственная служба сделалась главным двигателем распространения грамотности и народного просвещения. В 1600 году уровень грамотности среди взрослого мужского населения в Англии и Уэльсе составлял примерно 25 процентов, тогда как во Франции — 16 процентов; в 1720 году тот же показатель равнялся 50 процентам для Англии и Уэльса и 29 процентам для Франции, а к 1800 году эти цифры уже достигли 65 и 50 процентов соответственно. В 1787 году французский журналист Себастьян Мерсье писал: «Читающих людей сегодня в десять раз больше, чем сто лет назад. Сегодня вы можете заставить служанку в подвале или слугу в прихожей за чтением памфлета. Люди читают почти во всех классах общества, и это только радует».

Если в 1702 году в Лондоне существовала единственная ежедневная газета, «Дейли Курант», то в 1760 году их насчитывалось 4, а в 1790 году — 14; в 1727 году 25 газет издавалось в других английских городах, а ведомости гербового сбора за 1753 год показывают, что газет в стране продавалось 7 миллионов экземпляров. В 1726 году гость из Франции заметил: «Все англичане большие охотники до новостей. Рабочий люд привычно начинает день с того, что отправляется в местную кофейню почитать последние известия». Следует отметить, что образование и грамотность сохраняли существенную зависимость от общественного положения. Например, судя по официальным записям о бракосочетаниях за середину—конец XVIII века от 90 до 100 процентов мужчин мелкобуржуазного сословия и 70 процентов их жен умели читать и писать. Этой прослойке была глубоко противна идея начального образования для детей рабочих, поскольку грамотность дала бы последним шанс претендовать на ограниченное число мест в канцелярской службе. Даже либеральные умы считали образование для бедняков бессмысленной затеей. Вольтер писал: «Так как ничто, кроме ранней привычки, не способно заста-

вить смириться с этим [тяжелым и монотонным трудом], следовательно, давать ничтожнейшим из людей больше того, что уготовило Провидение, значит причинять им бесспорный вред».

Как бы то ни было, ничто не могло остановить стремительное распространение газет. К концу XVIII века своя газета имелась в каждом сколько-нибудь значимом немецком городе, а после 1770 года неудержимо набирала обороты провинциальная пресса во Франции, Польше, России и Нидерландах. Для английского джентльмена даже самого скромного достатка стало обязанностью иметь собственную библиотеку и посылать детей — даже дочерей — получать образование в специальном заведении. Распространение грамотности являлось составной частью процесса трансформации Европы из устной, фольклорной культуры в информационное, рационалистическое, технологическое общество.

Вера в рациональный, универсально применимый подход к человеческим проблемам только укреплялась благодаря новым открытиям науки. Если деятельность Ньютона стала вдохновляющим примером способности разума раскрыть тайны физического мира, то химические и биологические исследования таких ученых, как Лавуазье, Галлер, Кавендиш, Шееле, Пристли, Линней, Дженнер и Дальтон, стали великим свершением XVIII века. Усовершенствованные микроскопы того времени продемонстрировали, что мельчайшее насекомое представляет собой удивительно сложный организм, химикам же впервые удалось разъять на компоненты воздух. Приоритет античной мудрости был окончательно забыт современными натуральными философами, которые воспринимали мироздание не как огромную систему, приводимую в действие неведомыми причинами, а как множество определенных действий, управляемых универсальными законами. Замещение поиска причин поиском универсальных законов явилось ключевым моментом научной революции XVII века, получившим дальнейшее развитие в XVIII столетии.

Просвещение, обобщающий термин, которым описывается рационалистическая культура XVIII века, было сознательным призывом человека к себе и другим употребить разум для решения всевозможных задач, стоящих перед человечеством. Как бы следуя примеру Ньютона и его коллег-ученых, люди верили, что если рациональность оказалась способна поведать о мире хоть что-то, она наверняка может сказать о нем все. Не скованное ничем рациональное исследование должно породить логически непротиворечивый корпус знаний, связность которых будет объясняться действием универсальных законов и которые обнаружат в сущем благодную цель. Знакомство с множеством новых удивительных тайн природного мира, растущее благосостояние, относительное политическое спокойствие и личная свобода (по крайней мере, для благородного сословия) дали повод мыслителям навсегда отринуть христианское представление о человечестве как осужденном — за исключением немногочисленных счастливыхцев — на вечные адовы муки. Вместо этого возобладали вера в благосклонного Бога, который предназначил мироздание для наслаждения и восхищения человека. Круговорот времен года, смена дня и ночи, предусмотрительное изобилие растений и животных в довольство и пропитание, красоты пейзажей — все это очевидно сотворил милостивый Бог для пользы человека, Его самого драгоценного создания.

Мыслители Просвещения полагали человечество благодетельной силой, а человека — существом по природе добрым. Для них не существовало противоречия между личной выгодой одного и пользой многих ни в нравственных делах, ни в общественных, ни даже, как доказывал Адам Смит, в экономических. Люди должны жить хорошо, ибо это выгодно всем и каждому — и явно совпадает с Божьим замыслом. И гораздо осмысленнее поступать в согласии с этой максимой, нежели тратить драгоценное время на молитвы и обряды. Как сказал доктор Джонсон: «Наш первейший долг — служить обществу; после того как мы отдали свой долг, мы можем полностью сосредоточиться на спасении души».

XVIII век был веком океанских плаваний и колонизации далеких земель. У европейцев, способных отправиться на корабле в любую точку мира, проснулся интерес к культуре Индии и Китая, и особенно — к «естественному» на первый взгляд образу жизни обитателей Полинезийских островов и коренных североамериканцев. Излюбленным литературным приемом стала позиция нецивилизованного, но в то же время наделенного большей мудростью постороннего, позволявшая выставить напоказ лицемерие европейского общества (см., в частности, вольтеровского «Простодушного»). Джентльмены-натуралисты, такие, как Джозеф Бэнкс, Луи Бугенвиль и Александр Гумбольдт, привозили из далеких странствий разнообразные экзотические предметы. Европейцы, в лице, например, Джеймса Кука, объезжали весь свет не исключительно с целью завоевания, но и ради утоления своего интереса. Имперский импульс уже не сводился к элементарному подавлению и покорению коренных народов, он побуждал европейцев нести новые достижения — научные, социальные и культурные — своего общества.

Просвещение также положило начало применению научных методов к изучению истории. Вместо того чтобы заимствовать идеи из текстов великих классических авторов, историки сами занялись сбором документальных свидетельств. Монументальный труд Эдварда Гиббона «Упадок и разрушение Римской империи» (1776–1788) рассказывал читателю назидательную историю о том, как предрассудки и религия, воплощением которых выступало христианство, сумели взять верх над рациональными и гуманистическими устоями Римской империи. В книге Гиббона мы замечаем два важных элемента свойственного просветителям умонастроения. Во-первых, уже отвернувшиеся от языческого по своим корням оккультного знания, люди того времени начали ставить под сомнение и саму веру; во-вторых, историки исходили из того, что человечество в существенных аспектах одинаково во все эпохи и во всех странах и просто подвергается действию различных сил — платоновский универсализм, уравнивающий

все места и все времена, который возродился благодаря Галилею и был с таким успехом применен Ньютоном, сказался и здесь.

Гиббон собирал свидетельства о фактах прошлого, повинаясь тому же самому импульсу, который заставлял натуральных философов собирать в коллекцию каждую встреченную былинку и букашку. Этот импульс повлиял даже на сочинителей. Героев романа, нового жанра европейской литературы, не раздирали внутренние и внешние силы, как происходило в великих драматургических произведениях XVI и XVII веков; они пребывали в пути, познавая жизнь во всех ее формах, формируясь под воздействием окружающего мира, обманываясь им и удивляясь ему. Герои «Молль Флендерс» (1721), «Тома Джонса» (1749), «Тристрама Шенди» (1759–67) и «Кандида» (1760) представляли собой особую призму, через которую читатель рассматривал поразительный калейдоскоп человеческого опыта.

Естествознание, история, литература и философия посвятили себя поиску существенного, естественного и универсального, которое требовалось вычленивать из всего случайного, искусственного и единичного. Подобный унифицирующий дух получил свое высшее выражение в великом проекте французского Просвещения — «Энциклопедии», составлявшейся с 1751 по 1772 год Дени Дидро и Жаном Д'Аламбером. Этот 28-томный труд, который сделался главным достоянием всех провинциальных библиотек и философских обществ Франции и в число авторов которого входили все ее прославленные *philosophes*, стал наглядным доказательством взаимозависимости и единства всех отраслей знания. Это был настоящий памятник «благодетельной» роли Просвещения.

Многим образованным людям XVIII века действительно казалось, что человечество вот-вот откроет для себя единый рациональный фундамент всякого человеческого познания и поведения — на горизонте маячил золотой век всеобщего мира, согласия и мудрости. Как оказалось, однако, этот опти-

мизм покоился на иллюзии. В действительности почвой для созревания умонастроений, характерных для раннего Просвещения, был недолгий период относительного мира и процветания — который, в свою очередь, во многом обеспечивался эксплуатацией заморских колоний. Люди уверовали, что человечество добродетельно, а мир — вполне приветливое место, потому что сами находились в благоприятных условиях — рациональность и всеобщая человеческая добродетель являлись ни чем иным, как интеллектуальным оправданием успехов растущего класса мелкого и среднего дворянства, продолжавшего повышать свой имущественный и социальный статус.

Это стало особенно ясно, когда хрупкое равновесие сил было нарушено и Европа снова вступила в войну. Война за испанское наследство (1740–1748), в которой габсбургская Австрия оказалась вынуждена противостоять Пруссии — небольшому, но агрессивному милитаристскому государству, — привела к серьезному всеевропейскому конфликту восемь лет спустя. В Семилетней войне (1756–1763) Австрия выступила в союзе с Францией, тем самым заставив Британию объединить силы с Пруссией. Более 850 тысяч военных и 30 тысяч гражданского населения погибли в этом противостоянии, которое погрузило Европу в пучину насилия, эпидемий и ненависти ко всему чужому. Кроме того, война привела Британию, Францию, Пруссию, Австрию и Россию на грань разорения, что имело самые серьезные последствия — вынужденное повышение налогов британским правительством спровоцировало американскую войну за независимость, а французские военные расходы стали одним из непосредственных поводов для восстания 1789 года. На фоне одичания и обнищания европейских армий и населения оптимизм Просвещения обнаружил свою эфемерность.

Открытия в природном мире и природные катаклизмы также омрачили интеллектуальный климат Европы. Исследования горных пород и окаменелостей доказывали, что в прошлом — далеко настолько, что оно предшествовало лю-

бому человеческому свидетельству, — действовали вулканы и жили создания, которых в современном мире уже не существует. Являлся ли в таком случае мир неизменяемым Божьим творением? Или, может быть, он представлял собой нечто, находящееся в постоянном обновлении, а мир, в котором обитало человечество, являлся лишь позднейшей стадией этого обновления? Лиссабонское землетрясение 1755 года, которое похоронило более 30 тысяч человек, можно было понять только как божественное деяние; одновременно медицинская наука, научившаяся диагностировать многие заболевания на ранней стадии, обнаружила полную беспомощность в их предотвращении и исцелении. Начинало казаться, что ньютоновский гений открыл для человечества не устойчиво работающую Вселенную, запущенную однажды в движение божественной волей, а бездушную машину. Мало того, что наука была неспособна дать хотя бы намек на цель божественного творения, — находилось все меньше оснований утверждать, что существование вообще имеет цель.

Сколь бы далеким от повседневной жизни ни казался этот вывод, описанные сомнения имели и практический смысл. Адам Смит в «Богатстве народов» (1776) отстаивал ту точку зрения, что личное обогащение в сочетании с фундаментальным законом спроса и предложения является естественным — и приносящим пользу всем — способом функционирования экономики. Однако когда продовольствия недостаточно, цены на него растут и над беднейшими слоями населения нависает угроза голодной смерти. Как в этой ситуации следует вести себя правительству? Разве не будет ошибкой для него вмешаться в этот «естественный» процесс, пойдя на искусственное удержание цен? Или еще большей ошибкой будет безучастно наблюдать, как умирают граждане, когда их смерть можно предотвратить? Такого рода вопросы серьезно подрывали легкомысленную самоуверенность просветительского рационализма.

Еще один сокрушительный удар по оптимизму ученых-рационалистов и «просветителей» нанес шотландский фило-

соф Дэвид Юм. В своем «Трактате о человеческой природе» (1739) Юм показал, что сеть причинно-следственных связей, существование которой было центральной предпосылкой всех объединительных устремлений той эпохи, на самом деле представляет собой иллюзию. Выстраивая связи между вещами на основе предшествующего опыта и знакомства, мы неверно предполагаем, что устанавливаем между ними логическую зависимость. Юм убедительно продемонстрировал, что существование такой зависимости в реальности недоказуемо и что она лишь порождение нашего ума. Следуя пути, проложенному Локком и его скептическим эмпиризмом относительно независимого существования внешнего мира, Юм уничтожил философский фундамент большинства тогдашних и будущих концепций, объяснив, что рационализм в своей самодостаточности не способен сказать о реальности ровным счетом ничего. Многолетний поиск постижения мира, складывалось такое впечатление, вернулся туда, откуда начинался. Разумеется, люди не отказались от рационализма, однако большинство увидело, что невероятное разнообразие природного мира и человеческого опыта не дает оснований для простого всеобобщающего анализа. Два ориентира просветительской мысли — стремление к ничем не ограниченному исследованию мира и желание познать универсальные принципы, — как оказалось, противоречили друг другу.

Если большинство продолжало исповедовать ту или иную разновидность рационализма, некоторые начали всерьез восставать против его диктата. Во второй половине 1750-х годов Жан-Жак Руссо высказал мнение, что европейское общество, вовсе не являясь венцом человеческих свершений и логическим следствием естественного развития, на самом деле представляет собой результат отпадения от естественного благородного состояния, в котором пребывало нецивилизованное человечество, и что незамутненный душевный инстинкт «естественных» обществ ближе к истине и мудрости, чем искусственный рационализм современной Европы. Творче-

ство Руссо нашло понимание не только среди философов и политических публицистов, но и среди поэтов, драматургов и художников. Подъем новой идеологии, позже получившей название романтизма, ознаменовал крушение попытки Просвещения объединить человеческое знание, а его результатом стало разделение европейской цивилизации на два лагеря: рационалистический и романтический, научный и художественный, на царство разума и анализа и царство страсти и инстинкта.

Свое глубочайшее воплощение романтизм обрел на немецкой почве. Земли Германии, в тот момент оправлявшиеся от ущерба, нанесенного Семилетней войной, вступали в долгий период мирного существования, свободного от произвола австрийских императоров. Германия как совокупность самостоятельных государств начала пожинать плоды того же разнообразия в рамках единой культуры, которое было характерной чертой классической Греции, итальянского кватроченто и Голландской республики XVII века. Немецким художникам предстояло стать выразителями жизненных дилемм, сопутствующих трансформации множества равноправных княжеств, живущих старинным крестьянским укладом, в современные государства, существующие на фоне постоянного роста политического и территориального могущества Пруссии Фридриха Великого. И эти художники без труда находили себе покровителей при дворах и во дворцах германского мира.

Лучше всего немецкий романтизм известен нам по творчеству целой плеяды композиторов: Гайдна (1732–1809), Моцарта (1759–1791), Бетховена (1770–1827) и Шуберта (1797–1828). Духовное наследие Баха и Генделя у Гайдна и Моцарта преобразилось в традицию венского классицизма (в которой искрометные придворные дивертисменты перемежалась с музыкальными фрагментами огромной эмоциональной глубины). Но именно в произведениях Бетховена эмоциональное содержание музыки окончательно стало диктовать форму. Музыка сделалась неумирающим романтическим жанром —

способом выражения, благодаря которому мир интуиции, воображения и чувств мог быть донесен до слушателя напрямую, не нуждаясь в огрубляющем посредстве языка.

В то же самое время немецкие писатели, такие как Гете и Шиллер, с энтузиазмом откликнулись на концепцию, сформулированную философом Иоганном Готфридом фон Гердером и гласившую, что сам язык, носитель как чувственного, так и интеллектуального начала, является средством постижения мира. Поощряя изучение и возрождение народных песен и сказок, Гердер вдохновил Гете и других на поиск способа мышления, который примирил бы между собой разум и инстинкт. Гете даже попытался положить начало науке, опирающейся не на чистый разум, а на «художественный синтез». «Новая Элоиза» (1761) Руссо и «Страдания молодого Вертера» (1774) Гете завоевали всеевропейскую популярность, а романтически окрашенные «Лирические баллады» (1798) молодых Вордсворта и Колриджа ознаменовали поворот английской литературы от умудренного классицизма к естественной вольности чувств.

Влияние немецкого «ренессанса» конца XVIII века на будущее Запада оказалось огромным. Из столкновения рационализма и романтизма, часто соседствовавших в произведениях одного и того же автора, родился целый ряд понятий и концепций, которые фактически воплощали неразрывное переплетение этих двух по видимости противоположных начал. То, что мы могли бы назвать романтической рациональностью, являлось попыткой наделить смыслом мироздание, которое представлялось человеку лишенным духовной и нравственной цели. Рационалисты испытывали потребность в этом, поскольку наука, как казалось, доказывала, что у природного мира нет ни морального, ни метафизического, ни религиозного оправдания, а Юм вдобавок объявил иллюзией всякую внутреннюю причинную связность — для чего вообще в таком случае было изучать мир? Романтики оказались в таком же тупике, ибо их сосредоточенность на отдельной лич-

ности провоцировала не менее насущные вопросы. Должны ли люди оставить общество и превратиться в погруженных в себя идеалистов или следует попытаться действительно повлиять на несовершенный и порочный мир, который их окружает? Должны ли они уйти в поля и долины, чтобы стать ближе к природе, или, наоборот, с усердием взяться за решение проблем общества? Откликом на эти два кризиса, или тупика, рациональности и романтизма стало творчество немецких философов: Иммануила Канта (1724–1804), Иоганна Фихте (1762–1814), Георга Гегеля (1770–1813) и Артура Шопенгауэра (1788–1860), наследие которых позже развил в новом направлении Карл Маркс (1818–1883). Хотя между этими философами существовали разногласия (шопенгауэровское внимание к иррациональности выделяет его на фоне остальных), каждый из них ставил своей целью строительство грандиозного метафизического здания, в котором не только найдется место и для рационального, и для романтического, но в рамках которого можно будет объяснить вообще все аспекты человеческого сознания и его отношений с природным миром и обществом. Некоторые результаты этого амбициозного проекта станут предметом обсуждения в главе 16, здесь же нам необходимо понять, что стремление к подобному всеобъемлющему синтезу проистекало из насущной потребности залатать трещины, появившиеся в мировосприятии европейцев в результате Просвещения.

Первое решение этой интеллектуальной задачи, которое принадлежало Иммануилу Канту, заключалось в том, чтобы ясно обозначить раздвоенность человеческого мышления — вместо того чтобы поддерживать иллюзию его единства. Тем не менее при всей гениальности кантовского решения оно подразумевало разрушение той внутренней согласованности, которое являлось фундаментом западной мысли на протяжении двух предшествующих тысячелетий. До этого всякий мыслящий человек Запада исходил либо из того, что Вселенная устроена Богом определенным способом, недоступным слабому человеческому разумению, либо из того, что каждый

аспект природного мира и человеческого существования подчиняется некоторому моральному порядку. Поэтому никто не сомневался, что узнавание нового о природном мире и открытие истин человеческого поведения совершенствуют способность человека отличать добро от зла и, соответственно, служат улучшению нравов. Поскольку исследование тайн мироздания должно было обнаружить лежащий в его основе моральный порядок, понятия истины, знания и блага воспринимались как по сути синонимичные. Однако к концу XVIII века от такой мировоззренческой установки почти ничего не осталось. Что же должно было прийти ей на смену?

Кантовским ответом на этот вопрос стало разведение понятий истины и блага. Обретение знаний есть способ открытия истинного, тогда как чувство, или интуиция, есть способ постижения благого. Люди могут и должны исследовать природный мир и наращивать знания о нем, нисколько не ориентируясь на присутствие божественной или нравственной гармонии. Оказывалось, что природный мир просто существует, знание о нем дается нам через обычные органы чувств и через врожденное чувство времени и пространства — именно благодаря этому внутреннему аппарату мы постигаем истину.

В то же время мы не можем апеллировать к природному миру как к модели общественного устройства, или как к опоре в совершении нравственного выбора, или как к свидетельству божественной воли. Все это принадлежит отдельной области опыта, внутренней способности, которая является нравственной сердцевинкой нашего бытия и с помощью которой человеческая душа интуитивно постигает саму себя и свои обязательства. Путь к благу, как оказывалось, совершенно обособлен от пути к истине. Благодаря внутреннему разделению мышления Канту удалось примирить в человеке чувствующего романтика и мыслящего рационалиста. Этот дуализм самовосприятия, который сегодня для нас представляется вполне естественным, на самом деле является изобретением западной цивилизации Нового времени, рож-

денным из первоначального побуждения преодолеть кризис рационализма.

Однако это лишь наполовину разрешало трудности европейцев той поры. Вопрос, решение которого делалось все более насущным, был связан с построением общества, согласующегося с устремлениями — равно романтическими и рационалистическими — автономной личности XVIII века. Трансформация самовосприятия человека, последовательные модели которого воплотились в порочном животном Августина, наделенном разумом христианине Фомы Аквинского, кальвиновском Избранном и эмпирическом рационалисте Локка, теперь привела к возникновению свободолюбивого романтика. Первая глава самого известного сочинения французского философа Жана-Жака Руссо (1712–1778), «Общественный договор», начиналась со знаменитой строчки: «Человек рождается свободным, но повсюду он в оковах». Это был не столько призыв к революции, сколько констатация положения вещей, свойственного для всякого общества. Руссо продемонстрировал, что единственное общество, позволяющее личности жить свободной жизнью, — это общество, которое сумело привести отдельные воли людей к некоему единому знаменателю — тому, что он называл «общей волей». Естественное общество должно представлять собой нечто вроде совокупного воплощения желаний его членов. По мысли Руссо, «естественное» общество настолько совершенно, что в нем нужды граждан вторичны по отношению к нуждам самого общества.

Руссо и его последователи, пытавшиеся показать естественную гармонию в обществе, не верили, что ее следует искать где-то в европейских традициях. — напротив, ее надлежало реализовать путем замены существующего порядка. Это был решительный разрыв с прошлым, который имел исключительное значение для будущего. Начало демократии и республиканского правления в античном мире, основание Флорентийской и Голландской республик, английская революция — все это осознавалось людьми как возвращение к древним традициям. Однако рационализм XVIII ве-

ка покончил с благоговейным отношением к прошлому; вдобавок затянувшийся век версальского абсолютизма внушал французским *philosophes* отчетливую неприязнь к какой бы то ни было традиции. Политические мыслители конца XVIII века не питали нежных чувств к прошлому — Томас Пейн, к примеру, недоумевал, почему он должен принимать диктат условностей и традиций предков. Новая идея была действительно революционной: прошлое оставалось в прошлом, будущее же могло принять такой облик, который ты пожелаешь.

Внутренняя противоречивость не обрушила идеалы Просвещения, и строительство общества на рациональных началах отныне вдохновлялось двумя противоположными устремлениями: к всеобщему порядку и к всеобщей свободе. Просвещение направило людей к свободе и одновременно стало опорой для тех, кто мечтал о совершенном порядке. Оно возродило представление о вечно изменяющейся Вселенной и оставило в наследство науку, которая обрела статус главного источника знаний о природном мире. — тем самым изъяв из постижения природы всякое нравственное и религиозное содержание. Мир предстал освещенным, лишенным таинственности, рационализированным, возврат в прежнее состояние был невозможен. Рационалистов и романтиков конца XVIII века часто представляют двумя противоположностями, но в действительности они были двумя сторонами одной монеты (не считая нескольких исключений, таких как Гердер или философ истории Джамбаттиста Вико). Ни те, ни другие не сомневались в том, какова истинная — не зависящая ни от истории, ни от географии — природа человечества, и все были увлечены абстрактным универсалистским идеалом, будь то идеал рационально устроенного или свободного мира.

До сих пор в этой главе рассматривалось, как менялись умонастроения непрерывно растущего образованного сословия Западной Европы. В XVII веке политические идеи формировались как реакция на реальные события, а политиче-

ские тенденции всегда опережали философскую мысль. Однако в конце XVIII века уже сами идеи сделались важнейшим формообразующим и действенным фактором политических перемен.

С конца Средневековья, то есть примерно с 1500 года, монархи и правительства Западной Европы оказались втянутыми в «спираль нарастания»: они нуждались во все больших денежных ресурсах на военные расходы и наращивали бюрократический аппарат, занятый сбором и распределением этих ресурсов. Однако для аристократии и дворянства, которые были основными налогоплательщиками, такое развитие событий означало утрату власти и влияния на прежде подчиненных им территориях. Поскольку на них ложилось налоговое бремя, в качестве компенсации они стали требовать себе право участия в управлении. Несмотря на религиозные мотивы Тридцатилетней войны, английской и голландской революций, все эти конфликты по сути были вызовом власти монархов. В то же время среди представителей все более многочисленной буржуазии, низшей прослойки «благородного сословия», росло недовольство и ощущение того, что их несправедливо отстраняют от влияния на судьбу государства. В Британии, Нидерландах и некоторых германских землях, где буржуазии удалось отстоять свои интересы, было учреждено более или менее представительное правление; во Франции и России, где монархия пресекала всякое посягательство на власть со стороны высших и средних слоев общества, возторжествовал абсолютизм.

Очевидно, что американская революция была частью того же самого конфликта между все громче заявляющим о себе классом образованных купцов, помещиков, юристов и аграриев, с одной стороны, и все менее популярным у населения монархическим режимом — с другой. Но в отличие от английской и голландской, американская революция разворачивалась на континенте, отдаленном от метрополии, и по-видимому была свободна от влияния древних обычаев и традиций. Вдобавок она случилась в эпоху, когда политическим мыс-

лителям уже не терпелось увидеть воплощение своих идей на практике.

Как обычно бывает, катализатором кризиса стала война. Семилетняя война привела к удвоению задолженности британского государства, а поражение Франции поставило под его контроль восточные части Северной Америки. Поддержание присутствия в американских колониях было довольно дорогостоящим делом для британской казны, особенно на фоне того, что колонисты практически не платили налогов. Таким образом, по окончании войны с Францией Британия поставила цель реорганизовать администрацию в Северной Америке и ввести налогообложение на ее территории. Неистовство, в которое это решение привело колонистов, демонстрирует, что на тот момент, несмотря на формальный статус подданных британской короны, они уже мыслили себя в рамках политической автономии. Как писал Бенджамин Франклин,

Постаревшая матушка грозно кричит нам в окно,
И корит нас, и громко бранит заодно,
Будто видеть не хочет, что выросли дети давно.

Законы, запрещающие селиться по ту сторону Аппалачей, а также введение товарной пошлины печально известным Законом о гербовом сборе спровоцировали бойкот британских товаров и случаи самосуда над британскими таможенными чиновниками в Бостоне и других портах — их обмазывали дегтем и вываливали в перьях. В октябре 1765 года девять колоний направили делегатов на первый американский политический форум, который вошел в историю под названием Конгресса гербового сбора. Собравшихся объединял простой лозунг: «Никаких налогов без представительства» — среди британских колонистов, большинство которых не имело права голоса, имелось немало состоятельных людей, полагавших, что общественный статус позволяет им рассчитывать на соответствующие привилегии.

Сопrotивление колонистов вызвало в Лондоне настоящий политический кризис. В 1766 году Уильям Питт снова занял кресло премьер-министра, и Закон о гербовом сборе был отменен. Однако в отсутствие Питта по инициативе Чарльза Тауншенда, канцлера казначейства, в обеспечение жалованья колониальных судей и губернаторов были также введены пошлины на стекло, бумагу, краски и чай. В 1770 году британский парламент пошел на уступки и отменил все пошлины Тауншенда — за исключением чайной. 16 декабря 1773 года группа колонистов, переодевшихся индейцами, проникла на борт трех судов, стоявших в бостонской гавани, и выбросила в море 342 сундука с чаем. Для Георга III это стало последней каплей. Он приказал закрыть бостонскую гавань до полного возмещения ущерба, запретил городские собрания и назначил британского военного генерала губернатором Массачусетса. Путь к компромиссу оказался закрыт: колонистам оставалось либо подчиниться, либо поднять бунт.

Требование независимости было естественным следствием истории американских колоний. Каждая из них зарождалась как небольшое поселение, которое управлялось группой избранных всем сообществом людей, не отличавшихся по статусу от остальных, — такая система сохранилась и в дальнейшем, когда колонии стали разрастаться. Каждый вновь основанный городок по необходимости должен был обзавестись аппаратом управления, а избравшиеся городские советы несли ответственность перед своими избирателями на городских собраниях — регулярных открытых форумах, на которых горожане оглашали пожелания и претензии, выбирали представителей в совет и членов его комитетов и принимали общегородские решения. Впоследствии в каждой колонии появилась собственная общая ассамблея представителей городов, на которой они собирались, обсуждали насущные вопросы и совместно вырабатывали необходимые меры. В 1770-х годах в одном Массачусетсе действовало 300 регулярных городских собраний.

Причиной возникновения подобной системы было отсутствие верховной власти, которая диктовала бы принципы организации и функционирования городского управления, правосудия, школ и отрядов охраны порядка — гражданам попросту пришлось взять это на себя. Иногда говорят, что в начале своей истории Америка представляла собой общество среднего сословия — лишенное как аристократической верхушки, так и обширного крестьянского низа, оно состояло из мелких собственников, зажиточных фермеров и ремесленников. Конечно, расслоение в среде колонистов не следует преуменьшать, однако очевидно, что изначальное отсутствие властных структур явилось питательной почвой для развития гражданского самоуправления. Не удивительно, что методы самоорганизации, возникшие в таких условиях, были аналогичны общинным структурам, характерным для большинства неиерархических сообществ Западной Европы. Американскую демократию иногда называют идеальным творением, авторов которого не сковывал авторитет истории и власти. Тем не менее у 13 колоний имелась собственная традиция, сложившаяся как ответ на требования ситуации и впитавшая в себя культуру их обитателей. К 1770-м годам колонисты не представляли своей жизни без элементов системы конституционного представительного правления — петиций, голосований, публичных собраний и манифестаций: в колониях процветал дух активного гражданского участия. Именно это, а не классические штудии или абстрактные рассуждения, стало источником американской демократии.

В сентябре 1774 года делегаты всех колоний и их предводители собрались вместе в Филадельфии. Продемонстрировав солидарность с Массачусетсом и доставив товары в блокированный штат по суше, они тем самым совершили важнейший шаг, образовав неформальный союз, — как сказал Патрик Генри, «нет больше разницы между жителями Новой Англии и Вирджинии; я не вирджинец, я — американец». Собрание, получившее название Первого Континентального конгресса, проголосовало за бойкот всех британских товаров

и потребовало представительства в британском парламенте. Оно также проголосовало за совместные действия в случае, если одна из колоний подвергнется нападению. Колонистам не пришлось долго ждать, чтобы подтвердить на деле свою солидарность. 19 апреля 1775 года британский военачальник генерал Гейдж устроил неожиданный марш-бросок из Бостона в Конкорд, чтобы захватить подпольный арсенал повстанцев. Американские ополченцы были предупреждены Сэмюэлом Прескоттом и Полом Ревиром и сумели дать отпор британским войскам у Лексингтона и Конкорда, заставив Гейджа отступить с потерями в 250 человек убитых и раненых. Война за независимость началась.

Поводом для начала вооруженного сопротивления стали конкретные обстоятельства, однако немало американцев к тому времени были готовы выразить и обосновать всеобщее настроение протеста. Желание колонистов сохранить независимость стало восприниматься как стремление морального характера, направленное на обретение всеобщих неотчуждаемых прав. Образованные люди в Америке были прекрасно знакомы с политическими идеями, рожденными в Париже, Женеве, Лондоне и Эдинбурге. Бенджамин Франклин, Томас Джефферсон и Александр Гамильтон были людьми Просвещения, и им выпадал редкий шанс применить политические идеи на практике.

В 1776 году новый импульс политической дискуссии в колониях придала публикация памфлета Томаса Пейна «Здравый смысл», который разошелся полумиллионным тиражом на территории, где проживало всего 2,5 миллиона человек. Пейн, недавно прибывший из Англии, убеждал колонистов, что они, как и большинство европейцев, живут под гнетом тирании и что перед ними стоит выбор: либо смириться с правлением никем не избираемого и никого, кроме себя, не представляющего монарха, либо вступить в битву за свободу. Пейн хотел, чтобы Америка стала свободным и независимым республиканским государством не ради себя самой, а ради

того, чтобы засиять путеводной звездой для остального мира и сделаться прибежищем для всех угнетенных народов земли. Американцам, привыкшим к самостоятельности людям, которые не желали терпеть слишком большие налоги и слишком активное вмешательство в свои дела, внушали, что на них, единственных в мире, возложена высокая миссия.

В июне 1776 года Континентальный конгресс в Филадельфии поручил специальному комитету из пяти человек — Джона Адамса, Бенджамина Франклина, Томаса Джефферсона, Роберта Ливингстона и Роджера Шермана, — составить проект формальной декларации государственной независимости. Джефферсон составил этот документ, Франклин внес несколько поправок, и готовый текст был представлен конгрессу 28 июля 1776 года. 2 июля текст был утвержден, а 4 июля формально принят. 13 соединенных штатов Америки образовали самостоятельное государство; и все, что им оставалось, — это разгромить силы колониальных властей.

Главкомандующим конгресс назначил вирджинского плантатора Джорджа Вашингтона. Неважный военный тактик, Вашингтон оказался лидером-вдохновителем — именно тем, в ком нуждалась добровольческая армия, сражающаяся с армией кадровых военных. Выиграв первые сражения, Вашингтон начал нести тяжелые потери, пока в октябре 1777 года не сумел заставить сдаться 6 тысяч британских солдат при Саратоге. Этого оказалось достаточно, чтобы убедить французов, уже несколько месяцев обхаживаемых Бенджаминном Франклином, вступить в войну. Колонисты продолжали сражаться, пока в лице Натаниэла Грина не нашли того полководца, который был способен постоянно опережать британцев и предугадывать их маневры. Грин вынудил генерала Корнуоллиса отвести войска под защиту гарнизонных укреплений, расположенных в вирджинском городке Йорктаун, а в 1781 году Вашингтон получил возможность координировать действия с двумя флотами, присланными из Франции. Корнуоллиса окружили в Йорктауне, где в октябре 1781 года он и капитулировал вместе со своим восьмидесятысячным войском.

Боевые действия еще длились какое-то время, поскольку Вашингтону пришлось подавлять остатки сопротивления в районе Нью-Йорка, однако после Йорктауна участь противостояния была решена. Формальный мирный договор был подписан в феврале 1783 года.

Континентальный конгресс продолжал заседать на всем протяжении войны, координируя действия 13 колоний и поддерживая Континентальную армию Вашингтона. В 1777 году его члены составили статуты Конфедерации, но когда война была выиграна, стало очевидно, что, если 13 бывших колоний собираются образовать единое государство, им понадобится четко обозначить индивидуальные и коллективные полномочия. В мае 1787 года 55 делегатов от 13 государств-штатов собрались в Филадельфии и после 17 недель тайного обсуждения приняли документ, который стал конституцией Соединенных Штатов.

Протоколы заседаний конгресса демонстрируют, что основная дискуссия сосредоточилась на двух главных вопросах: об отношениях между отдельными штатами и центром и об избирательном цензе. Некоторые делегаты отдавали предпочтение варианту, при котором представители в обе палаты должны были выбираться ассамблеями штатов. В конце концов взяла верх идея прямых выборов — на тех же основаниях, какие были сформулированы на Армейском совете в Патни. Люди сражались за независимость колоний как единого образования, и теперь они чувствовали, что имеют право непосредственно влиять на то, кто будет руководить этим образованием.

Было также решено, что президент станет избираться прямым голосованием населения через коллегию выборщиков совершенно обособленно от федеральных выборов в конгресс и выборов в штатах. За президентом закреплялась вся полнота исполнительной власти и право назначать членов кабинета и проводить независимую политику, но конгресс оставался единственным органом власти, имеющим право издавать законы. Правом голоса наделялись только те мужчины

(женщины, индейцы и рабы оставались политически бесправными), кто имел в своей полной собственности облагаемую налогом недвижимость на 40 шиллингов. Как и в Патни, состоятельные делегаты пытались доказать, что собственники особо заинтересованы в благосостоянии страны. В любом случае колонисты сражались не за демократию и стремились не к ней — их целью было конституционное правление.

Конституция четко определила взаимоотношения между законодательной и исполнительной ветвями власти, а также между федеральным правительством и отдельными штатами. Было принято, что все остальные вопросы оставались в ведении самих штатов. Однако когда конституцию уже направили на ратификацию, стало очевидно, что в ней чего-то не хватает. Члены законодательных собраний штатов под предводительством Массачусетса пожелали, чтобы в документ была включена формулировка и гарантии прав граждан. Это было важно, поскольку Соединенные Штаты представляли собой страну, начинающую с нуля. До 1776 года все колонисты считали себя британцами, находившимися под полной защитой неписаного общего и прецедентного права, а также древних обычаев предков. Если они утрачивали британское подданство, им требовалось зафиксировать, в чем заключались их права. Не столько в дебатах относительно полномочий правительств штатов и федерации или относительно процедуры избрания президента, сколько именно в этой части американское конституционное правление обретало полнокровную жизнь, делая составной частью обычая народа.

Сподвигнутый Томасом Джефферсоном, Джеймс Мэдисон составил список поправок к конституции. Десять из них были приняты и получили собирательное название Билля о правах. Они оговаривали право на свободу слова и мирные собрания, право на ношение оружия, право на отказ от свидетельствования против себя (столь часто используемая Пятая поправка) и право на суд присяжных. Проявив достаточно дальновидности в понимании того, что никакой набор пра-

вил не гарантирует однозначного толкования, конституционное собрание учредило отдельный орган правосудия, который брал на себя функцию урегулирования вопросов конституционного характера и служил для граждан новой страны судом последней инстанции. Верховному суду также надлежало надзирать за соблюдением конституции.

Система, которая возникла с принятием конституции и Билля о правах, позволила Соединенным Штатам оставаться стабильным политическим образованием на протяжении двух столетий, за которые сама страна изменилась до неузнаваемости. При этом конституция почти не претерпела изменений. Структура, создававшаяся для 13 прибрежных штатов и 2,5 миллиона человек, преимущественно британских экспатриантов, живущих фермерством и мелкой торговлей, оказалась пригодной и для целого континента, населенного 300 миллионами человек, происходящих со всех уголков света. В конституции Соединенных Штатов тщательно сбалансированы права, свободы и законы. Она не дала гражданам полного народовластия, но гарантировала представительный принцип и, что еще важнее, зафиксировала несколько базовых законов, оберегающих их интересы, и учредила институты для применения этих законов. Получив представительное правительство, американцы также получили защиту от правительства. Убеждение, что демократия есть предельная цель политического развития, часто заставляет забывать об этом принципиальном элементе самой могущественной демократии в мире — институты, которые определяют и защищают гражданское состояние человека и дают ему право на несогласие, часто важнее, чем демократия. Если в обществах обычая эти институты укоренены культурно, то в новых странах их приходится изобретать. Конституция США, таким образом, представляет собой гибрид. Билль о правах, добавленный в ответ на требования представителей населения, сохранил привычные свободы сообществ, не испытывавших гнета верховной власти, — таких, какими были 13 первых колоний. Однако неприкосновенная и неизменяемая основная часть

документа связала американскую политику высшего уровня жестким набором условий, которые не всегда служат интересам страны и ее народа и вдобавок наделяют чрезвычайными полномочиями небольшую группу людей.

Окончательное слово по поводу принципов представительства следует предоставить человеку, ответственному за составление Декларации независимости и отстаивание необходимости принятия Билля о правах. Томас Джефферсон понимал, что представительное правление требует знающих и политически грамотных избирателей. Старый — древний как Афины — аргумент против наделения людей свободой распоряжаться своими делами гласил, что для принятия сознательных решений они недостаточно образованы. Афины, как было прекрасно известно Джефферсону, справились с этой трудностью, обеспечивая образование своим гражданам и постоянно принуждая их к активному участию в делах города. Джефферсон считал, что для Америки должны выполняться те же условия: «Я не знаю другого источника высших полномочий в обществе, кроме самого народа; если же мы полагаем его не вполне просвещенным, чтобы осуществлять контроль по здравому усмотрению, то средством от этого будет не забрать управление из его рук, а сделать его усмотрение осведомленным».

Первые десятилетия Соединенных Штатов были временем становления федеральной финансовой системы и правления «старых соратников» по борьбе за независимость. Вслед за Джорджем Вашингтоном президентами были избраны Джон Адамс, Томас Джефферсон и Джеймс Мэдисон. Вопреки прежнему курсу Адамса и Джефферсона, не позволивших втянуть страну в наполеоновские войны, в 1812 году президент Мэдисон, под давлением новых членов конгресса и поселенцев, которым не терпелось обосноваться на канадской земле, объявил войну Британии. Результатом стал захват Вашингтона и сожжение Белого дома британскими войсками в 1814 году. США одержали решительную победу при Нью-Орлеане в январе 1815 года, однако к тому времени война уже официаль-

но завершилась. Британия и Соединенные Штаты больше не воевали между собой и, что не менее важно, Америка больше не ввязывалась ни в один из европейских конфликтов на протяжении столетия. Сбросив колониальные оковы, новая страна повернулась в сторону, противоположную Атлантике, и устремилась навстречу своему неизвестному будущему на западе.

Конституция Соединенных Штатов не могла родиться в Венеции, Лондоне, Эдинбурге, Вене или Мадриде; ее авторы должны были верить, пусть и ошибочно, что у их общества нет прошлого, на которое нужно озираться, а только принципы, которыми нужно руководствоваться в настоящем. Вслед за Томасом Пейном они были убеждены, что их не могут ограничивать законы предков. Однако, как только вожди Американской революции создали прецедент начинания с нуля, другие уже могли следовать их примеру. Ни в Париже в 1789 году, ни в Петрограде в 1917 году не произошло бы того, что там произошло, если бы не события в Филадельфии в 1776 году.

Если американская революция имела фундаментальные и далеко идущие последствия, то французская революция, начавшаяся в год вступления в должность Джорджа Вашингтона, оказалась для своего времени событием более масштабным и катастрофичным. Франция, несмотря на свои трудности, по-прежнему оставалась господствующей державой Западной Европы, а также осью европейской культуры. Тогда как для большинства европейцев американская независимость была далеким, пусть и интересным, событием, Франция располагалась в центре всеобщего внимания.

20 августа 1786 года генеральный контролер финансов Франции Шарль-Александр Калонн в своем отчете Людовику XVI нарисовал зловещую картину финансового состояния страны. За предшествующие несколько лет государственный долг Франции увеличился втрое, выплаты по процентам съедали почти половину доходов казны, а ожидаемый доход за следующий год был уже потрачен. Основу функционирования

государства — собирание достаточной суммы налогов для покрытия королевских расходов — поразил жестокий кризис. Людовику пришлось обратиться за помощью к знати.

У традиционных *parlements*, советов аристократов-нотаблей, теоретически имелись полномочия поднимать налоги, однако они отказывались сотрудничать с королем без радикального пересмотра системы политической власти. И здесь сказывалось не уязвленное самолюбие благородного сословия — в отличие от короля французская знать понимала, что и страна, и весь мир за пределами Версальского дворца изменились, и ситуация, когда владетельные князья могли бесконтрольно собирать дань с покорного населения, ушла в прошлое. Во Франции уже имелся большой средний класс, силами которого, по сути, и осуществлялись административные функции государства и повышалось его благосостояние. Юристы, купцы, врачи, кадровые офицеры, правительственные чиновники, мелкие помещики, хозяева мануфактур и банкиры составляли влиятельную общественную прослойку за пределами традиционного троевластия короля, знати и церкви. И участники *parlements*, и вновь поставленный министром финансов Жак Неккер сознавали, что единственно возможным для Франции способом управления будет включить этих людей во властные структуры или, по крайней мере, дать им совещательный голос. В августе 1788 года Людовик согласился созвать Генеральные штаты — традиционный и редко использовавшийся орган, состоявший из представителей знати, духовенства и буржуазии. Хотя последняя, известная как *Tiers état* («третье сословие»), теоретически выступала от имени 95 процентов всех жителей Франции, не принадлежавших ни аристократии, ни церкви, на практике ее делегатами были сплошь выходцы из образованного круга: юристы, купцы, чиновники, врачи.

Финансовые проблемы Людовика дополнительно осложнялись превратностями судьбы. В 80-х годах XVIII века Франция пережила несколько неурожайных лет, самый худший из которых пришелся на 1788 год. К весне 1789 года, наступив-

шей вслед за необычно холодной зимой, двадцатимиллионное население страны столкнулось с ситуацией недостатка продовольствия. Распространившиеся слухи о том, что запасы зерна удерживаются правительственными чиновниками, спровоцировали начало хлебных бунтов в Париже и других городах. В конце апреля в ходе беспорядков в парижском предместье Сент-Антуан королевские солдаты расстреляли 300 человек. Хлебные бунты случались и раньше, однако в 1789 году их участники впервые начали высказывать политические требования. Новости о созыве «штатов» (сословий) наэлектризовали всю Францию, и когда бунтовщики принялись выкрикивать «*Vive le tiers!*», стало ясно, что одного хлеба будет недостаточно.

Членам «третьего сословия», прибывавших в Версаль в мае 1789 года из своих юридических и торговых контор, из докторских и чиновничьих приемных в Ажане и Бриансоне, Лиможе и Аррасе, королевская резиденция, должно быть, казалась каким-то сказочным миром. Даже нас, современных людей, Версальский дворец поражает чрезмерностью масштабов и роскоши — в эпоху же Людовиков он намеренно создавался с целью произвести впечатление неземного величия. Посетители и просители, как предполагалось, должны были ощутить, что вступают во владения полубога. Но если Версаль поначалу и ошеломил мелких помещиков, то довольно скоро их благоговейный трепет перешел в раздражение; и если Людовик намеревался ослепить и подавить подданных, заключив в золотую клетку, то он серьезно недооценил их решимость.

Местоположение королевского двора в Версале несомненно повлияло на события 1789 года и в другом смысле. Мало того, что король был обособлен от своих подданных, — благодаря этому и Париж был городом без двора. Столица самой могущественной и богатой европейской страны и крупнейший город континента не имел практически никакого значения в качестве реального центра управления. Лишенный политического процесса и политических функций, в конце

XVIII века он представлял собой кипящий котел недовольства, источник недоверия и презрения к обособившейся королевской власти.

От Генеральных штатов король ожидал решения о новом политическом устройстве, которое предусмотрело бы ограниченное представительство различных частей населения и которое действовало бы как система сбора налогов для короны. Однако три собравшихся сословия в последний раз встречались для выработки совместных решений в начале XVII века, когда Франция была еще полуфеодальной страной — во Франции 1789 года такой порядок был просто нежизнеспособен. Хотя изначально предполагалось, что три группы соберутся по отдельности и ограничатся обсуждением вопросов, предложенных королевскими министрами, «третье сословие» вскоре осознало, что, представляя в реальности подавляющее большинство французского народа, в Версале оно останется в меньшинстве. Некоторые члены знати и духовенства вполне сочувствовали его требованиям, но никто не представлял, как можно составить конституционное соглашение, которое одновременно удовлетворило бы каждую из трех фракций и короля.

10 июня 1789 года члены «третьего сословия» решились действовать в одиночку. Они провозгласили себя единственным представительным собранием и пригласили к участию депутатов от других сословий, если те пожелают к ним присоединиться. Через неделю они объявили себя Национальным собранием Франции, фактически распустив два остальных «штата». 20 июня депутатам, все еще находившимся в Версале, был закрыт доступ в зал собрания, вследствие чего им пришлось собраться в помещении для игр. Они принесли знаменитую «Клятву в зале для игры в мяч» — обещание не расходиться, пока для Франции не будет подготовлена новая конституция. Всего 10 дней понадобилось, что группа представителей буржуазии попросту присвоила себе функции суверенного правительства и конституционного конвента Франции.

Поскольку французская революция была восстанием буржуазии, следует сказать кое-что о современном смысле этого слова. В XIX веке термин «буржуазия» использовали для обозначения значительной части среднего класса, представители которой сопротивлялись социальным переменам и с подозрением относились к романтическим порывам художников и революционеров. Однако в XVIII веке буржуа представлял собой самостоятельного гражданина, свободного от крепостной или вассальной зависимости, равного перед законом со всеми остальными членами гражданского общества, к которому он принадлежал. Цель Просвещения, цель американской и французской «буржуазных» революций заключалась не в отстаивании интересов одной общественной прослойки, а в том, чтобы каждый член общества стал буржуа. Универсальные принципы свободы и участия в управлении, индивидуальные права должны были сделаться достоянием всех — тем самым производя в ранг буржуа, или независимых граждан.

Действия «третьего сословия» вызвали в Версале настоящую панику. Королевские министры предлагали разные, часто противоречившие друг другу, пути выхода из ситуации, но все кончилось тем, что 11 июля Людовик отправил в отставку Жака Неккера — человека, посоветовавшего созвать Генеральные штаты. Неккер пользовался популярностью и у депутатов, и у широкой публики, воспринимавшей его как инициатора перемен. Его отставка стала последней каплей, заставившей многих французов занять позицию открытого неповиновения режиму.

Пока политики маневрировали в Версале, неподалеку, в Париже, а также в других частях Франции простой народ приступил к активному противодействию «старому режиму», снося таможенные посты и устраивая баррикады. Решающим элементом этой стремительно разворачивающейся драмы стало поведение армии. Следовало ли солдатам, как раньше, выступить на стороне короля и начать расстреливать взбунтовавшихся граждан или же, будучи такими же простолюдниками, они должны были перейти на сторону народа? За пред-

шествующие десятилетия настроения во французском войске, его моральный дух и организация претерпели серьезные изменения. После унижительного поражения в Семилетней войне, закончившейся в 1763 году, армия начала строиться по образцу недавнего противника — Пруссии. Благородных дилетантов постепенно выдавили с командных позиций, в прошлое ушла и система сезонного призыва. Французская армия превращалась в профессиональную организацию, расквартированную в специально выстроенных казармах, члены которой (под влиянием Руссо и других властителей умов) чувствовали себя все более преданными не монарху, а отечеству. Помимо прочего, французские офицеры и рядовые участвовали в американской войне за независимость, сражались бок о бок с колонистами, пытающимися сбросить иго деспотического режима, — и этот урок не прошел для них бесследно. Несколько старших офицеров, в том числе генерал Лафайет, герой американской войны, вошли в состав Национального собрания. Им удалось убедить парижский гарнизон не вмешиваться в беспорядки, тем самым фактически положив конец власти короля как абсолютного монарха. Людовику пришлось пойти на уступки собранию.

По приказу собрания Лафайет набрал из отставных солдат и других добровольцев Национальную гвардию, которая выступала как сила на стороне собрания, а не короля. 14 июля вооруженная мушкетами толпа осадила крепость-тюрьму Бастилию, символ самодержавной власти. После того как начальник крепости сдался, всех узников выпустили на волю. По всей Франции группы вооруженных крестьян нападали на усадьбы аристократов, вынуждая многих бежать из страны. Король был бессилен, армия либо сохраняла нейтралитет, либо приветствовала перемены. Взоры всех французов обратились на Национальное собрание.

Как афиняне в V веке до н. э., обитатели северной Италии в XII веке, англичане и голландцы в XVII веке и американцы в предшествующее десятилетие, депутаты французского Национального собрания обнаружили перед собой неожиданную

возможность решающим образом повлиять на политическое будущее страны. Во всех перечисленных примерах гражданам не приходилось заново изобретать идею справедливого распределения власти между членами общества — вместо этого требовалось придумать способ, которым древние обычаи общежития, взаимоуважения и взаимоограничения — обычаи, служащие всеобщему благу, — могли быть применены к новой ситуации. В 1789 году такой новой ситуацией было, разумеется, французское государство — огромный аппарат, пытавшийся контролировать жизнь, и одновременно удовлетворить нужды 20 миллионов человек, населявших непохожие друг на друга провинции общей площадью в полмиллиона квадратных километров.

Соединенные Штаты и Британия являли живой пример конституционного правления, однако в распоряжении французских политиков имелось достаточно идей отечественного происхождения. Многие представители французской буржуазии были знакомы с работами философов-просветителей, в первую очередь Монтескье, Дидро, Вольтера и Руссо, и прекрасно знали, насколько отличается французский государственный строй от идей, которые те проповедовали. Созыв Генеральный штатов привел два прежде параллельных мира в прямое столкновение — решительный натиск образованного, просвещенного буржуазного мира в лице членов собрания сумел опрокинуть автократический режим Бурбонов.

4 августа 1789 года собрание отменило все наследственные права во Франции, а 26 августа обнародовало свой самый важный документ — «Декларацию прав человека и гражданина». В октябре 1789 года разгневанная толпа парижан заставила короля с королевой приехать из Версаля в Париж; собрание также переместилось в Париж, где продолжило трудиться над составлением новой конституции. На этом этапе, несмотря на свершившийся политический переворот, мирный исход был все еще возможен. 14 июля 1790 года, в первую годовщину взятия Бастилии, на Марсовом поле в Париже собрались более 250 тысяч человек, включая предводите-

лей Национального собрания, чтобы принести торжественную присягу, текст которой был написан Шарлем Морисом Талейраном, — присягу на верность «нации, закону и королю». Конституционное соглашение, по которому король надеялся ограниченными полномочиями, по-прежнему рассматривалось большинством французов как главный предмет устремлений.

Наиболее серьезным препятствием на пути мирного решения противостояния (кроме возможного отказа короля смириться с ограничением власти) стали действия французских изгнанников. Какие бы войны за какие бы наследства и территории ни вели между собой правящие династии Европы, всех их объединяли кровные узы и желание повелевать. У них было больше общего между собой, чем между ними и их же подданными — в конце концов Мария-Антуанетта была родной сестрой австрийского императора Леопольда. Младший брат короля, граф д'Артуа, стал открыто подстрекать европейских монархов к вторжению во Францию, чтобы уничтожить революцию и вернуть Людовику абсолютную власть.

Пока Национальное собрание напряженно работало над созданием конституции, Францию охватывала политизация иного рода — та самая, в которой, по мнению большинства историков, и зародилось современное западное государство. Изначально национальные государства появлялись на свет в результате централизации региональных интересов под эгидой могущественных монархов, а в некоторых странах следом за этим процессом произошли реформы, предоставившие имущим слоям большие возможности участия в государственном управлении. Психологическое отношение людей к своей стране представляло собой смесь из личной преданности монарху, признания традиционного права монарха и аристократии повелевать, принадлежности к национальной церкви, неоспариваемого понятия о защите своей земли, общего языка и противопоставления врагам-чужеземцам. Однако события 1789 года потрясли все эти связи до основания. Верность

королю, церкви и знати испарилась, а привязанность к родине сменилась преданностью делу революции, политическим переменам и французскому народу. Если, как провозгласило Национальное собрание, единственным законным источником власти является народ, то каждый депутат, по сути, собрание целиком, могли черпать авторитет только из народной поддержки. Соответственно депутаты, их сторонники и противники производили на свет неиссякающий поток политических памфлетов, записок, воззваний, деклараций и обещаний — все с целью переманить на свою сторону как можно больше людей.

Вновь рожденное французское государство пришло на смену монархии как фокусу национального самосознания и церкви как фокусу социальной организации; политическая жизнь сменила религию, сделавшись средоточием стремлений и чаяний нации. Конституционное государство, в котором монарх имел ограниченные полномочия, уже существовало в Британии и Голландии, однако американская и французская революции пошли дальше подобного компромисса. Во Франции королевской власти, аристократии и церкви совместными усилиями удавалось избегать любых политических и социальных реформ на протяжении 150 лет, поэтому среди тех, кто по-прежнему присягал на верность королю, для многих это было лишь необходимой формальностью, ибо в их глазах он превратился в помеху для осуществления их стремлений. В отличие от Британии в 1688 году, в сознании французов после 1789 года новое государство существовало в ауре некоего полумистического идеала, воплощенного в фигуре Марианны и чествуемого трехцветным знаменем и кокардой. Английский путешественник, чей путь в 1792 году лежал через северную Францию, застал совершенно новую страну: «В каждом из городов между Кале и Парижем посреди рыночной площади высажено взрослое дерево (как правило, тополь)... на вершину такого дерева или столба надет красный ночной колпак из шерсти или хлопка, который называют "Колпаком свободы", ствол же увешан вымпелами или красными, сини-

ми и белыми лентами. Я видел несколько статуй святых и внутри, и снаружи храмов (даже в Париже), на которых были те же колпаки, и еще несколько распятий с национальной кокардой, привязанной к левой руке фигуры на кресте... Все гербы, прежде украшавшие ворота *Hôtels*, сняты... Слуги больше не носят ливрей — этот признак рабства также отменен».

Подобная политизация жизни изменила само представление о том, что такое нация и как она должна существовать. Не определяемая больше верностью далекому королю, французская нация предстала образованием, сплоченным участием людей в политической жизни. Поскольку публика столь глубоко погрузилась в политику, политикой пропиталось абсолютно все. Институты государства за несколько лет, прошедших после революции, включили в свою орбиту все аспекты французского быта. По сравнению со способом ведения дел, характерным для традиционных монархий, как правило, неряшливым и дилетантским, французское государство сделалось воплощением эффективности и преданности делу, а также образчиком функционирования любой современной администрации. Со всякой неопределенностью самоидентификации было покончено — отныне понятие Франции было четко задано ее границами, языком и идеалами.

Людовику, возможно, удалось бы пережить это смутное, политизированное время, однако он оказался не готов рисковать. В июне 1791 года король с королевой попытались бежать из страны, но были задержаны в Варенне и доставлены обратно в Париж уже в качестве арестованных. В сентябре 1791 года публика наконец смогла познакомиться с обнародованной конституцией, в которой прописана процедура новых выборов, отражавшая произошедшую за короткое время перемену общественных настроений. Впрочем, даже теперь оставался шанс, что этот этап революции станет заключительным — новое Законодательное собрание могло бы управлять страной, поставив Людовика в качестве марионеточного монарха. Однако коммуна, управлявшая Парижем, не желала мириться с конституционным соглашением, утверждая,

что своими действиями король утратил право на власть, и требуя учреждения республики — к лету 1792 года возникла реальная угроза того, что якобинцы, группировка радикальных членов коммуны, смогут взять собрание под свой контроль. События опередили такое развитие ситуации: герцог Брауншвейгский, главнокомандующий прусской армией, которая шла на Париж, издал манифест, в котором объявлял, что дворец Тюильри, как и король с королевой, должны остаться в неприкосновенности, в противном же случае он обещал сжечь Париж и устроить расправу над его жителями. Король, преисполнившийся надежд на спасение, опубликовал прусский манифест и уволил в отставку умеренных министров, которые были членами собрания, — тем самым фактически лишив смысла новую конституцию. Его поступок вызвал немедленный взрыв возмущения. 10 августа 1792 года толпа парижан штурмом взяла дворец Тюильри, убила охрану и пленила королевскую семью. 22 сентября Франция была провозглашена республикой. Последовал немедленный роспуск Законодательного собрания, и власть перешла к республиканскому Национальному конвенту, контролируемому якобинцами.

Ход войны с Австрией и ее союзниками поначалу не предвещал ничего хорошего, несмотря на героическую оборону Вальми в сентябре 1792 года отрядами «армии граждан». В декабре король предстал перед судом конвента по обвинению в заговоре против Франции. Все 693 депутата проголосовали за виновность короля, решение же о смертной казни было проведено незначительным большинством. 21 января 1793 года короля обезглавили в присутствии огромной толпы вооруженных граждан.

Учитывая, что над нацией нависла угроза поражения от сил иностранной коалиции, в следующем месяце была предпринята попытка принудительного призыва. Ответом на этот шаг, а также на казнь короля, стало формирование контрреволюционных отрядов в департаменте Вандея на западе Франции. В июне 1793 года Национальный конвент учредил

Комитет общественного спасения, обладавший полномочиями правительства и всей полнотой исполнительной власти. В следующем месяце, в условиях роста вандейской армии и угрозы вторжения австрийцев с плохо защищенного северо-востока, комитет объявил, что все граждане Франции и все их имущество поступают в распоряжение правительства для военных нужд. Это был знаменитый декрет о *levée en masse*, всеобщей мобилизации, провозгласивший милитаризацию всей страны. Вовлекая в войну всех и каждого, Комитет общественного спасения давал понять, что речь идет не о судьбе режима, или правительства, или какой-то отдельной фракции, а о будущем самой французской нации. Отсюда следовало, что любая капитуляция перед врагом будет означать уничтожение Франции. Это оставляло только две перспективы: безусловная победа или полное уничтожение — другими словами, тотальная война.

Изменив характер национального государства, французская революция изменила и понятие войны. Французские солдаты отныне дрались не только за территорию или чтобы обеспечить своей стране политический перевес — они придерживались совершенно отличных от противника убеждений о принципах общественного устройства, управления нацией и правах ее граждан. Всякая возможность войны как политической игры, то есть набора манипуляций с соблюдением общепризнанных правил и условностей, безвозвратно ушла в прошлое. Французская армия шла на смерть ради защиты пространства своего почти мифического государства и, кроме того, ради защиты идеалов революции против тирании монархов, аристократов и церкви.

Лето 1792 года и угроза иноземного вторжения изменили ход революции — она целиком и полностью связала себя с войнами, сперва оборонительными, а затем и завоевательными. Хотя по всем законам армия, возникшая из всеобщего призыва, должна была оказаться безнадежно любительской и неумелой, в действительности произошло обратное. Новое государство хотело видеть в вооруженных силах отражение

новой Франции и воплощение всех ее принципов. Были проведены реформы, которые дали армии избираемость офицеров, отмену телесных наказаний, повышение жалованья рядовых, суровую подготовку и, что самое важное, продвижение по службе на основе заслуг, а не социального статуса. Если в 1789 году более 90 процентов французских офицеров являлись выходцами из благородных семей, то к 1794 году их число сократилось до 3 процентов. Восемь из двадцати шести маршалов, воевавших впоследствии под командованием Наполеона, в дореволюционной армии имели низшие чины (маршалы Ожеро, Лефевр, Ней и Сульт были сержантами; Журден, Удино и Бернадот, будущий король Швеции, — рядовыми; Виктор служил в полковом оркестре). Этому высоко мотивированному, хорошо оплачиваемому и хорошо подготовленному войску под командованием опытных профессиональных офицеров предстояло захватить и почти разгромить всю Европу.

С кризисом лета 1792 года, когда территория Франции была окружена кольцом врагов, а внутренний мятеж угрожающе набирал силу, к концу года удалось покончить. Восставшие отряды в Вандее, сопротивление в Лионе, Бордо, Марселе, Тулоне и других южных городах безжалостно подавили. В число жестоких методов расправы входило сжигание деревень, заподозренных в симпатиях мятежникам, печально знаменитые *noyades* (утопления) — около 2 тысяч жертв согнали на баржи и пустили на дно Луары, — расстрел на краю массовых могил, а также введение политического правосудия через революционные трибуналы.

Пока армия заботилась о безопасности Франции, члены Комитета общественного спасения, и в первую очередь Жорж Дантон, главная фигура Комитета с апреля по июль 1793 года, и его конкурент Максимилиан Робеспьер, сумевший сместить Дантона, были заняты укреплением своей политической власти, ликвидируя оппонентов с помощью нескончаемого, как казалось, потока казней. Террор, как стали называть этот режим, продолжался с июня 1793-го по июль 1794 года. Парижская гильотина заслужила дурную славу у потомков, однако

следует заметить, что подавляющее большинство из 35 тысяч французов, лишившихся жизни за время Террора, погибли в ходе гражданской войны во французских провинциях.

Во многом спровоцированный логикой развития реальных событий, Террор в то же время представлял собой устрашающий отсвет мрачной оборотной стороны руссоистского учения — теории, согласно которой подлинное освобождение человека возможно лишь тогда, когда общая воля возобладает над индивидуальной. Начало Террора стало точкой, после которой абстрактная забота о человечестве, казалось, полностью вытеснила любую заботу о конкретных людях. Час за часом, день за днем процессии повозок тянулись от революционного трибунала к площади Революции, откуда другой караван увозил обезглавленные тела. Приговоренные поднимались по ступням на помост, где их привязывали к доске и укладывали в горизонтальное положение; доску придвигали по направляющим, чтобы зафиксировать голову жертвы, и отпускали нож. После этого, по свидетельству очевидца, «с невероятной ловкостью и скоростью два палача спихивали тело в корзину, а третий бросал туда же голову».

Оппоненты режима никоим образом не были ни роялистами, ни реакционерами. Основная масса приветствовала многие реформы, которые принесла с собой революция. Земельные реформы, освободившие огромные массы крестьянства от ненавистной феодальной или сеньоральной системы, и распределение феодальной и церковной собственности между простыми людьми заслужили парижскому режиму широкую популярность среди сельского населения. Однако закрытие церквей, запрет на богослужения и «дехристианизация» Франции восстановили против него многих потенциальных сторонников в аграрных регионах. В южных городах депутаты-жирондисты, у которых якобинцы перехватили контроль над Конвентом, попытались поднять мятеж. Несмотря на наличие демократически избранного Конвента, политическая оппозиция могла реализовать свои требования только насильственными действиями, и потому любого, кого

подозревали в несогласии с режимом, ждали обвинение в измене Франции и неминуемая казнь.

Террор был методом, к которому прибегли якобинцы для удержания власти, но он же являлся необходимым элементом попытки придать несовершенному миру совершенный разумный порядок и наделить политическую деятельность моральным смыслом. Революционный режим реализовал такие меры, как прогрессивное налогообложение, учреждение финансируемых государством школ и мастерских, введение пенсий и помощи голодающим. Но если эти черты справедливо-го строя вполне отвечали ожиданиям французов и гармонировали с их традиционным укладом, то желание полного обновления, выразившееся, к примеру, во введении нового «рационального» календаря (и, кстати, метрической системы мер и весов), шло с ними вразрез. В своем безоглядном желании принести обществу справедливость и порядок якобинцы оказались неспособны увидеть разницу.

Машина убийств застопорилась в тот момент, когда люди осознали, что революции больше не угрожает немедленная гибель, — война перестала служить оправданием для того, чтобы терроризировать Париж и всю Францию. Мания величия Робеспьера сделалась очевидной окружающим после того, как он организовал праздник Верховного существа, чтобы ознаменовать основание во Франции новой религии. 28 июля 1794 года члены Национального конвента воспользовались возможностью, чтобы арестовать Робеспьера и 19 его сторонников, которых казнили на следующий день. Террор завершился.

Французская республика, которая существовала на протяжении дальнейших пяти лет, в отличие от того, что ей предшествовало, и того, что за ней последовало, оказалась режимом ничем не примечательным. Новая конституция отменила всеобщее избирательное право и ввела имущественный ценз, учредила двухпалатное собрание и предусмотрела многочисленные ограничения для исполнительной власти, которую представляла Директория из пяти человек. Отменены

были также революционные трибуналы и Национальная гвардия. Однако новую республику, стремившуюся остаться верной идеалам революции в рамках конституционного правления, ожидала неудача — именно потому, что она сохраняла верность этим идеалам. Сделавшие политику кровеносной системой нации, революционеры парадоксальным образом полагали, что сами находятся вовне. Партийная политика того типа, который существовал в Англии (и довольно быстро сложился в Соединенных Штатах), в их глазах выглядела предательством центральной доктрины Просвещения — веры в то, что действиями человека должны руководить только природа и разум. Отметая все недавние политические примеры, они видели в Греции и Риме (достаточно далеких, чтобы их можно было идеализировать) единственный источник вдохновения — к Цицерону и Плутарху прислушивались с большим вниманием, чем даже к Вольтеру и Руссо.

Такая идеализация политики не оставляла места для легитимной политической оппозиции, ее следствием могла стать только смена режимов, каждый из которых был вынужден уничтожать своих предшественников и оппонентов. Пытаясь удержаться у власти, члены Директории начали манипулировать общественным мнением, отменять и действовать вопреки результатам всех следующих выборов. В 1797 году был устроен очередной переворот, однако к тому времени политика уже целиком направлялась не изъявлением всеобщей воли народа, а махинациями небольшой кучки людей.

Между тем Франция вновь вступила в войну, которая сделалась вопросом не столько стратегической, сколько политической необходимости. Поскольку институт *levée en masse* превратил страну в военное государство и фактически перевел всех граждан на положение солдат, непрерывные боевые действия стали единственным способом удержать нацию от распада, и французскому правительству приходилось выжимать максимум из завоевательных кампаний, чтобы прокормить граждан Парижа. Какова бы ни была мотивация, французские армии раз от раза закрепляли успех. К 1795 году прус-

саки, голландцы и испанцы либо уступили давлению, либо были разгромлены — с Францией продолжали воевать только британцы и австрийцы. Завоевание Италии в 1796 году, осуществленное самым удачливым из полководцев, Наполеоном Бонапартом, сделало Францию хозяином всей Западной и Южной Европы за исключением Британии. На волне успеха Наполеон начал дерзкий Египетский поход, завершившийся уничтожением французского флота в бухте Абукир и почти катастрофическим поражением. Несмотря на это, в октябре 1799 года блестящего генерала, возвратившегося из Африки, Париж приветствовал как героя.

Политическая ситуация во Франции к этому моменту была самой неблагоприятной. Военное поражение в Неаполе от местных войск продемонстрировало, что господство французов в Западной Европе опирается не на согласие народов, а на силу оружия. Любые мечты принести угнетенным народам соседних стран освобождение были сметены поднявшейся волной национализма. Революционный оптимизм 1789–1794 годов уступил место националистическим страстям, а на военных начали смотреть как на защитников нации и ее чести. Гражданской Директории удалось отвести потенциальную угрозу как якобинского, так и роялистского мятежа, однако к 1799 году среди парижан возник страх, отчасти имевший реальную подоплеку, отчасти искусственно подогреваемый, что якобинцы готовы опять прийти к власти и что новые дни Террора не за горами. Аббат Сьейес, консервативный член Директории, устроил ее роспуск 9 ноября 1799 года и вошел в состав нового правящего органа — консульства. Еще одним из трех консулов — и фактическим главой республики — стал тридцатилетний генерал Наполеон Бонапарт.

За десять лет, прошедших с начала революции, Франция превратилась в нацию-воительницу — французское государство действовало от имени всех в обмен на абсолютную преданность каждого. Сами люди требовали от нового руководителя военных успехов и были готовы ради него на любые жерт-

вы. Огромное население Франции преобразилось в военную машину — как писал Карл фон Клаузевиц (прусский офицер, сражавшийся с французами), «Война сразу стала снова делом народа, и притом народа в 30 миллионов человек, каждый из которых считал себя гражданином своего отечества».

Последовавшие вскоре наполеоновские войны, с перерывами и остановками, втянули в себя всю Европу, как Западную, так и Восточную. Противники Франции — Австрия, Пруссия и Россия, поддерживаемые, подстрекаемые и иногда направляемые Британией, — объединялись друг с другом во все новые и новые, каждый раз ненадежные союзы. После серии побед французы подписали мирные договоры с континентальными державами в 1801 году и с англичанами в 1802 году. Однако целью Наполеона были не мир и спокойствие для Франции, а строительство французской империи. Почему бы Франции, с ее армией граждан и новым военизированным государством, не навязать Европе освобождение, цивилизацию и правление, как удалось когда-то Риму? В 1802 году, по примеру Октавиана Августа, Наполеон провозгласил себя пожизненным Первым консулом, а в 1804 году римский папа, не отважившийся прекословить завоевателю, короновал его императором французов.

В 1805–1807 годах французские войска разгромили силы австрийцев, пруссаков и русских при Ульме, Аустерлице, Йене, Ауэрштедте и Фридланде. К июлю 1807 года Франция, или, точнее, сам император Наполеон, уже контролировал всю континентальную Европу. Своего брата Луи он поставил королем Нидерландов, другого брата Жерома — королем нового государства Вестфалия, зятя Иоахима Мюрата — великим герцогом Бергским; пасынок Эжен де Богарне стал вице-королем северной Италии, в 1808 году еще один брат, Жозеф, уже побывавший королем Неаполя, — королем Испании, сестра Элиза получила Тоскану. Наполеон не только создал личную империю, но и само понятие страны-сателлита. Недовольные генералы и аристократы завоеванных Францией земель допускались к власти в обмен на преданность императору и

снабжение «Великой армии» людьми, деньгами и снаряжением. Так, в 1812 году германские государства предоставили Наполеону 190 тысяч человек для вторжения в Россию.

У себя на родине Наполеон продолжил государственное строительство, начатое революционным режимом, придав последовательность и организованность реформам предшествующего десятилетия. Новый свод законов, «Кодекс Наполеона», ввел в стране единообразную систему гражданского, коммерческого и уголовного права, которая заменила не только дореволюционные уложения, но и 1400 актов, принятых с 1789 года. Равенство перед законом и религиозная терпимость были закреплены официально, как и право государства регулировать сельское хозяйство и промышленность. Слово «революция» обычно ассоциируется с левацким бунтом, однако произведенная французской революцией отмена таможенных пошлин и подобных им ограничений, как и запрет гильдий и рабочих ассоциаций, принесли невероятные выгоды для коммерции, и Наполеон продолжил эту политику. Территория Франции была рационально поделена на коммун, департаменты и районы, поставленные под начало префектов, субпрефектов и мэров. Также вводилась национальная система образования, забота о которой поручалась местным органам управления. Еще одной новацией Наполеона стало учреждение Государственной налоговой инспекции, опиравшейся на рационализированную систему подсчета и сбора налогов. В 1802 году во Франции впервые возникла национальная полиция, действовавшая при поддержке выездных трибуналов, — как одаренный администратор, Наполеон сделал все, чтобы эффективная работа нового государства обеспечила ему твердый контроль за любой политической оппозицией.

Причиной первого крупного военного неупеха Наполеона стало решение в 1808 году сменить Бурбонскую династию на испанском троне, посадив на престол своего брата Жозефа. Испанские патриоты, поднявшие восстание против французских хозяев, попросили помощи у Британии. На-

чавшаяся в результате Пиренейская война превратилась в затяжной и кровавый конфликт, который продемонстрировал, что у французской неуязвимости есть свои пределы. Если вмешательство во внутрииспанские дела было ошибкой, то русская кампания обернулась катастрофой. Когда несмотря на заключенный с Наполеоном в 1807 году Тильзитский мир, русский царь пошел на ослабление блокады Британии, это вызвало острое раздражение Франции. Однако было ли оно достаточным поводом для того, чтобы посылать армию завоевывать огромные и неизведанные российские просторы? Наполеон несомненно верил в то, что, стоит ему подчинить Россию и добиться полной изоляции Британии, как больше не останется ни одного серьезного источника беспокойства. Вдохновляясь примером Цезаря и Августа, он видел Европу увеличенным подобием Римской империи — живущей в мире и спокойствии территорией, которую нужно лишь охранять по границам. Он также мог научиться у римлян тому, что единственный способ сохранять верность союзников, контроль над покоренными странами и довольство собственного народа — это не переставать воевать.

Вторжение 1812 года позволило Наполеону въехать в Москву, но не позволило его войску вернуться домой. Погибшими, плененными и дезертировавшими армия потеряла примерно 380 тысяч человек. Недавно обнаруженное в Литве массовое захоронение показало, что среди завоевателей были представители почти 20 национальностей, включая португальских, итальянских и швейцарских солдат. Остатки «Великой армии» были добиты в Лейпцигском сражении в октябре 1813 года, а в мае 1814 союзные войска достигли Парижа, чтобы прошеествовать под Триумфальной аркой, воздвигнутой Наполеоном как знак собственной славы. В марте 1815 года он вернулся в Париж из ссылки на острове Эльба и убедил французов, что сможет заново покорить Европу. Последний разгром ждал при Ватерлоо в мае 1815 года, после чего Людовик XVIII, брат казненного короля, водворился на француз-

ском престоле. Революция и наполеоновские войны подошли к концу; впервые за 25 лет Европа получила возможность вернуться к мирной жизни.

Французская революция вызвала больше эмоциональных откликов и породила больше страстных споров, чем любое другое событие в европейской истории. И это не позднейшее искажение: в то самое время, когда она происходила, множество людей рассматривало ее как событие всемирного значения. Трансформация, в ходе которой самая влиятельная и привлекательная страна Европы пережила не просто свержение монархии, но смену всей политической и административной системы, не могла не восприниматься, как нечто поистине монументальное. Если добавить к этому цель революции — учредить вместо деспотического, иррационального, иерархического режима узкой кучки людей просвещенное, разумное и эгалитарное правление народа, — можно понять, почему революция воплощала мечту тысяч радикально настроенных, образованных, просвещенных людей по всей Европе. Однако если большинство оценок событий 1789–1815 годов было сосредоточено на идеологических отличиях между несколькими видными участниками событий, то в последнее время историки показали, что всех участников так или иначе связывала одна тема: создание современного западного государства.

События во Франции ознаменовали начало эпохи нового типа политического устройства — базирующегося на новых предпосылках, самосознании и организационных структурах. Кодифицировав многие, хотя и не все, революционные реформы, Наполеон оставил после себя государство, способное служить гражданам во всех аспектах их существования; в обмен они сами должны были служить и присягать на верность не монарху как символу государства, а государству как таковому, одновременно предоставляя ему право вмещиваться в свою жизнь по любому поводу. Обеспечившее повыше-

ние благосостояния граждан, такое расширение позволило государству гораздо жестче контролировать их деятельность и впервые создало условия для возникновения государства тоталитарного, полицейского типа. Не менее важен и другой урок революционной эпохи: она показала, что государство способно вводить законы, улучшающие жизнь людей, не ища оправдания в существующих традициях. Эта стало признанием изменившейся реальности, в которой древние обычаи, чтобы они послужили во благо новому гражданину, следовало перетолковать на радикально новый лад.

Как мы уже видели, революционная эпоха наделила политику моральным смыслом, но одновременно ввела ее в идеальную плоскость, в которой не было места для какой бы то ни было законной оппозиции. Наполеон фактически исповедовал то же убеждение, реализуя свое единственное и неоспариваемое видение совершенного государства, и этим обрек Францию на долгую череду переворотов, приводивших то к реставрации монархии, то к восстановлению республики. Напротив, Великобритании, давнему противнику Франции, удалось создать условия для существования в государстве партийной политики и лояльной оппозиции, и то же самое сделали Соединенные Штаты. Современному государству, сложившемуся позже в XIX веке, было суждено объединить в себе французский принцип централизации и гражданственности с британским принципом политического соперничества в рамках приемлемого для всех государственного устройства. Как бы то ни было, для некоторых людей, в первую очередь для не имеющих опыта политической жизни философов, идеализированная политика, воплощенная французской революцией, продолжала сиять маяком надежды посреди царства тьмы. Древнее убеждение в том, что рациональность способна решить проблемы обустройства человеческого общества, а также примирить свободу и порядок, не умирало в Европе на протяжении всей дальнейшей истории.

Если описанные политические результаты революции европейцы ощутили лишь позднее, в ходе всего последующего

столетия, то эффект военных кампаний Наполеона, перекроивших европейскую геополитическую карту, был немедленным и, как оказалось, долговременным. Испания и Португалия, истощенные в военном и финансовом плане десятилетиями боевых действий за и против Франции, в итоге утратили контроль над своими заморскими империями, когда их южно- и центральноамериканские колонии объявили о независимости, а покорение Наполеоном всего Апеннинского полуострова дало импульс к началу борьбы за объединение Италии под предводительством короля Виктора Эммануила и Джузеппе Гарибальди. Однако сильнее всего геополитические успехи Наполеона сказались на судьбе Центральной Европы. Он ликвидировал Священную Римскую империю, образовав из нескольких крупных ее областей Рейнский союз — прообраз будущего общегерманского государства, которому предстояло стать самой могущественной и многонаселенной державой Европейского континента.

Для самой Франции 23 года непрерывной войны, практически лишившей ее внешней торговли, явились важнейшим негативным фактором, отбросившим страну назад в набирающей обороты гонке индустриализации. Если благоприятные природные условия сделали ее лидером преимущественно аграрной европейской экономики XVII века, то вред, причиненный войной, дополнительно усугублялся отсутствием на французской территории угольных месторождений. Между тем в 1789–1815 годах главная соперница, Великобритания, не сбавляя темпа, двигалась вперед в технологическом развитии и наращивании производительности экономики. Когда торговые барьеры оказались сняты, выяснилось, что на фоне нового индустриального гиганта на севере французская промышленность безнадежно проигрывает.

Революционная эпоха наложила глубочайший отпечаток и на художественную культуру Европы. Учитывая, что французская революция представляла собой политическое движение, базировавшееся на рациональных основаниях, она в то же время была крайним выражением романтизма — что со-

впадало с новыми настроениями среди европейских интеллектуалов и людей искусства, и в значительной мере их подпитывало. Имена революционеров — Лафайет, Мирабо, Марат, Дантон — звучали по всей Европе как имена богов нового пантеона. Диктатор Наполеон кружил голову таким республиканцам, как Бетховен, а в «Войне и мире», написанном полвека спустя, Толстой продемонстрировал, насколько увлечена была русская интеллигенция (разговаривавшая между собой по-французски) человеком, который в 1812 году пошел войной на их страну. Однако, наверное, самое красноречивое свидетельство о наполеоновской эпохе принадлежит испанскому художнику Франсиско Гойе (1746–1828). Очевидец бесчеловечной войны, которую вела на его родной земле иностранная держава, утверждающая, что выступает от имени разума и порядка, Гойя показал, чего на самом деле стоят человечеству действия великих стратегов-завоевателей. Немало разных мнений было высказано искусствоведами о значении надписи, которая как бы концентрирует в себе содержание одной из наиболее важных и пугающих серий его рисунков («Капричос»). Но если вспомнить, что Гойя собственными глазами видел разорение и безжалостные убийства, выпавшие на долю его страны и народа от рук просвещенного режима, то нам становится понятен крик души художника, звучащий словно бы эхом софокловой трагедии: «Сон разума рождает чудовищ».

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ И НАЦИОНАЛИЗМ

Британская гегемония и идеология свободы

На протяжении 5 тысяч лет, прошедших до 1750 года, территория и люди Европы существовали в условиях почти исключительно аграрной цивилизации. Рост производительности сельского хозяйства и ремесленных промыслов, а также более эффективная организация торговли привели к тому, что к XII веку в Европе сложились структуры городской жизни. Однако Европа по-прежнему оставалась преимущественно аграрным континентом: подавляющее большинство населения работало на земле, богатство и могущество проистекали из землевладения, а экономическое процветание и ремесленные индустрии почти во всем зависели от сельскохозяйственной продукции. Даже в XVIII веке неурожай в каком-нибудь европейском регионе вполне могли обречь на голодную смерть немалую долю населения.

За 200 лет после 1750 года облик Западной Европы изменился — теперь она представляла собой совокупность индустриальных обществ, связанных единой коммерческой системой. Хотя перемена не была однородной и равномерной (вспомним голод в Ирландии в 1840-х годах), к началу XX века Западная Европа уже пережила поразительную метаморфозу преимущественно сельскохозяйственной экономики в ин-

дустриальную цивилизацию. Влияние этой метаморфозы на жизнь людей было колоссальным. Двумя кардинальными ее последствиями стали стремительный прирост западноевропейского населения (а также населения индустриализованных Соединенных Штатов) и стремительное превращение западного человека из сельского в городского жителя. Та же метаморфоза произвела на свет две социальных категории, или класса — этих классов прежде практически не существовало, однако своими потребностями они определили весь дальнейший ход западной истории. Со времен крушения устоев средневековой жизни и мировоззрения политически активные европейцы стремились построить общество, которое бы гарантировало своим новым гражданам — самостоятельным, рационально мыслящим и образованным — сочетание преимуществ свободы и порядка. В ходе промышленной революции желания этого меньшинства были оттеснены на второй план — сперва потребностями городского среднего класса, а затем индустриального рабочего класса. Многим государствам Европы удалось построить цивилизованное — как в политическом, так и в культурном отношении — общество для расцветающего среднего класса, который, по сути, и начал диктовать содержание западной цивилизации. Однако процесс строительства новой цивилизации оставил за бортом промышленный пролетариат, людскую массу, составляющую подавляющее большинство растущего населения. Именно попытки интегрировать это большинство в общество стали лейтмотивом западной политической и культурной жизни последующих лет.

В конце XVIII века внимание людей, не безразличных к политическим идеям и культурным новациям, было приковано к Северной Америке и Франции; после 1815 года все взоры обратились на Британию. На месте Германии и Италии все еще существовало множество мелких государств, Австрия растеряла былое могущество вследствие конфликтов с Пруссией, Франция с трудом приходила в себя после поражения наполеоновского режима, Соединенные Штаты сосредото-



Британская империя, всемирная торговая сеть

лись на освоении южных и западных территориях, — такая ситуация создавала уникально благоприятные условия для британского господства. Поскольку Великобритания с ее торговой сетью, охватывавшей весь земной шар и опиравшейся на поддержку мощнейшего военного флота, стала также первой страной, где произошла индустриализация, именно ей и было суждено ввести мир в новую эпоху.

Промышленной революции понадобилось так много времени, чтобы принять сколько-нибудь серьезные масштабы, что она едва ли заслуживает называться революцией. Знаменитый чугунный мост через Северн был построен в Коулбрукдейле в 1799 году, но мало кто помнит, что этот символ начала индустриализации был возведен усилиями Абрахама Дарби-третьего — «чугунщиками» («ironmasters» — слово, известное еще в 1674 году) были и его отец, и дед. Комплекс сукновального, прядильного, красильного и ткацкого производства представлял собой полноценную индустрию уже на протяжении столетий, то же самое касалось стеклодувного, кожевенного, горнодобывающего и металлоперерабатывающего промыслов. Как бы то ни было, во второй половине XVIII века начала происходить перемена, основной смысл которой был не технологическим или производственным, а в первую очередь экономическим. За период 1750–1850 годов экономика Британии росла быстрее, чем за любой предыдущий столетний период, а начиная с 1780 года на протяжении целого века ежегодно прибавляла от 2 до 3 процентов. Такой уровень устойчивого экономического роста был настолько новым феноменом в мировой истории, что объяснить его можно лишь ссылкой на изменения структуры хозяйства страны. Историки экономики указывают, что в Британии конца XVIII века произошел решительный разрыв с повсеместно распространенной системой хозяйственных отношений, исправно функционировавшей на протяжении предыдущей жизни человечества, и что промышленная революция должна рассматриваться как революция экономическая — в ре-

зультате которой сложились условия для беспрецедентно стремительного развития промышленного производства. Эта ретроспектива проясняет, почему несколько десятилетий, с 1750 по 1800 год, стали для всемирной экономической истории водоразделом колоссальной важности.

Перемена, о которой идет речь, была вызвана сочетанием нескольких факторов. В XVII веке, в ходе войн с Нидерландами и Францией, британское правительство отгородилось высокими пошлинными барьерами от ввоза иностранных товаров, и это серьезно подстегнуло местное производство. Поскольку пошлины не были отменены и после окончания войн, отечественный производитель по-прежнему оставался защищенным от заморской конкуренции, и в первую очередь это касалось британского текстильного промысла, имевшего грозного соперника в лице голландцев. Немало способствовала экономическому обновлению и сама структура британского общества. В XVIII веке низший слой местного «благородного сословия» имел гораздо больше шансов на продвижение по социальной лестнице, чем буржуазия любой другой страны, а политическое устройство предоставляло все больше средств для отстаивания интересов промышленников и коммерсантов (расходившихся с интересами помещичьей аристократии). Вдобавок британский социальный порядок отнюдь не отличался монолитностью. Религиозная терпимость и многообразие среди прочего обеспечивали квакерским, кальвинистским и другим раскольническим группам — которым было суждено сыграть важную роль в промышленной революции — возможность процветать в рамках параллельных систем социального и экономического взаимодействия. Если влиятельные политики и не старались активно содействовать каким-либо структурным реформам, то не существовало и какой-либо доминирующей группы, активно им противостоящей. Во Франции, к примеру, реально функционировало только одно «общество», тогда как в Британии их было несколько.

В конце XVIII века земля в Британии начала превращаться из предмета феодальных отношений в предмет коммерции.

Огораживание общинной земли тем или иным способом происходило во всех европейских странах, однако только на английской почве доступ к землевладению получили люди с капиталом, что послужило серьезным стимулом для начала инвестиций в сельское хозяйство. Землевладение стало тем элементом формально легализуемой системы прав собственности, который, по крайней мере в теории, затрагивал всех. Еще одним катализатором экономической активности явилось возникновение таких понятий и инструментов, как акции (паи), векселя и патенты. — они вовлекли в собственные отношения более широкий круг людей, которые пополняли постоянно растущий купеческий класс.

После того как сформировалась достаточно многочисленная прослойка людей, имевших на руках ликвидные активы, следующим по логике условием промышленного прогресса было наличие стимулов и возможностей для вложения этих активов не в земли или торговлю, а в реальное производство товаров. В Британии это условие оказалось соблюдено, и на то было несколько причин. Во-первых, в Британии имелось достаточно сырья для увеличения производственной емкости — ископаемого топлива и железной руды вблизи судоходных рек. Уголь из бассейнов Дарема и Нортумберленда грузили на каботажные суда, которые далее доставляли его в промышленное сердце Англии по речным системам Тайна, Уира, Тиса, Хамбера, Трента, Темзы и Северна, а месторождения в Йоркширском Уэст-Райдинге, Ланкашире и центральных графствах снабжали местные производства напрямую. Объем угля, переправляемого из Ньюкасла и Сандерленда ежегодно, в 1700 году составлял 500 тысяч тонн, к 1750 году показатель вырос до 1,2 миллиона тонн, а к 1800 году — до 2,2 миллиона тонн. Железную руду добывали в Ист-Кливленде, долине Тайна, Линкольншире и прочих местах. Конвертация этих ресурсов в способную к самовоспроизводящемуся росту индустриальную экономику требовала непрерывного развития технологий и серьезных вложений. Мы часто понимаем под технологическими инновациями новые изобр-

ретения и открытия, но на том этапе гораздо большую важность имели новые методы организации труда.

Начиная с бронзового века повсюду в Европе ремесленники изготавливали продукцию либо у себя дома, либо в мастерской. В Средневековье городские ремесленные промыслы находились под жестким контролем гильдий, однако в XVIII веке кустарное производство переместилось в сельскую местность, где издержки были куда ниже городских. Ремесленник, работающий на дому, как часть производственной цепочки представлял минимальный риск для мастера, но по мере увеличения спроса надомная система стала все хуже и хуже справляться с задачей. Механические усовершенствования требовали квалифицированных работников, однако мастера неохотно шли на то, чтобы ставить дома у подчиненных еще одну прядильную машину или ткацкий станок. Единственным решением проблемы было привести работника к машине.

В 1771 году Ричард Аркрайт и Джедедаия Стратт построили в Кромфорде, графство Дербишир, первую ткацкую фабрику на водяной тяге; так родилась фабричная система. Отныне сумма экономии от эффективного расходования энергии перевешивала сумму вложений, необходимых для строительства и оснащения огромных зданий, и риск будущих спадов на рынке. Водяная энергия использовалась людьми еще с XII века, но на фабрике одно водяное колесо могло приводить в движение сотню машин — рудодробилки, грохоты, прялки, ткацкие станки, пилы, скручивающие роллеры, даже подъемники. Начиная с 1800 года, благодаря сотрудничеству Джеймса Уатта и Мэтью Боултона, пар начал вытеснять воду в качестве основного типа промышленной энергии; однако принцип оставался тем же: энергия из одного источника.

Хотя фабрика как место концентрации производства кажется явлением вполне логичным и осмысленным, оно не имело бы смысла вне рамок экономической системы, которая складывалась в тот момент в Британии. Пойти на крупномасштабные вложения в здания и машины в ожидании долгосрочной прибыли мог только особый класс людей — людей.

имеющих под рукой достаточно свободного капитала и готовых участвовать в предприятиях нового типа. Инвестиции в одиночные мореплавания или плантации осуществлялись на протяжении столетий; инвестиции в промышленность требовали не желания быстро вернуть деньги, а солидной уверенности в будущем.

Фабричная система изменила порядок отношений на рабочем месте, а также характеристики самого места. Дисциплина, соблюдение сроков и усердие перестали быть добровольно принимаемыми стандартами и превратились в условия найма. Рабочим по-прежнему платили сдельно, однако, чтобы исключить простой машин, хозяева максимально растягивали рабочий день. Многие фабрики были настоящим адом — там царили грязь, сумрак и невероятный шум; но немало было и таких, которые представляли собой подлинное архитектурное чудо — тщательно спроектированные, чтобы обеспечить полноценный доступ света и воздуха и условия для сотрудничества и нормального общения рабочих. Несмотря на то, что надомный труд в период промышленного роста Британии сохранял значение на удивление долго, фабрика воплощала суть индустриализации — не как техническая система, не как экономический феномен, а как новый образ работы и жизни.

Поскольку фабрики строились там, где было наиболее удобно для промышленной обработки сырья, рабочая миграция стала неизбежной. На территории угольных и железнорудных бассейнов, у вновь обнаруживаемых залежей гончарной глины, в ланкаширских долинах, где водные пути и угольные месторождения сочетались с влажностью климата, благоприятной для хлопкопрядения, там, куда протянулась активно расширявшаяся система каналов, — во всех этих местах индустриальные поселения и города появлялись как грибы после дождя.

Импульс промышленного развития нельзя было удержать без постоянно увеличивавшегося притока рабочей силы — население Британии выросло с 10 миллионов человек в

1800 году до 20 миллионов в 1851 году и до 37 миллионов в 1901 году. Однако рост населения, в свою очередь, мог быть обеспечен только повышением производительности сельского хозяйства. Первая фаза так называемой «аграрной революции» — возделывание новых корнеплодов, таких как брюква и репа, и промежуточных культур вроде клевера — позволила снимать бóльшие урожаи, выпасать больше скота и дольше использовать землю. В середине XVIII века постепенно усиливавшееся огораживание общинных земель, активное дренирование глинистых мест и увеличение размера хозяйств начали положительно сказываться на эффективности сельского хозяйства и объемах его продукции. Земледелие и скотоводство стали отраслями, приносящими прибыль. Рост спроса, который повышал цены, давал возможность фермерам вкладывать средства в покупку специальных удобрений и искусственных кормов для животных, а также стимулировал к дальнейшему осушению неплодородных почв. Британия могла прокормить себя, обходясь все меньшей долей населения, занятого в сельском хозяйстве.

Изменения в хозяйственной системе, которые охватили Британию во второй половине XVIII века, вызвали экономический подъем таких масштабов, которых не видела ни одна другая страна мира за всю предшествующую историю. Обращение земли в предмет коммерческого оборота создало условия для инвестиций в индустриальные процессы, а когда новые предприятия начали приносить солидную прибыль, это расширило возможности для дальнейших инвестиций. Помимо этого, благодаря разнородной социальной структуре и природным богатствам в стране сложилась питательная среда для инновационного развития промышленности. Но если динамика индустриализации сказывалась на хозяйстве Британии благотворно, ее воздействие на жизнь британского трудового населения оставалось примером бесчеловечности на протяжении нескольких десятилетий. Индустриализация обрекла миллионы людей на фактически рабский труд

на фабриках и в шахтах. Она загнала когда-то сельский народ в города, где среди грязи и нищеты ему пришлось влачить жалкое существование с постоянным риском для жизни и здоровья.

В 1815 году расследование парламентской комиссии выявило, что на льнопрядильных фабриках девочки начинали трудиться в возрасте восьми лет, а их рабочий день длился с 6 утра до 7 часов вечера при обычной нагрузке и с 5 утра до 9 вечера при повышенной. У детей был 40-минутный полуденный перерыв на обед, и никакого другого времени отдыха. Их били, если они не успевали со «снятием» — работой, которая заключалась в наблюдении за заполнением рам ткацких станков, после чего нужно было остановить машину, снять катушки, челноки и рамы, зарядить пустые рамы и запустить машину снова. Некоторых девочек, как обнаружили члены комиссии, такой труд довел до уродства, и можно не сомневаться, что у всех были нарушения развития.

Если условия фабричного труда были жуткими, то стремительный и хаотичный рост промышленных городов превращал последние в настоящие людские свалки. Население Манчестера увеличилось с 75 тысяч человек в 1801 году до 252 тысяч в 1841 году, примерно то же произошло с Бирмингемом, Ливерпулем и Глазго — в каждом к концу века численность населения превысила цифру в 800 тысяч. Детская смертность в промышленных приходах северной Англии к 1813 году достигла уровня 172 человека на тысячу и продержалась на этом показателе до 1836 года, а средний рост людей за тот же период снизился и продолжал уменьшаться вплоть до 1860-х годов. Лучшая оплата и лучшие шансы найти работу в городах нивелировались ухудшением питания и более высоким риском для здоровья. Условия жизни трудящихся в областях Британии с преобладанием городского населения оставались ужасными на всем протяжении 30-х и 40-х годов XIX века, а во многих крупных городах и на протяжении следующих десятилетий.

Для удовлетворения нужд огромного людского потока, хлынувшего в малые и крупные промышленные центры, не су-

ществовало никакой гражданской администрации — у этих людей не было ни организации, ни представительных органов управления, а в кабинете министров и парламенте попросту отсутствовали те, кто мог бы говорить от их имени. В основе административной структуры Британии лежало деление на графства и приходы, представительство же в парламенте опиралось на систему самоуправляемых городских поселений, «местечек» (боро, *boroughs*), открытую для подкупа и махинаций. Нарезка выборных округов даже до индустриализации не привязывалась к числу жителей, а со временем она оказалась вопиющим искажением реальной картины.

Массовая миграция в промышленные центры покончила с традиционным образом жизни сельской Британии, однако сама индустриализация не могла бы случиться, если бы к тому времени деревенский быт уже не затронула коренная метаморфоза. Социальная структура английского села приобрела иное качество с тех пор, как в конце средневекового периода землю включили в систему денежной экономики. Правда, до XVIII века эти изменения имели больше теоретический, нежели практический характер. Согласно результатам разных земельных переписей, проводившихся по поручению правительственного Сельскохозяйственного управления, права собственности на обширнейшие участки английской сельской местности находились в руках крупных помещиков, однако эти легально закрепленные права имели мало отношения к обычаям и традициям, которые определяли жизнь и труд сельских общин. Обычай и сложившаяся практика диктовали, что общинные земли, как и неуголья, подлежат использованию теми, кто не имеет других средств к существованию. Эта ситуация начала меняться, когда законы об огораживании, принимавшиеся парламентом с 1750 по 1830 год, позволили землевладельцам огораживать землю в подтверждение своих законных прав и использовать ее по собственному усмотрению или сдавать в аренду. Как писал один историк: «Присвоение для собственных нужд практически всех необрабатываемых общинных земель легальными владельца-

ми означало, что тонкий барьер, отделявший растущую армию работников от окончательной пролетаризации, был повален». Другими словами, присваивавшие землю уже являлись ее законными владельцами, но, реализовав свои права таким образом, они разорвали традиционную, уходящую в глубь веков связь людей с землей, превратив крестьян в наемных работников. Сложная система отношений, притязаний, дозволенных способов использования и общественных санкций, которая существовала с англосаксонских времен, а может быть, и гораздо раньше, была отброшена в результате обретения землей статуса еще одного предмета экономического обмена — окончательно перекрывшего доступ к ней для тех, у кого не было денег.

Нигде контраст между письменной, индивидуалистической и стандартизирующей властью и устной, общинной и многообразной в своей локальности культурой не проявился с такой силой, как в огораживаниях. Неграмотные сельские жители оставили после себя совсем немного письменных свидетельств и почти не имели доступа к формальной процедуре правосудия; напротив, землевладельцы, утверждая права собственности, наводнили сельскую жизнь документами и легальными контрактами. Не удивительно, что изыскания в архивах создают впечатление на редкость скромного сопротивления огораживаниям. Однако кое-какие сохранившиеся документы демонстрируют, какое глубокое и наверняка широко распространившееся неприятие они вызывали у народа. В анонимном письме, посланном сквайру Честнат-Парка, «собравшиеся от прихода» (т. е. те, кто пользовался общинной землей) писали: «Коли ты взялся огородить Наши Общие Поля, Луга, Пустоши и прочая, Мы Решили... коли будешь упорствовать в прежде сказанном мерзком деле, Мы пристанем как конские пиявки и будем кричать отдай, отдай, пока не пойдет кровь у каждого, кто хочет обокрасть невинных, которые не родились еще» (орфография оригинала).

Огораживания привели к появлению грандиозного числа сельских жителей, лишенных возможности содержать себя и

свою семью — ввиду недоступности общинной земли. Со времен Средневековья каноническое право требовало от каждого прихожанина отдавать десятую часть дохода церкви, из которой треть откладывалась на помощь бедным. По мере того как размер десятины уменьшался, в ситуацию начало вмешиваться государство, и к XVI веку жертвовать деньги на призрение обязали состоятельных граждан — закон о бедноте 1601 года возлагал ответственность за заботу о неимущих на приход, в котором они проживали. В некоторых приходах строили жилища, некоторые давали бедным работу, некоторые предлагали помощь деньгами или натурой. Но к концу XVIII века эта система едва справлялась с растущей массой нуждающихся. И тем не менее общинная традиция отношения к бедным как к своим сохранялась — вплоть до нового закона о бедноте 1834 года, который заменил локализованный подход государственным стандартом.

Британский парламент решил, что вспомоществование будет предоставляться только тем, кто согласится поступить в один из работных домов, и что размер вспомоществования не должен превышать самого низкого жалованья в данном регионе — вне зависимости от действительных потребностей. Работные дома уже существовали во многих городах, однако в результате принятия закона 1834 года их число значительно увеличилось и все они были включены в единую национальную систему. К примеру в Блэкберне, графство Ланкашир, работный дом на 650 человек был призван удовлетворять потребности шестидесятитысячного населения. Тех, кого принимали в работный дом, сперва раздевали, мыли и забирали на хранение всю одежду и вещи. Обитатели домов носили стандартную униформу, часто имевшую отличительные знаки для особо «порочных» категорий, таких как, например, незамужние матери.

Закон требовал строгой сегрегации: мужей, жен и детей разводили по разным помещениям и наказывали, если те пытались заговорить друг с другом. Если надзиратели позволяли, детей до семи лет можно было держать на женской по-

ловине. Женщин в работных домах, как правило, приставляли к стирке и шитью, а мужчины занимались дроблением камней, перемалыванием зерна и — в сельских районах — пахотой. Несмотря на тяжелый труд, унижение и бесчеловечные условия жизни в этих учреждениях, они часто не могли принять всех желающих. В середине викторианской эпохи под действие закона о бедноте подпадало около 10 процентов населения Британии.

Среди некоторых современных историков бытует убеждение, что тяжесть условий, в которых жили люди в начале индустриального века, слишком преувеличена, — статистика показывает, что по финансовому благосостоянию фабричные рабочие превосходили как своих современников-сельчан, так и собственных отцов и дедов. Это замечание, однако, бьет мимо цели. Вопрос, который ставит перед нами индустриализация, заключается не в том, стали ли рабочие зарабатывать больше денег, а в том, стоило ли это среднестатистическое финансовое благосостояние разрушения образа жизни огромного множества людей и ухудшения личных условий существования.

Законы об огораживании и закон о бедноте являлись материальным воплощением все более популярного у британцев мировоззрения, согласно которому местные уставы, древние обычаи, многочисленные акцизы и пошлины представляли собой серьезное препятствие для экономического процветания нации. Устранение подобных препятствий сделалось центральной доктриной движения за свободу торговли и все активнее пропагандировалось коммерсантами, политиками «прогрессивного» направления, такими как Ричард Кобден, и экономистами-теоретиками, такими как Давид Рикардо, автор невероятно влиятельного труда «Начала политической экономии» (1817). Вопреки тому, что британская промышленность и сельское хозяйство немало выиграли и от протекционистских пошлин, и от наполеоновской блокады, многие верили, что меры, подобные закону о зерне 1815 года (запретив-

шему импорт зерна, если цена на него не превышала 80 шиллингов за квартал), мешают свободному передвижению товаров и служат лишь интересам помещичьего класса. Когда в 1846 году в результате давления, не ослабевавшего десятки лет, последовала отмена законов о зерне, она обозначила конец эпохи влиятельных аристократов-землевладельцев и начало торжества интересов коммерческого и промышленного сословия. Она же окончательно закрепила наметившийся в британской политике крен в сторону свободной торговли — к этому моменту британское государство уже ликвидировало всяческие препятствия для свободного обращения товаров, денег и людей. Среди мер были, в частности, отмена четырехсотлетнего статута о подмастерьях и контроля за уровнем оплаты труда.

На протяжении трех десятилетий после середины 40-х годов XIX века свободная торговля приносила плоды: снимались все новые ограничения, снижался подоходный и другие налоги, и Британия процветала. Именно в этом, как казалось многим, и заключался «естественный» способ работы индустриальной экономики. Но через какое-то время выяснилось, что все «теоретики» находились в плену иллюзии. Исследователи уже не раз убедительно показывали, что контролируемые и регулируемые рынки, с их возникающим многообразием сдерживающих обычаев, являются продуктом «естественного» человеческого общества, производным от потребности в социальной взаимозависимости; свободные же рынки, напротив, приходится насаждать с помощью сильного авторитарного государства. Британская экономика росла в середине столетия, потому что первой вступила в индустриальную фазу, удерживала изначальное лидерство мерами по защите внутреннего рынка и в то же время контролировала всемирную торговую сеть благодаря мощному военному флоту. Наиболее важная экспансия произошла внутри, причем до 1850 года, — были проложены 6 тысяч миль железных дорог, добыча угля выросла с 16 миллионов тонн в 1815 году до 50 миллионов в 1848 году, производство чугуна и стали за тот же пери-

од — с 250 тысяч тонн до 2 миллионов тонн. Свободная торговля лишь усилила изначальное лидерство Британии, но не могла сыграть роль создателя устойчивой экономической системы. Стоило другим странам пройти индустриализацию, как преимущество Британии стало сходиться на нет. Конкуренты понимали, что индустриальная экономика может созреть не в условиях свободной торговли, а только в условиях защищенности собственной промышленности. Бисмарковская Германия довольно скоро ввела импортные пошлины (направленные главным образом против британских товаров), и точно так же в 1890 году поступили Соединенные Штаты — это привело оба государства к процветанию.

Человеческие издержки «безудержной» индустриализации становились между тем все очевиднее. По мнению таких авторитетных наблюдателей, как Бенджамин Дизраэли (1804–1881), Томас Карлейль (1795–1881) и Мэтью Арнольд (1822–1888), в Британии возникли две, а то и три, взаимоисключающие и враждебные нации. Дизраэли ввел в оборот выражение «две нации» для обозначения бедных и богатых еще в своем романе 1845 года «Сибил»; Карлейль назвал их «сектой денди» и «сектой горемык»; в «Культуре и анархии» (1869) Арнольд разделил британцев на варваров (аристократов), филистеров (средний класс) и чернь (рабочих). Жизнь средних классов складывалась более или менее благополучно, но ее омрачал постоянный страх оступиться и погрязнуть в болоте нужды и позора (центральная тема мрачной диккенсовской комедии жизни); перед трудовым населением ежедневно маячил призрак работного дома, долговой тюрьмы или бродяжничества. Гость из Франции, посетивший ежегодные скачки в Дерби в 1861 году, отмечал, как много попрошаек в толпе одеты с господского плеча: «Большинство из них ходят босыми, все необычайно грязны и, как правило, выглядят чрезвычайно нелепо; все потому, что на них красуются поношенные аристократические наряды и линялые платья когда-то модных в свете фасонов... Между нами [французами] крес-

тьянин, фабричный или чернорабочий — это иной человек, а вовсе не лицо низшего достоинства; его блуза принадлежит ему так же, как мой сюртук принадлежит мне». Даже если сделать скидку на преувеличенную национальную гордость, отличие во взглядах понятно: тогда как Франция по-прежнему оставалась страной городских чиновников и самостоятельных крестьян-земледельцев, Британия была нацией богатых, тех, кто сводил концы с концами, и нищих.

Если для рабочего населения Британии индустриализация и свободная торговля обернулись невероятной исторической травмой, то прослойка городской буржуазии сумела занять центральное место в жизни страны, а постепенно — и всего западного мира. Поскольку индустриализованное городское общество требовало гораздо более разветвленного и сложного административного аппарата, чем аграрное, во второй четверти XIX века доля средних классов в увеличивающемся населении стала расти. Фабрики не могли обойтись без целой армии конторских служащих и управляющих, от которых не отставали многочисленные лавочники, врачи, поверенные, бухгалтеры, мелкие поставщики, правительственные служащие, держатели гостиниц, журналисты и инженеры. Мало-помалу этот «средний» между рабочими и аристократами класс, который насчитывал от 25 до 30 процентов всего населения, начал воспринимать себя как отдельную социальную группу — этот процесс позже повторился и в других индустриальных странах. У представителей нового класса выработалось отличительное самосознание, чувство собственного достоинства и свод моральных правил. Они признавали друг друга и явственно противопоставляли себя как аристократии, которую считали порочной и праздной, так и рабочему классу, который считали невежественным, ленивым и морально распущенным. В противоположность обоим средний класс подчеркнуто исповедовал кальвинистские идеалы опоры на собственные силы и публичной добродетели.

Главной ареной деятельности среднего класса сделались провинциальные города. Их жители, как мужчины, так и женщины, без устали посвящали время и силы добровольным организациям, целью которых было нравственное воспитание, проповедь трезвости и сбор денег на больницы и школы. Они гордились своим городом, были преданы ему и играли главную роль в его самоуправлении и благоустройстве. Именно под давлением средних классов парламент пошел на то, чтобы учредить Комиссию по улучшению — этот орган обладал полномочиями назначать особые налоги на собственность, за счет которых велись работы по улучшению канализации, водоснабжения, мощению дорог, городскому освещению и т. д.

Также именно у представителей среднего класса в XIX веке впервые появилось то, что мы считаем образцовым домашним бытом. Мужчины среднего класса во всем руководствовались сознанием общественного долга, однако мужчине требовалась поддержка жены и семьи, призванных служить таким же примером добродетели дома, каким был он сам в публичной жизни. Постепенно восторжествовала новая мораль: если в XVIII веке официальные лица, судьи и пасторы могли открыто жить с любовницами, практически не подвергаясь общественному осуждению, то в XIX веке такое уже стало невозможным. Дом викторианского буржуа, убежище от бурных перемен, сотрясающих внешний мир, одновременно воплощал собой другую сторону бескорыстного общественного служения. Не только мы ретроспективно понимаем, насколько вырос вес тогдашнего среднего класса в государстве, — это было понятно и современникам. В 1831 году лорд Генри Брум писал: «Под народом... я разумею средние классы, которые составляют богатство и разум страны, славу британского имени». Из среды этой активно читающей и заинтересованной публики начали выходить писатели, для удовлетворения ее спроса производился целый поток газет, журналов и книг. Изыскивая в истории и великих традициях страны примеры благотворного влияния среднего сословия, публи-

цисты заговорили о нем как о вместилище национальной добродетели.

Как бы то ни было, несмотря на исполненное лучших побуждений публичное благочестие среднего класса, от рабочего населения его отделяла четкая и сознательно сберегаемая граница. Представители первого, непрерывно уверяемые в собственной добродетели, смотрели на представителей второго как на людей морально несостоятельных. Движения за воздержание и другие «нравоулучшительные» организации, ставя своей целью исправление порочных натур, не делали ничего, чтобы способствовать обретению рабочими политических прав или реально улучшить условия их жизни через образование и профессиональную подготовку. — более того, распространение грамотности и образования в целом шло вразрез с желаниями среднего класса, поскольку открывало остальному населению доступ к более оплачиваемым профессиям. Высшие и средние слои общества не сомневались, что расширение политических прав будет означать подчинение богатых и образованных бедным и невежественным.

Дистанция между разными слоями общества увеличивалась отчасти и потому, что сменявшие друг друга парламенты и правительства вовсе не считали, что британское государство обладает определенными обязательствами перед своими гражданами. Поддерживать торговлю, собирать налоги, финансировать армию, поощрять обогащение, защищать рабочих — являлось ли что-либо из этого задачей государства? Лишь довольно поздно в XIX веке в Британии, как и в других западных странах, сложились условия политической жизни, в основе которой лежала идеология, так или иначе отвечавшая на эти вопросы. Однако нет никакого сомнения, что все более влиятельные средние классы — представленные и в парламенте, и в городских советах, и в местных и национальных органах управления — тоже приложили минимум усилий, чтобы помочь рабочим.

Хотя во многих аспектах условия жизни в крупных и мелких промышленных центрах через какое-то время начали

улучшаться, в остальном промышленный ландшафт приобрел даже больше черт отупляющей безликости. Воодушевленные беспредельными возможностями механизированного производства, викторианцы строили бесконечные улицы домов из одного и того же красного кирпича, покрытых одним и тем же серым валлийским шифером. Местные отличия не ставились ни во что, ибо строительство и проектирование жилых зданий, городских ратуш, железнодорожных вокзалов и церквей велось в национальном масштабе. Промышленные города с их дымовыми трубами, паровозными депо и рядами домов-близнецов являлись одним из элементов фабричной системы — эффективным способом размещения рабочей силы в непосредственной близости от заводов и шахт.

Страна, первой пережившая промышленную революцию, имела самую долгую традицию выборной власти. Однако британский парламент, члены которого не представляли ни рабочих, ни даже низшую прослойку среднего класса, непосредственно руководившую производством, ни население индустриальных центров, едва ли оказался готов к новым временам. В основании британской политической системы изначально лежала деятельность собрания благородных и знатных господ, задачей которого был контроль за монархом, а отнюдь не управление индустриальным государством. Люди, стоявшие во главе государства, все-таки сумели обеспечить ему процветание, выбрав исключавший возможность революции и демократии путь реформ, — но тот же самый путь разделил британскую нацию надвое. Принятый ряд мер, начиная с закона о парламентской реформе 1832 года (включая новые варианты 1867 и 1884 годов), специально ставил целью недопущение пропорционального представительства в парламенте большинства населения. Красноречивое подтверждение этому мы находим в словах графа Грея, отца закона 1832 года: «Принцип моей реформы в том, чтобы предупредить необходимость революции... [нет] более последовательного противника ежегодных созывов [парламента], всеобщего права го-

лоса и баллотировки [т. е. тайного голосования], чем я». Хотя лидер оппозиции, герцог Веллингтон, был убежден, что страна уже погрузилась в пучину демократии, а Грей уверял, что ему как раз удалось отвести эту опасность, и тот, и другой, а вместе с ними весь парламент, считали, что демократии нужно дать бой. Это не общеизвестный факт, но реформа 1832 года смогла лишить права голоса даже тех немногих рабочих, которые его прежде имели, и именно она формально закрыла доступ к выборам для женщин. В ходе дебатов, предшествовавших принятию закона 1867 года, премьер-министр лорд Солсбери говорил: «Волнения, беспорядки, даже гражданская война в конечном счете не породят таких опасностей, как абсолютная, или неограниченная, демократия... Критерий, по которому хороший закон о парламентской реформе можно отличить от дурного, есть невозможность для рабочих классов ни сейчас, ни в обозримый период в будущем получить большинство в этой палате».

Демократия (слово, для многих по-прежнему звучащее проклятием) означала тогда не что иное, как правление большинства, состоящего из бедных людей, над большинством, состоящим из людей зажиточных. Аргументация, к которой прибегали некоторые участники дебатов в Патни за 200 лет до этого, использовалась вновь: если власть получают люди без собственности, они не преминут отнять ее у тех, кто богаче. Встречая в исторической литературе описания, изображающие видных деятелей викторианской эпохи знатоками и любителями классической Греции, мы должны помнить, что на фоне в остальном славной и блестящей эпохи афинская демократия представлялась мрачным пятном — им скорее импонировал римский сенат. Ни консервативная традиция тори, ни либеральная традиция вигов не имели корней в культуре простых британцев, и ничто формально не связывало их с представлениями народа, выраженными когда-то индependентами на Армейском совете в Патни.

Законы о реформах и преобладающие настроения поставили рабочее население Британии вне общественной и поли-

тической жизни — и фактически вне британской цивилизации. Это сознательное и целенаправленное социальное разделение оказало довольно серьезное влияние на будущий интеллектуальный и политический климат Европы и остального мира. В 1842 году Фридрих Энгельс, сын хлопкового фабриканта, был назначен представителем отца в манчестерской конторе; уже через два года он напишет работу «Положение рабочего класса в Англии», а в 1848 году в сотрудничестве с Карлом Марксом издаст «Манифест Коммунистической партии». Когда сам Маркс перебрался в Лондон в 1849 году, именно резкая классовая разобщенность Британии стала фоном для его исторического анализа и разработки проекта пролетарской революции (см. главу 16). В остальных частях Европы республиканские и другие политические движения, как и сохранение многих обычных прав, способствовали тому, что разделение общества осмыслялось совершенно иначе. Британия гордилась стабильностью государства, которая так выгодно отличала ее от Франции, пережившей за XIX век целую череду переворотов, но у французских рабочих всегда имелись политические средства заставить власть имущих услышать свой голос. В Германии и Италии националистические движения, которые привели обе страны к единству, выступали под знаменем не только освобождения народа от имперского гнета, но и предоставления ему всей полноты политических прав.

В самой Британии рабочий класс мог надеяться на улучшение жизни только двумя способами: либо благодаря помощи сверху, которая большей частью направлялась мимо цели и приводила скорее к обратным результатам, либо благодаря помощи изнутри, которая в конечном счете и позволила чего-то добиться. Помощь сверху поступала от обществ по улучшению нравов, которые занимались филантропией и наставлением «заблудших», но не желали заботиться об их образовании. Мы привыкли к рассказам историков о благотворительности великих викторианских реформистов, однако лорд Шефтсбе-

ри, столь много сделавший для облегчения участи детей рабочих, был противником любых форм демократии, а Эдвин Чедвик, поборник общественной гигиены и здравоохранения, был одним из инициаторов принятия закона о бедноте 1834 года. Если с точки зрения этих доброжелателей-реформистов рабочий класс заслуживал покровительства и назидательного руководства, то для позднейших интеллектуалов, как мы увидим, пролетариат уже стал предметом идеализации.

Классовая разобщенность спровоцировала не только политическую активность определенного направления, но и интеллектуальную реакцию. Правда, и в этом случае авторы искали универсальных решений, опираясь на абстрактное теоретизирование. В 1859 году Джон Стюарт Милль в своей книге «О свободе» задался целью дать определение свободы личности в рамках общества с конституционным правлением. Какие ограничения государство вправе наложить на гражданина, и гарантий каких свобод гражданин вправе ожидать? Ответ Милля гласил, что отдельная личность свободна делать все, что не вредит другим. Это было блестящим решением поставленной задачи, однако именно вера в первичность индивидуальной свободы заставляла, несмотря на поддержку предоставления женщинам политических прав, с опасением говорить о перспективе тирании большинства. «Прогрессивный» мыслитель Милль так и не смог перешагнуть границу, отделявшую его от рабочего населения Британии и Европы.

Несмотря на всю разницу во взглядах на судьбу рабочего класса, аристократы Грей, Шефтсбери и Солсбери разделяли с Чедвиком, Миллем и Марксом безлично-объективное представление о рабочих как о единой, однородной массе. Это представление подкреплялось стремительным приростом населения в Британии и других индустриальных странах — между 1800 и 1914 годом число европейцев увеличилось со 180 до 460 миллионов человек. Многие, включая политиков, художников и философов, смотрели на прибывающее море низших социальных классов как на чумную напасть. Эти настроения достигли апогея в первые десятилетия XX века, ко-

гда члены «цивилизованной» элиты с ужасом наблюдали за последствиями введения в Европе всеобщего начального образования. Отнюдь не рассматривавшие образование как средство превращения рабочего в ответственного гражданина, многие из них с отчаянием полагали, что перегородка, отделяющая элиту от масс, вот-вот рухнет. Цивилизация становилась уделом тонко чувствующего меньшинства, осознававшего себя в смертельной опасности.

Те, кто считал иначе, мало что могли предложить людям, стоявшим ниже на социальной лестнице. Ведомые целью просвещения средних классов и облагораживания, и одновременно приручения, рабочих, филантропы вынимали из частных особняков сокровища искусства и культуры, чтобы вновь сделать их доступными всеобщему обозрению, на сей раз в галереях и музеях. Государственные власти вскоре взяли эту роль на себя, и в каждой западной столице возникли национальные галереи и музеи, скопированные позднее всеми крупными городами вообще. Поскольку умение ценить искусство само по себе считалось признаком цивилизованности, автоматически предполагалось, что знакомство с великими шедеврами окажет цивилизующий эффект на массы.

Тем временем рабочие уже начали помогать себе сами. Один из первых сигналов того, что люди готовы активно сопротивляться экономике «безудержного» капитализма, прозвучал в 1834 году, когда шесть сельскохозяйственных рабочих из деревни Толпадл в Дорсете, объединившихся, чтобы бороться с понижением расценок на их труд, были приговорены к заокеанской ссылке. Массовые демонстрации, вызванные новостями о вердикте, заставили правительство пойти на амнистию. Открытые сходки и даже бунты служили средством выражения народного недовольства уже давно, однако если до 1815 года такие собрания носили либо антикатолический, либо антифранцузский характер, то после Ватерлоо их стали использовать для политического давления на власть. Веллингтон растерял большую часть популярности,

заработанную победой над Наполеоном, когда четыре года спустя его конница с саблями наголо разогнала стотысячную толпу, собравшуюся на демонстрацию в поддержку парламентской реформы в манчестерском парке Сент-Питерс-Филдс. В ходе этих событий, названных «Питерлоо», были ранены 400 и убиты 11 безоружных людей.

Закрепление политического бесправия рабочих законом о реформе 1832 года, закон о бедноте 1834 года, отсутствие упоминания о совершеннолетних мужчинах в законе о фабриках 1833 года и учреждение в 1835 году регулярной британской полиции — все это привело к рождению первой массовой рабочей организации, чартистского движения. В «Народной хартии», составленной в 1838 году основателями Лондонского объединения рабочих, перечислялись шесть требований: право голоса для всех мужчин, парламентские выборы ежегодно, баллотирование (тайное голосование), равновеликие по числу избирателей округа; отмена имущественного ценза для кандидатов в парламент; наконец государственное жалование для парламентариев. Если популярность чартизма показала, что значительной части населения необходимы действительные политические права, то его неудача (после 1848 года движение сошло на нет) означала, что даже в так называемый «век реформ» разумных доводов, популярности и эффективной пропаганды оказалось недостаточно, чтобы добиться реальных перемен.

Подлинная возможность для перемен в жизни трудящихся родилась на свет благодаря процессам той самой индустриализации, которая сравнительно недавно обрекла их на столь жалкое существование. Переворот в области средств коммуникации — строительство железных дорог, распространение телеграфа и колоссальное увеличение газетных тиражей (почти в десять раз между 1836 и 1880 годом) — создал серьезные шансы для самоорганизации рабочих. Мелкие профсоюзы начали появляться еще с 1840-х годов: Шахтерская ассоциация была основана в 1841 году, в 1851 году группа разрозненных инженерных союзов сформировала Объ-

единенное общество инженеров, насчитывавшее 11 тысяч членов; в 1868 году лидеры профсоюзов, собравшиеся в Манчестере, представляли уже около 100 тысяч членов. С самого начала, и в отличие от рабочих других европейских стран, британские профсоюзы (трэд-юнионы) избрали средством отстаивания своих интересов представительство в парламенте. В 1874 году два шахтера были избраны от Либеральной партии, а в 1880 году к ним присоединился Генри Броджерст, секретарь британского Конгресса трэд-юнионов. При этом выяснилось, что, несмотря на директивы руководства партии, местные организации либералов с неохотой поддерживают рабочих кандидатов. В 70-х годах по стране прокатилась волна профсоюзных забастовок против снижения заработной платы. В 1886 году Конгресс трэд-юнионов сформировал Трудовой избирательный комитет и выставил Кейра Харди как первого в истории кандидата в парламент от рабочей организации. Низкие результаты Харди на всеобщих выборах 1888 года убедили его, что рабочим, если они хотят видеть своих кандидатов в парламенте, нужна полноценная политическая партия со столь же мощной организацией и избирательным штабом, как у консерваторов и либералов.

В 1888 году была образована Шотландская лейбористская (трудовая) партия, и в 1890-х годах независимые трудовые партии стали возникать во всех британских городах. Профсоюзное движение также значительно закрепило успех и вызвало немалое сочувствие у британцев после серии забастовок, которые оказались в центре внимания нации, — самой известной из них стала забастовка 1888 года в восточном Лондоне, которая была организована на спичечной фабрике «Брайант энд Мэй», где работали одни женщины. Уже на выборах 1892 года Кейр Харди впервые завоевал для лейбористов место в парламенте, а в 1893 году на собрании в Брэдфорде, созванном в поддержку забастовки пожарных, было торжественно объявлено об основании общенациональной Независимой лейбористской партии. Необходимость в парламентском представительстве еще острее дала о себе знать

в 1901 году, когда лорды-судьи пригрозили оштрафовать железнодорожные профсоюзы за экономический ущерб, причиненный забастовкой их членов. Чтобы не допускать впредь принятия таких решений, тред-юнионам требовалось стать частью законодательной власти.

Пока представители верхних слоев общества терзались страхами о том, что будет, если дать британским рабочим гарантии человеческих условий труда, доступ к образованию и избирательные права, пролетариат, руководствуясь собственным пониманием положения, попросту брал дело в свои руки. Профсоюзы, в противовес другим общественным институтам, были учреждениями открытыми и демократичными, и их представители являлись, как правило, людьми дальновидными, трудившимися на благо многочисленных членов союзов и сообществ. Однако многие трудящиеся не просто стремились к более высокой зарплате и лучшим условиям жизни. Они создавали организации и посылали представителей в парламент потому, что хотели жить в ином обществе — в обществе, где социальные привилегии и благородное происхождение не означали автоматически причастность к управлению страной. Поколения, возвращенные индустриализацией, не связывала древняя сельская иерархия и представление о том, что сквайру всегда лучше знать. Как и их предкам в XVII веке, этим людям требовалось общество, признающее и защищающее достоинство простолюдина. Именно эта потребность, а вовсе не сочинения политических философов, легла в основание доктрины либерального социализма.

Слово «социализм» приобрело со временем столько значений, что почти утратило первоначальный смысл. Однако для наших прадедов — для многих из них — социализм был способом мировосприятия и надеждой на будущее. В самом элементарном смысле социализм описывает такое состояние общества, в котором все находится в общем владении, и тем самым он противоположен либерализму, для которого ключевым элементом общественной организации является частная собственность. Однако на Западе социализм на протя-

жении последнего столетия существовал в рамках либеральной демократии и потому начал означать нечто более сложное — нечто вроде распределения и управления капиталом, землей и средствами производства в интересах всех. В отличие от научного социализма Маркса, который видел историю как процесс, ведущий к идеальному государству рабочих (см. главу 16), либеральный социализм был порожден рабочим классом в ответ на реальную ситуацию и изначально питался вековой потребностью каждого человека в уважении, достоинстве и общности с себе подобными. Муниципальный социализм, пустивший корни во многих частях Европы, являлся практическим фактом, а не воплощением теоретической конструкции; ремонт дорог, образование, санитария, парки, библиотеки, художественные галереи, музеи, трамвайные линии, больницы, телеграф, водо- и газоснабжение — все эти услуги обеспечивал муниципалитет на благо всех горожан. Для многих людей Запада социализм заменил христианскую религию в ее роли великого источника надежды на лучшую жизнь.

До сих пор шла речь преимущественно о британском опыте индустриализации и политических реформ, но через аналогичные процессы пришлось пройти всем индустриальным странам Запада. Конечно, разные европейские традиции произвели на свет довольно несхожие типы промышленной экономики — например, ничего подобного потрясению основ сельского быта, вызванному британскими огораживаниями, во Франции, Германии, Италии или Нидерландах не было. Но один аспект нового образа хозяйствования отразился на жизни всей Европы. К середине XIX века стало очевидно, что правительства не могут наблюдать со стороны, как индустриальное государство развивается «по законам», — что им придется вмешаться, чтобы ввести экономику в определенные рамки. Национальное государство, которое изначально складывалось как аппарат сбора налогов и ведения войн, в результате индустриализации обрело новую категорию обязаннос-

тей и полномочий. Если наполеоновская Франция показала, каким образом можно добиться эффективной организации национального государства, то промышленное развитие сделало такую организацию необходимой. Фокусом каждого западного общества стала централизующая и направляющая роль национального правительства. Индустриализованное национальное государство, неразрывно связанное с национальной экономикой, для политиков и простых граждан Европы превратилось в источник уверенности, безопасности, гордости и благосостояния — после определенного момента развития всякий чувствовал необходимость принадлежать к нации. Индустриализация и национализм навсегда переплелись между собой.

В остальной Европе наследие французской революции и наполеоновских войн ощущалось куда более непосредственно, чем в Британии. Большая часть континента была оккупирована французскими войсками и побывала под властью того или иного наполеоновского режима — парадоксальным результатом этого периода стал рост заинтересованности европейцев в гражданских правах и возникновение острой потребности в государстве, которое способно защитить свой народ от иноземного вторжения. Когда в 1815 году французская армия была расформирована, а марионеточные режимы низложены, многие жители Рейнского союза, Савойи, Венеции, Неаполя и самой Франции не спешили с ликованием встречать прежних правителей. Наполеон дал им новую властную и административную систему — в Италии, к примеру, он провел земельные реформы и учредил представительное правление, — а печатные машины Европы уже наводнили континент политическими трактатами, в которых объяснялись преимущества свободы, равенства и «прав человека». Кроме того, французы смогли предъявить миру могущество нации, сплоченной на основе общего языка, культуры и поголовной вовлеченности в государственные дела.

Помимо наглядного руководства к действию, в результате наполеоновских завоеваний Европа обрела и гораздо менее

сложное геополитическое деление — от 300 с лишним политических образований, существовавших до 1789 года, к 1815 году осталось лишь 38. Однако эти образования не просто превосходили своих предшественников по размерам, принципиальная разница заключалась в том, что вместо династических прав монарха посленаполеоновские государства основывались на этническом единстве. Возникшему этническому государству в течение следующего столетия было суждено стать стандартом западной цивилизации.

Процесс, начатый Наполеоном, продолжался по мере того, как созданные им государства-сателлиты объединялись в этнические политические общности. Явственнее всего обозначил происходящие перемены 1848 год, когда восстания прокатились по улицам крупных городов Франции, Германии, Австрии, Венгрии и Италии. Поводы для недовольства были самыми разнообразными: где-то толпы восставших требовали политических прав, где-то — национального суверенитета, где-то — смены правительства, где-то — просто снижения цен. К тому времени неурожай и экономический спад осложнили жизнь европейцев во многих регионах, и если голод в Ирландии выделялся на общем фоне как поистине ужасное бедствие, то в меньшей степени недостаток продовольствия в городах ощущался повсеместно. Как бы то ни было, сигналом для вольнолюбивых европейцев вновь послужили новости из Парижа — в 1848 году король Луи-Филипп вынужденно отрекся от власти в пользу новой республики, которая немедленно даровала право голоса всему совершеннолетнему мужскому населению. Итальянцам, полякам, немцам и венграм были нужны те же права — в государстве, подотчетном таким же, как они сами, простым гражданам.

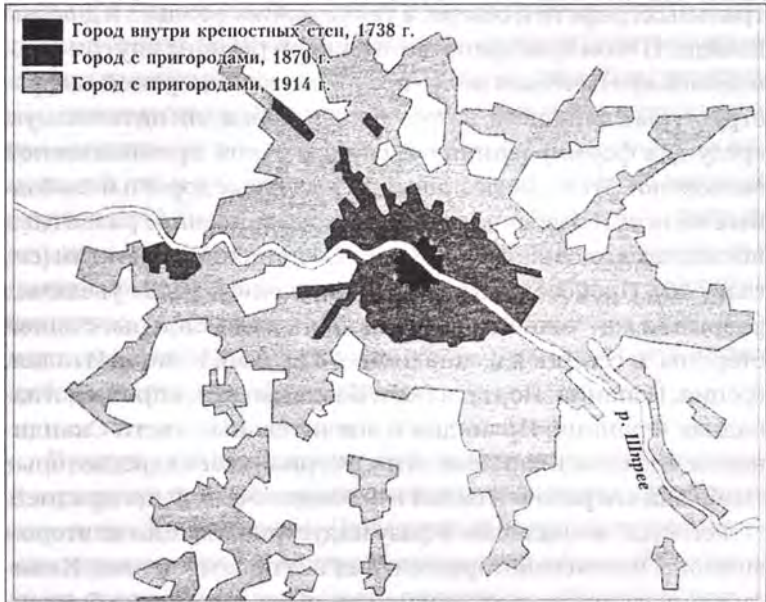
В краткосрочной перспективе кризис 1848 года не привел ни к чему. Восстание в Париже, вспыхнувшее через четыре месяца после февральской революции под лозунгом дальнейшего расширения прав, было утоплено в крови, а всего три года спустя избранный президент Второй республики (который был племянником Наполеона) в результате устроенного переворо-

та объявил себя императором Наполеоном III. В 1849 году австрийская армия нанесла поражение силам итальянских националистов под предводительством короля Карла Альберта. Тем не менее 1848 год обозначил перемену настроений европейцев. Так, немецкие либералы и консерваторы одинаково начали рассматривать германское государство с Пруссией в роли собирательницы земель как единственную возможность для политического и экономического прогресса своей родины. Именно в этом году Франция, Пруссия и Австрия впервые наделили избирательным правом всех граждан мужского пола (даже если потом временно отняли дарованное). Но национализм родился не только из потребности в централизованном индустриальном государстве — он также явился реакцией на ошеломительные перемены. Промышленный рост, урбанизация, стремительное распространение железных дорог и пароходного сообщения, за короткий срок изменившие восприятие окружающего мира до неузнаваемости, заставляли человека видеть в национализме успокоительный символ надежности и стабильности. Политики тоже довольно быстро разглядели в нем мощное стратегическое оружие.

В 1864 году Отто фон Бисмарк, тогда еще глава прусского правительства, инициировал ряд войн, целью которых было объединить германские государства вокруг Пруссии. За Датской войной, связанной с притязаниями на области Шлезвиг и Гольштейн, последовал разгром Австрии 1866 года, навсегда отнявший у австрийцев возможность влиять на немецкие дела. Унизив Австрию и получив контроль над северной Германией, Бисмарк вскоре заставил ввязаться в войну Францию. До начала франко-прусской войны 1870 года Франция не представляла серьезной угрозы ни одному из германских государств, однако образ Пруссии, защищающей Германию от старинного врага, убедил южногерманские земли присоединиться к северным соплеменникам. В январе 1871 года в Версальском дворце, когда французская армия была уже повержена, прусский король Вильгельм I был провозглашен императором Германии.

Разгром Наполеона III привел и к выводу французского гарнизона из Рима, что стало завершающим актом долгого объединения Италии. Еще раньше, в 1867 году, под давлением венгерских националистов Австрийская империя преобразовалась в двуединую монархию — Австро-Венгрию. К 1870-м годам территории многочисленных герцогств, княжеств, вольных городов и империй Европы оказались четко поделены группой континентальных держав: Францией, Германией, Италией, Австро-Венгрией и Россией — за исключением юго-востока, по-прежнему подконтрольного Османской империи. Бисмарк ввел всеобщее избирательное право для мужчин, то же самое вновь сделала Третья республика, учрежденная во Франции после поражения 1871 года. Расширение политических прав произошло также в Италии и Австро-Венгрии.

Посреди этих политических и геополитических трансформаций различные регионы Европы каждый по своему переживали трансформацию экономическую. Предпринимателей, политиков, землевладельцев, технических специалистов снадало желание повторить пример Британии, показавший, какие огромные дивиденды способны дать вложения в индустриальное производство. Тем не менее резкий промышленный рост нельзя было «запустить», имея только желание и деньги, для него требовались определенные условия. Как следствие, индустриализация оказалась не столько национальным, сколько региональным феноменом: там, где было вдоволь угля, железной руды и развитое судоходство — в Бельгии, Рурской области, Богемии, северо-восточной Франции и Соединенных Штатах, — там индустриализация началась довольно скоро, другим же регионам понадобилось значительно больше времени, а некоторые и вовсе остались территориями с преобладанием сельского хозяйства. Этой последней категории пришлось несладко вдвойне, когда промышленный рост резко повысил городские расценки на рабочую силу и промышленные товары, в числе прочего вызвав массовую эмиграцию из аграрных областей Европы в Соединенные Штаты.



Рост индустриальной столицы:
Берлин в 1738, 1870 и 1914 гг.

Регионом Европы, который индустриализация охватила первым, было ее старое франкское ядро — северная Италия, Австрия, Богемия, долина Рейна, Рур, северо-восточная Франция и исторические Нидерланды; это ядро расширилось на востоке за счет Пруссии и Силезии и на севере за счет прибавившихся к английскому юго-востоку промышленных центральных графств и севера, а также южного Уэльса и долины Клайда. В этом пространстве, и каждом регионе внутри него, имелась критическая масса ресурсов, транспортной инфраструктуры и финансов, которые и образовывали питательную среду для формирования самодостаточной промышленной экономики. Уголь, железная руда, железные дороги и свободный капитал обеспечили быстрое промышленное развитие в последних десятилетиях XIX века Соединенным Штатам (см. главу 15). Процесс индустриализации еще больше увеличил разрыв между южной и восточной частями Европы, с одной стороны, и северной и западной — с другой. Южная Италия, Греция, Испания, Португалия и Балканы, как, впрочем, и западная Франция, Ирландия и значительные части Скандинавии, сделались окраинами индустриального ядра, которые снабжали его рабочей силой и земледельческой продукцией.

Регионы, вступившие в фазу индустриализации во втором эшелоне, имели некоторые очевидные преимущества. К концу XIX века механическое и прочее оборудование на британских фабриках уже серьезно устарело, однако продолжало работать, несмотря на появление новых, более совершенных и быстрых станков. Многие британские фирмы к 1900 году представляли собой семейные предприятия во втором или третьем поколении, и консервативные инстинкты значительно осложняли им конкуренцию с европейскими и американскими новичками. Германии, к примеру, удалось захватить господство в новой, появившейся только в 1870-х годах, химической промышленности — британским фирмам приходилось нанимать немецких химиков, чтобы те возглавляли их лаборатории и обучали персонал. Американская продукция занимала передовые позиции в таких сферах, как типограф-

ское оборудование и электромеханика, — оборудование для электрифицированной лондонской «подземной дороги» поставляли и настраивали именно американцы. На протяжении жизни двух поколений страны северо-западной Европы и Соединенные Штаты догнали и обогнали Британию как первую страну победившей индустриализации. Конкурентный характер промышленного развития начал играть существенную роль по мере того, как фирмы стали бороться друг с другом за долю рынка, а не просто искать способов повысить эффективность производства. Принципиальная зависимость промышленного капитализма не только от непрерывных инноваций, но и от непрерывного разрушения (факт, впервые отмеченный Йозефом Шумпетером в 1930-х годах), вряд ли осознавалась в конце XIX века, однако ее эффект проявился в полную силу уже тогда. Семейная привязанность, традиции культуры, сплоченность коллектива, человеческая солидарность — ничто из этого не было в силах противостоять натиску беспрестанного обновления.

В результате индустриальной гонки и массовой миграции в города жизнь западноевропейского общества преобразилась в крайней степени. Невиданный прирост численности населения и возникновение новых категорий людей — городского среднего класса и промышленного рабочего класса — сделали жизнь принципиально отличной от всего, чтобы было раньше. Как эти перемены сказались на культуре? И если искусство всегда служило для отражения глубинных качеств человека, о которых меняющийся мир вынуждает забывать, то какова была реакция художников на непривычность, разрушительность и новаторство индустриализации?

Историками культуры и искусства XIX век воспринимается как период неоднозначный. Разделение истинного искусства и примитивного ремесленничества, которое впервые произошло в Италии времен Ренессанса, к XVIII веку уже институционально закрепили многочисленные академии художеств и отдельная прослойка собирателей, знатоков и кри-

тиков. Вскоре в результате наступления промышленного механизированного производства практически исчез сам феномен ремесленного мастерства. И тем не менее, если искусствоведы и выделяют основную характеристику живописи, скульптуры и особенно архитектуры XIX века, то это отсутствие собственного лица. Словно ослепленные разнообразием доступных исторических стилей, архитекторы той поры возводили готические храмы, барочные театры, классические, в подражание Греции, муниципальные здания, а также другие постройки, которые воплощали смешение всевозможных приемов и принципов. Эрнст Гомбрич, и не только он, с сожалением указывал на утрату архитектурной индивидуальности в то самое время, когда строительство начали вести в невиданных ранее масштабах.

Однако не исключено, что именно масштабы лишили зодчество стилистического стержня. Окруженные множеством утилитарных построек, жилых домов и фабрик, архитекторы и заказчики в первую очередь стремились к тому, чтобы церкви, библиотеки и музеи выделялись на сером фоне. Они рассматривали простоту как знак бедности и отсутствия воображения, поэтому строили как можно более пышно и декоративно. Лучшие постройки XIX века избегали этой дилеммы, поскольку проектировались с конкретной целью. Железнодорожные вокзалы, виадуки и мосты, как, впрочем, и пароходы и паровозы, составили славу не только инженерии индустриального века, но и его визуального искусства.

Между тем живописцы больше не были скованы священной библейской или мифологической тематикой. События недавнего прошлого и настоящего вполне позволяли им соревноваться со старыми мастерами за внимание публики. Жак-Луи Давид (1748–1825) запечатлел события французской революции, в том числе убийство Марата и переход Наполеона через Альпы, почти сразу после того, как они случились, а такие художники как Уильям Блейк (1757–1827) и Франсиско Гойя (1746–1828) воплощали собственные видения, не задумываясь об условностях или желаниях покрови-

теля. Собственно, нужда изображать людей исчезла вообще. До той поры вызывавшие лишь незначительный и второстепенный интерес, пейзажи сделались центральной темой европейского изящного искусства.

Творчество таких художников, как Гёйя, Блейк или Дж. М. У. Тернер (1775–1851), показывает нам, как в изменении тематики произведений живописи можно уловить изменение представлений о предназначении художника и искусства. Художники всегда писали на заказ, и даже те немногие, которых Ренессанс превратил в знаменитостей, продолжали работать по поручению. Напротив, большинство художников XIX века оказались в ситуации, когда им понадобилось искать рынок сбыта для своих работ, а значит, подбирать сюжеты, способные завлечь покупателей, — ситуации, которая имела самые глубокие последствия. Художнику теперь приходилось творить в расчете на то, чтобы понравиться, до того как картину купили, а не после того как ее заказали. Поскольку такое предугадывание несло явную угрозу — нацеленное на благосклонность максимального числа потенциальных потребителей, искусство тускнело и делалось шаблонным, — немедленно возник противоположный импульс: серьезные художники, чувствовали, что работа ради денег обесчестила бы творчество (которое, вслед за Рембрандтом, они считали средством выражения внутреннего мира), и потому подчеркнуто бросали вызов расхожим вкусам. Художник как фигура превратился в абсолютного романтика, то есть человека, рискующего прозябать в бедности и безвестности, но остающегося верным искусству. Именно такое представление о художнике — полная противоположность публичному покровительству и преклонению, которые когда-то вознесли на вершину Микеланджело, Рафаэля и Тициана, — навсегда вошло в нашу жизнь.

Чтобы картина культуры XIX века предстала в более полном свете, не следует забывать, что живопись — лишь один из множества родов искусства. Если оглянуться назад, становится очевидным, что разные формы расцветали в разное время. Живопись итальянского Ренессанса оставляет такое

глубокое впечатление потому, что она еще не утратила связь с духовным предназначением церковной росписи. Однако это не могло продолжаться долго — когда роспись превратилась в живопись, она укрылась от глаз народа и перестала быть воплощением культуры, в недрах которой родилась. В XIX веке то же самое произошло и с другим инструментом культуры. Устная традиция как неотъемлемая часть европейской жизни за несколько столетий безустанной работы тысяч печатных машин трансформировалась во что-то совсем иное. Как и масляная живопись прежде, это иное — художественная проза — опиралось на технические и прочие новации эпохи — печать, системы транспортировки и распространения, концентрацию человеческой массы в городах, чья бурная жизнь являла разительный контраст между богатством и бедностью, — чтобы одновременно завладеть вниманием аудитории и обратить его на человеческую драму, разворачивающуюся на фоне эпохи. Произведения Диккенса, Гаскелл, Элиот, Теккерея, Бальзака, Пюго, Флобера, Золя, Тургенева, Толстого, Достоевского, Готорна, Твена, Мелвилла, Харди и множества других романистов изобиловали происшествиями и характерами и обнимали огромные расстояния во времени и пространстве, но не создавались как искусство ради искусства — они писались для аудитории, причем аудитории, как правило, состоявшей из подписчиков еженедельных или ежемесячных журналов. В XIX веке колоссальные массы грамотного населения Европы и Америки поглощали романы, как, впрочем, и газеты с журналами, с той скоростью, с какой они выходили в свет.

Роман XIX века напрямую обращался к людям, чья судьба вырвала из вековой рутины сменявших друг друга поколений, живших в одном и том же доме, возделывавших одни и те же поля и служивших одному и тому же хозяину, и забросила в бурно и драматически меняющийся мир. Но лучшие романы были далеки от того, чтобы внушать читателю утешительную уверенность — они давали повод задуматься над непростыми вопросами: смыслом религии, смыслом суще-

ствования в жестоком мире, соотношением всеобщих принципов морали с конкретным человеческим страданием и т. д. В таких книгах, как «Миддлмарч» Джордж Элиот, великие вопросы жизни и политики обсуждали не короли и военачальники, а «простые» люди среднего сословия.

Тогда как живописцы и поэты шли романтической стезей, уводящей прочь от обыденной жизни, фигура романиста возрождала идею художника как ремесленника: подобно средневековым резчикам по дереву и серебряных дел мастерам, они были умелыми людьми, живущими не в стороне от общества, а в самой его гуще. Оглядываясь на истоки рассказчицкого искусства (см. главу 1), мы понимаем, насколько такой писатель, как, например, Чарльз Диккенс (1812–1870), знал свое дело. Его сюжеты о юношах из обеспеченных семей, которые попадают к дурным людям или соприкасаются с жизнью низших классов, прежде чем обрести спасение и вернуться на законное место в обществе, часто трафаретны. Однако Диккенс знал, что соблюдающая условности фабула (которая искусно играла на надеждах и страхах аудитории) нужна лишь для того, чтобы завлечь читателей в свой мир — стоило им попасть туда, как он приглашал их к самому фантастическому и оригинальному комическому пиршеству, которое когда-либо до этого предлагалось на потребу читающей публики. Понимая, как важно для этих людей удерживаться в жизни на натянутом канате благородной респектабельности, Диккенс сплетал из рискованных ситуаций, заблуждений и самообмана, к которому они прибегали, чтобы не рухнуть, головокружительный комический танец. Разве мог сколь угодно искусный живописец соперничать с изображением подобного мира? Не удивительно, что роман в руках самозабвенного мастера оставил позади все прочие жанры искусства.

Романы читали все грамотные европейцы, но в первую очередь предназначались для среднего класса — черпая жизненную силу в искусстве устного рассказа, они тем не менее были частью буржуазной культуры, закрытой для массы рабочего населения. Что касается трудящегося большинства,

оно жило тем, что получилось в результате трансформации традиционной культуры мелких сельских сообществ в безрадостной среде рабочих кварталов и фабрик индустриальной Европы. Это уникальное детище промышленной революции — городская рабочая культура — служило предметом насмешек и презрения со стороны современников, стоявших выше на социальной лестнице, и, к сожалению, осталось (по крайней мере, в Европе) вне интересов и досягаемости последующих историков. Отгороженные от среднего класса люди, больше других пострадавшие от индустриализации, нашли возможность построить совершенно новый тип общинной жизни. Городской промышленный пролетариат — лишенный корней, удерживаемый в бесправии, объединенный тяжелым положением — сумел создать устойчивую и отличительную культуру именно потому, что не был ничем обязан культуре вышестоящих и ничего от нее не хотел.

Неформальные объединения и формальные институты явились естественным следствием общей для всех рабочих ситуации. Методистские молельни, кооперативы, профсоюзы, рабочие клубы, кредитные общества, рождественские кассы, футбольные лиги довольно быстро становились неотъемлемой частью жизни индустриальных городов. У многих рабочих водились кое-какие лишние деньги, им требовались места, где они могли бы слушать музыку, танцевать и выпивать, им были нужны журналы, увеселительные парки и возможность выехать на пикник к морю. Те из людей с положением, кого заботило бесправие рабочих, хотели во всех смыслах очистить их быт, выволить из убожества городов и вернуть в сельские мастерские. Но рабочим не было дела до чужих добрых намерений: городская жизнь вошла в их кровь, на почве взаимопомощи и общности интересов в их среде складывалась собственная, отличительно городская культура. По большей части работа была монотонной рутинной, но многие рабочие гордились своей профессиональной доблестью, знаниями и умениями. Сегодня тысячи и тысячи любопытствующих стекаются в музеи, где демонстрируются ис-

правно функционирующие паровые двигатели и мельничные колеса, «традиционные» ткацкие и печатные станки, — людям, обслуживавшим эту технику, приходилось бороться за достойные условия труда и уважение со стороны работодателя, однако мы не должны забывать о неизменной привязанности, которую многие из них питали к вверенным их попечению механизмам, — для этих людей работа служила источником статуса, уважения и достоинства.

К концу XIX века европейский пролетариат начал оправляться от травм индустриализации и урбанизации. Он постепенно отвоевывал для себя минимальное благосостояние, начальное образование, кое-какие права на рабочем месте и кое-какие социальные гарантии; он также сумел создать собственную культуру, фундаментом которой была общая для рабочих социальная ситуация и новая городская среда обитания. И все-таки большинство европейцев по-прежнему жили на грани бедности, среди удручающе серых и однообразных домов и улиц, трудились в качестве живых придатков к промышленному оборудованию. И то, чего им удавалось добиться в плане грамотности, образования и материального благосостояния, лишь сильнее подогревало страхи и подозрения людей, стоявших выше на социальной лестнице, — в глазах этих последних рабочие выглядели новым воплощением варварства. Европа, и Британия в особенности, подходила к концу великого столетия индустриализации, отягощенная взаимными страхами, недоверием и невежеством в отношении друг друга, которые пронизывали классовые отношения.

Викторианская Британия занимала главенствующее положение в Европе на протяжении XIX века и оставила после себя наследство, самым серьезным образом повлиявшее на события века XX. Обеспеченные викторианцы полагали, что им удалось решить все общественные проблемы и что исповедуемые ими порядочность, сдержанность и благовоспитанность воплощают высочайшее достижение цивилизации. Их убежденность в торжестве прогресса подпитывалась не толь-

ко непрерывным развитием технологий, но и привычкой прятать подальше от глаз следы бедности (за опрятными стенами домов призрачного) и конфликтов (в других частях света, где они воевали с народами, вооруженными копьями и плетеными щитами). Оглядываясь назад, мы видим, насколько иллюзорной была их вера в прогресс и насколько напрасны надежды на всемирную гармонию, которая должна наступить вследствие победы просвещенного эгоизма. К концу XIX века Британия и Европа полным ходом двигались не к более совершенному обществу, а к катастрофе тотальной механизированной войны.

Глава 15

ОТ АГРАРНЫХ КОЛОНИЙ К ИНДУСТРИАЛЬНОМУ КОНТИНЕНТУ

Становление современной Америки

Всего за столетие с небольшим Соединенные Штаты сумели превратиться из кучки прибрежных колоний с небольшой полосой материковой земли, живших рыболовством и сельским хозяйством, в индустриальный континент, сплоченный транспортной и коммуникационной инфраструктурой в экономическое и культурное целое. Процесс становления этого современного гиганта вобрал в себя все возможные проявления человеческого духа — героизм, войну на истребление, насилие, идеализм, алчность, самоотверженность, — увеличенные до невероятных масштабов. Освобождение от всего, что стесняло их на родине, обернулось для миллионов европейских иммигрантов источником и благоприятных возможностей, и новой эксплуатации; но при том, что коррупция, геноцид и безудержная жажда наживы составляли неотъемлемую характеристику героической эпохи американской истории, это огромное, не укладывающееся в привычные рамки бурление человеческой активности породило совершенно новую культуру — культуру, давшую голос людям, с рождения обреченным жить в мире машин, работы от звонка до звонка и обезличенного городского быта.

Преобразование Америки началось в 1804 году, когда президент Томас Джефферсон заключил с Францией сделку об удвоившей размер страны Луизианской покупке и направил экспедицию для исследования новых земель. 21 мая Мериуэзер Льюис и Уильям Кларк в сопровождении 44 человек двинулись из прикордонного городка Сент-Чарльз с поручением исследовать западные территории и найти путь к Тихому океану. Тремя годами позже, проделав путь в 7 тысяч миль, они вернулись с новостями о нетронутых землях, лежащих за Аппалачами и Миссисипи, — необыкновенных, плодородных и почти беспредельных. Западу предстояло стать новым лицом Америки.

Во время обретения независимости население Соединенных Штатов составляло около 2,6 миллиона человек; к 1810 году оно увеличилось до 7,2 миллиона, а к 1820 году до 9,6 миллиона человек — в первую очередь благодаря постоянному притоку иммигрантов из Британии. Перед новоприбывшими было два пути: на запад, по следам Льюиса и Кларка, и на юг, где можно было нажиться на хлопковой лихорадке. В условиях, когда федеральное правительство предлагало целинную землю на продажу по цене 2 доллара за акр при минимальной покупке в 160 акров (позже цену снизили до 1,25 доллара при минимуме в 80 акров), число штатов стало расти так быстро, как только успевали селиться люди, — за шесть лет после 1815 года их стало 24, на шесть больше. Однако люди шли дальше на запад, за официальные границы Соединенных Штатов, тем самым практически вторгаясь на территорию иностранных государств — Орегон был частью принадлежавшей Британии провинции Ванкувер, Калифорнией и юго-западом владела Испания, а в «незаселенной» части посередине обитали равнинные индейские племена.

В 1840-е годы вереницы повозок переправлялись через Миссисипи и следовали вдоль ее западных притоков, пока не достигали гор. Сохранившиеся карты показывают старые пути на запад, ведущие из Омахи по берегу реки Платт, пересекающие водораздел Скалистых гор у города Ларами и даль-



Рост Соединенных Штатов за счет западных земель

ше либо следующие Калифорнийской тропой через пустыню до хребта Сьерра-Невада, либо поворачивающие на север вдоль реки Снейк по Орегонской тропе. Эти переходы были одновременно эпическими странствиями в неизведанное и значительными событиями реальной истории. Пионеры-поселенцы американского Запада, пестрая смесь фермеров и авантюристов, становившиеся прародителями новой нации, также были частью более широкого явления. В XIX веке численность населения Европы росла невиданными прежде темпами, что поддерживалось огромным количеством земель, поступавших в сельскохозяйственный оборот. Пока первопроходцы двигались на запад, преобразуя прерии в фермерские владения, европейцы осваивали и культивировали огромные просторы Сибири, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южной Америки и Африки.

Заселение американского Запада шло стабильно и неспешно, пока в январе 1848 года в реке у калифорнийского поселка Колома не было найдено золото. В 1846 году Соединенные Штаты, получившие до этого отказ на предложение выкупить Калифорнию у Мексики, взяли ее силой. В 1847 году Мексика уступила Калифорнию и юго-запад и перестала притязать на территорию Техаса — Соединенные Штаты, по словам нью-йоркского журналиста Джона Л. Салливана, исполнили «предначертание судьбы простереться по всему континенту». Если за период 1841–1847 годов с востока на западные территории отправилось около 15 тысяч человек, то в 1849–1850 годах, после того как открыли золото, это путешествие совершили 75 тысяч, а к 1854 году общее число составило 300 тыс человек. Только в 1849 году больше 500 судов совершило долгий переход вокруг Южной Америки, чтобы доставить первопроходцев в Калифорнию, а многие отбывали прямо из Европы. Золотая лихорадка изменила не только численность, но и состав переселенцев. На смену патриархальным фермерам пришли одиночки, беглецы от правосудия и охотники за удачей. В 1835 году Алексис де Токвиль писал, что в характере Америке соседствуют два импульса:



Мировая миграция населения в XIX веке

В глобальном переселении людей в XIX в.

самую значительную часть составляла миграция европейцев в Северную Америку

коллективистское побуждение делиться и отдавать, взаимная заинтересованность и поддержка, с одной стороны, и безоглядное стремление нажить как можно больше денег — с другой. Феномен Дикого Запада во многом вырос из этих полярных импульсов, и в нем они проявились как нигде более разительно.

Когда Америка повернулась к западу, люди, населяющие ее, впервые стали осознавать, насколько их новая страна отличается от Европы. И если в Европе распространение романтических воззрений на природу стало ответной реакцией на господство рационализма и первые шаги индустриализации, то жители Нового Света начали оглядываться на окружающий их природный мир в поисках более глубокого понимания того, что значит быть американцем. В сочинениях Генри Дэвида Торо и Уолта Уитмена мы прослеживаем сознательную попытку зафиксировать особую связь их соотечественников с природой Северной Америки, а Ральф У. Эмерсон, Натаниель Готорн, Герман Мелвилл, Эмили Дикинсон, Джеймс Одиубон, Марк Твен и позже Уилла Кэсер и другие, творившие в условиях ни на что не похожей природной и общественной среды, воплотили в своих произведениях сложившийся в этой среде уникально американский тип художественной восприимчивости и культуры. Уитмен, изъездивший всю страну, писал, что старается «распеленать сознание еще не обретшей форму Америки, освободить его от предрассудков, избавить от затянувшегося, неотступного, сковывающего наследства антидемократических авторитетов азиатского и европейского прошлого». Америка (насколько поэтичнее это звучало, чем Соединенные Штаты!) должна стать новой страной, отвернувшейся от Европы и метафорически, и культурно.

Американцы (или, точнее, американцы европейского происхождения) заселяли, как им казалось, ничейную землю, лишенную чего-либо, что заслуживало называться историей. Отделавшись от коренных жителей, они получали в распоряжение пустынный, безлюдный край, где раздоры и предрассудки, вражда и история Европы растворялись, как если

бы их никогда не было. Америка не имела ни своей Басконии, ни Ольстера, ни Эльзаса с Лотарингией, ни Шлезвиг-Гольштейна, ни Косово, права на которые нужно было отстаивать или оспаривать, за которые нужно было убивать других и гибнуть самому. Всякий американец обладал равными правами на свою страну.

При этом избавление от европейских конфликтов не избавляло белых американцев ни от насущной проблемы взаимоотношений с туземным населением, ни от хронической язвы рабства. Массовый геноцид коренных американцев начался только после гражданской войны (см. ниже в этой главе), однако признаки надвигающейся катастрофы проявились в тот самый момент, когда заселение Запада начало принимать солидные масштабы. Насилие, диктовавшее свои законы на Диком Западе, рождалось не столько из преобладания среди его покорителей авантюристов-одиночек, сколько из свойственного новым американцам (как и многим их предшественникам и наследникам) ощущения неприкаянности. Если иммигранты-европейцы первого поколения еще имели корни на родине, то у их детей не было особой привязанности ни к стране своего происхождения, ни к новому обиталищу. Пока пришельцы держались восточных прибрежных земель, пытаясь выстроить здесь «новую Англию», необычность положения не представляла особой проблемы. Но как только европейцы отправились в странствие, забросившее их в необъятное и незнакомое пространство — где каждый город был в точности похож на другой, где ни история, ни культура не связывали с местом жизни, — ощущение неприкаянности, оторванности от корней стало важнейшим фактором существования. Подстегиваемые этим ощущением, они с убийственной жестокостью расправлялись с народами, чьи культурные и социальные обычаи имели корни в этой земле, выстраивали собственные общины на фундаменте письменных законов, исполняемых под страхом суровой кары, и требующих столь же неукоснительного почитания, проникнутых кальвинистским духом христианских идеалов.

Проблема рабства обернулась для новой страны еще большим вредом. Промышленная революция в Англии серьезно повлияла на структуру заселения Соединенных Штатов, положив начало неисчерпаемому, как казалось, спросу на американский хлопок, — его производство с 1820 года удваивалось с каждым десятилетием, пока в 1860 году объем вывозимого хлопка в денежном выражении не стал вдвое превышать объем остального американского экспорта. Хлопковая лихорадка привела в гигантскому скачку численности рабов — с примерно 800 тысяч в 1776 году до 1,5 миллиона в 1820 году и 4 миллионов в 1860 году. Кроме солидных прибылей от хлопка, сахарного тростника и табака, южане неплохо зарабатывали и на самой работоторговле — цена одного раба составляла около тысячи долларов. На фоне того, что в остальном западном мире рабства практически не осталось, а политические права становились доступны все более широким слоям, американский Юг чем дальше, тем сильнее склонялся к тому, чтобы считать себя неким особым местом, исключительной, отличной от северных штатов культурой, и определенно не был настроен терпеть какое-либо вмешательство в свои внутренние дела.

На протяжении большей части первой половины XIX века между штатами Союза существовало юридическое и политическое разделение. Если северные штаты поставили рабство вне закона, то южные все сильнее зависели от эксплуатации невольничьего труда. Несколько десятилетий это напряженное соседство продолжало существовать, однако многие предвидели, что оно должно вылиться либо в гражданскую войну, либо в раскол страны. Еще в 1820 году Томас Джефферсон писал: «Этот существеннейший вопрос [рабства], подобно пожарному колоколу посреди ночи, будил меня и переполнял ужасом. Однажды я услышал в нем похоронный звон по нашему Союзу». Три десятилетия спустя Авраам Линкольн выступил со своей поистине пророческой речью: «Дом, разделенный против себя, не устоит. Я верю, что это правление неспособно продержаться долго, будучи наполовину рабовладельческим,

наполовину свободным. Я не жду, что Союз распадется — я не жду, что дом падет, — но я жду, что он перестанет быть разделенным. Он станет либо целиком одним, либо целиком другим».

В целом настроенные против рабовладения, северяне не стремились навязывать южанам его отмену. Фабрики Массачусетса неплохо зарабатывали на южном сырье, которое они превращали в одежду и обувь и выгодно сбывали тому же Югу. Граждане северных штатов знали, что Юг скорее отделится, чем откажется от рабства, а мысль о том, чтобы воевать за целостность Союза, большинству из них не приходила в голову. Как недавно заметил Луис Менанд: «Хотя мы рассматриваем гражданскую войну как войну за сохранение единства и отмену рабства, основная масса населения до начала боевых действий считала эти два идеала несовместимыми». Ситуация изменилась в связи с определенными событиями, произошедшими перед самой войной, однако в сознании всех американцев она сохраняла свой смысл еще очень долго.

В 1857 году дело Дреда Скотта, раба из Вирджинии, который утверждал, что после многолетнего рабского труда в Иллинойсе он имеет право на свободу, было представлено на рассмотрение Верховного суда. Вынесенный вердикт, на стороне которого выступили семь судей-южан, гласил, что, во-первых, Скотт не считается гражданином США и потому не имеет права обращаться со своим делом в суд; во-вторых, он житель рабовладельческого штата и не может претендовать на права по закону другого штата; наконец, он является собственностью хозяина, по статусу ничем не отличающейся от хозяйственного животного, и поэтому суд не имеет права лишать его хозяина законной собственности. Постановление суда, вызвавшее глубокое негодование, тем самым официально исключало легальную возможность для северных штатов освобождать рабов с Юга.

Новая территория Канзас лежала к северу от согласованной линии, разделяющей рабовладельческие и свободные штаты, однако в 1854 году конгресс законодательно закре-

пил право решить вопрос о рабстве за ее обитателями. Несогласные с этим законом политики образовали новую, Республиканскую партию, а в самом Канзасе развернулось жестокое противостояние между поселенцами, выступавшими за и против рабства. Джон Браун, посвятивший жизнь борьбе с рабовладением и желавший изгнать из Канзаса поселенцев-рабовладельцев, в 1859 году был схвачен в Харперс-Ферри после убийства мэра городка и захвата федерального армейского арсенала. Осужденный и повешенный в Вирджинии, в глазах Юга он был преступником, но для многих северян навсегда остался мучеником.

Ко времени президентских выборов 1860 года на Республиканскую партию, провозгласившую своей целью недопущение распространения рабства, большинство южан смотрели как на перешедшую всякие границы дозволенного. Выдвинув кандидатом в президенты Авраама Линкольна, человека с репутацией аболициониста, республиканцы заслужили непримиримую вражду. Внутри Демократической партии размежевались северная и южная фракция, каждая из которых пошла на выборы со своим кандидатом. Благодаря этому Линкольту, проигравшему во всех южных штатах, удалось выиграть в большинстве северных и западных, что дало 40 процентов голосов всего населения и сделало его президентом расколовшейся страны. 4 февраля 1861 года, за месяц до формального вступления Линкольна в должность, семь штатов, принявших к тому времени решение о выходе из Союза (позже к ним присоединились еще четыре), объявили об образовании нового государства, Конфедеративных Штатов Америки, во главе с президентом Джефферсоном Дэвисом, бывшим сенатором от Миссисипи.

В своем инаугурационном обращении Линкольн не обещал поставить рабство вне закона — он даже предложил сделать право на рабовладение частью конституции Соединенных Штатов. Однако он не мог допустить распространения рабства или отделения любого из штатов от Союза. Правда, что именно сказал Линкольн, было не так уж важно, — южан охва-

тила эйфория: собственная смелость и новизна положения, в которое они себя поставили, лишили их всякого желания к компромиссам. Они брали под контроль федеральные таможенные посты и почтовые конторы, находившиеся на их территории, и увлеченно обсуждали перспективы.

Критической точки противостояние достигло в начале апреля 1861 года, когда события в форте Самтер, аванпосте федералов в мятежном штате Южная Каролина, приковали к себе внимание всей нации. Возвышающийся на острове посреди гавани города Чарлстон, форт являлся собственностью федерального правительства и подчинялся его приказам — руководствуясь этим, командир форта майор Андерсон отказался добровольно передать свой пост конфедератам. 12 апреля 1861 года генерал Борегар, один из военачальников конфедератов, открыл по форту огонь, а спустя три дня Линкольн заявил о намерении водворить федеральную власть на Юге силой. Пограничные рабовладельческие штаты Вирджиния, Северная Каролина, Теннесси и Арканзас, которые пришли в негодование от такого решения, без промедления присоединились к Конфедерации. Линия фронта тем самым была наконец обозначена.

В ответ на призыв Линкольна, объявившего о наборе 75 тысяч добровольцев, молодые люди стали стекаться в Вашингтон и в пункты сбора со всего Севера. Учитывая довоенные настроения северян, не может не возникнуть вопрос об истоках этого горячего желания многих отправиться воевать против Юга. Большинство, по всей видимости, двигала искренняя вера в необходимость сохранения Соединенных Штатов как целостного государства. На первый взгляд это кажется удивительным. Соединенные Штаты не были ни древней нацией, выросшей из вековой клановой и племенной общности, ни объединением поданных, скрепленным преданностью суверену. Федеральное правительство являлось слабым, находилось даже в некотором упадке и вмешивалось в дела отдельных штатов как можно реже. Тем не менее трезвый и одновременно искренний порыв встать на защиту Союза демон-

стрировал, что у людей существовало глубокое понимание сути дела. Декларация об отделении была встречена на Севере с изумлением, а приходившие с Юга вести о глумлениях над почитаемой эмблемой — звездно-полосатым флагом — вызывали шок. Союз был к тому времени символическим центром американской жизни — с не меньшим пылом, чем граждане Севера, его отстаивали и такие южане, как Эндрю Джексон (уважение к нему с детства впитывалось каждым американцем на школьных уроках истории, через ритуалы Дня благодарения и Дня независимости). Что бы северяне ни думали до конфликта, в ситуации начавшейся войны они знали, что поражение обернется непоправимым уроном для идеалов, на которых основана их страна, и предательством всего, за что должен стоять любой американец. Довоенная Америка уже была Америкой, которая ощущала себя идеальным творением — нацией, созданной для того, чтобы воплощать и творить добро.

Линкольн быстро понял, что оккупация Юга войсками Союза не принесет желаемого результата, — вместо этого необходимо было заставить южан ввязаться в драку и нанести им разгромное поражение. Слишком оптимистически оценивавший размер стоящей перед ним задачи, Линкольн тем не менее с самого начала отдавал себе отчет, что единственным приемлемым результатом будет полная военная победа. Благодаря таким военачальникам, как Роберт Э. Ли и его правая рука Томас «Каменная стена» Джексон, южане долгое время после начала боевых действий имели преимущество в стратегическом руководстве. На более позднем этапе северянам удалось найти военачальников — в первую очередь Улисса С. Гранта и Уильяма Шермана, — сумевших наконец воспользоваться их численным и техническим преимуществом. Ли показал себя решительным полководцем, который, не дожидаясь вторжения противника, совершил бросок на Север в расчете на то, что поражение на собственной территории заставит армии Союза сложить оружие. Ему едва не удалось одолеть северян у Антиетама в Мэриленде в сентябре 1862 года и у

Геттисберга в Пенсильвании в июле 1863 года «Недоделки» южан позволили Гранту пройти с армией вниз по Миссисипи и затем через Теннесси в 1863 году, и впоследствии изрядно потрепать отряды Ли в Вирджинии в конце 1864 года. Развивая это стратегическое наступление, Шерман выступил в поход от Теннесси через Джорджию к атлантическому побережью, разделяя Юг надвое и изолируя его армии друг от друга. Ли пришлось признать неизбежное: решив не обрекать своих людей на продолжение бессмысленной бойни, он сдался генералу Гранту в вирджинском городке Аппоматокс 9 апреля 1865 года.

Хотя война начиналась как сражение за Союз, в конце 1862 года Линкольн и его правительство объявили рабство вне закона, а всех рабов свободными. Президент также предоставил всем штатам легальную возможность не попадать под действие закона, если до 1 января 1863 года они отменят решение о выходе из Союза, — в противном случае все рабы на их территории навсегда получали свободу. Конгресс поддержал президента, и Прокламация об освобождении была принята как закон. Обретя аболиционистское содержание, дело Союза получило огромную дополнительную поддержку: рабы на Юге с огромным риском для жизни убегали с плантаций, действовали как проводники для наступающих северных войск и укрывали бойцов Союза, изолированных за линией фронта. Как только им позволили, они также начали сражаться — к концу войны в 166 северных полках насчитывалось до 180 тысяч чернокожих солдат.

19 ноября 1863 года Линкольн присутствовал на церемонии освящения части поля Геттисбергской битвы в качестве кладбища павших за Союз. Его короткое обращение к собравшимся начиналось с призыва вспомнить историю: «Восемь десятков и семь лет минуло с того дня, как отцы наши создали на этой земле новую нацию, основанную на идеалах свободы и свято верящую, что все люди созданы равными...» — и заканчивалось обещанием демократии: «Власть народа, волей народа, для народа не сгинет во веки веков».

Конституция Соединенных Штатов ничего не говорит о равенстве, и предшествующие этому моменту 80 лет страна мирилась с распространением рабства. Чтобы вдохнуть новую жизнь в идеалы Америки, Линкольну понадобилось обратиться к тому, что было старше конституции — к словам Декларации независимости: «Мы исходим из той очевидной истины, что все люди созданы равными...». Так долго оставившие в забвении эти прекрасные слова, были ли готовы люди Америки — те, кто воевал за отмену рабства, — воплотить их в жизнь?

Линкольн как президент возглавлял страну и в самом начале войны, и в ее конце (он был переизбран подавляющим большинством в 1864 году). Конгресс вместе с президентом посвящали войне все силы, однако им удалось достичь гораздо большего. Впервые за долгое время политическая машина конгресса не находилась во власти непримиримого противостояния Севера и Юга, отравлявшего его деятельность на протяжении полувека. Если до войны Юг неизменно сетовал на то, что северный капитал, сосредоточенный в Нью-Йорке и Бостоне, контролирует всю страну, то военная администрация заключила союз с этим капиталом и построила инфраструктуру, которая принесла ей победу. Правительство нуждалось в железных дорогах, оружии, стали, обмундировании, кораблях, боеприпасах и снаряжении, поэтому промышленности пришлось взяться за работу. За время войны прибыли были колоссальными, а после подписания капитуляции возвратившиеся солдаты вложили в экономику около 70 миллионов долларов в виде жалованья и пенсий, что дало начало бурному росту, продлившемуся до 1870-х годов.

Однако заплатить за войну пришлось ужасной ценой. Размер потерь был беспрецедентным: 359 тысяч союзных и 258 тысяч конфедератских солдат погибли на фронтах, к которым железные дороги доставляли несметные количества людей, снаряжения и артиллерии, позволяя полководцам устраивать крупномасштабные баталии, спланированные по

всем законам тактического искусства. Обширные области страны, особенно на Юге, подверглись опустошению — города лежали в золе, урожаи были уничтожены, инфраструктура разрушена. Вдобавок страну наводнило стрелковое оружие. Конституция наделила граждан правом носить оружие — а война подала прекрасный шанс им воспользоваться. Возвращающиеся солдаты, да и любой желающий, могли без помех раздобыть себе револьвер или винтовку «спрингфилд». Особенно дурной славой пользовался Запад.

Более непосредственную проблему представляла психологическая травма войны для нации и бедственное положение, в котором находились 4,5 миллиона получивших свободу афроамериканцев. Всего через неделю после капитуляции в Аппоматоксе Авраам Линкольн погиб от руки фанатика, оставив своим преемникам задачу примирения бывших противников по гражданской войне и обустройство жизни бывших рабов. Обе эти задачи оказались им не по плечу. Федеральное правительство приняло грандиозную программу восстановления («реконструкции») Юга, которая провалилась из-за нежелания белых южан сотрудничать с властями и углублявшейся ненависти к живущему по соседству с ними негритянскому сообществу. Четырнадцатая поправка к конституции, законодательно утвержденная в 1866 году, формально наделила гражданством всех афроамериканцев и была подкреплена законом о том, что вся полнота гражданских прав распространяется на людей «любой расы и цвета кожи». Но реальный эффект этих мер был минимальным. Растущая враждебность по отношению к бывшим рабам и процветание промышленности Севера заставляли афроамериканцев сниматься с мест и уезжать по недавно проложенной железной дороге в Чикаго, Детройт, Кливленд и Нью-Йорк.

К концу 1870-х годов провал реконструкции Юга и бесплодные годы правления Эндрю Джонсона (1865–1868), вице-президента при Линкольне, и Улисса Гранта (1868–1876), его главного полководца, ввергли национальную политику в пла-

чевное состояние. Коррупция отравляла страну всепроникающим духом разложения по мере того, как правительственные чиновники и члены избираемых органов снимали сливки со своего положения в виде взяток и личных фондов, поступавших от продажи западных земель, железнодорожных спекуляций, торговли золотом и алкогольных пошлин. Контраст, который новые времена являли с решительной и твердой политикой Линкольна, вряд ли мог быть более разительным. Америка обогащалась, и Вашингтон не желал от нее отставать.

Партийная система вдруг начала работать не на реальную демократию, а против нее. Наследие войны проявилось в том, что практически все штаты и избирательные округа четко разделились по двум лагерям, и политическая активность сосредоточилась в тех немногих, где еще была возможна смена лидера, — остальные кандидаты практически назначались своими партиями. В 1877 году эпоха вашингтонских махинаций достигла высшей точки. По первоначальным подсчетам, результаты президентских выборов отдавали со значительным перевесом победу демократу Сэмюэлу Тилдену, однако «перетолкование» голосов коллегий выборщиков в нескольких штатах склонило окончательный вердикт на сторону республиканца Резерфорда Хейса. Назначенная специальная комиссия по расследованию пошла на поводу у республиканцев и проголосовала за Хейса. Назревающего политического кризиса удалось избежать, когда демократы-южане согласились снять претензии в ответ на отмену федерального контроля южных территорий, включая вывод федеральных войск. Республиканцы согласились с предложением, и освобожденные рабы Юга лишились единственной защиты. Верховный суд в 1883 году постановил, что федеральная администрация не имеет права налагать запрет на сегрегацию со стороны частных лиц, в 1896 году подтвердил права штатов на сегрегацию мест общего пользования, а в 1899 году позволил штатам строить новые школы только для белых — даже если у черных не было школ вообще. Гражданская война со-

хранила Союз, однако заплатить за это пришлось предательством убеждений, ее вдохновивших, — складывалось впечатление, что для всех американцев удержат, пользуясь словами часто цитируемой речи Дэниела Уэбстера, «Союз и свободу вместе» было все-таки невозможно.

С окончанием гражданской войны Соединенные Штаты, преобладающую роль в экономике которых играл промышленный северо-восток, вступили в период безудержной экспансии. За полвека после 1865 года массовая иммиграция, заселение Запада и становление урбанистического городского общества создали ту континентальную державу, которой является современная Америка. Новшества транспорта радикально повлияли на все страны мира: между 1869 и 1883 годом по территории Соединенных Штатов с востока на запад было проложено четыре железнодорожных магистрали, и еще три пересекли позже всю территорию Канады; к 1900 году непрерывный железнодорожный путь связал Западную Европу с Баку и Каспийским морем, а к 1904 году — с тихоокеанским портом Владивосток. В 1869 году завершилось строительство Суэцкого канала, в 1914 году — Панамского. В 1870-х годах пароходы уже оккупировали все главные морские и океанские маршруты — время в пути сократилось вдвое, увеличились и надежность, и размер судов. Железные дороги, каналы и морские верфи, с одной стороны, давали работу огромному количеству людей, с другой — обеспечивали многочисленных потенциальных мигрантов сравнительно простым и дешевым способом путешествий на дальние расстояния.

Стремительная индустриализация континентальной Европы в 60-х и 70-х годах XIX века создала для аграрных регионов двойную проблему повышения цен и избытка рабочей силы. Частичным разрешением этой проблемы стала миграция сельского населения в промышленные города Европы и за океан. Еще одним стимулом миграции служила расовая нетерпимость, которой сопровождался подъем европейского национализма. Погромы в России, начавшиеся в 1882 году, и

гонения в Австро-Венгерской империи сократили еврейское население Восточной Европы примерно на треть — абсолютное большинство евреев перебиралось в Америку. Польские, итальянские и ирландские крестьяне, подстегиваемые экономическим неблагополучием на родине и относительной доступностью миграции, отправлялись в Америку миллионами. Остальные, например, немецкие и скандинавские фермеры, уезжали, купившись на посулы рекламы железнодорожных и судоходных компаний. Перевозчики понимали, что привлекут больше желающих, если будут гарантировать проезд из конца в конец. Судоходные линии, отправлявшие людей из Ливерпуля, Бремена, Гамбурга и Неаполя, имели своих агентов по всей Европе и работали в сотрудничестве с железнодорожными компаниями в Америке и Канаде, которые увозили пассажиров настолько далеко, насколько им хотелось или насколько позволяли их средства. В этом новом мире расстояния, казалось, перестали иметь значение. Например, финский поселенец посылал своей семье такие указания, как его найти: сесть на поезд в Галифаксе в Новой Шотландии и сойти в Тимминсе в Онтарио — упомянуть о том, что путь займет трое суток, ему не пришло в голову. Как бы то ни было, его семья сумела проделать этот путь — вместе с еще примерно 25 миллионами европейцев в период между 1860 и 1920 годами. Миграция в Америку, оставаясь достаточно авантюрным предприятием, переставала напоминать отчаянную игру в орлянку с судьбой.

После открытия в Калифорнии, вызвавшего золотую лихорадку 1849 года, в 1859 году золото было найдено в Колорадо, серебро — в Неваде, а в 1870-х годах месторождения были обнаружены в Айдахо, Монтане, Дакоте и снова в Колорадо. Если добытчики, торговцы и держатели салунов стекались на Запад в поисках богатства, то целью основной массы поселенцев, путешествующих по железной дороге, были собственные хозяйства в прериях Среднего Запада и фруктовые плантации в Калифорнии. Ветераны гражданской войны начинали новую жизнь как хозяева скотоводческих ранчо на

необъятных, поросших чапаррелем равнинах Техаса (принятого в Союз в 1845 году). Хотя выносливые породы, завезенные испанцами, оказались идеально приспособленными к засушливым условиям, рынок для сбыта говядины находился на расстоянии более тысячи миль, в городах северо-востока. Решением проблемы был перегон скота к ближайшему конечному пункту железнодорожной линии в Абилине, Додж-Сити или Вайоминге, откуда животных в вагонах переправляли в чикагские скотные дворы. Родилась фигура ковбоя — мифического искусного стрелка и завсегдатая салунов, на самом деле представлявшего собой малообщительного одиночку, проводившего почти всю жизнь в седле, вдали от обитаемых мест. Вопреки позднему кинематографическому возрождению, эра ковбоев была короткой — уложилась в промежуток между окончанием гражданской войны и расширением сети железных дорог на юг в 90-х годах XIX века, сопровождавшимся массовым огораживанием пастбищ.

Пока сельские районы Среднего и Дальнего Запада заселяли земледельцы и скотоводы, Соединенные Штаты по примеру Европы превращались в городское индустриальное общество. Миллионы вновь прибывших иммигрантов скапливались в промышленных городах северо-востока, поначалу ютились в жилищах, практически лишенных естественного освещения и часто не имевших ни водоснабжения, ни какой-либо канализационной системы. Городские администрации, где, как правило, заправляли приятели промышленников и домовладельцев, либо закрывали глаза на бедственные условия жизни рабочих, либо попросту не справлялись с громадным притоком населения. Внутри каждого города складывались мозаики этнических общин, пытавшихся воссоздать обычаи и систему отношений, к которым они привыкли на родине; к примеру, в Кливленде, штат Огайо, имелось более 15 европейских этнических групп — финнов, румын, чехов, итальянцев и т. д., — которые компактно проживали в центре города, каждая в своем квартале. Еврейские, русские, итальянские, немецкие рынки могли функционировать во всех

американских городах, как и в Европе, однако жизнь иммигрантов из аграрных районов, таких, как ирландский Мит, Македония, Белоруссия или Калабрия, существенно отличалась от прежней. Натуральное хозяйство в деревенских общинах сменилось тяжким трудом на гигантских сталелитейных заводах, в железнодорожных депо и угольных шахтах.

В 1860 году индустриальный пояс ограничивался северо-восточной прибрежной полосой, включавшей такие центры, как Балтимор, Филадельфия, Нью-Йорк и Бостон, однако к 1900 году он уже вытянулся дугой на запад к Великим озерам и затем расширился на юг за счет западной Пенсильвании и Огайо. В Буффало, Кливленде, Питтсбурге, Цинциннати и Детройте, Чикаго, Милуоки и Сент-Луисе к концу века проживало в каждом больше полумиллиона человек. Учитывая, что перенаселенные города грозили перестать функционировать, а при этом владельцы фабрик нуждались в крепкой и здоровой рабочей силе, порядок расселения стал постепенно регламентироваться: были введены минимальные стандарты по площади, освещенности, доступу к проточной воде и наличию системы вывоза отходов. Американские города соперничали друг с другом, и стремление отличить свой город от других заставляло местные власти возводить величественные общественные здания, музеи, библиотеки, разбивать парки в центральных районах. Тем временем города продолжали разрастаться. Когда в 1920-х годах приток приезжих из Европы сократился из-за законодательно введенных ограничений, потребности следующего индустриального бума уже удовлетворялись внутренней миграцией.

В 1900 году 77 процентов афроамериканцев по-прежнему проживали в аграрных областях Юга. Однако сегрегация вынудила многих из них отправиться на Север в поисках работы и свободы от унижения. После 1896 года большинство южных штатов ввело сегрегацию в общественных учреждениях, поездах, школах, общественном транспорте и приняло законы, запрещающие контакты между белыми и черными и фактически отстранившие афроамериканцев от голосова-

ния. В первой половине XX века черные и белые южане рождались в разных больницах, учились в разных школах, сочетались браком в разных церквях, обретали вечный покой на разных кладбищах, и каждый автобус, школа, закусочная, пансионат, приемная, больница, тюрьма и фонтанчик с питьевой водой были либо для белых, либо для черных, и никогда для тех и других вместе. Американская общественная жизнь скатилась до такого уровня, что в 20-х годах XX века афроамериканцы лишились доступа в публичные здания на территории столичного округа Колумбия — в число которых входил мемориал Авраама Линкольна.

Миграцию с Юга дополнительно подхлестнуло появление в США хлопкового долгоносика, который распространился по всему «хлопковому поясу» в 1898 году, лишив сотни тысяч афроамериканских семей средств к пропитанию. С 1913 по 1919 год около полумиллиона афроамериканцев переехали на жительство в Чикаго, Сент-Луис, Детройт, Нью-Йорк, Индианаполис, Кливленд и другие города Севера — этот поток не иссякал до самой Второй мировой войны. Города продолжали расти, поскольку до 1930-х годов их подпитывало по-прежнему многочисленное как белое, так и черное сельское население. Способность городов приютить такое количество желающих подвергалась испытанию с каждой новой волной расширения территории, производственных мощностей и миграции, и они изо всех сил старались сделать жизнь своих обитателей сносной.

Индустриальная экспансия Соединенных Штатов не отставала от стремительного роста городов. Накануне гражданской войны стоимость производимых в стране товаров составляла 1,6 миллиарда долларов; к 1899 году, когда она достигла 13 миллиардов долларов, США стали крупнейшей страной-производителем в мире. В авангарде экспансии шли железные дороги, на которых трудились больше миллиона человек и совокупный оборот которых в 1890 году перевалил за миллиард долларов. Их развитие и функционирование несло

на себе все порочные симптомы периода «героического капитализма», в течение которого сомнительными методами было сколочено не одно громадное состояние. Федеральное правительство, которому требовалось, чтобы железные дороги охватывали все новые и новые территории, предоставляло железнодорожным компаниям деньги и землю, а те, в свою очередь наживались на правительственных контрактах, сбывали с баснословной прибылью прилегающие к линиям участки и подкупали политиков подарками в виде пакетов своих акций. Американский капитализм еще не научился поддерживать конкуренцию, препятствуя созданию монополий. Эндрю Карнеги, к примеру, скупил большинство американских месторождений угля и железной руды, которыми снабжал исключительно свои сталелитейные заводы, тем самым практически закрыв отрасль для посторонних. — к 1890 году Карнеги производил 70 процентов стали Америки. В 1901 году он продал свой бизнес Дж. П. Моргану за 250 миллионов долларов. Аналогичную монополию представляла собой принадлежавшая семье Рокфеллеров компания «Стэндард Ойл». Принятый в 1887 году закон о торговле между штатами был нацелен на разрушение региональных монополий железнодорожных компаний, которые вытесняли конкурентов и устанавливали расценки по своему усмотрению, и послужил образцом для дальнейшего законодательного регулирования частного бизнеса.

Доводы в пользу свободы торговли вряд ли произвели бы впечатление на американских промышленников-капиталистов — последние не достигли бы таких высот, если бы американская индустрия не разрасталась и не расцветала за неприступной стеной торговых барьеров. Если в начале гражданской войны правительство ввело импортные пошлины с целью покрытия военных расходов, то после войны, дополнительно расширенные, они превратились в настоящий протекционистский инструмент и были сняты лишь тогда, когда американская индустрия занимала уже доминирующее положение и могла открыть свои рынки для конкурентов.

Несмотря на то, что руководителями и владельцами промышленности в Америке, наживавшимися на ней в первую очередь, были новоявленные «бароны-разбойники», и несмотря на то, что промышленные города были средоточием коррупции и нищенского убожества, ничто не могло смутить преисполненные оптимизма миллионы иммигрантов, которые приезжали в страну, почитаемую ими царством возможностей. Один иммигрант описывал таможенную процедуру на острове Эллис как «самое близкое из всех известных земное подобие Судного дня, место, где мы должны доказать, что достойны войти в Царствие Небесное». Тогда как в Европе горизонты устремлений ограничивались положением в обществе, этническим происхождением, бедностью, а также прочной сетью обычаев и традиций, в Америке все это, казалось, утрачивало всякий смысл. Вера в то, что любой здесь способен делать все, что пожелает, и стать тем, кем пожелает, питалась непрерывным экономическим подъемом — характерным порождением которого был тот дух оптимистической целеустремленности, который запечатлел в своих безмерно популярных книжках Горацио Алджер, на разные лады рассказывавший одну и ту же историю о превращении честного, трудолюбивого и упорного юноши-бедняка в состоятельного человека.

При этом иммигранты из Европы, прибывая в новые индустриальные центры, старались держаться поближе друг к другу и, поселяясь в кварталах Нью-Йорка, Балтимора, Детройта, Чикаго, Питтсбурга и других городов, воссоздавали общинную жизнь своей родины. Типичный крупный американский город сделался калейдоскопом этнических сообществ — итальянских, ирландских, польских, афроамериканских, еврейских, русских, шведских, немецких, — и внутри каждого из них сохранялись старые и складывались новые традиции, не дававшие оборваться драгоценной нити человеческого взаимодействия в мире, где властвовали машины и деньги. Америка сделалась воплощением главного парадок-

са современного Запада — обществом, чье существование задается противоречивыми импульсами индивидуального честолюбия и межличностной солидарности.

Тогда как теснота и убогость жизни основной массы населения вместе с вдохновляющей ее надеждой на лучшее будущее были двумя неотъемлемыми чертами индустриализации в американских городах, невидимая трагедия Америки XIX века разыгрывалась на равнинах, холмах, в пустынях и горах Запада. В 1861 году, накануне гражданской войны, к западу о Миссисипи проживали до 300 тысяч коренных американцев. После войны генерал Карлтон, решивший очистить юго-запад для белых поселений, отдал приказ: «Не держать никакого совета с индейцами, не вести вообще никаких разговоров с ними. Эти люди должны уничтожаться везде и всегда, как только их обнаруживают». Несмотря на шокирующие масштабы, геноцид, развязанный на юго-западе — в конце которого остаться на небольшом клочке земли было позволено только племени навахо, — являлся лишь одним из эпизодов более грандиозной катастрофы.

В августе 1862 года воины племени санти из народности сиу, не желавшие терпеть продолжающееся в нарушение договоров оттеснение на запад, атаковали несколько белых фортов и поселений на реке Миннесота. Как и предсказывал вождь санти по имени Вороненок, индейцы потерпели поражение в этом конфликте, а племя было целиком арестовано. Триста человек приговорили к смерти, и хотя позднее число осужденных сократили до 38 предводителей, состоявшаяся казнь осталась самой массовой в истории Соединенных Штатов. Наказание, как предполагалось, должно было научить индейцев покладистости, однако многие коренные американцы извлекли из него противоположный урок: переговоры и компромиссы только ведут к поражению, и значит, лучше умереть сражаясь, чем жить в униженной покорности.

В 1865 году армия Соединенных Штатов получила приказ отчистить Великие равнины от индейских племен. Шайенны,

арапахо и сиу сплотились под предводительством Красного Облака и, оказав организованное сопротивление, вынудили правительство выделить под свою гарантию территорию в 500 тысяч квадратных миль для их исключительного пользования. Почти сразу же власти изменили стратегию и приступили к уничтожению равнинных стад бизонов, специально с целью разрушить основу индейского образа жизни. Как ясно выразился генерал Шеридан: «Пусть бизонов бьют, свежуют и продают, пока не истребят их вовсе, ибо только тогда воцарится прочный мир и распространится цивилизация». В 1870 году на равнинах Запада паслось около 15 миллионов бизонов; десятилетие спустя их осталось максимум несколько сотен. Через короткий промежуток времени о коренных американцах — хозяевах равнин, как и о бизонах, можно было почти забыть.

В 1868 году договор, заключенный с сиу, отдал им священный для племени горный район Блэк-Хиллс в вечное проживание. Однако в 1874 году в этих горах было открыто золото, и правительство Соединенных Штатов приказало сиу продать свою землю и переселиться в более скромные восточные резервации. Для Сидящего Быка и Неистового Коня (как и для большинства неевропейцев) современное европейское понятие собственности на землю было непостижимым, и они не имели ни малейшего желания жить «как белые люди» в резервациях. Хотя летом 1876 года воины сиу и шайеннов разгромили войсковую колонну под командованием подполковника Джорджа Кастера у реки Литл-Бигхорн, к весне 1877 года большинство соплеменников Сидящего Быка уже сложили оружие. Сам вождь бежал в Канаду, но был возвращен, чтобы провести остаток жизни фактически под контролем властей. Сенатор Джон Логан прилюдно поучал его: «У тебя нет ни сторонников, ни власти, ни управления... Теперь правительство дает пищу, одежду и образование твоим детям, и желает научить вас фермерству, цивилизации, сделать наконец вас такими же, как белые люди».

Это была история, старая как сама западная цивилизация. Подобно арианам, язычникам, катарам, английским крестья-

янам, инкам, мексиканцам и ирландским христианам прошлого, коренные американцы были вынуждены либо соответствовать строго определенной идее цивилизованного существования, либо жить в качестве пленников или слуг у тех, кто ее олицетворял. Альтернативы не существовало — западная цивилизация не могла себе представить, что такое соседствовать с обществами другого типа на равных условиях.

В конце 1880-х годов индейцы сиу и прочих племен опять проявили непокорность, вдохновляемые новым духовным вождем, который проповедовал ненасильственное сопротивление в виде обряда так называемой Пляски духов — она должна была призвать Великого духа покончить с белыми и со всем злом, которое они принесли. На потенциальных зачинщиков мятежа устроили облаву, а Сидящий Бык был застрелен при попытке ареста. Другие члены его племени, опасаясь за свою жизнь, покинули резервацию и двинулись в сторону равнин. Их настигли, взяли в плен и привели в лагерь, разбитый вблизи ручья Вундед-Ни в Южной Дакоте. На следующий день, 29 декабря 1890 года, в результате инцидента во время обыска на предмет наличия оружия отряд белых кавалеристов учинил сознательную расправу над индейцами, истребив 300 из 350 человек. Кого-то расстреляла укрепленная на возвышении артиллерия, другие, пытаясь спастись бегством, падали замертво, сраженные ударом сабли. Бойня у Вундед-Ни стала символическим финальным актом уничтожения коренного американского образа жизни. Никогда во время всех последующих войн и кризисов право западной цивилизации повелевать Америкой уже не оспаривалось.

Между 1866 и 1915 годом океанские суда доставили в Соединенные Штаты из Европы 25 миллионов человек. Эта миграция, радикально изменившая характер Америки, до сих пор остается крупнейшей в истории человечества. Особенно мощная волна пришлась на два десятилетия между 1890 и 1910 годами — в один только пиковый 1907 год количество иммигрантов перевалило за 1,2 миллиона человек. Больше трех

четвертей из этих людей попадали в страну через Нью-Йорк, и многие здесь оседали — в 1900 году 76 процентов населения города составляли уроженцы Европы. Вновь прибывшие, как правило, были бедны и происходили из культуры, заметно отличающейся от культуры своих предшественников. Если в 1882 году около 90 процентов новичков на американской земле по-прежнему являлись выходцами с севера и запада Европы, то уже к 1907 году более 80 процентов прибывали с юга и востока. В конце XIX века Америка, когда-то отпочковавшаяся от моноэтнической Британии, превратилась в многонациональную страну. Обычаи, культура, даже язык, которые воспринимались как некий незыблемый фундамент американского быта, уступили место мириаду традиций и наречий. Кроме того, всего двух поколений хватило, чтобы в стране с подавляющим преобладанием аграрной экономики расцвело урбанизированное индустриальное общество.

Употребление пара, а затем электромеханики и энергии внутреннего сгорания в промышленном производстве тканей, стали, посуды и в машиностроении довольно скоро распространилось на большинство остальных отраслей. Но индустриализация не только непрерывно выполняла задачу привлечения машин для удовлетворения всевозможных человеческих нужд; другой, не менее важной ее задачей было достижение высокого уровня организации труда, который позволил бы эксплуатировать новую технику на полную мощность. Печать уже являлась механическим процессом, однако в течение XIX и XX веков технологическое развитие привело к колоссальному увеличению скорости и объемов выпуска печатной продукции — попутно подарив миру такие технологии, как механическое копирование изображений, фотографию, телефон, кинематограф, радио, телевидение, а также создав способы доведения всего этого до населения. Многие из перечисленных технологий, будучи изобретенными в Европе, получили первое массовое применение именно в Соединенных Штатах. Активное освоение и облагораживание массовой популярной культуры стало той чертой, кото-

рая выделяла Америку на фоне европейских предшественников.

Типографские технологии развивались несколькими этапами: в 1828 году для тиражирования нью-йоркской «Коммершиал эдвертайзер» и филадельфийской «Дейли кроникл» была впервые использована двухцилиндровая ротационная печатная машина; в 1861 году стереотипирование, позволившее без труда получать дубликаты печатной формы страницы, подняло скорость печати с примерно 15 до 25 тысяч листов в час; в 1890-х годах применение свернутых в рулоны длинных полотен бумаги довело скорость до 96 тысяч двухсгибных (умещающих восемь страниц) листов в час, а редакционная часть газетного и журнального дела существенно преобразилась с введением наборных машин, пишущих машинок и телефонов. Индустриализация производства самой бумаги между 1890 и 1900 годами увеличила его объемы в три раза.

Число читателей американских газет умножалось вместе с американским населением, однако другим их немаловажным преимуществом (в отличие от европейских) была свобода от правительственного вмешательства и сословных предрассудков. Тогда как в Европе газеты возникли в среде образованного дворянства и отражали социальное мировоззрение правящего класса, американская пресса отсчитывала свою традицию независимого и критического отношения к власти еще от Бенджамина Франклина и его «Филадельфия газетт». Джозеф Пулитцер, владелец «Сент-Луис пост диспэтч» и «Нью-Йорк уорлд», был иммигрантом из Венгрии, который начинал простым репортером, а Уильям Рэндолф Херст был сыном человека, поднявшегося с низов и сколотившего миллионное состояние на горнодобыче и скотоводстве. Газеты Херста заслужили неоднозначную репутацию сенсационной подачей материала, однако в число работавших на него журналистов входили такие знаменитости, как Амброс Бирс, Стивен Крейн, Марк Твен и Джек Лондон.

Массовая пресса играла роль своего рода социального клея, скреплявшего многонациональную страну единым язы-

ком и культурой; опираясь на новейшие коммуникационные и транспортные технологии, она выработала особый, отличительно американский голос — скептический, оптимистический, романтический, патриотический, неистово вздымающийся и тут же сухо высмеивающий свой чрезмерный пафос. Именно этот голос излагал мнения и чувства простого американского читателя.

Когда периодическая печать достигла технологического уровня, позволившего ей играть ту роль, которую она играла на протяжении почти всего XX века, Америка познакомилась с еще одним новшеством из-за океана. В сентябре 1895 года на ярмарке в Атланте публике был представлен «Витаскоп» — машина, проецирующая изображения с недавно изобретенной эластичной пленки на большой экран. 23 апреля 1896 года его впервые показали в Нью-Йорке, а в 1905 году один владелец магазина в Пенсильвании начал крутить пленки у себя в подсобке, собирая по пять центов за вход. К 1910 году в США действовало 10 тысяч «никелодеонов» (пятицентовых павильонов), имевших еженедельную аудиторию в 23 миллиона человек — цифра, равная 20 процентам всего населения. Фильмы были немыми, и это означало, что любой, от итальянца до украинского еврея, мог понимать их и получать от них удовольствие. Впрочем, нельзя сказать, что они требовали какого-то особого понимания — благодаря своей новизне и дешевизне кинематограф собирал толпы, показывая все, что угодно. Как бы то ни было, компании, делавшие фильмы, быстро осознали, что создание соответствующего антуража привлечет еще больше людей и принесет еще больше денег; как следствие, с 1913 года в стране началось активное строительство специальных зданий для показа кинолент. К 1926 году в США было уже 20 тысяч кинотеатров, которые еженедельно посещали 100 миллионов человек — что составляло почти половину населения страны.

По социальному происхождению кинопроизводители немногим отличались от кинозрителей. Кинематограф едва ли ассоциировался с культурой, и поэтому социальные барьеры

на пути желающих в нем поучаствовать отсутствовали — в любом случае это была Америка, страна больших возможностей. Группа еврейских иммигрантов подвизалась в кинобизнесе практически с самого начала, и им удалось выжить в условиях неизбежной дальнейшей структуризации. В первое десятилетие нового века отрасль базировалась в Нью-Йорке, однако северо-восточный климат был слишком капризным для съемок, зависевших от хорошего естественного освещения, и кроме того, здесь возникли проблемы с законом. Вскоре после изобретения «Витаскопа» консорциум под началом Томаса Эдисона завладел монополией на производство и распространение фильмов, и отважившиеся посягнуть на нее в худшем случае рисковали арестом на съемочной площадке, а в лучшем — уничтожением оборудования. Выходом мог стать только переезд в место, достаточно удаленное от Нью-Йорка, с постоянной хорошей погодой и возможностью при случае улизнуть от властей через мексиканскую границу. Около 1907 года производители и постановщики начали снимать фильмы в южнокалифорнийском Лос-Анджелесе, а в 1911 году компания под названием «Нестор» построила первую постоянную студию к северо-западу от города, в нескольких милях пути по грунтовой дороге. Следуя примеру «Нестора», в Калифорнию постепенно стекались и остальные, находя здесь дешевую рабочую силу, специалистов-техников и свободу от преследования закона. Всего через десять лет в городе уже существовало 760 студий, и не менее 80 процентов кинокартин всего мира появлялось на свет в одном из лос-анджелесских предместий — Голливуде.

Если первые европейские создатели кинокартин делали их на основе классической литературы, тем самым потакая вкусам образованной буржуазной публики, американцы, озабоченные прежде всего количеством проданных билетов, показывали на экране все, что способно произвести немедленный эффект. — вестерны, погони, перестрелки, висение на краю обрыва. Однако в 1910-х годах голливудские студии начали замечать, что фильмы с сюжетной линией и характерами

превосходят остальные по популярности и продолжительности проката, тем самым с лихвой окупая дополнительные затраты при подготовке и производстве. Заметили они и то, что зрителям нравилось как можно чаще видеть одних и тех же актеров — так родился феномен кинозвезды.

Гений первопроходцев кинематографа проявился в том, что средство самого незамысловатого увеселения они сумели превратить в средство выражения неизменных, фундаментальных человеческих ценностей. Как Джотто использовал церковную роспись по сырой штукатурке, а Диккенс — массовые периодические издания для одноразового чтения, американские режиссеры использовали технологию своего времени для того, чтобы обратиться к темам, волнующим зрителей. Первым, кто по-настоящему реализовал потенциал нового носителя, стал Д. У. Гриффит (1875–1948). Сын знаменитого кавалерийского командира времен гражданской войны, Гриффит начинал театральным актером, но через какое-то время перешел к сочинению сценариев для только что появившегося в Нью-Йорке кинобизнеса. Нанятый студией «Биограф», в 1908 году он снял свою первую кинокартину, «Приключения Долли», главную роль в которой сыграла его жена Линда Арвидсон. Работая с невообразимой скоростью — около 450 однокатушечных фильмов за следующие пять лет, — Гриффит постоянно старался найти более совершенные способы общения с аудиторией. Хотя подвижная камера, крупный и дальний планы, драматическое освещение, изменение ракурса и параллельный монтаж были придуманы не им, в его руках эти технические приемы сливались в неразрывное целое с самим повествованием. Усилиями Гриффита и его оператора Билли Битцера кино из гибрида статической, «театральной» мелодрамы с хаотической беготней и трюками превращалось в глубокий и выразительный жанр.

На фоне гипертрофированной жестикюляции, характерной для постановок ранней эпохи, Гриффит учил актеров своей труппы игре более тонкой и нюансированной. Он понимал, что если взять лицо актера крупным планом, это позволит

изобразить эмоцию, неуверенность или внутреннюю реакцию на происходящее мельчайшими движениями лицевых мускулов. Использование крупных и пейзажных дальних планов повторяло проделанное когда-то такими революционными жанрами, как портрет и роман, — творец брал вездесущие элементы опыта (многозначность человеческой мимики, эффект изменяющейся освещенности деталей ландшафта) и заставлял их целиком поглотить внимание аудитории.

В 1913 году Гриффит покинул «Биограф», чтобы начать работу над первым великим эпическим произведением американского кинематографа. «Рождение нации» продемонстрировало потрясающие возможности нового художественного средства, но одновременно явилось опытом мифотворчества, попыткой рассказать американцам, кто они и откуда ведут свое происхождение. Выпущенный в 1915 году, фильм пользовался колоссальным успехом — люди стояли в очередях несколько кварталов, чтобы выложить за билет неслыханные 2 доллара — и вызвал неоднозначную реакцию. Изображение ку-клукс-клановцев героическими защитниками свободы возмутило многих американцев (и заставило Гриффита снять «Нетерпимость», чтобы доказать свою приверженность межрасовой терпимости); тем не менее сам фильм дал жизнь кино как коммерческому искусству. Время от времени и без особенного успеха отдававшие дань классическим произведениям литературы и библейским мелодрамам, голливудские фильмы сделали главной темой саму Америку. «Рождение нации» положило начало преобразению вестернов и гангстерских походов, развлекавших зрителей на заре кинематографа, в специфически американскую форму мифологии и бытописания. Причем феномен кинозвезды делал эту американскую мифологию не просто повествованием о порядочных мужчинах и женщинах, пересекающих прерии в фургонных обозах или живущих на улицах, где заправляют бандитские шайки, и с доблестью преодолевающих невзгоды судьбы. Это было повествование о мужчинах и женщинах, точь-в-точь похожих на Лайонела Барри-

мора и Лилиан Гиш, Кларка Гейбла и Бетти Дэвис, Джона Уэйна и Кэтрин Хепберн, — об обыкновенных необыкновенных героях.

Кинематограф дал американской культуре XX века уникальный голос — голос, в котором готовность рисковать, неуспокоенность, жестокость протагонистов переплетались с фундаментальным человеческим стремлением к личному самоопределению и обретению духовной родины. Вестерн обрел черты схематической нравственной притчи, разворачивавшейся на фоне беззакония и насилия, но лучшие образцы этого жанра одновременно становились исследованием сложного душевного мира их героев. В творчестве Джона Форда, иммигранта во втором поколении, истории о семье, перебирающейся в новые места в караване крытых повозок, о службе в кавалерийском полку, об одинокой ферме посреди прерий неизменно имели своей подоплекой отчаянную попытку человека найти духовное пристанище, отгородиться от торжествующей жестокости тех, кто разобщен и оторван от корней. Неудивительно, что эти истории находили живой отклик у обитателей перенаселенных, неотличимых друг от друга, часто пораженных беззаконием городов индустриального северо-востока и Среднего Запада.

Чрево американского преступного мира сделалось неиссякаемым источником сюжетов не только для кинематографа — по всей Америке читателями жадно поглощались дешевые романы и журналы, неутомимо эксплуатировавшие криминальную тему (к 1922 году журнальный ассортимент в Соединенных Штатах превышал 22 тысячи названий). И вновь среди многочисленных авторов бросового чтения нашлись несколько человек, которым удалось использовать низкий на первый взгляд жанр «крутого» детектива в качестве средства художественного выражения. Произведения Дэшиела Хэммета, Реймонда Чэндлера, Джеймса М. Кейна рассказывали о надеждах, стремлениях и иллюзиях американской жизни больше, чем творчество практически любого другого современного им творца.

Не менее важными проводниками массовой культуры стали фонограф и радио, вместе обеспечившие возможность широкого распространения и тиражирования музыки. И опять содержание этой новой формы бытования искусства — записанной музыки — оказалось не менее важным, чем технология, которая дала ей жизнь. Если в Европе записывались, как правило, популярные оперные арии и оркестровые сюиты, то в Америке появление звукозаписи дало совершенно несхожие плоды. Сегрегация на Юге привела к формированию афроамериканской культуры — соседствующей с господствующей культурой белой Америки, но отличающейся от нее в корне. Афроамериканцам не были доступны технологии, который позволяли заниматься живописью, архитектурой, литературой или кинематографом, однако им был доступен небольшой набор музыкальных инструментов и у них за плечами была долгая традиция самодеятельного музицирования. Странствующие по городам и сельским районам Юга музыканты исполняли песни в странном стиле, называемом блюзом. Они брали традиционные европейские инструменты — пианино, корнет, гитару — и заставляли их звучать совершенно по-новому. Слишком хорошо знакомые с нею, мы недооцениваем все новаторство блюзовой музыки. Бесконечные вариации внутри и вокруг базовой темы, вместе с принципиальной непосредственной эмоциональностью исполнения, стали преобладающими чертами музыки XX века и вообще всей западной культуры.

Нью-Орлеан, черное сообщество которого имело достаточно средств, чтобы платить за развлечения и приобретать музыкальные инструменты, стал местом рождения джаза. Музыканты, скитальцы и изгои всех рас, находили комфортное прибежище в гедонистической атмосфере этого города, выделявшегося на фоне остальной Америки. Но в 1920-е годы благодаря Джелли Роллу Мортону, Луису Армстронгу и Бесси Смит джаз из Нью-Орлеана попал в города Севера, а Кинг Оливер и Фэтс Уоллер сделали его популярным по всей Америке. У чернокожего населения было достаточно денег, что-

бы сделать Смит или Армстронга настоящими джазовыми звездами, однако довольно скоро усилиями белых композиторов вроде Ирвинга Берлина и Джорджа Гершвина на основе блюза, джаза и рэгтайма создается новый тип популярной песни. Хоровая, декламационная манера, свойственная европейской песне XIX века, ушла в прошлое, ее место заняла персонализированная, экспрессивная, драматическая подача, гораздо более близкая обитателям урбанизированного мира новой Америки.

Тем временем в провинции, особенно в Техасе и на остальном Юге, белые исполнители вроде Джимми Роджерса начали перенимать приемы своих черных коллег, что привело к рождению кантри — белой версии блюза, время от времени перемежающейся вальсами и другими народными танцевальными мелодиями. Сентиментальная любовная песня, не важно — бродвейская, ковбойская или свинговая, превратилась в настоящий гимн Америки. Выраженная простым, повседневным, невысокопарным языком, исполняемая обычным, а не поставленным голосом, всегда индивидуально окрашенная, любовная песня воплощала собой веру в то, что в хаотическом, непрочном, бесчувственном мире душа по-прежнему способна обрести убежище в любви между двумя людьми.

Кино, музыка, пресса, заполонившие Америку в 1920-х годах, сплотили ее как страну. Все американцы смотрели одни и те же фильмы, насвистывали одни и те же мотивы, читали одни и те же статьи. Одна и та же пленка тиражировалась и демонстрировалась по всей стране, одна и та же записанная песня штамповалась на многих тысячах пластинок и добиралась до каждой радиостанции и каждого заведения, где стоял музыкальный автомат. Поезда доставляли популярные ежемесячники — «Лэдиз хоум джорнал», «Сатердей ивнинг пост», «Макклур» — в любой, самый заштатный городок Америки, а телефон и телеграф гарантировали, что газеты всех крупных центров сообщат своим подписчикам одни и те же национальные новости. Но кроме массовой культуры амери-

канцы испытывали воздействие и еще одного важнейшего объединителя — товаров массового производства.

Журналы, газеты, радиостанции размещали на своих страницах и в эфире рекламу продукции, которую можно было приобрести во всех американских магазинах. Это означало, что к тому времени американская промышленность уже должна была работать в континентальном масштабе — и это стало возможным благодаря новому типу капитализма. В XIX и начале XX века отдельные предприниматели один за другим начали реализовывать возможности, которые могли возникнуть исключительно в условиях промышленного бума. Нередко это были люди, в которых талант инженера или изобретателя, хорошо осведомленного в технических вопросах, сочетался с деловой хваткой, и некоторым из них благодаря коммерческому чутью и решимости обойти любых конкурентов удалось построить на своих изобретениях огромные индустриальные империи. В свою очередь гигантский прирост населения и особенности американской политики — приверженность принципу невмешательства, часто сочетавшаяся с откровенной коррумпированностью, — позволили этим безжалостным и целеустремленным личностям стать монополистами в своих сферах деятельности. Империи, созданные такими деятелями, как Корнелиус Вандербилт, Генри Форд, Джон Рокфеллер, Дж. П. Морган и Г. Дж. Хайнц, по сути представляли собой династические королевства, управлявшиеся либо в одиночку, либо в союзе с ближайшими родственниками. Глава такой империи являлся публичной фигурой, которой доставался весь почет или позор за действия компании. Идея корпорации — делового механизма, который существовал за счет денег вкладчиков, не принимавших участия в управлении, — была хорошо известна, однако общедоступное размещение акций практиковалась лишь в ограниченном количестве отраслей, к примеру, в железнодорожной, где правительство финансировало инвестиции путем продажи облигаций. Эта ситуация изменилась на рубеже веков, когда сли-

ание финансового и промышленного капитала произвело на свет «корпоративную революцию».

Ключевым эпизодом этой революции стало образование в 1900 году «Юнайтед Стейтс стил». Когда Эндрю Карнеги за 250 миллионов долларов продал свою компанию группе банкиров во главе с Дж. П. Морганом, тот в союзе с другими промышленниками основал трест, который объединил всех крупных американских производителей чугуна, стали и кокса, сосредоточив под одним началом управление акционерным капиталом. Мощь, которую обрели сплотившиеся финансисты и промышленники, была поразительной, однако Морган действовал в рамках уже сложившейся тенденции. В 1890 году совокупный капитал производственных компаний, чьи акции продавались на бирже, составлял 33 миллиона долларов; в 1891 году он увеличился до 260 миллионов, а в 1898 году — до 2 миллиардов. Такой экспоненциальный рост продолжался вплоть до 1903 года, когда акционерная стоимость производящих компаний достигла отметки в 7 миллиардов долларов. В 1904 году на рыночные акции в США приходилось больше половины производственного капитала. Тем не менее совокупная стоимость акций так и не превысила уровень в 7 миллиардов долларов до 1914 года — как оказалось, это была не бесконечная экономическая экспансия, а переходный период от одной системы экономики к другой.

Случившаяся перемена имела важное значение для западной цивилизации в связи с той вездесущей ролью, которую отныне стали играть корпорации — и в реальном плане, как один из самых серьезных источников влияния на жизнь многочисленных клиентов и служащих, и в идеальном, как потенциальная организационная модель для любого общественного учреждения. После 1900 года начался активный процесс вторжения корпораций во все аспекты коммерческой жизни, а в Европе, Японии и Северной Америке они сделались стеновым хребтом промышленности и торговли. Поскольку производство, транспортировка и продажа товаров в современной экономике требовали необычайно мощного админист-

ративного аппарата, в планировании, сбыте, проведении счетов, отслеживании поставок, бухгалтерском и складском учете понадобилось задействовать целую армию работников, и еще немалое число последних должно было справляться с канцелярскими обязанностями — машинописью, размножением документов, поддержанием телеграфной и телефонной связи. Корпорации начинали функционировать в конторах, расположенных на фабричной территории, однако довольно скоро управленческие корпуса обрели самостоятельное существование — вблизи финансовых учреждений, а также жилья и прочей инфраструктуры, которая была необходима для конторских служащих.

Особняком стоящее солидное здание штаб-квартиры, где планировались стратегии и решалась судьба компании, и населяющие его люди, вырабатывавшие эти стратегии и решения, — именно они стали смыслом слова «корпорация». Конторские служащие находили в корпорации комфортную среду, гарантировавшую пожизненное материальное благосостояние в обмен на не слишком тяжелый труд, — никому из них не грозило быть разжалованным в простые шахтеры или литейщики. Для честолюбивых людей, вступавших на это поприще, открывались широкие перспективы продвижения по службе в рамках большой, непрерывно реформирующейся организации, а для коммуникабельных она предоставляла шанс общения с кругом коллег, таких же, как они, конторских служащих, причем не только на работе, но и за ее пределами. Корпорация стала не столько домом, сколько грандиозной структурой, обеспечивающей современный тип уклада жизни. Хотя новоявленные «белые воротнички» воспринимали ее как нечто само собой разумеющееся, их деды вряд ли сочли бы корпорацию чем-то обычным и естественным.

Отрицательные эффекты корпоративной жизни, не столь бросающиеся в глаза, особенно на первых порах, оказались настолько же вездесущими, как и она сама. Необходимость

поддерживать положение на работе, оправдывая ожидания начальства, часто не вполне понятные, ощущение, что за «должностным соответствием» постоянно следят, смехотворное и тем не менее неослабевающее соперничество между коллегами, измеряемое стоимостью личного автомобиля, роскошью и величиной кабинета, размером жалования, — все это развивало у обитателей корпоративного мира некое подобие паранойи, состояние легкого, но постоянного психического изнурения. В этом мире не существовало такого понятия, как просто хорошо справляться со своей работой, — внутри организации человек мог только расти или падать. Поскольку управление компанией опиралось на постоянное поддержание в персонале медленно тлеющего страха, главенствующим настроением становилась особая смесь личной амбициозности и корпоративного конформизма — работник офиса мог сохранять свои позиции и продвигаться по службе, только предугадывая желания других и удерживаясь в рамках негласного кодекса корпоративного поведения. Приверженность корпорации стала неотъемлемой частью психологии работников — даже если им не нравилось то, чем они занимаются; конформизм сделался ценой уверенности в завтрашнем дне.

Преданность месту работы и сослуживцам, неумоимо воспитываемая корпорациями, всегда грозила путаницей в отношениях человека с внешним миром. Управленцы любого акционерного общества по закону обязывались прилагать все усилия к повышению стоимости акций, что лишало их всякой обязанности (а часто и возможности) действовать на благо интересов общества в широком смысле. Но, несмотря на этот эгоцентризм, сосредоточенность на собственных интересах, корпорации, обладавшие неоспоримым финансовым влиянием, рассматривались многими как кровеносная система национальной экономики, и поэтому самоочевидность истины «Что хорошо для "Дженерал моторс", хорошо для Америки» не вызывала сомнений. Защита интересов корпораций

с самой поры их появления сделалась столпом внутренней и внешней политики Соединенных Штатов, а классическая корпоративная штаб-квартира — поблескивающее мраморным фасадом здание на Уолл-стрит или Пятой авеню — не только публичным лицом крупного бизнеса, но и символом могущества и престижа самой Америки. Возвигнутые в Нью-Йорке Крайслер-билдинг (1930), Вулворт-билдинг (1913), Метрополитен-лайф-билдинг (1932) и Эмпайр-стейт-билдинг (1931) стали памятниками великой эпохи владычества корпораций.

В первой половине XX века корпоративная структура хозяйствования создала условия для практически беспредельной экспансии производственных предприятий. Те из них, что получали достаточную прибыль, обеспечивали дальнейшее развитие путем увеличения доли на растущем рынке или скупкой конкурирующих компаний на деньги армий своих акционеров. Антитрестовское законодательство, впервые принятое в 1904 году, запретило монополии, однако в большинстве промышленных отраслей правила по-прежнему диктовали максимум две-три корпорации. Тот факт, что магазины любой достаточно крупной улицы Америки имели на своих полках один и тот же набор товаров, вместе с популярной культурой все активнее способствовал социальной однородности Соединенных Штатов. Благодаря же тому, что эти явления совпали с пиком небританской иммиграции в Америку, реальное многообразие языков и культур обрело опознаваемые черты единой нации. Каждая семья стремилась иметь свой автомобиль Форда, свою швейную машинку Зингера и свой пылесос Гувера.

Единообразие американской жизни, поддерживаемое одними и теми же фильмами, музыкой, журналами, газетами и потребительской продукцией, дало американским производителям огромные преимущества и сделало доступным для граждан Соединенных Штатов изобилие дешевых товаров. Богатство корпораций и их первостепенное значение для на-

циональной экономики обращивались ростом их политического влияния, а новые методы рекламы — ростом влияния на потребителей. По сравнению с Америкой в Европе подобная ситуация складывалась достаточно медленно, ибо здесь по-прежнему сохраняли свою силу традиционные финансовые структуры и потребительские привычки. Лишь после Второй мировой войны Европа смогла на собственном опыте познакомиться с могуществом американских корпораций и американской культуры.

Формирование современной Америки несколько не отменило присущих человеческому обществу противоречий, хотя ее устройство кое в чем отличалось от устройства государств Западной Европы. Способная как к благодетельному идеализму, так и к жестокому давлению, Америка провозглашала себя свободной страной, но одновременно связывала граждан узам законодательных и экономических ограничений. Вдохновленные ростом экономики, продолжавшимся непрерывно с 1865 по 1929 год, американцы верили, что неумная энергия, оптимизм, индивидуальное честолюбие позволили решить все главные проблемы современного общества. Убежденные также в особом предназначении своей страны, в том, что она выступает силой на стороне добра, многие из них уже ничем принципиально не отличались от своих выдающихся предшественников в Афинах, Риме, Париже и Лондоне. Можно заметить, что у них было даже больше оснований для культивирования подобного благородного мифа, чем когда-то у европейцев. Граждан Соединенных Штатов не сплывали узы крови или истории, им требовалась объединяющая идея — и их страна стала воплощенным идеальным видением, сияющим «градом на холме».

Американское общество отличал не только полумессианский идеализм, но и гораздо более жизненное отношение к современности. В отличие от Европы, американцы не отрицали идею популярной культуры, а напротив, создали техно-

логии, позволившие ей появиться на свет. В первые десятилетия XX века в городах Америки сложилась особая урбанизированная культура, существовавшая в резонансе с мироощущением их обитателей — с их стремлениями, духовной неудовлетворенностью, жаждой жизни перед лицом бесстрастных сил индустрии и коммерции. Пусть не все, особенно в Европе, были готовы ее признать, новая цивилизация Запада состоялась.

Глава 16

НА ПУТИ К БЕЗДНЕ

Технология, идеология, катаклизм

Вторая половина XIX века принесла улучшения огромным массам европейского населения. Опирающийся на науку технический прогресс сделал жизнь более удобной, безопасной и здоровой; индустриальная экспансия повысила материальное благосостояние; политические реформы дали людям больше прав и свобод; наконец интеллектуальные свершения века внушали человечеству надежду на то, что его ждет еще лучшее будущее. Тем не менее в первые десятилетия XX века эти передовые достижения утратили всякий смысл вместе с гибелью миллионов европейцев в катастрофической войне механизированной войны. Спустя немного времени невообразимая реальность геноцида европейских евреев навсегда разбила любые остававшиеся надежды на неизбежность прогресса человечества.

То, что война разразилась в эпоху оптимистического процветания, по-видимому, идет абсолютно вразрез с нашим пониманием исторических закономерностей. Определенно, войны ведутся либо ради контроля за ресурсами, которых не хватает на всех, либо ради обретения политических прав, либо ради защиты территории. История десятилетий, предшествующих Первой мировой войне, опровергает каждое из

этих представлений. Более того, для граждан процветающих стран оказалось вполне возможным убедить себя в необходимости пойти войной на соседей, основываясь на причинах почти исключительно иллюзорных. В нижеследующем изложении будут указаны некоторые из этих причин. Кроме того, можно будет понять, что события в истории не связаны между собой универсальными причинно-следственными законами, но являются порождениями непредвиденных обстоятельств. Мировые войны XX века имели свои истоки во всем, что им предшествовало. В этой главе я хотел бы проследить некоторые из этих истоков, для начала обратив внимание на то, что именно в XIX веке научные методы стали находить применение во всех сферах жизни общества.

Индустриализация на ранних стадиях была в первую очередь связана с переменами в экономической и социальной организации общества, однако дальнейшее вложение средств в производственные процессы, делавшееся прежде всего в расчете на постоянную финансовую отдачу, создало условия для развития технологий, призванных непрерывно повышать эффективность этих процессов. Машины для прядения и тканья хлопка и шерсти, обжига керамики, выплавки стали, а также приспособления для передачи энергии от мельничных колес к ткацким станкам, механическим молотам, бурам, подъемникам и сотне других устройств — все появилось на свет в конце XVIII — начале XIX века.

Одновременно с наращиванием практического «технического» знания, все новые и новые области открывались и для теоретического исследования природного мира. В XVIII веке ученые распространили галилеевскую и ньютоновскую концепцию природы на саму материю, на ее структуру и поведение. Работы Джозефа Блэка, Клода Луи Бертолле, Антуана Лавуазье, Джозефа Пристли и других преобразили древнее знание о свойствах веществ в вооруженную математическими методами науку химию. Еще одним стимулом интереса к природному миру стали путешествия и экзотические кол-

лекции Джозефа Бэнкса, Луи Бугенвиля и других первооткрывателей, и в тот же период стараниями Линнея изучение растений и животных было введено в строгие рамки научной классификации. Из разрозненных исследований минералов, ископаемых и естественных ландшафтов постепенно складывалась наука геология. В своей «Естественной истории», увидевшей свет в 1788 году, Жорж Бюффон утверждал, что у Земли есть своя история, а еще до начала следующего века Джеймс Хаттон применил ньютоновские законы к процессу образования скальных пород, из которых состоит земная кора. Около того же времени английский землемер Уильям Смит разработал систему опознания и классификации пород по залегающим в них ископаемым, благодаря которой можно было выводить закономерности этого залегания и делать довольно точные предсказания. Все разнообразие природного мира неумолимо сводилось в единую ньютоновскую схему, позволяющую с помощью математических формул и количественных измерений выявлять лежащую в его основе упорядоченность — законы природы. Интеллектуальная свобода, вытекавшая из теоретического постулата Канта об отсутствии у науки морального целеполагания, усилиями наследников Ньютона обретала многообразные практические следствия.

В Европе и Северной Америке среди определенной части дворянского сословия начали образовываться новые клубы — посвященные специальным естественнонаучным интересам. Линнеевское общество было основано в Лондоне в 1788 году, за ним последовали Геологическое (1807), Химическое (1830) и другие; во Франции в 1830 году сформировалось собственное Геологическое общество, многочисленные аналоги возникали также в Германии и Соединенных Штатах. Помимо этих общенациональных органов представители образованного класса — энтузиасты, сплоченные интересом к натуральной философии, — организовывали многочисленные кружки в разных городах. Сложившийся в этих джентльменских клубах этический кодекс явился принципиальным условием раз-

вития науки на протяжении следующих 180 лет — именно он лег в основание системы, в которой стал возможен свободный обмен идеями, сочетающийся с уважением права первенства и беспрекословным доверием между учеными, институтами и странами. Традиционные ограничения общественной жизни — постыдность быть уличенным в нечестности или злоупотреблении доверием — стали неотъемлемой частью духа научной деятельности, а союзы и соперничества между клубами вылились в «раздел» природного мира между множеством дисциплин: астрономией, физикой, химией, биологией, геологией, анатомией.

В начале XIX века сфера промышленного производства, внутри которой развивались технологии, и сфера научных исследований существовали параллельно и почти не соприкасались друг с другом. Хотя их грядущему союзу было суждено вытолкнуть западный мир в современную индустриальную эпоху, на пути к нему все еще лежали серьезные препятствия. Если в научной среде выходцы из обеспеченных слоев общества представляли свои исследования на всеобщее обозрение и публиковали открыто, то в промышленности цеховые секреты строго охранялись, а производственные методы совершенствовались способом проб и ошибок, с применением выученных тяжким трудом навыков. В теории древнее разграничение между «эпистеме» и «техне» уже утратило актуальность, но их полноценному практическому слиянию все еще мешали социальные барьеры — цеховые ремесленники принадлежали к рабочему сословию, ученые — к благородному. Несмотря на отдельные исключения — порох и дистилляцию как побочные результаты алхимических занятий, очки, астрономические и навигационные приборы как плод оптических опытов, — до начала XIX века и даже позже синтез ремесленного и теоретического знания оставался явлением случайным.

Одним из первых прообразов будущего сотрудничества науки и техники стала деятельность Лунного общества —

группы приятелей-бирмингемцев, в число которых входили Джозайя Веджвуд, Эразм Дарвин, Джозеф Пристли и Мэттью Боултон. В 1775 году Боултон, инженер и владелец фабрики, вступил в деловое партнерство с Джеймсом Уаттом, который придумал, как усовершенствовать примитивный паровой двигатель с помощью паровой рубашки и конденсационной камеры. Помогая Уатту воплотить идеи на практике, Боултон, который видел, что энергия пара может найти применение на фабрике, лишь отчасти руководствовался соображениями выгоды — еще одним немаловажным стимулом была личная увлеченность техникой. Так или иначе, Уатт продолжил совершенствовать паровой двигатель, добавив к своим изобретениям цилиндр двойного действия и центробежный регулятор. Как только эффективность водяной энергии была исчерпана, устройства на паровой тяге стремительно завоевали промышленность, а работающий на угле паровой двигатель сделался главным орудием индустриализации. Паровозы, домны, прокатные станы, текстильные фабрики, угольные и железнорудные шахты — все производило на современников необыкновенное впечатление мощи и динамизма, неведомым образом выпущенных на волю из природного состояния и поставленных на службу человеку. На склоне XIX века европейцы не могли не поражаться тому, какое колоссальное преобразование мира им оказалось по силам осуществить. Обычный горючий камень, выкопанный из земли, с помощью нужных умений и знаний можно было заставить поддерживать безостановочную работу фабрики или с грохотом нести пассажирский поезд из одного дальнего конца в другой. И эта энергия, которая неутомимо вращала маховик индустриального мира, была высвобождена силой человеческого гения.

Но Уатт еще представлял собой старинный тип самодеятельного изобретателя — он не был ученым и тем более теоретиком. Первый явный сигнал о том, что процесс слияния научной и технической сферы начался, прозвучал тогда, когда ученые мужи благородного сословия вместо заинтересованного изучения мира в его «естественном» состоянии,

приступили к исследованию механизмов, что трудились над его преобразованием, и к разработке математических моделей производственных процессов. В 1824 году французский физик Никола Сади Карно опубликовал результаты изысканий в области работы паровых машин, где впервые описал закон сохранения энергии. Труды Карно, которые легли в основание прикладной науки термодинамики, позволили проектировать двигатели с более высоким КПД. В 1830-х годах Майкл Фарадей провел первую серию опытов, которые обнаружили не вполне понятную, но очевидную зависимость между электричеством, магнетизмом и движением. Проведение магнита через электрическое поле индуцировало ток, а прохождение электричества через расположенный в магнитном поле провод заставляло последний двигаться — эти феномены одновременно открывали возможность для создания надежного генератора электричества и для использования электричества в качестве тяговой силы двигателя. Позднейшие эксперименты Фарадея продемонстрировали, что свет также является элементом электромагнитной системы. В 1856 году металлург Анри Бессемер изобрел метод прямого передела чугуна в высококачественную сталь окислением примесей, которое осуществлялось продувкой воздухом исходного материала в специальном агрегате — конвертере. Свои достижения были и у прикладной химии: искусственные красители, новые взрывчатые вещества и новые способы производства важнейших продуктов, таких как, например, квасцы. В этих и других сферах наука начала вносить громадный вклад в развитие промышленных технологий, поэтому довольно скоро данные отрасли уже полностью оторвались от своих ремесленных корней. Индустриальные компании принялись поручать ученым работу над усовершенствованием и созданием производственных методов и процессов, а правительства впервые обратили внимание на необходимость введения естественнонаучных предметов в образованные программы.

К середине XIX века наука убедительно демонстрировала способность влиять на характер развития техники — изобретения перестали зависеть от долгого процесса проб и ошибок и теперь опирались на доказанные физические принципы. В 1859 году наука окончательно переместилась в центр интеллектуальной жизни западного общества вместе с публикацией дарвиновского «Происхождения видов». Если геологи к тому времени показали, что науке по силам изменить традиционные представления человечества о мире, разоблачив неправдоподобность библейского летосчисления, то книга Дарвина сделала еще больше — она лишила человека суверенного положения в мире, отдельного от всех живых существ и возвышающегося над ними. Догадка о том, что одни виды организмов могут развиваться из других, высказывалась и ранее, однако Дарвин описал механизм, благодаря которому это может происходить, и нарисовал общую картину поэтапного развития всех форм жизни на Земле через последовательность мутаций. В работах ученых, принявшихся демонстрировать объяснимость всевозможных феноменов животного и растительного мира с точки зрения законов эволюции, биология преобразалась из дисциплины построения статичных классификаций в науку, изучающую динамические процессы. Теперь действительно все сущее, включая саму жизнь, выглядело подчиненным универсальным законам, и чтобы открыть их, требовалось лишь приложить достаточно умственных усилий.

Во второй половине XIX века складывалось впечатление, что совокупная мощь научного разума и создаваемой на научных принципах техники способна решить любую задачу, которую только вздумается поставить человеку. Постигнуть законы образования гор и океанов, происхождение болезней, структуру космического пространства, возникновение жизни, фундаментальное устройство материи; построить более быстрые поезда, более крупные океанские лайнеры, более

производительные двигатели, сделать жизнь здоровее и удобнее, получить более чистые металлы, усовершенствовать средства коммуникации и электрическое освещение, разработать еще больше полезных химических процессов и материалов, научиться новым методам разведения растений и животных — при наличии желания все это казалось абсолютно достижимым. И если наука делала такие блестящие успехи в изучении и преобразовании природного мира, то не могла ли она столь же плодотворно трудиться на общественной ниве? Раз научное мышление проникало во все большее число дисциплин, на ходу добавляя новые к уже наличествующим, то существовало ли препятствие, которого оно не смогло бы преодолеть? Не управляются ли человеческое поведение, сексуальность, история, общество, политика, коммерция, сознание и культура столь же «научными» законами, как остальной мир, и если да, в чем они заключаются? Может быть, Кант сделал лишь половину дела, размежевав знание о мире и человеческое поведение, — может быть, на самом деле все вообще открыто для рационального постижения и вдобавок лишено морального смысла?

Все более неоспоримому господству научного подхода в технической сфере и интеллектуальной жизни сопутствовал фундаментальный кризис европейского христианства. Вера в сверхъестественные силы и магию переживала упадок в северной и западной Европе еще с XVII века. В самом начале индустриализации, когда общество только вступило в новую эпоху трансформации, церкви сделались одной из немногих опор стабильности в изменяющемся мире. Нонконформистские протестантские движения, в частности английский методизм, увеличивали число приверженцев за счет промышленных и сельскохозяйственных рабочих. Господствующая церковь тоже переживала период расцвета — в викторианской Британии храмы строились невиданными темпами, в первую очередь в стремительно растущих городах. Возникновение в 1830-х годах так называемого трактарианства, или

«оксфордского движения», во главе с Джоном Генри Ньюменом, представляло собой попытку вернуться к духовным заветам древних отцов церкви и былому единению всех христиан. Однако такое возрождение церковной жизни явилось лишь кратковременной реакцией на обезличивающее влияние ранней индустриализации (правда, это не касалось Америки, где кальвинизм несколько не утратил своей роли в самоощущении большинства людей). Когда функционирование индустриального общества вошло в колею, европейцы стали воспринимать технику как средство улучшения жизни и ожидать от науки ответов на самые фундаментальные вопросы.

В первой половине XIX века геологическая наука показала, что возраст Земли исчисляется не тысячами, а миллионами лет и что сотворение мира было не однократной последовательностью событий, уложившейся в шесть дней, а непрерывным — и не прервавшимся до сих пор — процессом. Человек, который появился на Земле на довольно поздней стадии развития планеты, попросту не застал большую часть ее истории и потому ничего о ней не знал. Отныне духовенству нельзя было одновременно отстаивать истинность Библии и верить в истину науки. И несмотря на старания многих теологов найти такое понимание божественного, которое не исключало бы доверия к науке, теории Дарвина серьезно содействовали окончательному оформлению разрыва между учением Священного Писания и научным видением мира.

При всей значимости кризиса в образованной среде решающую роль в подрыве безусловного авторитета религии и беспрекословной веры в христианского Бога сыграли перемены, происходившие с обществом в целом. К 1860-м годам люди уже могли воочию убедиться, что человеческая деятельность, часто опирающаяся на научный подход и технические инновации, способна самым непосредственным образом изменять к лучшему их существование. Они не восставали против Бога, не изгоняли сознательно религию из повседневной жизни — все это просто утратило для них прежний смысл.

Продолжая удовлетворять духовные и эмоциональные запросы сокращающегося меньшинства, для остальных жителей индустриальной Европы религия перестала быть влиятельной силой и интеллектуально, и практически.

Во что в таком случае оставалось верить нерелигиозной личности и светскому обществу? Лишенные места в великой христианской мистерии сотворения, явления Бога во плоти, конца света и вечного воскресения, отрезанные от возможности спастись через благие дела — как должны были жители Запада смотреть на жизнь? И августиновское, и кальвинское учение, помимо наставления о праведной христианской жизни, опирались на некое всеобъемлющее видение человеческой истории. Другими словами, если надлежащим образом изменить этот порядок, они отвечали на два главных вопроса: во-первых, «В чем смысл существования человека?» и, во-вторых, вытекавший из него вопрос: «Как я должен прожить свою жизнь?». Какой же ответ на эти ничуть не утратившие актуальности вопросы мог дать нехристианский мир?

Безусловно, самый убедительный ответ проистекал из всепроникающей веры в прогресс. Несмотря на то, что кризис Просвещения (см. главу 13) должен был положить конец надеждам на постоянное улучшение человеческого положения, в XIX веке европейцы сделали беспрекословную веру в прогресс важнейшей чертой мировоззрения, находя несомненное подтверждение своей правоты в росте технического могущества. Но какой реальный смысл имела идея прогресса: бесконечный ли это процесс, можно ли им управлять или существуют некие фундаментальные силы (вроде ньютоновской силы тяготения и инерции), которые с самого начала диктовали ход развития человечества и должны диктовать его в будущем? Не является ли в таком случае история человечества еще одной сферой, открытой для рационального, научного исследования — доступной для анализа и преобразования?

Представление о времени, с которым соотносилась идея прогресса, уходило корнями в письменную историю Геродота и Фукидида и в абстрактные космологические концепции Аристотеля и его предшественников. Мифологическое и религиозное время было несчетным — век героев всегда оставался вне досягаемости, как и богов никогда нельзя было увидеть своими глазами, а шесть дней творения и сорок дней и ночей, проведенных Христом в пустыне, являлись не буквальными описаниями, а поэтическими образами. Напротив, Фукидид вел счет времени, и то же самое делали Ливий и Светоний. Все их последователи рассматривали историческое время как линию, по которой свершается неуклонное движение человечества. Внутри такого образа мыслей легко возникало ощущение, что одни элементы человечества движутся по линии быстрее других — линейным феноменом оказывалось не только время вообще, но и движение во времени, то есть прогресс. И если любой фрагмент человеческой истории, как в прошлом, так и в настоящем, можно было рассматривать как точку на единой линии, то двигаться человечество могло только вперед или назад. Этот способ восприятия истории, посредством образования и воспитания, превратился в фундаментальный элемент западного мировоззрения — до такой степени, что нам практически невозможно мыслить время как-то иначе. Другой тип понимания времени, доставшийся в наследство от XIX века (но оттесненный на периферию нашего сознания), исходил из его цикличности. Взяв в качестве примера описанные Ньютоном планетарные движения, историки той поры начали искать в истории определенные циклы, которые подчинялись бы законам, похожим на законы небесной механики.

Первым, кто посмотрел на историю именно под этим углом, стал немецкий философ Георг Гегель (1770–1831). В науке того времени, в частности в геологии и зоологии, уже созрела гипотеза, что история Земли обнаруживает себя как последовательность миров, каждый из которых населен своим множеством живых существ, и что наш мир является лишь

позднейшим звеном этой последовательности. Гегель предложил рассматривать человеческую историю как последовательность стадий, внутри каждой из которых человечество имело свои отличительные признаки. Революционность идеи заключалась в том, что до Гегеля философы и историки считали природу человека, само- и мироощущение людей, неизменяющимися во времени — после Гегеля все уверовали в то, что исторический контекст является существеннейшим элементом для анализа мыслей и поступков человека.

Гегель описал историю как циклическое движение, словно вежами размеченное значительными для дальнейшего развития событиями или эпизодами. Эти эпизоды возникали тогда, когда между личными и коллективными убеждениями, или между субъективными и объективными целями, или, как сказал бы сам Гегель, между желанием и разумом, устанавливалась гармония. Это происходило и в античной Греции, и в ранние века христианской церкви, и в период лютеранской Реформации (которую Гегель считал великим свершением немецкого народа), и каждый раз в такой ситуации для людей открывалась возможность обрести духовную свободу собственными усилиями, без помощи властей или внешнего вмешательства. При этом Гегель верил не только в цикличность истории, но и в ее прогресс — в то, что каждый цикл приближает мир к совершенному состоянию. В совершенном состоянии, к которому двигался мир, люди перестанут различать личное и общественное, или разум и желание, и будут пользоваться духовной свободой, никогда ранее не доступной.

Хотя концепция идеального мира кажется нам чуждой, в творчестве Гегеля содержалось несколько важных новых мыслей. Первая заключалась в том, что все представления о таких абстрактных предметах, как нравственность, объективность или истина, могут оцениваться только в историческом контексте. Все изменяется во времени, даже наши понятия истины и лжи, добра и зла. С его ходом трансформируется само человеческое существо, и в идеальном мире, который нарисовал Гегель, людям опять предстояло стать ины-

ми. Вторая мысль Гегеля заключалась как раз в том, что такой идеал существует и что он будет достигнут в финальной фазе истории. Правда, полагая, что свобода личности необходима, Гегель так и не определил ее конкретное место в идеальном мире — он просто верил, что на последнем этапе истории личность и общество сольются в целое. В этом мире не должно было остаться места для конфликтов, поскольку каждый его элемент находился бы в согласии со всеми прочими. Таким образом, по-своему отвечая на вопрос о смысле существования человека во Вселенной — показывая историю как результат действия определенных сил, — гегелевское учение не содержало какого-либо конкретного указания на то, чем следует руководствоваться в жизни отдельному человеку. Люди должны стараться сделать мир таким, чтобы между желанием и разумом установилась гармония, однако было не вполне ясно, как именно этого достичь. Вполне возможно, что личность была всего лишь орудием объективных исторических сил.

Рациональный анализ истории, предпринятый Карлом Марксом (1818–1883), пользовался гегелевскими идеями для выявления закономерности политических и экономических изменений. Маркс, также веривший в неизбежную эволюцию, направленную к идеальному состоянию, в отличие от Гегеля полагал, что приближение к этому состоянию происходит за счет развития экономических и материальных условий, которые в свою очередь влияют на человеческое поведение. На его глазах индустриализация в Англии и других странах Европы изменяла привычный уклад жизни столь коренным образом, что наилучшим способом понимания человеческого общества становилось изучение его материального и экономического устройства, а не политической, национальной или военной истории. Гегель в свое время указал, что движение истории вперед происходит по законам того, что он назвал диалектикой. Любая историческая стадия, характеризующаяся определенным мировоззрением и образом мысли, представляет собой тезис; вызревавшее внутри него противопо-

ложное умонастроение является антитезисом; наконец в сочетании эти два фактора порождают новое состояние, или синтез — который в свою очередь есть тезис для нового антитезиса, и так несчетное число раз на протяжении всей истории. Эта схематическая модель в руках Маркса обратилась в инструмент анализа изменяющихся экономических условий мирового развития — диалектический материализм.

Маркс полагал, что промышленный капитализм в обществе, подконтрольном классу буржуазии (как было в приютившей его Британии), является необходимым этапом истории и что в будущем его должен сменить новый этап, когда контроль возьмет в свои руки класс трудящихся — возможно, путем революции. «Диктатура пролетариата» стала одним из тех понятий, которые, как нам известно, в последующей истории приобрели зловещий оттенок; однако в реальности, говоря о ней, Маркс подразумевал ту самую финальную стадию истории, в которой противостояние между различными социальными и экономическими классами подойдет к концу. Если рабочие будут контролировать средства производства и распределения, всякая необходимость в экономических конфликтах исчезнет сама собой. Поскольку же, по убеждению Маркса, политические конфликты являются производными от экономических и вообще материальных, то от политики тоже ничего не останется. Более того, должна постепенно исчезнуть сама необходимость в сильном государстве, регулирующем деятельность граждан, — люди в конечном счете должны стать свободны жить друг с другом в мире и согласии. Поэтому изначальный смысл «диктатуры пролетариата» был не в воцарении деспотического тоталитарного государства, а в освобождении трудящегося человека от бремени состояния, в котором ему нечего продать, кроме собственного труда.

Маркс, несомненно, был человеком своего времени. В середине XIX века в Британии и индустриальных регионах Европы машины, заполнявшие стук и грохотом любое здание, где их только могли разместить, выдавали из своих недр все,

о чем человеку только могло прийти в голову мечтать. Ткани, керамическая и металлическая посуда, мебель, камины, газеты, паровые двигатели, вагоны, пуговицы, наперстки, жестяные подносы, бутылки, ножи и ножницы, лекарства, платяные крючки, детали для других машин, чтобы производить еще больше новых вещей, не говоря о каменном угле, стали и других металлах — все это выходило из фабрик, заводов, шахт и печей с невообразимой скоростью. Едва построенные, новые дома тут же заполнялись вещами — целый мир складывался из предметов, которые машины выстреливали тысячами штук в день. Не удивительно, что неограниченный спрос и неограниченное производство казались гарантией того, что каждый получит все необходимое и просто желательное для достойной жизни — при единственном условии их равного распределения.

Влияние Гегеля и особенно Маркса объяснялось особым сочетанием логики и романтизма, которым отличались их учения. Оба использовали рациональные методы, чтобы подвергнуть анализу ход истории, и оба заключили, что человечество движется к свободе в будущем царстве света и изобилия. Опаснее всего было то, что вера в возможность гармонии в обществе привела их к тем же самым выводам — и в ту же самую ловушку, — что и французских революционеров (см. главу 13). В их чудесном новом мире необходимость в политике отпадала, ибо все его обитатели должны были понимать, что существует только один верный способ общественного устройства и управления: соответственно, возражения против истинного движения истории являлись препятствием на пути прогресса и подлежали устранению.

Гегель и Маркс довели идею прогресса до логического предела, однако среди современных им историков и философов тоже не было недостатка в желающих воспользоваться научными методами для анализа всех аспектов общественной жизни и для поиска доказательств прогресса. В 1848 году Томас Маколей писал: «История нашей страны на протяжении

последних ста шестидесяти лет очевидным образом была историей материального, нравственного и интеллектуального совершенствования». Генри Бокль связал гегелевскую концепцию определенных кульминационных эпизодов человеческого развития с концепцией «великой исторической цепи». Как только идеи Дарвина прочно вошли в интеллектуальный обиход, смотреть на человеческое поведение и общество сквозь их призму довольно скоро тоже стало вполне естественным занятием. Заглавие выпущенной в 1875 году книги Уолтера Бейджхота — «Физика и политика: размышления о применимости принципов естественного отбора и наследственности к политическому обществу» — служит свидетельством широко распространенного интереса к объединению науки, политики и общественной жизни, а необъятное произведение Герберта Спенсера, публикация которого началась в 1860-х годах, — «Программа системы синтетической философии» — явилось самой грандиозной попыткой показать эффективность эволюционной теории во всех областях человеческого знания, включая социологию, образование и этику.

Для этих авторов, как и для подавляющего большинства мыслителей XIX века, вера в прогресс была непосредственно связана с верой в превосходство европейцев. Если история представляла собой комбинацию циклических этапов и линейного прогресса, то не вызывало сомнений, что в рамках текущего цикла Западная Европа продвинулась вперед значительно дальше, чем остальные общества. Ничто другое не выражало в такой популярной и убедительной форме эту двойственную веру, как социологическое учение, взявшее за основу (и исказившее) эволюционную теорию Дарвина и поэтому получившее название социального дарвинизма. Согласно Дарвину, изменение, или мутация, происходит волей случая и закрепляется, лишь если дает мутировавшей особи лучшие шансы на доживание до возраста произведения на свет потомства. Однако большинство людей, принявших эволюционную теорию, отбрасывали правило случайной мутации. Они предпочитали предшествующую концепцию Жана-

Батиста Ламарка, который считал, что виды живых существ приобретают определенные признаки в результате своего образа жизни — так, по самому известному примеру Ламарка, жирафы, пытаясь достать до листвы высоких деревьев, постепенно, через множество поколений, вытянули себе шеи. Подобное учение позволяло его приверженцам наделять эволюцию определенным целеполаганием, ведь животные и растения «развивались» вследствие своих усилий, актов воли. Эта интерпретация эволюции в сочетании с дарвиновской доктриной «выживания наиболее приспособленных» произвела на свет социальную теорию, по которой сильные не только предназначены для господства над слабыми самой природой, но и оказывались в положении силы благодаря совокупному действию их собственной воли и воли их предков. Получалось, что обладавшие экономической и физической силой имели на своей стороне и природу, и нравственный закон — они не очутились бы там, где очутились, если бы не собственные старания и старания их родственников. Любая попытка вмешаться в эту ситуацию, например, учредить государственную помощь для слабых и неимущих, отклоняла общество от естественного курса и грозила затормозить развитие. Социальный дарвинизм (разительно контрастирующий с теорией самого Дарвина) делался доктриной, оправдывающей практически любое действие, от сознательного невмешательства в экономику до порабощения или геноцида «слабейших» рас, от лишения бедных слоев рабочего класса права на образование до уничтожения малых стран крупными и могущественными. Разумеется, приверженность догме социального дарвинизма имела разную степень, однако между 1860 и 1939 годами вера в выживание наиболее приспособленных и моральное превосходство сильных чрезвычайно широко распространилась на Западе.

Хотя марксизм и социальный дарвинизм в конечном счете оказались представлены противоположными концами политического спектра, у них был один и тот же источник — стремление овладеть универсальной теорией, которая даст

объяснение человеческому существованию и станет руководящим принципом человеческих поступков. Подобные теории со всей неизбежностью приводили своих приверженцев к умозрительным размышлениям о проблемах человечества, нежели к практическому участию в улучшении жизни отдельных людей. Огромный рабочий класс, произведенный на свет индустриализацией, рассматривался и Марксом, который идеализировал «массы», и социальными дарвинистами, которые очерняли их, именно как масса — однородная и находящаяся во власти неумолимых исторических сил.

Все это могло остаться без особенных последствий на фоне того, что в конце XIX века представители европейской массы впервые начали пожинать плоды повышения уровня жизни, социальных реформ и расширения политических прав. Однако политические идеи становились грозной силой сами по себе. Гегелевская вера в историческое предназначение, необходимость обустроить общество на рациональных основаниях, которую ощущали лидеры рабочего класса, страх и ненависть по отношению к большинству, которые ощущали классы привилегированные, и, самое главное, все более прочное отождествление человека с национальным государством как неким историческим, органическим, полумистическим существом, живущим по законам эволюции, в частности по закону о выживании наиболее приспособленных, — все это сошло воедино, чтобы подтолкнуть на первый взгляд мирную и процветающую Европу к военной катастрофе. Этот процесс, казалось, попирает логику истории — и тем не менее происходил в реальности.

От разгрома Наполеона при Ватерлоо 18 июня 1815 года до начала военных действий в августе 1914 года народы Европейского материка существовали в условиях мира и благополучия. Хотя в 60-х и 70-х годах XIX века произошло несколько международных конфликтов, ведущие державы смогли удержаться от того, чтобы втянуться в войну континентального масштаба. Постоянный мир между европейскими наци-

ями более не казался несбыточной мечтой. Однако за несколько десятилетий, предшествующих 1914 году, большинство европейцев убедили себя в том, что серьезный конфликт неотвратим — и даже желателен. Для европейских правительств последние мирные десятилетия стали временем заключения внешнеполитических союзов и вооружения в ожидании решающей, апокалиптической схватки, а для общества — временем, когда под покровом внешнего спокойствия милитаризм и агрессивный национализм постепенно охватывали все сферы. Однако рождение потенциальной агрессии в обстановке мирного сосуществования произошло задолго до этого — в эпоху, непосредственно следовавшую за окончанием наполеоновских войн.

Национализм играл не менее принципиальную роль в европейской жизни в XIX веке, чем индустриализация. После французской революции идея народной общности и всеобщей воли неожиданно стала близка людям во всех уголках континента. Патриоты-националисты искали отличительные признаки своих народов в истории, языке, расовых особенностях и культуре, и чаще всего те не совпадали с государственными границами. Карта Европы изобиловала странностями: немецкая нация была разделена на 15 государств; Италия — не только разделена, но частично подчинена Австрийской империи; славяне рассредоточены по разным национальным областям, одни из которых являлись самостоятельными государствами, а другие (в первую очередь земли венгров, чехов и словаков) — австрийскими владениями; Польша была поделена между Австрией, Пруссией и Россией; Балканы и Греция входили в Османскую империю; Норвегия состояла в навязанной ей унии со Швецией, которая испытывала мощное влияние Дании; Бельгия вмещала два разных народа, фламандцев и валлонов; Великобритания была союзом четырех исторических областей. На фоне всего этого Соединенные Штаты выделялись как страна, которая с самого рождения видела себя слиянием множества разных народов и, более того, отстаивала единство в гражданской войне.

Как хорошо видно, оглядываясь из сегодняшнего дня, основной геополитической характеристикой Европы в XIX веке был процесс обретения нациями своей государственности. Наполеоновские кампании 1813–1815 годов, в ходе которых европейские армии обратили вспять волну французской оккупации, для многих их участников стали первым актом национального освобождения. Дух национализма и самоопределения, перенятый у французов если не государями, то простыми солдатами и гражданами Европы, продолжал вести за собой. 55 лет спустя после разгрома Наполеона Пруссия, ободренная стратегическими победами над Данией и Австрией, втянула Францию в новую войну. Поводом для начала конфликта послужила знаменитая Эмская депеша*, однако его подлинной причиной была целенаправленная реализация Бисмарком своего стратегического замысла — сплочения Германии. Расчет строился на том, что война против Франции, воспринимавшейся как древняя и непримиримая соперница Германии, соберет все немецкие государства под прусские знамена. Чтобы повергнуть французскую армию, на протяжении 200 лет остававшуюся господствующей военной силой на континенте, оказалось достаточно двух месяцев, и в январе 1871 года расчет Бисмарка с триумфом оправдался — в Версальском дворце Вильгельм I был провозглашен императором Германии. Франции пришлось подписать навязанный мирный договор, по которому она уступала победителю Эльзас, Метц, Страсбург и богатую угольными месторождениями треть Лотарингии.

* Телеграмма с изложением беседы прусского короля Вильгельма I с французским посланником, направленная премьер-министру Отто фон Бисмарку, в которой говорилось о разногласиях между Пруссией и Францией по вопросу о будущем испанского престола. Документ был отредактирован Бисмарком с целью дальнейшего обнародования и создания у публики впечатления, что Франция и Пруссия обменялись оскорбительными выпадами в адрес друг друга.



Германская империя в 1871 году, с бывшими границами немецких государств

Мастер политической стратегии и главный автор объединения Германии, Бисмарк не смог бы завоевать поддержку соотечественников, не апеллируя к глубинному слою национального самосознания. Гегель уже обосновывал понятие «исторических наций», Гейне, Гёте, Шиллер, Бетховен, Шуман и Вагнер продемонстрировали наличие у немцев глубоко укорененной, исторически сложившейся культурной самобытности, и это вполне отвечало настроениям простого народа, его крепнущему чувству национальной общности, опирающейся на единство языка, религии и обычаев. Поскольку германская нация была выкована в войне со своим старым врагом, немецкий патриотизм оказался неразрывно увязан с милитаризмом — военный триумф объединенной Германии над французами как ничто другое подтверждал, что вместе немцы куда сильнее, чем поодиночке.

Похожие настроения существовали во Франции еще со времен революции и также набирали силу в Британии, смотревшей на мир с высоты своего имперского могущества и индустриального превосходства, — как и немцы с французами, британцы ощущали себя особенным народом, отличающимся от всех остальных. Другие нации тоже отстаивали свое право на самоопределение. Итальянцы, вышедшие из периода наполеоновского владычества с желанием жить в объединенной Италии, смогли окончательно достичь своей цели в 1871 году; польские патриоты силой отобрали контроль над страной у российских колониальных властей в 1863 году, потерпели поражение и вновь заявили о себе в 1905 году; в 1867 году «Аусгляйх» — акт о равноправии — ввел в Австрии двойственное монархическое правление и даровал венграм собственный парламент; Греция провозгласила независимость от Османской империи в 1825 году и добила государственного статуса в 1832 году; в 1830 году бельгийские националисты отстаивали самостоятельность от голландского правления; другие народы переживали период подъема национальной культуры и самосознания — например, чехи в Богемии, словаки в Венгрии, ирландцы и валлийцы в

Британии. Но самые серьезные последствия имели события в Германии, Франции, Италии и Австрийской империи — старом франкском ядре Европы. Триумф германского оружия в 1871 году и образование единого государства невероятно подстегнули немецкий национализм, но и французы, которые расценивали разгром своей армии и потерю восточных провинций как национальное оскорбление, отнюдь не уступали соседям в силе патриотических чувств. И у победителя, и у побежденного конфликт лишь спровоцировал еще большее националистическое рвение.

Помимо подогревания взаимной ненависти конфликт 1871 года также подстегнул милитаризацию Европы. Немецкая армия-победительница показала, что единовременное задействование огромной массы населения — значительная часть которой прошла подготовку в рамках системы государственной «воинской повинности» — способно принести быстрый и решительный военных успех. Все государства ощутили необходимость иметь в своем распоряжении многочисленных подготовленных новобранцев, доступных для призыва в самое короткое время. По видимости мирное существование, которое вели в промежутке между 1871 и 1914 годом европейские государства (двумя основными исключениями были русско-японская война 1904–1905 годов и англо-бурская война 1899–1902 годов), не помешало почти каждому из них учредить систему принудительного призыва. Но пример Германии и подъем национализма не просто увеличили число людей на военной службе. Первостепенная роль войны в национально-освободительной борьбе наделила европейские армии статусом души и защитника нации, каковое преклонение отчасти являлось компенсацией упадка в Европе роли христианской религии. Военное поприще сделалось привлекательной перспективой для множества молодых людей. Хорошее питание, механизированный транспорт, достойные условия жизни в войсковых казармах, первоклассное снаряжение превратили воинскую службу во вполне цивилизованное занятие, но самое главное заключалось в том, что армия ока-

залась самым достойным способом обретения своего места внутри нации — человек с оружием пользовался всеобщим уважением, а отбывание воинской повинности стало удостоверением статуса гражданина.

Движения среди штатского населения, имевшие серьезные связи с военным миром и объединявшиеся под лозунгами милитаристского содержания, активно распространялись по всей Европе. Лидеры таких организаций, как Пангерманский союз и британская Лига национальной службы, а также молодежных групп вроде объединявшего курсантов Младогерманского ордена, университетских дружин по подготовке офицеров, британских «Бригады мальчиков», Патриотического союза девушек и Ассоциации бойскаутов, пропагандировали воинскую службу как необходимое условие прививания самодисциплины и формирования характера. Роберт Баден-Пауэлл, основатель скаутского движения, пояснял членам своей организации, что девиз скаутов «Будь готов!» на самом деле означает «Будь готов умереть за родину!». Среди среднего класса прочно укоренилось ощущение, что современный городской быт всерьез способствует физическому и моральному упадку низших слоев общества. Воинская служба обещала оградить юношей, причем не только рабочего происхождения, от бездуховности и бесцельности, рутинности и нерешительности, а война должна была принести освобождение от удушающего комфорта буржуазного существования и никчемности массовой культуры.

Произведения таких писателей, как Редьярд Киплинг, противопоставляли грубого и честного вояку пресыщенному и разнеженному обитателю пригородов; Г. Райдер Хаггард и десятки авторов его калибра увлекали читателей историями о невообразимых приключениях. Прозаики и поэты романтизировали войну, уснащая свои сочинения псевдосредневековой символикой и языком — лошадь у них неизменно становилась верным спутником в боевых походах, солдат — воином, человеческое тело — бранным, а кровь — сладким вином молодости. Героические фантазии сочинителей под-



Италия после объединения (границы 1914 г.), с бывшими границами итальянских государств

креплялись реальными повествованиями об исследователях, покорителях и первопроходцах — на фоне защиты переправы Роркс-Дрифт, африканских путешествий Ливингстона и приключений Уинстона Черчилля в бурской войне жизнь клерков и лавочников выглядела средоточием скуки и банальности. Даже в творчестве таких далеких от ура-патриотизма художников, как Оскар Уайльд и Обри Бердсли, важную роль играл эпатаж — стремление предложить избалованной и изнеженной аудитории что-нибудь поострее.

Полувоеннизированные объединения с их отрицанием домашнего быта и воспеванием естественности и природы обращались за вдохновением к мифическому прошлому, когда вся молодежь, не оскверненная беспросветностью и порочностью жизни индустриальных городов, несла в себе телесную и духовную чистоту и силу. Именно этим ностальгическим романтизмом было проникнуто поколение юных немецких и австрийских националистов — включая тех, на чьих плечах 30 лет спустя будет воздвигнут Третий рейх. Многие европейцы той поры чувствовали усталость от спокойной и мирной жизни и искали драматизма, испытания, славы и простоты — всего, что ассоциировалось с войной. Гельмут фон Мольтке, начальник немецкого Генерального штаба с 1871 по 1888 год, писал: «Вечный мир — это мечта, причем отнюдь не прекрасная, а война есть звено божественного миропорядка. В ней развиваются самые благородные достоинства человека: мужество и самоотверженность, верность долгу и готовность пожертвовать собственной жизнью. Без войны мир погряз бы в материализме».

Пока нации Европы пребывали в мире друг с другом, от десятилетия к десятилетию все более тревожном, остальная планета превращалась в отдушину для их патриотического энтузиазма. Редко дравшиеся на родной земле, во всех прочих частях света европейские армии в XIX веке вели беспрепятственные боевые действия — между собой и не только. И если с утратой Францией военного могущества в 1815 году Брита-

ния получила почти неограниченное поле деятельности для строительства глобальной империи, то после 1870 года отхватить свою долю мирового господства захотелось и другим европейским державам. Индустриализация дала в руки Франции, Бельгии, Германии и Италии военные технологии, с помощью которых можно было подавить любое сопротивление заморским амбициям, если только эти амбиции не пересекались. Колебания относительно захвата других частей земного шара запросто перевешивали аргументы социал-дарвинистов — европейцам самой природой предназначено повелевать, и отказаться от этого означает изменить моральному долгу. Издержки колонизации казались незначительными, а престиж, связанный со статусом страны-метрополии, был велик.

До 1875 года уровень колонизации Африки почти не менялся на протяжении двух столетий. За это время европейские державы основали небольшое число прибрежных поселений, однако внутренние области материка считались местом опасным, да к тому же не сулящим особенных коммерческих приобретений — единственной важной статьей экспорта из Африки оставалось пальмовое масло. Сильнее прочих желание расширить свои владения и поспорить с Британией за господство над рынками мира снадало Францию и Германию, но и бельгийский король Леопольд захватил солидную часть бассейна реки Конго, которую практически превратил в удельное княжество. За ним последовали другие, и в 1884 году Бисмарк уже созвал в Берлине международную конференцию в попытке ввести хаотическую «африканскую гонку» в определенные рамки. Конференция постановила, что оккупация любой территории европейским государством наделяет его правами собственности, и это решение послужило ускорению колонизации Африки и все остальных «незанятых» участков суши на планете. К 1914 году Африканский континент, а также и остальной мир, был поделен как пирог между Британией, Францией, Германией, Россией, Соединенным Штатами, Японией, Испанией и Португалией. Африканские королев-

ства и народы, такие как Самори, Борну, теке, лунда, Утете-ра, йеке, кикуйю, нгуни и шона, были поглощены административными единицами с названиями вроде Французская Западная Африка, Немецкая Восточная Африка или Северная Родезия. Кроме захвата Африки Британией, Францией, Германией и Португалией, этот период стал свидетелем колонизации запада Северной Америки и Филиппин Соединенными Штатами, европейского заселения Квебека и остальной Канады, аннексии сибирских и центральноазиатских земель Россией, японской оккупации Кореи и французского завоевания Индокитая. При наличии нескольких самостоятельных государств — Абиссинии и Марокко в Африке, Китая и группы бывших колоний в Южной Америке — в остальном весь мир был аннексирован индустриальными державами Европы, Соединенными Штатами и Японией.

Колонизация XIX века подразумевала не просто оккупацию и экономическую эксплуатацию коренного населения — она свела весь мир в единую торговую систему, правила и условия существования которой диктовались промышленниками и банкирами Европы и Соединенных Штатов. Внедрение рациональных схем хозяйствования, базировавшихся на открытой торговле и денежной экономике, имело разрушительный эффект на жизнь народов, чья структура экономического обмена была глубоко укоренена в структуре общинной жизни. Традиционные, крайне изоциренные системы назначения цен, взаимозачета, придерживания товара, хранения и снабжения рушились под натиском торжествующей по всему миру простоты законов прибыли, спроса и предложения. Для коренного населения это оборачивалось настоящим бедствием. По оценкам историков в промежутке между 1876 и 1902 годами, на пике колонизаторской активности, в Индии, Китае и Бразилии умерли от голода около 60 миллионов человек. К жертвам голода добавлялись огромные жертвы войн, также нередко спровоцированных угрозой голодного вымирания. К примеру, в 1877 году народ канаков в Новой Каледонии восстал против французских хозяев — земля, на которую

его выселили, оказалась неплодородной. Восстание было утоплено в крови, вождя канаков по французской традиции гильотинировали, а голову отослали в Париж — утонченный Париж Ренуара, Моне и Дега — в виде трофея. В некоторых других случаях геноцид, казалось, вообще устраивался из чистого одичания и ради забавы. Начиная примерно с 1804 года британцы убивали, похищали и обращали в рабов коренных обитателей Тасмании, охотясь на них как на зверей и используя в качестве живых мишеней, пока наконец в 1876 году, после 70 лет неопикуемой жестокости, не умер последний тасманиец на острове (многих депортировали) — то есть пока не была истреблена целая цивилизация.

По мере того как торговля переходила в завоевание, имперский престиж начинал восприниматься некоторыми группами общества — высшим офицерством, политиками, журналистами, честолюбивыми выскочками — как противовес национальному упадку и впоследствии как неотъемлемая часть нового мироустройства. Прихотливая торговая сеть былых империй к середине XIX века все больше обретала черты идеально функционирующей глобальной системы, все линии которой сводились к правительственным кабинетам и совещательным комнатам глав компаний Европы. Доктрина свободной торговли (см. главу 14) настойчиво добивалась повсеместного торжества законопорядка, и его обеспечение служило главным идеологическим оправданием европейского владычества. Впрочем, империи требовались не только купцам и политикам. Миссионеры завоевывали мир для Христа, социал-дарвинисты говорили о предначертании судьбы, диктующем высшим светлокожим народам повелевать низшими смугло- и чернокожими, а исследователи и первооткрыватели претворяли личные амбиции в романтическую аллегорию противостояния человека и враждебной ему природы. В своем стихотворении «Бремя белых» (1899) Киплинг утверждал, что перед рядовыми имперской армии стоит неблагодарная задача — «Править тупой толпою / То дьяволов, то детей», чтобы создавать богатство для кого-то еще: «Твой жребий —

Время Белых! / Но это не трон, а труд». Однако Киплинг, всегда стоявший на стороне простого солдата, в одинаковой мере разделял характерное для его эпохи полное непонимание неевропейцев. Сынам Европы, отправлявшимся в Африку и Азию, по его искреннему убеждению, чтобы спасти аборигенов («Накорми голодных, / Мор выгони из страны»), приходилось сталкиваться с тем, как благодаря туземцам все их старания шли прахом — «Изменит иль одурачит / Языческая орда»*. Бременем европейцев, исполнявших свое призвание донести цивилизацию до остального мира, было наблюдать за тем, как удостоенные цивилизации праздные язычники перечеркивают все их усилия.

Время от времени у европейских политиков возникал соблазн использовать имперские лозунги, чтобы заработать популярность, однако у такой стратегии была и обратная сторона. В 1870-х годах британский премьер-министр Бенджамин Дизраэли вознамерился сделать тори партией империи, а империю — символом британского престижа и величия, а также образцом справедливости и свободы. Ряд действий в этом направлении, среди которых были покупка контроля над Суэцким каналом и аннексия Кипра, увенчался самым помпезным из имперских мероприятий — проведением в Дели в первый день нового 1877 года грандиозной церемонии, на которой королева Виктория была провозглашена императрицей Индии. Тем временем опрометчивая самоуверенность Дизраэли ввергла Британию в вооруженные конфликты на территории Афганистана и зулусского Трансвааля, и на выборах в 1880 году он потерпел сокрушительное поражение от Уильяма Гладстона, который объявил империю дешевым театром, призванным скрыть преступные устремления, а войны против афганцев и зулусов — посягательством на жизнь невинных людей. По-видимому, имперская политика не была

* Перевод В. Топорова.

столь уж беспроегрешной картой в завоевании голосов британских избирателей.

Политики Франции также обнаружили, что империя приносит слишком мало выгоды при благоприятном течении дел, и непомерно много обвинений, когда обстоятельства складываются неудачно. Вторжение в Мексику в 1864 году обернулось полным фиаско для Наполеона III — разгром французских сил сделал страну уязвимой для германского нападения в 1870 году, во время которого император был захвачен в плен и сослан. Но и Третьей республике довелось испытать свою долю колониальных бедствий. В 1881 году премьер-министр Жюль Ферри лишился поста после того, как в обход закона отдал приказ о захвате Туниса; вернувшийся в 1885 году, Ферри вновь был уволен после поражения французских войск с огромными потерями в Индокитае. Его преемнику Анри Бриссону пришлось подать в отставку в результате отказа парламента поддержать его планы по расширению финансирования армии, размещенной в том же Индокитае. В Германии в 1906 году по следам зверств военных в юго-западной и западной Африке отказ оппозиционных партий проголосовать за бюджет привел к роспуску рейхстага. В России мечты царя Николая II об имперской гегемонии на востоке кончились позорным поражением в русско-японской войне и революцией 1905 года.

Империи представляли собой политические парадоксы — как правило, пользовавшиеся поддержкой большинства, они грозили крахом политической карьеры неосторожному или забывшемуся в националистическом угаре политику. Оправдание колониализма превратилось в порочный круг. Потребность в защите коммерции и стратегических позиций на планете от посягательств амбициозных конкурентов не играла сколько-нибудь важной роли, поскольку на фоне объемов внутреннего и взаимного экономического обмена между индустриальными странами объем колониальной торговли был мизерным. В реальности колонии поглощали больше ресур-

сов, чем производили, и поэтому непрерывное увеличение отчислений на защиту заморских поставок и сдерживание геополитических соперников только осложняли проблему. Обычное население Британии и Франции, насколько можно судить, не выигрывало от имперских владений практически ничего. Для небольшой группы они были источником солидной наживы; еще несколько тысяч, заброшенных в экзотическую даль, охотно или не очень пользовались своим положением хозяев над людьми, недовольными самим их присутствием. Благосостояние остальных в отсутствие всяких империй было бы только выше.

В то же время для многих в метрополии имперские авантюры являлись идеологической потребностью: они работали на обостренное национальное самосознание, поднимали общественный авторитет армии и усиливали недоверие к соседям-европейцам. Газеты изобиловали отчетами о боях, развертывании войск, полковых маневрах, назначениях тех или иных лиц на командные посты, и все это происходило в местах, которые, располагаясь на другом конце света, становились знакомы европейцам, как свои пять пальцев. С переправы Роркс-Дрифт, из Муалока, Литтл-Бигхорна и Хартума постоянно доходили вести о героических подвигах отрядов, то чудом одерживавших победу, то мужественно отступавших перед превосходящими силами противника. Но правда была совсем иной.

1 сентября 1898 года генерал Китченер, под командованием которого находилось 20 тысяч человек и 100 корабельных орудий, столкнулся с пятидесятитысячной суданской армией, растянувшейся по фронту длиной в 4 мили. Когда суданцы пошли в атаку, британские пули стали косить их как траву. Омдурман был не столько битвой, сколько бойней — по прошествии нескольких часов среди песка лежали мертвыми 10 тысяч суданских солдат. Такого рода боевые операции фактически приравнивали войну к геноциду. Контроль над территорией в исполнении европейской армии подразумевал сперва массовое убийство ее обитателей, а затем либо высе-

ление, либо подчинение оставшихся в живых. У европейцев были лучше вооружение, организация и дисциплина, они исповедовали совершенно иную войну, чем те, кто был вынужден оказывать им сопротивление. Для коренного населения Африки, Индии и Юго-Восточной Азии вооруженный конфликт являлся нежелательным результатом, в котором кровопролитие должно быть сведено к минимуму: ни у кого из туземцев не было причин вести многолюдные и кровопролитные войны с огромным географическим охватом. И если их методы представлялись по-варварски дикими и жестокими, разве следовало европейцам ожидать чего-то иного? Для них самих война могла казаться естественной — они хотели утвердить право собственности на территорию, — однако местных жителей такая цель часто ставила в тупик. Где-то европейцы хотели просто осесть, где-то лишь торговать; иногда они хотели, чтобы туземцы воевали в их войсках, иногда — истребляли аборигенов до единого человека. Чего бы они ни хотели, они не принимали в расчет коренных жителей и целенаправленно уничтожали любые социальные структуры, способные сосредоточить в себе энергию сопротивления. Британцы, наученные горьким опытом индийского восстания 1857 года, специально прилагали усилия, чтобы не оставить следа от естественного политического и культурного уклада своих африканских колоний.

Имперские авантюры, служба отдушиной для национальных чувств, в конечном счете лишь больше способствовали развитию воинственного патриотизма. Весь «остальной» мир превратился в пространство, одновременно похожее на шахматную доску и на поле сражения, в котором солдаты и отважные искатели приключений помогали местным «полудикарям, полудетям», борясь с их подлыми немецкими, французскими, британскими или итальянскими врагами. Разделение европейцев по группировкам этнических государств преобразило бывшее соперничество между нациями в жгучую взаимную ненависть и унижение друг друга. Француз рутинно презирал немца не по причине давних исторических обид и претн-

зий, а потому, что немецкий народ был недалеким, некультурным, агрессивным по самой природе — и эти чувства воспроизводились снова и снова по отношению почти к каждой нации. На континенте, поделенном между политическими образованиями, которые отражали этническую принадлежность, с подлинной проблемой сталкивались те, кто не имел своего государства. Если прежние, скрепленные лишь династическими правами монарха империи сами по себе мало чем угрожали евреям, цыганам, религиозным раскольникам, инакомыслящим, странникам и кочевникам всех мастей, то в новой Европе этнического гражданства эти люди уже не могли найти себе места.

Захватнический империализм, с одной стороны, и национально-освободительная борьба — с другой подняли престиж военных на небывалую высоту. Несмотря на то, что в конце XIX века правительства, избираемые во многих демократических странах, состояли из сторонников социального прогресса, далеких от милитаризма, военачальники и штабные стратеги возвышались над политическим ландшафтом как исполины, перед чьим опытом, мужеством и популярностью благоговейно отступали самые высокопоставленные лица государства. В такой обстановке генералы имели возможность разрабатывать военные планы и распоряжаться необходимыми ресурсами по своему усмотрению, не сдерживаемые необходимостью отстаивать правоту в публичных дебатах, — по словам Джона Кигана, это опровергало изречение Клаузевица о войне как продолжении политики иными средствами, ибо на деле война превратилась в отрицание политики. В только что образованной единой Германии армия поглощала 90 процентов бюджета, а в 1874 году Бисмарк добился для нее фиксированного уровня отчислений на период в семь лет. Он вывел оборонную политику из ведения избираемого рейхстага и сосредоточил управление ею в руках самостоятельной группы министерств во главе с кайзером. К 1912 году, когда антивоенная Социал-демократиче-

ская партия стала крупнейшей в германском парламенте, армия и военно-морской флот отчитывались напрямую перед военным кабинетом и кайзером, присвоившим себе армейский чин. Во Франции необходимость подготовки к военному реваншу над Германией была доминирующим настроением не только среди высокопоставленного офицерства, но и среди политиков — армия сосредоточила в себе надежды французов и была выше любого политического действия. Внешний курс Германии, Франции, Австрии и России диктовался больше военным планированием, нежели дипломатическими соображениями. Свою роль играла и система призыва — она не только готовила миллионы молодых людей к будущей мобилизации, но и приучала к повиновению военным властям.

Между тем интенсивное развитие военной и гражданской техники делало милитаризацию европейского общества явлением потенциально катастрофическим. В последней четверти XIX века технологии, специфика урбанизации и производительность индустрии изменили материальную основу европейского гражданского общества. Окончательно сложилась европейская сеть железных дорог, протянувшаяся от Атлантики до России и Балкан, телеграфное сообщение связало все части континента между собой и даже с обеими Америками — первое трансатлантическое радиосообщение было послано в 1901 году. Несмотря на эмиграцию в Америку 25 миллионов человек, увеличившееся материальное благосостояние привело к совокупному росту европейского населения на 32 процента (т. е. на 100 миллионов человек). Новшества гражданских технологий — телефон, радио, наборная машина, печатная машинка и двигатель внутреннего сгорания уже вошли в повседневную жизнь — несколько не уступали новшества военные. В производстве оружия на заводах частных компаний Армстронга, Круппа, Крезю, Нобеля и других впервые стали применяться высокосложные промышленные методы. Полученный Альфредом Нобелем глицерин позволил уменьшить размер пуль и снарядов, удвоил дальность их полета и сделал стрельбу гораздо более точ-

ной и смертоносной. К 1900 году на вооружении всех европейских армий находилась винтовка с затвором и магазином (например, системы Маузера или Ли-Энфилда), способная убить человека с 1400 метров, — тем самым для войск враждующих государств исключалась возможность беспрепятственно маневрировать на расстоянии километра друг от друга. У армий также имелись стальные полевые орудия с калибром 750 мм и дальностью от 2,5 до 5 тысяч метров. В 1885 году на смену «гатлингу» с ручным заводом пришел «максим», первый настоящий автоматический пулемет, который, используя энергию отдачи для перезарядки, мог сделать 250 выстрелов в минуту. Поскольку никакой крепости было не под силу выдержать натиск новой артиллерии, бельгийский полководец генерал Анри Бриальмон, выступил с идеей «укрепленного района» — лабиринта траншей и туннелей, связывающих ряд специально оборудованных огневых позиций, где располагались орудия. Кроме непосредственно артиллеристов, в траншеях должны были обитать и солдаты, которые обороняли подступы к этим огневым позициям. Верден и другие местности на уязвимых северо-восточных рубежах Франции были превращены в простирающиеся на многие мили полевые укрепления.

Орудия и броня боевых кораблей тоже не отставали от прогресса. С 1860 по 1885 год крупнейшие образцы британского военно-морского вооружения прошли путь от 68-футовой пушки, весящей меньше 5 тонн, до 16-дюймовой нарезной, которая стреляла разрывными снарядами и весила 111 тонн. Корабельная броня в районе ватерлинии выросла от 4,5 дюймов до невообразимого максимума в 24 дюйма. Кроме того, к активному наращиванию своего военного флота приступили Италия, Германия и Соединенные Штаты, не желавшие мириться с существующим господством на морях Британии и Франции.

Штабные стратеги были убеждены — и постарались убедить всех остальных, — что в мирное время нация должна быть готова к войне. Германия, Британия и Франция вступи-

ли в настоящую гонку вооружений на морях, а Германия и Франция — в сухопутных технологиях. Дело Дрейфуса 1894 года, когда еврейский офицер французской армии был ложно обвинен в передаче военных секретов Германии, послужило ярким свидетельством трений между авторитарной паранойей милитаризма и либеральным гражданским обществом. Между 1874 и 1896 годами основные европейские державы увеличили свои военные расходы на 50 процентов; между 1880 и 1914 годами Германия стала тратить на вооружение впятеро больше, Британия и Россия — втрое, а Франция — почти вдвое. Демократически избранные правительства чувствовали необходимость оправдывать выделение все более серьезных средств постоянной ссылкой на внешние угрозы, поэтому паники и слухи об угрозе войны стали распространенным явлением общественной жизни. Гражданское общество заражалось особой лихорадочной энергией — в первые десятилетия XX века забастовки и политические протесты по всей Европе сопровождались заметным ростом насилия.

Национальные государства Европы, с подозрением следившие за амбициями друг друга и не отказывавшиеся от собственных, начали сбиваться в блоки. Германия враждовала с Францией и была обеспокоена возможной угрозой со стороны России, Британии не нравилось наращивание военноморской мощи Германии и ее претензии на участие в ближневосточных делах, Франция же искала союзников для защиты от германской агрессии. В 1882 году образовался альянс между Германией, Австрией и Италией, в 1894 году — между Францией и Россией; в 1904 году Британия подписала договор о дружбе — «*entente cordiale*» — с Францией, а в 1907 году с Россией. Европа разделилась на два соперничающих вооруженных лагеря, и не было никого между ними.

Несмотря на систематическое наращивание вооружений и обостренный национализм, на рубеже веков большинство европейцев не считали войну неизбежной, пусть даже некоторым из них такая перспектива казалась привлекательной. Последующие десять лет решительно поменяли эту точку зре-

ния. Военные эксперты убедили гражданские правительства, что любая война не продлится долго и, возможно, уложится в весенне-летний период, — если только они смогут мобилизовать солидные ресурсы живой силы и вооружений, первый натиск должен стать решающим. Важнее всего, и германский, и австрийский режимы уверовали в то, что война будет и что любое промедление только играет на руку противнику. Они занялись поиском предлога для начала крупномасштабного конфликта.

Кайзер и члены имперского кабинета никогда не оставляли грандиозной стратегической идеи о великой тевтонской империи. Сдерживаемые присутствием мощного британского флота на севере и западе, они обратили свои взоры на юго-восток Европы и недавно открытые нефтяные месторождения Ближнего Востока. Альянс с Османской империей означал, что на пути их устремлений лежат лишь Балканы во главе с Сербией, которая была верным союзником России. Начальник австрийского штаба фон Хетцендорф полагал, что Сербия, поддерживаемая Россией, приобретала слишком большое влияние и что для недопущения абсолютного господства славян в юго-восточной Европе необходима упреждающая интервенция. Австрия и Германия договорились о том, что раз уж Россия обязательно придет на помощь Сербии, начать боевые действия лучше раньше, чем позже.

Единственным препятствием к осуществлению этого замысла была Франция, главный союзник России. Германское руководство, отдававшее себе полный отчет в намерениях французов вернуть утраченные территории, приняло решение выступить против Франции, как только Россия выступит на стороне сербов. Для этого не было никаких оправданий, кроме потребности опередить Францию в любой войне, собиралась ли она в ней участвовать или нет. Немецкий план, составленный генералом Шлиффеном, заключался в том, чтобы пройти быстрым маршем через территорию нейтральной Белгии и взять Париж и французскую армию в «клещи», — по расчетам Шлиффена при худшем раскладе

война с Францией не должна была занять более шести недель. План Шлиффена никогда не подвергался политическому обсуждению или критике, и со своей высокой позиции военного стратега генерал утверждал, что не может принимать в расчет международные соглашения. В ситуации, когда командование рейхсвера становилось творцом внешней политики, Теобальд фон Бетманн-Хольвег, немецкий канцлер в 1914 году, писал: «За все мое время пребывания в должности не было проведено ничего похожего на военный совет, на котором политики могли бы вмешаться в ход военных дебатов со своим веским “за” или “против”». В интригах и маневрах, предшествовавших развязыванию войны, гражданское правительство Германии действовало заодно с армией — политическая повестка дня задавалась графиком штабного планирования. В свою очередь и французские генералы считали политические и дипломатические средства непригодными для достижения желанной цели, а именно возвращения Эльзаса-Лотарингии. Они не обладали таким влиянием на правительство, как германские коллеги, однако их мнение принималось всерьез, поскольку целиком соответствовало настроениям большинства французов.

К лету 1914 года каждая из сторон (Франция и Россия против Германии и Австро-Венгрии) чувствовала себя готовой к схватке и не сомневалась, что другая вот-вот выступит. 28 июля 1914 года Австрия, подстрекаемая Берлином (и использовавшая как предлог убийство в Сараево эрцгерцога Франца-Фердинанда), объявила войну Сербии и начала бомбардировки Белграда. 1 августа, в ответ на немедленно изданный царский указ о мобилизации, Германия объявила войну России. На следующий день Германия уведомила нейтральную Бельгию, что та должна согласиться на интервенцию немецких войск, имеющих целью помешать французскому вторжению, а 3 августа Франции была официально объявлена война. Все происходило в точности как планировали Австрия и Германия, единственным камнем преткновения оставалась реакция Британии, обладавшей сравнительно немногочис-

ленной армией и огромным и мощным военным флотом. Германия, возможно, рассчитывала, что Великобритания останется в стороне от конфликта, однако британское правительство, поддерживаемое большинством населения, решило взять на себя гарантии бельгийского нейтралитета. 5 августа 1914 года все главные европейские державы официально находились в состоянии войны.

Объявление войны преисполнило все стороны небывалого оптимизма. Письма, дневники и воспоминания передают ощущение радости и освобождения, принесенное вестью о том, что словесные баталии наконец закончены и пришло время для настоящего испытания сил. Германские полководцы чувствовали неуязвимость своей нации для любого врага, а русские полагали, что смогут достичь Берлина быстрее, чем немцы Парижа. Политики левого фланга, для которых анти-милитаризм был частью идеологии, утешали себя мыслями, что начавшаяся война станет «войной, которая покончит со всеми войнами». На страницах «Пэлл-Мэлл газетт» Дж. Л. Марвин писал: «Мы должны принять участие в том, что положит конец культу войны. Тогда, после кровавого дождя, быть может, воссияет наконец в небесах великая радуга и откроет людям глаза. И возможно, после битвы Судного дня воистину не будет не одной битвы». Другие, которых, правда, было меньшинство, едва могли поверить, что Европа, словно в гипнотическом оцепенении, позволила втянуть себя в войну, в которой сошлись все главные державы континента.

Охвативший массы восторг не мог долго соседствовать с реальностью окопной войны, которая безжалостно обнажила иллюзорность мира идиллической мужественности и личного героизма. Война стала осуществившимся кошмаром, кровавым месивом, в которое смертоносное порождение военной индустрии превращало миллионы человеческих жизней и в котором невозможно было разобрать человеческих лиц. Артеллеристы никогда не видели тех, кого они убивали, пехотинцы никогда не видели тех, кто их убил. Несмотря на

жестокие потери, скопившаяся в предшествующие десятилетия ксенофобия не позволяла идти на уступки или переговоры ради мира, даже тогда, когда война, казалось, зашла в тупик.

К концу 1914 года весь франко-германский фронт был исчерчен линиями траншей, а необъятные территории западной России превратились в огромную хаотическую зону боевых действий. Наступление или отступление сделались одинаково невозможными без серьезных потерь в живой силе. Тем не менее по окончании первой фазы война получила новый импульс, ставший результатом массивного перепрофилирования индустрии конфликтующих сторон на военное производство. Теперь участником войны сделался каждый гражданин без исключения — либо как сражающийся на фронте солдат, либо как винтик в машине, обеспечивающей военные нужды, либо как потенциальная жертва беспорядочного огня на прифронтовых территориях и нападений на торговые суда. Европейские державы перевели дыхание только для того, чтобы с новыми силами кинуться в схватку. Последовавшие разрушения посрамляли любые прогнозы, включая те, что принадлежали наиболее пессимистически настроенным военным экспертам — ибо даже они не могли предсказать, что нации Европы, оказавшись в патовой ситуации, будут продолжать безостановочно бросать в топку войны людей, деньги и технику.

Поскольку продление взаимного истребления сделалось вопросом национального выживания, в каждой стране гражданское население и гражданские институты были поставлены на службу войне и военному руководству. В Германии социал-демократы в рейхстаге нарушили обещание сопротивляться капиталистической войне и встали на сторону ура-патриотов. В августе 1916 года страна практически превратилась в военную диктатуру под началом генералов фон Гинденбурга и Людендорфа, в которой кайзер играл декоративную роль и в которой каждый мужчина от 17 до 60 лет подлежал призыву. Французский парламент в начале конфликта объявил перерыв в своей деятельности на неопреде-

ленный срок и передал все рычаги управления машиной воюющего государства маршалу Жоффри. Тот убедил депутатов и правительство покинуть Париж ради собственной безопасности и оставаться в Бордо, пока обстоятельства не позволят им вернуться — в посещении фронта было отказано даже военному министру. Британский премьер Герберт Асквит в попытке объединить все политические партии, на время войны назначил карьерного генерала лорда Китченера на традиционно гражданский пост государственного секретаря, тем самым дав армейской верхушке еще большую свободу от контроля со стороны демократического правительства. В России царь лично принял на себя обязанности главнокомандующего, а в Австро-Венгрии объявление войны сплотило вокруг фигуры императора разноязычные и еще недавно проявлявшие непокорство народы. Австрийский рейхсрат самораспустился в марте 1916 года на весь срок конфликта, оставив распоряжаться ресурсами страны известного своей воинственностью начальника генерального штаба. Основное содержание политической истории Первой мировой для всех участвовавших в ней держав свелось к тщетным усилиям политиков вернуть контроль над генералами.

Катастрофические людские жертвы в 1914–1918 годах объяснялись не только уровнем развития военной техники, но и тактической слепотой армейского начальства. Большинство генералов имели в своем багаже опыт колониальных войн, где противной стороной выступали плохово оруженные туземцы; никто из них не участвовал в войне, где единственным наступательным оружием была винтовка пехотинца, зато оборона поддерживалась механизированной громадой артиллерии и пулеметов, подступы к которой к тому же преграждали ряды колючей проволоки. Колоссальный прирост населения в Европе означал, что в 1914 году пушечным мясом для военных стратегов были готовы стать миллионы мужчин призывного возраста. Вера в лобовую атаку, в ходе которой господство на поле боя почти всегда выигрывалось превосходством в численности пехоты, стала причиной целого ряда знаменитых воен-

ных катастроф: 1 июля 1916 года британские полки на реке Сомме начали генеральное наступление, которое в первый же день стоило им 20 тысяч убитыми и 40 тысяч ранеными, — к ноябрю, ценой потери 400 тысяч человек, британцам удалось углубиться на территорию врага на жалких восемь миль.

К 1916 году на фронтах стали набирать силу солдатские волнения, а политики Германии, Британии, Франции и России все чаще начали высказываться против дальнейшего продолжения войны. Как бы то ни было, несмотря на невообразимые потери, еще в начале 1917 года воюющая армия поддерживала дисциплину в своих рядах. Перелом в войне наступил в апреле 1917 года, когда Соединенные Штаты, сочтя Германию угрозой для своего торгового флота, присоединились к Британии и Франции. В том же месяце по всему Западному фронту взбунтовались французские солдаты, заявившие, что больше не будут участвовать в самойубийственных наступательных операциях. Маршалу Петэну удалось восстановить порядок, но лишь ценой отказа от наступлений. В марте 1917 года российский император Николай II вынужденно отрекся от престола на фоне широкого недовольства продолжающейся войной, а в октябре (ноябре по новому стилю) того же года партия большевиков устроила переворот, в результате которого было свергнуто конституционное правительство. В декабре новые российские власти подписали с Германией перемирие.

В начале 1917 года военное присутствие Соединенных Штатов в Европе было незначительным, однако всем было понятно, что невероятная индустриальная мощь Америки и находящаяся в ее распоряжении живая сила со временем скажут решающее слово. Германское командование посчитало, что настала пора активных действий. 21 марта 1918 года начался массивный прорыв, в результате которого немецкие солдаты достигли Марны. Хотя до Парижа оставалось всего лишь 80 километров, продвинуться дальше Марны немцам так и не удалось. Французы и британцы пошли в контр-наступление, причем не только на Западном фронте, но и на

и юго-востоке. Турция запросила мира в октябре 1918 года, за ней пала и Австро-Венгрия. В Германии страх перед революцией и военным кризисом наконец заставил политиков действовать решительно. Людендорф бежал в Швецию, Гинденбург же настаивал на возвращении армии на родину во избежание дальнейших бессмысленных жертв. В этой ситуации 9 ноября кайзер вынужденно отрекся от престола, а социал-демократ Фридрих Эберт был назначен новым канцлером. Двумя днями позже, 11 ноября 1918 года, Германия приняла условия капитуляции, и война, обещавшая стать последней в истории, подошла к концу.

Война 1914–1918 годов не походила ни на один предыдущий конфликт. Передовые технологии вооружений, механизированный транспорт, наличие в распоряжении властей миллионов потенциальных солдат, несравнимое преимущество обороны перед нападением, перепрофилирование мощного промышленного сектора экономики европейских наций под военные нужды, просчеты военных стратегов — совокупное действие всех этих факторов привело к тому, что только западные державы потеряли убитыми 5 миллионов человек за каких-то четыре года. Несмотря на рост населения Европы, процент потерь в исторической перспективе был чрезмерно велик. В большинстве регионов военные потери не обошли стороной ни один город, ни одну деревню. Кроме того, огромные площади Европы в ходе войны подверглись настоящему разорению, чего не случалось на протяжении сотни лет. Соединенные Штаты с их индустриальной мощью и без того грозили обойти Европу в экономической сфере, однако именно Первая мировая невольно вывела их на глобальную сцену и спровоцировала появление на политической карте Советского Союза. Это было начало конца европейского — хотя и не западного — господства на планете.

Жители Западной Европы за предшествующие четыре столетия свыклись с идеей прогресса. Несмотря на войны, религиозные расколы, голод, поправшую основы жизни мно-

гих из них раннюю индустриализацию, все это время западноевропейцы верили, что приближают мир к лучшему состоянию и что их общество наглядно демонстрирует реальность этого приближения. Первая мировая изменила подобное восприятие истории, предоставив сокрушительное доказательство того, что прогресс — не более чем иллюзия. Любому, кто по-прежнему верил, что европейская культура, политика и техника немало сделали для блага человечества, достаточно было лишь бросить взгляд на испещренную полями сражений Фландрию и на нескончаемый список павших. «Дикари», которым всегда следовало преподать урок и радость поражению которых могла бы объединить европейцев, не участвовали в этой войне ни как противники, ни даже как повод. Это была междоусобная война цивилизованных наций. Ни экономический гений индустриального капитализма, ни политический гений конституционного правления не смогли предотвратить бойню — более того, промышленное развитие во много раз увеличило число жертв, а торжество национального самоопределения дало импульс бесконтрольному росту национализма. До Первой мировой не предпринималось никаких попыток всестороннего разоружения или учреждения международных организаций, призванных служить посредниками и разрешать возникающие конфликты между государствами. ореол славы вокруг военных успехов на чужих территориях, соперничество между нациями, переросшее в жгучую ненависть, желание реванша за прошлые унижения, идеализация военной службы, крупномасштабные расходы на гигантские армии и доведенные до совершенства технологии вооружений способствовали формированию культуры, которая рассматривала войну в качестве приемлемого занятия для государства. Первая мировая положила конец вере европейских наций в свое богоданное превосходство и «естественный» прогресс; также она показала безосновательность присвоения ими морального права повелевать другими и произвела на свет затаенное противостояние между капиталистической и коммунистической системами.

10 августа 1814 года, через пять дней после объявления войны, Генри Джеймс описывал в письме знакомой свое отращение при мысли о ближайшем будущем и то иллюзорное мировосприятие, которое принадлежало недавнему прошлому: «Черной и зловещей представляется мне трагедия, тучи которой собираются в эти дни, и становится непоправимо дурно оттого, что довелось увидеть ее на своем веку. Вас и меня, украшающих наше поколение, не следовало разлучать с последними остатками веры, что все эти долгие годы цивилизация росла на наших глазах и худшее сделалось невозможным».

Но Джеймсу и его современникам не было суждено сохранить последние остатки веры — им довелось увидеть собственными глазами, что рост цивилизации едва ли способен уберечь людей от массовой бойни, и всерьез задуматься над тем, не цивилизация ли стала причиной бессмысленной гибели и страданий миллионов европейцев.

Глава 17

КОНЕЦ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Депрессия, экстремизм и геноцид в Европе, Америке и Азии

Добровольное шествие Европы к катастрофе, которой стала война 1914–1918 годов, бросает вызов любым рациональным правилам, описывающим связь исторических причин и следствий. Мы можем учесть все — и охватившую массы полумистическую веру в суверенность наций, и внешнеполитические маневры и альянсы правительств, и шаткое равновесие власти на континенте, и обострение национальной мании величия, — и тем не менее нам остается только недоумевать, как несколько государств, полагавших себя исторической вершиной цивилизации, чьи граждане в тот момент имели больше всего политических и социальных прав, и к тому же самый высокий уровень жизни за все предшествующие столетия, оказались в состоянии по собственной воле обречь миллионы молодых людей на ненужную смерть и страдания. Однако если Первая мировая пошатнула наши представления об общественном, политическом и, самое главное, нравственном прогрессе, то события последующих 30 лет, как писал из нацистского застенка Дитрих Бонхеффер, «привели в окончательное замешательство всякого человека, воспитанного в нашей традиционной этической системе».

Две мировые войны со временем стали рассматриваться как единый конфликт, в котором все недоясненное и недорешенное в 1918 году образовало гноящийся — и в конце концов лопнувший — нарыв. Это социальное нагноение происходило в ситуации, когда большинство испытывало углубляющееся разочарование и раздражение существующими институтами власти. Политическая система и правящие классы, которые ввергли Европу в бессмысленную войну или, по мнению немецких солдат, предали свою армию капитуляцией, больше не оправдывали ничьи ожидания. Людям требовалось или что-то совершенно новое, или возвращение к прежним, лучшим порядкам — и в каждом из этих двух случаев политическая идеология, взращенная в тепличной атмосфере XIX века, оказалась наготове с универсальным ответом. Одни, пополняющие ряды сторонников коммунизма и вдохновленные примером новообразованного Советского Союза, видели в нем единственную надежду Европы; остальные, смотревшие на коммунизм как на фундаментальную угрозу цивилизации, находили успокоение в соблазнительном сочетании агрессивного национализма и социального дарвинизма.

Двойственный призрак коммунизма и фашизма сделался в 20-х и 30-х годах XX века первоочередной проблемой европейской политики. Хотя и тот, и другой одинаково имели корни в представлениях и настроениях предыдущего столетия, они отнюдь не являлись двумя сторонами одной монеты. Национализм, ксенофобия и вера в превосходство белой расы, которые поразили европейское общественное сознание в конце XIX века и легли в основание фашистской догмы, прямо противопоставлялись таким принципам коммунизма, как интернационализм и всеобщее равенство. Прежде чем оценить, почему фашизму в Европе удалось одолеть и коммунизм, и либерализм, нам следует посмотреть, как развивались события по ту сторону Атлантики — ибо американская история 1920-х годов создает примечательный контекст для европейского опыта.

Каким бы странным это ни показалось, в конце XIX века наибольшую озабоченность у американского бизнеса вызывала перспектива всеобщего достатка. В отличие от Маркса, верившего в то, что идеальный мир есть мир, где каждый будет иметь столько, сколько необходимо для достойной жизни, капиталистов тревожило, что, снабдив себя всеми удобствами, люди просто перестанут покупать их товары. Казалось, ничто не сможет сподвигнуть человека на замену мебели, верхней одежды или набора кухонной утвари просто потому, что те утратили новизну. Но проблему потенциального достатка удалось успешно разрешить, и ведущую роль в этом сыграла деятельность Эдварда Бернейса, племянника Зигмунда Фрейда и главного пропагандиста его идей в Америке. Фрейдовская теория, рисовавшая личность сгустком эмоций, страстей и влечений, гласила, что реальной движущей силой поступков человека является не разумный расчет, а удовлетворение глубинных желаний. Воодушевленный таким подходом, Бернейс посчитал, что американский бизнес должен позаботиться об изменении отношения людей к покупкам — нужно было, чтобы они больше не старались руководствоваться разумными потребностями и нацелились на исполнение желаний. Результатом стало рождение консьюмеризма, или, как его называли на первых порах в 1920-е годы, консумпционизма. Именно к тому моменту относятся слова Кэлвина Кулиджа о том, что «американец важен для своей страны не как гражданин, а как потребитель». Вместо того чтобы продавать покупателю товары, рекламная индустрия приступила к торговле счастьем.

Впрочем, влияние Бернейса не ограничивалось рекламой. Как производители и как потребители, массы городского населения были той силой, которая толкала вперед развитие индустриальной Америки. — именно они строили железные дороги, заселяли новые города, обеспечивали спрос на растущее изобилие товаров. Однако Первая мировая война и русская революция заставили убедиться в том, что люди, действующие как масса, могут быть чрезвычайно

опасны. Центральный урок, преподанный Фрейдом, также заключался в демонстрации разрушительного потенциала человека, не только индивидуального, но и общественного. Президентство Теодора Рузвельта (1901–1908), вдохнувшее новую жизнь в американскую демократию и показавшее, что политические решения иногда влекут за собой реальные перемены, помимо прочего дало почувствовать американскому крупному бизнесу, что президенту-реформатору, пользующемуся широкой поддержкой, по силам сломить монополии, ввести ограничения на детский труд и поставить законодательные барьеры на пути некачественной пищевой продукции. Бернейс и его клиенты в американских корпорациях на собственном опыте ощутили правоту Фрейда, утверждавшего, что демократия чревата серьезным риском и потому ей не следует потакать. Другие наблюдатели, как, например, Уолтер Липпман, самый влиятельный американский журналист-аналитик 1930-х и 1940-х годов, нашли необходимым согласиться с тем, что народовластие — ненадлежащий способ управления такой сложной страной и что массы нуждаются в руководстве элиты.

Целый ряд консерваторов, оказавшихся преемниками Теодора Рузвельта на президентском посту (за исключением Вудро Вильсона, который был связан по рукам противодействием консервативного конгресса), сосредоточили усилия на ограничении социальных и политических прав широких слоев населения. Кроме того, страна постепенно начала пожинать плоды деятельности Бернейса и его учеников в американских корпорациях: потребительский бум 1920-х годов заставил большинство американцев забыть о политике и реформах. Недаром в 1928 году президент Гувер, заявляя приверженность позиции, сформулированной до него Кулиджем, назвал людей «машинами счастья в безостановочном движении». Вслед за Фрейдом, говорившим, что все потакающее нашим эгоистическим желаниям делает нас послушными и довольными, а все препятствующее их осуществлению — беспокойными и недовольными, Гувер понимал, что люди, желания

которых удовлетворены, не склонны к политической активности.

Американцы на своем примере показали, что при соблюдении определенного набора правил ничто не заставит их перестать покупать, а также что в политической сфере эквивалентом потребительства неизменно становится консерватизм. На смену былому первопроходческому духу Америки, принимавшему трудности и лишения как цену, которую иногда нужно платить за свободу, пришла вера в обретение жизненного благополучия через обладание вещами. Профсоюзы начали терять членов, росло имущественное неравенство: федеральное правительство учреждало налоговые льготы в пользу богатых, а когда фермерские доходы упали наполовину, отказалось предпринимать какие-либо меры с целью исправить положение — свобода рынка оставалась неприкасаемой. В 1920-х годах Верховный суд вычеркнул из законодательства гарантии минимального уровня оплаты труда для женщин и детей и фактически вновь открыл простор для монополий. На легальную иммиграцию были наложены суровые ограничения, а попытки Вудро Вильсона превратить США в члена глобального клуба, открытого для сотрудничества с европейцами, не встретили ни у конгресса, ни у нации в целом ни малейшего понимания. Принятые ранее «законы Джима Кроу», вводившие сегрегацию на значительной части территории страны, были дополнены новыми; Ку-клукс-клан, не дававший о себе знать с начала 1880-х годов, в 1915 году возродился в более грозном облике и к 1920-м годам насчитывал до 4 миллионов членов (в том числе многих жителей индустриального Севера); распространенным явлением стали линчевания и открытки с их изображением. В 1921 году в ходе «расовых беспорядков» в Талсе, штат Оклахома (фактически — целенаправленной попытки выдавить из города негритянское население), были убиты от 150 до 200 чернокожих; антисемитские лозунги открыто проповедовались в газетах; наконец, именно тогда американцы испытали на себе действие первой так называемой «красной паники» — подогре-

ваемой властями общественной истерии, вылившейся в полицейские облавы на подозреваемых в симпатиях к радикалам и арест более чем 6 тысяч человек. В 1920 году последовало введение законодательного запрета на продажу и потребление алкоголя, что позволило организованной преступности в союзе с коррумпированными чиновниками взять под контроль жизнь крупных американских городов.

Что было хорошо для бизнеса, было хорошо и для Америки, но Америка была уже не та, что пару десятилетий назад. Ее образ в собственных глазах как страны иммигрантов, строящих прочное общество на фундаменте взаимовыручки и поддержки, ушел в прошлое — она стала страной, где для людей внезапно открылась возможность не омрачаемого ничем довольства жизнью, но где в то же время царили ксенофобия, организованная преступность и коррупция. «Свободный» капитализм, устремлявшийся все в к новым вершинам и доказывавший свою непревзойденную эффективность в производстве товаров и услуг, был не способен мириться ни с чем, что становилось у него на пути. Структуры человеческого общежития, традиционные порядки, родственные отношения были обречены пасть жертвой неутолимой потребности поставлять на рынок все больше и больше товаров — еще качественнее, еще дешевле и еще новее. Такая система продолжала работать, поскольку в 1920-х годах американская индустрия очутилась в чрезвычайно выгодном для себя положении: чем больше товаров она продавала, тем многочисленнее становились армия работников и армия потребителей; чем дешевле обходился наемный труд, тем выше взлетали прибыли компаний. Но если для меньшинства хорошие времена никак не кончались, низкополачиваемые рабочие начали обнаруживать, что с такой зарплатой уже не могут позволить себе купить все, что хотят. Вопреки падению спроса, маховик промышленности не сбавлял оборотов до тех самых пор, пока экономика — не успев даже обратить на себя чье-либо внимание — не столкнулась с массивным перепроизводством: стоимость акционерного и прочего капитала оказалась завы-

шенной сверх меры, а склады по стране ломались от нево-стребованных товаров. В октябре 1929 года биржевые мак-леры с Уолл-стрит начали сбывать имевшиеся у них на руках активы; рынок акций рухнул в черную дыру и утянул за со-бой весь американский свободный капитализм.

Пока Соединенные Штаты превращались в индивидуали-стическое общество, из которого практически улетучилась по-литическая жизнь, основным содержанием европейской по-литики сделались попытки слабеющей либеральной демокра-тии выдержать двойственный натиск фашизма и коммунизма. Поскольку обе идеологии действовали в рамках универсалист-ской политической модели (то есть такой, которая, по видимо-сти, применима к любому обществу), роль национализма и национального государства в подъеме коммунизма и фашиз-ма, как правило, остается недооцененной. Но именно больше-вики первыми показали, насколько уязвимо для захвата влас-ти сравнительно небольшой группой людей избыточно цент-рализованное национальное государство с его монополией на насилие и контролем за коммуникациями. В Петрограде в пер-вые несколько часов 25 октября 1917 года боевые отряды боль-шевиков подчинили себе железнодорожные вокзалы, почту, телеграф, телефонные и электрические сети и государствен-ный банк, оставив существующее правительство бесцельно заседать в Зимнем дворце, взятие которого стало завершаю-щим актом переворота. Безусловно, большевики не обошлись бы без поддержки вооруженных солдат и матросов, однако именно то обстоятельство, что в результате молниеносных дей-ствий главные инструменты государственной власти оказа-лись в руках узкого круга лиц, позволило им, используя широ-кое недовольство продолжающейся войной (ударным пунктом большевистской политической программы было обещание вывести Россию из боевых действий), привлечь на свою сторо-ну основную часть армии и флота.

Россия в начале XX века, как и Франция за 120 лет до это-го, представляла собой самодержавное государство, обособив-

шееся от происходящих в остальном мире перемен. Разница заключалась в том, что в феврале 1917 года царь уже вынужденно отрекся от престола и правящим органом страны являлась избранная Государственная дума. Как бы то ни было, желание премьер-министра Александра Керенского продолжать войну до победного конца дало большевикам шанс захватить власть и установить режим, исключающий возможность какой-либо политической оппозиции. Россия, позже преобразованная в Союз Советских Социалистических Республик, сделалась живым воплощением окончательной стадии истории, о которой говорил Маркс, — страной восторжествовавшей «диктатуры пролетариата».

Россия приняла для себя политическую систему, являвшуюся детищем западного Просвещения и по-прежнему не решившую главную проблемы — в концептуальной системе координат марксизма отсутствовало место для политической оппозиции, ибо любая оппозиция революции по определению действовала от лица реакционных сил, стремящихся затормозить или повернуть вспять исторический прогресс. Как и перед Платоном за 2300 лет до этого, перед советскими лидерами стояла задача построить наяву идеальное общество — общество, которого не может быть. С ростом влияния и силы Советского Союза Запад обрел в нем новый «Восток», которому отныне мог себя противопоставлять, однако политическая идеология этого образования являлась порождением глубоко западным, и ее истоки лежали в древнем, как Европа, убеждении, что абстрактное умозрение, мышление общими понятиями есть единственный путь к истине и к открытию законов, знание которых позволит решить все проблемы человечества. Запад подарил коммунизм миру и затем был вынужден потратить многие десятилетия на то, чтобы от него избавиться.

Советский Союз укрепился в положении современного индустриального государства как раз в то время, когда Запад переживал глубокий внутренний кризис, связанный с экономическим спадом и подъемом правого экстремизма. Многие

из тех на Западе, кто отстаивал необходимость справедливого общественного устройства, не могли устоять перед зрелищем возникшей практически из ничего полноценной альтернативы индустриальному капитализму. На фоне безработицы и фашизма, все увереннее воцарявшихся на улицах и обезлюдевших фабриках западных городов, Советский Союз выглядел неким раем для рабочих — местом, где товары распределялись по потребности, а работа — по способности.

Тем временем социализм, помимо своего чисто политического влияния, приобрел духовное, почти полурелигиозное содержание (см. главу 14). В преобладающе светском обществе, пережившем катастрофу механизированной войны и преисполнившимся глубоким пессимизмом относительно перспектив человечества и политических перемен в условиях индустриального капитализма, вера в социализм распространялась еще активнее, чем в довоенную пору. Социализм выступал как противовес отчаянию и фрейдистскому недоверию к человеческой природе — по мнению социалистов, человек нес в себе больше доброго и нуждался в справедливости и уважении, а вовсе не был носителем разрушительного начала, неспособным обойтись без внешних ограничений. Воспринимаемый как идейное выражение присущего человеку желания жить на благо других, социализм сделался для многих обитателей Запада средоточием надежды на лучшее будущее.

В 1920-е и 1930-е годы казалось, что в советском обществе осуществилось многое из когда-то обещанного Марксом. Благодаря государственному планированию люди все лучше обеспечивались продовольствием, промышленными товарами, образованием и услугами здравоохранения. По всей стране преподаватели, направленные государством, стояли у доски в сельских классах, и вслед за ними крестьяне старательно выводили свое первое предложение: «Мы не рабы. Рабы не мы». Советскую науку возглавило поколение ученых — Кольцов, Четвериков, Вавилов и другие. — которые посвятили себя делу нового государства и выдвинули Советский Союз на пе-

редний край развития мирового селекционного растениеводства, популяционной генетики, агрономии и физики. Творчество целой плеяды русских художников, музыкантов, поэтов и прозаиков, заявивших о себе как о фигурах мирового значения, — Маяковского, Горького, Шолохова, Шостаковича, Пастернака, Булгакова — отражало ощущение коренного обновления, имевшего принципиальное значение для всего человечества. И тем не менее уже в 1918 году немецкой коммунистке Розе Люксембург ясно представлялось, чем чревато будущее первого коммунистического государства: «На место представительных органов, создаваемых на основе всеобщих народных выборов, Ленин и Троцкий поставили советы как единственное истинное предствительство трудящихся масс... Без всеобщих выборов, без неограниченной свободы печати и собраний, без свободной борьбы мнений жизнь покидает все общественные институты... Общественная жизнь постепенно впадает в спячку, несколько десятков партийных вождей, обладающих неиссякаемой энергией и безграничным опытом, стоят во главе всего и правят в одиночку».

Надежды многих русских и людей, симпатизирующих им на Западе, поддерживались и на протяжении гражданской войны начала 1920-х годов, и еще в 1930-х годах. Однако затем власть, как и предсказывала Люксембург, поделили между собой члены немногочисленной элиты. К концу 1920-х годов, несмотря на вполне ощутимые успехи Советского Союза, коммунистическая партия утратила единство руководства, а также четкое представление о направлении развития страны. Вопросом, который вновь заставил ее сосредоточить усилия, стал самый амбициозный и катастрофический из ее проектов — коллективизация сельского хозяйства. Россия была страной сложной крестьянской культуры и глубоко укорененного общинного сознания, в которой структура деревенского быта регламентировала все аспекты существования, от распределения земли до порядка разрешения правовых претензий. За 10 лет, прошедших после революции, все это не претерпело существенных изменений, однако в 1928 году Сталин впер-

вые использовал незначительные перебои в поставках зерна как доказательство укрывания урожая зажиточными крестьянами и неэффективности мелких семейных хозяйств для продовольственного снабжения вообще. С 1930 года по всей стране начался процесс, в ходе которого зажиточные крестьяне — кулаки — выслались из деревень, личные хозяйства насильственно объединялись в колхозы и для каждого района устанавливались нормы поставок продовольствия. Партия вновь распорядилась всеми делами страны. Как выяснилось вскоре, установленные нормы были невыполнимыми, и через два года многие сельские районы остались без продовольствия. К весне 1933 года миллионы крестьян на Украине и в западных областях России — хлебном поясе Советского Союза — умерли голодной смертью. Один из очевидцев позже писал: «На поле боя люди умирают быстро, они способны дать отпор, их поддерживает чувство боевого товарищества и сознание долга. Здесь же я видел людей, умирающих в одиночестве и постепенно, умирающих ужасной смертью, не оправданной никакой жертвой во имя высокой цели. Попавшие в ловушку, они были обречены голодать в собственном доме в результате политического решения, принятого в далекой столице за чиновничьим или банкетным столом».

Голод имел такие масштабы, что представители властей, изымающие утаенное зерно, автоматически подозревали любого, кто не выглядел достаточно изможденным. Из двадцатипятимиллионного сельского населения Украины голодной смертью умерли около 5 миллионов человек.

Используя произошедшее в декабре 1934 года убийство главы ленинградских коммунистов Сергея Кирова в качестве предлога, Сталин инициировал арест многих соратников по партийному руководству, в результате завладев абсолютным контролем над партией и всей страной. Под впечатлением от устроенной Гитлером чистки нацистской партии в июне 1934 года, он приступил к истреблению всех потенциальных противников. Из 1966 делегатов партийного съезда 1934 года 1108 были расстреляны; членов партии и беспартийных

хватали по всей стране, после чего судили чрезвычайным судом и либо расстреливали, либо высылали в трудовые лагеря. Это была эпоха «архипелага ГУЛаг», как назвал систему советских лагерей Александр Солженицын: «Политические аресты нескольких десятилетий отличались у нас именно тем, что схватывались люди ни в чем не виновные, а потому и не подготовленные ни к какому сопротивлению. Создавалось общее чувство обреченности, представление... что от ГПУ-НКВД убежать невозможно... люди, уходя на работу, всякий день прощались с семьей, ибо не могли быть уверены, что вернутся вечером».

Отсутствие и у простых людей, и высоких партийных чиновников сопротивления тому, что получило название Большого террора (в ходе которого были расстреляны или погибли в трудовых лагерях не менее 20 миллионов человек), объяснялось отнюдь не только ощущением беспомощности. Марксистское понимание истории сочетало представление о неизбежности идеального общества с беспредельной верой в человеческий разум. Члены партии, попадая под арест, верили, что, должно быть, являются врагами исторического прогресса, — им советовали изобличить самих себя и покаяться в своих «ошибках». На партийных собраниях речи Сталина сопровождались восторженными аплодисментами аудитории — и самого Сталина. Почему? Потому что рукоплескания предназначались не вождю, а торжеству исторического прогресса — неумолимому движению истории, которого все присутствующие, включая Сталина, были не более чем верными слугами. Заключение регулярно посылали из трудовых лагерей поздравления вождю в день его рождения, и делали это не по принуждению, а потому, что продолжали верить в общее дело борьбы за осуществление исторически предначертанного общественного идеала — они были оступившимися, но во всем прочем равными Сталину членами коммунистического общества.

Если некоторая часть жителей Запада считала коммунизм, или государственный социализм, лучшей надеждой человечества, остальные смотрели на него как на источник опасности, потенциальную угрозу своему образу жизни. И хотя расхождение между этими позициями нигде не привело к таким трагическим и радикальным последствиям, как в Германии, подъем фашизма, отчасти ставший ответом на набирающую популярность коммунистическую идеологию, происходил на фоне всеевропейского ощущения потерянности и предчувствия новой катастрофы, и это не могло не отразиться в европейской культуре. Создатели «высокого искусства» — живописи, архитектуры, классической музыки, литературы, — распрощавшиеся с иллюзиями после ужасной войны и недовольные самоуспокоенностью своих предшественников, пытались творить на новых основаниях; «массовая культура» влачила существование в обстановке презрительного отношения как со стороны привилегированных классов (видевших в ней угрозу цивилизации), так и левых интеллектуалов (возлагавших на нее ответственность за «самообман» аполитичных масс). Авторы левых убеждений, как, например, Джордж Оруэлл и философы-марксисты франкфуртской школы (Теодор Адорно, Герберт Маркузе), признавались, что поразительная неустойчивость масс перед соблазнами дешевой популярной культуры вызывает у них испуг (в Америке услышать подобное признание было бы невозможно).

Воспоминания и автобиографии демонстрируют, что представители средних и низших классов почти не соприкасались друг с другом — они обитали в различных мирах, даже если жили на соседних улицах. Интеллектуалы, либо презиравшие рабочую массу, либо ее боготворившие, не имели практически никакого представления о действительных надеждах, желаниях и планах людей, о которых и от имени которых они говорили. Чтение, сочинительство, посещение кинотеатров — эта культурная жизнь рабочей среды могла бы рассматриваться как попытка выйти за рамки личных интересов.

познакомиться с внешним миром и дать собственную оценку, однако широкое распространение получила противоположная точка зрения. То, что удовлетворяло массовый читательский вкус, не просто презирилось, а обретало статус угрозы будущему всей западной цивилизации. Возникали опасения, что неким непонятным образом зараза низкопробности с фильмов, книг и журналов, потреблявшихся массами, может перекинуться на произведения искусства, в создании которых использовались те же материалы. Обучение масс чтению не ощущалось как прогресс цивилизации; знакомство еще недавно неграмотной публики с идеями и теориями великих мыслителей прошлого и настоящего обернулось стихийным бедствием, от которого ждали самых пагубных последствий для искусства письменного слова.

Под властью идей социал-дарвинистского характера многие полагали, что народное просвещение не стоит вкладываемых в него времени и средств, ибо рабочие слишком бестолковы, чтобы усвоить более нескольких основных фактов, и никогда не будут способны думать своим умом или пробрести вкус к изящному — изобразительному искусству, музыке, литературе. Твердое убеждение, что ум и благородная повадка передаются по наследству и не могут быть привиты воспитанием и образованием, лежало в основании таких «наук», как евгеника, которая доказывала, что совершенное потомство может и должно производиться лучшими представителями общества. Оно же подогревало страхи, что рабочие, у которых в среднем было больше детей, постепенно добьются абсолютного численного перевеса в обществе и приведут к вырождению европейцев в расу идиотов.

Чем могли ответить художники Европы на разгул политического экстремизма и углубляющийся раскол общества, и какой смысл могла иметь европейская цивилизация и культура после великой окопной бойни? Преобладающим ощущением межвоенных лет, выразившимся в большинстве значимых произведений культуры, было ощущение утраты систе-

мы координат. Писатели и художники чувствовали необходимость высвободиться из-под зловещих чар случившейся на их глазах катастрофы, однако пока фрейдистское влияние увлекало все глубже внутрь собственного «я», пренебрежение к культурным корням оставляло интеллектуалов без какого-либо надежного эмоционального ориентира. Некоторые, как, например, Т. С. Элиот и Джеймс Джойс, пытались обрести почву для творчества в мифологии и средневековых легендах; другие, например Марсель Дюшан и Жорж Грос, делали исходным посылом разоблачение и выставление напоказ абсурда современности. Многие искали освобождения в том, чтобы максимально отстраниться от господствующих нравов и пристрастий. В графике и пластике художники смогли открыть для себя необычайную красоту «первобытного» искусства, прежде, в эпоху Просвещения, удостоивавшегося лишь покровительственного снисхождения, а позже, в XIX веке, и вовсе презираемого. Гоген уже применял изобразительные приемы полинезийских ваятелей в своих картинах; теперь Пикассо использовал африканские маски, чтобы передать свое видение человеческого лица.

Однако в большинстве форм модернизм оставался подверженным болезни интеллектуализма. Если творчество его лучших представителей коренилось в реальном опыте дезориентированного общества — Джойс, Пикассо, Миро, Стравинский, по рождению не принадлежавшие к главенствующему течению жизни индустриальной Европы, выражали неизвестную глубину своих культур и внутренне переживаемый конфликт этих культур с современным миром, — то в произведениях многих других уход от настоящего выливался в поиски прошлого, в котором не было ничего реального, а презрение к массовой культуре — в эмоциональное оскудение искусства (сравните с уверенностью и творческой энергией тогдашнего американского кинематографа). Ощущая разрыв между попыткой выразить человеческое бытие, которая являлась главным побуждением их творчества, и неприязнью к человеческой массе, с которой им приходилось сталкиваться

в реальной жизни, модернисты сознательно устанавливали дистанцию между собою и большинством, производя на свет то, что простые люди попросту не смогли бы понять и чему, соответственно, не угрожала опасность профанации. Негативные черты модернистского искусства, умышленная сложность и холодность, были следствием отчуждения творцов от культуры европейского населения — то есть все той же всеобщей дезориентации.

Ненадежность любых авторитетов, связанных с прошлым, обнажилась еще сильнее в результате ошеломительных открытий в физике и космологии. В 1905 и 1916 годы Альберт Эйнштейн продемонстрировал, как время и пространство, два краеугольных камня человеческого восприятия мира, могут быть осмыслены не в качестве стабильных, неизменных категорий, а в качестве переменных — оказалось, что такие внутренне присущие миру свойства, как расстояние и длительность, варьируются в зависимости от относительного положения наблюдателя. В 1919 году Эрнест Резерфорд расщепил атом кислорода, высвободив его электроны, — и тем самым показал, что фундаментальный строительный элемент природы на самом деле состоит из множества еще более мелких частиц. Из последующих работ Нильса Бора, Вернера Гейзенберга, Эрвина Шредингера, Поля Дирака и других выдающихся физиков явствовало, что на субатомном уровне задача объективного наблюдения за природой становится иллюзорной — увиденное зависит от того, что вы собрались измерить. Свет, к примеру, представал то волной, то серией частиц, а принцип неопределенности Гейзенберга гласил, что местоположение и скорость частиц невозможно измерить одновременно.

Ничто из этого не сказывалось на повседневной реальности, однако влияние новых естественнонаучных концепций на интеллектуальную атмосферу эпохи было фундаментальным. В то же самое время философия претерпевала серьезную трансформацию, вызванную неудачей попытки Бертрана Рассела (предпринятой в совместном с Альфредом Уайт-

ходом труде 1916 года «Principia Mathematica») продемонстрировать, что все математические истины могут быть напрямую выведены из истин логики. К 1931 году, когда Курт Гедель доказал, что ни одна формальная математическая система не может быть полностью доказана по своим собственным правилам, направление, которое аналитическая философия приняла со времен Декарта, уже находилось под большим вопросом. Преподававший в Кембридже, собственной епархии Рассела, австрийский философ Людвиг Витгенштейн учил студентов, что фундаментальные представления о языке как отражении действительности и, к примеру, о логически корректных предложениях как описаниях реальных обстоятельств далеки от истины. Этот тезис может показаться принадлежащим к области интеллектуальных изысков, однако вкуче с теориями Эйнштейна, Бора и Гейзенберга он всерьез подрывал веру в то, что люди способны понимать мир, опираясь на обыкновенное наблюдение и пользуясь для описания обыкновенным языком. Мир оборачивался царством субъективности, в котором смысл был неотделим от ситуации и контекста.

В эпоху, когда недавнее прошлое не могло служить опорой в поисках ответа на вопрос, как жить дальше, политика, культура и сама цивилизация Европы казались многим нуждающимися в новом самоутверждении, кто бы ни взял на себя ответственность быть его проводником. По всему континенту восторги по поводу коммунизма уравнивались, а чаще меркли на фоне буржуазного испуга перед возможностью прихода коммунистов к власти, смешанного с затаенным желанием возродить мифологизированное былое величие. Граждане этнических государств Европы, уставшие от мелочности урбанистического быта, а в Австрии и Германии с негодованием вспоминаящие о предательстве своих правительств во время войны, чувствовали потребность в подвиге, в том, чтобы исполнять историческое предназначение нации. Новая доктрина фашизма рассчитывала найти отклик именно у таких людей.

Стремительность, с какой фашизм подчинил себе Европу, не может не поражать. В 1920 году весь континент от границ Советского Союза до Атлантики жил при конституционных национальных правительствах, опиравшихся в своей деятельности на демократические институты. Треть планеты состояла из колоний, но из тех 65 стран, что обладали самостоятельностью, в межвоенный период всеобщие выборы не проводились только в пяти. Катастрофа Первой мировой, привившая многим скептицизм в отношении прогресса, не остановила движения к дальнейшей общественной и политической либерализации. На первый взгляд не существовало серьезных препятствий, способных остановить, а тем более обратить этот почти повсеместный демократический процесс. Европа, как представлялось, шествовала к лучшему будущему, в котором процветание и выборные институты политической власти наконец смогут гарантировать миру мир.

Несмотря на все это, период с 1918 по 1939 год стал эпохой глубочайшего краха конституционного либерализма. До конца мирного периода представительные собрания были распущены или лишены реальных полномочий в 17 из 27 европейских стран, и еще пять прекратили существование в ходе начавшейся войны. Только Британия и Финляндия, а также сохранившие нейтралитет Ирландия, Швеция и Швейцария поддерживали деятельность демократических институтов на протяжении отрезка истории между окончаниями двух мировых войн. В других частях света, в том числе в Японии в 1930–1931 годах и в Турции в начале 1920-х годов, демократические системы сворачивались пришедшими к власти милитаристскими режимами. В некоторых государствах кратковременную победу торжествовали коммунисты, однако немецкий пример и влияние в конечном счете закрепили тенденцию, в соответствии с которой последнее слово всегда оставалось за правыми. Устрашенные призраком коммунизма и ободряемые успехами фашизма в Италии и Германии, правители Европы как один меняли повадки — играли мускулами, устраивали гонения на инакомыслящих, выпячива-



Европа между мировыми войнами, с вновь созданными государствами. К 1920-м годам все государства Европы имели демократическое правление; к 1940 году демократия сохранилась лишь в четырех

ли национализм. Некоторые, как король Югославии Александр, были обыкновенными консерваторами старой закалки, пытавшимися обратить волну социальных реформ; другие, как португальский диктатор Оливейра Салазар, ставили своей целью не меньше, чем возрождение славного средневекового прошлого.

Нам уже знакомы некоторые культурные тенденции, являвшиеся подоплекой этих перемен. Еще одним принципиальным моментом развития Европы в 1920-х и 1930-х годах стала массовая внутренняя миграция и структурное обновление трудовых и общественных отношений. Не удивительно, что в обстановке, когда многих охватывала тоска по блаженной простоте прошлого, возникал широкий спрос на идеологии, объяснявшие, почему она была утрачена и как ее вернуть. Между тем европейских левых постиг раскол — социалисты, решившие включиться в легитимную политическую жизнь, теперь противостояли коммунистическим и прокоммунистическим организациям, которые не переставали верить в революцию как в единственный способ добиться реальных перемен. В 1919 году состоялся учредительный конгресс Коммунистического Интернационала, делегаты которого, все как один приверженные делу «пролетарской революции», представляли 26 европейских стран (а также Соединенные Штаты, Австралию и Японию). В свою очередь подъем коммунизма и социализма заставлял нижнюю прослойку среднего класса, мелкую буржуазию — «маленького человека», очутившегося между молотом и наковальней крупного бизнеса и организованного рабочего движения, — с большим энтузиазмом внимать посулам, раздававшимся из уст фашистов. (В Вене в 1932 году из всех национал-социалистов, выбранных в муниципальный совет, 56 процентов были представителями сословия «белых воротничков», 14 процентов — выходцами из рабочей среды и 18 процентов работали на себя.)

Не менее важную роль в подъеме фашизма сыграл и особый аспект общественных настроений в странах, потерпев-

ших поражение в Первой мировой, — широко распространенное ощущение предательства. Достаточно бывших военнослужащих, вернувшихся к работе у станка, за конторским столом или за прилавком магазина, вспоминали о прожитом между 1914 и 1918 годами отрезке жизни как о замечательной поре, когда боевое товарищество и доблесть сражаться за великое дело вполне компенсировали ужасы и невзгоды окопной войны. На фоне эпического величия битвы штатское существование выглядело жалким и недостойным — недаром в начале 1920-х годов итальянская фашистская партия больше чем наполовину состояла из бывших фронтовиков.

Еще один сокрушительный удар по либеральной демократии, которая отступала под двойным натиском коммунизма и фашизма, нанес кризис рыночного капитализма. Надо помнить, что либерально-демократические государства, по определению опиравшиеся на поддержку всех слоев населения, находились в косвенной зависимости от меры его благоденствия. Когда экономический кризис лишил их сбережений и работы, люди отказали системе в поддержке — многие решили, что либеральная капиталистическая демократия вовсе не является наилучшим государственным строем.

В крайнем выражении все эти факторы проявились в Германии — самой населенной, богатой и в скором будущем самой сильной стране Европы. Поскольку капитуляция 1918 года была подписана в отсутствие явного военного поражения, значительная часть армии считала себя преданной. Выход обиде, на которую накладывалось недовольство невзрачной штатской жизнью, многие из них находили в разнообразных ветеранских объединениях, в частности печально известном «Добровольческом корпусе». Условия, навязанные Германии Версальским миром 1919 года, лишь обостряли их чувства. Франция получила обратно Эльзас-Лотаригию, Бельгия — земли к востоку от Мааса, Польше отошла территория Западной Пруссии, Познани (Позена) и Силезии, Литве — часть территории отныне изолированной Восточной Пруссии; особым статусом наделялись район во-

круг портового города Данциг (Гданьск) и Саарский угольный бассейн, а Рейнская область превратилась в демилитаризованную зону. В дополнение ко всему Германия была вынуждена согласиться на крупномасштабные денежные репарации странам победившей коалиции.

Германские имперские границы, установленные в 1871 году, и внутреннее устройство Австро-Венгрии рушились и изменялись на глазах. Еще до перемирия 1918 года части старой габсбургской территории в Центральной Европе — Чехословакия, Венгрия и Югославия — провозгласили независимость. В ноябре 1918 года Курт Эйсер объявил Баварию «социалистической республикой», и когда тремя месяцами позже он был убит, пришедшие к власти коммунисты учредили Баварскую советскую республику (их примеру последовали также коммунисты в Венгрии). Протофашистский «Добровольческий корпус» оказал сопротивление новым властям, организовывая уличные сражения со сторонниками коммунистов в Мюнхене и Берлине. В 1919 году в ходе неудачной попытки восстания в Берлине лидеры компартии Карл Либкнехт и Роза Люксембург были схвачены и убиты неизвестной группой армейских офицеров, возможно, членов «Добровольческого корпуса». В мае 1919 года «Добровольческий корпус» при поддержке 30 тысяч членов военизированных группировок сверг советское правительство Баварии, расправившись примерно с тысячей мужчин и женщин.

Протофашисты сражались с коммунистами, однако их подлинная ненависть предназначалась либерально-демократическому парламентаризму — общественному строю, который, по их мнению, позволил слабым повелевать сильными. Исповедовавшие странный тип социального дарвинизма в оболочке почвеннической мифологии, члены этих группировок полагали, что сильные всегда должны быть наверху и что компромиссы повседневной, рутинной политики должны уступить место мужественным и решительным действиям. Эрнст Рём, первый руководитель штурмовых отрядов нацист-

ской партии, говорил о себе: «Еще когда я был незрелым хилым юнцом, война и тревоги привлекали меня куда больше, чем славный буржуазный порядок».

Таков был фон, на котором происходило крушение либеральной политики в Германии, — гражданская конфронтация, уличные драки правозэкстремистских группировок с коммунистами, недееспособный парламент, неподотчетная армия и националистически настроенное население, униженное и раздраженное личным положением и положением своей страны. В этой атмосфере начали появляться политические партии, которые пытались придать людскому раздражению и желанию обновления Германии ясную форму лозунгов. Одной из их неотъемлемых черт была маниакальная ненависть к евреям. Возвышение немецкой нации до статуса полумистического существа не могло обойтись без идеализации расовой «чистоты». Активное строительство этнических национальных государств, являвшееся основным содержанием западноевропейской истории в XIX веке, ставило в рискованное положение людей, которых воспринимали как чужаков, — после 1918 года этот процесс распространился и на Восточную Европу, где проживало гораздо больше евреев, чем на Западе. Однако в начале XX века в Германии и Австрии количество евреев было сравнительно малым — даже в 1933 году, когда оседлое еврейское население немецких земель успело пополниться переселенцами из Польши и России, число евреев в Германии не превышало 500 тысяч человек (т. е. 0,67 процента от всего числа жителей).

Получив в начале XX века возможность влиться в общее течение жизни германского и австрийского государств, достаточное число евреев сумели добиться солидного общественного и политического положения. Несмотря на антисемитские настроения в определенных кругах германской и австрийской элиты, Фрейду, Эйнштейну, Малеру, Краусу и множеству других удалось сделать выдающуюся карьеру в

Берлине и Вене. Недавние исследования обстоятельств жизни Гитлера в Вене до 1913 года показали, например, что, вполне далекий от антисемитизма, он приятельствовал со многими евреями, соседями по общежитию (евреи добивались значительных успехов в студенческой и буржуазной среде, поскольку многие из них приезжали в Вену за светским образованием) и торговцами искусством, которые покупали у него картины. Складывается впечатление, что военные годы полностью изменили мировоззрение Гитлера и немало числа его соотечественников, в том числе отношение к евреям. Подъем национализма, приток еврейских беженцев с востока, заметная роль евреев в большевистском руководстве, наконец обыкновенная нужда в козле отпущения — всего этого в совокупности оказалось достаточно, чтобы разжечь настоящее пламя антисемитизма в стране с незначительным еврейским населением.

В 1921 году Адольф Гитлер, бывший солдат германской армии, недовольный установившимися порядками, возглавил базировавшуюся в Мюнхене Национал-социалистическую партию, а в 1924 году попытался собрать под свои знамена сочувствующие баварские движения для похода на Берлин. Последовавший арест, суд и кратковременное пребывание в тюрьме принесли ему общенациональную славу, но также научили, что дорога к власти лежит не через вооруженное противодействие, а через законную политическую деятельность. В середине и конце 1920-х годов немецкая экономика стала понемногу оправляться от послевоенного упадка, правительство наконец справилось с гиперинфляцией и жизнь простых немцев начала постепенно входить в нормальную колею. Инвестиции широкой рекой текли из Америки (между 1923 и 1928 годами Уолл-стрит вложил в германские государственные и частные компании 3,9 миллиарда долларов), и, как казалось, ничто не омрачало завтрашний день. Это была неурожайная пора для экстремистов: численность национал-социалистов сократилась, на всенародных выборах в парламент 1928 года партия, которую Гитлер возглавлял уже седь-

мой год, получила жалкие 2,6 процента голосов — вопреки превосходным качествам оратора и организатора, Гитлеру не удалось произвести на немцев должного впечатления.

Крах Уолл-стрита в 1929 году и последовавшая Великая депрессия изменили все. Американские банки отзывали свои ссуды, и в конечном счете Германия оказалась страной-банкротом. Экономический кризис повлек за собой политическую нестабильность: центристские партии создавали новые коалиции, которые постоянно распадались и все чаще ставили страну перед необходимостью новых выборов. Простые решения снова обрели притягательность — на выборах 1930 года нацисты получили уже 18,3 процента, а коммунисты — только 13,1 процента голосов.

В начале 1930-х годов на немецких улицах, в питейных заведениях и других местах, где собирались люди, до предела сгустилась атмосфера тревоги и насилия. Нацистская партия имела порядка 100 тысяч членов, входящих в состав военизированных формирований, — больше, чем разрешенная Версальским миром численность германской армии. В середине 1932 года очередная правительственная коалиция развалилась, и новые выборы были назначены на 31 июля. На этот раз национал-социалисты получили 37,4 процента голосов, что сделало их крупнейшей фракцией в парламенте. Тем не менее президент республики фон Гинденбург, опасаясь политической катастрофы, отказался назначить Гитлера канцлером. На следующих выборах, состоявшихся в ноябре того же года, число сторонников Гитлера и его партии снизилось до 32 процентов, вновь на фоне первых признаков улучшения экономической ситуации — это могло стать началом конца нацизма как серьезной политической силы.

События развернулись иначе: по результатам ноябрьских выборов группа консервативно настроенных политиков, должностных лиц, промышленников и банкиров направила президенту фон Гинденбургу послание, в котором говорилось о необходимости назначения Гитлера на пост канцлера. В их глазах продолжающийся политический хаос, приходящие на

смену друг другу недееспособные правительства обрекали страну на экономическую нестабильность и создавали почву для триумфа коммунистов. На следующий месяц действующий канцлер Франц фон Папен заключил с Гитлером сделку, по условиям которой получал в будущем правительстве вице-канцлерское место (с секретными инструкциями от Гинденбурга сдерживать деятельность нацистов) и соглашался на участие в нем еще двух членов гитлеровской партии (Геринга и Фрика). 30 января 1933 года Гитлер стал канцлером Германии. Аппарат современного государства давал любому, кто оказывался в его центре, огромную и, если у него достаточно решимости действовать, фактически неподконтрольную власть. Не проведя и четырех недель в новой должности, Гитлер воспользовался пожаром Рейхстага (здания немецкого парламента) в качестве предлога для начала подавления политической оппозиции, ареста прокоммунистически настроенных граждан и присвоения диктаторских полномочий. Дни демократии в Германии подошли к концу. Когда на следующий год Гинденбурга не стало, Гитлер, помимо канцлерского, занял и президентский пост.

Для многих немцев 1930-е годы запомнились как пора благополучия. Гитлеровская политика трудовой повинности, направившая множество безработных на строительство автомагистралей и других объектов инфраструктуры, крайне положительно сказалась на состоянии национального хозяйства. На немецкий народ непрерывно изливалась поток антисемитской пропаганды, однако у большинства меры против евреев не вызывали возражений — несмотря на довольно малочисленное еврейское население, немцы с готовностью верили в то, что все банкиры, плутократы и бюрократы, а также основная масса юристов, преподавателей и врачей были евреями и что общество только выиграет, если сумеет обуздать их непомерно разросшееся влияние. В 1935 году были приняты так называемые Нюрнбергские законы, которые ограничивали евреев определенным набором специальностей и запрещали им вступать в брак с немцами неиудейского

исповедания. Международное осуждение, вызванное этими мерами, практически нивелировалось действовавшими на Юге демократических Соединенных Штатов «законами Джима Кроу», которые поддерживали аналогичный запрет на межрасовые браки, а также расово окрашенной колониальной политикой Британии, Франции и других европейских государств. Когда Гитлер открыто указывал на подобные примеры двойных стандартов, в этом не было никакой извращенной логики — нацизм вырос в эпоху, в которую все белые нации считали себя превосходящими любые другие. Уважение к Гитлеру со стороны народа Германии лишь укрепилось после оккупации Рейнской области в 1936 году, помпезного проведения в том же году Олимпийских игр в Берлине и «аншлюса» — триумфального присоединения погрязшей в политической смуте Австрии весной 1938 года. Гитлер давал немцам все, чего они хотели, и если это сопровождалось мелкими неприятностями для евреев, они не видели здесь ничего страшного.

В ноябре 1938 года положение евреев в Германии, и без того униженных и пораженных в правах, ухудшилось в крайней степени. Поводом для этого послужило убийство 7 ноября в Париже немецкого дипломата Эрнста фон Рата. 9 ноября нацистские штурмовые отряды приступили к разрушению синагог, принадлежавших евреям домов, контор и магазинов, попутно избивая, захватывая и убивая их хозяев и жильцов в городах по всей Германии. В ходе повсеместной расправы, получившей название «Хрустальной ночи», были убиты около 400 человек. Даже привыкшие к порядкам, установившимся при нацистском правлении, многие немцы оказались потрясены этим буйством жестокости и насилия — но гораздо большему числу не терпелось поскорее очистить германскую землю от инородцев.

Гитлеровская расовая политика не ограничивалась гонениями на евреев. Германия являлась этническим государством, и превосходство ее народа над всеми прочими объяснялось неумолимыми законами биологии. Если евреи пред-

ставляли собой внутреннего врага, то главной внешней угрозой был Советский Союз. Россия неразрывно связала себя с коммунизмом, ее революцию возглавляли евреи, а население состояло из славян — низшей по сравнению с арийцами расы. Вдобавок Россия была прекрасным местом, чтобы обеспечить расширение жизненного пространства немецкого народа. Назревавшая война подпитывалась желанием Гитлера увидеть историческую схватку между Германией и Советским Союзом за господство над Европой. После того как германская армия сумела в 1938 году оккупировать Чехословакию, от советской границы ее отделяла только Польша. 31 марта Британия и Франция официально взяли на себя ответственность за неприкосновенность польских границ. Гитлер, которого не привлекала перспектива воевать на два фронта, не мог вторгнуться на польскую территорию, не зная, как отреагирует на это Советский Союз. В августе 1939 года Германия подписала со Сталиным пакт о ненападении (в качестве компенсации Советы получали кусок польской территории на востоке) и 1 сентября двинулась на Польшу. Уже через два дня Европа вступила в войну.

У Гитлера не было цели сделать Германию сильным государством в центре Европы — его поглощало желание непрерывной борьбы. Война, как ему виделось, должна стать горнилом испытаний, в котором обновится и закалится душа немецкого народа. В условиях, когда высшее офицерство, даже германское, наученное уроками 1914 года, заметно умерило свой милитаристский энтузиазм, в Европе объявилось новое воплощение фигуры гражданского командира — политика, любившего красоваться в мундире. Муссолини был образцом, и Гитлер следовал по его стопам. Соответственно, нет ничего удивительного в том, что стратегией нового германского канцлера стало постепенное ограничение влияния армейской верхушки, в конечном счете сосредоточившее в его руках все командные полномочия и превратившее генералов не более чем в технических экспертов. Ситуация 1914 года,

когда внешняя политика находилась под контролем военных, как бы вывернулась наизнанку, однако результаты в том и другом случае были одинаковыми: государство перестало выдвигать и реализовывать цели внешней политики, вырабатывавшиеся в открытом столкновении позиций, оно могло только вести сменявшие друг друга военные кампании, мало-помалу ставшие единственным оправданием его собственного существования.

Если еще недавно развитие артиллерии и стрелкового оружия произвело на свет окопную систему, то новые изобретения сделали ее пережитком прошлого. За пару десятилетий после 1918 года совершенство двигателей, дорог, танков, грузового транспорта, боевых самолетов и подводных лодок, радиооборудования достигло непредставимых прежде высот, как, впрочем, и эффективность новых методов производства транспортных средств, снаряжения и боеприпасов. Германское командование сделало опорной единицей своего оперативного планирования компактные, технически подготовленные группы людей, воюющих в танковых бригадах, подводных лодках, летных эскадрильях и мобильных артиллерийских батареях, поддерживающих постоянное сообщение по радию. Ключевым фактором успеха «блицкрига» («молниеносной войны») была стремительность наступления, координируемого посредством мгновенной связи. Результаты этой стратегии хорошо известны: польская военная авиация была уничтожена в первый же день, армия полностью разгромлена в пять недель; за апрель 1940 года немецкие силы успели оккупировать Данию и Норвегию, позволив Швеции сохранить нейтралитет в обмен на продолжение поставок Рейху железной руды; чтобы захватить Нидерланды — после превращения Роттердама в руины массированными налетами, — Германии понадобилось лишь 18 дней; в мае 1940 года немецкие войска выдвинулись из Арденнского леса и 19 числа уже достигли берега Северного моря у Абервилля, отрезав британские и французские силы друг от друга; к 4 июня остатки британского экспедиционного корпуса эвакуирована-

лись из Дюнкерка, а остатки французской армии были блокированы; 17 июня французское правительство запросило мира и 25 числа подписало соглашение о прекращении боевых действий. За три месяца Гитлер покорил всю Западную континентальную Европу — ему лишь оставалось дожидаться, пока Британия тоже попросит о мире, тем самым исключив вступление в войну Соединенных Штатов. Когда никаких предложений не последовало, Гитлер в сентябре 1940 года начал целенаправленно бомбить Лондон. Однако и кампания «блиц»-налетов, унесшая жизни больше 13 тысяч лондонцев, не принесла ожидаемой капитуляции. Когда в конце концов число сбитых бомбардировщиков убедило Гитлера, что разгромить Британию с воздуха ему не удастся, он обратил свои взгляды на восток.

В глазах германской армии и населения Гитлер выглядел настоящим чудотворцем. Завоевание Франции пользовалось у народа необычной популярностью, и вообще все, что Гитлер говорил людям до сих пор, неизменно сбывалось. К концу 1940 года большинство немцев верили каждому его слову и были готовы поддержать его в каждом начинании. Нападение на Советский Союз в июне 1941 года планировалось как быстрое и решительное. И хотя на первых этапах советской кампании «блицкриг» вполне себя оправдал, на Восточном фронте Германии пришлось вступить в войну совершенно иного плана. Отсутствие системы асфальтированных дорог тормозило работу тылового обеспечения, поэтому наступающим частям постоянно угрожала опасность остаться наедине с врагом. Гораздо более зловещим отличием было то, что германская армия, с подчеркнутым уважением относившаяся к противнику, когда он носил британскую или французскую форму, нисколько не церемонилась ни с советскими военными, ни с гражданским населением. Советских солдат, пытавшихся сдаться в плен, часто расстреливали на месте — из 5 миллионов взятых в плен в живых осталось лишь 2 миллиона. Это не было установкой, которую специально проводили

войсковые политические работники, — это было обращение одной армии с другой. Развязанная Германией война стоила жизни 20 миллионам советских граждан.

Мы выросли со знанием этих ужасающих фактов, но не часто отдаем себе в них отчет. В Европе война давно уже превратилась в смертельное предприятие, неразрывно связавшее между собой воинскую доблесть и звериную жестокость. Чтобы извинить возможные и реальные зверства, цивилизованные европейцы убеждали себя в неполноценности, опасности и нецивилизованности врагов. Уничтожение таких людей было долгом перед человечеством. Немецким солдатам внушали, что русские — раса варваров, которые с радостью прикончат их при первой же возможности. Уверенные в этом, они прибегали к упреждающему возмездию.

Не дав Гитлеру насладиться скорой победой, Советский Союз гарантировал его окончательное поражение. Советская промышленность, вновь отстроенная на востоке страны, начала производить огромные количества танков, самолетов, боеприпасов и всего необходимого для своей численно превосходящей противника армии. В 1942 году германские войска вдавались все глубже и глубже в российскую территорию, сосредоточив усилия на южном направлении, где их целью была каспийская нефть. В августе 1942-го немецкая 6-я армия достигла окраин стоящего в южных степях города Сталинграда при поддержке румынского и итальянского корпусов. Пока Сталинград держал оборону от непрекращающихся немецких атак, маршал Жуков завел свои силы с флангов и в ноябре сумел замкнуть кольцо окружения. К февралю 1943 года, после трех месяцев сражений за каждую улицу и каждый дом в городе, командующий немецкими войсками был вынужден капитулировать, и почти миллион человек попали в плен. Стойкость советских солдат имела решающее значение в обстановке, когда февральские ночные температуры в Сталинграде доходили до минус 44°С. Доставшаяся ценой миллиона жизней, оборона Сталинграда наконец-то показала, что и у непобедимости Германии есть свой предел. Когда новости о

победе разнеслись по миру, стало понятно, что это начало конца Гитлера. Не прошло и года, как советские войска начали неуклонное продвижение на запад. Американцы и британцы приспосаблились нетерпения высадиться на территории Франции и открыть второй европейский фронт. К началу 1944 года, с выведенной из конфликта Италией, вопрос уже состоял не в том, как выиграть войну, а в том, как сделать это в максимально короткие сроки. Силы союзников высадились во Франции в июне 1944 года, а в начале мая 1945 года советские части наконец взяли Берлин.

Желание нацистов установить свое господство в Европе вдохновлялось не стратегическими, а идеологическими причинами. Одна из составляющих их идеологии начала реализовываться в 1941 году, когда партия и германское правительство выработали четкую цель — уничтожить всех европейских евреев. Эта программа была зафиксирована на совещании, собравшемся 20 января 1942 года на вилле на берегу озера Ванзее, неподалеку от Берлина. Один из экземпляров протокола совещания — так называемого Ванзейского протокола — сохранился и был обнаружен американскими оккупационными властями в 1947 году.

До 1939 года нацисты как могли ограничивали для евреев сферу деятельности и всячески поощряли их эмигрировать из Германии. Однако по мере того как Германия оккупировала все новые территории Европы, численность «нежелательного элемента» среди подконтрольного ей населения росла, и, поскольку в войну втянулись почти все европейские страны, евреям в конце концов оказалось просто некуда бежать. (В какой-то момент в качестве конечного пункта депортации рассматривался Мадагаскар, но ввиду британского контроля над Суэцким каналом этот вариант отпал.) Наиболее остро «еврейский вопрос» встал в Польше, которая стала гигантской лабораторией по претворению в жизнь нацистских расовых идей. План заключался в том, чтобы переселить всех этнических поляков в область на востоке страны, а этническим немцам из Литвы, Латвии и Украины выделить область

на западе. Неясным оставалось лишь, что делать с польскими евреями, и пока этот вопрос не был решен, нацисты сосредоточили их в специально огороженных кварталах польских городов. Но поскольку решения так никто и не принимал, варшавское, лодзинское, краковское и другие гетто в крупных городах продолжали функционировать, становясь все более многолюдными и испытывая все более острую нехватку продовольствия. Пока польские евреи оставались заточенными в гетто, немецкая армия двигалась на восток, захватывая обширные территории Восточной Европы и Советского Союза со значительным еврейским населением. И по-прежнему никто не давал ответа на «еврейский вопрос».

В «Моей борьбе» Гитлер называл евреев крысами, паразитами и бациллами, а в его речах 1930-х годов фигурировали слова о полном истреблении евреев и отравлении газом. Разумно было бы ожидать, что приказ о начале массового уничтожения европейских евреев исходил непосредственно от Гитлера, но ничего подобного обнаружить не удалось, и несмотря на принципиальность антисемитизма для идеологии нацистской партии, еврейский вопрос не был отдан в специальное ведение ни конкретного человека, ни конкретного органа — историк Рауль Хильберг составил список из 27 разных правительственных учреждений, так или иначе участвовавших в его «решении». Представители многих этих учреждений собрались на берегу Ванзее в 1942 году, однако даже из протокола их заседаний не ясно, кто именно был ответствен за проведение новой политики в жизнь.

Историки высказывали подозрения, что эта туманность — сознательная уловка, призванная гарантировать причастных от будущего преследования, однако недавние исследования Иэна Кершоу подсказывают другое объяснение. После войны каждый нацистский функционер утверждал, что, будучи членом системы, скованной жестким единоначалием, он всего лишь исполнял приказы; тем не менее в период расцвета этой системы сам Гитлер подписывал минимум приказов, практически не давал поручений и не занимался админист-

ративной работой. Доведение линии партии по тому или иному вопросу, включая еврейский, до рядовых членов и беспартийных граждан, практическое осуществление лозунгов и управление ресурсами происходили, по всей видимости, без обнародования программных установок и без спуска письменных указаний вниз по инстанциям. В нашем представлении живет образ нацистской машины как тоталитарной системы устрашающей эффективности — но как этот образ согласуется с документальными и прочими свидетельствами?

В своих сочинениях Гитлер выказывал глубокую одержимость идеями дарвинизма в их применении к проблемам человеческого общества: «Люди отбирают друг у друга права, имущество и жизнь, и можно видеть, что в конечном счете всегда торжествует сильнейший. Разве это не разумный порядок вещей? Будь иначе, никогда бы не появилось ничего хорошего. Если мы не будем чтить законов природы, навязывая свою волю по праву сильнейшего, наступит день, когда дикие звери вернуться, чтобы заново нас пожрать...»

Гитлер применял, или, точнее, позволял реализоваться доктрине «выживания наиболее приспособленных» в рамках нацистской партии и всей Германии. Вместо того чтобы указывать, какие конкретно люди должны занять какие позиции в партии, он давал своим подчиненным в драке выяснить, кто будет контролировать ту или иную сферу деятельности, — наилучший кандидат обязательно, какие бы методы те ни избрали, возьмет верх над остальными. Устройство, как и сам состав партии, должны были также формироваться по этому принципу — кто бы ни занимал позицию силы и влияния, тому и предстояло учреждать порядки по своему усмотрению. У Гитлера были рычаги, с помощью которых он при желании мог обуздывать амбиций подчиненных, однако право на это гарантировалось его победой в схватке за верховную власть.

Личные и партийные архивы свидетельствуют, что люди, занимавшие разные посты в нацистской партийной иерархии, ощущали за собой одну роль — «работать на фюрера», как сформулировал один из них. Это означало, что их задачей

было внимательно следить за всем сказанным и написанным фюрером и действовать в согласии с собственным пониманием и обстоятельствами. В одной бумаге, направленной из центрального органа партии, говорилось: «Герт Гитлер придерживается того принципа, что в функции партийного руководства не входит "назначение" партийных вождей... самый боеспособный член Национал-социалистического движения тот, кто завоевывает уважение к себе как к лидеру благодаря собственным достижениям. Вы сами говорите в своем письме, что почти все члены организации вас поддерживают. Почему в таком случае вы не берете руководство ячейкой на себя?»

Результатом такой политики была неразличимость личных карьерных и партийных интересов и широко распространенное желание угодить тому, кто имел власть тебя уничтожить. Гитлеру не требовалось отдавать конкретные приказы, нужно было лишь сделать так, чтобы его мысль истолковали в нужном направлении — после этого подчиненные доводили задуманное им до конца. Прямые директивы могли рождаться где-то ниже по иерархии, однако многие, претворяя в жизнь общую линию фюрера, чаще всего проявляли личную инициативу. Почти никто не занимался «только исполнением приказов» — все интерпретировали текущую ситуацию к своей выгоде.

Здесь мы возвращаемся к самому трудному и важному вопросу западной истории XX века: как получилось, что такая цивилизованная страна, как Германия, скатилась не только к войне, но и к геноциду невообразимых масштабов и жестокости? Если партийные товарищи Гитлера хранили верность философии вождя, то что произошло с остальным населением? Как небольшой горстке нацистов удалось заставить немецкий народ плясать под свою дудку? Добились ли они этого запугиванием, или оглушением пропагандой, или апелляцией к неким уже заложенным в народе темным инстинктам? Определенно, с пришествием к власти нацистов в Германии довольно быстро воцарилась атмосфера страха и беспомощности, однако тотальный контроль за жизнью простых нем-

цев со стороны гестапо и подобных ему организаций был больше иллюзией, чем реальностью. Из всех «политических дел», заведенных властями с 1933 по 1945 год, только 10 процентов было действительно инициировано гестапо, и еще 10 процентов было передано от полиции и членов партии — оставшиеся 80 процентов возбуждались на основании обращений обычных германских граждан. Сохранившиеся гестаповские досье переполнены доносами от озабоченных представителей общественности. В одном случае, произошедшем в Вюрцбурге, группа доносителей уличала некоего еврейского виноторговца в связях с вдовой-немкой. Досье показывает, что бумага осталась лежать без внимания, пока обратившиеся не нажали на гестапо и местную партийную организацию, чтобы те приняли меры. В августе 1933 года «охранные отряды», то есть СС, наконец сопроводили виноторговца до местного полицейского участка с повешенным на шею плакатом. Как ни поразительно, гестаповские архивы сохранили и сам этот плакат. Аккуратными буквами на нем выведено: «Еврей, герр Мюллер. Жил в грехе с немецкой женщиной». Герр Мюллер был заключен под стражу, несмотря на то, что не нарушил ни одного закона. Он уехал из Германии в 1934 году.

В последнее время философы и историки пытались показать, что то неизмеримое зло, которым был холокост, став в конечном счете предметом целенаправленной государственной политки, одновременно складывалось из тысяч крохотных эгоистичных поступков, совершенных немцами в 1930-е и 1940-е годы. Эти поступки часто возникали как следствие мелких, обыденных решений, принимавшихся с целью получения той или иной выгоды в жизни и не учитывавших, как они могут отразиться на других. Доносы на собственных сограждан безусловно придавали их авторам чувство уверенности и силы, вместе с тем как бы скрепляя этих людей узами верности с режимом, а само число доносчиков не давало нацистским функционерам сомневаться, что немецкий народ поддержит их в любом начинании против кого бы то ни было, кого они сочтут нежелательным общественным элементом, —

евреев, цыган, славян, людей, умственно или физически обделенных.

Ожидая завершения работы над немецким переводом своей книги «Если это человек», Примо Леви, итальянский еврей, переживший заключение в Освенциме, почувствовал, что ему необходимо понять немецкий народ: «Не горстку высокопоставленных преступников [осужденных в Нюрнберге], а их — народ, тех, с кем я сталкивался лицом к лицу, тех, из кого набирались эсэсовские ополченцы, и еще тех, кто верил, кто не верил, но промолчал, кому не хватило минутного мужества даже на то, чтобы посмотреть нам в глаза, кинуть кусок хлеба, шепнуть человеческое слово». Для Леви это оказалось непостижимым больше всего остального. Он понимал трудности открытого неповиновения, хотя и не извинял тех, кто на него не отважился. Однако он ощущал всю чудовищность отсутствия элементарных жестов доброты и сочувствия. Они не стоили бы многого, но каждый выстраивал бы мостик между дающим и принимающим. Без таких мостиков евреям было совсем не на что надеяться.

Черно-белые фотографии громил в сапогах и кадры, запечатлевшие фиглярство Гитлера на трибуне, могли бы убедить нас, что нацизм явился порождением людей необразованных и недалеких, либо же восстанием бескультурных и отчужденных против умных и искушенных, которые при естественном ходе вещей вершат судьбу общества. Однако из исследований последнего времени явствует, что над подробными планами и проектами убийства европейских евреев трудились ученые, государственные чиновники, специалисты в области градостроительства и демографии. Это были не безумные и озлобленные фанатики, а трезвомыслящие, образованные мужчины и женщины, исправно исполнявшие свои профессиональные обязанности. Большинство из них не состояли в нацистской партии, но, подобно многочисленным составителям доносов в гестапо, ими двигала забота об улучшении своего положения в обществе и вдобавок карьерные амбиции. Мало того, реализация самого плана холокоста находилась в

руках одних из наиболее способных людей Германии. Порядка трехсот человек, составивших костяк Главного управления имперской безопасности (РСХА) и оказывавших первоочередное влияние на разработку и проведение в жизнь партийной политики уничтожения и преследования врагов режима, входили в группу студенческой элиты 1920-х годов, сугубо негативно относившуюся к Версальским соглашениям и Веймарскому правительству. Эти далеко не глупые молодые люди отвергали демократию и изгоняли евреев из студенческих организаций задолго до прихода Гитлера к власти. Когда наступило время, они были готовы предложить свои услуги в практическом осуществлении грандиозных замыслов Гитлера и решении «еврейского вопроса».

Слухи о лагерях уничтожения циркулировали по Европе начиная с 1942 года, но только после того, как союзники начали отвоевывать оккупированные территории, миру открылся весь ужас этих учреждений фашистского режима. Военные корреспонденты сообщали о том, чему отказывались верить глаза. Когда 15 апреля 1945 года британская армия освободила концентрационный лагерь в Бельзене, Патрик Гордон-Уокер передал репортаж для радиослушателей в Соединенных Штатах, в котором описывал увиденные им 30 тысяч трупов и 35 тысяч человек на грани смерти, детский барак, доверху набитый горами маленьких тел. Его репортаж заканчивался так: «Обращаюсь к вам, кто слушает меня на родине — это лишь один лагерь. Существует много других. Вот то, против чего вы сражаетесь. Здесь нет ни малейшей пропаганды — только очевидная и неприукрашенная правда».

В конце войны Томас Манн выступил на немецком радио, рассказывая нации о том, что найдено в Освенциме. Многие предпочли не поверить этим рассказам, однако вскоре были предъявлены доказательства. Холокост часто называют уникальным злодеянием человеческой истории. Его масштаб и место действия в самом сердце цивилизованной Европы были и вправду уникальны, но попытка целенаправленного истреб-

ления целого народа — европейского еврейства — не возникла ниоткуда. Столетиями белокожие европейцы христианского вероисповедания воспринимали себя как расу, превосходящую все прочие и наделенную правом уничтожать других во имя своей цивилизации, — в предшествующие 150 лет (и дальше в глубь истории) люди, чей цвет кожи и обычаи были иными, подвергались пыткам, побоям, издевательствам и массовым убийствам в порядке вещей, по единственной причине своей инаковости, а к началу XX века стало естественным не только рассматривать отличающихся от тебя и твоей среды (включая необразованные массы) как стоящих на нижней ступени биологического развития, но и видеть в них потенциальную угрозу жизнеспособности европейской цивилизации — и подкреплять свои убеждения «рациональными» лженаучными теориями. Фундаментом рабства, колонизации, узаконенной сегрегации неизменно являлось сочетание представлений о собственном расовом превосходстве и страха перед угнетенными — отношение, которое существовало задолго до открытия страшной правды о холокосте и отнюдь не ушло в небытие вместе с ним.

На фоне этих господствующих представлений достижения Америки 1930-х годов и ее лидера Франклина Рузвельта выглядят тем более выдающимися. Общество, рисковавшее утратить присущую ему широту духа, Соединенные Штаты, как и Германия, перенесло жестокий удар Великой депрессии. Однако стране удалось избежать сползания в фашизм и вместо этого, вдохновляясь рузвельтовской доктриной взаимной поддержки, повернуть в противоположном направлении — к совместному труду на общее благо и обновленному народовластию. К тому моменту, когда Япония, выстраивавшая себя по европейскому образцу как милитаристское националистическое государство, напала на Перл-Харбор в 1941 году, Соединенные Штаты уже заняли сторону осажденных либеральных демократий. Сотни тысяч американцев с готовностью отдали свои жизни не только ради победы над Японией,

но и ради восстановления конституционных правительств в Европе.

Как бы то ни было, даже Рузвельту было не по силам преодолеть глубоко укорененные привычки своих соотечественников — сегрегация по расовому признаку оставалась законодательно разрешенной в Соединенных Штатах до 1950-х годов. Правда, Америка не была исключением. В 1948 году господствующее европейское население Южной Африки ввело систему «раздельного проживания» — апартеид, — базировавшуюся на классификации и изоляции рас, а спустя всего лишь несколько лет после закрытия Освенцима надписи со словами «Черным и ирландцам просьба не беспокоится» стали привычным украшением британских частных пансионатов. Такого рода бытовая бессознательная жесткость вновь возвращает к нашему центральному вопросу о молчаливом соглашательстве немецкого народа. Для него нет простого объяснения, у него нет одной причины. Историки, психологи и философы стараются найти ключ или всеобъемлющую формулу, которая позволила бы уберечься от повторения подобных вещей в будущем. Однако не существует волшебного решения и нельзя сформулировать урок, который мы были бы готовы или способны раз навсегда вынести из позорного прошлого. Мы продолжаем хранить приверженность институту национального государства, обладающего монополией на насилие и наделяющего необыкновенной властью небольшую группу людей; мы все так же разрабатываем технические средства, способные убить тысячи, если не миллионы людей; мы не избавились от веры в то, что нацизм был откатом к первобытному, даже звериному и что прогресс человечества сможет гарантировать нас от нового нацизма; наконец, мы по-прежнему воспринимаем свою цивилизацию, как образец, которому должен следовать весь мир. Тем не менее если вновь обратиться к словам Дитриха Бонхеффера, приведенным в начале этой главы, нельзя не задуматься всерьез над возможностью того, что господствующие убеждения и «традиционная этическая система» европейской цивилизации, свой-

ственные ей универсальные решения-панацеи, презумпция собственного превосходства и образ мистического целого, которому грозит смертельная опасность изнутри и снаружи, — все это сыграло свою роль в неспособности немцев проявить доброту и сочувствие, которые спасли бы еврейский народ от нацизма. Немало немцев сделали это, протянули руку помощи и спасли людей от лагерей смерти, однако подавляющее большинство, как напомнил нам Примо Леви, поступило иначе. Именно в таком отказе от человеческого сострадания и доброты во имя некой великой цели и состоит действительная угроза, перед лицом которой постоянно находится неутомимо взыскующее смысла западное человечество.

Глава 18

ПОСЛЕВОЕННЫЙ МИР

От социальной солидарности к глобальному рынку

Шесть десятков лет, минувших с окончания Второй мировой войны, едва ли дали людям, наполнившим их содержанием своей жизни, обрести историческую перспективу. Личные воспоминания, рутина повседневности, скромные победы и поражения обычного существования, изредка нарушаемого семейными трагедиями и торжествами, ссорами и примирениями, не позволяют подняться на объективную точку обзора, с которой становятся видны генеральные линии послевоенного исторического развития. Но, разумеется, иначе никогда и не бывало. Ход масштабных геополитических сдвигов, приливов и отливов культурных и политических перемен, ренессансов и реформаций всегда свершался внутри беспорядочного, насыщенного многообразием эмоций переплетения миллионов частных жизненных путей. Благодаря письменной истории прошлое обретает для нас структуру, однако время, прожитое нами самими, не позволяет забыть, что частная жизнь протекает ниже исторического горизонта.

Как бы то ни было, наличие некоторой дистанции дает возможность разглядеть в развитии западного мира после 1945 года несколько отчетливых сюжетов. Первым, что бро-

сается в глаза, является деление этой истории на два четких этапа с большим переходным периодом посередине. На первом этапе, продлившемся примерно с 1945 по 1965 год, между странами Запада утвердилось общее видение развития, столпами которого были сильное государство, обслуживающее экономические и социальные потребности граждан, объединенная система национальных экономик, связанных между собой через фиксированные ставки обмена валют и универсальный контроль за движением товаров и капитала, а также военный альянс, чьей первоочередной задачей являлось сдерживание мирового коммунизма. Лежащие на поверхности черты, отличавшие западноевропейские нации от США — государственная собственность на коммунальные предприятия и стратегические отрасли промышленности, а также время от времени дающие о себе знать социалистические симпатии, — не должны нас смущать, ибо в реальности американское федеральное правительство не стеснялось оказывать своим ключевым отраслям массивную, пусть и косвенную, поддержку, а Европа со всей решимостью включилась в международную систему экономического взаимодействия и военного союзничества, в которой Америка играла роль лидера. Институциональная политика первого этапа в целом опиралась на общенациональное согласие (славной — или бесславной — памяти «послевоенный консенсус»), тогда как неформальная оппозиция почти исчерпывалась малочисленными радикальными группами социалистического, марксистского или радикально-коммунистического толка.

Второй этап начался примерно в 1980 году (хотя главным его импульсом стали события 1973 года, а первые признаки появились еще в середине 1950-х годов) и длится до настоящего времени. На этом этапе представление о естественности и полезности частного предпринимательства, конкуренции и свободного рынка для всех сфер общества и всех стран мира существует в статусе непререкаемой истины. Свободное движение капитала рассматривается как универсальный инструмент повышения эффективности, поскольку

считается, что в отсутствие ненужных барьеров деньги всегда будут устремляться туда, где им найдут самое эффективное применение. На смену западному военному союзу против коммунизма пришла идея «добровольных коалиций», образующихся для достижения конкретных задач, а размер и боеспособность вооруженных сил Соединенных Штатов оставляют далеко позади армию любого их союзника. Стержневой темой институциональной политики стала забота о создании в различных сферах условий для свободной торговли и открытых рынков, а также решение задач, связанных с их последующей регламентацией, тогда как неформальная оппозиция или, точнее, компенсаторная реакция на эту политику чаще всего отстаивает ценность «нематериальных активов»: качества жизни, общественной солидарности, сохранения окружающей природной среды, религиозной духовности. Главным проводником открытого рынка является англосаксонский мир, чья «вашингтонская модель» имеет прочную опору в самой мощной на планете экономике и в военной гегемонии США. Остальные западные страны обнаружили, что им все труднее сопротивляться влиянию США, а тем, кто процветал на первом этапе (главным образом Германии и Японии), нежелание приспособливаться стало обходиться слишком дорого.

Переходный период между двумя этапами, период хаоса и тяжелых испытаний, явился вместе с тем самым политически увлекательным и культурно созидательным отрезком недавней истории. Это могло бы нас удивить, если бы мы всякий раз не становились свидетелями оживления культуры в эпоху социальных перемен — которым она чаще всего сопротивляется. Первый этап для западного мира стал временем обретения четких границ, второй — временем нового покорения остальной планеты. Однако в процессе перехода от одного периода к другому под вопрос был поставлен сам смысл западной цивилизации. Именно этот процесс я и хочу исследовать в настоящей главе.

В 1945 году Европа лежала в руинах: города разрушены, промышленность уничтожена, миллионы жителей остались без дома или без родины. Противовесом облегчению, принесенному окончанием войны, было чувство физической и моральной опустошенности. Когда правда обо всех ужасах нацистской оккупации вышла на свет, победителям и побежденным предстала картина ни с чем не сравнимого упадка — здесь, в сердце Европы, по видимости самом цивилизованном месте на земле, человечество достигло низшей точки падения. Тем не менее насущная необходимость в действиях пересилила шок от осознания произошедшего. Голод, болезни, разруха и стоящая перед западными союзниками задача материального, политического и социального восстановления усугублялись проблемой второго пришествия коммунизма. Советские войска, изгнавшие нацистов из собственной страны, освободили Болгарию, Румынию, Польшу, Венгрию, Чехословакию, Югославию и восточную часть Германии. Судя по отдельным признакам, некоторые западные страны, особенно Италия, Франция и Греция, были готовы добровольно принять коммунизм как реальную альтернативу национализму, экономическому упадку и войне, в которых они видели родовые пороки капитализма.

Главную ответственность за восстановление Западной Европы взяли на себя Соединенные Штаты. После войны 1914–1918 годов американскую армию распустили, страна сохраняла торговые барьеры против европейских союзников на всем протяжении 1930-х годов; в 1945 году существовала возможность, что Америка вновь укроется в своей скорлупе. Однако если в прежние времена относительная изоляция американской промышленности сослужила ей хорошую службу, то теперь, став ведущей мировой экономической державой, Соединенные Штаты лишь выигрывали от расширения контактов с остальным миром. Была и еще одна причина — чтобы не оказалась напрасной жертва американских солдат (около 300 тысяч погибших и 750 тысяч раненных). Западную Европу требовалось обезопасить от триумфа новых

тоталитарных режимов, и это означало, что ее благосостояние следует поднять до приемлемого уровня как можно быстрее. Ситуация в Японии также находилась под контролем США, которые продемонстрировали фантастическую глобальную мощь своего оружия и добились безоговорочной капитуляции атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки. Хотя Хиросима осталась в истории символом колоссальных человеческих жертв, США проявили недюжинную дальновидность, оказав разгромленному противнику помощь в построении мирного общества.

В 1947 году президент Трумэн и его государственный секретарь Джордж Маршалл предложили 16 европейским странам программу финансовой помощи объемом в 13 миллиардов долларов. Естественно, что значительная часть денег, полученных от Америки по плану Маршалла, пошла на оплату американских же товаров, поскольку на тот момент только у США имелась промышленная экономика. Американская продукция мощным потоком хлынула на восток, и экономические узы между Европой и Соединенными Штатами окрепли как никогда. План Маршалла был продавлен через конгресс, находившийся в то время под контролем республиканцев, как средство против коммунизма, и когда Сталин отказался предложить помощь со своей стороны (и не дал принять ее ни одному восточноевропейскому государству), Европа формально раскололась на две части. Поддержка Трумэном антикоммунистических режимов в Греции и Турции стала первым шагом реализации знаменитой доктрины его имени, официально поделившей мир на «свободный» — под началом США — и остальной.

Охлаждение дипломатических отношений переросло в военную конфронтацию — на протяжении 40 лет два блока, с непрерывно растущей по обе стороны армадой вооружений, смотрели друг на друга поверх «железного занавеса». У человечества возникла реальная возможность тотального само-

убийства — испытание в 1949 году Советским Союзом первой водородной бомбы дало старт гонке вооружений, ведущим принципом которой вскоре стала доктрина «взаимно гарантированного уничтожения» (Mutually Assured Destruction — красноречиво сокращаемая до MAD (безумный)). Судьба человечества покоилась на вере в то, что ни один руководитель не начнет ядерную войну, способную стереть с лица земли его собственную страну. Это было необыкновенное время в истории Европы. Западноевропейцы могли свободно путешествовать почти в любую точку планеты, кроме восточной части родного континента. Послевоенное поколение на Западе выросло с убеждением, что страны вроде Румынии и Польши и города вроде Праги и Дрездена, укрытые за неприступными границами, навсегда останутся вне их досягаемости. Практически никто не решался на поездки в Восточную Европу, сопряженные с массой ограничений и оговорок и обязательным «сопровождением» представителей местных властей.

Антикоммунизм, обеспечивший плану Маршалла поддержку конгресса, постепенно становился неотъемлемой чертой западной, в первую очередь американской, жизни. Страх перед Советским Союзом подпитывал в США растущую маниакальную озабоченность возможностью коммунистического переворота изнутри. В 1947 году конгрессмены-республиканцы сделали Комитет по антиамериканской деятельности одним из постоянных органов палаты представителей, а президент Трумэн, из боязни оказаться «обойденным», отдал поручение о «проверке на лояльность» всего трехмиллионного корпуса федеральных служащих. В 1948 году бывшего сотрудника Госдепартамента Элджера Хисса арестовали как русского шпиона, а пятью годами позже Джулиуса и Этель Розенберг, вполне безобидную на первый взгляд пару из Нью-Йорка, казнили за передачу СССР секретных сведений об атомном оружии. Коммунистические агенты, казалось, притаились повсюду. В 1950 и 1952 годах конгресс утвердил законопроекты, которые запрещали деятельность, «способствующую

- США и их союзники
- СССР, Китай и их союзники

ТИХИЙ ОКЕАН



Холодная



война

установлению тоталитарного режима», и блокировали въезд в США для любого человека, когда-либо принадлежавшего к «тоталитарной группе». Подозрительность и страх попасть под подозрение впитались в самую душу нации. В 1950-х, когда ее избранником на высшем посту дважды — в 1952 и 1956 годах — становился надежный консерватор Дуайт Д. Эйзенхауэр, «жизнь американского среднего класса, — по меткому выражению Хью Бродана — окуталась серым туманом боязливого конформизма». Бросившая все силы на то, чтобы дать отпор тоталитарному коммунизму, «страна свободных» беспрекословно отдала себя под надзор собственной полиции мыслей.

За десятилетия «холодной войны» одной из важных традиций американской внутривнутриполитической жизни стало убеждение, что терпимость к другим, готовность договариваться, либерализация социальных законов, стремление избежать войны — все это не по-американски. Во внешней политике США позволяли любому, сколь угодно отталкивающему врагу коммунизма рассчитывать на свою поддержку. Открывшая дорогу вмешательству Америки в чужие дела во всем мире, доктрина Трумэна повлекла за собой роковую путаницу представлений о том, что хорошо для Америки и что хорошо для мира. Однако в то же самое время США приложили немало усилий к образованию Организации Объединенных Наций и неуклонно (прежде всего своим участием) поддерживали функционирование других международных органов. Баланс между экспортом американских ценностей и многосторонним сотрудничеством стал главным индикатором американского внешнеполитического курса.

Эйзенхауэру удалось сделать многое, чтобы не допустить втягивания США в проблемы других, включая окончание Корейской войны в 1953 году и решительные действия по сворачиванию Суэцкого кризиса в 1956 году. Однако внешняя политика не в последнюю очередь диктовалась задачами американских корпораций: в 1953 году ЦРУ устроило переворот в Гватемале, целью которого являлось сохранение государ-

ственной монополии в руках американской «Юнайтед фрут компани», а когда в том же году самовластный шах Ирана был низложен силами под руководством доктора Мосаддыка, вмешательство ЦРУ и МИ-6 водворило его на трон, дабы гарантировать американские нефтяные интересы в регионе.

В 1945 году американцев все еще преследовал понятный страх вновь скатиться в яму довоенного экономического упадка. Однако натиск перепрофилированной промышленности, который послужил окончательному закреплению победы над фашизмом, обеспечил устойчивый экономический подъем. За четыре года участия в войне США произвели 3 миллиона боевых самолетов, 87 тысяч кораблей, 370 тысяч артиллерийских орудий, 100 тысяч танков и бронированных транспортеров и 2,4 миллиона грузовиков. Военные расходы федерального правительства составили 350 миллиардов долларов — вдвое больше, чем потратили на войну все предыдущие правительства со времен независимости. Между 1939 и 1945 годами валовой национальный продукт США удвоился, занятость в гражданских секторах поднялась на 20 процентов, значительно выросли прибыли корпораций и зарплаты работников. Некоторые части страны преуспели больше других — авиационное и электротехническое производство было сосредоточено на западе, особенно в Калифорнии, на долю которой приходилось 10 процентов федерального военного финансирования. Регион, получивший известность благодаря апельсиновым плантациям и кинематографу, превратился в настоящий локомотив американской промышленности.

Помимо непосредственно военного финансирования, стимулами подъема стали и другие меры, в том числе принятие в 1944 году «солдатского билля о правах», который выделял 13 миллиардов долларов демобилизующимся военнослужащим на оплату учебы в колледже, участие в программах профессиональной подготовки или открытие собственного дела. Вдобавок правительство пошло на ослабление налогового бремени, а граждане отправились обналичивать облигации военного займа. Внезапно повсюду появилось невообразимое

количество денег, и Америка, чей промышленный сектор спешно находил применение огромному нереализованному потенциалу, очутилась на гребне волны экономического бума. 1950-е годы обернулись частичным повторением 1920-х. Законодательство урезало права рабочих, возрождавшаяся идеология консьюмеризма превращала граждан в политических консерваторов. Выигравший в 1952 году президентские выборы Эйзенхауэр первыми шагами на посту дал сигнал о возвращении в политику большого бизнеса: его госсекретарь Джон Фостер Даллес был юристом на службе корпораций, заместитель госсекретаря — экс-руководителем пищевой компании «Куэйкер оутс», министр обороны Чарлз Уилсон когда-то возглавлял «Дженерал моторс»; в довершение всего в качестве правительственного консультанта был вновь привлечен Эдвард Бернейс.

Открытия и изобретения 1920-х и 1930-х годов и времен войны в послевоенные десятилетия начали обретать форму практических инноваций, которым было суждено изменить жизнь обитателей Запада и не только Запада. Антибиотики, телевидение, реактивные двигатели, ракетная техника, вычислительные машины, квантовая механика, управляемый ядерный распад, ДНК, электроника, синтетические металлы и пластики — все это в краткосрочной или среднесрочной перспективе стало топливом для западной технологической революции. Массовое производство автомобилей началось в Америке еще в 1920-х годах, однако достигнутые в результате индустриальной эскалации военных лет и положительных эффектов масштаба организационная эффективность и совершенствование торгово-распределительных сетей в союзе с прогрессом технологий сделали американскую промышленность и американские корпорации настоящим энергетическим аккумулятором мирового хозяйства.

Вновь вышли на первый план рекламные приемы, впервые испробованные в 1920-х годах и предлагавшие потребителям не товары, а счастье. Бурно растущая экономика все-

ляла в людей ощущение, что, удовлетворяя личные желания, они тем самым способствуют процветанию нации. Урок американского преуспевания был усвоен и другими странами, прежде всего — поверженными во Второй мировой Германией и Японией. Столкнувшись с насущной необходимостью начать с чистого листа, они сумели особым образом выстроить национальное хозяйство, в котором стратегическим приоритетом правительства (в отличие от США) являлось стимулирование капиталовложений в производительный сектор.

Война дала индустриальной Америке шанс создать инфраструктуру континентального масштаба, поставившую США вне досягаемости для Европы. чья континентальная инфраструктура лежала в руинах. Как в первой половине 1940-х годов правительственные военные заказы вдохнули новую жизнь в американскую промышленность, в 1950-е и 1960-е годы централизованное финансирование дорожного строительства придало мощный импульс автомобильной, строительной и инженерной отраслям. В 1950 году на США приходилось 39 процентов мирового ВВП и 80 процентов мирового выпуска автомобилей, и по закону о междуштатных автострадах, принятому в 1956 году, федеральное правительство обязывалось в течении 14 лет выделить 35 миллиардов долларов на строительство национальной сети дорог. Скоростные автострады положили конец рельсовой гегемонии — после 1950-х годов товары путешествовали с места на место в автофургонах, люди — в автобусах и легковых машинах. Колоссальный рост численности автомобилей делал их дешевле, а изобилие бензина позволяло новоявленным автовладельцам фактически не задумываться о расходах. Увеличение благосостояния подразумевало увеличение количества новых домов, однако теперь, когда у каждого (кроме бедных) была машина, исчезала необходимость размещать жилища вблизи заводов, контор, школ или магазинов. Жилая застройка и услуги начали расползаться вдоль сети трасс. В конце концов Америка была просторной страной, имевшей доста-

точно незанятого места для любого, желающего обзавестись достойного размера участком. Поскольку отпала необходимость и в том, чтобы сосредотачивать в одном месте магазины и конторы, последние начали покидать деловые центры и обустраиваться по сторонам автострад, в легкой досягаемости для курсирующих из дома на работу и обратно. Географический охват города теперь ограничивался только расстоянием, которое был готов проделать водитель. Расширявшиеся агломерации, такие как Лос-Анджелес, Даллас — Форт-Уэрт и Хьюстон, с их гигантской шоссейной сетью, связывающей нескончаемые островки пригородов, протяженностью превосходили любое поселение, когда-либо существовавшее на Земле. Американская культура перестала быть сосредоточенной на жизни оседлого горожанина, обратившись к машинам, грузовикам, автострадам и вечному движению.

Развитие моторизованной техники произвело глубокий переворот, который, будучи едва заметным поначалу, за послевоенный период изъясил из жизни западных народов ее центральный элемент на протяжении 5 тысяч лет. К 1920-м и 1930-м годам тракторы, уборочные и другие машины на двигателе внутреннего сгорания сделали мелкие семейные хозяйства США помехой роста производительности. После 1945 года вместе с увеличением размеров и мощности техники стали увеличиваться размеры полей и земельных владений. К 1950-м годам крупные машины оккупировали сельскохозяйственные ландшафты Западной Европы, которые человек начал возделывать еще в эпоху неолита. Древние полевые системы и другие элементы этих ландшафтов без сожаления разрушались заодно с традиционными отношениями, связывавшими человека с землей, которым не было места в новой системе интенсивного земледелия.

Одновременно распадались и аграрные сообщества — наследники и хранители уклада, воспитывавшего привычку к совместному труду и общежитию. Если до начала механизации, как показал в своих обстоятельных исследованиях

Джордж Эванс, на заготовку сена, сбор урожая или расчистку поля от камней, как правило, выходила вся деревня, то после единственный трактор выполнял работу 50 человек. Фермерство превратилось в занятие одиночек, и прежний смысл деревенской жизни навсегда ушел в прошлое.

Страны Западной Европы по-разному отреагировали на победу 1945 года, на задачу восстановления из руин и на угрозу коммунизма. При этом в каждой утвердился демократический строй, а уцелевшие монархии окончательно приобрели номинальный характер. (Лишь Испания с Португалией, обе не принимавшие участия в войне, сохранили статус полуфашистских, недемократических государств.) Сформировался политический консенсус, в рамках которого национальные правительства брали на себя более серьезную роль в обеспечении благосостояния населения, а также основные функции координации и регулирования промышленной экономики, подразумевавшие общественную собственность на жизненно важные отрасли и коммунальные услуги. Европейское государство также расширило сферу своих обязанностей, добавив к обороне и регламентации экономики заботу об уровне жизни граждан. Большей частью бессистемное довоенное социальное обеспечение было формализовано в структуре «государства всеобщего благосостояния». Неуклонный экономический рост не мог не вызывать энтузиазм поколения, видевшего лишь депрессию и войну, и после короткого заигрывания с радикальной политикой Западная Европа, подобно США, вступила в период политического, социального и культурного конформизма. Покончив с главной угрозой для западного мира и его ценностей, большинство успокаивало себя мыслью, что цивилизация будет заключаться в постепенном возврате к старым добрым порядкам.

Принципиальным разрывом с прошлым стал отказ от разнузданного национализма, который обошелся Европейскому континенту тотальной катастрофой. Французские и немец-

кие политики, признав гибельность реваншизма, так долго отравлявшего отношения их стран, приступили к активному строительству сотрудничества. В апреле 1951 года было основано Европейское объединение угля и стали, в состав которого вошли Франция, Италия, Западная Германия, Нидерланды, Бельгия и Люксембург. Превратившееся благодаря усилиям французских политиков Робера Шумана и Жана Монне в сообщество, распространившее свою деятельность на все отрасли экономики, в 1957 году оно было формально закреплено в таком качестве Римским договором. В отсутствие самоустранившейся Великобритании Франция и Германия образовали прочное партнерство с целью европейской интеграции.

Сознательному отказу от национализма служило и формирование других международных органов, в том числе Организации Объединенных Наций в 1948 году и Североатлантического союза в 1949-м. Еще до окончания войны, в 1944 году, западные страны под эгидой США связали свою экономическую судьбу Бреттон-Вудскими соглашениями. Базовым элементом учреждавшейся международной финансовой системы, которую разработали Гарри Декстер-Уайт и Джон Мейнард Кейнс, становилось закрепление курса доллара относительно золота и всех основных валют. Авторы соглашения, оговаривавшего также учреждение Международного валютного фонда, Всемирного банка и Всемирной торговой организации, ставили целью обеспечить экономическую стабильность и рост, а также максимально открыть мир для торговли. На деле они открыли мир для американского капитализма.

Кроме многостороннего экономического и военного сотрудничества еще одной международной тенденцией первых послевоенных лет стала сдача позиций империями. Любые возможные выгоды империализма перевешивались непозволительно великими издержками, связанными с необходимостью держать под контролем все более непокорное местное

население, в том числе тех, кто сражался на стороне своих хозяев в минувшей войне. В 1947 году независимость от метрополии получила Британская Индия, причем входившие в нее территории Пакистана и Цейлона наделялись статусом самостоятельных государств. Избежавшая участия в последовавшей вспышке межрелигиозного насилия, Британия, с одной стороны, втянулась в колониальные войны в Малайе, на Кипре, в Кении и Египте, но, с другой, сохранила мир в большинстве остальных колоний в Африке и Вест-Индии. Оглядываясь назад, можно сказать, что крупнейшим провалом ее колониальной политики стал Ближний Восток, где неразрешимое противоречие между желанием европейских евреев обрести новую родину и отстаиванием своих прав коренным арабским населением заставило Великобританию в 1948 году передать палестинский мандат ООН.

Уже в 1946 году войска недавно совобожденной Франции были брошены на подавление восстаний в Алжире, Сирии, на Мадагаскаре и в Индокитае. Когда в 1954, на девятый год партизанской войны, французская ударная группировка попала в ловушку в Дьен Бьен Фу, Франции пришлось сложить оружие перед Северным Вьетнамом и его народом. Восемилетняя война за независимость Алжира, которая едва не стоила французским властям внутреннего переворота, в 1962 году также увенчалась успехом восставших.

Мир мог надеяться, что после нацистских лагерей смерти европейцы удержатся от использования насилия в политических целях, однако пытки и расправы стали обычным оружием британской армии в борьбе с движением мау-мау в Кении (на территории которой были также организованы лагеря для интернированных) и французской армии в борьбе с алжирским Фронтом национального освобождения. Как бы то ни было, к 1970-м годам остатки французских, голландских, бельгийских и чуть позже португальских владений получили свободу. От нескольких империй, еще 40 лет назад занимавших большую часть планеты, сохранились лишь жалкие крохи.

Несмотря на то, что западные державы расставались с прямым политическим контролем над остальным миром, их наследие и продолжающееся влияние давали о себе знать повсюду. Поскольку современные европейцы не имели другого представления о власти кроме централизованного национального государства, уходя из колоний, они оставляли после себя множество новых образований, воспроизводивших черты их политического устройства. Некоторые базировались на однородности этнического или религиозного состава (Индия и Пакистан; Ирландия); другие, напротив, объединяли несколько этнических или религиозных групп (хауса, ибо и йоруба в Нигерии; курды, мусульмане-сунниты и мусульмане-шииты в Ираке); во многих местах границы пересекали единые народности (курды в Иране, Ираке и Турции), в некоторых других зависели от бывшего размежевания территорий между метрополиями (Западная Африка) или от умелого маневрирования местных вождей (отделение Кувейта от Ирака). Так или иначе во всех случаях политическое устройство этих образований опиралось на недавнее по историческим меркам европейское изобретение — национальное государство. Оно не оставляло следа от сложных традиционных способов делегирования и ограничения власти и на их месте учреждало систему, которая позволяла завладеть огромными полномочиями всякому человеку или группе, оказавшимся в ее центре.

Первые признаки грядущих перемен и серьезных испытаний для послевоенного согласия проявились в сфере культуры. В 1945 году Европа была опустошена войной не только экономически — многие ее творцы эмигрировали в Америку, большинство культурных институтов были разрушены. На фоне ужаса свершившейся катастрофы и истребления шести миллионов евреев европейским художникам было трудно не впасть в ступор. Кто осмелился бы после случившегося изображать войну — и кто осмелился бы изображать что-либо кроме войны? Европейская культура на десятилетие погрузилась в забвение воспоминаний о далеком довоенном про-

шлом, в Америке же, напротив, несмотря на конформистское омертвление господствующей культуры, сложилось пространство, в котором могли процветать альтернативные творческие подходы и в котором чужаки и изгои, еще не «открытые» мейнстримом, могли оттачивать свой непокорный талант. Появившиеся в промежутке между 1947 и 1960 годами пьесы Теннесси Уильямса и Артура Миллера, в том числе «Все мои сыновья», «Смерть коммивояжера», «Трамвай “Желание”» и «Сладкоголосая птица юности», обнажали конфликт между неисправимой сложностью личной и коллективной жизни реальных людей и безапелляционностью императивов социального конформизма и экономического успеха. Нью-Йорк был переполнен сбежавшими из Европы художниками, а открытая здесь в 1942 году галерея Пегги Гуггенхайм «Искусство нашего столетия» стала местом чествования творцов собственного американского абстрактного искусства — Джексона Поллока, Марка Ротко, Роберта Мазеруэлла и других. Европейский иммигрант Уиллем де Кунинг — житель города, постоянно меняющего свои очертания, и современник войны, отнявшей у Запада привычный смысл существования, — объяснял, что ускользающие поверхности, оптические неопределенности и отсутствие визуальных ориентиров сознательно воспроизводят чувство потерянности, характерное для Америки, и не только Америки, середины века. Оторванность от корней, свойственная иммигрантскому существованию, вновь сделалась краеугольным камнем творчества американцев.

Дух добровольного изгойства, отказа от конформизма, получил выражение в произведениях Нормана Мейлера, Джека Керуака и Уильяма Берроуза, каждый из которых открыто противопоставлял себя утвердившимся ценностям американского общества; ощущение протеста и несогласия передавали и некоторые произведения Голливуда, в том числе «Дикий» (1953) и «Бунтарь без причины» (1955). Мечты и устремления американского младшего поколения становились иными — молодые люди больше не хотели походить на герои-

ческого Гэри Купера или лощеного Кэри Гранта, они хотели быть хмурыми, немногословными, порывистыми и «настоящими» как Марлон Брандо, Джеймс Дин или Пол Ньюмен. На свет появилась фигура антигероя.

Однако острее всего бунт против господствующих в Америке нравов проявился в популярной музыке. К середине 1950-х годов американская популярная песня, тематически сосредоточенная на любви и всем с нею связанном, выдохлась и обросла стереотипами, исполнители стали неразличимыми между собой, а инфраструктура песенного производства — глубоко коммерциализированной. Между тем музыка в афроамериканских сообществах претерпевала стремительную метаморфозу. Промышленный бум 1940-х годов привлек в города еще больше чернокожих обитателей аграрного Юга, в том числе многих носителей музыкальной культуры так называемого кантри-блюза, исполнявшегося под аккомпанемент акустической гитары и губной гармоники. Однако афроамериканцам Чикаго, Детройта или Кливленда, у которых водилось несколько лишних долларов, чтобы провести вечер после работы на стройке или заводе в свое удовольствие, больше не хотелось слышать о тяготах жизни — им требовалась музыка, под которую можно выпить с друзьями и потанцевать. Недавно изобретенные электрические гитары, «скрещенные» с традиционными духовыми инструментами джаза и свинга, рождали звук новых песен, а в словах этих песен присутствовало больше сексуальной откровенности, иронии и авторского самовыражения. Джо Тернер, Мадди Уотерс, Уайнони Хэррис, Джулия Ли, Фэтс Домино, Литтл Ричард и множество их коллег заряжали музыку исключительной, невероятной энергией. Это было искусство для взрослых, желавших весело отдохнуть, — ритм-энд-блюз, джамп-джайв, «расовая музыка». Нисколько не озабоченная классификацией, своим мгновенно возбуждающим, заразительным, ликующим и неистовым звучанием она не походила ни на что, слышанное ранее.

Если для афроамериканцев ритм-энд-блюз был средством самоутверждения их культуры, то для белых подростков рок-н-ролл, коммерческая производная ритм-энд-блюза, стал средством побега от конформизма и скуки. В середине 1950-х годов молодое поколение белой преуспевающей Америки откровенно скучало и нуждалось в захватывающем развлечении, которое при этом не переступало бы безопасных границ. Элвис Пресли, белый южанин, воспитанный на госпелах и расовой музыке, стал тем посредником, через которого черная культура поразила белую Америку в самое сердце.

Рок-н-ролл, опиравшийся на международную популярность Пресли, оказался на переднем крае наступления американской культуры по всему миру. Он заставлял все европейское выглядеть унылым и старомодным — начиная с 1950-х годов «современное» стало означать американское. Пока европейская культура становилась все более интроспективной и книжной, американская демонстрировала способность говорить от имени безъязыких и формулировать за бессловесных. Она захлестнула мир именно по той причине, что каждый находил в ней выражение своего внутреннего состояния — неприкаянное странствие по жизни американского иммигранта как нельзя лучше соответствовало ощущению утраты почвы под ногами, которое испытывал весь мир, а американский ландшафт, где каждый город похож на другой и каждый человек лишь проходит мимо, становился универсальным фоном существования все менее оседлого человечества. Америка была повсюду, там, где вам было угодно ее вообразить. Тем не менее коммерческие инстинкты индустрии взяли верх на бунтарством рок-н-ролла. К 1960 году норовистого зверя приучили к поводьям, и американская популярная культура, по крайней мере, на время, вернулась в состояние покладистой успокоенности.

Первые сдвиги в европейской культуре 1950-х годов были вызваны необходимостью наконец взглянуть в лицо прошлому, проблесками света с той стороны Атлантики, раздраже-

нием против конформизма послевоенного общества. Хотя в основном европейская культура оставалась привязанной к традиционным формам — роману, поэзии, театру, — свой отчетливый голос начал обретать европейский кинематограф, в первую очередь в «авторских» картинах итальянских и французских режиссеров — Росселлини, де Сика, Антониони, Феллини, Карнэ, Трюффо, Шаброля — и шведа Ингмара Бергмана. Британскому кино, специализировавшемуся на легких комедиях и инсценировках классической литературы, придали новую остроту и направленность Линдсей Андерсон и Карел Рейш — выпущенный Рейшем в 1959 году фильм «В субботу вечером, в воскресенье утром» показывал, что жизнь рабочих людей в эпоху социальных перемен способна стать достойным предметом кинематографического искусства.

К 1960-м годам граждане западных стран стали постепенно избавляться от сковывавшего их страха перемен. Поколение политиков, завоевывавших голоса избирателей, таких как Джон Кеннеди, Гарольд Уилсон и Вилли Брандт, становилось проводником нового оптимизма — вряд ли можно было представить себе более разительный контраст, чем между скучным и предсказуемым Эйзенхауэром и порывистым, энергичным Кеннеди или между сановным аристократом Дугласом-Хьюмом и получившим образование в государственной школе Уилсоном. Экономическое возрождение Европы проложило дорогу триумфальному шествию американского консьюмеризма по континенту, приученному экономить и обходиться малым. Интенсивнее всего социальная, культурная и коммерческая энергия американской жизни разрядилась в Британии, пошатнув иерархическое, замкнутое, стиснутое условностями до самого основания общество. Слово пронизанная мощным потоком электричества, жизнь страны вспыхнула социальными коллизиями и творческой активностью. Последовавшие общественные перемены были настолько экстраординарными, что на несколько лет в середине 1960-х годов Великобритания стала похожа на аквариум с

золотыми рыбками, к прозрачным стенкам которого прильнул весь мир. Конфликты между старшим и младшим поколениями, между традицией и современностью, между авторитетом и свободой создавали у участников и наблюдателей захватывающее ощущение личной и коллективной драмы, и именно его запечатлели романы, фильмы, пьесы, телепрограммы и популярная музыка той поры.

Творчество «Битлз», «Роллинг Стоунз», «Ху», «Кинкс» и целой плеяды молодежи, впитавшей в себя музыку черной Америки, в эпоху глобальных коммуникаций сделалось феноменом глобального масштаба, сумевшим, помимо прочего, вдохнуть новую жизнь и в американскую популярную культуру. Массово производимые проигрыватели и транзисторные приемники доносили до созревшей аудитории по всему миру послание непокорности, обновления, индивидуальности, пренебрежения к авторитетам. Несмотря на выхолощенность и фальшивость основного потока поп-музыки, небольшому числу музыкантов удавалось превратить трехминутный сингл в возвышенную форму культурного выражения — одновременно воспевающую какофонию городской сутолоки и не скрывающую страстного желания укрыться от нее в романтической любви, передающую радостное возбуждение от нового мира и щемящую тоску по уходящему в небытие старому.

Мало в чем это ощущение трансформирующегося на глазах общества проявило себя так ярко и фактурно, как в одном из самых замечательных шедевров популярного искусства, когда-либо созданных человеком. 9 декабря 1960 года телевизионная компания «Гранада» начала транслировать сериал «Улица Коронации» — мыльную оперу из жизни рабочего класса, создателем и сценаристом которой был Тони Уоррен. Изображавшая повседневный быт простых людей, эта программа совершила настоящую революцию в жанре, напомнив обществу, взбудораженному эпохой перемен, сколько драматизма, юмора и чистой витальной энергии заключено подчас в ничем, казалось бы, не примечательной человеческой жизни.

Отступление социального консерватизма, воцарившегося после войны, объяснялось не только торжеством нового духа оптимизма. Другим могильщиком стал сплошной поток откровений прессы, изобличавших продажность, некомпетентность и своекорыстие властей. Скептическое отношение к авторитетам уравнивалось растущей терпимостью — именно чуткая реакция на эти настроения заставляла западные правительства в числе прочего принимать официальные меры к запрещению расовой дискриминации и легализации гомосексуализма; и если новые иммигранты по-прежнему сталкивались в Европе с предрассудками, то наиболее откровенные и злостные проявления расизма были поставлены вне закона. Расширились и возможности для образования — экономическое благоденствие позволило властям сделать высшее образование доступным для широких масс и отказаться от процедур отбора, базировавшихся на довоенных понятиях о классовых привилегиях. Выросла и социальная мобильность, хотя причиной этого была не добровольная сдача позиций высшими сословиями, а кардинальное расширение сферы деятельности для специалистов и «белых воротничков», происходившее за счет сокращения производства.

Если для европейцев 1960-е годы запомнились как эпоха социальной либерализации, то Соединенные Штаты, ведущая культурная и политическая сила Запада, с 1963 по 1974 год пребывали в состоянии перманентного кризиса. В этот период над американским обществом тяготели два проклятия: бесправное положение афроамериканцев и Вьетнамская война, — и их суммарного импульса едва не хватило, чтобы привести государство к полному краху.

Южная политика «раздельных, но равных» условий для белых и черных всегда оставалась обманом, и в 1950-е годы этот обман был изобличен перед всем миром. В эпоху глобальных коммуникаций фотографы и съемочные группы из Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Лондона, Парижа, Франкфурта и Милана беспрепятственно стекались в Алабаму и Миссиси-

пи, чтобы запечатлеть знаки «Только для белых» и «Только для цветных», которые украшали питьевые фонтанчики и помещения железнодорожных вокзалов Бирмингема и Джексона. После того как Америка «вышла в мир», ее неблагоприятный секрет перестал быть секретом — сегрегация сделалась настоящим бельмом на глазу лидера так называемого свободного мира.

К тому моменту сами афроамериканцы, за плечами множества из которых был опыт войны и работы в индустриальной экономике, чувствовали себя гораздо увереннее и имели все основания полагать, что Америка (ради которой они проливали пот и кровь) принадлежит им не меньше, чем всем остальным. Умело сочетая координированные акции протеста с судебными исками, они начали бороться за свое равноправие. В 1954 году Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения взяла под опеку дело жителя Канзаса Оливера Брауна, чьей дочери Линде было отказано в приеме в близлежащую «белую» школу. Дело достигло Верховного суда, который признал сегрегацию государственных школ неконституционной. После этого председатель суда Эрл Уоррен отменил действовавшее на протяжении 60 лет конституционное решение по делу «Плесси против Фергюсона», тем самым поставив вне закона сегрегацию любых мест и услуг общественного пользования. 1 декабря 1955 года в городе Монтгомери, штат Алабама, Роза Паркс была арестована за отказ уступить место в автобусе белому мужчине. Когда черные под руководством местного баптистского священника Мартина Лютера Кинга устроили автобусной компании бойкот, Верховный суд распорядился, чтобы компания изменила правила. Двойная тактика массовых протестов и юридических инициатив принесла серьезные результаты. Тем не менее до 1963 года только 9 процентов школьных округов Юга прошли десегрегацию, а запугивание и прямое насилие оставались серьезной помехой реальному осуществлению черными прав на образование, голосование и равное пользование общедоступными услугами. Несмотря на надежду президента

Кеннеди привести афроамериканцев на избирательные участки и изменить политический расклад сил на Юге, белые прибегали к любым способам, не гнушаясь даже убийствами, чтобы не допустить регистрации черных избирателей. В 1962 году потребовалось присутствие трехтысячного контингента федеральных войск, чтобы ввести Джеймса Мередита, первого чернокожего студента, зачисленного в Университет штата Миссисипи, в здание этого учебного заведения.

До 1963 года гражданские права черных оставались внутренним делом Юга и как правило не привлекали внимание остальной страны. Конференция христианских лидеров Юга под руководством Мартина Лютера Кинга, недовольная медлительностью перемен, приняла решение организовать массовый марш протеста. По призыву конференции тысячи афроамериканцев начали стекаться к зданию мэрии Бирмингема, чтобы во всеуслышание потребовать от властей равноправия. Телевизионные кадры, запечатлевшие устроенную с применением собак полицейскую расправу над беззащитными демонстрантами — среди которых были дети, — заставили Америку замереть от ужаса и поставили вопрос о гражданских правах черных на первое место в национальной повестке дня. В ходе телевизионного обращения 11 июня 1963 года из уст президента прозвучали слова: «Мы стоим перед лицом морального кризиса как страна и как народ». Кеннеди направил подготовленный его командой пакет законов о гражданских правах на утверждение в конгресс, однако даже в ситуации, когда страна распадалась у них на глазах, вашингтонские политики отказались сказать свое веское слово.

28 августа 1963 года, в столетнюю годовщину Декларации об освобождении рабов, более 200 тысяч афроамериканцев и их белых сторонников устроили шествие через весь Вашингтон к Мемориалу Линкольна. Участники крупнейшей на тот момент демонстрации за всю историю Вашингтона услышали обращенную к ним речь Мартина Лютера Кинга, мечтавшего о нации, в которой его детей «будут судить не по цвету

кожи, а по характеру». Не прошло и месяца, как в результате террористического взрыва в одной из церквей Бирмингема погибли четверо черных детей, а еще два месяца спустя президент Кеннеди был убит в Далласе. Возможность того, что за убийством президента скрывался заговор, открытое противостояние на Юге и политическое бездействие Вашингтона заставляли поверить, что Америка стоит на краю обрыва. Нация, созданная, чтобы творить и воплощать добро, по мнению многих, находилась в последней стадии разложения.

Линдону Джонсону явно недоставало талантов харизматического Кеннеди, но он был разумным и опытным политическим игроком — и к тому же верным адептом Франклина Рузвельта. Джонсон немедленно добился от конгресса утверждения пакета законодательных мер своего предшественника, дополнительно расширенного и наделившего полными правами афроамериканцев, а также учреждавшего органы контроля и реализации программы десегрегации. В Миссисипи и Алабаме продолжали убивать активистов борьбы за гражданские права и обычных чернокожих жителей, однако в 1965 году были приняты дополнительные меры, и под угрозой федерального вмешательства Юг начал меняться. Черные кандидаты стали выигрывать места в законодательных собраниях южных штатов впервые почти за сто лет.

Последующие события продемонстрировали пределы легального равенства в стране, по-прежнему не избавившейся от глубоко сидящей ненависти к черным. К тому моменту, когда 4 апреля 1968 года в Мемфисе, штат Теннесси, пуля неизвестного убийцы оборвала жизнь Мартина Лютера Кинга, в черных кварталах по всей стране вспышки массового насилия происходили уже не первый год — в том числе знаменитый бунт в лос-анджелесском районе Уоттс, стоивший жизни 34 людям, а также крупные волнения в Нью-Йорке, Чикаго, Детройте, Атланте и дюжине других городов. Это были самые кровопролитные и крупномасштабные гражданские беспорядки со времен американской революции. Ни в одном из очагов

этого национального пожара не практиковалась сегрегация, однако у черного населения трущоб неизменно оказывались самые плохие жилищные условия, самые плохие школы и больницы, его представители имели меньше всего шансов найти работу в городах, терявших смысл своего существования.

Беспорядки стали наглядным напоминанием о том, что экономическое процветание приносит собственные проблемы. Как следствие послевоенного бума, к 1960-м годам у каждой белой семьи имелся собственный автомобиль, благодаря чему люди, стремясь расширить жизненное пространство, начали активно перебираться в пригороды, — отдельный дом с гаражом, газоном и разнообразной бытовой техникой, которая служила сбережению труда и развлечению его обитателей, стал нормой для средней американской семьи. Тесные внутренние районы городов, с их скверным жильем и приходящими в ветхость коммунальными удобствами, в результате такого «бегства белых» заполнялись приезжими афроамериканцами — в свою очередь бежавших от бедности южной сельской глубинки. Между 1950 и 1970 годом северные города стали свидетелями резкого увеличения афроамериканского населения, причем этот наплыв миллионов совпал по времени со снижением спроса на неквалифицированный труд и перемещением остающихся вакансий в пригороды. За два десятилетия доля чернокожих среди жителей Нью-Йорка выросла с 10 до 30 процентов, в Чикаго — с 14 до 33 процентов, в Детройте — с 16 до 40 процентов, а в Вашингтоне — с 35 до 70 процентов. Городские власти проявили вопиющую неспособность справиться с социальной проблемой столь массивной миграции — жилая застройка для малообеспеченных слоев сносилась под прокладку городских магистралей, возведение деловых кварталов или реализацию масштабных и уродливых градостроительных «проектов». В любом случае магазины, конторы и заводы, чьи доходы складывались в налоговую базу городов, целенаправленно выводились за их пределы, неизменно оставляя небольшой деловой центр ост-

ровком посреди моря социального бедствия. Отчаянное положение американских городов привлекло к себе внимание всего мира, когда в 1975 году Нью-Йорк, этот символ урбанистического XX века, объявил о финансовом банкротстве и неспособности продолжать функционирование.

Принципиальным стимулом для вывода жилья и рабочих мест из городов стала политика американских корпораций. Крупнейшие производственные компании, такие как «Форд», «Дженерал моторс» и «Гувер», к тому времени уже имели опыт строительства заводов в Европе, призванного удовлетворять нужды местных потребителей напрямую. Однако начиная с 1960-х годов корпорации размещали новые мощности на заморских территориях с единственной целью выгадать на более дешевой рабочей силе. Если с 1960 по 1970 год объем продукции, выпускаемой индустриальными гигантами в США, вырос на 70 процентов, то объем продукции их иностранных предприятий — на 500 процентов, а в 1972 году совокупная стоимость экспортируемых ими товаров — 50 миллиардов долларов — уже выглядела жалкой тенью 180 миллиардов долларов, в которые оценивалась товарная масса, производимая за рубежом. Потребность в низко- и среднеквалифицированном труде в США сокращалась тем активнее, что промышленное производство начало уступать место экономике услуг.

Тогда как люди с солидным образованием выигрывали от расширения сферы занятости — в качестве учителей, университетских преподавателей, чиновников, специалистов, офисных служащих, — упадок производства наносил мощнейший удар по афроамериканцам, белому рабочему классу и другим малообразованным слоям. Сектор бюджетных вакансий лидировал на растущем рынке труда 1950-х и 1960-х годов, и это стало настоящим подарком для специалистов, но для людей, не получивших специальной подготовки, такая ситуация сводила перспективы занятости к низкооплачиваемой работе в службе — в качестве официантов, санитаров, уборщиц и

т. п. Примечательной новой тенденцией стала организация профсоюзов среди «белых воротничков», объединявшихся для борьбы за лучшую оплату и условия труда в то самое время, когда рабочий класс, раздробленный и утративший статус «промышленного», лишался последних остатков своего коллективного влияния. Десять-пятнадцать лет спустя такую же метаморфозу было суждено пережить и Европе.

Помимо афроамериканцев население городских трущоб стало пополняться пуэрториканцами, мексиканцами и коренными американцами, которые были готовы на все, чтобы убежать от нищеты на родине. Обитатели гетто часто давали выход своей неудовлетворенности, сжигая магазины и другую недвижимость тех, кто делал бизнес на их бедственном положении, — огромные территории крупных американских городов превращались в выжженные пустыри. При минимальных шансах устроиться на работу наркотики и криминал становились единственным способом добывания денег, как, впрочем, и ухода от реальности, и жизнь бедных кварталов Америки постепенно начала обретать черты беспросветного кошмара. Мечта Кеннеди и Джонсона о лучшем обществе, опирающемся на структуру современного города, поддерживаемом массивированным федеральным финансированием и целым спектром социальных мер, лопнула как мыльный пузырь. К тому времени США допустили появление еще одной трещины в фундаменте своего здания, добровольно взвалив на себя непосильную ношу новой войны.

Вьетнам стал трагической коллизией двух внешнеполитических приоритетов Запада — борьбы с коммунизмом и предоставления самоуправления колониям. Уступая натиску борьбы народов колоний за свободу от европейских хозяев, империи сворачивали свое присутствие по всему земному шару; однако американские политики, не сумевшие или не захотевшие посчитать события во Вьетнаме примером того же ряда, предпочли увидеть в них коммунистический переворот, угрожающий свободной стране. Они поверили,

что в отличие от Трумэна, потерпевшего неудачу с Китаем в 1949 году, сумеют спасти вьетнамский народ от коммунизма. Хотя французы свернули присутствие сразу после поражения от северян в 1954 году, в 1963 в Южном Вьетнаме в качестве спецсоветников при марионеточном режиме находились 16 тысяч американцев. Северовьетнамские силы при поддержке союзников-повстанцев на юге упорно боролись за присоединение оставшейся части страны; американцы проявляли не меньшее упорство в желании им помешать.

Президент Джонсон уделил вьетнамской проблеме серьезное внимание лишь в конце 1964 года, когда у него уже не было особенной возможности выбирать. По руководством Хо Ши Мина коммунистический север рвался к победе, и Соединенным Штатам оставалось либо занять позиции и приготовить к бою, либо смириться с немедленным уходом и крахом своей антикоммунистической политики. Небольшая страна на юго-востоке Азии сделалась испытательным полигоном для самой могущественной державы мира. Никто не спрашивал вьетнамцев, согласны ли они вообще с тем, что американцы присвоили право распоряжаться их делами; впрочем, никто не считался и с собственным мнением американского народа — в 1964 году многие голосовали за Джонсона как за кандидата партии мира.

Первый американский контингент, 5 тысяч морских пехотинцев, прибыл во Вьетнам в марте 1965 года; довольно скоро к ним присоединились еще 95 тысяч солдат и военных летчиков, а к 1968 году численность контингента составляла больше полумиллиона человек. Одного такого присутствия американских сухопутных и воздушных сил хватило бы, чтобы обрушить экономическую и социальную инфраструктуру страны без всяких боевых действий. В 1965 году Южный Вьетнам представлял собой воплощение раздробленного общества: многолетняя французская оккупация, прерывавшаяся лишь японским завоеванием, успела основательно подорвать целостность страны, оставив в наследство марионеточному правительству, послушному диктату внешних сил,

поляризацию населения и напряженное противостояние между вождями фракций. Прибытие армии баснословно богатой и технологически передовой сверхдержавы в страну, и без того балансирующую на грани хаоса, не могло не привести к катастрофическим последствиям. Местная промышленность и аграрный сектор лишились всяких шансов в ситуации массированных товарных поставок, идущих из страны-лидера мировой экономики, — национальное хозяйство мгновенно накрыла волна инфляции, и в конечном счете оно исчезло как таковое. Сферы занятости среднего класса, такие как образование, медицина и право, быстро обезлюдели; сельские жители бежали от нищеты в Сайгон, однако здесь они могли прокормиться только одним — продажей товаров, в том числе наркотиков, и услуг, в том числе сексуальных, американцам. Физическое опустошение страны, вскоре испещренной зонами «свободного огня», в которых позволялось стрелять на поражение по любому движущемуся предмету, не оставило следа от ее аграрных и лесных ландшафтов. При этом у американцев было куда больше шансов найти коммунистов не в селах юга, а у себя под носом, в городах.

Правительство США пыталось убедить мир, что речь идет о конфликте между двумя разными странами — Северным и Южным Вьетнамом, — однако Вьетнамская война быстро обернулась противостоянием пришлых агрессоров-американцев и местного населения. На войне положение солдата и без того сопряжено с огромным риском, не только физическим, но и психологическим; армия же оккупантов, ведущая боевые действия на родине своего противника, попросту теряет способность отличить друга от врага и бойца от мирного жителя. Вьетнам был обречен заплатить ужасной ценой за войну, ибо американцам, чтобы провозгласить победу, требовалось разрушить страну до основания; американская армия обрекла себя на не менее ужасную расплату, ибо война разрушила ее престиж и достоинство, лишила права считать себя силой на стороне добра. Ясное понимание этого пришло к

миру вместе с новостью о бойне, устроенной 16 марта 1968 года американским отрядом под командованием лейтенанта Уильяма Колли в деревне Ми Лай. — жертв, среди которых было 109 женщин и детей, убивали на месте из автоматов и сгоняли в лачуги, чтобы затем забросать гранатами.

Результатом продолжающейся войны на родине оккупационной армии стал дальнейший раскол общества, и без того лишенного прежней сплоченности, и исчезновение всяких следов единодушия относительно роли Америки в мире. В более широком смысле она обнажила кризис западной цивилизации, смысл которой оказалась поставленным под вопрос для нее самой. Тогда как многие американцы рабочего происхождения считали службу на войне своим патриотическим долгом, более обеспеченные слои, особенно молодое поколение среднего класса, воспринимали ее как безнравственную авантюру. В Америке и Европе студенты, и не только студенты, желающие заявить протест, начали использовать методы, перенятые у борцов за гражданские права, — массовые шествия, сидячие демонстрации, захват официальных учреждений. Идеология движения за гражданские права для черных, антивоенные движения, отторжение лицемерной традиционной морали и вызывающий материализм слились в единое альтернативное видение западного общества. Мир разделился на тех, кто находился внутри этого зачарованного круга, и тех, кто снаружи, причем от привычных носителей авторитета посвященные старались максимально отличаться и внешне — аккуратная стрижка и костюм политика или бизнесмена, ставшие предметом насмешки, отвергались в пользу длинных волос, бороды и пестрых нарядов.

Поначалу тактика, к которой прибегали антивоенные активисты, отталкивала и неприятно шокировала большинство американцев, однако такое отношение менялось по мере того, как телевидение демонстрировало все новые и новые свидетельства жестокой реальности вьетнамского конфликта. Американцы, уже независимо от социального и прочих статусов,

начали говорить, что Вьетнам больше не стоит ни одной жизни их соотечественников. Предпринятое в январе 1968 года «наступление под лунный Новый год» показало Америке, что ее силы не только не сумели сдержать врага, но и не добились никаких успехов за три года. В марте, объявив, что не собирается выставлять свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, Линдон Джонс дал приказ о приостановлении бомбардировок вьетнамских территорий и начал искать способы вступить с Ханоем в переговоры. Поразительно, но Америке понадобилось еще пять лет, чтобы окончательно выйти из войны.

Уже в следующем месяце был застрелен Мартин Лютер Кинг, и единство интересов черных и белых либералов начало трещать по швам. За смертью Кинга в июне 1968 года последовало убийство Роберта Кеннеди. Если трагедия в Далласе вызвала у страны шок и подавленность, то гибель младшего брата покойного президента просто не умещалась в голове. Как такое могло случиться опять? Новое недовольство спровоцировал выбор Демократической партией в качестве кандидата Хьюберта Хамфри, считавшегося не последним виновником эскалации войны. Улицы вблизи здания в Чикаго, где проходила предвыборная конференция демократов, превратились в настоящее поле боя. Америка, за которой у экранов телевизоров следил весь мир, на глазах превращалась в ожесточенное, распадающееся, явно неуправляемое общество.

Альтернативный идеал с трудом сохранял свои позиции, но 6 декабря 1969 года в калифорнийском городке Алтамонт фатальное крушение постигло и его. Желая закончить гастрольное турне представлением, которое бы затмило прогремевший недавно Вудстокский фестиваль, «Роллинг Стоунз», группа с репутацией самой крутой в мире, организовала открытый концерт на автодроме Алтамонта, неподалеку от Сан-Франциско, наняв в качестве охранников местное формирование «Ангелов ада». Под конец дня, прошедшего в атмосфере вот-вот готового выплеснуться насилия, «Стоунз», исполнявшие свой притворно зловеющий гимн «Посочувствуйте дьяво-

лу», были вынуждены с ужасом наблюдать, как перед сценой «Ангелы ада» забивают насмерть одного из зрителей. Несколько минут ужасной расправы поставили мечту «контркультуры» о братской любви лицом к лицу с неприкрытой реальностью ожесточения и насилия, пропитавшей все американское общество. Внезапно сделалось ясно, что жизнь по ту сторону закона несет собственные опасности. Альтернативная среда не умерла, однако после Алтамонта она стала прибежищем тех, кто хотел уйти от мира, а не тех, кто всерьез хотел добиться переустройства общества на новых основаниях. Западный мир явно куда-то несло — но куда?

Президент Ричард Никсон, избранный в 1968 и переизбранный в 1972 году, в конце концов вытащил Америку из вьетнамской трясины — однако далеко не сразу и лишь на второй срок. В процессе он умудрился втянуть в конфликт Камбоджу (приказ о бомбардировке которой отдал в обход конгресса) и Лаос, создав в обеих странах предпосылки для прихода к власти коммунистов, а в Камбодже еще и для беспощадного геноцида, устроенного собственному народу режимом Пол Пота. В 1973 году, к концу войны, американские потери составляли 58 174 человека убитыми и 304 тысяч ранеными; Вьетнаму война стоила жизней 1 миллиона солдат и 4 миллионов мирных граждан. Вьетнамская авантюра не только способствовала разрушению прежнего общественного и политического консенсуса, она вытолкнула западный мир в новую историческую фазу. К концу 1950-х годов послевоенный бум начал выдыхаться. Еще в 1960 году Кеннеди, с сознательным намерением дать экономике новый импульс, увеличил финансирование всех оборонных отраслей; с эскалацией боевых действий во Вьетнаме правительству приходилось вкачивать в эти отрасли все больше и больше денег. К 1969 году на рабочих местах, так или иначе связанных с ВПК, трудились 10 процентов американцев; две трети доходов самолетостроительных компаний и треть доходов радио и телевидения обеспечивал федеральный бюджет; от госзаказов

зависело благосостояние более 40 процентов трудоспособного населения Сиэттла и Лос-Анджелеса. Ни Джонсон, ни Никсон не пошли на повышение налогов для финансирования военных расходов, поэтому в условиях сокращающейся производственной базы денежная масса в стране продолжала расти. Результатом такого положения дел, стимулировавшего американцев все активнее покупать товары из-за рубежа, явилась стремительная инфляция и большой внешнеторговый дефицит — нечто неслыханное во всей предшествующей американской истории.

Принципиально важным было то, что инфляция поставила под угрозу единственную валюту — американский доллар, — которую Бреттон-Вудские соглашения сделали основанием глобального экономического порядка и стабильности. Как мог доллар оставаться привязанным к цене золота и другим главным валютам, если его курс неуклонно падал даже по отношению к американским товарам? Чем-то необходимо было пожертвовать. В 1971 году, стремясь защитить американскую экономику, президент Никсон официально положил конец сложившемуся на Западе после Второй мировой экономическому консенсусу. Фиксированная ставка обмена была упразднена, и доллар отправился в свободное плавание — отныне определять взаимные курсы валют предстояло не национальным правительствам, а рынку. Последовавший обвал доллара снизил давление на американскую экономику (и помог Никсону переизбраться в 1972 году), однако имел одно серьезное побочное последствие. Поскольку цены на нефть, без которой немыслима работа современной промышленности, были, и до сих пор остаются, номинированными в долларах, падение курса американской валюты заставило нефтедобывающие страны затаить обиду. В ответ в декабре 1973 года они подняли цены на свой товар на 300 процентов, и индустриальный мир немедленно погрузился в глубокий кризис. Было ясно, что Западу суждено измениться, оставалось лишь неясным, в каком направлении.

К первому шоку от нефтяных цен в 1973–1974 годах добавился еще один, в 1979 году, когда революционные власти Ирана временно перекрыли поставки сырья на Запад. В 1970 году нефть стоила 2,53 доллара за баррель, в 1980 году — 41 доллар. Перед экономиками Европы и Америки, и без того страдавшими от недофинансирования, неэффективного управления и недовольства рабочих масс, в полный рост встала перспектива скорой и болезненной ломки. Горнодобывающая, кораблестроительная, полиграфическая, сталелитейная, автомобильная и другие промышленные отрасли в условиях устаревания оборудования постепенно разорялись под натиском дешевой, а часто и более качественной импортной продукции. Благодаря дальновидной инвестиционной политике и четкому курсу правительства на развитие экспортного сектора, японские фирмы были способны выпускать суда, машины, радиоприемники, телевизоры и мотоциклы с гораздо меньшими издержками, чем их конкуренты из Америки и Европы. Примечательное исключение из общего правила составляла лишь Западная Германия, в которой стратегическое партнерство между властями и промышленными компаниями позволило построить экономику, производящую товары исключительно высокого качества. В остальных же странах управленческий состав и работники обвиняли друг друга в плачевном состоянии отраслей — в погоне за сиюминутной выгодой и экономии на инвестициях, с одной стороны, в завышенных требованиях и поведении, препятствующем нормальной работе предприятий — с другой. Забастовки и трудовые конфликты становились повсеместным явлением.

Социальные тенденции в Европе 1970-х годов были аналогичны американскому опыту 1960-х годов. Прежние индустриальные центры пустели вслед за миграцией трудящегося населения в пригороды, в которых размещались новые промышленные мощности и торговые центры, а жилые кварталы городов (зачастую массово застроенные произведениями ар-

хитекторов так называемой «бруталистской» школы) оставались прибежищем для безработных, стариков и неимущих. Внутренние социальные проблемы дополнительно осложнялись подъемом политического терроризма. Группы выходцев из бесправных и обездоленных национальных общин Палестины, Северной Ирландии и Басконии действовали, исходя из убеждения, что смогут добиться политических свобод для своих народов, устраивая взрывы и похищения людей. То и дело на улицах европейских городов сеяли панику и доморощенные радикалы, оправдывающие себя той или иной политической идеологией («Красные бригады» в Италии, группа Баадера — Майнхоф в Германии, «Сердитая бригада» («Angry Brigade») в Британии и множество мелких неонацистских групп). Во время Мюнхенской олимпиады 1972 года мир, прильнув к телевизионному экрану, наблюдал за захватом израильских спортсменов палестинскими террористами, приведшим к гибели 11 заложников; в 1978 году «Красные бригады» похитили и убили итальянского премьер-министра Альдо Моро; наиболее гнусным зверством оказался устроенный правозэкстремистской группировкой взрыв бомбы на вокзале в Болонье в августе 1980 года, который унес жизни 85 человек. Европа, как и Америка, иногда казалась готовым вот-вот сложиться карточным домиком.

Наряду с этими старомодными методами политической борьбы, опиравшимися на лево- или праворадикальные идеологии, в 1970-е годы в общественном сознании возникли течения, которые подпитывали неформальную оппозицию складывающемуся на Западе новому положению дел. Возможности для путешествий по всему миру, ширящийся наплыв иммигрантов и реформы образования привили молодому поколению более терпимое, доброжелательное и искренне заинтересованное отношение к другим расам и культурам — разочарование в собственном обществе вынуждало их искать вдохновения и подлинных ценностей за его пределами. Популярная музыка и литература, проникавшие из-за рубежа,

доказывали, что третий мир является источником не только нищеты и беженцев, но и созидательной культурной энергии. Влиятельной интеллектуальной и социальной силой стал феминизм, вынудивший всех — от историков и литературных критиков до журналистов, законодателей и людей творческих профессий — пересмотреть психологические установки и аспекты мировоззрения. Люди начали обращать внимание и на то, каким ущербом оборачивается жизнедеятельность современного индустриального общества для естественной среды. Те, кто вырос в деревнях, окруженных бесконечными полями, или в городках, от которых было рукой подать до лесов и рек, обнаруживали, что их деревни невероятно разрослись, поля отданы под жилищное строительство, а заповедные пастбища распаханы под сельскохозяйственные культуры. Составлявшие украшение урбанистического пейзажа старинные здания и элементы исторической застройки, некоторые восходящие к XII веку, сносились, чтобы расчистить место для уродливых в своей безликости торговых центров и офисных кварталов или новых городских автострад. Идеи бережного отношения к сложившейся среде обитания, сохранения зданий и улиц и адаптации градостроительной деятельности начали завоевывать массовую поддержку. В который раз люди Запада, пытаясь обрести опору в эпоху перемен и крушений, прибегали для этого к глубоко укорененным древним обычаям своей коллективной жизни.

Культурная реакция на бурные события 1960-х и 1970-х годов выразилась прежде всего в главенствующем жанре искусства XX века — кинематографе. 1960-е годы не были плодотворным периодом для Голливуда. Генератор культурной энергии в середине века находился в руках поколения, которое просто не понимало происходящего в его собственной стране. Несмотря на редкие исключения, американскому кино, поставленному в условия жесткой конкуренции с телевидением и неспособному превзойти новых европейских мастеров, угрожала перспектива потерять всякую актуальность.

В конце 1960-х годов появилось несколько работ, выбивающихся из общего течения, — снятые в 1967 году «Бонни и Клайд» и «Выпускник» продемонстрировали, что Голливуд еще способен производить фильмы, чутко реагирующие на перемены в самоощущении нации. Но пальму первенства у старой студийной системы начали все активнее перенимать американские независимые режиссеры, увлеченные французской новой волной, итальянским неореализмом и новым немецким кино Фассбиндера, Вендерса и Херцога. Список шедевров авторского кино, начатый «Беспечным ездоком» и «Полуночным ковбоем» (оба — 1969 год), вскоре дополнили «Последний киносеанс» (1971), «Крестный отец» (1972), «Коварные улицы», «Опустошенные земли» (оба — 1973 год) и «Чайна-таун» (1974). Тематика этих фильмов варьировалась, однако они отвечали неизменным требованиям, предъявляемым серьезному искусству, и так же, как росписи Мантеньи или романы Диккенса, использовали технологии и методы своего времени — ручную камеру, прерывистый монтаж, документализм, популярную музыку в звуковом сопровождении, — чтобы достичь нужного эффекта. Американские фильмы начала 1970-х годов показывали простых людей, обитающих в ускользающем от них мире, испытывающих влияние сил, которых они не понимали и не имели возможности контролировать. Почти в каждом случае борьба за место в мире приводила к поражению, а большинство перечисленных фильмов вместо привычной для Голливуда благополучной развязки заканчивались смертью или крушением надежд главных героев.

Начало 80-х годов XX века было временем образования нового политического консенсуса, произраставшего из кризисных 1960-х и 1970-х годов и породившего новые формы оппозиции. Рональд Рейган в Америке и Маргарет Тэтчер в Великобритании стряхнули наследие недавнего прошлого с помощью простой, но эффективной стратегии возрождения в обществе великодержавных настроений. После десятилетия самоуничтожения для людей настало время почувствовать гор-

дость за принадлежность к американской или британской нации; кроме того, в эпоху, когда люди привыкли слышать от политиков наставления в том, чего им не следует делать, оба лидера выступили с проповедью личной свободы. Их центральный тезис гласил, что правительство должно отступить на всех фронтах и перестать вмешиваться в жизнь людей. Однако оставаться политиком-националистом, одновременно сужая полномочия государства, оказалось сложнее, чем виделось.

И Рейган, и Тэтчер взяли на вооружение новую экономическую теорию — монетаризм, — следуя предписаниям которой, а именно повышая государственную процентную ставку по вкладам для сдерживания инфляции, добились укрепления доллара. Это означало, что американцы теперь могут покупать чьи угодно товары, но никто не мог позволить себе покупать американские. Сокращение экспорта и увеличение импорта привели в США (и Британии) к падению производства. Рейгану, как и Тэтчер, год от года приходилось отрезать от бюджета все большую долю на выплату социальных пособий для растущего числа безработных. Бюджетный дефицит США достиг 200 миллиардов долларов, почти вчетверо превысив показатель предыдущей администрации, в связи с чем долгосрочное федеральное финансирование инфраструктурных проектов, жизненно важное для американской промышленности, пришлось по сути дела свернуть. Казалось, что 1920-е годы вернулись снова. Неудивительно, что в октябре 1987 года нью-йоркский рынок акций рухнул, заставив весь мир затаить дыхание. Великой депрессии на этот раз не случилось просто потому, что Соединенные Штаты уже не пользовались таким экономическим влиянием, как в 1929 году. Национальное хозяйство сумело справиться с эффектами рейганомики благодаря тому, что иностранные, особенно японские, компании обрушили на Америку настоящий золотой дождь инвестиций. Из неудачной попытки монетаризма обуздать рост государственных расходов на свет появилась еще одна новая концепция — приватизации. Британское пра-

вительство, сознательно стремясь возможно больше походить на Америку, сбывало с рук контрольные пакеты акций в телекоммуникациях, гражданской авиации, жилищном строительстве, а также в коммунальных отраслях — энергетике, газо- и водоснабжении, — используя вырученные средства для латания дыр в бюджете.

Правительства не только превращали общественные услуги в рыночные предприятия, они также хотели превратить в международный рынок всю планету. Теоретически повышение эффективности мировой экономики должно было достигаться снятием контроля с движения денежных потоков, поскольку свободные деньги направлялись туда, где приносили бы максимальную прибыль, а значит, и максимальную пользу. Технологически перемещение денег между странами, инвестиционными банками, биржами и валютными операторами к тому времени уже стало делом нажатия нескольких кнопок. Так или иначе, в 1980-х годах крупнейшие индустриальные державы под давлением США согласились стать гарантами свободного движения капитала во всем мире. Повторяя своих предшественников середины XIX века, политики старательно представляли либерализацию торговли и финансов как возвращение к естественному состоянию экономических и социальных отношений. Только с отменой бессмысленных тарифов, профсоюзных рогадок, запретов на застройку незанятой земли, ограничений времени работы магазинов и предприятий, уверяли они, для людей наступит подлинное царство свободы, экономической эффективности и процветания.

Начало реализации новой доктрины положили страны англосаксонского мира — США, Великобритания, Новая Зеландия и Австралия, — однако коммерческая и военная мощь Соединенных Штатов и либерализация рынков капитала поставили остальные западные правительства перед выбором: либо принять на вооружение аналогичные стратегии, либо подвергнуть экономическому риску свою страну. Двигателем новой экономики была не индустрия, а финансы, и государ-

ственная поддержка производства теперь считалась нарушением правил. В этой новой атмосфере руководители бизнеса становились образцами для подражания и авторитетными советниками при правительствах, а сами корпорации — эталоном всякой организации вообще. Коммунальные предприятия, чьи услуги всегда считались одной из функций власти, приватизировались и превращались в открытые акционерные компании, по закону обязанные в первую очередь преследовать цель увеличения стоимости акций. Однако даже те учреждения, которые оставались в руках высших и прочих органов управления, в той или иной степени адаптировали свою деятельность к корпоративному шаблону. Университеты, технические колледжи, школы, почта, советы по здравоохранению и муниципальные советы — всем пришлось подвергнуться реструктуризации и приучиться воспринимать себя как коммерческие организации. Возникли условия, при которых, например, в Британии местный совет по здравоохранению, ведающий несколькими муниципальными больницами, мог быть признан банкротом. В 2004 году, в ходе дебатов о размере платы за обучение, Колин Лукас, вице-канцлер Оксфордского университета, уже без всякого стеснения заявил, что «преподавать нерентабельно».

Благодаря усовершенствованию промышленных методов, развитию техники и транспорта к 1980-м годам сложилась ситуация, когда само по себе производство превратилось в недорогостоящее и несложное занятие. Мечта первопроходцев индустриализации сбылась — теперь мы могли обеспечивать свои базовые потребности, затрачивая лишь малую долю усилий и времени. Отныне задачей, решение которой было сопряжено с наибольшими сложностями, стало не производство основных товаров, а завоевание покупателей, и, как следствие, возможность диктовать перешла от производителя к потребителю. Внешний вид и качество товара, а также самих магазинов, претерпели радикальную метаморфозу: универсальные магазины теперь оставались открытыми допоздна и работали по воскресеньям, по всему западному миру рас-

пространились пригородные торговые центры и гипермаркеты американского образца. Но если для тех, у кого были деньги и машина, жизнь стала удобнее, то не имеющие ни того, ни другого оставались запертыми в городских многоквартирных домах, вдали от магазинов и услуг.

Колоссальные усилия, вложенные в расширение сектора услуг и розничной торговли, помогли пристроить миллионы людей, которых теперь никто не ждал на заводах и шахтах. Прежде стоявшие у станка становились к прилавку, орудовавшие отбойным молотком садились за руль фургонов доставки или за телефон в колл-центрах. На жизни образованных и состоятельных, воспитанных на антиавторитарном духе 1960-х годов, консьюмеризм сказала иначе. Они все активнее требовали равных отношений с врачами, юристами, преподавателями, банковскими служащими и политиками — формула «доктору лучше знать» не могла устроить поколение, привыкшее не сомневаться в своих правах.

Характерный для 1980-х годов акцент на потребностях и стремлениях отдельной личности только укрепил существующую тенденцию. Представители так называемого «поколения я» не просто преследовали личные амбиции и добивались высокого материального благосостояния, они вдобавок были преисполнены самовлюбленности. Повальный нарциссизм, сосредоточенность на своем «я», хотя его часто считают плодом культуры 1960-х годов, берет начало еще в конце XIX века — в эпоху зарождения психологии. Как только индивидуальное сознание сделалось центральным предметом интереса неврологии, с одной стороны, и философии — с другой, оставалось только идти по их стопам. Охватившая миллионы забота о правильном питании и следовании моде создала условия для возникновения множества новых журналов, пополнивших список старых, которые существовали уже десятилетиями, а вслед за ними не меньшего числа книг и видеокассет, на разные лады учивших зрителей и читателей, как достичь идеальной физической формы, внутренней гармонии или душевного здоровья. Этот пестрый и хаотический поток

информации и советов неизменно нацеливал потребителя думать о себе. Прийти к лучшей жизни можно было, только усовершенствовав себя как человека, а усовершенствовать себя как человека можно было только через самоанализ, за которым следовало позитивное самоутверждение. Гражданин западного мира предельно устранился из активной общественной жизни, чтобы с головой погрузиться в частную и без остатка посвятить себя личностной самореализации.

Начиная с 1980 года так называемая «вашингтонская модель» свободной торговли была навязана Америке, а в дальнейшем, через действие международных соглашений и органов, и остальному миру. Семейным привязанностям, местным обычаям, человеческой взаимовыручке, скрепляющим общество внеэкономическим связям, — всему этому суждено было в лучшем случае отступить на второй план, а в худшем — исчезнуть во имя экономической эффективности. Для США последствия такой политики оказались самыми серьезными, хотя и практически оставленными без внимания. С середины 1970-х по середину 1990-х годов реальные (рассчитанные с учетом инфляции) доходы американского трудящегося населения упали примерно на 20 процентов (с 315 до 258 долларов в неделю), а чистый заработок руководства корпораций повысился более чем на 60 процентов, что явилось беспрецедентным ростом неравенства за всю историю страны. На момент, когда в 1980 году Рейган был избран президентом, среди американцев насчитывалось порядка одного осужденного на каждую тысячу; к 1994 году этот показатель составил 3,74 человека на тысячу, а к 2004 году — около 7 на тысячу, то есть 1,96 миллиона человек в тюрьме и еще 5 миллионов человек, ограниченных в правах как-то иначе. (Приблизительные показатели осужденных на тысячу населения для других западных стран в 2004 году были следующими: Великобритания — 1,4; Германия — 1,0; Франция — 0,8; Япония — 0,5.) Для афроамериканцев риск угодить за решетку в 7 раз выше, чем для насе-

ления в целом, причем каждый седьмой из них уже там побывал. В 1992 году в Вашингтоне 40 процентов афроамериканцев мужского пола от 18 до 35 лет либо находились в местах заключения, либо на свободе с условным сроком, либо в бегах, либо были выпущены на поруки. Несмотря на такую загруженность пенитенциарной системы, насильственные преступления и употребление наркотиков распространены в США больше, чем в какой-либо другой развитой стране. За это время сменявшие друг друга американские правительства не столько противодействовали, сколько способствовали разложению сдерживающего влияния семьи, соседской общины, традиционного уклада жизни, элементарного чувства справедливости под натиском требований экономической эффективности. На месте старой, проверенной системы отношений, веками выработавшейся человеческим обществом, была воздвигнута безжалостная и в конечном счете неспособная справиться со своей задачей система тюрем.

Культурной параллелью этой системы стало неожиданное и, учитывая непосредственно предшествующую историю, довольно шокирующее возрождение фундаментальных религиозных представлений о добре и зле. Впервые эта тенденция привлекла внимание в 1980-х годах, когда президент США Рональд Рейган назвал Советский Союз «империей зла». Советы, конечно, давно считались врагом, однако фраза Рейгана в тот момент прозвучала непривычно. На самом деле она выражала глубокое и не дающее покоя желание после эпохи неопределенности и разброда, которые принесли 1960-е и 1970-е годы, поделить мир на два моральных абсолюта. Сегодня, особенно по следам 11 сентября 2001 года, стало общим местом называть врагов Запада террористами, которыми движут исключительно злоба и страсть к разрушению. Подобный образ мыслей изменил восприятие преступности в такой стране, как Великобритания, где в послевоенные десятилетия считалось само собой разумеющимся, что смысл борьбы с криминалом лежит в устранении социальных язв. Сегодня даже мелкие правонарушители рассматриваются

как люди, которые поставили себя вне приличного общества и заслуживают кары и лишения свободы. Соответственно, подростки и молодежь представляются либо как образцы добродетели (особенно когда становятся жертвами преступлений), либо как источник зла, опасный элемент, при любом удобном случае готовые наброситься на добропорядочных граждан из-за угла. Такой устрашающий образ преступника нашел свое предельное выражение в фигуре серийного убийцы — неизвестные еще 30 лет назад, в наши дни эти живые порождения зла просто оккупировали газетные полосы, страницы романов и экраны кинотеатров. Изобразивший серийных убийц в таких невероятно популярных фильмах, как «Молчание ягнят» (1990) и «Семь» (1995), Голливуд вообще с готовностью оседлал волну нового двухполярного мировосприятия. Начиная с «Челюстей» (1975) и «Звездных войн» (1977) американское кино все больше отворачивалось от пугающей сложности 1970-х годов и все усерднее обслуживало зрителя, приходящего в кинотеатр за подтверждением своей моральной правоты и за порцией изоцирено примитивного возбуждения. Даже когда эта тенденция была безжалостно высмеяна Квентином Тарантино в его «Криминальном чтиве» (1994), формула осталась неизменной.

В Великобритании либерально-экономическими мерами удалось добиться ограничения влияния профсоюзов, потянувшего за собой целую вереницу явлений того же ряда: роспуск муниципалитета Большого Лондона и ослабление позиций местного самоуправления по всей стране, прекращение действия советов по заработной плате и практики поддержки розничных цен, резкое сокращение муниципального жилого фонда, ограничение полномочий местных комитетов образования и других подобных органов. Вместо этого, как мы уже видели, публичные учреждения, от колледжей и больниц до органов, отвечающих за водоснабжение или пенсионное обеспечение, превращались в частные или участвующие корпорации. Как и когда-то, единственным институтом, из-

бежавшим общей участи, стала семья. (Заунывные мантры всех политиков последнего времени, непременно превозносящих «работающую семью» или «веру, семью и флаг», красноречивы сами по себе — помимо собственных органов, таких как полиция и армия, это единственное, с чем безусловно готово считаться современное государство.) Однако и здесь новая экономика сумела сказать веское слово. Потребность в легко адаптирующейся и мобильной рабочей силе поставила крест на жизнеспособности родственных отношений в рамках расширенной семьи — отношениях, теперь часто связывающих обитателей разных стран и континентов, — и потому столь превозносимой и идеализируемой нуклеарной семье пришлось всерьез пересмотреть свою роль и свое место в мире.

Эта переоценка, происходящая и внутри человека, и внутри семьи, оказалась по-своему не менее фундаментальной задачей, чем та, которую решали Августин, Кальвин, Руссо, Смит, Милль, Маркс или Фрейд; требовалось понять, как в мире, управляемом Богом, или разумом, или личным интересом, или общественным законом, человеку следует прожить свою жизнь. В первые послевоенные десятилетия цель жизни заключалась в коллективной безопасности в рамках регламентированного и слаженно функционирующего общества. Однако неожиданный подъем благосостояния в 1960-х и 1970-х годах позволил молодежи ощутить себя свободными, и даже призванными, переступить ограничения общества, включая экономические императивы. Предполагалось, что студенты должны учиться ради самих знаний, а экономическая польза от их занятий, как для них самих, так и для государства, воспринималась как второстепенная или вообще не имеющая значения. Гарантировать достойное существование для безработных и престарелых посредством льгот, пенсий и качественного муниципального жилья считалось само собой разумеющимся, потому что прежде всего люди должны были видеть себя членами общества, а не винтиками бездушной индустриальной машины.

В новой экономике правила опять поменялись. По мере того как пенсионное обеспечение, жилье и другие услуги предоставлялись национальными и местными органами все в меньшем и меньшем объеме, гражданин западного мира вынужденно приучался рассматривать себя как экономическую единицу, а свою жизнь — как предмет финансового планирования. Сегодня, как только в британской или американской семье среднего класса рождается ребенок, его родители должны начинать откладывать деньги на оплату высшего образования, причем университет будущий студент, скорее всего, окончит с большой задолженностью. Ему или ей затем понадобится найти высокооплачиваемую работу, чтобы погасить эту задолженность, и немедленно занять еще, чтобы купить дом и начать откладывать на сколько-нибудь приличную пенсию. Пропустить один из этих шагов или подвергнуть риску будущие означает серьезно пошатнуть свои позиции в жизни. В этой картине вроде бы нет ничего, кроме финансового здравого смысла, однако сдвиг в нашем само- и мировосприятии, который она представляет, не может не поражать.

Одним из величайших парадоксов текущего этапа является ситуация, которая была создана усилиями могущественных национальных государств и которая в конечном счете сделала их менее могущественными. В 1980 году Франция воспротивилась тенденции, которую навязывал Европе англосаксонский мир, и выбрала президентом Франсуа Миттерана, социалиста старой закалки. Миттеран немедленно приступил к осуществлению ряда мер, направленных на превращение Франции в социалистическое государство. — увеличил государственные расходы, повысил налоги, национализировал целые отрасли и т. д. Однако он не осознавал всю глубину перемен, произошедших с миром за предшествующее десятилетие. Благодаря отсутствию ограничений на перемещение капитала, раздраженные инвестиционные компании начали сбывать с рук накопления во французской валюте, а также пакеты акций французских предприятий. Когда день-

ги стали утекать из страны, французским властям пришлось пересмотреть свою политику. Во Франции, Германии, странах Скандинавии и Бенилюкса правительства продолжали верить в необходимость бюджетных капиталовложений в инфраструктуру и промышленность — в то, от чего старательно отказывались Великобритания и США. Миттеран наконец довел до их сознания на первый взгляд незаметную истину, лежавшую в самом основании новой глобальной экономической системы. Ни одно правительство отныне не могло предпринимать какие-либо шаги без согласия финансовых рынков, а рынки (в союзе с МВФ, Всемирным банком, ОЭСР, ВТО и другими международными организациями) благосклоннее всего относились к экономике тех государств, которые приватизировали сферу общественных услуг и максимально урезали бюджетные расходы.

Ослабление позиций национального государства, вызванное международной либерализацией финансовых рынков, произошло без всякой общественной дискуссии по поводу достоинств и недостатков подобной утраты суверенитета и ущемления интересов наций. То обстоятельство, что национальные правительства попали в зависимость от групп людей, занимающихся покупкой и продажей акций, причем, как правило, в погоне за краткосрочным выигрышем, не вызвало шквала комментариев или организованной оппозиции. Это случилось само собой. Министры финансов отныне должны были убеждать игроков рынка, что их экономики станут надежными поставщиками всего этим рынкам необходимого, и одновременно, в очень узких рамках, пытаться как-то отстоять свои политические интересы. Напротив, образование европейскими странами экономического и валютного союза вызвало долгие и жаркие дебаты по поводу тех самых вопросов национального суверенитета, которые прежде оставались без всякого внимания.

В 1990-х годах глобальный рынок, до сих пор объединявший страны Запада, добровольно пополнили бывшие коммунистические страны Восточной Европы, страны Тихоокеан-

ского региона — Япония (на тот момент уже одна из крупнейших экономик западного образца), Южная Корея, Индонезия, Малайзия и Китай, — а также страны Латинской Америки, в которых к власти пришли новые демократические режимы; сочетанием позитивных и негативных стимулов в либерализованный глобальный рынок удалось заманить и такие крупные страны, как Индия и Бразилия. Единственными, кто оказался на обочине всеобщего процесса, стали пораженные нищетой бывшие колонии тропической Африки и династические диктатуры арабского мира; в остальном планета превратилась в один огромный рынок. Иначе говоря, Запад разросся до размеров планеты.

Либерализация глобальной торговли и сопутствующее расширение сферы действия патентного права подготовили почву для триумфального шествия транснациональных корпораций. Вслед за вездесущими автомобилями, произведенными на заводах «Форда», «Дженерал моторс» или «Тойота», на каждой главной улице каждого хотя бы относительно небедного города в мире появились рестораны «Макдоналдс», «Бургер Кинг», «Старбакс», магазины товаров компании Дисней; почти все стали пользоваться программным обеспечением и операционными системами компании «Майкрософт». Неумолимая колонизация центральных улиц мира сделала многие города до раздражения похожими друг на друга. Стилистика новых построек, магазинов, товаров принесла удручающее единообразие.

Колоссальное влияние корпораций и растущая стандартизация жизни начали вызывать особенно глубокую обеспокоенность в связи с появлением новых генетических технологий. Человеческий геном был нанесен на карту, вмешательство в генетическое строение организмов сделалось стандартным навыком любого достаточно компетентного ученого, а в 1997 году в Эдинбурге родилось первое генетически клонированное животное — овечка Долли. Хотя новые процедуры биотехнологий обещают в будущем излечить генетические заболевания животных и человека, возможность

генетической модификации человеческих эмбрионов для производства «селекционных детей» или устранения потенциальных дефектов развития ставит под вопрос само представление о том, что такое быть человеком.

Новая экономика не успокоится, пока барьеры не исчезнут по всему миру, ибо любая не покорившаяся ей часть будет снижать теоретическую эффективность. Неоценимую поддержку в этой благотворной (или губительной — в зависимости от вашей точки зрения) экспансии оказывает сегодня возродившаяся вера в то, что Запад представляет собой самое передовое общество в мире. Согласно этой вере, доставшийся Западу дорогой ценой опыт управления государством, регулирования экономики, организации судебной власти, строительства производства должен пойти на пользу всем без исключения обществам. Уроки катастрофы, которую Запад принес миру в 1914 и 1939 годах, выворачиваются наизнанку, а мысль о том, что другие народы могут не захотеть обзаводиться нашим общественным устройством отбрасывается с порога. 6 июня 2004 года на церемонии, посвященной шестидесятилетию дня высадки союзников в Европе, Тони Блэр сказал об этой знаменательной операции: «Тогда существовало... определяющее понимание, что в конечном счете ценности, которые исповедует Британия — ценности, которые она также разделяет с остальной Европой и Америкой — являются путеводным светом для будущего всего человечества». Желание принести эти ценности остальному человечеству — включая собственных строптивых граждан — и, если потребуется, силой, снова овладевает Западом.

Если такова ясно провозглашаемая цель Запада и если в этом заключается философия тех, кто повелевает его судьбами, то как реагирует на нее остальной мир и какой отклик она находит в человеческом обществе? В 1986 году представители 96 стран собрались в Уругвае, чтобы договориться о единых мерах по снижению тарифов для промышленных потребителей, сокращению сельскохозяйственных субсидий, га-

рантиям прав интеллектуальной собственности и выработке новых правил инвестиционной деятельности и финансовых услуг. Так называемый «уругвайский раунд» переговоров занял семь лет, и его итогом стало учреждение в 1993 году Всемирной торговой организации. Как вскоре выяснилось, приняв участие в соглашениях по ВТО, некоторые его участники добровольно взвалили на себя непосильную ношу. Развивающиеся страны подписывались под обязательствами о защите патентных прав и открытии финансовых и товарных рынков для индустриальных держав первого мира в обмен на обещанное партнерами перманентное урезание субсидий своим сельскохозяйственным производителям и открытие доступа на свои рынки — обещание, так никогда и не исполненное. Цена соглашений была столь высока, потому что интеллектуальная собственность и финансовые услуги на тот момент уже давно сделались ключевыми ингредиентами глобальной экономики. Права на дизайн и бренд продукта означают, что пару кроссовок можно изготовить в Индонезии, потратив несколько центов на материалы и работу, и затем переслать в Нью-Йорк или Париж, где их продадут за 100 долларов, а получившаяся разница целиком осядет на Западе (причем не в кармане западного рабочего, а на счетах корпоративного руководства и акционеров). Местные производители в Индии, Мексике и Южной Африке лишились возможности делать непатентованные копии лекарств от малярии или СПИДа, ибо теперь их правительства выступали гарантами патентных прав западных фармацевтических компаний.

В целом второй этап послевоенной истории был менее благосклонным к бедным нациям, чем первый. Если на помощь им в начале 1960-х годов богатые страны тратили 0,48 процента своего совокупного дохода, то в 2003 году средний показатель составлял уже 0,23 процента, и хотя в 1970 году Запад клятвенно обещал увеличить размер помощи до 0,7 процента ВВП, ни одна из «большой восьмерки» богатейших стран так этого и не сделала. Еще в 1980 году соотношение между годовым объемом продукции, производимым работником-ев-

ропейцем и работником в тропической Африке, выглядело как 15:1; через 18 лет оно равнялось примерно 70:1. Существование в непосредственной, но недостижимой близости от облачного богатства и передовых технологий разрушает экономические и социальные структуры бедных наций, тогда как открытие чего-либо, представляющего ценность для Запада, — нефти, алмазов, меди — влечет за собой дезинтеграцию общества, во многих случаях выливающуюся в вооруженные конфликты.

Негативная реакция на несправедливое обращение с развивающимися странами, на бесконтрольное засилие транснациональных компаний и на очевидную неспособность правительств остановить экологическую деградацию планеты прорвалась наружу в декабре 1999 года во время конференции ВТО в Сиэтле. Тысячи демонстрантов, собравшихся со всех уголков развивающегося и индустриального мира, попытались донести до делегатов растущее повсюду настроение недовольства. Однако, сколь бы громкую шумиху в прессе ни спровоцировали эти манифестации, действительной причиной приостановки работы конференции стал демонстративный уход из зала заседаний группы африканских министров торговли, протестующих против дальнейшего затягивания под разными благовидными предлогами решения вопроса об аграрных субсидиях. Развивающемуся миру начало казаться, что, чем соглашаться на плохой договор, лучше бы не договариваться вовсе.

К тому моменту, когда в 2003 году ВТО вновь собралась в мексиканском Канкуне, мир был примерно разделен на три фракции: США и ЕС; среднепреуспевающие страны в лице Бразилии, Мексики, Китая, ЮАР, Индии и Индонезии; наконец, страны, в первую очередь из тропической Африки, практически лишенные индустриальной базы и зависящие от сельского хозяйства, а также продажи сырья и некоторых пользующихся спросом товаров на внешнем рынке. Сюрпризом Канкунской конференции стало превращение группы государств, занимающих среднее положение между бедными

и богатыми, в реальную и сплоченную силу. Выслушав от ЕС и Соединенных Штатов очередную порцию пустословия по вопросу об аграрных субсидиях, они вслед за африканцами прибегли к верному средству — покинули конференцию. Оставшимся вновь пришлось разъехаться по домам ни с чем — после Канкуна Запад больше не мог претендовать на абсолютную гегемонию на мировом рынке.

Уход из-за стола переговоров в Канкуне, вызванный конкретной причиной, стал выражением более общего положения дел. Страны, недавно вступившие на путь индустриализации, вопреки поверхностному впечатлению не чувствуют необходимости подражать западным моделям капитализма. В Китае, России, Индии, Бразилии и Мексике вполне сложились собственные, пусть и не столь освященные временем традиции торговли, и они заметно отличаются от традиций Америки, Великобритании, Германии или Франции. Все указывает на то, что каждая из этих стран пытается нащупать свой подход к индустриальной денежной экономике. В этом смысле мир не становится одним большим Западом — напротив, вполне возможно, что остальной мир, активно используя западные технологии, выходит из подчинения его диктату. И во все не случайно, что кино, главенствующий род искусства последнего столетия, обрело новую жизнь в творчестве режиссеров Азии и Латинской Америки.

Граждане стран, глубже всего задетых новой экономикой, лишаясь психологической опоры унаследованного места обитания и обычая, все чаще начали обращаться к религии. Общество, постоянно устремляющее человека к новым высотам мобильности и отрезавшее от природного мира, оставило в его душе вакуум, который стали заполнять разнообразные евангелические конфессии. Массовая популярность и политическое влияние евангелического христианства заметно выросли не только в США — даже традиционно терпимая англиканская церковь стоит перед лицом раскола, вызванного подъемом христианского фундаментализма. По мере распространения свободы торговли по всему миру, составляю-

щего суть процесса глобализации, мощное давление начали испытывать и другие культуры. Для людей на Ближнем Востоке, а также для переселяющихся в Европу выходцев из мусульманского мира гораздо более важное значение приобрел ислам. Если в 1970-х годах все без исключения палестинские политические движения были светскими, то сегодня таких нет ни одного; мусульмане на Западе, чьи родители когда-то пытались приноровиться к секуляризму новой родины, все активнее ищут прибежища в религии.

Гражданам стран Запада удалось найти и иные способы создать противовес логике свободного рынка. В 1973 году одна из главных улиц Копенгагена была перекрыта для проезда в связи с проведением крупного культурного мероприятия; первоначальное недовольство владельцев расположенных на ней магазинов, кафе и баров сменилось воодушевлением, когда они увидели, что бизнес немедленно пошел в гору. Перекрытие сделали постоянным, и другие малые и большие города, старые центры которых задыхались от заметно выросшего количества автотранспорта, последовали примеру датской столицы. Превращенный в пешеходную зону городской центр против обыкновения оказался приятным и комфортным местом, в котором люди заново открывали для себя радость неторопливого общения, случайных встреч и неожиданных удовольствий. Западный город взглянул на себя новыми глазами.

Тем, кто держал глаза открытыми, становилось ясно, что люди прежде всего ценят в городе сохранение преемственности с прошлым, возможность ощутить себя частицей истории. Для них город является не просто местом обитания, а физическим воплощением социального уклада, слой за слоем создававшегося многими поколениями их предков, они связаны с ним сложным переплетением личных воспоминаний, гордости и чувства принадлежности к конкретному месту. В тысячах городов коллективная жизнь за XX столетие пришла в упадок и приобрела множественные уродливые чер-

ты, а публичные пространства, самый драгоценный элемент урбанистического пейзажа, оказались заброшенными. На этом фоне сочетание реформ в публичной сфере с возрождением культурной активности оказалось на редкость удачным средством добиться экономического и социального подъема и улучшить жизнь горожан вообще.

Балтимор, Глазго, Милуоки, Барселона, Марсель, Манчестер и сотни других городов, казалось, безнадежно застрявших в порочном круге небрежения и депопуляции, сумели переменить свою судьбу, вновь превратиться в места, где хочется поселиться. Возрождение западного города могло состояться только тогда, когда его обитателям были переданы (точнее, возвращены) права распоряжаться собственными делами, а это в свою очередь подразумевало добровольное отступление централизованного государства — процесс, которому в Европе немало поспособствовало образование Европейского союза. Десятилетиями провинциальные города большинства стран континента вынужденно мирились с отсутствием внимания к своим нуждам со стороны национальных правительств, однако в 1990-х годах они перестали выпрашивать подачки у Лондона, Парижа или Мадрида, обращаясь напрямую в Брюссель. Явственным отголоском средневекового, донационального прошлого Европы стала постепенная, совершающаяся исподволь трансформация континента государств-наций в континент автономных городов и регионов. Центральные правительства заодно со столичными газетами могли сколько угодно обрушиваться на эту тенденцию — для жителей Каталонии, Ньюкасла, Марселя или Калабрии власть государственной бюрократии имела мало преимуществ перед солидной региональной или городской автономией, пользующейся всеми возможностями общеевропейской инфраструктуры. Движение в защиту окружающей среды, пропаганда продукции местного сельского хозяйства, забота о сохранении архитектурного облика, традиций и языка имеют один и тот же стимул — желание отстоять разнообразие от посягательств стандартизации, воссоздать самобытность

каждого уголка Земли. Это сдвиг приоритетов не в последнюю очередь диктуется экономическим интересом. Руководители западных государств неустанно рассказывают о пользе глобализации, однако граждане этих государств видят в ней только угрозу своему благосостоянию и своему укладу жизни. Скептическое отношение к прогрессу, о котором говорилось в Прологе, происходит из глубокого страха людей перед будущим, с которым, кажется, им все труднее и труднее совладать. Впервые за несколько поколений будущее представляется чреватым чем-то худшим, нежели прошлое.

Некоторые тенденции, проявившиеся за последнее десятилетие в западной культуре, свидетельствуют о ее небезразличии к обострившемуся противостоянию глобальной стандартизации и локальной самобытности. По мере того как культура, живущая по законам централизованного серийного производства, все явственнее начинает приедаться, а Америка утрачивает позиции верховного арбитра, культурная продукция и деятельность, несущая в себе уникальные черты места происхождения, медленно, но верно растет в цене. Ценность произведения искусства диктуется теперь именно невозможностью его механического и стандартизированного производства. В такой ситуации новую роль начинает играть сам творец. Ему больше не нужно работать и существовать обособленно, чутко реагируя лишь на запросы и стремления своего одинокого сознания. Поводом для творческого усилия теперь может быть и специальный заказ, и конкретное пространство, художники могут работать совместно, целенаправленно погружать себя в традиции той или иной местности. Эти возможности уже активно использовались в создании монументальных скульптур, инсталляций, перформансов, однако есть все основания полагать, что им найдется применение и в таком роде искусства, как кино, где новейшие технологии уже позволяют выпускать фильмы с относительно минимальными затратами.

Развитие технологий, как и раньше, застаёт галерейное и книжное искусство плетущимся в хвосте популярной культу-

ры. Многолетнее социальное и экономическое унижение чернокожего населения США наконец ясно высветило давнюю истину, заключающуюся в том, что именно афроамериканскому сообществу Запад обязан большинством культурных новаций своей новейшей истории. После десятилетий, отданных приспособлению черной музыки, танцев, речи ко вкусам и представлениям белой аудитории, сегодня неадаптированная музыка черной урбанистической Америки сделалась звуковым сопровождением жизни всей западной молодежи. И опять же, пока образованные граждане Запада исправно посещают галереи современного искусства, где послушно знакомятся с произведениями актуальных видеохудожников, из-под рук чернокожих американских режиссеров выходят образцы ошеломляюще новаторского синтеза звука и изображения. Только они называются музыкальными видеоклипами (посмотрите, к примеру, сопровождение Хайпа Уильямса к композиции «Не выношу, когда идет дождь») и транслируются для миллионов телезрителей.

Кое-что указывает на то, что философы, наперекор давней традиции использовать абстрактный анализ для поиска универсальных законов, всерьез заинтересовались возможностью увидеть границы собственной дисциплины. Людвиг Витгенштейн, оставивший преподавание в годы Второй мировой, чтобы поступить санитаром в больницу, не мог смириться с фундаментальной верой коллег в способность философии добыть некое знание о мире, недоступное остальному человечеству. Задачей философии, говорил Витгенштейн, является не решение, а распутывание философских проблем. По утверждению британского философа Бернарда Уильямса, мысленные эксперименты, которые лежат в основании значительной части моральной философии (например, призванные дать ответ на вопрос, правильно ли убить одного человека, чтобы спасти десять), бесполезны, ибо полностью выводят за скобки жизненный опыт и сложнейшие нюансы текущей ситуации, которые участвуют в каждом нашем

процессе совершения морального выбора. Эти двое и немалое число их коллег возвращают нас к началу западной мысли (описанному в главе 3), чтобы усомниться в его фундаментальной предпосылке.

В начале этой главы я упомянул о том, что сам смысл западной цивилизации оказался поставленным под вопрос. Наверное, более точным будет сказать, что западная цивилизация обрела новый смысл. Но в чем заключается этот новый смысл, и помогает ли он объяснить, как мы задумывались в начале книги, «что такое цивилизация»? В самом деле, настала пора поинтересоваться, какие выводы из изложенной здесь на нескольких сотнях страниц истории Запада мы можем сделать о нашей цивилизации.

Есть два ответа на этот вопрос, две возможные реакции на случившийся кризис. Примером первого, как показывает история последних десятилетий, стала проповедь позиции моральной однозначности, делящей мир на два полюса — добрый и злой. Нас не должно удивлять, что идея цивилизации в подобной обстановке извлечена на свет западными лидерами и использована в целях пропаганды. По мере того как требованием времени (по крайней мере, так нас убеждают) становится прямой и ясный взгляд на мир, слово «цивилизация» начинает означать все хорошее, а слова «хаос», «анархия», «террор» — все плохое. Носителям первого надлежит воспользоваться им как оружием для победы над вторым.

Второй возможный ответ далек от однозначности и опирается на наследие всей западной истории. Мы осознаем, что цивилизация, изобретенная в XV веке и окончательно оформившаяся 300 лет спустя, постепенно трансформировалась в смыслообразующий сюжет, который объясняет и обосновывает наше положение в мире. От включения греков и римлян в «великую цепь истории» до союза против нацизма идея цивилизации неизменно служила сплочению народов Запада, была для них источником общей системы убежде-

ний и общего прошлого. Мы также осознаем, что цивилизационный сюжет, излагаемый сегодня с высоких трибун, лишен всякого правдоподобия. Сознательно примитивная риторика, оперирующая абсолютными категориями добра и зла, доказывающая превосходство западных ценностей и вызывающая к исторической необходимости, якобы повелевающей распространить эти ценности по всему миру, фундаментально расходится с реальным опытом, надеждами и стремлениями людей Запада. С помощью новой исторической сказки нас рассчитывают избавить от тревог и убедить, что, несмотря на все взлеты и падения, мы двигаемся правильным, предначертанным самой природой курсом, — только мы больше не верим.

Как бы то ни было, многие, особенно среди либерально настроенных жителей Запада, по-прежнему думают, что происходящее у них на глазах есть кратковременный мировоззренческий кризис, спровоцированный расчетливым лицемерием некоторых лидеров. Полагают даже, что нынешняя ситуация сложилась в результате усилившегося влияния иррациональных, религиозно окрашенных идей и что здоровая доля рационализма вернет нас на магистральную дорогу прогресса. Достаточно оглянуться на историю последних 2,5 тысяч лет, и особенно последних 150 лет, чтобы понять, что это самообман. Фундаментальная вера западной цивилизации в возможность разумного переустройства мира к всеобщему благу лежала в корне каждой пережитой нами антропогенной катастрофы, и тем не менее многие из нас по-прежнему считают, что у Запада есть священный долг, который состоит в распространении его прямолинейных, универсалистских, «прогрессивных» методов правления, хозяйствования, образования, поддержания порядка, правосудия и нравственности — в том, чтобы сделать их принадлежностью каждого сообщества и каждого государства на планете. Неудобная правда, от которой нужно перестать отворачиваться, заключается в том, что для человеческого рода такая установка представ-

ляет не меньшую угрозу, чем завоевание силой оружия. Если бы мы честно посмотрели в глаза этой правде, мы бы помогли сделать нашу цивилизацию по-настоящему осмысленной.

Глобальная стандартизация продолжает свое шествие по планете, оборачиваясь растущим богатством и влиянием для одних, обнищанием и разрушением уклада жизни для множества остальных. Между тем обитатели западного мира по мере сил и возможностей пытаются приспособиться к своим утратам и наполнить жизнь подлинным смыслом, по ходу производя на свет искусство, которое время от времени напоминает им, что такое быть человеком. Что же в таком случае представляет собой западная цивилизация: безостановочную погоню за универсалиями, постоянное истощение жизненной и душевной энергии людей, питающей ненасытную машину стандартизации, — или вещи и жизни, созданные и прожитые в возмещение отнятого?

БЛАГОДАРНОСТИ, БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ И РЕКОМЕНДАЦИИ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ

Если концепция, представленная в этой книге, лежит целиком на моей совести, то сама книга никогда бы не созрела и не появилась на свет без поддержки, ободрения и конструктивных замечаний моих редакторов, Уилла Салкина и Йорга Хенсгена, чей опыт и знания помогли мне не согнуться под тяжестью потенциально неподъемного предмета и проделать путь до конца.

Руководствуясь несколькими очевидными соображениями, я не стал даже пытаться составлять исчерпывающе подробную библиографию по теме «Западная цивилизация». Масштаб проблемы делает такую библиографию не только необъятной, но и фактически бесполезной. Сегодня любой, у кого есть доступ к компьютеру, имеет к своим услугам, к примеру, весь каталог Британской библиотеки, который дает детальную библиографическую информацию о практически всех публикациях на английском (как, впрочем, и множестве других языков) и делает поиск книг чрезвычайно легким занятием. Кроме того многие из текстов, имеющих прямое отношение к этой книге, доступны в самых разнообразных изданиях, включая такие популярные серии, как «Penguin Classics» и «Oxford World Classic», которые снабжают все свои публикации современными предисловиями. Культурные артефакты западной цивилизации окружают нас повсюду, и с моей стороны было бы лишней предвзятостью перечислять памятники литературы в книге, где наравне с нею фигурируют живопись, архитек-

тура, кино и другие виды искусства. Поэтому, упоминая в самом тексте того или иного прозаика, я не счел необходимым вставлять перечень его сочинений в этот раздел.

По всем названным причинам я ограничился тем, что составил для каждой главы список произведений, непосредственно относящихся к конкретной теме или цитируемых, по возможности приводя для шедевров классики и современности последнее доступное издание. Дополнительно к библиографии, разбитой по главам, ниже я свел воедино несколько недавно вышедших или недавно переизданных книг, как правило, имеющих в дешевом варианте, которые должны быть интересны для читающей публики вообще. В первой части перечислены те источники, которые касаются всей западной истории, во второй — заслуживающие особого внимания работы по тому или иному конкретному периоду.

Общие работы

Brogan Hugh. History of the USA. 2nd edn. London: Penguin, 1999.

Carey John (ed.). Faber Book of Reportage. London: Faber, 1987.

Davies Norman. Europe: A History. London: Pimlico, 1996.

Gombrich Ernst. The Story of Art. 16th edn. London: Phaidon, 1995.

Gray John. Straw Dogs: Thoughts on Humans and Other Animals. London: Granta, 2002.

Hall Peter. Cities in Civilization. London: Phoenix, 1998.

Keegan John. The History of Warfare. London: Pimlico, 1993.

The Invention of Tradition / Eds. Hobsbawm Eric, Ranger Terence. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.

Недавно опубликованные книги по конкретным предметам, в примерном хронологическом порядке освещаемого периода

1001 Movies You Must See Before You Die / Ed. Schneider Steven Jay. London: Cassell, 2003.

Bartlett Robert. The Making of Europe: Conquest, Colonization and Cultural Change, 930–1350. London: Alien Lane, 1993.

Bogdanov Michael. Shakespeare: The Director's Cut. Edinburgh: Capercaille, 2003. Vol. 1.

Brown Peter. The Rise of Western Christendom. 2nd edn. Oxford: Blackwell, 2003.

Calasso Roberto. The Marriage of Cadmus and Harmony. London: Jonathan Cape, 1993.

Carey John. The Intellectuals and the Masses. London: Faber, 1992.

Cohn Nik. Awopbopaloobop alopbamboom: Pop from the Beginning. London: Pimlico, 2004.

Curliffe Barry. Facing the Ocean: The Atlantic and Its Peoples. Oxford: Oxford University Press, 2001.

Evans George. Ask the Fellows Who Cut the Hay. London: Faber, 1999.

Gray John. False Dawn: The Delusions of Global Capitalism. London: Granta, 1998.

MacCullough Diarmaid. Reformation: Europe's House Divided, 1490–1700. London: Penguin, 2003.

Martines Lauro. Power and Imagination: City-States in Renaissance Italy. 2nd edn. London: Pimlico, 2001.

Rees Lawrence. The Nazis: A Warning from History. London: BBC, 1997.

The 9/11 Commission Report // National Commission on Terrorist Attacks upon the United States (1004). New York: Norton.

Пролог

Braudel Fernand. A History of Civilizations. New York; London: Penguin, 1993.

Brown Peter. Augustine of Hippo. London: Faber, 1967.

Buckle Henry. History of Civilisation in England. London: Parker & Son, 1857–1861.

Burckhardt Jacob. The Civilization of the Renaissance in Italy. London: Phaidon, 1869.

Clark Kenneth. Civilisation. London: BBC; John Murray, 1969.

Davies Norman. Europe: A History. London: Pimlico, 1996.

Diamond Jared. Guns, Germs and Steel. London: Jonathan Cape, 1997.

Evans Richard J. In Defence of History. London: Granta, 1997.

Fernandez-Armesto Felipe. Civilizations. London: Macmillan, 2000.

Figes Orlando. A People's Tragedy. London: Pimlico, 1996.

Freud Sigmund. Civilization and Its Discontents. London: Penguin Freud Library, 1985. Vol. 12.

James P. D. The Omnibus P. D. James. London: Faber, 1990.

Keegan John. The History of Warfare. London: Pimlico, 1993.

MacDonald Ian. Revolution in the Head: The Beatles' Songs and the Sixties. London: Pimlico, 1993.

Meter Christian. Athens: A Portrait of the City in Its Golden Age. London: Pimlico, 1999.

Mill John Stuart. On Liberty and Other Essays. Oxford: Oxford University Press, 1991.

Sellar W. C., Yeatman R. J. 1066 and All That. Stroud: Sutton, 1993.

Spengler Oswald. The Decline of the West. 2 vols. New York: Knopf, 1926.

Tignor Robert, et al. Worlds Together, Worlds Apart. New York: London: Norton, 2002.

Toynbee Arnold Joseph. A Study of History. 10 vols. Oxford: Oxford University Press, 1932-1954.

Глава 1. В самом начале

Audouze Françoise, Büsenschütz Oliver. Towns, Villages and Countryside of Celtic Europe. London: Batsford, 1991.

Caesar Julius. The Conquest of Gaul. Harmondsworth: Penguin, 1951.

Crossley-Holland Kevin. Norse Myths: Gods of the Vikings. London: Penguin, 1980.

Curliffe Barry. In Search of the Celts // *Chadwick Nora.* The Celts. London: Penguin, 1997.

Cunliffe Barry. Facing the Ocean: The Atlantic and Its Peoples. Oxford: Oxford University Press, 2001.

Dueck Dantela. Strabo of Amasia: A Greek Man of Letters in Augustan Rome. New York, Rome: Routledge, 2000.

Kermode Frank. The Sense of an Ending: Studies in the Theory of Fiction. New York: Oxford University Press, 1967.

Laing Lloyd. The Origins of Britain. London: Routledge, 1980.

The Mabinogion / Trans. by Gwyn Jones and Thomas Jones. London: Everyman, 1989; 1993.

Mithen Steven. After the Ice: A Global Human History. 20 000–5000 BC. London: Phoenix, 2003.

Porter J. Anglo-Saxon Riddles. Hockwold-cum-Wilton: Anglo-Saxon Books, 1995.

Rudgley Richard. Barbarians: Secrets of the Dark Ages. London: Channel Four, 2002.

Tacitus. Germania. Harmondsworth: Penguin, 1970.

Глава 2. Лавина слов

Aeschylus. Prometheus Bound and other plays. London: Penguin, 1961.

Andrewes F. «Kleisthenes» Reform Bill // Classical Quarterly. 1977. № 27. Pp. 241–248.

Aristotle. The Constitution of Athens and The Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

Calasso Roberto. The Marriage of Cadmus and Harmony. London: Jonathan Cape, 1993.

Davidson James. Courtesans and Fishcakes: The Consuming Passions of Classical Athens. London: HarperCollins, 1997.

Faber Book of Reportage / Ed. Carey John. London: Faber, 1987.

Garfield Simon. Mauve. New York: Norton, 2001.

Gombrich Ernst. The Story of Art. 16th edn. London: Phaidon, 1995.

Graves Robert. The Greek Myths. London: Penguin, 1960.

Haley Allan. Alphabet: The History, Evolution and Design of the Letters We Use Today. London: Thames and Hudson, 1995.

Herodotus. The Histories. London: Penguin, 1996.

Homer. The Iliad. Harmondsworth: Penguin, 1950.

Homer. The Odyssey. Harmondsworth: Penguin, 1946.

Logan Robert K. The Alphabet Effect. New York: Morrow, 1986.

Meier Christian. Athens: A Portrait of the City in Its Golden Age. London: Pimlico, 2000.

Oswalt Sabine. Greek and Roman Mythology. Chicago: Collins, Glasgow and Follett, 1969.

Sophocles. The Three Theban Plays / Introduction by Bernard Knox. London: Penguin, 1982.

The Cambridge Ancient History / Ed. Boardman John. 2nd edn. Cambridge: Cambridge University Press, 1982–1991.

Thompson W. E. The deme in Kleisthenes reforms // Symbolae Osloenses. 1971. № 46. P. 72–79.

Thucydides. History of the Peloponnesian War. Harmondsworth: Penguin, 1972.

Warmington B. Carthage. London: Pelican, 1960.

Глава 3. Рождение абстракции

Barnes Jonathan. Early Greek Philosophy. London: Penguin, 1987.

Cartledge Paul. Democritus. London: Routledge, 1999.

Farrington Benjamin. Greek Science. Harmondsworth: Penguin, 1944.

Grant Michael. From Alexander to Cleopatra: The Hellenistic World. London: Weidenfeld, 1982.

Gray John. Straw Dogs: Thoughts on Humans and Other Animals. London: Granta, 2002.

Hare R. M. Plato. Oxford: Oxford University Press, 1982.

Keegan John. The History of Warfare. London: Pimlico, 1993.

Popper Karl. The Open Society and Its Enemies, Volume One: The Spell of Plato. London: Routledge, 1945.

Sandllana Giorgio di. The Origins of Scientific Thought. New York: New American Library, 1961.

Walbank F. W. The Hellenistic World. 3rd impression. London: Fontana, 1992.

Xenophon. A History of My Times (Hellenica). London: Penguin, 1979.

Глава 4. Вселенская цивилизация

Cicero. Murder Trials. Harmondsworth: Penguin, 1975.

Cicero. On the Good Life. Harmondsworth: Penguin, 1971.

Cornell T. J. The Beginnings of Rome: Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars, c.1000–263 BC. London: Routledge, 1995.

Gibbon Edward. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. London: Penguin, 1996.

Hall Peter. Cities in Civilization. London: Phoenix, 1988.

Hughes Ted. Tales from Ovid. London: Faber, 1997.

Livy. The Early History of Rome. London: Penguin, 2002.

Marcus Aurelius. Meditations. Harmondsworth: Penguin, 1964.

Plutarch. The Lives of the Noble Greeks and Romans. Bodley Head, 1864.

Richmond I. F. Roman Britain, 2nd edn. Harmondsworth: Penguin, 1963.

Seneca. Letters from a Stoic. Harmondsworth: Penguin, 1969.

Tacitus. The Annals of Imperial Rome. Harmondsworth: Penguin, 1956.

Virgil. The Aeneid. London: Penguin, 1990.

Глава 5. Христианство по Августину

Brown Peter. Augustine of Hippo: A Biography. London: Faber, 1967.

Brown Peter. Authority and the Sacred: Aspects of the Christianisation of the Roman World. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

Carroll R., Prickett S. Introduction: the Bible as a Hook / The Bible. Authorized King James Version with Apocrypha. Oxford: Oxford University Press, 1996.

Eusebius. The Proof of the Gospel (Demonstratio Evangelica). London, 1920.

Hopkins Keith. A World Full of Gods: Pagans, Jews and Christians in the Roman Empire. London: Phoenix, 1999.

Moynihan Brian. The Faith: A History of Christianity. London: Pimlico, 2002.

Pliny. Letters of the Younger Pliny. Harmondsworth: Penguin, 1963.

Suetonius. Lives of the Twelve Caesars. Ware: Wordsworth, 1997.

Глава 6. Религия как цивилизация

Bartlett Robert. The Making of Europe: Conquest, Colonization and Cultural Change, 930–1350. London: Alien Lane, 1993.

Bede. The Ecclesiastical History of the English People. Oxford: Oxford University Press, 1969.

Brown Peter. Society and the Holy in Late Antiquity. London: Faber, 1982.

Brown Peter. The Rise of Western Christendom. 2nd edn. Oxford: Blackwell, 2003.

Cunliffe Barry. Facing the Ocean: The Atlantic and its Peoples. Oxford: Oxford University Press, 2001.

Daniel-Rops H. The Church in the Dark Ages. London: Dent, 1959.

Horden P. & Purcell N. The Corrupting Sea: A Study of Mediterranean History. Oxford: Blackwell, 2005.

Hourani Albert. A History of the Arab Peoples. London: Faber, 1991.

Langland William. The Vision of Piers the Plowman: The Vision of a People's Christ. London: Dent, 1912.

Latouche Robert. The Birth of the Western Economy: Economic Aspects of the Dark Ages, 2nd edn. London: Methuen, 1967.

Roy Ladurie Emmanuel le. Montaillou: Cathars and Catholics in a French village 1294–1324. London: Penguin, 1978.

Sorenson Preben. Religions Old and New // Oxford Illustrated History of the Vikings / Ed. Peter Sawyer. Oxford: Oxford University Press, 1997.

St Thomas Aquinas on Politics and Ethics / Ed. Sigmund Paul E. New York: London: Norton, 1988.

Taylor Henry Osborn. The Classical Heritage of the Middle Ages. New York: Harper and Row, 1958.

The Cloud of Unknowing. Harmondsworth: Penguin, 1961.

The Early Middle Ages: Europe 400–1000 / Ed. McKitterick Rosamund. Oxford: Oxford University Press, 2001.

The Medieval World / Ed. Cantor Norman. New York: Macmillan, 1963.

Глава 7. Другой образ жизни

Hutchinson J., Palliser D. M. York. Edinburgh: Bartholomew, 1980.

Keen Maurice. A History of Medieval Europe. London: Penguin, Routledge, 1991.

Middleton Michael. Man Made the Town. London: Bodley Head, 1987.

Mumford Lewis. The Culture of Cities. London: Seeker and Warburg, 1938.

Russell Josiah C. Population in Europe // The Fontana Economic History of Europe / Ed. Cipolla Carlo M. Glasgow: Fontana, 1972. Vol. 1.

Глава 8. Искусство как цивилизация

Berger John. Ways of Seeing. Harmondsworth: BBC, Penguin, 1972.

Boccaccio Giovanni. The Decameron. Harmondsworth: Penguin, 1972.

Bogdanov Michael. Shakespeare: The Director's Cut. Edinburgh: Capercaille, 2003. Vol. 1.

Brucker Gene. Renaissance Florence. New York; Chichester: Wiley, 1969.

Brucker Gene. The Civic World of Early Renaissance Florence. Princeton: Princeton University Press, 1977.

Burke Peter. The Italian Renaissance: Culture and Society in Italy. 2nd edn. Cambridge: Polity, 1987.

Clark Kenneth. Civilisation. London: BBC, John Murray, 1969.

Gombrich Ernst. The Story of Art. 16th edn. London: Phaidon, 1995.

Jardine Lisa. *Worldly Goods: A New History of the Renaissance*. London: Macmillan, 1996.

King Ross. *Brunelleschi's Dome*. London: Pimlico, 2000.

Machiavelli Niccolo. *The Prince*. London: Penguin, 1999.

Martines Lauro. *Power and Imagination: City-States in Renaissance Italy*. 2nd edn. London: Pimlico, 2002.

The Civilization of the Italian Renaissance: A Sourcebook / Ed. Bartlett Kenneth R. Lexington; Toronto: Heath, 1992.

Vasari Giorgio. *Lives of the Artists*. Harmondsworth; Penguin, 1965.

Глава 9. В поисках христианской жизни

Culture and Belief in Europe 1450–1600 / Ed. Englander David. Oxford: Open University Press; Blackwell, 1990.

Erasmus. *Praise of Folly*. London: Penguin, 1994.

Green Vivien. *The European Reformation*. Stroud; Sutton, 1998.

MacCullough Diarmaid. *Reformation: Europe's House Divided, 1490–1700*. London: Penguin, 2003.

Rabelais Francois. *Gargantua and Pantagruel*. Harmondsworth: Penguin, 1955.

Tawney R. H. *Religion and the Rise of Capitalism*. London: Penguin edition, 1990.

The Medieval World / Ed. Cantor Norman. New York: Macmillan, 1963.

Глава 10. Короли, армии и нации

Anderson M. S. *War and Society in Europe of the Old Regime, 1618–1789*. Leicester: Leicester University Press, 1988.

Bobbin Philip. *The Shield of Achilles: War, Peace and the Course of History*. New York: Knopf; London: Penguin, 2002.

Brewer John. *Sinews of Power: War, Money and the English State 1688–1763*. London: Unwin Hyman; New York: Knopf, 1989.

Early Modern Europe / Ed. Cameron Euan. Oxford; Oxford University Press, 1999.

Kureishi Harif. The arduous conversation will continue // *Guardian*. 2005. 19 July.

Martin Colin, Parker Geoffrey. The Spanish Armada. Manchester: Mandolin, 1999.

Parker Geoffrey. The Dutch Revolt. London: Penguin, 1985.

Parker Geoffrey. The Military Revolution: Military Innovation and the Rise of the West, 1500–1800. 2nd edn. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

Tallett Frank. War and Society in Early Modern Europe, 1495–1715. London: Routledge, 1992.

The Military Revolution Debate: Readings on the Military Transformation of Early Modern Europe / Ed. Rogers Clifford J. Oxford: Westview Press, 1995.

The Seventeenth Century: Europe 1598–1715 / Ed. Bergin Joseph. Oxford: Oxford University Press, 2001.

Zinsser Hans. Rats, Lice and History. Boston: Little Brown, 1934.

Глава 11. Мы и они

Brogan Hugh. History of the USA. 2nd edn. London: Penguin, 1999.

Howe Samuel Gridley. Letter to Charles Sumner (1853) // *Faber Book of Reportage* / Ed. John Carey. London: Faber, 1987.

Las Casas Bartolome de. Brief Report on the Destruction of the Indians (1542) // *Faber Book of Reportage* / Ed. John Carey. London: Faber, 1987.

Lynch John. Spain 1516–1598: From Nation State to World Empire. Oxford: Blackwell, 1991.

Pagden Antony. European Encounters with the New World. New-haven; London: Yale University Press, 1993.

Parker Geoffrey. Philip II. 3rd edn. Chicago: Open Court, 1995.

Sepulveda Juan Gines de. Democrates alter de justis belli apud Indos // *Culture and Belief in Europe 1450–1600* / Ed. David Englander. Blackwell; Oxford: Open University Press, 1990.

Tignor Robert et al. Worlds Together, Worlds Apart. New York: London: Norton, 2002.

Walvin James. *Black Ivory: Slavery in the British Empire*. 2nd edn. Maiden: Blackwell, 1992.

Walvin James. *The Slave Trade*. Stroud: Sutton, 1999.

Wheeler James Scott. *The Making of a World Power: War and the Military Revolution in Seventeenth-Century England*. Stroud: Sutton, 1999.

Глава 12. Рациональный индивидуум

В книге Дэвида Вуттона цитируется сэр Джон Дэвис, Эдвард Сексби, полковник Рейнборо, а в книге Кристофера Хилла можно найти цитаты Эдмунда Кэлами.

Bacon Francis. *The Major Works*. Oxford: Oxford University Press, 1996.

Descartes Rene. *Discourse on Method and Other Writings*. London: Penguin, 1968.

Divine Right and Democracy: An Anthology of Political Writing in Stuart England / Ed. Wootton David. London: Penguin, 1986.

Drabkin Israel, Drake Stillman. *Mechanics in Sixteenth-Century Italy*. Madison: University of Wisconsin Press, 1969.

Drake Stillman. *Galileo*. Oxford: Oxford University Press, 1980.

Early Modern Europe / Ed. Cameron Euan. Oxford: Oxford University Press, 1999.

Galilei Galileo. *Two New Sciences*. Toronto: Wall and Thompson, 1989.

Grotius Hugo. *A Grotius Reader*. T. M. C. The Hague: Asser Instituut, 1983.

Hill Christopher. *The World Turned Upside Down*. London: Penguin, 1972.

Hobbes Thomas. *Leviathan*. London: Penguin, 1981.

Locke John. *Two Treatises of Government*. London: Everyman, 1993.

Montaigne Michel de. *The Complete Essays*. London: Penguin, 1993.

More Thomas. *Utopia*. London: Penguin, 1965.

Shapin Steven. The Scientific Revolution. Chicago; London: University of Chicago Press, 1996.

Thomas Keith. Religion and the Decline of Magic. London: Penguin, 1971.

Глава 13. Просвещение и революция

Brogan Hugh. History of the USA, 2nd edn. London: Penguin, 1999.

Clausewitz Carl von. On War. London: Penguin, 1982.

Crick Bernard. Democracy. Oxford: Oxford University Press, 2002.

Darnton Robert. The Great Cat Massacre and Other Episodes in French Cultural History. New York: Basic Books, 1984.

Faber Book of Reportage / Ed. Carey John. London: Faber, 1987.

Franklin Benjamin. The Autobiography and Other Writings. New York: Penguin, 1986.

Goethe Johann Wolfgang von. The Sorrows of Young Werther. London: Penguin, 1989.

Hampson Norman. The Enlightenment: An Evaluation of Its Assumptions and Values. London: Penguin, 1968.

Jones Colin. The Great Nation: France from Louis XV to Napoleon. London: Alien Lane, 2002.

Paine Thomas. Rights of Man. Ware: Wordsworth, 1996.

Porter Roy. Enlightenment: Britain and the Creation of the Modern World. London: Penguin, 2000.

Rousseau Jean-Jacques. The Social Contract. Ware: Wordsworth, 1998.

Sterne Laurence. A Sentimental Journey. London: Penguin, 2001.

Sterne Laurence. The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman. London: Penguin, 2003.

Stone Lawrence. Literacy and Education in England 1640–1900 m// Past and Present. 1962. № 42.

The Future of the Past / Ed. Martland Peter. London: Pimlico, 2002.

Thompson J. M. Napoleon Bonaparte. Oxford: Blackwell, 1952.

Thompson John. English Witnesses of the French Revolution. Oxford: Blackwell 1938.

Vico Giambattista. New Science. London: Penguin, 1999.

Voltaire. *Candide and Other Stones*. Oxford: Oxford University Press, 1990.

Voltaire. *Philosophical Dictionary*. London: Penguin, 1972.

Weber Max. *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. Oxford: Roxbury; Los Angeles and Blackwell, 2002.

Wordsworth W., *Coleridge S. T.* *Lyrical Ballads*. London: Penguin, 1999.

Глава 14. Индустриализация и национализм

Brougham Henry. *Spectator*. 1838. 7 October.

Carey John. *The Violent Effigy: A Study of Dickens' Imagination*. London: Faber, 1973.

Faber Book of Reportage / Ed. Carey John. London: Faber, 1987.

Chambers J. D., *Mingay G. E.* *The Agricultural Revolution, 1750–1880*. London: Batsford, 1966.

Cunningham Hugh. *The Challenge of Democracy, Britain 1832–1918*. Harlow: Pearson, 2001.

Gray John. *False Dawn: The Delusions of Global Capitalism*. London: Granta, 1998.

Mathias Peter. *The First Industrial Nation: The Economic History of Britain, 1700–1914*. 2nd edn. London: Routledge, 1983.

Thompson E. P. *The Making of the English Working Class*. London: Penguin, 1963.

Thomson David. *England in the Nineteenth Century*. London: Penguin, 1950.

Watt Ian. *The Rise of the Novel*. London: Chatto, 1957.

Webb Igor. *From Custom to Capital: the English Novel and the Industrial Revolution*. Ithaca and London: Cornell University Press, 1980.

Глава 15. От аграрных колоний к индустриальному континенту

Ayers Edward L. *The Promise of the New South: Life after Reconstruction*. New York: Oxford University Press, 1992.

Brogan Hugh. History of the USA. 2nd edn. London: Penguin, 1999.

Brown Dee. Bury My Heart at Wounded Knee: An Indian History of the American West. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1970.

Carroll P. N., Noble D. W. The Free and the Unfree: A New History of the United States. 2nd edn. New York: Penguin, 1988.

Luce Henry. The American Century // Life. 1941. 17 February.

Menand Louis. The Metaphysical Club. New York: Farrar, Strauss and Giroux, 2001.

Roy William G. Socializing Capital: The Rise of the Large Industrial Corporation in America. New York: Princeton University Press, 1997.

Tanner Helen Hornbeck. The Settling of North America. New York: Macmillan, 1995.

Tedlow Richard S. The Rise of the American Business Corporation. New York: Harwood, 1991.

The Life and Writings of Abraham Lincoln / Ed. Stern Philip van Doren. New York: Random House, 2000.

Thoreau Henry David. Walden and Civil Disobedience. New York: Penguin, 1983.

Tocqueville Alexis de. Democracy in America. Ware: Wordsworth, 1998.

Whitman Walt. Leaves of Grass and Other Writings. New York: London: Norton, 2002.

Глава 16. На пути к бездне

Bond Brian. War and Society in Europe, 1870–1970. Leicester: Leicester University Press, 1983.

Clausewitz Carl von. On War. London: Routledge, 1968.

Dangerfield George. The Strange Death of Liberal England. London: Constable, 1936.

Davis Mike. Late Victorian Holocausts. London: Verso, 2000.

Fussell Paul. The Great War and Modern Memory. Oxford: Oxford University Press, 1975.

Keegan John. The History of Warfare. London: Pimlico, 1993.

Kermode F. & Kermode A. The Oxford Book of Letters. Oxford: Oxford University Press, 1995.

Mill John Stuart. On Liberty and Other Essays. Oxford: Oxford University Press, 1998.

Polanyi Karl. The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time. New York: Farrar and Rinehart, 1944.

Porch Douglas. Wars of Empire. London: Cassell, 2000.

Ritter Gerhard. The Sword and the Scepter. 4 vols. London: Alien Lane, 1969–1973.

Thomson David. England in the Nineteenth Century. Harmondsworth: Penguin, 1950.

Глава 17. Конец цивилизации

Aly G., Heim S. Architects of Annihilation: Auschwitz and the Logic of Destruction. London: Weidenfeld, 2002.

Bonhoeffer Dietrich. Letters and Papers from Prison. Published posthumously by SCM Press, 1953.

Faber Book of Reportage / Ed. Carey John. London: Faber, 1987.

Carey John. The Intellectuals and the Masses. London: Faber, 1992.

Carr E. H. The Russian Revolution: From Lenin to Stalin (1917–1929). London: Macmillan, 1979.

Conquest Robert. The Great Terror: A Reassessment. London: Pimlico, 1990.

Conquest Robert. Harvest of Sorrow: Soviet Collectivisation and the Terror-famine. London: Pimlico, 2002.

Curtis Adam. «The Century of the Self» television series, broadcast on BBC2 beginning 17 March 2002.

Figes Orlando. A People's Tragedy. London: Pimlico, 1996.

Finley M. J. The Use and Abuse of History. London: Pimlico, 1975.

Freud Sigmund. Civilization and Its Discontents // Penguin Freud Library. London, 1985. Vol. 12.

Hamann Brigitte. Hitler's Vienna: A Dictator's Apprenticeship. New York, Oxford: Oxford University Press, 1999.

Hobsbawm Eric. The Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914–1991. London: Michael Joseph, 1994.

Kershaw Ian. Hitler. 2 vols. London: Alien Lane, 2000.

Kravchenko Victor. I Chose Freedom: The Personal and Political Life of a Soviet Official. New York: Scribner, 1946.

Levi Primo. If This Is a Man. London: Orion, 1960.

Levi Primo. The Drowned and the Saved. London: Sphere, 1988.

Luxemburg Rosa. The Russian Revolution / Ann Arbor: University of Michigan, 1961.

Neiman Susan. Evil in Modern Thought: An Alternative History of Philosophy. Princeton: Princeton University Press, 2002.

Rees Lawrence. The Nazis: A Warning from History. London: BBC, 1997.

Ritter Gerhard. The Sword and the Scepter. 4 vols. London: Alien Lane, 1969–1973.

Roseman Mark. The Villa, the Lake, the Meeting: Wannsee and the Final Solution. London: Alien Lane, 2002.

Solzhenitsyn Aleksandr. The Gulag Archipelago: 1918–1956. New York: Harper and Row, 1973–1976.

Sulloway Frank J. Freud, Biologist of the Mind. New York: Basic Books, 1979.

Zizek Slavoj. The Two Totalitarianisms // London Review of Books. 2005. 27, 6, 17 March.

Глава 18. Послевоенный мир

1001 Movies You Must See Before You Die / Ed. Schneider Steven Jay. Cassell, London, 2003.

Anderson David. Histories of the Hanged: Britain's Dirty War in Kenya and the End of Empire. Weidenfeld, London, 2005.

Brogan Hugh. History of the USA. 2nd edn. London: Penguin, 1999.

Carroll P. N., Noble D. W. The Free and the Unfree: A New History of the United States, 2nd edn. New York: Penguin, 1988.

Cohn Nik. Awopbopaloobop alopbamboom: Pop from the Beginning. London: Pimlico, 2004.

Evans George. Ask the Fellows Who Cut the Hay. London: Faber, 1962.

Historical Dictionary of French 4th and 5th Republics 1946–1991 / Ed. Northcutt Wayne. New York; London: Greenwood Press, 1992.

MacDonald Ian. Revolution in the Head: The Beatles' Songs and the Sixties. London: Pimlico, 1995.

Monk Ray. Ludwig Wittgenstein: The Duty of Genius. London: Jonathan Cape, 1990.

Paying the Price. Oxford: Oxfam Campaign Report, 2004.

Porch Douglas. Wars of Empire. London: Cassell, 2000.

Rose Barbara. American Painting: The Twentieth Century. 2nd edn. London: Macmillan, 1970.



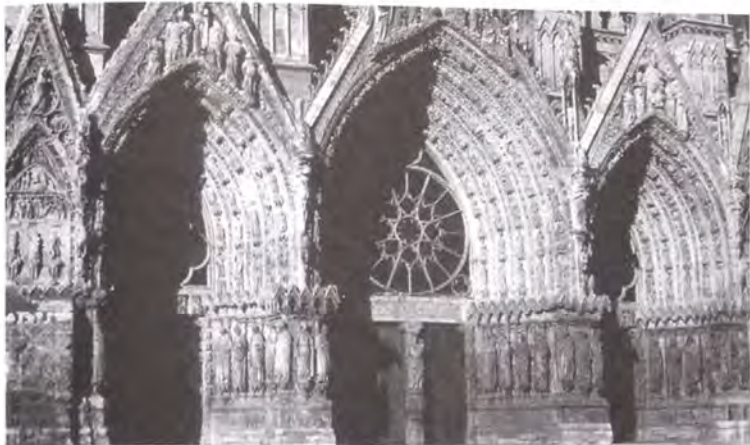
Религиозные сооружения доисторического Запада. Каменные кольца в Эйвбери, графство Уилтшир (вверху) и Калланише, о. Льюис (слева); Силбери-Хилл, графство Уилтшир (внизу)



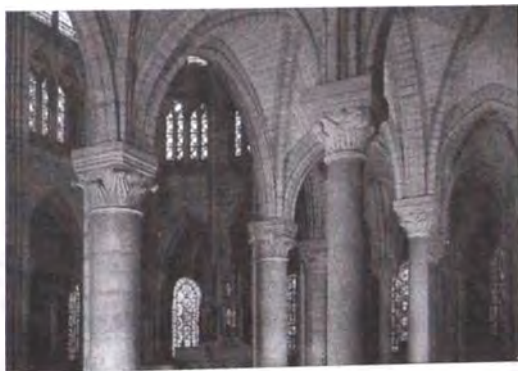


Священная архитектура и пропорциональность в классическую эпоху Средиземноморья. Греческий храм Цереры, Пестум (*вверху*); Пантеон в Риме (*внизу*)





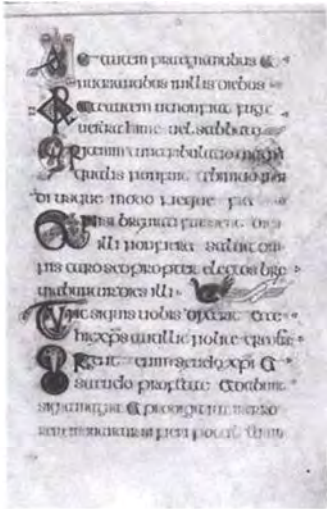
Священная архитектура и природные мотивы в северо-западной Европе. Западные ворота собора Реймской Богородицы (вверху); окно под названием «Епископское око», Линкольнский собор (справа); галерея монастыря Сен-Дени, Париж (справа внизу)





Животный мир в западном искусстве. Наскальная живопись из пещеры Ляско, департамент Дордонь (вверху), и Нио, департамент Арьеж (внизу)





Животный мир в западном искусстве.
 Битва лапифов и кентавров, барельеф из Парфенона (слева сверху); Книга из Келлса (справа сверху); резная скульптура викингов (внизу); фасад церкви Сан-Пьетро в умбрийском городе Сполето (справа)



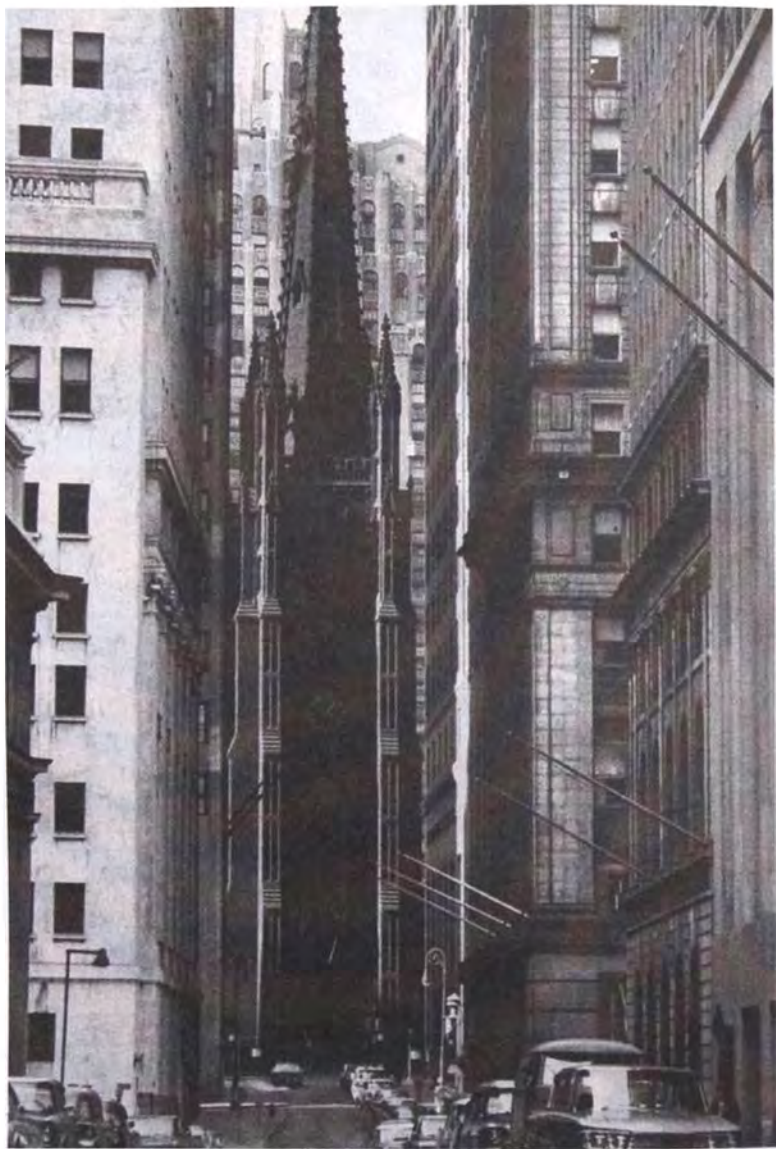


Открытая городская архитектура. Палаццо Дукале (Дворец дождей), центр Венецианской республики, с лоджией, выходящей на площадь Сан-Марко (вверху); площадь в Ческе-Будевице, Богемия (Чехия) (внизу)



Закрытая
архитектура.
Городские
особняки эпохи
Ренессанса:
флорентийское
палаццо Строцци
(справа вверху) и
римское палаццо
Каттедрале-ди-
Сан-Каллисто
(справа)
с неприступными
внешними
стенами:
флорентийское
палаццо Питти
(справа внизу)
с аркадой,
открывающейся
во внутренний
дворик

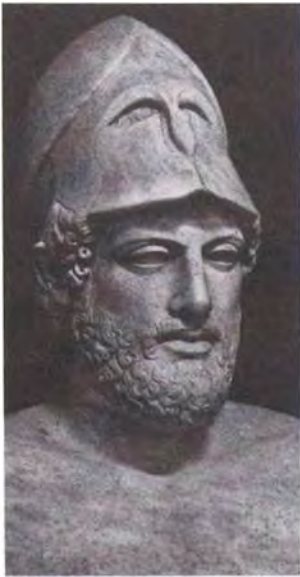




Сакральное и профанное. Тринити-черч (церковь Троицы) в Нью-Йорке, окруженная небоскребами финансового района



Боги как люди, люди как боги. Изваяния классической и эллинистической Греции: бронзовый Посейдон (слева *вверху*); Венера Милосская (*сверху*); позднейшая мраморная копия Дискобола (*слева*)



Люди в действии.
Классические
и ренессансные
изображения
исторических
и мифологических фигур:
Перикл как полководец
(слева вверху); Октавиан
Август со скипетром
и молнией (вверху); Геракл
и Как работы Баччо
Бандинелли (слева)



Люди
в созерцании.
Средневековое
изображение
св. Климента
(вверху)
и св. Михаила
(справа вверху)
как
одухотворенных
идеальных фигур.
ренессансное
изображение
св. Иеронима,
св. Франциска
и Мадонны
с младенцем как
полностью
телесно
воплощенных
фигур работы
Миранделло
Кавалори (справа)



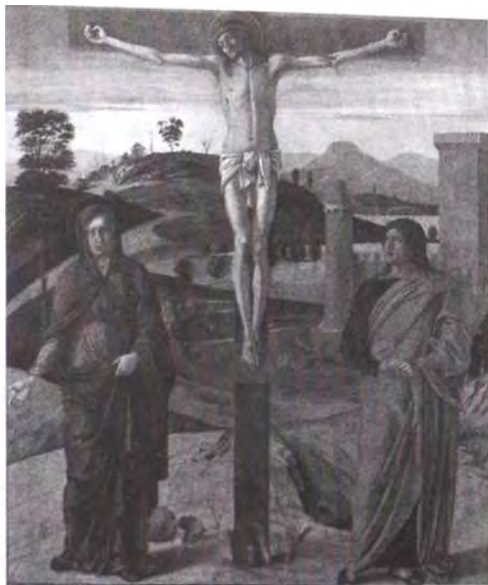


Средневековый мир видел Христа и Марию восседающими на небесном троне и ожидающими заключительного акта великой драмы христианства.



Фрагмент «Страшного суда» Фра Анджелико (вверху); «Венчание Девы», приписывается Биччи де Лоренцо (внизу)

Итальянские живописцы XV в. начинают показывать Христа, воплощенного, живущего, страдающего и умирающего как человек. «Голгофа» Джованни Беллини (вверху); «Оплакивание мертвого Христа» Фра Анжелико (внизу)





Картины цивилизации XX в., ч. I.

Джеронимо (слава *вверху*),
вождь апачей, плененный и
цивилизованный, появился
среди участников церемонии
инаугурации Теодора Рузвельта
в 1904 г.; во второй половине
столетия дети коренных
американцев (*справа вверху*)

оставались изгоями в
собственной стране. На фоне
привычных ограничений для
американцев африканского
происхождения (*внизу, надпись
на дверном косяке: «Только для
белых»*), Джесси Оуэнс стал
национальным героем после
своего выступления на
Олимпийских играх 1936 г. в
Берлине (*справа*)





Картины цивилизации XX в., ч. II. Остригание волос еврейским женщинам в Германии в ноябре 1938 г. (вверху); французских женщин, обвиненных в сотрудничестве или сожительстве с немцами, также обритых наголо, проводят по улицам Парижа в 1944 г. в сопровождении официального полицейского патруля (внизу)





Чужие среди своих — евреи, чернокожие, примитивисты, гомосексуалисты, осужденные — золотая жила современной западной культуры. (По часовой стрелке с правого верхнего угла): Густав Малер; Игорь Стравинский; Пабло Пикассо; Бесси Смит; Арета Франклин; Гарольд Пинтер; Теннесси Уильямс; Хадди Ледбеттер, известный как Ледбелли

■ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА ■

«Свежий и неожиданный взгляд на историю!» — восторженно пишут критики о книге Роджера Осборна «Цивилизация». Человечество рассматривает современную западную цивилизацию как наследие античности и раннего христианства, эпох Возрождения и Просвещения. Но так ли это? Существует ли вообще связь между историческими эпохами? Можно ли считать западную цивилизацию единой исторической цепью, звенья которой связует идея прогрессивного развития? Вот лишь некоторые из вопросов, на которые отвечает в своем оригинальном исследовании Роджер Осборн.

www.elkniga.ru

ISBN 978-5-17-067799-3



9 785170 677993